Леонид Корнюшин

БЕССМЕРТНИК



Леонид Корнюшин

БЕССМЕРТНИК

Роман

МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1976

Р2
К67

К $\frac{70302-169}{078(02)-76}$ 241—75

О РОМАНЕ «БЕССМЕРТНИК

Меня всегда радует, когда писатель обращается к теме, малоисследованной до него: он в полной мере может проявить свою гражданскую и профессиональную зрелость. Роман «Бессмертник» (название его глубоко символично) рассказывает о жизни крестьян и ломке их векового уклада, о первых коммунарах небольшой смоленской деревни. Они начали строить новую жизнь, когда гражданская война еще полыхала вовсю, когда интервенты еще не были изгнаны из пределов России.

Максим Золотухин, Фекла Косухина, Кондрат Стрекалин, Марфа Нифедкина, Игнат Дымков и многие другие лукашовцы добровольно и сознательно потянулись к коммуне, в объединении, в коллективности почуяли они силу, способную справиться с разрухой и нищетой, в корне изменить привычный, вековой уклад их безрадостной жизни. Путь этот сопряжен с великими трудностями, коммунарам приходится вести жестокую борьбу и с кулаками, понимавшими, что коллективность несет им гибель, и с озверелыми бандами недобитых белогвардейцев, и с маловерами, которые пророчили им неудачу.

Со знанием подлинной, многоликой жизни деревни тех лет автор изображает нелегкий и сложный путь середняка от единоличного хозяйства к коллективному. Деревенские коммунисты видели в середняке своего союзника, кропотливо и доходчиво разъясняли они политику партии, Советской власти, направленную на всемерную поддержку беднейшего и среднего крестьянства.

Максим Золотухин — один из бойцов партии, порой он рискует жизнью своей ради торжества светлых идеалов будущего. Устремленный в него, он являет собой пример истинного служения народу. В торжестве коммуны братства, этой рожденной революцией ячейке новой жизни, видит он смысл своей подвижнической судьбы.

Каждый герой имеет свой, только ему присущий характер, язык, голос, и это создает гармоничное многозвучье, радующее нас своей неповторимостью. Страницы романа наполнены многоцветными красками родимой русской земли, живыми и прекрасными, которые отзовутся в сердце читателя звуками рвущейся в будущее жизни.

Земля властвует над героями романа. Вот почему они так цепки в жизни, так живучи и так мудры. И нет силы, которая могла бы противостоять тяге землепашца к новой, счастливой жизни. А потому тщетны потуги недругов народа столкнуть его с этого пути.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Отцу моему Георгию Николаевичу
и матери Аксинье Поликарповне —
с любовью и печалью

При свете разгоревшегося костра в ночном поле сидели пастухи. Их было двое: один — сивый старик с редкой белой, как снег, бородою, с единым зрячим глазом и в зипуне с башлыком; другой — мальчик лет тринадцати, но уже работник, с круглым и как бы чем-то завороженным лицом, подпасок старого. Из балки дул холодный сентябрьский ветер, и пастухи, продрогнув, жались поближе к костру. Старик разглаживал в руках кем-то вырванный кустик жесткой, как мочажник, травы, изредка нюхал его и покачивал головою. Малый заметил, что старик разглаживал что-то в своих корявых ладонях.

— Что это в руках у тебя, дед Микита? — спросил он с любопытством.

— Трава такая, — ответил не сразу старик, — бессмертной называется.

— Ишь ты, название какое! — подивился подпасок, слышавший об этой траве впервые.

— Все зовется с умом, — сказал Никита, аккуратно укладывая бессмертник в свою холщовую сумку.

— Что ж, ай живет она долго? — спросил малый, подвигаясь еще ближе к огню.

— Так долго, парень, что и конца нету. Одно, брат, слово как бессмертная. Тыщу, может, лет живет, никак не меньше!

— Вот трава так трава! — в изумлении протянул подпасок. — А махонькая она сама-то? Или дуже велика трава такая?

— Вот я тебе завтра при солнце-то покажу, — пообещал старик, прикуривая красно раздуваемой ветром головешкой черную гнутую и такую же старую, как и сам, трубку, — совсем неказистая по виду трава. Цветки такие желтые, мелкие, да листья жестковаты.

— Ишь ты, мелка, да живуча!

— Да не все то крепко, что красиво, не все то вечно, что глазу любо. Да я вот тебе целую историю расскажу про него, про бессмертник. Вот ты, Михайла, послухай.

Михайла подложил под бок погуще травы, подогнул к себе поближе ноги, приготовившись внимательно слушать.

Было кругом тихо, и только потрескивали сырые дрова, да где-то неподалеку, в овраге, выл сыч, должно быть жалуясь людям на свое одиночество. Звезд много показалось на небе, но месяца не видно было. Стояла глухая полночь.

— В соседней деревне Пеньково жил один человек. Мужичонка, сказать по совести, так себе, дрянной, ленивый, помотавшийся в разных землях, словом, ни богу свечка, ни черту кочерга, и к тому же не прочь был и выпить.

Двор его захудал вовсе. А на дворе, на четвертях земли — не хлеб, а трава... И заметил Федька, хозяин, меж травы вот эти самые желтые цветочки. Попробовал он их драть: что проволока — силы нет вырвать из земли. Что за черт, что за напасть этакая, думает. Говорит он старухе: «Что-то у нас на огороде чудная, железная трава заполонила. Вот оказия!» А та ему говорит: «Это, — говорит, — не оказия, а бессмертная трава, так она, слыхала, зовется. И ты не жилься: она вечная, не порти и не топчи землю попусту — она того не любит».

«Много ты со своей куриной головой понимаешь», — ответил он ей и, взяв острую лопату, пошел копать траву. Копал он, копал, кажись, во всей круговине живого места не оставил, пришел в хату и говорит: «Теперь, брат, не очухается». Но вот прошло с неделю или побольше, и видит мужик: крестная сила, — трава-то вот она, опять пролезла меж рытвин, озолотилась! Тогда он жене говорит: «Не иначе, старуха, как работа самого черта. Вот что: выжгу-ка я всю круговину, огонь и землю, брат, палит».

Обложил он место соломой, облил керосином, зажег. А сверху поленьев накидал: чтобы дотла испепелить. Смрад поднялся выше крыши, как настоящий пожар.

Когда круговина выгорела, старик сказал: «Теперь не порастешь, коренья небось начисто выгорели». Отлучился он на три недели, а как воротился — глядит: жива бессмертная трава. Все те же желтые цветочки, те же и стебельки. Видно, колдовство!

Ничего не понимая, хозяин сказал жене: «Ну и пусть растет, коли хочет, а посею-ка я хлеб на этой круговине. Землица пригодная, черная, и батька тут сеял и хвалил, что рос хорошо. Хлеб займется, он живо траву эту задавит». Посеял, дождался жатвы, а жать-то и нечего: одни черные пустоши, кое-где только пробился колос. Глянул он на такой хлеб, и дрожь взяла. Отцы родные! Это что ж такое? Вовсе гибель! Земля раньше хоть малость родила, а теперь колос от колоса за десять шагов. Что ж это с ней случилось, с землей?

Спросил он у одного мудрого старика. А тот сказал ему: земля, мол, отомстила тебе, ты ее мордовал, пожег, хотел огнем взять, а она, видишь, как? Бросил он начисто хлеб сеять на наделе. Вскоре старуха преставилась. А двор их съежился, почернел, зарос крапивой да бурьяном. Сам хозяин-мужик пропал где-то...

Малый смотрел на разгоревшееся лунное сияние, оранжевым огнем трепетавшее над лесом, слушал невнятные шорохи травы и думал над словами старика.

— А что ж трава эта? Бессмертник? Растет она нынче у него на наделе? — спросил он погодя.

— А куда ей деться! Растет. Как росла, так и растет, тысячу лет расти будет. Корни-то целы. Земля, вишь, почернела, обуглилась, люди дурные передохли, и новые народились, а трава эта живет. Исцеляет она от многих болезней, да и нетленная она. Тля темную душу гложет. да истинное живет. Ты это помни, Михайла!

— Да уж, видно, так оно и есть, — думая над словами старика и вполне понимая их, ответил Михайла.

— Бессмертно, брат, добро. Его не выдерешь и огнем не возьмешь. Живуче! — упорно и с твердой верой в такое понятие проговорил старик.

Больше они ничего не сказали, улеглись на жесткую, кочковатую землю, чтобы уснуть и быть сильными для завтрашнего рабочего дня.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



Во дворе Мироновых густым басом закричал петух. Первой очнулась, как всегда, Лукерья. В сизой сумрачности вздыхала, крестилась: «Ох, господи, спаси и помилуй!» Глянула на окошки — сквозь двойные рамы, сквозь бель изморози мглисто-голубоватый цедился свет. На полу лунные зыбкие дорожки.

Через всю большую пятистенку низом несло стужу — выдуло тепло за ночь. На печи, под темным, загаженным мухами потолком, храпел хозяин, Тимофей Гордеевич. «Видать, нетверезый лег», — подумала, прислушиваясь, Лукерья.

Кряхтя, охая (ломало от простуды поясницу), вылезла из постели, надела чепец, сарафан домотканый, сунула ноги-колоды (второй год мучила старуху водянка) в разношенные просторные валенки.

В красном углу ядовито-зеленый огонек лампады лизал дремовую тьму; вокруг него растресканные, в медных окладах иконы. Лукерья стала на колени: был святой праздник — воскресенье. Старуха по привычке вошла в азарт моления, не услышала шороха шагов вставшей Марьи, снохи. Та — маленького роста, крепконогая, с ячменными колосками бровей на круглом миловидном лице с устоявшимся покорным выражением приживалки — опустилась рядом с ней. Глаза, кроткие, покорные, добром светились в полутьме, излучали здоровье. Своя, близкая — слова единого наперекор не вымолвила за пятилетнюю жизнь. «Ладную Гришка взял бабу!» Лицо Лукерьи обмякло, заметно умилялось и добрело от затеплившихся глаз. Встали с пола.

Марья тихо спросила:

— Мам, тесто месить?

Лукерья последний раз перекрестилась.

— Сама замешу. Покличь Ганну — пора доить коров.

За печью, в потаенной тьме, в сладких снах еще не пробудившейся пятистенной хаты наговаривал свою сказку сверчок.

Ганна, смуглая и гибкая в талии и оттого казавшаяся особенно чужой в плотной породе Мироновых, сладко потягиваясь, недовольно прошла к порогу умываться. Придвинув к Марье черные, остро и жарко блестящие глаза, спросила насмешливым шепотом:

— Стараешься?

Марья отыскала в полутьме подойник, не отозвалась.

— Прислужница!

Надев грубый пиджак и повязывая на ходу бордовый платок, Ганна докончила разговор на крыльце:

— Наш-то век коротенький! Бабский.

Приминая лаптями мягкий, точно вымытый войлок, выпавший за ночь снег, молодые бабы прошли к хлеву. Крыша его, обсыпанная по старому снегу свежей порошей, вилюжилась, неясно белела. Синело и светлело, все вырастая и отодвигаясь, небо за выгоном; за деревней справа, на восточной стороне, над Длинной верстой тихо всходило ало-малиновое трепетное сияние зари. Запад еще дремал в сумерках.

По деревне, вытянувшейся в линию вдоль Угры, волной несло петушиный крик. За Угрой, по левобережью, где расплывались тушью леса Зимовной вырубки, замирал одинокий и грустный под дугой колоколец. Пахло близким дыханьем скотины и примороженной соломой. Осеребренными иглами посыпался иней с росшей во дворе старой березы. Ганна засмеялась и, раскрыв губы, захватила полным дыхом ледяного воздуху. Шагая следом за Марьей, разрывая лаптями снег, она потянулась взглядом к пустынному большаку. В воротах хлева Марья обернулась — взгляд Ганны, далекий от забот двора и его жизни, тек непонятно и чуждо, пугал ее...

В полутьме, где пахло особенно остро лошадьми, сеном, Ганна крепко сжала руку Марьи, сказала, задыхаясь от тоски:

— Жизнь тут опостылела! Я не так жи-ить хочу!

В доме встали: Тимофей Гордеевич — тяжелый и лохматобородый, в темной, крашеной холщовой исподнице мужик пятидесяти трех лет; горбун Яков — малорослый, землистое лицо с усохшее яблоко; на него все в хуторе боялись смотреть, и только Лукерья, мать, горько и мягко ласкала взглядом его. Матери увечный-то ближе. Вышла из своего угла сестра Лукерьи, Аграфена, — гостила у них в тот день: рот стиснут в куриную гузку, взгляд жидок, скрытен... богомольная змеища! И брат Тимофея Гордеевича должен был сегодня приехать. Начали вылезать ребятишки: Ганнин Макарка, чернявый, смуглый — в мать; двойнята — девочки Марьины, похожие на грибы крепыши. Тимофей Гордеевич щипал бороду, раздумчиво и хмуро глядел в половицу: «Ох, едоков много! Хлебушко-то как нам достается!»

Видней стало в просторной хате, старик подошел к лавке и задул фонарь.

По деревне хлопали калитки, мычала скотина, ревел бык с того краю — у Бабинцевых. Лукерья и Аграфена затопили печь. Смолистые сухие поленья вспыхнули, загудели. Из дежки сладостно запахло тестом. Тимофей Гордеевич сел обуваться, крутил онучи старательно, прежде чем надеть ссохшийся лапоть, бил о половицу. «Будем кусать потылицу. По миру пустють, черти!» Жалко было ему смотреть, как перемалывала семья хлеб, дурной тоской наливалось сердце, дичали глаза, когда ходил он в амбар, ворошил ладонями и нюхал жито. Вчера последний мешок муки начали. Сказывалась летошняя засуха.

Старик встал, одернул рубаху, еще побил друг о дружку обутыми лаптями, Лукерье приказал:

— Буди Гришку, нехай съездит на мельницу. Надо смолоть: мешок ить, глянь, перетерли!

На зов матери Григорий не встал. Пришлось будить самому, стряхнул одеяло. Григорий, не открывая глаз, пхнул отца ногой. Старик снял опояску, намотал на кулак, перетянул сына через спину. Григорий отупело вскочил.

— Кто тута? Ты что?

— Лодырь! Запрягай, поране на мельницу съездишь.

— Сбирался же в лес, батя? Надоело!..

— Надо, говорю, смолоть. Так и знай, Григорь: пущу на отдел. Ты это крепко помни!

— Устрашил! Сам не дождуся.

Завтракали наспех. Хлебали картофельную похлебку, приправленную подсолнечным маслом, ели простоквашу. Яков без устали работал зубами. Отец тяжело и страшно смотрел на это чужое, узколобое, с запалыми висками лицо увечного сына. И острей и больней почувствовал — не будет ему счастья, нет, и не жди.

Григорий отправился запрягать. Отец вышел присмотреть спустя немного. С облегчением высморкался, полой полушубка обтер нос. Порадовался, увидев, как сын бережно уложил мешок в сани, разобрал вожжи, вывернул из-под навеса лошадь, направил в ворота. Отец снял железку, распахнул. Григорий, усевшись на мешок, выехал. Тимофей Гордеевич в спину ему наказал:

— Смотри, хорошо чтобы смололи. А то ты, парняга шалопутный, басоврюк!

— Ну, батя! — высоким голосом крикнул Григорий. — Забыл, что ли? На старое воротишь! Ить я партейный, как оно есть. Во всех смыслах. Ты перед людями-то полегше... Полегше! Давно сказать собирался. Язык распускаешь? Смотри!

Старик поразился. Впервые так заговорил с ним Григорий. Такого еще никогда не видел, не слышал, не знал!

— Не больно-то, шелудивец! — крикнул старик.

Снежная пыль закидала Тимофея Гордеевича, а когда улеглась, когда проморгался, понял: незаметно подпадет под его, сыновнюю, власть.

II

Григорий смолол под вечер. За снежным полем садилось холодное малиновое солнце, над круглым озером, над желтеющими камышами вставал студеный туман. Старая, почерневшая от времени водяная мельница, забитая снизу белой мучной пылью, вся скрипела и содрогалась от гудящих в глубине ее каменных жерновов. На широком мельничном дворе, обнесенном тесовой ог-

радой, ветер гонял сенную зеленую труху, хлебную пыль. По шатким скрипучим мосткам Григорий направился к заведующему мельницей оформить расчет за помол. На полупустынный двор — было привязано к коновязи всего три лошади, — звонко поскрипывая подрезами, в это время въехали две санные подводы. На передних санях, затянутых рогожей, Григорий узнал хатуньского мужика Зяблова, которому еще перед войной он с другими подвыпившими ребятами кидал в колодец дохлых кошек. В других санях на ворохе сена сидел незнакомый, державший зачем-то в руках шапку, очень неказистый мужик в армяке и в валенках. Третий мужик, чернобородый, в лаптях, с кнутом в руке, шагал рядом с человеком в городском пальто, в серых бурках и с толстым, исхлестанным северкой, красным лицом.

Возвращаясь от заведующего, Григорий услышал бешеную ругань во дворе. Быстро перебежав площадку, содрогающуюся от жерновов, он выскочил на крыльцо мельницы. В это время чернобородый мужик и лысовский мужик Зяблов, испуганно оглядываясь, валяли по снегу и били кнутовищами человека в пальто. Испытывая давнюю, ни с чем не сравнимую поющую силу в мускулах и чувствуя жажду кулачного, уже полузабытого им боя, Григорий скорыми шагами направился к ним. Мужик на второй подводе, не участвующий в драке, испуганно дергал за уздечку лошадь, пытаясь под шум и крики повернуть ее обратно, но лишь путался в вожжах лаптями. «Кого это они?» — подумал Григорий. Поднявшийся на ноги плотный смуглолицый человек — Григорий узнал заведующего отделом укома партии Замялова, — злобно бегая глазами, картавя, сказал:

— Саботажники! Уклонились от разверстки, а зерно — на помол! Я их тут целый день караулю. — Он вытащил наган, пнул дулом в грудь чернобородого, приказал: — Сноси зерно! Пока полежит на мельнице, днями мы его заберем. Вот ублюдки, а!—Он выплюнул ползуба в снег и, глядя на алеющее пятно, вновь велел сносить мешки.

Григорию стало страшно и неловко от сознания того, что он тоже кому-то причиняет зло, но это мимолетное человеческое чувство он быстро подавил в себе. А взгляд Зяблова говорил: «Мы с тобой братья, мужики одной земли». На какое-то мгновение Григорий поколебался и,

поборов себя, пошел на него, стараясь не смотреть в лицо, наливаясь мутной злостью и сам хорошо не понимая себя.

— Кулацкий холуй! Тебя-то я помню!..

На пороге мельницы с выражением умиления и покоя на лице появился заведующий.

— Чево тут у вас? — спросил он.

— Арестовываем кровососов. Хлеб ихний заберем завтра. Запри гавриков — пусть заночуют. У них, видать, шкуры дешевые. — Замялов весело подмигнул и, выждав паузу, произнес: — Арестуем как подлых врагов. Я их летом пожалел — теперь того не будет! Ступайте!

— Я правду найду, — продолжал свое чернобородый, смешно по-гусиному семеня ногами. Сзади него вприскочку и крайне испуганно бежал маленький мужик. Он вдруг остановился, бормоча:

— Ить по дурости, неумышленно я. Семья ить, детишки... Товарищи!

Замялов стоял как холодный камень, смотрел на него испытующе.

— Иди, иди, курва! Мы тебе не товарищи!

— За упрятанный хлеб в теперешнем положении крепко наказывают, — покачивая головой, сказал осуждающе заведующий мельницей.

Широкая, как ворота, дверь захлопнулась за арестованными мужиками. Замялов сел на скамью, начал закуривать. В мельничное окошко над ним высунулась плешивая голова чернобородого.

— Думаешь, силов хватит у тебя?

— Хватит. И не рядись под бедного, кулак! Во всей наглядности.

Замялов сошел с крыльца. Около подвод стоял Григорий. Замялов положил руку на его плечо, долго и тяжко смотрел в глаза. Усмехнулся осторожно.

— Помню, ты приходил на партучет становиться. Живешь сам по себе?

— Сам.

— Тут же дела! В Бражинском сельсовете — сволочь. Саботируют идеи революции! Придется тебе заступать, некому больше. Время — пальцы горят. А ты... во двор зарылся. Эх, товарищ Миронов!

— Дак я...

— Так завтра? Телефон у них испорчен: наладь и сообщи. Как примешь, действуй конкретно по всем показателям. Обстановочка — она ясная?

— Не так чтоб уполне...

— Она на месте прояснится.

Пожали руки, постояли — глаза в глаза. У Григория что-то суетное промигивало, дрожало в зрачках. Глаза Замялова, ореховые, в ледяных крапинках, смотрели нетвердо: они что-то знали, и таили, и боялись...

В это время, мягко шурша окованными подрезами, въехал во двор мельницы возок с впряженной гнедой сухопарой лошадью. В возке сидели двое. Один, очень плотный, невысокого роста, в легком и явно узком ему пальто, в шапке-ушанке, еще на ходу спрыгнул на землю, пристально всматриваясь в людей, особенно в лицо Зяблова, высунувшееся в оконце. Приезжий, очевидно, выяснял, что здесь происходило. Замялов, внутренне напрягаясь, узнал секретаря губкома Грибцова. За ним следом, придерживая полы дубленой шубы, вышел из возка высокий и сутулый заведующий организационным отделом уездного Совдепа Чугунов.

— В чем дело? — тихо спросил Грибцов, поздоровавшись и поеживаясь от холода.

Замялов кивнул на подводы лысовских мужиков.

— Саботажники. Сбывали хлеб, товарищ Грибцов!

— Это вы их посадили туда?

— Оказали отчаянное сопротивление, чему свидетели — данный товарищ и заведующий мельницей.

Заведующий мельницей, продолжавший стоять на крыльце уже в позе постороннего человека, тут же поспешил заявить:

— Я вышел после драки, ничего особого не видел...

Скрипя снегом, Чугунов подошел к окну, и лицо его неожиданно просияло. Он словно что-то вспомнил хорошее. Лицо Зяблова, круглое, с детски светящимися глазами, тоже озарилось доброй и ласковой улыбкой.

— Друг сердечный, Зяблов! — воскликнул Чугунов. — Ты-то как в кулаки затесался со своей единственной кобылой?

— Сделал мне одолжение вон энтот, лихой парень! — засмеялся Зяблов, указывая глазами на Замялова.

— Выпустите товарищей, а с хлебом разберитесь, —

распорядился Грибцов. — Если платили по разверстке, вернуть до единого килограмма!

— Больно по душе ты мне. А этого браточка мы с Советской властью не спутываем, — сказал Зяблов, по-свойски подмигивая Грибцову.

Грибцов вплотную подошел к Замялову. Грибцов был новый человек в губернии и не знал его.

— Вы где работаете? — сурово спросил он.

— Заведующий отделом укома, Замялов, — ответил тот одновременно почтительно и самолюбиво.

— По каким же вы признакам определяете кулаков?

— Признак один, товарищ Грибцов: у кого много хлеба, тот и кулак.

Губы Грибцова тронула усмешка, но глаза его стали жесткими.

— Не новенькая теория! На левацком заквасе. Без наемного труда, дорогой товарищ, — добро наживают горбом. Без него и ростовщичества. Я рекомендую вам запомнить! — сказал он еще жестче.

— Что, клял небось власть? — спросил, улыбаясь, Грибцов, когда Зяблов, а за ним и его товарищ вышли на крыльцо.

— Не клял, — сказал Зяблов, — в семье не без урода, говорят. — И развязал кисет: — Нут-ка, табачку отпробуй, товарищ. Закурим мы с тобой!..

Домой Григорий наметом гнал через сумеречное поле, кутал голову в воротник — к вечеру опять находила вьюга.

В Волочке Григорий добыл самогону, выпил и погнал лошадь по мертвой ледяной дороге. Уже за первым поворотом Гнедая начала косить глаз и похрапывать — чуяла острый, раздражающий ноздри запах. Потом и вовсе пошло диковинное: хозяин дергал поводья, дрыгал ногами, кричал. А куда идти, не знала: она вправо, вожжи влево велят, повернет влево — правой тянет. Наконец Гнедая стала. Хозяин вылез, качаясь, взял Гнедую за уздечку, целовал ее теплые ноздри, к голове своей головой без шапки (в сугробе потерял) прижался.

— Гнедуха, ты ить меня знаешь. Едем, едем... домой. Намерзлась? То-то. А кто знает меня? — Кобыла жевала губами, глядела покорно на луну. — Ну, может, Марья и знает. Так баба, — засмеялся. — Ты не серчай:

с тоски бил тебя. Мне эта шушера батькина во как в печенках сидит! — И заорал: — Черт меня нюхал, чтобы я ему хребет на наделе ломал! Вот тебе, батя, выкуси! А кто ишо знал мою личность-то? — И заплакал, он пьяный всегда плакал... Гнедая, мотнув головой, потянула сани по накатанной дороге, трусцой побежала под знакомый уклон, так что Григорий еле успел прыгнуть в розвальни.

— Тпру, тпру-у! Кому говорю? — И утих, задремал, а Гнедая обросла инеем, ходко несла легкие сани, привычно угадывая дорогу домой по звездной туманившейся просеке.

III

Григорий на другое утро очнулся поздно; в затылок сквозь цветы в горшках слабо припекало неяркое зимнее рубиновое солнце. Столбы нарядной, радужной пыли стояли над половицами. Он быстро встал, оделся. Умывшись ледяной водой, почувствовал себя опять молодым и здоровым. Долго, внимательно причесывался перед зеркалом: жесткие темные, конские, как говорил горбун, волосы не поддавались гребенцу. Седина еще не пробивалась у него.

— Куда ты, Гриша? — робко спросила Марья, неслышно подошедшая сзади: стояла, любуясь его силой.

— В Бражино схожу, вынь фуражку и сапоги. Да, слышь, почисти их, смажь.

Ныне он был приветлив, мягок — притихший. Поел в прихожей один, налегке. Отцу, стругавшему в сенцах доску, сказал, что идет в Бражино по делу. В сенцах поймал на себе ехидный взгляд горбуна. И вновь поднялась в нем, в Григории, озлобленность против увечного, его умных, казалось, всевидящих глаз. Отец выглянул в дверь, наказал:

— Добудь соли да спичек.

Две версты опушкой Зимовной вырубки миновал быстро. В лесу — застойная тишь, ослепляюще резал глаза снег, по стволу кряжистой ели прыгала белка, заячий след кружевом уходил в продрогшую бель. Григорий засмеялся, закурил, рукавицей стер соринки с блестящих сапог, затем потер покалывавшее ухо. Фуражку ссунул на затылок, просторный лоб омыло ядренеющей стужей.

Давно не бегал он тут, не разорял гнезд, не жег кострищ, не валял в сочную, пахучую, сладкую траву девок! Быльем порастало прошлое...

Бражино — за осинником, за разоренной временем часовней. Ровная улица линейкой бежала в снежное мглистое поле. За ним, за полем, очень далеко миражно и сказочно проступали очертания лесов.

Сельсовет — в конце улицы, ветер закручивал и развевал вылинявший флаг над крышей. Когда подошел ближе, слышно было, как шуршало и пело полотнище, бросая на голубой снег кровавые отсветы.

Григорий, светлея лицом, снял фуражку, постоял мгновение под флагом, с обнаженной головой вошел в помещение сельсовета.

Загаженный летошними мухами, завернутый трубочкой с одного краю плакат «Смерть тирану Колчаку!» со стены бросился в глаза Григорию. За грязным, закапанным фиолетовыми чернилами столом сидел председатель Совета Сазонов и подшивал дратвой прохудившийся задник валенка. Сазонову было лет сорок пять или больше того, был он неровно, круговинами, выбрит, и знать, не бритвой, а каким-то железным обрезком или хорошо наточенным ножом. Он опустил с колен валенок, встал, протягивая руку.

— Привет и почтенье, Григорий. Я уже про все уведомлен. Телефон нонче утром ни с того ни с сего как заорет. Даже удивительно: до чего горластый телефон. Мне сообчили — тебе дело сдать и оставить тебя на сполнение должности. — Сазонов снова сел, откусил желтыми зубами дратву, надел валенок, притопнул и, удовлетворенный, продолжал: — Дяржи печать, исходящую папку, дяржи ключи ото всех комнат, от погреба, от конюшни. Дале — в сарае сено, дрова, два возка, три фуры и четыре лошади. Учти, товарищ Миронов: жеребец хромый. Охромел, дьявол, и невесть отчего. Должно, за живое задело, хотя копыто еще целое.

— Общее положение в деревнях? В смыслах хлеба?

— Оно вовсе хреновое, положение. Разверстку выполнить в той плановости, какую дал уком, никак невозможно.

— План этот имеешь?

— Уполне. Вот он, план.

Григорий внимательно осмотрел первый лист огром-

ной конторской самодельной книги, заляпанной кляксами и исписанной кривыми строчками. Против каждой деревни стояли цифры в пудах и кое-где красные галочки: они значили, что хлеб все-таки уже сдали.

Но Григорий перевел разговор и, нахмурясь, спросил:

— Теперя заглянем в корень культуры и трудового быта. Ты комиссию имеешь?

— Эт которую-то, товарищ Миронов, комиссию? По самогону, что ль?

— И по нему. А также по культуре нардомовской деятельности. Такая комиссия есть?

— По самогону действовала. Однако распустилась: вывелся самогон-то. Им и не пахнет — наскрозь по уезду.

— Надо хорошенько выяснить. Лекторская пропаганда есть?

— Читали в начале зимы лекцию «Буржуазный брак — враг семьи».

— Ну, это ясно — раз по расчету. Еще на картинке он нарисован, брак этот, — сказал Григорий и прошелся по комнате. Широкие ровные половицы нигде не скрипели, это ему понравилось. Хуже было — в пазах сруба торчали натыканные окурки, да еще стены голые, кроме желтой бумаги с лозунгом.

«Обживать придется как следует».

— Пискарев где теперь находится? Хата его где?

— Четвертая отседа. Вон, в садочке копается. Сам Ерофей Пантелеевич, собственной персоной. Он больше по садовному мастер. Он-то, промежду прочим, у нас на деревяшке.

Григорий поднялся и сказал:

— Пойдем с ним, с товарищем Пискаревым, ознакомимся.

Сазонов на крыльце припер дверь сельсовета колом.

Пискарев обматывал тряпками молоденькие яблони, их лепилось у него на огороде в снегу штук сорок, если не больше. Это был мужик маленького роста, с выпуклыми и широко раздвинутыми глазами и вздернутым носом, отчего лицо его, слишком белое, крахмально-картофельного цвета и заметно исковерканное оспой, казалось смеющимся. Ему было на вид лет пятьдесят или немного больше.

Оказалось, Пискарев Ерофей Пантелеевич заикался на трудном слове и еще заматывал головой.

Он отставил ногу и прищурился.

— Ну что, Иван, в кусты прячешься?

— Не по Сеньке шапка. Мне она, власть, во как, поперек горлу!

— А кому-у она ма-ать родна-ая?

— В наклад не всякому. Я на ней, на власти-то, ажно грыжу нажил. А выговоров сколь присобачили? Со щету сбился.

Григорий потрогал сизый ствол яблони, провел ладонью снизу доверху, тихо засмеялся. Своему чему-то и промолчал.

Сазонов начал прощаться:

— Пока, мужики, домой пойду.

— Четве-ертную-у вы-ыпьешь? По поводу?

— И выпью!

Быстренько пошел в подшитых серых валенках с черными задниками, пошел, почти побежал, маленький, узкоплечий, с длинными мотающимися руками.

«Власть!» — усмехнулся Григорий и повернулся к к сельсовету, а подойдя к нему, присматриваясь к обшарпанной двери, сказал:

— Упущение твое, товарищ Сазонов! Без расписания принимать мужиков и баб нельзя. Анархия получается. Листик такой я счас заготовлю.

IV

Уже подошли крещенские морозы, и зима была в самом разгаре. Все было так, как и в прошлые русские зимы: белый разлив снегов под синим лунным светом, умиротворяющая тишина лесов и полей, закиданные сугробами деревни. Жизнь и заботы этих маленьких людей, крестьян, что ложились спать и вставали на зорях, любя, ненавидя, радуясь и страдая, со всем чернотелым укладом их быта на первый взгляд, казалось, были такие же, как и при дедах, в незапамятные времена. Но в самом воздухе и в тридцатиградусном морозе, в сверкании снегов, в черной и беспросветной глуши мирской жизни поднималась и ширилась великая волна, значение и силу которой еще нельзя было определить, но

прибой ее ощущался в самых отдаленных углах земли. Эта волна должна была все изменить, повернуть к лучшему, потому что люди всегда ждут этого. И, проснувшись, молясь богу по заведенной привычке прошедших поколений, они просят его защитить их кров и их самих, дабы не иссяк людской род и рождались бы дети счастливыми и здоровыми. И они веровали в то, что именно так и будет: всякая вера ведь свята. А зимние ветры несли им стужу, тревоги с опустошенной гражданской войной русской земли, надежды весеннего революционного обновления — как восполнение их невозвратных потерь и ран...

Максим Золотухин со станции Сафоново в уездный центр Высоково пришел в обед. Восемнадцать зимних тяжелых верст легли за спиной. На редкость погожий и солнечный стоял день. После непогоды баловало людей февральское солнце; бугры, разбросанные по мелколесью поляны, черные деревеньки под сгнившими крышами, большак с еще не примятыми от последних снегопадов сугробами, осинники и березовые колки, кое-где ветряки да церквушки, тишь вековая; все было исполнено особенного смысла для него; иным, сказочно обновленным, едва узнаваемым, открывался ему этот родимый мир... Высоковскую церковь на шапке кургана увидел он за три версты. Синие луковицы ее купались в косо полыхавших лучах, неизъяснимо манили, тянули к себе. Большак выполз из обветренного ольшаника, спускался под уклон к закованному во льды Днепру. Потянулись драночные крыши: гимназия с фанерой в окошках, цирюльня купца Шешкина (он все помнил по прошлому), оголенные сваи снесенного моста. На тот берег он перебрался по льду, дразня завывающих собак пригородной слободы. Вскоре вышагал в открытое поле. Тоскующе и равнодушно пели над его головой телеграфные провода, словно милостыню просили старые нагие ракиты, глохлой тишиной встретил его лес на Длинной версте. Воскресил он в памяти давнее: пьяный отец в расстегнутой шубе вывалился из саней в сугроб, лошадь в кружевной оторочке инея, и он, девятилетний, елозит коленками, обмерзает. Кто их тогда спас?

Теперь каждый шаг приближал его к дому. На пово-

роте встретились две подводы. Мужик с передних саней, узкоплечий, с вывернутыми ноздрями, придерживая лошадь, спросил:

— Из которой деревни, солдат?

— Из Лукашовки.

— С хронту идешь?

— С него.

— Что же делать будешь, однорукий?

Максим улыбнулся.

— Она у меня за две сослужит. Вполне. Как-никак правая!

«Инвалид... Травы и той не накосишь», — Максим посмотрел на пустой рукав, ускорил шаги. Лес кончился, низкорослый сосенник и березняк, окрапленные тенями сумерек, уходили от обеих сторон большака, стушевывались на горизонте, и лишь далекий закатный луч детской улыбкой потухал на гребне древнего холма.

«Сейчас, сейчас, вон за тем бугром деревня...» Он протер кулаком глаза, поднял голову. Над ним шумели кроны трех старых елок около большака, средняя совсем одряхлела, с сизой изнанки нижних сучьев ему в лицо посыпалась белесая сухая труха.

Отковырнул кору — пахнуло смоляным духом. В хатах кое-где зажгли огни — четыре их светило в хуторе за Угрой, штук восемь помигивало по деревне. Где же ты, родительская хата? Та самая, из которой ранним утром он ушел семь лет назад? Или не Лукашовка это, или и в самом же деле он все начисто перезабыл? На дрожащих ногах спустился к Угре. На середине ледяные торосы, лозняк щетиной темнел по правому берегу. Под горкой валялся сломанный лубок. Перейдя Угру и поднявшись на берег, увидел: в окошке ярко вспыхнула и затрепетала в чьих-то руках лучина. И еще увидел: молодая баба, поправляя кофту, глядела в окошко, никого и ничего не видя в тишине, кроме своего горя. Ей отпущенного. «Это же Марфа Нифедкина! Она!» Как он все-таки узнал, даже с дороги, даже издалека! Однако ему нужно было спешить совсем на другой край деревни. Скорей, скорей! За хатой Кондрата Стрекалина такая же ветхая, скособоченная другая хата. Она! Цел был и плетень, и в лунном свете он увидел покосившуюся калитку, два подслеповато высматривающих оконца, оба заткнутых каким-то тряпьем. Холодным, ослепляю-

щим блеском сверкнуло чистое, не затянутое изморозью стеклышко в дальнем окошке, и в том и в другом тьма... «Невжели?..» Страшная мысль вырвала остаток сил. Запели, так знакомо запели под его ногами низенькие крылечные ступени! Слегка дотронулся — дверь протяжно растворилась, из нее могильный холод и тоска. Ощупкой и суетливо он нашарил холодную скобу, дернул — по старой памяти, — пошел. Почти не почуял жилого духа.

— Есть тут кто? Мамань?!

Кинулась в голову кровь, стало жарко глазам. Слева кто-то копошился, послышалось хриплое дыхание и тихий, заставивший его откачнуться и прижаться затылком к притолоке голос спросил:

— Кого надо?

— Мам... Маманька? — Максим шел на ее голос с вытянутой рукой. Обо что-то споткнулся, удержался за угол печи.

— Сыночек? Максим? Максим, сыночек! — Слабый голос исступленно звал его, и тогда сын нашел и сгреб в свою горячую ладонь маленькую и почти невесомую руку матери, прошептал:

— Свет-то у тебя есть?

— Лучинка в светце. Спичек нету.

— У меня есть... Ты погоди, погоди, мам... Разом я. — Ломал спички, зажег наконец лучину, подошел к полатям на дрожащих ногах.

Прикрытая дырявой шубой, мать лежала на спине около стены, серые втянутые щеки, светлые бровки на узеньком лбу застыли в тяжком ожидании и каком-то скорбном раздумье. И руки, руки ее, жилистые, иссохшие, с темными трещинками и старыми, нажитыми каторжным трудом мозолями, были такими легонькими, бессильными — казалось, она вся, мать-страдалица, ушла уже далеко, в другой мир, и он видит лишь тень ее. Максим осел на колени около полатей, прижался лбом к ее холодным рукам.

— Вернулся, сынок? Насовсем?

— Насовсем, как есть. Давно ты хвораешь?

— Слегла осенью.

— А что болит у тебя? Что болит?!

— Бог его знает. Вся ослабшая. Я, сынок, помру.

Он встал, лицо матери то приближалось, то уплыва-

ло и терялось, дробилось в сумраке, и лишь сейчас он почувствовал, как холодно в старой хате — стыло дыхание.

— Печку затоплю. — Громыхая, отодвинул заслонку, начал кидать в печь поленья, запалил пучок лучинок, подсунул их под дрова: взахлеб загудел огонь, запахло жильем, подобием какого-то людского уюта. Теперь при отсвете огня лицо матери казалось ожившим, и он швырнул в утробу печи последние поленья. На загнетке стоял чугунок, прикрытый сковородкой, он приподнял, заглядывая, — что-то там на дне его болталось, и пахло не едой, болотом.

— Что же ты ешь? — спросил он, боясь смотреть на нее.

— Осталось маленько картошек. Дарья Левцова, дай ей бог здоровья, кой-чего приносит. — Лукерью забил кашель, и сын бросился к ней, приподнял на подушке; она, откашлявшись, забегала руками по его пустому рукаву. — Без руки, сынок?

— Чепуха, мам! Нешто нету у меня силы? Проживем!

— Хата, сынок, худая. Как жить?

— Новую построю! Давай-ка поедим, мам. Сперва поедим!

Лукерья плакала; ее кормилец, ее сын, который столько раз снился ей в длинные-длинные зимние ночи, был в своей хате, рядом. Она немножко поела картошек с хлебом и солью, на бескровных щеках ее пунцовыми кругами выступил нездоровый румянец, плоская грудь хрипела. Откинулась на сенник. Губы матери шевелились. Она что-то шептала несвязное, свое.

Этот молитвенный скорбный шепот в пустой холодной хате, шепот уже сгоревшей жизни его согнул. Рука с картошкой не дотянулась до рта, кинул под стол, сгорбился.

— Стели, Максим. Не майся.

Он бережно укрыл мать старой ее шубой, своей шинелью и, когда притихла, заснула, на цыпочках вышел на волю. Белая полная луна сияла над деревней, высоко стояло холодное звездное небо, причудливыми холстами синели сугробы, и с другой стороны, за Угрой, наперекор всему в чьих-то неумелых ребячьих руках тренькала балалайка.

V

На малый сход собирались в просторной пятистенке Дымкова. Пили чай внакладку, за вечер опорожняли по два-три самовара с патокой, наваренной из бураков. Дымков, хозяин дома, всегда сидел в углу, под иконами, плотный, стриженный в скобку. Бабинцев Андрей, узкий, длинный, ростом под потолок, огненно-рыжий мужик, сидел рядом. С краю скамьи садился Макар Люшня, мужик с хориной мордочкой, кривоногий, от самого роду, как стал он себя помнить, не сносивший ни одной хорошей вещи и не видевший в жизни ничего, кроме худого. Говорить он любил по всякому поводу.

Старик Кондрат Стрекалин, сухой и длинный, то и дело шаркая под столом лаптями, кашлял: сидел он против Усинцова, сородича по жене, мигал на свет водянистыми скорбными глазами — нехорошо было человеку на сердце, когда направлял он на него мутный, налитый тоской взор.

Человек шесть-семь сидело еще по углам. Сходы были давними: и власть не власть, и не простые посиделки. В восемнадцатом этот же сход стариков перерешал действия комбеда Лукашовки, и как решали миром, так и было потом.

Тимофей Миронов опоздал: когда отворил дверь, уже плавал сизый самосадный дым, лицо Дымкова вовсе не было видно, лишь руки его неспокойно шевелились на скобленой крышке стола.

Бабинцев расправил газетную полосу, повел по мятой желтой бумаге уродливо полусогнутым указательным пальцем, продолжал читать простуженным голосом передовую статью в губернской газете «Рабочий путь»:

— «Крестьянский двор, огороженный забором и оторванный от всего белого света, двор, откуда российское самодержавие черпало себе рабов, — на нынешнем этапе нашей великой революции есть главный фронт, наиглавнейшая передняя линия...»

Люшня, прищемив ягодицу, поерзал на лавке.

— Погоди-ка трошки. Что-то не вразумею. Какой, стало быть, хронт? Ну-ка?

Дымков убрал руки и опять положил их на крышку стола, сказал:

— Мы, стало быть, мужики, самые нонче главные. Читай!

— «Десятилетиями складывалась бирючья жизнь русского крестьянина. Ничего, кроме скотской жизни, не видел он на своем веку. И как же дальше? Вот вопрос вопросов, к которому вплотную подошла наша революция. Или опять прозябание и невежество, ожирение кулаков-толстосумов, объявивших нам бешеную войну, или другой путь... Мы говорим об этом пути: современная действительность подталкивает крестьянство к широкому социалистическому переустройству. Здесь есть надобность разъяснить горячим головам, кто это великое возрождение видит только в одной земледельческой коммуне, тот становится, вольно или невольно, на неверный путь. Мы говорим — здесь и совхозы, и товарищества, и артели, и кооперация, которые в конечном счете приведут крестьянство к громадным и замечательным социалистическим переменам».

Под локтями Бабинцева скрипнул стол, он разгладил ладонью газету, сложил вчетверо и, как мину, отодвинул на середку. Дымков неподвижным взглядом глядел, как муха бегала поперек газетных строчек, испачканных липкими хлебными крошками. Каким-то чужим голосом спросил:

— Ну и што?

Бабинцев вытер подолом красный вспотевший нос, отпихнулся к стене, уморился.

Кто-то в темном углу сказал медленно:

— Не нашенского то ума.

— Нашенского али нет... рассудить надо. — Дымков подался к свету, выставил бороду, не понять его взгляд, какой: злой или потерянный?

— Кулаки-толстосумы — это какие будут? По какой мере делить-то? — мигая красными глазами на свет, спросил Усинцов.

— Али не знаешь? — засмеялся Бабинцев. — Сами сеем, сами жнем. Кто ж кулаки?

— Мы-то знаем. Ты нас с собой да со своим братом не равняй. Не прикрывайся: твой-то хлебец пахнет батрацкими руками!

Стрекалин подтвердил:

— Промеж нас разница, это верно.

Илья Лукашкин, закуривая, спросил:

— Выходит, приготована всем нам коммуна? Выходит, она?

— Нам ее бояться теперь нечаво, — заговорил Люшня. — Ить тоже, в рот ей дышло... проживем. Вам-то небось не способно? Скажи, я брешу? У вас скот, дворы, вам ее и бояться. — Он отряхнул сермяжную поддевку — лоскут на лоскуте, живого места нет и продолжил с непонятной бойкостью, все больше возбуждаясь: — Я отродясь не ел мясного. А ежели и коммуния, то нам один бес. Нам ей пугаться не следовает. И чего вы, мужики, обеспокоились? Вы при старой жизни мякину не ели и при теперешней не будете. Вы завсегда свое возьмете, а сумникам что при том рыжиме, что при этом — крути онучи.

Дымков, как ни сдерживал себя, стараясь казаться равнодушным к словам Люшни, как ни пятился в угол к самой стене, не выдержал — дотянулся, сгреб Люшню за грудки.

— Овечий хвост, лодырь! Мать твою так! Я в навозе сызмала, а ты?! Тряс худыми портками, клянчил подаяние. Лодырь бездомный! Али не вижу: до чужого добра руки протягиваешь. Вы из рода поганые такие, али мы тут не знаем? — Люшня захрипел, закатывая побелевшие глаза, но Дымков вцепился еще крепче. — Волю почуял? Ну-ка, выкуси! Дармоед, лежебока! — крикнул ему в раздутые, просмоленные табаком усы; глядели друг другу в зрачки по-собачьи. — Обиженного строишь? Да рук об тебя марать не хочу! А то бы... кхм... фу — нуль исделал.

Миронов Тимофей с усилием оторвал Дымкова, а Люшня с непонятной усмешкой молча насыпал из кисета в бумажку самосада и, не прикуривая, продолжая самоотверженно улыбаться, сказал даже с достоинством:

— Только гляди, гляди... Гляди, Игнаха! За грудки хватаешь? Ишо и тебя тряхнуть. Не возрадуешься!

Вышел он тихо, словно его сдуло ветром, но тут же просунул в дверь из сенцев голову, подмигнул безбоязненно левым глазом.

— Каркала ворона, да сдуру.

Усинцов, почесывая черную голову, проговорил:

— Зря, мужики, гложемся. Доля у нас у всех одна... Кобыла захромала, бороны рассохлись, крышу крыть надо... Это вон у Бабинцев под железом.

— Куда ж нас пихнут?

— С земли нас не сгонишь. И быдток не собираются.

— Тогда чего ж бояться?

На сходе долго сидели молча, больше никто ничего не сказал, и так начали расходиться.

Было лунно и тихо. На улице хрустел под лаптями снег, вились невидимые хрусталики изморози, голубым отливом сверкали сугробы.

— Вишь ты, вишь, — сказал сзади Миронова Федор Усинцов и покрутил головой, словно силясь продрать в воздухе зыбкую невидимую пленку: — Чудно было писано! Тимох? Ить чего вычитал! Нешто про нас?

— Поглядим, — отозвался тот не сразу.

— А Дымок-то как взвинтился!

— Он чужим не пользовался. Не братья Бабинцы. Дымков в навозе гнил, а тот чужой пот сосал. Горбом не нажил.

VI

На другой день после возвращения Максима домой матери неожиданно стало легче, и этот первый жалкий лучик, вдруг сверкнувший в полутьме прокислой хаты, такой обманчиво смутный и негреющий, все же несказанно обрадовал и обнадежил сына. Лукерья сама села на полатях и, рассматривая свои диковинно выболевшие тонкие синие ноги, повеселевшим голосом попросила:

— Почеши меня, сынок.

Жиденькие седоватые пряди он бережно расчесал деревянным гребнем, связал их в две тоненькие косицы. А были у нее густые и пышные волосы, он это помнил. Поймав его горький взгляд, мать сказала:

— Знать, не помираю пока, — и улыбнулась.

Ей захотелось сладкой клюквы. Он кинулся надевать шинель, нахлобучил шапку.

— Посиди, достану!

Обегал всю верхнюю часть деревни — ягод ни у кого не было. Не задерживаясь, не отвечая на вопросы, сходил в соседнее село Плосково, вернулся не пустой: добыл целый кулек клюквы. На скрип знакомых шагов Лукерья обернула лицо с полатей, рука задрожала — она что-то ела из чашки, которую принесла сосед-

ка — Лукашкина Прасковья, сидевшая у матери в ногах.

— Целую чашку съела, — сообщила Лукерья.

Прасковья поправила сенник.

— Завтра ишо куренка принесу. Молока кувшин, ты зайди, Максим!

За ночь он не сомкнул глаз. Около двенадцати пришел сосед старик Кондрат Стрекалин. К утру Лукерье сделалось хуже, начался бред. За окнами слезилось отмокшее в оттепели утро. Еще не развеяло хмарь — Лукерья вдруг затихла, что-то шептала провалившимися губами, он пригнулся, услыхал: «Пи-ить». Кинулся к порогу, пока зачерпнул ковшик, пока подносил — уже отошла, безропотно и тихо, как и жила...

Кондрат крестил стены и окна.

Теперь она лежала маленькая и усохшая, словно бы девочка, узенькие белые бровки туго сведены одна к другой над плотно склеенными веками, и лицо, и жилистые, тонкие, с высосанной без остатка силой руки были чужими, и вся она уже ушла от него далеко, далеко...

Маленькое тело ее обмыли соседки, Прасковья принесла чистую беленую рубаху, и кто-то повязал мать окрапленным черным горохом платком. Люди распоряжались, кругом стоял тихий, несуетливый говор, кто-то уже подвывал, когда подняли со стола мужики некрашеный, сбитый из обструганных досок гроб. Максим шел, не чувствуя ногами дорогу. Изредка дергал длинной шеей, поправляя пустой рукав.

Эти двое суток для Максима слились в одну беспросветную черную муть, в которой он бился обо что-то острое. Ни двора, ни запустения самой старой родительской хаты, ни людей, приходивших прощаться с покойной Лукерьей, он не видел; ходил, сидел, что-то ел, с кем-то разговаривал, будто в кошмарном и беспробудно затянувшемся сне...

На погосте стыла вековая тишина, громоздились кривые кресты на могилках. Над чьей-то скорбно слезился полувымытый дождями, вылинялый лик Христа. На часовне кричали вороны. Сухие и хриплые их крики вязли и глохли в снежном поле. Гроб открыли — старухи сейчас же, приподымаясь, начали тыкаться губами в холодный, желто-восковой лоб покойницы. Кондрат одними глазами спросил Максима: «Будешь?» И тот тоже гла-

зами ответил: «Нет». Ему было страшно прикасаться к тому, что звалось матерью, и он стоял несколько в стороне и вздрогнул, когда гроб опустили в холодную, вырытую в песчаном косогоре яму. Гулко застучали комки по крышке. Могила деда сровнялась с землей, так же как сгинули тут, на тоскливом бугре, отгороженном от сует жизни редкими елями, целые поколения крестьян с фамилией Золотухиных. И других также.

С похорон расходились суетливо и молча. На повороте дороги Максим оглянулся: на склоне погоста чернела часовенка, упиралась скорбным крестом в низко нависшую тучу — плакало небо.

Придя в хату, он прежде всего снял шинель, переобулся — сапог не снимал все двое суток, умылся. Повел взглядом по хате: битые черепки, материны опорки около порога, на гвозде связанные бечевкой овчинные рукавицы, цветы «огоньки» в окошках, какая-то желтая бумага под божницей. На печи выбиты заступки ее пятками — сколько раз она лазила туда, отогреваясь за трубой!

Вот и остался один во всем свете. Смертно жалко стало мать: в худобе выросла, ничего не видела, кроме лаптей, жизни убогой, проклятой. «Нательной рубахи даже не было!» — Вспомнил, как мать одевали в чужое. Стиснул зубы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Зимний, безветренный, с ручьисто падавшими наискось лучами солнца, занимался день. За Угрой сахарно сверкали сугробы, у излома реки чеканным серебром светился березняк. Максиму кланялся в пояс журавель на колодце, кланялись и встречные бабы, старики; он и верно дома!

Повстречалась Наталья Бабинцева — выросла, расцвела, как невеста, а была, как уходил в службу, пигалица, с табуретку ростом.

— С возвратом, Максим!

— Здравствуй, Наташа, — отозвался он, ныне уже не скислый, не зачухленный был, живой, но и не веселый. — Как живешь-то? — И зашагал, не ожидая отве-

та, по дороге. Она что-то ответила, он не расслышал, оглянувшись, заметил на ее девичьем лице, в глазах то ли недоумение, что он не остановился, то ли любопытство и даже сочувствие к нему и опять некстати подумал: «Невеста!..» Приостановился у ворот Мироновых.

— Григорий дома?

Тимофей Гордеевич чистил хлев, выглянул.

— Он в сельсовете. Спозаранку убег. Заходи, покурим.

— Некогда, папаша. Поспешаю туда же, в сельсовет.

Вот она, и Зимовная вырубка. «Бог ты мой, как же поредела!» С бугра открывался вид на Бражино. Плетни опоясывали дворы, наделы квадратами прижимались вплотную, сосед к соседу. Откуда-то потягивало дымком: с огорода ли, а то и из оврага — кострищем милым наносило так явственно! «А ить скоро весной дрям жечь зачнут. Эх, сторонка, край ты мой!» — И Золотухин улыбнулся.

За выгоном тоненько и звучно разными голосами тянули старинную песню девчата: «Молодая я была, молодая!..»

«Только у нас так играют песни. Ей-богу!» У сельсовета снег был истолчен в крошево, кое-где зеленело вытрушенное сенцо. Мохнатая лошаденка с облезлыми бурыми боками устало и равнодушно выбирала губами эти скупые сенинки, по худой хребтине ее сновали воробьи. В сенях — зипун, котомка, пары две связанных лаптей. «И такого нигде нет!»

Мимо Золотухина с крыльца сельсовета не сошли, а словно бы скатились одна за одной две женщины, высокая, с тощей, впалой грудью крикнула зло и хрипло:

— Надо в Высоково! Мы ему найдем указ!

Низенькая баба в тон ей поддакнула:

— Не с той, знать, ноги встал!

Мужик в лаптях и в шубе на сборках, вышедший из сельсовета следом за бабами, хитро сказал:

— Уметь надо. — И, подчеркивая эту свою мысль, стал засовывать за пазуху какую-то бумажку.

Тогда высокая пронзительно и злобно крикнула в окно:

— А хрена моченого он не нюхал?!

И низенькая, ободренная храбростью ее, тоже сказала:

— Указа нету!

Золотухин толкнул дверь и вошел в сельсовет.

Стол, за которым сидел Григорий, был тщательно выскоблен и вымыт; прежде запущенное сельсоветское помещение выглядело иным образом: было чистое и уютное. Пресс-папье лежало, и чернилка стояла на столе, тяжелая, металлическая. А на месте засиженного мухами плаката с недобитым Колчаком висел портрет Маркса, портрет Буденного на коне — у входной двери, на передней же стенке — Ленина и Энгельса. На фанерке, прибитой к матице, было крупно написано краской: «Не кури и говори тихо!»

Григорий встал навстречу Золотухину, не спеша одернул под опояской плотную толстовку коричневого цвета с двумя сильно оттопыренными карманами на груди, вышел из-за стола, улыбнулся и тем самым другой стал, простой и понятный.

— Наконец-то! А то я, брат, сегодня к тебе сбирался. Двое суток пробыл на совещании в Высокове, не мог прибыть на похороны твоей матери, — сказал он, протягивая руку.

— Здравствуй, Григорий!

Они стояли около стола и некоторое время молчали. А с улицы все еще доносились выкрики баб.

Григорий поморщился и сказал:

— Кругом разруха, ни черта нет. А народ просит: дай лошадь, дай дранку, дай денег. А где их взять?

— Ты когда вернулся, Григорий?

— Прошлой осенью.

— По ранению?

— Контузия была. Четыре месяца ослепший жил. Думал, крышка, а вот, обошлось. Максим! Тебе нельзя медлить, ни дня нельзя! Немедля включайся в работу. — И Григорий коротко рассказал об идее создания коммун, о том, что весь уезд, вплоть до глухих деревушек, должен жить и дышать ею, этой идеей, — так призывал их, партийцев, секретарь укома товарищ Востряков.

Золотухин, не отвечая, прошелся вдоль стены, будто прислушиваясь к поскрипывающей половице.

— Видать по всему — боевитый товарищ этот Востряков, — произнес он негромко.

— Да, брат, он, может, великий человек! Масштабная личность! — воскликнул Григорий. — Так ты не оттягивай — окунайся в горнило борьбы.

— Дай оглядеться, сперва хоть на партучет стать.

— У товарища Сурмаковой станешь. Она секретарь нашей ячейки. Женщина преданная и стойкая. Ее дом — шестой отседа.

— Весь уезд? — спросил Золотухин, несколько сбитый с толку, так как впервые слышал о таком деле.

— Планируем на будущность да на съезд, а пока неувязки — канителимся в одной нашей Бражинской волости.

Золотухин заинтересовался коммунами, стал выспрашивать о них:

— Что так?

— Палки, понимаешь, в колеса ставят. Народ маленько бузит.

— Маленько? — пристально глядя в глаза Григория, спросил Золотухин.

Григорий под этим взглядом тоже подобрался, ощетинился.

— Ну, народ всяк поворотить можно! — решительно отрубил он.

— Товарищ Ленин на Восьмом съезде не говорил об насаждении коммун. Вы тут, сдается, местную политику вкручиваете. Ну и как? Как оно на деле-то?

— Пока не так чтобы... Три коммуны лопнули. Я сегодня тебя направлю, как партийца, в помощь продотряду.

— А как с хлебом?

— Ты же знаешь наш тощий хлеб. Мужик волынил. Одно время силком хлеб брали...

— Партийцев в сельсовете много?

— Да какой! С тобой теперь четверо.

— Ты, Сурмакова, я, а еще откудова товарищ?

— Бывший продотрядник — товарищ Пискарев Ерофей Пантелеевич. Отседа его четвертая хата. На одной ноге сам. Мы, брат, все тут меченые.

Золотухин поднялся, застегивая шинель, сказал:

— Другие, Григорий, и вовсе гниют по полям, по разным оврагам. А с коммунами все ж таки гнете натурально не туды!

II

Последняя пегая кобыла Макара Люшни сдохла еще при царской власти. С тех пор другую не нажил: не смог. Сам он на куреве, куда сходились к дубам мужики, говорил так: «Земля на всех один крест кладет, а под старость обернется периной». Жил он у самого берега, от низенького крыльца — пятнадцатисаженный спуск с обрывистого крутояра. Вдвоем с женой жили, с Аникеей. Ей, Аникее, хотелось в молодости детей, о них она думала тайно и на людях говорила. Детей же не было. Макар эту грустную историю объяснял без излишней мудрости:

— А кто меня досыта кормил? Хоть бы раз? Хоть бы день?

Как он, без скотины, без лошади, выживал, трудно было понять. Даже в засуху выживал. В такие годы, когда и покрепче, сноровистее, и те кидались кто куда, кто в работники, кто на железную дорогу. В семнадцатом году Макар, нацепив лоскут красной материи, часто ходил выступать на митинги. Все речи он начинал одинаково:

— Бедняк — он всегда бедняк!

И кончал:

— Неимущий — он есть власть. Единственная и никому не подсудная!

Его однажды спросили:

— И ты могешь судить? Других? Сам?

— Уполне. Хоть сейчас. Я могу!

Про него говорили — балобошка, трава прошлогодняя, пустой человек, к работе и к жизни самой негодный. Другие помалкивали.

Миронов однажды сказал уклончиво:

— Кто его знает, что у него на уме? Человек что ветер: сегодня так дует, а завтра в обратную сторону.

Когда узнал Люшня о возвращении Золотухина, жилистый утиный нос его бойко зашмыгал. В хату к Золотухину он пришел в тот вечер, когда Максим ходил в сельсовет. Хорошо выпарившись в бане Нифедкиных, причесанный, в исподней рубахе, Максим сидел за столом. Сбоку стола — желтый потрепанный блокнот, карандаш, три книги, одна — огромная, захватанная руками — была открыта. В светце шипела осиновая лучина,

огонек освещал сосредоточенное лицо — Максим читал, прихлебывая из кружки остывающий кипяток. Он кивнул гостю садиться на скамью, по другую сторону.

— Проведать решился, думаю, как живешь...

— Кипятку хочешь? У меня и сахар есть.

— Сахар? И хлеб?

— Вон горбуха, режь. Возьми кружку на окне.

— Я, Максим, сахар во снах годов десять как видел.

Мелкое крепенькое лицо Люшни дрожало от какого-то внутреннего беспокойства, маленькие белые руки его возбуждали в Максиме чувство неприязни, но он пересилил себя, пододвинул Люшне горбуху хлеба.

— Угощайся: хлеб, видишь, фронтовой.

— Хозяйнуешь?

— Пытаюсь. Полный развал: не знаю, Макар, за что и браться.

— Да, ежели вникнуть, я сам еле жив. Сволочно, кхе!..

— Роптать стал, а был тихий.

— Возропщешь при такой-то жизни. Стало быть, и тебе, партейному, тот же удел, что и твоему батьке? Что и мне? Не густую ж тебе сподобили жизню!

— А кто мне должен что-либо давать? В долгу у меня вроде бы никого нет.

— Оглянись: кто-то и должен. — Люшня потряс латаными штанами. — Кто-то должен, кого-то пора уравнять. Пойдем и выведем с ихних дворов скот, реквизуем разом лишек всего, как у кулаков, у наших кровопийц!

— Кровососов я сам прижму. А мужик крепкий, хоть бы тот же Дымков, он с головой, трудяга, на полатях, как ты, не дрыхнет. Иди и не мешай мне постигать книги. Иди, не балабонь. Такой же ты, как и был, дядька Макар: чистый балабошка, ей-богу. Все ты занозишься, чего-то мудруешь. А посмотрел я на твой надел: смех, и не иначе! Земля запущена до последней степени, всюду кустарник. Что ж ты думаешь, хитрая голова, что хлеб тебе с неба насыпится сам, даром? Засучай рукава — берись за дело! Иль ты думаешь: ежели новая власть, то при ней тем, кто отродясь не любил работать, манку насыпят али еще какое богатство, так ты думаешь? Ничего похожего новая революционная власть делать не собирается, ни ломаной копейкой не поможет натуральным лодырям! Ты это заруби, Макар, на носу! Власть —

она для трудяг, а не для лодырей и также не для кровососов. Ты понял?

— Стало быть, и при нашей власти одне как ходили без порток, так и дале будут, а кто как купался в масле, так и останется? Стало быть, и вы, партейцы, не супротив такой власти, и чтоб для себя!.. — Люшня едко сорил словами, скупо посмеивался, и лишь по вздувшимся венам на худой, тонкой, жилистой шее, по сдвинутым бровям можно было догадаться, что разошелся он не на шутку. — Что ж ты помалкиваешь, али не правда? Рот раскрыл, а сказать тебе нечево! Ответить по существу. Али не правда?

— Это, к примеру, какие партийцы хочут такой власти и за-ради себя?

— А как же? Обнаковенно... Где жирно, там и оне...

— Да ты не лотоши, ты не заикайся, не виляй. Коль начал — давай пофамильно.

— Можно и хвамилию указать... — Люшня малость струсил и снова странно подергал портками, точно собрался их выставлять напоказ перед кем-то. — Гришка Миронов — власть! Он партейный. А за какие такие заслуги? Теперча стал у власти и ходит барином, в галихве, в сапогах.

— Гришка еще не партия. Ты, Макар, натурально одурманенный!

— Ну да: Гришка не партия, Сидор не партия, а кто ж партия? Оне, партейцы-то, аль особого складу? У них, может, нету на теле своих рубашек? Иль она им не дорогая, рубашка-то? Знаем мы вас, партейных! Тоже гуси рябые...

Как ни сдерживал себя, как ни крепился Золотухин, губы же сами собой прыгали, а из кармана солдатских штанов выскочил, будто камень, крепко сжатый кулак.

Люшня покорно наклонил голову — бей, пожалуйста, ударь-ка, такого, неимущего! И Максим разжал кулак, еле владея собой, тихо сказал:

— Видал трепачей, но такого не привелось!

— Когда сказать-то нечего, так начинают обзываться. — Люшня встал и, задирая оскорбленно ноги, тряся портками, пошел к порогу.

Все-таки он ему скоро понадобился, Люшня. На другой же день и понадобился. Утром.

III

За год до призыва на действительную службу Максим как-то столкнулся с Натальей Бабинцевой на речке: он приводил поить коня, а она купалась. Пронзительно взвизгнув, в чем мать родила, она кинулась в ивовые кусты и крикнула оттуда:

— Подойди только!

— А может, и подойду, да не сейчас, — пробормотал он и стал подниматься на берег, понукая лошадь и боясь оглянуться на нее. «Ежели она будет смотреть, когда оденется, в мою сторону, быть промеж нас ухажерству», — загадал он, всходя на берег; он быстро обернулся; внизу, между ивовыми кустами, ярко желтела кофта Натальи, — она стояла и, помахивая косынкой, смотрела на него.

Потом они имели несколько встреч, но расстались холодно, без клятв и обещаний. «Я пойду к ней свататься, так надо!» — сказал он себе на пятнадцатый день после похорон матери. И он не мог ответить себе, почему это нужно было делать и что же такое значила Наталья в его жизни. «Все семейство волчье». Но он чувствовал неодолимую тягу к Наталье. И он решился...

Двор Андрея Бабинцева стоял в хуторе крайним к полю. Старый, но неизносный двор: за высоким забором — сосновая пятистенка, крытый под одной вязью хлев и сарай, баня была на выгоне, за ней гумно. Злых собак Бабинцев держал за двором, в подклети, два волкодава сидели на цепи.

У Бабинцевых отстряпались рано. Семья: дочери — Наталья и Аграфена, старуха Варвара, сын Михаил и сам, старик. Завтракали сытно и много. Еду хозяин не жалел. Говорил: «Не поешь — хомут не наденешь». Три дня назад освежевали барана: что же делать-то — великий пост, а надо — постом посидишь на голых щах-то, жизни не возрадуешься.

Девки вылезли, направились к кроснам *, но их остановила мать:

— Седне скресенье. Забыли?

— Мы, мам, позабылись, — Наталья, полусонная, млявая, потянулась.

* Кросны — ткацкий ручной станок.

Вдруг старик сказал:

— Глянь-ка, гости!

Во двор уже входили — Золотухин впереди, застегнутый, с ремнем на шинели, в чищеных сапогах, и Люшня сзади — в драном зипунишке. «Зачем их несет?» — только и успела подумать Варвара. В сенцах заскрипели шаги, двери запели — вошли. Золотухин, тряхнув головой, подул на замерзшую ладонь, чуть поклонился, сказал:

— Здравствуйте, хозяева! Не прогоните?

— Здравствуйте, проходите. Чай, мы не варвары, — сказал старик, жестом руки показывая на лавку.

И когда прошли к столу, Люшня заметно покачнулся: почувствовал запах жирной тушеной гусятины и еще чего-то приторно-сладкого, волной распространяющегося по дому.

— По какому случаю-то? — спросил их хозяин, разглядывая Максима и примериваясь, опасен он для жизни или же нет, однорукий этот, вернувшийся в деревню человек?

— Не приторапливай, Ондрей, — подмигнул Люшня. — С делом мы.

— Пошто? У тебя — и ко мне?

— Не так что у меня, а так... в округлости... Ондрей, так-то вот, так-то, сокол мой, не дуже-то...

— Запел козью песню! — сказал с настороженностью Бабинцев.

«Дома Наталья аль нет? Дома?» — вот что решал сейчас Золотухин. Будто в поле летом, меж луговой травы, меж цветущего хлеба сидел он, зной и запах самой здоровой сладости впитывал и им же наполнялся весь... Вдруг встал, шагнул к дверям, сказал:

— Наталья... ты ее кликни.

— Да по какому случаю?

— Дай оглядеться-то... Давно я не был у тебя, Ондрей. Печь беленая... И чисы? Видал-то, Максим, — чисы ходют! Скольки ж оне, к примеру, по нонешним-то временам? — спрашивал Люшня в козлином восторге; по виду безмятежный был, в душе же трусил, боялся он этого двора хуже волков на зимней дороге.

«Другой свет у него. Хорошо живет!» — думал Золотухин.

Варвара убрала в маленький, блестящий полировкой

шкаф посуду со стола, закрыла стеклянную дверцу, ключ засунула куда-то в складки сарафана. Затем спросила нелюдимо:

— Че, значит, надо?

— У вас вон невеста, у нас женишок есть... Какие, хозяин, виды на свадьбу? Не сговоримся, а? — спросил Люшня.

Варвара заметно вздрогнула, от испуга или от гнева, не понять было.

Хозяин сказал неопределенно:

— Не к спеху нам... Али перепелок у нас мало в деревне? И также по всей прочей земле?

— А ты-то тут пошто крутишься? — подняла негодующие глаза Варвара на Люшню.

— Старуха, не лезь. Кличь Наталью, — распорядился Бабинцев, хмурясь и что-то обдумывая.

— Наталья, а Наталья? — позвала брюзжаще мать.

Наталья несмело вошла, смущенная и румяная. Золотухин торопливо поднялся ей навстречу. Они, взволнованные, молча стояли посреди комнаты; Бабинцев совой глядел на них, сказал:

— Сваты, Наташа. Решай! — И отвернулся к стене.

— Да я ж не знаю... Я же, папаша, не собиралась. Платьев же не шили. И не хочется пока...

Варвара всплеснула руками.

— Вот и весь сказ!

— Не весь, — вмешался в разговор Люшня.

— А ты сиди, недоделанный! — одернула его Варвара.

— Твоего слова нет боле? — спросил Бабинцев дочь и, довольный, засмеялся.

— Папаша... ей-богу же. — И Наталья ушла за дверь, туда шмыгнула и Варвара, там стали шушукаться, и слышно было, как что-то говорила невпопад Наталья.

«Встречу нашу, должно быть, вспомнила», — подумал он. И Золотухину неожиданно стало весело, как будто разгадал какую-то тайну. Посмотрел Бабинцеву в лицо, старообрядческое, с огнистой бородой, удлиненное, хитрое, с выпуклыми зеленоватыми глазками, оно, как из рыжей рамы, глядело на него и тоже смеялось или, вернее, подергивалось гримасой...

Минут через десять они вышли ни с чем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Из сумеречных холодных полей тянуло первобытной стужей. По пустынной дороге упорно продвигалась упряжка. Худой, высокий, остролицый, в очках парень сидел на хлебном мешке и правил парой лошадей. Старая солдатская шинель его, в которую он кутался, должно быть, плохо грела. На лице парня было выражение страха; он открывал для себя в поездке целую новую и невиданную страну. Несмотря на холод и мытарства дороги, он находился в состоянии мечтательности или каких-то отрадных и слишком дорогих ему воспоминаний, как бы сравнивая с тем, что было теперь. Другой человек, шедший рядом с санями, очень крепкого, плотного сложения, с широкой спиной и грудью, в порыжевшей старой кожаной куртке и буденовке, с грубым скуластым лицом, наоборот, был непреклонно энергичен и деятелен. Видно было, что эти тяготы ему привычны.

Где-то далеко, на темных болотах, слышался протяжный волчий вой, разносившийся по равнине поля. Фамилия шедшего рядом с возом человека была Бучкарь. Федор Трофимович Бучкарь по своей родословной выходил из кубанского казачества. Но родимые места он покинул подростком, уехав в белый свет на заработки и испытав много тягот бездомного мастерового. Судьба его сложилась так, что в сорок семь лет он не имел семьи, но не потому, что ему нравилась холостяцкая жизнь, — скорее это получилось вследствие его натуры: он поклялся отдать свою жизнь за освобождение пролетариата. На этом пути он был отрешенным от личного благополучия и счастья и не хотел для себя иной судьбы. Он вдруг, совершенно неожиданно, расщепил в скупой улыбке замерзшие губы и ласковым голосом произнес:

— Сон я нынче, Петр, хороший видел. Славный такой сон! Будто я, молоденький, женился! — Он замолчал и еще радостнее улыбнулся, отчего, к удивлению сидевшего на возу парня, лицо его сделалось мягким.

«Может быть, он добрый, славный, я ведь его совсем не знаю!» — думал парень, прислушиваясь к скрипу саней.

Вечерело. Крыльями поднималась пурга. Вскоре она

заметно стала сбавлять силу, через дорогу переметывало лишь белые струи, затихал и ветер. Низом стелились кустарники; над мутным полукругом лесов на горизонте неярко светилась фиолетовая одинокая звезда.

Часа через полтора выглянувшая в просвете туч луна кинула желтый зыбкий свет на горстку хат, нескладно разбросанных по берегу. Около первого же двора Бучкарь остановил коня, подошел к заиндевевшему окошку, постучал. Минуты через три там вздули огонь.

Чья-то согнутая пополам тень метнулась за стеклами. Бучкарь вернулся, взял вожжи.

— Лукашовка. Четвертый двор вон в том хуторе, где ярко горит огонь, председателя сельсовета.

На стук в дверь вышел старик хозяин. Оказалось, Григория нет дома и не обещал быть: заночует где-то.

Бучкарь хотел было загонять подводы на его двор, но передумал и спросил, которая хата Золотухина.

— Езжайте вниз, над речкой стоит.

Морозно звякнул за спиной Бучкаря дверной запор.

Максим взбивал тощий материн сенник, готовясь ко сну, уже в одном исподнем, когда послышался лошадиный храп около сенец и тотчас — приглушенные голоса.

В дверь, которую он не запирал на ночь, постучали, он крикнул негромко:

— Входи!

От приезжих пахнуло ветром и снегом.

Первым вошел коренастый Бучкарь, протянул холодную, большую, каменно-тяжелую руку, спросил, потягивая жадно носом избяное тепло:

— Ты будешь товарищ Золотухин? Член РКП?

— Да. А вы кто сами?

— Я командир продотряда Бучкарь. Он член отряда Семенков Петр. Ты назначен в наш отряд по изъятию хлеба в данном сельсовете.

— Кто назначил?

— Губпродкомиссар товарищ Войский. Днями вступивший в должность. Где тут у тебя повесить одежду?

— Вон гвоздь около двери.

Лучина озарила широкое, плохо бритое лицо Бучкаря с крупно выступающими скулами и просторным, с нависшими дугами бровей лбом, четко высветился поперечный шрам на левом виске, где крупчатой солью сквозила седина. Он снял кожанку, буденовку; слипшиеся

клочки седых волос обнажили неровности просторной головы; широкие плечи и грудь производили впечатление большой силы. Сел, спокойно положил громадные кисти рук на стол, потом правой уперся, откинулся корпусом назад к стенке и, посидев с минуту с полуопущенными набрякшими веками, приоткрыл их — ореховые, остро блестевшие зрачки его уперлись в пустой рукав Золотухина. Усмехнулся одними глазами, остальная часть лица хранила сосредоточенную озабоченность. Семенков, худой и тонкий, почти мальчик, тщательно протирал запотевшие очки, с нескрываемым любопытством ребенка, близоруко щурясь, разглядывал хату и ее хозяина.

— Что же сидишь? Покормил бы гостей. В рот не брали ничего целые сутки.

— Есть малость, ребята, картошек в мундире и хлеба. А больше ничего нет.

— И то дело, давай, товарищ Золотухин! — сказал Бучкарь, наслаждаясь теплом и покоем.

Когда с картошкой покончили, когда только утолили голод, Бучкарь испытующе взглянул в глаза Золотухину и, продолжая смотреть в них в упор, медленно вытащил вчетверо сложенную губернскую газету «Рабочий путь», развернул и бережно разгладил ее.

— Читал? Как раз завтрашнего нашего дела касается.

— Нет, пока не пришлось.

— Тут вся наша линия на нынешнюю обстановку, товарищ Золотухин. «Продовольственная разверстка, видимо, подходит к концу, но это не значит совершенно, что после нее мы должны отказаться от наших воззрений на кулака и на жиреющую прослойку подкулачников», — прочитал Бучкарь и остановился, как бы давая возможность Золотухину осмыслить. — «Ограбь кулака! — читал он дальше, — непременно ограбь. В смертельной схватке ты должен твердо знать: кулака необходимо давить, как гидру, опутавшую миллионы полуголодно живущих бедняков — тружеников. Придави этого вампира без всякого сожаления! Нет у тебя сердца, товарищ из продотряда, при расчетах с кулаком, нет и не должно быть ни в коем случае. Врагу и кровососу мы покажем наган! Советская власть — она не бабка-повитуха, она не позволит кучке вампиров сосать кровь из трудового народа. Есть у нас критики, подвергающие атакам дей-

ствия наших героических продовольственных отрядов. Они не видят: кровь на руках у мироедов. Через них, презренных, шагнуть в великое и процветающее общество — в социализм. Ради него, товарищ, не бойся действовать и наганом. История — судья, и она нас оправдает. Хищников бьют, их не воспитывают. Ты, товарищ, знай: проявишь нынче малодушие и слабохарактерность к кулаку, не заметишь тяготенья к наживе середняка, — тогда ты слепец! Тогда ты, хочешь или нет, тоже его пособник. Три дня назад продотряд, возглавляемый товарищем Черненкой, проявил мягкость к кулацкому элементу в Осиповской волости. Черненку исключили из партии. С другой стороны, в мятежной Стародубской волости товарищ Разуваев превысил власть, за что он сурово наказан...»

— Бумага крутая! — Золотухин засмеялся и тоже в упор посмотрел на Бучкаря. — По отношению к кулаку натурально правильная. А к трудовому середняцкому мужику?

— А ты, товарищ, думал в зубы заглядывать ему? Но дело укажет. Схлопочи ночёвку. Подушек нет? Так...

— Умащивайтесь, кто где, а также абы как. Я присмотрю лошадь и воз, — сказал Максим, накинув на плечи шинель.

II

Первым от сна оторвался Бучкарь. В окошках еще не брезжило, лишь смутно синело. Во тьме он нащупал ногу Семенкова, стал трясти ее.

— Вставай. Буди товарища Золотухина.

Вздули огонь, зажгли лучину. По полу, как в сарае, ходил сквозной ветер, не попадал и зуб на зуб.

Золотухин посмотрел в окошко; туча прикрыла луну, по деревне не виднелось ни единого огонька.

— Не обождем? — спросил он.

Глаза Бучкаря неестественно остро блестели. Он мягко и бесшумно ступал в своих подшитых валенках, будто к кому-то подкрадывался.

— Нет, товарищ Золотухин, в самый раз. Медлить нельзя ни единой минуты! Бучкарь вынул из кармана наган, продул ствол, ладонью стер табачную пыль, положил обратно. — Петр, список при тебе?

— Да.

— Давайте обзнакомимся, — прислушиваясь, Бучкарь вдруг сказал: — Слышите? Поскакал? Поскакал кто-то? Сволочь!

Семенков вытянул шею.

— Не-е слыхать, тебе показалось.

— А клопов у тебя, фу! И Петр вон красный, ухи горят. Товарищ Золотухин! Тебе известно всеобщее хроническое голодание пролетариата? И Красной непобедимой Армии?

— Уполне.

— В укоме нам дали список. Вот. В Лукашовке сорок шесть дворов?

Золотухин, просмотрев список, вернул его.

— Плюс пять на хуторе. Дурак писал, что ли?

— Хорошая постановочка! А что? Конкретно, по списку?

— Тут явная хреновина! Превышены нормы лишек.

Молчавший до сих пор Семенков сказал:

— Список подгоняли огульно.

Бучкарь до ушей натянул буденовку, деловито застегнул металлические пуговицы своей куртки, спросил тихо и властно:

— Кулаки тут кто?

— Есть. Два брата Бабинцевых. Грабители вне сомнений.

— Так! — удовлетворенно сказал Бучкарь и загнул указательный палец. — Еще?

Бучкарь поставил в тетрадке жирную красную галку; тонко заостренное жало нависло над другими фамилиями.

— Других, кто бы держал батраков и сдавал в аренду сельхозинвентарь, нет. Хороший хозяин на своей земле, на наделе — он не кулак, а трудящий, — сказал Золотухин.

— Смотри, Петр, кроме дележа, постановленного революцией: кулак, середняк, бедняк, — дорогой наш товарищ дает еще новую теорию: хозяин! А середняк — он есть в деревне?

— Дымковы, Лукашкины, Ведерниковы, Мироновы — они, верно, середняки. Другие — беднота.

— Как же мы будем изымать у Дымкова?

— Я думаю, товарищ Бучкарь, по справедливости.

Без излишних вышибаний прочего добра. Дымков с людьми связан, ему верят. Ты учти, Бучкарь, — после разверстки деревня еще должна жить. Себя кормить, тебя тоже вон с товарищем Семенковым и Вострякова кормить. Хотя бы даже и самих вождей. Оне тоже не святым духом сыты: едят хлеб, хотя бы и оне.

— Товарищ Золотухин, мне сдается, трусишь ты — мелко и позорно! А может, пролетарская диктатура не снится тебе во сне? Коллективные действия преобразят мир. Должны, обязаны!

Гуськом вышли на улицу. Еще было темно и глухо.

Ни луны не было, ни звезд, морозная мгла окутывала деревню. Собаки даже не брехали.

Остановились посреди улицы, послушали тишину. В хлеву во дворе Ведерникова, поблизости, слышны были кротко-безмятежные вздохи коровы.

— Откуда начнем, товарищ Золотухин? С какой хаты?

— Хата — она любая. Но начнем с собрания. С него начнем. Товарищи! Без собрания нельзя. Я заявляю: при собрании, на общем сходе зачесть список, сколько кому отсыпать пудов.

Бучкарь поковырял носком валенка снег.

— Петр! — сказал он. — Приклей вот на данный сарай наше воззвание. Товарищ Золотухин, оно, воззвание, к трудовому крестьянству лучше всяких уговариваний. Дойдет до народа своим смыслом. Дойдет!

Семенков вытащил из потертого портфеля большой шероховатый лист, побежал, приминая сугроб, укреплять бумагу. В портфельчике и молоток был, и гвоздики с большими шляпками. И оно гласило, воззвание:

«Твой хлеб будет отправлен доблестным бойцам Красной Армии. А также рабочим, голодным, изможденным. Крестьяне! Герои-красноармейцы, то есть сыны рабочих и ваши сыны, своими жизнями заслоняют от юга до севера, от запада до востока нашу кровную революцию. И вы, как трудовое крестьянство, должны дать добровольно хлеб! Дайте! Голыми руками, разутые, голодные, мы все же удержим Советскую власть. Любыми жертвами все же удержим. Накормите борющихся борцов и героев!»

Семенков вернулся на дорогу, торопливо застегивая портфель.

— Вот это лучше! Несравненно лучше! — сказал довольный Бучкарь.

Когда отъехали к околице деревни и уже светало, на сарай кто-то примазал теплым тестом другую бумажку:

«Чаво мы будем кормить паразитов и докуда? Долой!»

III

Первой оказалась хата Ильи Лукашкина. Новая пятистенная, куда днями перебрались в еще пахнущую стружкой и не отделанную как следует. На воротах у него стояли петушки, деревянные, друг против друга, два. Золотухин и Бучкарь вошли следом за подводой. Семенков ее развернул у крыльца.

Гостей встретил сам хозяин. На них же и на подводу широко перекрестился, весело сказал:

— Давно ждем.

Бучкарь сильно удивился:

— Сознательный! Товарищ Золотухин, видишь, и мешки уже приготовили.

Лукашкин махнул на них рукавицей.

— Забирайте! Тут все, что могу дать.

На крыльце стояло два мешка жита, а в сенцы вела жидко притрушенная, ниткой вьющаяся стежечка. Бучкарь, проследив, где она терялась, спросил:

— Больше нет?

— Не могу больше! — Лукашкин, прижимая потные ладони к груди, прислонился плечом к дверному косяку.

Бучкарь странно засмеялся ему прямо в бороду, близко посмотрел в зрачки... и пошел. Тяжелый — медведем — в глуби сеней погремел кадушками, слазил на чердак и... откуда-то выволок огромный, пудов на шесть, мешок.

— Товарищ Семенков, пометь, — сказал он, довольный. — Пометь вот и этот!

— Зря берешь, — сказал Лукашкин, разглаживая морщины на мешке, задумался. — Ты ведь не знаешь, парень, как хлеб сеют. Не знаешь, не бери. Я бы тебя попросил оставить мне этот мешок! Чужое кто раз возьмет, тот другой раз потянуться захочет.

Лукашкин обошел вокруг шестипудового мешка, побил в него носками лаптей, покрякал, одна бровь у него

взъерошилась, другая глаз прикрыла, и ухо шапки, заломленное, тоже торчало кверху, а другое книзу было опущено. Руки, кривые, полусогнутые, искали опору какую-то: когда они держали что-нибудь, топор ли, лопату ли, или же плуг, навильник, тогда мышцы напрягались, силой играли. В бездействии слабые они были руки, и слабые и ненужные. Рыжий, совсем огненный мужик был этот Илья Лукашкин. Единственный в деревне, кто сам, а не баба, корову доил. Бывало, ни свет ни заря бежит вприпруску на выгон с бадейкой. Корова охотно подставляла под его ладони вымя, и ни один сосок не потрескался. Ни у той, ни у другой его коровы.

— Давайте, товарищи, накладывать. Его, шестипудового, нынче в Питере ждут. Пролетарские массы.

Золотухин положил руку на плечо Бучкарю: тот этого не любил — панибратства, сейчас же резко сбросил.

— Оставим ему мешок обозначенный. Товарищ Семенков, ты присоединись к моему мнению, — сказал Золотухин, а когда кивнул, тогда он добавил: — Ребята, сволокем его обратно. Ну? И втроем: Семенков, Лукашкин и он — подхватили и понесли мешок на чердак.

Бучкарь, путаясь руками, выхватил наган, но остыл, подержал его, сунул обратно и, круто повернувшись, пошел с крыльца к подводе.

IV

За воротами Бучкарь решительно сказал:

— Я здесь старший, товарищ Золотухин! И вы оба мне подчиненные!

Золотухин согласился:

— А кто у тебя отымает власть?

— Этот мешок требовалось брать!

— Самая наихудшая была бы ошибка. Разве ты не понимаешь?

— Жалеешь?

— Нет, товарищ Бучкарь, уважаю, хлеб уважаю, для жизни добытый. Слезами. Разверстка ведь утверждена, и мы не можем брать сверх ее.

— На поводу пошел? У стихии, у крестьянства, Золотухин, на поводу? Да он сроду, от пеленок, крестьянин, одним глазом в берлогу заглядывает! Мужик рабо-

чий — он наш, а хозяин — буржуазный придаток, с ним еще много надо крови попортить, чтобы к революции повернуть...

В следующую хату пошли втроем. Такая плохонькая, махонькая чернелась халупа, из сугроба торчала одна крыша с трубой. Из нее, из трубы, цедился дымок, не пахло ни щами, ни хлебом. Ближе к крыльцу окошко неумело забито было досками, концы торчали и так и этак, гвозди выпирали, словно зубы в щучьей пасти. Под сумеречным небом криком кричала раздерганная крыша, соломы осталось на стропилах чуть-чуть, конек совсем оголился, торчал горбом, милостыню просил. Сенец — их и вовсе не было: через хлевушок с голодной козой можно по доске пройти к перекошенным дверям. Сквозь стропила сыпал снежок. Заиндевелая коза, безразличная ко всему, жевала что-то. Трое голопупых ребятишек — один за одним, держась за руки, выскочили из хаты по нужде. Пихаясь, юркнули обратно.

В халупе жила Фекла Косухина, самая бедная в деревне, с четырьмя детьми. Муж ее умер перед самой германской войной. Поехал в лес, попал под срубленную березу, сумел вползти в сани, а в дороге кончился — лошадь и привезла к хате уже мертвого... Фекла встала с полу навстречу гостям: плоская, со втянутыми щеками. Детишки залезли на печку: галчатами глядели оттуда.

После того как поздоровались, Максим спросил:

— Как же живешь, тетка Фекла?

— Живу я, Максим, по-помещицки. — И засмеялась.

— И даже не горюешь?

— А горе али красит, Максим? Чудак! Бог терпел и нам велел. Бог-то бог, да и сам не будь плох. А мать твоя маялась, долго ты шел-то, сынок! Ай длинная дорога, куда заносило-то?

— Далеко, тетка Фекла. Хлеб ты когда ела? Настоящий хлеб?

— Когда? Да как бы не сбрехать: в прошлом лете-то ела? Нет, кажись, ишо в том лете, в позапрошлом.

— Вот ведь! — сказал горестно Золотухин. — Россия наша, матушка наша, вот ведь.

А когда вышли, еще раз на улице сказал:

— Вот ведь!

Бучкарь прикурил от семенковской папиросы свою потухшую цигарку, затравленно огляделся, и, когда за-

говорил, в голосе у него зазвучала железная, твердая непреклонность:

— Ты жалельщик, Золотухин, товарищ! Революция на краю ямы. Ты что — газет не читаешь? Не моги на меня так смотреть! Вы оба. Нюни распустили? Перед стихией? Тогда трусы и подлецы, мать вашу! — Сжал вожжи, тронул, и воз заскрипел.

А Золотухин и тут удивился, как и в Феклиной хате. Людям удивлялся он. Сильно.

V

Между тем медленно подвигались с северной стороны деревни в южную ее часть. До обеда обошли половину дворов. В обед с нарочным из сельсовета и с другой подводой, присланной Григорием, увезли шестнадцать мешков ржи.

Разговаривая, подъехали к Бабинцеву двору. На дубовых воротах с обратной стороны был примкнут на замок железный засов. Бучкарь сейчас же заколотил кулаком. Открывать вышел несколько погодя сам хозяин, Андрей Ерофеевич, в нагольном полушубке.

— Хлеб! — сказал Бучкарь посторонившемуся Бабинцеву.

— И долго еще будете брать? — спросил Бабинцев, часто мигая. — Как у себя в анбаре?

— Пока ты живой.

Прошли к амбару, на просторной, пестрой от солнечных лучей подклети закурили, пока хозяин отмыкал пудовый замок, отдирал со скрипом дверь — не хотела открываться. Все трое потянули носами — сладко пахло житом. Сладко, до головокружения. Угадав их состояние радости, Бабинцев круто повернулся в обшитых кожей валенках, спросил хрипло:

— Хорошо грести чужой-то? Не пыльно? Не парко? Нате вот, вот!..

Насыпанного жита стояло два только мешка. Заглянули в закрома — они были пустые.

Окинув глазами амбар, Бучкарь сказал:

— По-кулацкому возьмем, гражданин Бабинцев! По нему. Дурачком не прикидывайся, не играй в середнячка!

Неопределенная усмешка, очевидно обозначавшая одновременно и злобу и бессилие, тронула сухие, черствые губы Бабинцева, он шепотом спросил:

— Окончательно вписали? Бесповоротно?

— Гражданин! Ты нам феньку липовую не вкручивай, где хлеб? Показывай! Ну?

«Интересно, что сейчас делает Наталья?» — думал Золотухин, отвлеченно и словно сквозь сон воспринимая голоса в амбаре.

— Хлеб?!

— Нету. Стрели, убей!

Стали выходить один за одним, пригибаясь в низких дверях. Последним — Золотухин. Он в уме план построил: амбар оглядеть снаружи. Могла еще быть потайная дверка под самой подклетью. А с какой стороны? Так, вразвалочку, прошелся туда-сюда. Мужики амбары и подклети строили глухой стеной к открытому полю, к северу: чтобы снегу надувало меньше. Ну, с теплой, затишной стороны — тут на виду! Плохой тот хозяин, кто не построит подполье. Завернув за угол, Золотухин глазами побежал по ровному, сахаристо-хрустальному горбу сугроба. Красивый был сугроб! Птичьи лапки узором расшили самый гребень, крупчатый снежок девственно и первозданно белел у самой стенки, бурый сухобыл метлой торчал от стенки в одном шаге. «Здесь? — И ответил себе: — Да!»

— Лопату, папаша! — весело сказал Бучкарь.

Бабинцев стоял столбом, не двигаясь. Тогда Золотухин лопату нашел сам: под ступеньками амбара. Быстро разгреб снег, острие лопаты звякнуло не так глухо, как о землю, и он напряженно обернулся, сказал:

— Есть!

Как сдвоенное эхо, повторил и Бучкарь:

— Есть!

Погребок был глубокий... Восемнадцать мешков, сложенных штабелем, вынесли и уложили на две подводы.

Бучкарь расправил под тужуркой на гимнастерке ремень, застегнулся наглухо, под самое горло, вытащил наган и сказал:

— Именем Советской власти ты, кулацкий гад, арестован!

Золотухин взял его за локоть, отвел в сторону.

— Товарищ Бучкарь, ты поостынь трошки.

— Я заявляю: арестовать и немедленно передать Чеке. Товарищ Востряков мне дал личные указания.

— А товарищ Ленин не давал. Ты что — хошь пепелище тут оставить? Поделил народ на тружаков в городе и на деревенских? Откудова эта необузданность? Охолонь трошки, убери наган. Тут им не возьмешь. Засадить мы его, сволочь эту, завсегда успеем! А вот искоренять сейчас, как класс, под иголку — это ты брось! За это и тебе и мне ухи обрежут. Не пришло время скоренять, власти ему не дадим, а хлеб возьмем, пущай не рыпается.

VI

Огородом Дымков спустился под берег Угры, по хрупкой снежной осыпи вышагал в настылый завороженный ельник. Сел на пенек. Ничего ему не хотелось: ни хлеба, ни двора, только бы покой этот на старости лет. В ушах еще стоял крик дочерей и жены Лизаветы. Сама дура и дур народила. Александра, меньшая, одна вызывала некоторую отцовскую жалость. Сыновья — Афанас, Иван — черт те куда глядели косыми бельмами, только не на хозяйство, не на двор. Беспутные. А Михаил пропал, где теперь он? Сгинул на мировой войне. Любил ли его, Михаила? И лицом в него, в отца — угрюм, диковат еще с детства был. Жена его Марья точит кроличью надежду, ждет и пришлой живет во дворе... Ночью мужики набились в хату — хозяева, не голодрань: совета пытали — опять эта разверстка. Ничего он не сказал им. Одно сказал только, выпроваживая: «Не советчик я боле, ребяты, забудьте». Как снял камень с груди! Легче ему стало утром, когда встал, себе удивлялся: «Пущай головами думают, черти!» Сам рушил свою былую власть в деревне: новая приходила жизнь. Бывало, сход, который он собирал, эхом откликался сразу, не успевал народ разойтись по проулкам. Что ж, не власти над людьми он хотел всю жизнь, не в утеху была ему, хозяину, не в утеху. Власть вон Люшне нужна, а ему зачем? Вовсе незачем. Тогда люди знали: есть Дымков в деревне, негласный староста и заступник от произвола, он защитит их, они его. Когда такое время придет. Ум был как сверло, умом лютым, а не одной силой и жил. Да как жил-то? Недосыпал, недоедал, бывало, свет

зорькой не проглянул, земля тьмой окутана, а он уже впрягал коней. Надела и вершка, одного вершка землицы не кинул он, как ни гнулся, ни чернел и ни горбатился на работе. Да, все это так шло, так было, но чувствовал явственно — знать, кончалось это ярмо?.. И правда — за горизонтом, за курганами, уже близкая, была воля и для него. Воля...

Дымков прошагал дальше и глубже, в ельник, проверил вчера поставленный капкан на лисицу: пусто было. Почему-то он вздрогнул: хрустя снегом, кто-то к нему крался. Вон и рыжий полушубок мелькнул, и лохматая шапка за тонкими орешинами. «Кто бы?» И, еще не отдавая себе отчета в своей тревоге, он неловко, неуверенно пошел навстречу высокому человеку на широких охотничьих лыжах. Медленно сходились. Не узнавая лица, он уже смутно догадался, хотя все неясно представлялось в приближающемся человеке. Но куда ж деться от своих-то, тобою рожденных глаз?

— Здравствуй, отец. Спокойно! Это я, не узнал? — Михаил хрипло засмеялся, снял рукавицу, обтер иней с бороды, сдвинул на затылок шапку, тыльной стороной ладони провел по лбу, шапку вновь опустил на брови. — Как живете?

— Откуда ты? — Дымков дрожал оглядываясь.

— С того свету, батя... Вечером сюда принесешь хлеба и сала. Нашим не говори.

— Ты что ж?.. Ты как теперь? Дезертир? Ты в белых?

Михаил пронзительно и долго смотрел в глаза отца.

— А ты у красных, батя?

— Я возле двора.

— А возле России. Хожу по ее земле как беглый. Так ты запомни: как стемнеет, выйди или вышли кого. — Он присмотрелся к старику: — Постарел. Болеешь чем?

— Одна, Михаил, болесть: жить не знаешь как.

— Мать здорова?

— Слава богу.

— Сестры? Марья?

— А что им! В работе не надорвались, кобылы. Марья — она золото.

— Погоди. А двор наш... все как было? — Голос Михаила осекся.

— Стоит. Я, Михаил, покуда держусь.

— Землю не бросил?

— Ни клочка. Не могу я ее кинуть — ить пот мой на ней, на окаянной.

— Разверстка?

— Она.

— Так кончается, батя! Скоро, скоро... Прощай пока, я жду. — Он, быстро оттолкнувшись палками, мгновенно исчез за деревьями, будто растворился среди белого безмолвия.

Спустя немного Дымков вернулся на свой двор. Вернулся еще более душевно надломленный: былое успокоение, навеянное лесом, отняла неожиданная встреча с сыном.

У амбара грузили на продотрядную подводу его мешки. Нынче он ничего не утаил, ни одного мешка не спрятал.

Бучкарь, увидев его, довольно улыбнулся, похлопал по спине, сказал весело:

— А! Очень рад. Сознаюсь: думал, с шумом брать будем! А ты молодец. Десять мешков выставил! Советская власть зачтет. Она с памятью!

Дымков, немного отошедший от первого потрясения встречи с сыном в лесу, спросил у товарища этого:

— А ты мне дашь ли слово, товарищ начальник, хлеб мой детишки исть будут? И разные бабы безмужние? А не всякие пустые люди?

Бучкарь поскреб голову и прищурился.

— В каком понятии — всякие, гражданин Дымков?

— Ниву не пахавшие. Ни себе, ни другим.

— Нива у всех одна — мировая революция! Но могу сказать по-рабочему: сволочь твой хлеб жрать не будет. А сынов доблестной Красной Армии мы накормим. И за твою сознательность — спасибо. Хотя я тебе не очень-то доверяю. — Бучкарь снова прищурился и посмотрел на заскорузлую ладонь Дымкова, немного смягчился: — По-степному, где земля хорошая, ты середняк, а тут не знаю... Хочу тебя душой принять, а не могу, не могу я тебя принять, папаша! Видел я много горя и слез, не доверяю я нынче сытым.

— Что учел и на будущее — это хорошо, что сытым не доверяешь.

— Мы на сто лет наперед учитываем.

— А что будет завтра, знаешь?

— Хлеб и завтра нужен будет!

— Хлеб-то нужен, да цена вот, думаю, парень, — она другая. Другою ценой мерить хлеб будут. И крестьянина тоже. Подороже!

— Своя рубаха, значит, ближе тебе? — Опять ожесточился Бучкарь.

— А у тебя, партейного, своей нет?

Бучкарь пожал его руку, уклонился от ответа.

— До новой встречи!

— До новой, — тихо сказал Дымков.

И долго смотрел на воз, на трудно шагавших людей: не слышал даже, как его окликивали домашние.

VII

Численностью в двадцать восемь человек отряд, во главе которого стоял сын бывшего помещика полковник Барышников, второй уже месяц жил в глухой чащобе в Зимовной вырубке. Люди в отряде были разные и, как считали Барышников и Михаил, преданные идее белого движения — борцы за старую Россию. Правда, Михаил не мог не замечать темноватого сброда, вроде страшного своей физической силой Мызина; но он, однако, успокаивал себя тем, что основное ядро отряда — люди высокого сознания, не жалеющие своей жизни в борьбе с большевизмом. «Барышникову есть за что жертвовать, у него отняли имение, а я? — спрашивал себя Михаил, но он старался отгонять сомнения прочь и успокаивал себя: — Не за золото я гублю тут молодые годы свои — за великую нашу мать — Россию. Надо будет — жизнь за нее положу!»

Он, растроганный и взволнованный встречей с отцом, вернулся в отряд. Он не мог ответить себе, что поразило его в отце, но Михаил заметил, что старик не одобрял этого скитания по лесам. Высокий, молодецки стройный Барышников вышел ему навстречу из землянки, натягивая на свою белую маленькую руку коричневую кожаную перчатку.

— Что отец, Миша? — ласково спросил он, щурясь и всматриваясь в грустно-взволнованное лицо Дымкова.

— Душой, кажется, мечется.

— А что? Не обольшевичился, случаем?

Михаил засмеялся, отряхивая снег с ушанки.

— Батя не из того теста — он в политику не лез и не полезет.

Подошли толстый, с рысьими глазами прапорщик Сандомирский, легкий на ногу, маленький черноголовый Шмарин и человек шесть или семь из отряда, готовящиеся к ночному налету на станцию Глубокую.

— Глубокую надо сжечь под корень, — сказал, поблескивая холодными глазами, Сандомирский.

— Чужую землю легко жечь! — ощетинился Михаил, всегда не любивший этого вертлявого и циничного офицера.

— Качаешься ты, Дымков, — Сандомирский скептически улыбнулся, показывая свои длинные зубы.

— Шибко раскаркался, прапорщик, гляди, плакать придется! — не сдержался Михаил.

— Прошу не распалять страсти, — примирил их Барышников. — Михаил, ты пойдешь с группой нынче ночью в Глубокую.

Один из подошедших, озабоченно хмурясь, спросил полковника:

— А не одни мы нынче в лесу? Деникина и Колчака, слышно, добивают?

Барышников воскликнул:

— Нет, дорогой мой, сила наша нарастает. По точным сведениям, в Тамбовской губернии разгорается движение Антонова. Эти очаги, без сомнения, перекинутся на центральные районы России. Большевички рано похоронили белую идею! К нам обязательно придут новые люди! Штабс-капитан, в Лукашовку направь Сивого и Чернова — туда приехал продотряд. Надо его уничтожить! — распорядился Барышников.

Худой, с подкрученными усиками, в вытертой офицерской шинели штабс-капитан Зуев, стоявший около землянки, хмуро козырнул:

— Слушаюсь, господин полковник.

VIII

Озябшие за день, издерганные и голодные продотрядники вернулись в сумерках в Максимову хату. Вот что сейчас было дороже всего на свете — чего-нибудь

горячего поесть и хоть немного согреться! Едва растопили печку и впихнули в нее чугун с картошкой, вернувшийся со двора Семенков тревожно сообщил:

— Какие-то двое прокрались от леса.

— Мало ли людей ходит, — сказал Золотухин, плотнее затыкая оконную дыру.

Через полчаса сели ужинать. Похватали одну за другой горячие картофелины из парившего чугуна. Потом напились до отвала крутого кипятку.

— Вот так ужин! — Золотухин первый вылез из-за стола, принес жестянку с махоркой.

Бучкарь задумался о чем-то. Но Золотухин чувствовал, что он по-прежнему непримирим, и, не желая возбуждать его, тихо спросил:

— Одного схватим, другого... Согласен. Но что ж дальше? Какой получается путь?

— Жалельщики? А звезды вам не кололи на шкуре, нет? Тогда вот, любуйтесь, товарищи, бесплатно. — Бучкарь заголил рубаху, плотный кирпично-смуглый плитняк его спины был уродливо распахан синеватыми рубцами, и в жутком этом сплетении и в самом деле просматривалась неровно вырезанная звезда; один конец, покривленный, терялся под выпирающей лопаткой. Бучкарь опустил рубаху, синеватой, отточенной злостью полыхало в его зрачках.

Некоторое время сидели молча. В углу за печью поскреблись и запищали мыши. Кошка из-под лавки метнулась туда, пламя заколебалось, фигуры троих закачались на противоположной стене.

— Кровь лить... Я это видал, товарищ Бучкарь. Да, кровь не кипяток, который мы пили!

— Чья кровь опять же, товарищ Золотухин, вопрос?

— Чья ни чья, а только, понимаешь ты, страшновато будет такой хлеб в рот брать, который на крови вырастет. В глотку пропихнуть будет трудно!

Выражение лица Бучкаря было явно презрительным. Он тяжело и долго кашлял.

— Потуши светило, дышать нечем.

Сон не шел, не раздевались, сидели, легко дремля, на лавке. Луна робко заглянула к ним в убогую хату, выстелила на половицах свой неверный, обманчивый и

призрачный свет. Вышедшая из подпечья кошка казалась маленьким чертом, явившимся наводить на отчаянно измотанных людей ужас.

— Мы разворошили деревню. Колесом переехали, товарищ Бучкарь! Людей переехали, пойми!

В это время твердой походкой вошел Григорий; кожаная куртка и штаны его блестели от сырости и скрипели. Он снял и отряхнул фуражку.

— Об чем спор? — спросил он.

— Да вот, товарищ Миронов, Золотухин пекется об том, что мы круто обходимся с мужичками.

— Мы должны действовать решительно! Последнее бюро укома нас, активистов, так и обязало, — заявил Григорий. — У всех брать хлеб, без различениев. Ежели мы хочем спасти революцию!

— Да, что ж делать, товарищ Золотухин! Я ведь тоже сын народа, мне его судьба не мачеха. — Бучкарь устало прикрыл глаза, помолчав с минуту. — Мне его кровь не вода! Но я проникся идеями, пойми ты! — вдруг выкрикнул он дрогнувшим голосом.

«Гришка обоими руками за Вострякова. А тот, видать, не сам по себе, — подумал Золотухин, — товарищ из уездного комитета верно сказал. Опора-то у него, у Тихона, видать, на одних загибщиков...» И спросил:

— Какими? Тихона Вострякова?

— Ты не смей! Я верю Тихону — он истинный революционер, — едва слышно выговорил Бучкарь, будто с трудом выталкивая слова.

— Ты затменный его именем!

— Тихон на каторге был.

— И что ж, молиться на него? И даже в том случае, ежели бы натурально встал против интересов трудового крестьянства?

— Да ты знаешь, что он в тюрьмах царевых гнил! — крикнул Григорий.

— Я не могу... не могу его заподозрить. Это страшно, Золотухин! — прошептал Бучкарь.

— Но еще страшней — идти поперек революции и народа, Федор!

— Не могу его заподозрить! — как заклинание повторил Бучкарь. — И факт такой: с голоду дохнет пролетариат. Моя-то линия на виду: спасаю голодную рес-

публику. А также мировой прогресс. Его. А к какому берегу клонишь ты—это вопросец! Может, ты не знаешь, товарищ Золотухин, то я тебе поясняю. Уездное руководство на нынешнем этапе развития именно так, как я, глядит на крестьянский двор. Именно в ту же точку и стреляет! Товарищ Востряков, секретарь укома, давал мне директивы жестко и справедливо проводить продразверстку в деревнях. Я ему верю, как всем истинным борцам и вождям. А вы такие блукаете, как отбившиеся от стада ягнята. Вы, затменные жалостью! — с непреклонностью проговорил он.

Золотухин, то вставая и прохаживаясь, то садясь, сказал:

— Ты во всех крестьянах врагов республики видишь. Категорично. Глазами дурными глядишь, а также вывод делаешь. Натуральная ослепленность и твоя кривота!

— Но и я, и товарищ Востряков — мы исходим из понимания: чем скорей обобществим эту жизнь, пускай даже круто, тем скорей мы дадим пример миллионам угнетенных, а сказать вернее — рабам собственности.

— Ну, это ты лишнее, насчет крутости. — Семенков не договорил: где-то близко грохнула раскатисто дверь, словно пальнули из обреза.

— Нет, извини, дружок, не лишнее! — Взмахнув рукой и скрипя курткой, распаленно произнес Григорий. — Потому как эти рабы собственности дале своих овинов ничего не видят. Хомут царизма мы скинули — теперь должны скинуть без оглядки хомут единоличества.

— Ты малость остудись, Гришка, а то я смотрю — у тебя голова горячая, — сказал Золотухин с неприязнью.

Бучкарь торопливо стал надевать сапоги, кожанку, взял наган, взвел курок.

— Куда ты? Погоди, вместе! — сказал Золотухин.

— Отдыхайте. Проверю снаружи хлеб на подводах. Сдается мне: увозят мешки куда-то. Зашевелились. — И мгновенно Бучкарь исчез. Григорий, не закрыв дверь, вышел за ним следом.

Преодолевая слипающий глаза сон, Золотухин и Семенков чутко дремали, придвинувшись к печи. Едва за-

брезжили мутные предрассветные сумерки, Максим нашарил руку Семенкова, спросил:

— Где Бучкарь?

Семенков непонимающе смотрел на него, мигал, шаря очки в карманах.

— Уходил... Разве не вернулся? Караулит возы?

Их охватила тревога. Выбежали наружу. Возы стояли под навесом, прикрытые рогожей мешки были целы. Над деревней дрогло низкое сумрачное небо, крутило снег. Бучкаря не было во дворе. Заметно было, как начинало светать, как поднималось все выше и раскрывало смутную даль небо. Негромким стуком в это время ударил выстрел, у большака следом за ним два других, наганных. «Немецкий наган». — И Золотухин, прыгая через канавы, побежал в темноте, намечая себе путь по звукам выстрелов. Семенков, невпопад топая, бежал сзади.

...Бучкарь лежал сбоку канавы: распяленный, судорогой сведенный рот, казалось, тужился крикнуть. И теплый еще был — еще не ушла жизнь. Картуз валялся рядом, остро и холодно блестел козырек.

А утро все просыпалось, все шире светлела облитая киноварью, дрожащая и нежная, дымом стелющаяся туча.

Новый день приходил неудержимо, прогоняя трудный, исплаканный, — ему же в замену.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

То ли зима тянулась еще, то ли весна накатывала... В ночь над полями ширилась мокрая, пополам с градом, вьюга, тягостно гудел весь продутый большак, мокли и дрогли зябко леса, ленточки полей истаивали курным дымом; к утру тучи, толпившиеся над деревнями и холмами, расчистило, глянуло солнце.

Наледь в крошево смалывалась под колесами тарантаса. Сонливо было сидеть в нем. Востряков кутал шею в воротник полушубка, дремал. Иной раз, когда потряхивало, охал. Но Никитич, кучер укома, дело знал: редко тарантас кидало в промоину или ямку.

Ехали лыткинскими низами: сперва в Пречистое, а потом в Покровскую коммуну. Кружно ехали: снесло мост на Угре у села Вишняки, и крюку дали верст восемь. В Пречистом была железнодорожная станция, и туда в полдень прибывал товарищ Матвеев.

Востряков вынул часы-луковицу, отщелкнул серебряную крышку — до поезда оставался еще час, а Пречистое лежало уже где-то в версте за лесочком. Вдоль большака — великой старой Смоленской дороги, ведущей в Европу, — белели березняки, мелькали сизые осинники, ветлы, задичалые, ободранные зимними ветрами рябины. Словно живая история громадной страны, такая горькая и мученическая, окружала сейчас его. В туманной проседи, скрываясь и возникая, виднелись холмы. Дорога неповторимая, как и никогда неповторимы следы тех, кто прошел тут в заревах пожарищ в далекий полночный час... Никогда!

Сколько же видела седая старая Смоленская дорога! Воочию представил себе Востряков эту безумную и опьяненную орду нашествий. В бурых складках трещин родимой земли, в криком кричащих серых деревнях, в задранных к небу колодезных журавлях и в нивах суглинистых и прогорклых — не в них ли он черпал себе силу в ночных переходах, у партизанских костров! «Ах, Лямцов, Лямцов!» — досадливо морщась, Востряков силился освободить себя от памяти о нем. Даже конопушные уши бывшего председателя Совдепа виделись ему. Каков был, а каким уехал? Посрамленным. Ах, Лямцов, не валялся ты на каменном полу в каземате, не пилил ночами тюремную решетку, не возносило тебя разумом на вершину, и не постигал паденья ты, не носил кровоподтеков, не объявлял голодовку, не вел ты за собою народ, не видел напрямую, нос к носу, смерть.

Одно ему, Лямцову, было дадено — учение. Учение! Востряков даже застонал, отчего Никитич обернул к нему свое удивленное лицо. Не дала жизнь ему, Вострякову, учение, крохи малые отпустила — две с половиной зимы хожено в школу. Две с половиной! Мизерно и ничтожно. А столько объять и постигнуть хотел, столько! Голове жарко бывало, пухла она, страдалица, билась над книгами, — учился сам! Сажали его за решетку еще в пятом году, сидел до тринадцатого. Спер-

ва в армию послала партия, потом дыбил, поднимал на заводах рабочих. Опять схватили — ушел на станции, из-под носа конвоя ушел. В революции стоял под одним знаменем, верил одной правде, какую несли большевики. Хоть и чесали искусно языки эсеры, и тянули его, учуяли в нем слабину — он немножко похилился было тогда, не устоял. Партизанил на Урале. И Смоленская губерния знает, во всех углах, куда ни пойди, любой заброшенный хутор знает, чьей головой тут крепла, становилась на ноги Советская власть. Секретарем губкома был, комиссаром дивизии был. Не возразил он и против назначения в Высоковский уезд, нет, не обиделся, что понизили, он, Востряков, понял: уезд этот голый, глиняный, некому возложить на плечи, кроме него.

Ах, Лямцов, где-то ты теперь со своей ученостью?

И от памяти этой, совсем свежей, нельзя было ему отмахнуться. Он чувствовал, что, создавая коммуны в уезде, наталкивается на упорное сопротивление, что уже зреют в своем же стане, плодятся незримо Лямцовы...

Тарантас швырнуло под раскат. Лошадь, хлюпая копытами в снежной каше, с трудом выбралась на дорогу, пошла машистой рысью. Ехали голыми межами Пречистого. За ними, в пяти верстах, село Покровское. Оба эти села тугим нервом сошлись воедино в жизни Вострякова. Они главный плод его трудов, что не истлеет под пластом лет. Какие бы ни приходили судьи, ни высокие, ни малые, не отнять им и не приписать кому другому взращенные побеги молодого и нового, что взошли в безвестном Покровском.

II

Поезд не опоздал. С ходу развернувшись на замусоренном дворе полустанка, Никитич показал на желтый дым за сосняком. Вот и замелькали зеленые вагоны.

Сердито фырча и свистя паром, паровоз окатил их запахом своего содрогающегося горячего тела, пронзительно свистнул, со скрежетом ухнули буфера, что-то зашипело на их ясных лбах, и тогда разный люд начал прыгать с подножек вагонов, чтобы вдохнуть полные

легкие чистейшего воздуха полей. Глубоко засунув руки в карманы полушубка, Востряков ощупывал взглядом эту далеко не праздную толпу, но ни на одном сошедшем не задержал свой взгляд — слишком легкие это были люди. Вагоны тихо и мягко покатились вновь в весенние долины, скрылись за перевалами.

«Не приехал», — подумал Востряков, не понимая того, радоваться ли, огорчаться ли. И живо, с явственнейшими подробностями вспомнил он, что год назад (всего лишь год назад!) он так же стоял под первым весенним дождем на этой самой захолустной станции, ожидая прибывающего Лямцова. Те же чувства и то же легкое волнение испытал он тогда, как испытывает опытный и умный игрок, чтобы сыграть с новым и неизвестным человеком. «Не приехал», — сказал он себе во второй раз. Но тут Никитич, стоявший рядом, кашлянул. К ним шел в пиджаке шинельного покроя, в кожаной кепке и в очках человек с фанерным чемоданом. Востряков насупленно и напряженно следил за этим человеком неопределенных лет, задавая себе вопрос: «Он? Он?» И ответил: «Да!» Он обрадовался было тому, что именно такого человека он и желал видеть, но по опыту знал, насколько обманчиво и зыбко первое впечатление, и нахмурился. Не повинуясь сердцу и ничего не выражая на розово-светлом лице, он терпеливо ждал. Человек поставил чемодан, огляделся и нерешительно подошел к Вострякову. Видно было, что он сильно устал и несилен телесно, и на щеках у него выступил нездоровый румянец.

— Вы из укома? — спросил он на удивление тихим голосом, взгляд его темных глаз был пристален и цепок, говорил о силе характера.

— Из него. Я Востряков.

— Здравствуйте, товарищ Востряков! Прибыл, как говорится, тютелька в тютельку.

— Ваша фамилия?

— Матвеев Василий Семенович.

— Вы не здешний?

— Нет. Прислан из Ярославля.

Безмолвный Никитич выправил жеребца на дорогу к пречистенским мастерским:

— Куда мы?

— В Пречистое. Слышал? Нет? — как всегда, быстро

перешел на «ты» Востряков, желая этим сблизиться с новым человеком как можно скорее.

Заметно было, что Матвеев отнесся к этому переходу равнодушно.

— А что там?

Востряков усмехнулся и доверительно положил свою руку на плечо Матвеева, с гордостью произнес:

— Артель «Свободный труд». Мелочишками промышляем, товарищ Матвеев, сурьезного дела нет. А все ж таки у нас в уезде и свой серп, и свой плуг, и своя борона, да ремонтируем сеялки, косилки. Бытовая артиллерия, а без нее в крестьянстве — швах. В прошлом году мы изготовили восемь тысяч серпов и двести однолемешных плугов. Нынче завозно, вон табуном столпились подводы! — Он широко указал рукой туда, где на просторном пустыре впритык стояло множество подвод и около них суетились мужики. Вскоре тележка, стиснутая с обеих сторон овчинными шубами, зипунами, армяками так, что захрапел и забил задними ногами жеребец, выехала на площадь. Бросая вокруг быстрые взгляды, Востряков искал кого-то в этой толпе, и наконец нашел, и крикнул, перекрывая шум:

— Веселков пожаловал? — И протянул через колыхавшиеся головы руку высокому сухопарому мужчине в бараньем полушубке. Веселков был соседом, секретарем укома в Духовщине.

— Плуги, что ли? — живо повернулся к нему всем корпусом Востряков.

— Сорок штук, Тихон Федосеевич! — взмолился Веселков.

— Что говорит Сорокин?

— Ни в какую!..

— Я обдумаю и дам указа.

Кое-как выбравшись из толпы крестьян, телеги которых запрудили площадь, Никитич направил коня к приземистому строению, откуда доносилось заливистое вызванивание металла. По гари, какая стлалась кругом и съела до самой земли снег, по звону и стукоту можно было понять: несмотря на праздную толпу, шатающуюся по площади, люди артели в поте лица ковали, били, плющили, варили металл, забыв обо всем на свете. Приехавшие вылезли из возка и оказались в самом пекле нарастающего темпа работы. Кузнецы, опоясанные

парусиной фартуков, совали железо в черную пасть горна, где золотом светлели угли и откуда то и дело, сипя и стрекая хлопьями искр, выплывала накаленная добела, стальная болванка; длинные щипцы в одно мгновение, будто невесомую, перехватывали, бросали на равнодушно-холодное лбище наковальни, и тогда с выдохом, охлюпко (так давит каблук картофелину) молот жадно плющил металл, радостно и певуче что-то вздрагивало кругом, словно в тесноте заперли молодого заарканенного зверя. По блеску зубов кузнецов, мелькающих в полутьме, можно было угадать ту особую степень ритма работы, когда уже ничего нет вокруг: ни стен, ни слов, ни жизни на воле, когда ты сам уже оборачиваешься в тяжкий удар молота, в сам этот молот и полностью зависишь от него.

Вышли вместе с Сорокиным, тот был в распахнутом полушубке. Уже на дворе мастерских, где поодаль продолжали суетиться около возов люди, Востряков тоном ниже, тихо и негромко, покачивая головой, подсказал:

— Мы и им должны помогать... по силе возможности. А наперед обслужи нужды коммун! Задачу мы эту самым ребром ставили. А также шли навстречу единоличному двору, — продолжал он, но теперь не Сорокину, а Матвееву, желая узнать мнение того, кто станет вершить тут, в уезде, дела Советской власти. — В том-то и гвоздь, — продолжал Востряков, стараясь рассеять те нехорошие мысли, которые, он знал, могли возникнуть у Матвеева на площади. — Всем дать не можем. Значит, Сорокин, — политика, а не торгашество!

Сорокин развел руками, он даже вспотел, не понимая хорошенько хода мыслей Вострякова.

— За мелкой выгодой забыл об интересах республики! Высших интересах? Хорош коммунист!

Десятка три новых, поблескивающих от мокроты плугов стояли чуть поодаль от ворот, широкие развороты крыльев и острые, как ножи, лезвия лемехов изумляли своей безукоризненной отточенностью, и Востряков, не утерпев, подошел и похлопал плуг рукой, будто погладил голову ребенка.

Матвеев тоже склонился над ним.

— Добрый плужище! Узнаю золотые руки, и, если

хочешь, товарищ Матвеев, уже сельский пролетариат. Любо! И не только машину видеть в этой штуке — политику, товарищ Сорокин. Даже такая малость ничтожная, плуг, и есть политика! Значит, быть политиком — это раз. Уметь поднять вековую силу земли и научить мужика коллективной жизни — это два. Это наиглавнейшее! А если плуги утекут в частные руки — это уже политика как раз супротив нас, нас же по башке и ударит. Нас самих! В коммуну частник не очень-то быстро отдаст добро.

За плугами они увидели двенадцать синих, полыхающих свежей краской сеялок. Железные кармашки их с великим нетерпением смотрели в мерзлые комья земли, словно готовые вот-вот брызнуть золотым хлебным дождем. Краска ослепляла издалека, но, подойдя к ним вплотную, все сразу увидели желтоватые пятна ржавчины, покрывающие железные детали, видимо, давно поставленных машин.

Матвеев как бывший слесарь определил примерное время стояния этих машин. Он понял хорошо, что должен как можно быстрее вникнуть в дела уезда. Он видел, что Востряков был чем-то не только раздражен, но и, как ни странно и как не соединялось с его обликом, несколько смущен и озабочен.

Востряков в это время так взглянул на Сорокина, что тот заметно побледнел.

— Машины выдать согласно очередности заявлений. Без промедления!

III

В Покровском как раз звонили, сзывая на работу после обеда: жилистый старик бил железным шкворнем по подвязанной к суку осины бочке. У въезда в большое, нескладно разбросанное в низине село ветер рвал натянутое выцветшее полотнище, писанное зеленой краской: «Коммуна «Заря». Наш девиз: «Все за одного, один за всех!»

Кое-где в окошках виднелись лица, но на улицу, под слякотную изморось, никто не выходил. Уже миновали три хаты. Пока доехали до нардома — приземистого серого помещения в центре села, стал накрапывать мелкий дождь.

Около нардома, над крыльцом которого ветер суетливо крутил необычной яркости флаг, стояли звонивший старик, председатель коммуны Тиунин, высокий седой человек в начищенных до глянца сапогах и коротком, на меху, пиджаке; с ним рядом — низенький рябой мужик с лицом, готовым на любое выражение, как покажут обстоятельства. Он, приподнимаясь, выглядывал из-за широкого плеча Тиунина, топтал глубокими калошами подтаявший снег, стараясь понять, какого ранга приехало начальство.

— Здравствуй, — проговорил Востряков, подойдя к Тиунину. — Привез гостя, знакомься: товарищ Матвеев — новый председатель исполкома. Люби и жалуй! А также показывай достижения.

— Здравствуйте, товарищи, — почтительно и тревожно вздыхая, сказал Тиунин и заключил: — Хвастать нечем, высот не взяли, по-малому живем.

— Он у нас скромненький! — пояснил Востряков Матвееву.

Пришли в нардом. Тиунин не знал, сесть ли за свой зеленый, с плюшевой обивкой стол или же стоя ждать приказаний. Востряков как-то тускло, точно сквозь марлю, осмотрел председательский кабинет. В углу — железный ящик, знамя, на каждой стене — таблички: «Громогласно разговаривать воспрещается», «Человек человеку — брат и друг». Висел в аршин размером графленый лист с фамилиями по алфавиту: нормы выработки каждого члена коммуны. Тут же, на желтом картоне, карикатура на единоличников: красные рожи.

Заметно было, что Востряков не в духе, хотя он и сдерживал свое раздражение, и что относилось оно, видимо, все к тому же вопросу несбытых машин. Матвеев заметил, и чем дальше, тем все определеннее, какую-то особую почтительность к Вострякову со стороны одних людей и чувство скрытого недоверия со стороны других.

— Видал, товарищ Матвеев, как он обставился, — сказал Востряков, садясь за стол Тиунина, и спросил строго, даже жестко: — Почему люди не выходят на работу?

Тиунин напряженно ждал этого вопроса, очевидно самого тяжелого для него. Еще уезд не знал истинного положения в коммуне; в прошлые наезды Вострякову

некогда было вникать в дело, спешил он, и спешили другие руководящие, твердо зная о том, что крепкие плечи и смекалистая голова Тиунина выдержат и направят коммуну по той наикратчайшей к заветной цели дороге, на которую она вступила год назад.

— Или, может быть, сегодня какой у вас праздник? — более сурово и заметно теряя сдержанность, спросил Востряков.

Тиунин, волнуясь, исподлобья посматривая на Матвеева, не знал, как держать себя.

— Материально трудновато, Тихон Федосеевич, разные неувязки.

— А что такое?

— Многое... не очень понятно... А люди не только об сегодняшнем — об завтрашнем дне думают.

С улицы донесся громкий крик: слышно было, как отчаянно и грубо кричала какая-то баба. Востряков подошел к окну. Матвеев тоже из-за его спины устремил внимательные глаза в проулок. Предупреждая вопрос секретаря укома, Тиунин, отворив дверь, уже в сенцах сказал:

— Единоличники. Старый долг не хочут вернуть: летом косили сено для своего скота на земельных угодьях коммуны. Мы им сказали: будете отрабатывать за сено на своих лошадях. — Тиунин замолчал, заметно было, что он сильно расстроен, шагал, не разбирая дороги и часто оскальзываясь. Медленно подошли к толпе.

— С какой стороны смотреть, товарищ Тиунин, — тихо сказал Востряков. — Коммуна не раскрытый чулан, откуда можно тащить. Железный учет, что верно, то верно. — Скулы его побелели. — Какое у вас несчастье, товарищи? — спросил он, прищуренными глазами кого-то выуживая среди толпившихся мужиков и баб. — Давайте не базаром, по очереди. Кто хочет изложить обиду?

— Отдай обратно коней... вся наша обида, — со слезами сказала баба в плисовой жакетке.

— Сено — оно добро. Земля — собственность коммуны. Значит, тот вор, кто на нее зарится. К вам же пошли навстречу, а могли бы просто конфисковать лошадей в связи сложности внутреннего и мирового положения Советской республики.

— Товарищ Востряков, ответьте мне, — краснея и оглядываясь, проговорила молодая баба с темными

яркими глазами. — Нас антирисует — докуда ждать? Мы хочем знать: али до старости нам ждать хорошей жизни в коммуне? Покуда вся высохнет молодость? Сколько годов ждать?

— Вопрос — он есть вопрос тяжелый, дорогая гражданочка. Все зависит от того: сумеете ли вы сами наладить жизнь коммуны, чтобы была в ней изобильность. И справедливость! Республика не добренькая мама, чтобы она бегала к вам с гостинцами. Сами их добудьте! Вот вопрос коренной! Мы же хотим вырвать из волчьих устоев русского крестьянина. Лишь в коллективе человек испытывает радость и правду. И чем скорее, тем лучше, поймите же вы! Ваше упрямство к добру вас не приведет. Ну, год просидите на единоличном наделе, ну, два, и потонете в нищете.

— Мы уж как-нибудь... и так. Да мы и не супротив коммуны али чего доброго — супротив Советской народной власти. Уберите Тиунина, вот тогда и разговор надо вести об деле. А ежели этот человек останется заправлять, то нас и понуждать нечего. Мы не коммуны боимся, нам, голым, терять нечего, — мы Тиуниных боимся и в том все, значит, и как есть расхождения, — пояснил маленький тощий мужик, одетый в добротную романовскую шубу. Потом насильственно улыбаясь, спросил: — В коммуне все ровня, как оно есть, без различениев?

— Разве не видишь: мы, коммунары, живем единой семьей? — зло, еле сдерживаясь, ответил Тиунин.

Мужик посмотрел на него, переступил смазанными сапогами и, помолчав, спросил:

— А ты в Одессе... того... при ресторане не служил? Не ты прислугой, значит, заведовал, а? Мы все знаем. Не тебе, дядя, учить народ разуму. — И, расхрабрившись, выпятив грудь, стал он очень хорош от какой-то внутренней силы. — Ты к власти сам примазался, да мы не без глаз. И вверху тебя ить тоже раскусють. Это ты, брат, не шали!

— Единой, говоришь? И достача? — спросил старик.

— Равенство полное. Но возможны отклонения. Руководящему человеку коммуна выделяет средства больше, чем рядовому, — нехотя признался Тиунин.

— То-то, — сказал старик, и засмеялся, и, довольный, отошел прочь.

IV

— Что еще покажешь? — спросил сердито Востряков, не глядя на Тиунина.

Тиунин, немного подумав, сказал:

— Можно, к примеру, поглядеть кухню.

Матвеев поправил очки — все тут увидели, какие у него маленькие и голубые-голубые глаза, — спросил:

— У вас имеются полевые группы?

Заметно было, что Тиунин не пришел в себя после обвинительных слов мужика:

— У нас их три.

— И есть скотоводческая ферма?

— Вон она, наша ферма! — с гордостью кивнул головой Тиунин на недавно отремонтированный скотный двор, стоящий рядом с белокаменной церковью. Изгородь двора подходила как раз к самой церковной выломанной ограде, закрутевшие тугие борозды грязи уродливо чернели у самого крыльца, а по другую сторону его высилась громадная куча навоза, дымящаяся в полуденном свете.

Во дворе четыре женщины таскали солому, привычно вонзая вилы, они заработались до того, что не увидели пришедшее в скотный начальство. Была обеденная дойка, которая, видимо, подходила уже к концу. Тихонько и неровно бились о края бадеек струйки молока. Бабы работали молча; они тут же сливали молоко в общую большую деревянную бочку, пристроенную на волокушах-салазках.

Плотный, в черных валенках и картузе мужик, круто поворачиваясь на каблуках сапог, хриплым, простуженным, но будто извиняющимся голосом распекал какую-то доярку.

— В чем дело? — спросил его Востряков.

— А робить не хочут, товарищ секретарь.

— На сколько женщина опоздала?

— На семь с половиной минут! У нас в уставе статья имеется. Одной дай поблажку, другой дай... Она женщина работящая, я плохого сказать не могу, да нельзя, закон для всех.

— Придется у вас вскорости побывать, посмотреть обстоятельно, дотошно, — говорил между тем Востряков Тиунину. — В судьбе республики и семь минут — время.

Но не в том фокус. Все-таки, Тиунин, кто вам дал право говорить с людьми в таком запале? А кто вы, собственно, — председатель рожденной в муках, не вами притом, рожденной коммуны или урядник царя Николая? Кто вам дал право так говорить с народом?..

Тиунин попытался что-то объяснить, но Востряков, круто повернувшись, направился к конторе.

V

Навстречу руководству со своих стульев встали конторские, один к одному, — пятеро мужиков. Правда, затесалась и бабенка. В чистой васильковой кофте, в нарукавниках, стучала костяшками на счетах.

Матвеев попросил дать разъяснение, как же в коммуне распределяется хлеб.

— Гадали и искали, товарищ Матвеев, — сказал пожилой конторский по фамилии Морев и вытер носовым платком розовую лысину.

— Большая река вбирает ручьи, мы — прибыль ото всего. Основа — животноводство. Мы имеем две с половиной сотни коров, двести свиней, я уже не беру молодняк. Надои низкие. Вопреки всем отрицательным факторам мы тем не менее кое-какие коммунские накопления имеем.

— Так... накопления... И как вы их распределяете?

— У нас в основе всего рабочие руки. От системы едоков мы начисто отреклись: платим натурой тем, кто работает.

— Так, работает... А едоки, не могущие работать?

— Имеем некоторые фонды... хотя мало, конечно, ими пользуемся. Живем, греха брать на душу нечего, бедновато. Но кое-что... кое-кому... многосемейным помогаем. Кому — фунт соли, кому — пуд картошки.

— Вы не коренной? Приезжий? — спросил Матвеев.

— Да, я приехал сюда на работу по назначению.

— Вы когда-нибудь, товарищ Морев, жили в деревне?

— Я внутренно тяготел, но скажу откровенно — не жил.

— Рабочим были?

— Собственно, не в прямом смысле. Служил в одной конторе.

— И все остальные, здесь сидящие, тоже приезжие?

— В основном, — сказал Тиунин, — исключая Егорова. Коммуна не имела кадров. Мы начинали на голом месте.

— Хорошо, — сказал Матвеев, уже обращаясь не столько к Мореву, сколько к Тиунину. — Я пока здесь не бывал и не знаю, кто чем жив. Допустим, многодетные Ерошины в течение месяца съели мешок картошки. Степанковы — десять фунтов муки. Что же потом? Что дальше? Вопрос открытый: подачка или заработок? Мое мнение — подачка. Что вытекает? Сильные живут, а бабенки с детишками, как и при своей же единоличной жизни, влачат существование...

Востряков сидел молча, заметно было, что он не желал из-за каких-то соображений вмешиваться. Ему нужно узнать, что будет говорить Матвеев. А уком, коли нужно, всегда поправит. И очень хорошее началось у нового председателя Совдепа знакомство с уездом, им же, Востряковым, спланированное.

Не думал удивляться Тиунин: вместе с похвалами, какие сыпались со всех сторон создателю коммуны, в последнее время нет-нет да и раздается критика. Не раз тут вот, на этой же табуретке, сидел товарищ Лямцов... Тиунин сказал:

— Коммуна, товарищ Матвеев, на то и есть, чтобы не кинуть человека посеред дороги. Но и не за-ради какой-то одной многосемейной тетки Агафьи она должна жить. В ней должны крепнуть прежде всего наши идеи — идеи социализма.

— А какая оплата работающим?

— Мы тоже подходим по-разному. Работник умственный получает свой пай, который руками — свой. Товарищ Ленин указывал — не уравнивать.

— Очень хорошо: избежали уравниловки, — сказал, задумываясь, Матвеев. — Тетка Агафья, которую вы не хотите кормить и которая своим горбом приросла к родной земле, не видевшая иной жизни, кроме бедняцкой, почему-то должна получать меньше, чем конторский товарищ? (Здесь Востряков сказал себе: «А не хлестче ли Лямцова?»)

— Мы поступаем по уставу, принятому коммуной, — быстро сказал Тиунин. — У нас все дела узаконенные.

— Но законы, товарищ Тиунин, придумываются людьми.

— Верно.

— А люди могут ошибаться!

За окошками громко загудела пустая бочка: коммуна садилась ужинать. Матвеев, подойдя к окну, видел: от фермы к столовой, пристроенной к нардому, везли на санях густо дымившиеся черные котлы.

«Один, поди, для «умственных», другой для иных, «с руками», — невесело подумал Матвеев. — И главное-то: под именем социализма!»

Во дворе конторы послышался шорох колес и фырканье лошади. Матвеев посмотрел в окно и увидел плотного, в бараньем коротком полушубке и защитном картузе человека, энергично выпрыгнувшего из тележки. Лицо Матвеева сразу прояснело — он узнал характерную фигуру секретаря губкома Грибцова. «Вот это хорошо, что он теперь в уезде!» — подумал с радостью, вспомнив, как перед назначением сюда Грибцов повторил несколько раз мысль о вреде торопливости в создании коммун. «Я знаю твое мнение, товарищ Грибцов, — думал и Востряков, следя за вошедшим секретарем губкома, — я знаю, что мы никогда с тобой не сойдемся в одном понятии на крестьянский вопрос. Ты насторожен к коммуне, а я уже сегодня вижу в ней мужицкую зарю. Но посмотрим! Нас рассудит само дело».

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Грибцов, отряхивая сырость с фуражки. — Я вас в уездном центре искал, а там мне говорят: «Товарища Вострякова нынче застать в Высокове почти невозможно: он днюет и ночует в деревнях».

— Приходится, товарищ Грибцов. Время горячее.

— Ну и как коммуна? — обратился Грибцов к Тиунину.

Тот инстинктивно оглянулся на Вострякова.

— Набирает темпы, — ответил он почтительно и немногословно.

— Что же два котла? Не хватает, что ли, одного? — Секретарь губкома наблюдал в окно, как поодаль, на пустыре, толпились люди; они разбились на две части.

— В некотором смысле, — замялся Тиунин.

— В каком смысле? — сощурился Грибцов, будто припоминая, мог ли он когда видеть этого Тиунина раньше.

— Меньшой котел для административного персоналу. Чтобы, значит, путаницы не выходило. А еда одинаковая...

Грибцов и Матвеев одновременно рассмеялись.

— Еда одинаковая, а котлы разные! — сказал Грибцов жестко. — Не нравится мне такая каша, товарищ Востряков!

Востряков взглянул на Тиунина.

— Она и мне не сильно по душе. Сегодня же ликвидируем промах, — ответил он.

— Мне также не нравится положение в коммунах Бражинской волости. Указываю вам на имеющееся отклонение от линии ЦК в этом вопросе. И предупреждаю, что могут быть тяжелые последствия. Кооперирование уезда — это не только организация коммун, нельзя забывать и о других ее формах, артелях и товариществах. Через две недели прошу вас доложить мне подробно обо всем, что делается в бражинских коммунах, в уезде.

— Мы по-разному понимаем дело, товарищ Грибцов, — ответил Востряков, — а доложить можно.

На околице они разъехались: Грибцов повернул на стуковскую дорогу, на Рославль, Востряков и Матвеев — на проселок.

В сумерках они выбрались на большак. До самого Высокова ехали молча. Навстречу им из далеких южных земель неудержимо и властно неслась на могучих крыльях весна двадцатого года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Раньше других больших и малых рек от ледовой неволи освобождалась Угра. Холодная, родниковая, она ломала неволю бурно и дерзко. Гул ледолома третий день сотрясал хаты. Круты и обрывисты берега Угры у Лукашовки; опутаны красноталовым прутом, лозой. Летом они наряжаются пышно: накинут зеленый сарафан, обвешаются бусами рдеющих волчьих ягод, засизеет в них тополиная молодь — схоронят любое людское горе, любую тоску...

Слепыми глазами глядела Наталья Бабинцева в во-

ду, в черный трясучий омут. Даже мысль дурная пришла на ум: самой утопиться. Где там — сердце ушло в пятки! Бум-трах-ах... Огрела по ноге пральником *, прикусила губы. «Ну ладно, батя!» — прошептала. А который раз шепчет? Тысячный! Сердце девки — хвост овечки: мотайся себе — известное дело, удел один... Максим, как ни странно ей это казалось, не исчезал из мыслей. Одно имя его запретили произносить в доме. Лютела Наталья, въедаясь в работу, растрачивая в ней молодость, но сердце полнилось тоской и тревогой. Тогда, во время сватовства, вышла к нему как чумная дура. Не пошла за него, а разрубила бы, глупая, эту тоску! И хоть худей всех в деревне у него хата, но могла бы найти она счастье и в ней. Могла... Хуже отравы позднее девичье раскаяние! С утра отец сам не свой: кто-то приедет к ним. Кто-то уже высмотрен, выгляжен, как по старинке, как еще бабка рассказывала. Позор, срам! Для отца богатство — услада. Нашептывал он и ей, любимейшей дочери, свои хозяйские молитвы. Как-то еще прошлой осенью Наталья вдруг поняла: до последней кровинки вышла в отца. Не однажды испытала она отцовскую усладу при виде батрацких рук... С Максимом век не выгонишь из хаты нищету. Весь род нищий был. Знает она: у Максима нету даже сменного белья. Вымоется в бане у соседа, в чане выстирает исподнее, высушит на каменке и снова наденет.

Бум-ух-ах! Опять по ноге. В воду капнули слезы. Тук-тук-тук... — донес ветер. Наталья видела, Золотухин с утра ходил около хаты с топором. Теперь она страстно хотела, чтобы он подошел к ней: хотя бы помог вынести от речки узел белья. Загляделась в воду, задумалась. Увидела: рядом с бельем — рыжие, поношенные, огромного размера сапоги.

— Здравствуй, Наталья. — В голосе его не насмешка, не ехидство, какого она ждала.

— Здра... — она согнулась к воде, сдержалась, не договорила.

— Приданое готовишь?

Она насторожилась. К чему он? Или вправду батя отдать хочет!..

---

* Пральник — деревянная колотушка для отбивания белья.

— Не в надобность, — едва пошевелила сухими, обветренными губами.

— Он-то знает, с кого какую шкуру драть.

— Тебе плохого не делал!

— Не об этом я, Наталья.

Из летошнего, сухо шуршавшего камыша сорвалась сорока. Летела, рассеивая свое равнодушное чекотание на весь берег. Максим проследил за ее полетом, потом посмотрел на Наталью, осознавая, что должно было что-то быть между ним и ей, что уже узлом завязывались непонятные их отношения.

«А ить не клеится у нас балалайка!»

Швырнул щепу в омут — ее погнало, воткнуло торчком в волну. Пустой рукав его шинели вывернулся из-под ремня, ненужно болтался, раскачиваемый ветром. Максим сел на мокрый глыбистый валун рядом с кладями. Наталья, боясь поднять голову, дополаскивала белье.

— Весна вроде ранняя, — сказал он после долгого молчанья.

— Воды нагнало, — коротко отозвалась она; руки ее неспокойно вздрагивали, мочки маленьких, красиво выточенных ушей запунцовели тронутой заморозком рябиной.

Наталья отжала и кинула в таз последнюю рубаху, разогнулась. Налитые губы ее шевельнулись: сладостный дурман девичьего дыханья почувствовал Золотухин на своем лице. Она немного и вопросительно наклонилась к нему, словно рассматривая и ожидая, что же будет дальше. Кровь сильными толчками била ему в виски. Но чего-то и не хватало, чтобы сказать нужное, заветное и единственное слово. Жизнь провеяла их отношения через свое сито, и эта великая, безграничная и вечная жизнь была в них самих.

— Журавли летят! — страстно сказала Наталья, поднявшись с кладей и запрокинув к небу лицо.

Этот ее порыв и восторг на мгновение отозвался и в нем высоким отзвуком.

— Домой правят! — сказал высоким голосом Золотухин.

Отойдя от берега, он оглянулся: желтый ее платок закатным солнцем мелькнул за хуторными плетнями и скрылся.

II

У его ног лежал родительский надел...

Сплошняк липкой глины плывуном сползал с бугра к глухому оврагу. По межам — летошний сухобыл, черные остья старой крапивы, конского щавеля и козельца. Отцовы мозоли, материнский пот! За сараем — гряды. Белый, с зазубриной, камень грело солнце, и Золотухин вспомнил: на него любили садиться люди, чтобы принес им счастье.

Золотухин на своем подворье топором правил поваленный плетень. Мимо проходил Илья Лукашин, остановился.

— Землица проклятая! У хохлов, говорят, чернозем? Слыхал — по два урожая сымают?

— Там хлебные земли, — согласился Золотухин. — И ты нынче оплошал, Илья Захарыч?

— Неуправка. Разверстка ишо. А ты не знаешь, когда отменют ее?

— Пока такого постановления не было, но будет.

— Ты мне ответь, Максим... Ежели не разверстка, тогда налог? Как облагать будуть?

— Сам не знаю пока.

Подошел Федор Усинцов, вынул кожаный затасканный кисет, и все начали крутить бумажки. Разглаживая черную густую, колесной мазью отливающую бороду, Усинцов сказал:

— Говорят, за Болдином бабу видали: волосищи до пупа, сама голая, титьки у ей зеленые, а в руках — кровяной кусмень мяса. И что вы думаете? Нагадала та баба: перекрасют нас всех в другую веру. Ну, как бы другому богу молиться. Не Христу, а суку — прямо перстом в сук тыкать-то. Во времена!

— Погоди, Хведор, — сказал Кондрат Стрекалин, подошедший незаметно. — Какую веру? Какой сук?

— А такую, ажно позабудешь, что православный.

— Не могет такого быть! — категорично отрезал Кондрат и, подумав, прибавил: — Русских не скоренить.

— То-то знаешь ты много, — тоже подумав, сказал Усинцов и почесал коричневую толстую шею. — Рази мало русских-то умов передавили? Страсть! Хотя бы взять Лександра Пушкина. Я, брат, слыхал про него.

— Сколько народов, а все никак жить утихомирку

не могут, — сказал Кондрат, подставляя солнцу натруженные руки и грея их.

Все посмотрели вдоль по проулку: посредине шел в новом коричневом пиджаке и в новых сапогах Макар Люшня.

— Вырядился, мать честная! — изумился Кондрат. — Откудова у него одежа? Пинжак-то, гляньте!

Поравнявшись, Люшня приподнял новую клетчатую кепку, ощущая свое достоинство, покривил рот в улыбке и махнул рукой.

— Здоровенько, мужики!

— Здоров, — за всех отозвался Кондрат. — Далеко вырядился? Куды правишь?

— Кой-какие делишки в сельсовете, — важно сказал Люшня, не останавливаясь.

— Вот ведь шельма! — воскликнул с изумлением Кондрат.

— Тьфу ты, прости, господи! — плюнул Лукашкин.

— Стерва, — согласился Кондрат, продолжая греть свои натруженные больные руки.

— Ить вот род какой, мать их курицу! Голодрань! — со злобой проговорил Лукашкин. — А одежу украл. Истин бог, мужики, украл где-то...

Наплыл запах теплых пирогов, свежей молоденькой зелени, дохнуло парным молоком от обнизованных мохнатеньким утиным пухом верб. Была пасха.

Ватагой бежали, уже босые, ребятишки с крашеными яйцами в картузах.

Мужики толковали о своем.

— Что ж, Максим, братоубийственная война? Насовсем, что ли? — спросил Лукашкин.

— Теперь, видать, насовсем. Прошлым летом и осенью с белогвардейцами рассчитались и с Колчаком в Сибири покончили.

— А где ж наши служивские, которые дожили до замирения?

— К севу, должно, отпустют. Оставят там, на Дальнем Востоке, силы для подавления последней гидры, да у нас, на западной границе, на всякий случай. А остальных по дворам, народу нужон мир!

— Значит, есть ишшо силы!

— Сила в народе, — сказал Кондрат, — да кабы ее, силу-то, верно тольки направить.

— Дурной силы и в народе тоже много, — вставил глухо Усинцов. — Тоже на нее молиться нету смыслу. Расея-то какая держа-ава-а! — не то в восхищении, не то с тоской и зверовато вымолвил он, нюхая воздух: хорошо пахло в деревне весной, близкой теплынью.

— «Она на барском поле жала и тихо побрела к снопам...» — проговорил Лукашкин строчку стиха, которую он заучил от сынишки.

— Пущай себе бредеть, — тихо посмеиваясь, обнажая в черной бороде здоровые желтые зубы, сказал Усинцов, — боле ей нечего делать, как брести. Как горб гнуть. Бабе нашей крестьянской-то.

— Ну, какая ни есть, — пустив через одну ноздрю дым, сказал Кондрат, — ты ее не хули, бабу-то. Она, брат, у нас ого-го, баба-то! И терпела и людей вон кормит. И если хошь — все мировые города на бабьих-то руках, на ее-то хлебе.

— Сиди не сиди, а дела, мать их за ногу! — Первый поднялся с колоды Лукашкин.

Золотухин улыбнулся, провожая их взглядом до самого лукашкинского двора, стоял и думал с радостным чувством: «А как бы жить, ежели бы вас-то не было?»

В это время к его плетню неуверенно подходили двое: парнишка и девчонка. Он их не узнал, не помнил. «Чьи же это?»

Парнишка — худой, в больших отцовских штанах, завязанных тесемками у щиколотки. Девушка была пухленькая, с круглым лицом, на котором как-то радостно и живо блестели теплые, под цвет синеватой кофточки глаза.

— Здравствуйте... — сказал парнишка и остановился с раскрытыми губами.

— Здорово, хлопцы! Вы чьи? — спросил Золотухин.

— Не узнаешь? — удивилась девушка.

— Узнать — как? Когда я на войну уходил, вы небось под столом сидели.

— Я Лопарева Галина, он Митрий Лукашкин. Дяди Ильи сынок.

— Здорово выросли! Проходите в хату ко мне.

Галина побледнела, лишь уши ее заалелись, постояла какое-то мгновение с опущенными глазами. Видно было, что она пыталась скрыть что-то.

— Давно к тебе собирались, Максим... — сказала

она тихо. — Ты про нас даже и не знаешь вот... а мы-то...

— Мы... — сказал и Митька, — мы... ить...

— Мы комсомольцы, — испуганным шепотом досказала Галина.

Митька шевельнул раскрытыми толстыми губами:

— Год хоронимся... Кабы батька узнал, прибил бы. Ты это пойми! Он ить, батька, нащет комсомолу не ахти какой приветный — враз зубы выбьет. — И он вытащил новенький, аккуратно завернутый в тряпицу билет.

Галина села на колышек, точно птица, ждущая опасность, вытянула шею: около воротника, розовая, билась жилка.

— А где ж вы были? Когда мы по разверстке хлеб-то собирали? Чего я вас не видел?

— Да я... на печь залез. — Митька вдруг схватил руку Золотухина и, проглатывая концы слов, заговорил: — Ослобони ты меня! По дурости влип. Свези в уком мой билет, пока батька не узнал. По дури я, Максим, вступил! Не хочу я в комсомоле, ослобони, сделай милость! — Он просил так беспомощно и жалобно, что Золотухин не выдержал и крикнул:

— Замолчи сию же минуту, сопляк! Я тебе тут не поп, чтобы споведывать. Нашелся дрючок, сопля темная! Аль мало грязи да вошей на мужиках? Почти твоих годов ребятки льют кровь, во все концы света головами ложатся. Мертвые! За-ради кого? — И, круто повернувшись на каблуках, зашагал к крыльцу, около него обернулся: девчонка и парнишка, опустив головы, плелись по проулку.

III

От Григория Миронова пахло папиросами, кожей куртки и штанов. Сапоги у него тоже были добротные, на крепкой подошве и звучно скрипели. Пришел он к Золотухину вечером, когда тот, скудно поужинав, сел писать письмо товарищу на фронт.

— Не поэтом заделаться хошь? — Григорий, развалясь, сел на лавку, кобура с наганом гулко стукнулась о край стола.

«Из чистого хрому куртка и такие же штаны!» — дивился Золотухин.

Григорий дал себя разглядеть, затем, удовлетворенный, насмешливым тоном спросил:

— В огороде хлопочешь? — И неожиданно злым голосом продолжал: — В уезде оживилась какая-то скрытая контра. Ты должен, Максим, знать: обстановка тяжелая! Боле того: пахнет пулями. Наган у тебя есть? Достанем через военного комиссара. Что слышно о Бучкаре? Этот товарищ не выходит у меня из головы.

— Сегодня звонили в сельсовет. Он не вынес ран — скончался в губернской больнице. Следствие покуда никакой стежки не распутало. Бил пришлый: по пулям обнаружили — шлепнул из винтовки. У наших кулаков, кажется, винтовок нету. Кто мог быть? А ежели все ж наши Бабинцевы? Как ты сам думаешь?

— Загадка. Разобраться надо сурьезно. Стрелять-то у Бабинцевых вроде некому. Старик слеповат, не пацан же тринадцати лет?

— Нет, бил с опытным глазом: пуля одна прошла на четверть от сердца, другая скрозь легкое навылет. Сообразил? Ты не примечал такого хвакта: чего-то перестали идти Дымкову письма с хронту? От Михаила? Пущают слух, будто пропал он без следа, хронт есть хронт, мы с тобой это хорошо знаем. А другие говорят — хоронится в Зимовной вырубке, люди видели. За пять верст, холера, от деревни забрался по холоду! С чего бы? Доходишь, Максим? Лес ить — он своя республика: и дезертира, и любого врага прокормит, уберегет, черт оттедова вытащит!

— Всякий довод хорош, да правды, Григорий, у нас пока нет. Пока! Она может и схорониться навечно. Завсегда и всюду надо все ж правду искать. Могли и Бабинцевы, только не Дымков, нет, я верю ему, потому что его знаю хорошо. Мы следим за ними, оне — обратно. Можно рассудить так: взбесился мужик и высадил пулю. Уполне! Отседова какой вывод? Могла отместка змеина, а могла — как пьяному расшибить горшок. Мало ли рубили голов по такому выводу? Далекому от правды? А нам не повторять, а следовает докопаться до корня.

— Тот парнишка, Петр Семенков из продотряда, — он благополучно от нас тогда уехал?

— Да, я его проводил. Сослепу рубить, знаешь, натуральный мордобой получится.

Теперь не утерпел и Григорий: тоже встал, и они оба ходили по крохотной хате — пять шагов туда, пять обратно, уже не мальчишки, лазившие в огороды, — большие мужики.

— Правду на базаре не купишь, — заговорил Григорий сухо. — Кулачье ненасытное! Шутки с ними плохие, тут либо нас оне, либо мы их. Коли оне первые подняли руку, сгубили нашего преданного товарища Бучкаря — мы им всадим по целой обойме! По полной и с накладом!

Золотухин пристально взглянул Григорию в глаза, как бы удостовериваясь, своими ли он словами говорит. После небольшого молчания он сказал:

— На врага рука моя никой раз не тряслась. Вдарю и тут, когда буду видеть — кого и опять же — за что! А бить сослепу всех и каждого, который под мой кулак ляжет, — тоже мордуха, навроде царских жандармов. Ты это засеки, Григорий!

Григорий посмотрел на него, как на человека, которого видел впервые, начал застегиваться, заскрипев кожей.

— Думал, по душам... а не выходит, Максим!

— Завсегда лучше открыто.

На воле захрапели лошади. Максим придвинулся к раме, всматриваясь: над высокой тележкой на стальных рессорах, выгибаясь на ветру, лопотал красный флаг. «Под знаменем ездит... Как на войне!»

Григорий неожиданно перевел разговор, подчеркивая этим их старую дружбу. Придвинувшись ближе к Золотухину, он спросил:

— Ты могешь понять, к кому лезешь в зятья? Могешь ты понять?!

— Не к ним лезу, а к Наталье. — Золотухин опустил голову: он чувствовал себя неудобно и несвободно сейчас.

— А как к сватовству отнесутся в укоме?

— Оне что, должны мне дать директиву?

— Нет, Максим, отрекись от Бабинцевой породы!

— Не твое это сельсоветское дело.

— У коммуниста не бывает посторонних дел, Максим!

— Иль из другого теста он, коммунист?

— Вон оно как! Об нем у тебя, значит, свое мнение?

Особое — и свое? — воскликнул пораженный Григорий, собираясь уходить.

— Люди что деревья: на одном меньше суков, на другом больше.

— Вот, — Григорий засмеялся, — непримиримые мы. Вот что я понял! Да, чуть не позабыл: нужно тебе быть завтра в укоме. Я слыхал, про между прочим, — хочут должность дать. Велено: чтобы утром явился к самому товарищу Вострякову.

— Добро, я буду.

IV

Гаснет, как мерклый сон, в туманной невиди старая Смоленская дорога — окошко в Европу, кровью омытый путь нашествий. Погосты, погосты!.. Горючее слово русское, бездольная нива запустения, могилы, кривые кресты. Одни птицы пели о радости земной, о благе. Много увозили хлеба по старой дороге! По санному ухабистому тракту увозили награбленное добро и бояре, и опричники при Иоанне Грозном, — бог-то милостив! Царица-матушка Екатерина умом не страдала — с умом и хлебец умела выкачать, иностранщине глотку заткнуть было чем, дабы в Европе сидеть на видном месте: и мы не в последнем-то калашном ряду. Гнул спину мужик и потом на всяких спасителей — на коронованных и лжецарей, на распутиных, на красные загривки генеральские, — мало ли их было?..

Но так шло из лета в лето, от седых веков старины, так все это было, и вопреки, казалось, самой извечной судьбе революционная Россия рвалась теперь изо всех сил в беспредельно-неоглядную новую даль.

И была надежда на эту новь, что в крови, в муках зарождалась ныне, шептали о том же в полночный час детишкам в зыбке, под грохот цепов на гумне и, наконец, под эту горькую русскую музыку услыхали въявь: старому-то, прошлому, и верно, возврата нет. В Россию приходила совсем новая жизнь.

Золотухин расправил букетик ранних голубых, безвинно глядящих подснежников, стер присохшие земляные крошки с деревянного обелиска и несколько раз протер рукавом линялые строчки:

«Бучкарь Ф. И. Убит врагами за Советскую власть...»

В кабинете секретаря укоризненно и строго смотрели на Золотухина великие вожди: Маркс, Энгельс, Ленин, Робеспьер, Марат. В кабинете ничего лишнего: рабочий стол, шкаф с книгами, печь-голландка, около стены — другой стол под продранным зеленым сукном, чугунная пепельница утыкана окурками, карта Советской России: со всех концов ползут к Москве черные стрелы, — карта девятнадцатого года. Востряков спешно кончал писать бумагу: лоб был собран в морщины, тяжелы надбровные дуги, плотные плечи обтянуты толстовкой серого сукна, белым опудренные виски, веснушки землистого цвета на скулах, туго сжат рот, немного выделяющийся подбородок тщательно выбрит. Лицо, кованное бурями и невзгодами, герой, каторжанин... Таким и представлял себе его Золотухин.

Востряков позвонил, быстро вошла секретарша, пожилая и необыкновенно стройная, еще не утратившая прежней красоты женщина.

— Отправьте в «Рабочий путь», срочно. А что насчет дров для Москвы?

— Ищут вагоны.

— Долго ищут! Передайте Маховкину: если через три дня четыре вагона дров он не отправит, мы с него спросим.

— Будет сделано, Тихон Федосеевич.

Секретарша вышла.

Востряков посидел молча с опущенной головой.

— На холме был?

— Я оттуда.

— Какого человечищу утерять!

— Был настоящий человек, революционер, выходец из низов, да затмили маленько голову, — жестко вставил Золотухин.

При этих словах Востряков очень пристально посмотрел на него своими тяжелыми глазами.

— Хорошенького же ты о нем мнения! — усмехнулся он, однако, не меняя строгого выражения глаз, помолчав, тихо спросил: — Ты знаешь свою деревню. Что ты скажешь, если бюро поручит тебе важнейшее дело: организацию коммуны в Лукашовке? Мне важно знать, какое твое мнение?

— Коммуну? — переспросил Золотухин.

Востряков еще пронзительнее всматривался в него, улыбнулся.

— Ну я особенно не тороплю тебя, но время нас поджимает, товарищ Золотухин.

— Ответить непросто, товарищ Востряков!

— Ты, видно, слыхал: мы в Бражинской волости поворачиваем курс на коммуну. В масштабах уезда нам пока не удается, но в вашей волости их уже создано несколько. Правда, некоторые из них находятся в тяжелом положении из-за неувязок с экономикой, но я верю: поднимутся на ноги! Слыхал ты о них?

— Разговоры были.

— Побывай. Можно и после съездить. А покуда поручение: в ближайшие дни собирай общее собрание бедноты и провозгласи коммуну. Опыт нам диктует: ежели проявить многотерпеливую политику выжидания, пробуждая сознательность, то мы коммуну не увидим и через пять, и через десять лет. Шагать назад мы не будем, этот вопрос окончательно решенный историей. Ты где вступил в партию, товарищ Золотухин?

— Под Лозовой...

— Помню эти бои, — на мгновение Востряков задумался. — Думаю, политический опыт у тебя есть: все-таки был ты комиссаром полка!

— Комиссар-то я, товарищ Востряков, с тремя классами церковноприходской.

— С тремя классами, товарищ Золотухин, нынче поднимаются до вождей. Сколько дворов в Лукашовке вместе с хуторами?

— Пятьдесят один двор.

— Какую кулацкую прослойку мы имеем там?

— Я не знаю, как делить, товарищ Востряков. Коли так, как делил Бучкарь, зачисляя и середняков, в крайности полдеревни.

Востряков оживленно рассмеялся, попытался закурить, но спички отсыревшие тлели, не загорались, тогда он смял папиросу, бросил ее в корзинку и спросил:

— А твой дележ какой-то иной?

— Малость отличается.

— Любопытно! Разъясни.

— Кулаков у нас двое: Бабинцевы братья. Дымков — хозяин. Можно и так делить — хозяин: пахал и сеял семьей. Мужик злой, но не вредный: держит бедноту умом. Никто не имел такого хлеба, как он. Ездил глядеть, считай, весь уезд. Наемным трудом не пользовался. Инвентарем не закабалял.

Снова Востряков посмотрел пристально и долго на собеседника из-под белесых приспущенных ресниц.

— А тебя он не заворожил — хозяин? А то случалось: коммунист в силу своей излишней приверженности к земле делается рабом жизни. Мы это, товарищ Золотухин, видели! Мы видели куриную слепоту. Она нам уже дает об себе знать! — Он закурил. — Где тебе оторвало руку?

— Под Ростовом. Хозяин не заворожит. Кулака хозяином не назову.

— Что ж, тем лучше, ежели судить не по дележу Бучкаря, а по твоему. Тем лучше. Беднота — она наша. А как, интересно, ты смотришь на середняка?

— Имеется и середняк, по местной жизни: у нас и лапоть — обувь.

— А ты не примечал, между прочим, — перебил Востряков, — как тот же середняк испокон обувается в лаптишки? Моль сожрала одежду, а около двора ему лаптишки — главная обувь. Ты не замечал?

— Несладко сапоги ему достались, оттого и в сундук запихивает.

— А какому трудящему в России что доставалось сладко? Не расписываешь ли ты узором хозяйчика, товарищ Золотухин?

— Мне, товарищ Востряков, земля непаханая сердце прижигает! Хозяин знает, с какой стороны к ней подступиться.

— Прижать — так другая изнанка из него получится. Из хозяина. Другого совсем сорта!

— Одним ударом? Не быстро?

— Нет, дорогой товарищ Золотухин! Ты мне, старику, поверь: нынче полсвета говорит о социализме. Сила в нем! Я сам мужик, пахал землю. Знаю: к кровавым мозолям привыкаешь. Но ежели так, тогда карта понятная: драться, не щадя живота! С вековым предрассудком о том, что мужик — он же не один лишь сеятель, но и хранитель народного добра. А революция в крови, до-

рогой товарищ! И ей не все равно, на чьей стороне будет мужик. Тем более крепкий мужик. Сегодня он середняк, а завтра — кулак.

«Значит, скоро умный, толковый мужик разглядит твое нутро, — подумал Золотухин. — Мешает он тебе, умный, — с дураками-то легче проводить любую идею».

И это и правда было. Еще с семнадцатого года, да что там... еще раньше зародилась в душе Вострякова ненависть к сильным, корнями уходящим в глубь жизни крестьянам. Их сила ломала его силу. Потом упали на себялюбивую ниву его души семена еще худшей ненависти к крепкому мужику... Узнали его в Москве деятели, видевшие в мужике навоз истории. И он поддержал — уже по тупому тщеславию и даже по... недомыслию — их идеи.

Востряков встал, показывая, что разговор окончен, и протянул Золотухину руку.

— Объявляй на пятницу общее собрание бедноты. У Горбуновой, моей секретарши, получишь документ о назначении тебя особоуполномоченным. А также совместно с товарищем Замяловым конкретно и подробно разработайте план собрания. Загодя подготовьте выступающих и все прочее.

— А нешто надо подробно и загодя?

— Иначе и не может быть. И еще вот что, товарищ, ты газеты читаешь?

— Газет нам не присылают...

— Рекомендую каждое утро читать «Правду», а также «Бедноту». Мы укажем сельсовету, чтобы он газетами снабдил бы.

Губком нам несильно помогает при охвате крестьян в коммуны, но ударность нам нельзя сбавлять ни на один день! Будут горячие дни. Ты имеешь револьвер?

— Нет! — резко сказал Золотухин. — Я иду к своим людям.

— Тогда желаю успеха! Дополнительные инструкции о дальнейших действиях получишь через сельсовет, у товарища Миронова.

— Непонятно все ж таки насчет поголовных коммун. У товарища Ленина в его высказываниях, сколь я знаю, такой мысли нигде нет. Он даже говорил, что

маленько побаивается коммун: у него широкий план кооперации, построенный на сознательности.

— Коммун не следует бояться, товарищ Золотухин,— не отвечая на прямо поставленный вопрос, что-то утаивая, ответил Востряков.

Получив нужное удостоверение у секретарши, Золотухин вскоре шагал к базарной площади.

Базар заметно оживился. У возов шныряли разбитные люди, торговля шла мелочами, как и раньше, и во всем чувствовалась бедность.

— Кому гармонью?

— Совершенно неношеные кальцоны!

— Французская пудра. Разбей меня гром: вы будете красивой!

— Колечко на сердечко: перстень с камешком!

Испытывая неопределенные и противоречивые чувства, Золотухин вскоре поднялся в гору на большак. «Россия... то холодом морозит, то голодухой живот подкручивает, то так-то... Какая все ж таки!..»

Большак был пустынен, над ним низко, придавив землю, неслись куда-то на запад разорванные тучи, тонко и пронзительно свистел ветер в оголенных лозняках, в сучьях старого и уродливого дуба, росшего одиноко на приволье.

В двух верстах от Высокова, на болотах, отчаянно выли голодные волки. Одичалый этот вой несся над весенними полями, казалось, звал к себе чью-то озлобленную душу. Со всей силой молодости ему захотелось увидеть жизнь, такую пугающе непохожую и радостную, без проклятой придавленности, жизнь, ради которой он в конце-то концов барахтался по грудь в крови. И где же она — над этим вот стоном, над весенним половодьем народилась та жизнь. Или, правда, в четырнадцати верстах, в коммуне «Заря»?

Густели сумерки. Впереди белесо и призрачно туманилась вышедшая из берегов Угра. Над половодьем плыл сплошной ликующий шум. Правей пугливо вздрагивали и манили огни Лукашовки.

За полуразъехавшимся мостом сухим щелчком ударил сзади выстрел. Пуля тоненько пропела над ухом. Золотухин мгновенно пригнулся, оглядываясь и вслушиваясь. Но, кроме все нарастающего шума воды, не донеслось больше ни звука.

V

Матвеев медленно ходил по своему кабинету — не очень уютной, удлиненной, похожей на отсек коридора комнате — и то снимал и протирал очки, то, потупясь, смотрел в пол, где светлел и играл солнечный луч. Кое-что для него начинало проясняться... В Высокове он жил уже несколько дней, но почти все работники отделов исполкома были в разъездах, в коммунах, и он хорошо знал, что нельзя тратить ни единого часа: шла ожесточенная борьба за будущее русского народа, и выбор его дороги должен был решаться им самим. Он пригласил своего заместителя Мохначева, а также заведующих отделами — сельскохозяйственным и общим: они делали, как говорили здесь, политику. Наконец в дверь постучали, Матвеев крикнул: «Пожалуйста», — и вошел человек среднего роста, весь с головы до ног в коже, в заляпанных грязью высоких сапогах, гладко выбритый; у него было круглое крупное лицо, соразмерное широким, богатырским плечам и тоже широким жестам рук, сопровождавшим каждое свое движение. Это был заместитель Матвеева Мохначев, которого он видел мельком всего лишь один раз на другой день своего приезда в Высоково.

— Фу, дорожка! — сказал Мохначев, запросто, как давнему знакомому, протягивая руку Матвееву. — Здравствуй, товарищ Матвеев. Развезло, еле добрался. Завтра, пожалуй, никуда не высунешь носа.

— Где вы были? — спросил Матвеев, стараясь как можно спокойнее возиться с угасшей трубкой.

— В Архиповском сельсовете.

— Как оно там?

Мохначев чему-то засмеялся, довольный.

— Полный порядок. Архиповцы крепко отставали с поставками хлеба, но нынче, я думаю, уравновесим. — Он вновь засмеялся и даже потер ладони и лысину.

— План надо переглядеть, товарищ Мохначев, многовато! Дальше — за весенне-летний сезон увеличить лесовывозку, а также торфа, и именно Архиповскому и Волочковскому сельсоветам. Я просмотрел план, он липовый, вы, видимо, боитесь, что люди разбегутся из коммун, вот и составили.

— Так, так, так...

— Четыре конфискованных дома в деревне Чернецы бабам этим единоличным вернуть немедленно!

— Товарищ Матвеев, было личное распоряжение...

— Распоряжения может отдавать одна Советская власть, добытая в крови!

— Так, так, так, ну-ну...

В кабинет вошел заведующий общим отделом Литвиненков. Неприметный человек этот, маленького роста, в раскислых сапогах, в какой-то вытертой кожанке, уныло сидел на стуле и, казалось, вздрагивал от каждого звука.

— Как вы подбираете кадры?

— Э... э... собственно?

— По рекомендациям? По своему усмотрению?

— Собственно... я в первую голову связываюсь с Чекой.

— Зачем?

— Простите, я не осмыслю ваш вопрос? Ежели не обращать внимания на классовость...

— Постойте-ка, но ведь Чека — она откуда людей знает? Зачем же вы сваливаете на тех товарищей работу, которую надо делать лично вам, товарищ Литвиненков!

— Без Чека и заведующего отделом товарища Замялова нельзя. — Литвиненков смотрел, чуть наклонив голову.

— Свободен я? А то устал, собственно.

— Да, да... — сказал рассеянно Матвеев, надел свое легкое пальтецо и, не застегиваясь, вышел следом на улицу.

Сквозь сумрачную непогоду сек мелкий дождь, ветер гнул еще голые осины в укомовском саду — светился огонь в кабинете Вострякова. «Товарищ Востряков, какую же мы с тобой воскрешаем Россию?» Он постоял, наклонив голову, стиснув губы, и зашагал крупно к конюшне, то и дело оступаясь в колдобины с налитой водой, но вдруг остановился, взглянул: по мутному проулку, выбирая сухие места, плелся Литвиненков. Быстрыми шагами Матвеев догнал его.

— Где материалы на Лямцова, на Никитина, на других? Где?

Литвиненков, остановившись посреди лужи, молча и вопросительно смотрел на него, как бы не понимая, о чем его спрашивали.

— Где?! Ну?

— В сейфе Вострякова.

— Вы их видели?

— Нет.

— Ладно. Готовьте по этому вопросу доклад на бюро укома.

— Хорошо.

В конюшне дремал на охапке клевера дежурный старик конюх. В станках переступали ногами и жевали лошади, в синем сумраке в дальнем углу храпел и бил задними ногами жеребец, таинственно и великолепно блестел его фиолетово-изумрудный глаз. Увидев Матвеева, дед поспешно встал, отряхивая армяк от сенной трухи.

— Ну что, дед, в Лукашовку проскочим? — спросил Матвеев.

— Чичас навряд, а по рани спробуем, товарищ Матвеев, Замялов утром выехал туда по кружной Левадовской дороге.

Соснул он часа три. На небе, на востоке, едва светлело, когда, зевая и зябко потягиваясь, вышел из дому. Хрустела наледь под сапогами, антоновским недозрелым яблоком пахли застрехи с сосульками, пели петухи в разных концах Высокова, и клекот талой весенней воды доносился из оврага. Старик уже стоял около впряженной брички. Во что бы то ни стало надо было быть в это мокрое утро Матвееву в Лукашовке — о собрании он узнал лишь вчера под вечер от Вострякова. Взяли с места крупной рысью. Четыре версты до села Торжок миновали почти в потемках и быстро. Сразу за селом дорога начала спускаться в низину, и сквозь белесый туман в сером рассвете утра увидели пенистое, бесконечно уходящее к горизонту сплошное море воды — Угра, как никогда, в эту весну рано вышла из берегов.

— Ох, ох! Товарищ Матвеев, гляньте-ка! — возбужденно воскликнул старый конюх.

— Есть поблизости объезд? Другой мост?

— Надо дать сорок верст крюку. К тому — застрянем на Лошонковых низинах.

Матвеев с минуту, не двигаясь, смотрел на воду, на призрачно меняющиеся очертания горизонта, вдыхал тяжело, больными легкими сырой воздух, сжимал руками железное крыло тележки.

— Назад, — сказал он тихо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Все шире и безудержнее наступала весна.

Птицы летели домой.

В поднебесной сини звенели журавли, гусиный гогот неумолчно стоял над болотами, на старые гнездовья тянули утиные стаи невидимыми дорогами, мельтешили скворцы, дрозды, соловьи...

Веяло миром, ждали фронтовиков, но все так же тих и безлюден лежал большак. С утра в два двора почтальонша принесла похоронные — Семигоновым и Анохиным. С Крымского фронта. Бабам-то что теперь? За всю зиму с войны в Лукашовку вернулся один Золотухин; Григорий Миронов прошлой еще осенью, и с тех пор как бы осиротилась деревня. А ушло на нее из каждого двора не меньше чем по мужику.

Ночью волк разрыл крышу хлева Марфы Нифедкиной — уволок овцу. Днем пала корова у богомольцев Мальчиных. Макар, хозяин, снял иконы со стены, с четырьмя дочерьми стал обходить надел. В шесть голосов запели молитву.

Илья Лукашкин, выйдя на крыльцо, ругался сквозь стиснутые зубы:

— Завыли!.. Ажно исть не дають. Вот счас возьму рыжье, да как!.. — И умолк, плюнул, пошел дополудневать.

Гром всю ночь рвал над Лукашовкой небо, на вирах в Угре сизыми водоворотами играла мутная вода, нежно и сладко пахло ракитами.

II

Темно еще было, туманно и сыро.

Чуть-чуть светало и распогаживало, ветер убавил силу. С вытаянных стрех звенела капель. Кое-где в тумане отсырелыми голосами кричали петухи. Семьями и в одиночку лукашовцы тянулись сумеречным проулком к клубу — нардому, к бывшим поповским хоромам отца Виссариона.

Шмякала отпотелая, обитая драным войлоком дверь. Садились на скамьях семьями. Пестрели разных цветов вынутые из сундуков полушалки. На первой скамье теснились старики. Люшня Макар по-птичьему уселся на подоконник.

На середине передней скамьи сидел Лукашкин Илья: бурая борода, ржаво-сизые белки глаз, круглые щеки в красноватых прожилках, и руки, ребристые и тяжелые, отдыхая, лежали на коленях. Миронов Тимофей — по правую руку от Лукашкина. Лицо грубое, скуластое, в дикой поросли бороды. Угрюмые, с угадываемым раскосом глаза замкнулись в морщинах.

У Дымкова не тревожное и не злое, мудростью светящееся лицо, борода коротко острижена, на пробор расчесанные волосы едва прикрывали бугры громадной головы.

Поршневы сестры, Катерина и Лушка, как завороженные глядели прямо в рот представителю укома Замялову.

И когда улегся шум, тогда Замялов сказал:

— На повестке дня вопрос один: создание коммуны. Даю слово уполномоченному укома партии большевиков товарищу Золотухину Максиму Егоровичу. Говори, товарищ Золотухин!

А тот уже стоял, откашлялся, заговорил:

— Граждане лукашовцы! Дорогие товарищи и братья! Просьба вникнуть в повестку дня, как она поставлена.

Мы собрались за тем и за-ради того, чтобы решить, как нам жить дальше. Как жили — жить мы не можем, потому что нельзя, а как будем и куды поворот изделаем, о том пущай собрание выскажет.

И тут я вам объясню революционную аграрность,

как она всеми нами должна пониматься и как ее ставит наша РКП(б) и товарищ Ленин. Они велят осторожно нащупывать почву, учить и подымать крестьян в сельхозкооперации до понимания идейности и воззрения на коммуну, отслоить от нее кулака, притянуть середняцкий двор, помочь сколь можно беднейшим и день за днем, и шаг за шагом накапливать народное добро, выращивать в духе коллективности людей, а затем сорганизовать уже вполне широкую кооперативность — и лишь по доброй воле трудового народа. Крестьянин уже прочно взят под защиту Советской власти — я говорю: трудовой крестьянин! Такой, братья, поворот, что только натурально слепой или пышущий злобой не может его видеть. Мужик, как производитель, не может жить в отрыве от рабочего, от всего класса-гегемона, как не может, скажем, быть плуг без лемеха, а телега без колес. Они вместях составляют народ.

Дальше — как же нам все ж таки жить? Вопрос нынче вбит клином: мимо коллективности крестьянству нету хода. Куда ни рыпайся, все одно: либо кулацкое богатство придавит бедняка насовсем, либо мы кулака раздавим, а который хозяин трудовой, умный и не дуже злой — притянем к себе. Либо мы, товарищи и братья, вылезем из вековой забитости, либо сгнием заживо. Хочу вкратце зарисовать вам, товарищи, коммуну. Это общее тягло, как наиглавнейшее: лошади. Общий крупный рогатый скот, также свиньи и овцы. Говорят — вплоть до курицы. Тут я стою на другой точке: каждый двор может вполне иметь свою, не коммунскую курицу, как собственность. Это общий инвентарь, вплоть до сохи и навильника, сюда входит сбруя и разная упряжь. Лишние постройки — сараи и амбары — приспосабливаем под нужды коммуны: в них размещаем мастерские, без которых нам не вытянуть. Но я говорю: лишнее; около двора за хозяином хлев остается. Наперво: кузня, шорная, столярная, общий скотный двор. Знаю, об чем будете спрашивать: как станем делить доход? Пока не знаю. Но примерно так: работающим и больным или старикам неработающим даем все поровну. Потому и молодой и старый кушать хочет кажен день. Но опять же поровну, да не уравниловка. Что это значит? Кто будет работать на совесть, получит одну оплату, ло-

дырь — другую. Это, товарищи, принцип! Прошу вас, товарищи, открыть свои высказывания без ограничений во времени, а также без боязни. Давайте, братья, решать!

Клуб затаился. Не лица виднелись — угнутые головы.

Зыбкий ветер прокрался по спинам. В зловещем молчании, чувствовалось, зрела сила отпора. И прорвало:

— Убирайся к чертовой матери, однорукий!

— Ишь, чего приморочил: лишиться скота и сбруи.

— Иди в свою хату тараканов гонять.

— Не хочем!

— И этот, с портхвелем, пущай к хрену отселя выкатывается!

Поднялся гвалт. Замялов в расстегнутой суконной куртке, в синей сатиновой рубахе тихо сказал:

— Рано начали пуляться словами. Рано!

Золотухин шагнул от стола.

— Товарищи, криком и бандитством действительно ничего не добьемся. Давайте выступать по очереди, уполне культурно, не мешать оратору.

— Чаво там разводить! — сипло крикнула Варвара Бабинцева и, угрожающе придвинувшись к передней скамье, начала снимать с себя добротный, крытый коричневым сукном полушубок. — Нате, нате! Грабьте, нате! — Она заплакала, суетливо протолкалась назад, к порогу.

Сейчас же головой вперед просунулся Илья Лукашкин, оборачиваясь то к сидящим на сцене, то к бабам-солдаткам, которые гуртом толклись за скамьями.

— Нам всем надо уйти. Дожили! Хорошо, стало быть — заработок? А как неурожай хватит? Что мне с семьей даст коммуна? Что я бу-уду жрать? Граждаты мужики, это обман! Слепой и тот видит — оне нас заманывают, берут на пушку. У них ращитанная ловушка. Хочете али не хочете, этот Замялов все порешил. Вон Григорь Тимофеич уже за наганом в штаны полез. Оне хочут взять силой. Стойте и не давайтесь, это обман!

После него говорить никто не решился: все будто чего-то ждали, какого-то мудрого. Придавленный пополз полушепот:

— На кой она нам сдалась.

— Силком не запишут. Верно Илья сказал!

— Дура: коммуна ай тюрьма?

— Ну, Лукашкин с голоду не пух — его-то слова нам памятны.

— Не вписывайтесь!

Встала Лизавета Мартянкина, обдергивая куцую плисовую жакетку, удивленно спросила:

— А землю... Наделы пахать чем?

Григорий нетерпеливо привстал.

— Тебе, тетка Лизавета, иль толкачом вдалбливать? Было во всеуслышанье объявлено: ни тягла, ни земли в единоличности отныне не будет! Все перейдет к коммуне. Всем ясно али будут спрашивальщики?

Григория с необычной злостью прервал Кондрат Стрекалин:

— Не одергивай, Гришка! Дай людям порешить.

— Он те порешит... наганом! — огрызаясь, взвинченный до предела, крикнул Илья Лукашкин.

— Тихо, тихо, обсудим во спокойствии, — попытался притушить страсти самый первый председатель сельсовета Антон Левцов и, топнув ногой, притер чей-то тлеющий окурок.

— Сидел бы! — одернула его Евдокия Стрекалина, озлобившись еще и тем, что это он нечаянно тиснул ей сапогом по мокрому лаптю. — Мы тебя, вумника, полтора года слухали. Да толку чуть!

Около окошка, криво вскинутая, закачалась рука с растопыренными пальцами: казалось, схватит кого-то за шиворот.

— Говори, — кивнул этой руке Григорий.

Встал старик Мирон Ведерников, или Посыночка, как все звали его в деревне, — хлюпкий, длинноногий, с бельмом на левом глазу.

Мирон утер потное лицо исподом заячьей шапки и провел рукой по длинной вытянутой шее, словно расправляя глубокие борозды морщин на ней, заговорил:

— Наше упирательство нащет коммунии не надо подводить к власти. Мужик супротив своей народной,

Советской власти не шел и не пойдет, покель он при земле. А землю нам нарезали лучшую, тут нечего греха брать на душу: почти кажен двор бросил песок и глину, а взял черную землицу Барышниковых. Я на том наделе уже два года молочу пашеничку, а на глине своей и треть того не брал. Тут, стало быть, дело не во власти, а в пользе ей для народа. Дело в неверности товарищев, в смыслах коммунии. Тут оне не с того вроде конца заход делають... Это какие-то уже совсем... другие люди.

— Об том и речь! — крикнул, багровея, Лукашкин. — Кто спорить об земле? Землю нам дали. Но и даденная, она может быть сиротской, земля. Ежели без головы, к примеру...

Сзади засмеялись было, но смех этот угас мгновенно, как спичка на холодном ветру.

— Войтить в коммуну я примерно не против, — продолжал Мирон. — Ну, вошел. С собой сведу двух меринов, две коровы, пять штук овец. Ишо бык растет... И его. Снямши голову, волос, известно, не пожалеешь. Так, гражданы! — Он передохнул и цепко вгляделся в кого-то. — Вон сидит Люшня Макар. Он, стало быть, окроме битых лаптишек, коммуне ничого не даст. Вот так равенство, нюхал бы его черт с ведьмой! — Ведерников хотел плюнуть, но увидел затылки, лысины, плечи и спины и сел.

В нардоме повисло тяжелое молчание. С улицы слышался успокаивающий шорох капель. Затем разом раздались крики:

— Верна-а! Не хочем, чтобы лодыри нашим пользовались.

— Кто лодыри — ишо вопросец!

— Это ты к чему, Кондрат?

— А к тому... Ты нас, голых-то, не трожь. Не то время. Зубы выбью.

— Ишь, Мирон-та, приравненья не хочет! Ишь, едрена курица! — визгливо закричал Люшня. Над людьми навис Григорий: кубанка его сидела на затылке, в руке держал, как наган, карандаш, напористо заговорил:

— Легче, сельчане! А то, чего доброго, еще зачнете хаять Советскую власть. Так я вам по-свойски сообчаю:

напрасная затея! Мимо коммуны вам не пройтить, хочете али не хочете. Все равно коммуну создадут. Вся мировая история нам садится на пятки. Понимать надо. Темнота. — Григорий сел.

Замялов спросил:

— Кто имеет желание еще говорить?

Слова потребовал Люшня, но раздались крики:

— Заткните ему глотку!

— И такое я видел, — сказал Замялов, и, так как гул и крики не убывали, он добавил еще громче: — Нас не удивишь!

Несмотря на то, что иные уже лезли, подбираясь с жаждущими непонятного кровопролития руками к тощей фигуре Люшни, как к козлу отпущения, он геройски выдержал новые взрывы яростной бури, сказал:

— Товарищи! Без сытой коммунии не прожить бедному мужицкому семейству. Голытьба кровопролитья не хочет с сытыми. А чего хочем? Уравненья! Правду говорит Максим: докель нам хребтить тягло?! — И вдруг крикнул, заметив воинственные лица крепких мужиков, особенно налитые кровью глаза Бабинцева. — Революция — она нам не мачеха, а мать родимая! Мы ее, революцию-та, добыли для себе. А то как? А ты, Илья, не гневи бога: ты пожил и дай пожить-та безлошадникам. Супротив не лезь: мы, брат, нонче в силе! Мушшины! Бедняки! Докель будем терпеть кровососов навроде хапугов Бабинцевых? Скинем и допрежь постановим: нехай оне рылы не задираюіть! Мы ноне в силе! Не лезь, Илья, добром упреждаю. Это тебе не сход, а обчее собрание. Это ты там был мастер за глотку брать меня...

Встала жилистая и плоская, как ожившая икона, в старом ношенном и зимой и летом платье Фекла Косухина, повернулась к Лукашкину и спросила — или его, или весь сход, или всю саму жизнь:

— Ты что ж, Илья, лаешь власть? Али не Советская власть дала нам помощь? Аль не комбед, не Марфа пришла ко мне в хату, когда я с детями пухла от голоду? Аль не комбед-то этот, не властя мне бесплатно крышу-то покрыли? Да нешто я тут такая одна! А Лопаревы, а Люшня, а Поршневы, а с той, левобережной, стороны

сколь было дадено помощи бабам-солдаткам! Одежа-то на мне, глянь, тоже дадена была! Мне и выйти-то не в чем было; мне детей обули, мне жита два мешка дали, картошки дали — нешто не власть это мне дала?

Она не успела сесть на свое место, обернулась на злобный и даже отчаянный голос. Жена Андрея Бабинцева, Варвара, простоволосая, круглая, рослая баба в плисовой жакетке, мотая головой, пыталась протиснуться от двери к передним скамьям. И сумела пролезть, стояла теперь перед нищей Феклой, пиджак на ней разглядывала внимательно.

— А господь тебе счастье дал, что ты наше стаскала? Одетая в чужое, счастливая ты! Это нас ограбили в восемнадцатом, нашим добром хочут радость нажить. Господи, перед твоим алтарем стою: русские-то люди своих раздевають, сойди и покарай! Покарай, господи! Покарай, господи!

С трех сторон стали к ней тянуться бабы — сестры Лопаревы, Кожушенкова Дарья, Поршнева Евдокия, которая и крикнула тяжким хриплым голосом, размахивая руками:

— А кто тебе добро нажил? Сама? А работников не держали? Это Дымков сам нажил! Одежду вспомнила? А слезы наши тебе не снились? И ты, Илья, не разоряйся — мы власти верим. Наше дело малое, мы народ, и все. Нам комбеды помогли крепко. Без них бы мы подохли. Мы ить в одной деревне, да разные мы! Самих себя тоже надо бояться — в себе ить тоже бывает зверь. А особливо в таких добрых, как Варвара.

И тут-то началось... Какая-то баба отчаянно завизжала. Замелькали кулаки, забухали по спинам и плечам. Бабинцев с трудом отбивался от осатаневших баб-солдаток, норовил достать облютевшую Евдокию Стрекалину, вертевшуюся вокруг сгрудившихся тел юлой. Лишь безучастно сидел один Дымков на передней скамье, изредка отхлестываясь, когда кто-то валился на шею. Григорий путаными пальцами рвал кобуру, чтобы выстрелить в потолок, замешкался, вынимая наган. Его опередил Золотухин — набрав полную грудь воздуха, крикнул:

— Объявляется перекур, десять минут!

III

У многих были разодраны не только сермяжные армяки, шубенки, но даже исподнее до пупа. Усинцов шмыгал раскровавленным носом, люто поводил обезображенным от ссадин и ненависти лицом, что-то шептал, блестя отлакированными белками цыганских, не по-здешнему жарких глаз. Стыдно стало вдруг, маленько опомнились. Ощупывали одежонку... Золотухин с неровно застегнутым, перекошенным воротом гимнастерки, стоя у самого края низенькой сцены, говорил, рубя и чеканя каждое слово:

— Братцы! Сельчане! Кулаками ничего не докажем. Либо нам как-то выкарабкаться, либо подохнуть, как собакам. Я призываю вас осознать положение беднейших крестьян нашей деревни. Половина дворов весеннюю пахоту поднять не в силах.

А она дуже хорошая, земля, про нее верно обрисовал Мирон. Я здесь напомню: восемьдесят десятин земли помещика Барышникова отошло Лукашовке. В натуральности замечу: земли плодородной, родящей земли. Вот мне Марфа, как бывшая предкомбеда, дала список: восемнадцать плугов, двадцать одну борону, а также сорок пять конских упряжек тогда тоже получила Лукашовка с имения. Большая часть плугов и борон утекла совсем не к бедным. Когда мы организуем коммуну, бороны и плуги разыщем, а ежели понадобится, то применим силу, — как насилье на насилье, выхода тут другого нет, такое настало время. Коней у четверти дворов вообще нет, однолошадных больше половины. Земля эта нарезанная захрясла, кругом кустарник, натуральный голод не за горами! Выход один — сгрудиться в коммуну, обогреть и накормить друг друга! Один он, выход, один, поймите! — Максим прижал к груди ладонь и так выждал небольшую паузу. — Поясняю, об чем толковал здесь и Лукашкин Илья Захарович, и Ведерников Мирон. Дворы разной масти, что верно, то верно. У одних один конь, у Лукашкина их два да к тому же и бык. И чего ж он хочет, Лукашкин Илья Захарович? Вот он, сельчане, чего хочет: и добро сберечь на подворье, и быдток не супротив входа в коммуну. Добришко он, как жук, прижилит, а в случае коммуна разорится, тогда он сядет на свой харч. Мы

живьем сгнием на корню, граждане, ежели примем половинчатую жизнь! Но тут надо подойти опять же к товарищу Лукашкину Илье Захаровичу еще с другого боку. Уравниловка тоже пугала. Люшня Макар, кроме лаптей, ничего не приволокет. Но Люшня такой божий человек, а есть которые согнулись в работе в три дуги. Их, значит, Лукашкин не хочет к себе приравнять. Вот какого боится приравненья Илья Захарович! А мы хочем справедливости, только ее хочем! Прошу продолжать прения по коммуне. Кому слово?

Весь клуб, от молодых и до старых, воззрился теперь в обширную покатую голову Дымкова, а тот сидел неподвижно, даже, казалось, дремал. Руки попрежнему лежали на коленях, могучие плечи были ссутулены; глубже выступили борозды-морщины на шее; в кольцах бороды — снежок-первопуток. Зимой, люди помнили, борода была русая — волосок к волоску — весной выложилась снегом. Во взглядах людей — и ожидание, и страх, и нетерпение: не было в деревне человека мудрей Дымкова. Неписаный закон стоял за ним. В недород шли к нему, не к волостному, и он помогал. Кому мешок жита, кому картошек севалку, кому даст на целую неделю молотилку. Держал две лошади, три коровы, дом под железом. В огородах у всякого: капустные кочерыжки да огурец; помидора того и не видели. У него — разных сортов перец, пшеничка литая, колос ячменя гнул стебель, на овцах шерсть волоком тащится по земле, рога у баранов скручены кренделями. Мелкая смоленская овечка у деревенских выглядела плюгавенькой собачонкой по сравнению с овцой Дымкова. Умел жить на земле, умел и хозяйничать; вел сходы. Никто не уполномочивал: сами люди шли в его пятистенку, когда прижимала жизнь. Боялись, завидовали, но шли. Для какой душевной услады он создавал великую крепость и нерушимость двора? Сзади, в затылок, ему жарко дышали. Повел глазами... И Миронов, сидевший рядом, страдал. Тягостно страдал, то и дело почесывая бороду пальцами. Тимофею одному, может, и понять его душу... Лысина Дымкова взмокла испариной. Он встал и, наступая на ноги, пробрался к выходу. Расступаясь, давали дорогу; около порога обернулся, но ничего не сказал — исчез за дверью.

Следом за Дымковым ушли и Бабинцевы — два брата.

— И это мы видели, — громко сказал Замялов.

— Кому слово? — повторил вопрос Золотухин.

Некоторое время сидели молча. Увидели Лушку Поршневу: она, маленькая ростом, приподнималась на цыпочки. Лушка была очень брехливая баба, могла ругаться без устали, без передыху. Поэтому сразу же, как она встала, ее начали оттирать, но Лушка выпалила скороговоркой:

— Не лезь ко мне! Али я слова лишённая? Али я подтюремница? — И задала вопрос, который на какое-то время поставил весь сход и того же Золотухина в тупик, ему и задала: — Скажи, Максим, а как выйдеть насчет баб?.. Ежели вместе, то вы со всеми нами и спать захочете? Вповалку? И жены обчие, и дети обчие? А то как же — коммуна!

Смех угас быстро. Григорий поднял руку, постучал карандашом по графину из барышниковского имения и сказал:

— Товарищи женщины! Излишние тревоги. Отвечаю своей головой: никто не собирается вас ложить в постелю к чужому мужику.

— А Лушку хочь бы и положили, так она не против! — весело смеясь, крикнула жена Левцова, плоская и тихая, точно икона.

Григорий сжал локоть Золотухину, сказал твердо:

— Пора кончать! Ночь проволынят, и уйдем пустые. Что ты тянешь? Сорвешь политическую кампанию! — И почтительно посмотрел на Замялова.

Тот сидел, прожевывая губами, словно грыз сухарик, и щурился одним глазом. Текуч, неуловим был взгляд, коричневый зрачок не мигал: стеклянно светился.

— Эко ты тороплив, — сказал уютно, семейственно, но губы его вдруг поджались, отвердели, зрачок уперся в Золотухина: — Он сам знает. Не дави. Он знает.

Поднялся старик Кондрат Стрекалин, возмущенно заговорил:

— Бабинцев хитер, его на кривой не объедешь. А брат тот и вовсе жук. Стало быть, оне порешили так:

нехай, мол, покуражатся, а мы переждем. Крестьяне! Я нынче свой надел не осилю. Кобыла чуть живая, ожеребилась. Намедни загадал продать жеребенка, а он, жеребенок-то, тварь болявая, издох. Кобыла вон не может становиться на передок. Куды, говорю, иттить? Андрей Бабинцев мой надел пахать не будет. До чужого дела нет. Дымкову, известно, добро не дядя нажил. Крестьяне! Я за эту коммуну иду! Иду за ней с головой, пущай что хошь. Я прибеглым не верю: оне мужика продавали. А Максиму верю: наш он, сумной, и плуг ему не тягостен. Я первый и вписываюсь! Впиши по всей хворьме, и с лошадью, и с коровой, со всем, что имею. А какой у меня конь? Он конь гнусный, убить и того мало. Жрет как заправский мерин, за зиму смолол сколько сена, а как до работы, так он, сволочь, станет и не виляет даже хвостом. А то ишо возьмет и ляжет. И тогда ты его ничем, стерьву, не подымешь с земли. А конь есть конь, и я без него, то исть без кобылы, что изба без окон. Ее сознательно сведу в коммуну! Пущай работает, покель может. — Кондрат не успел сесть, как Лукашкин заговорил пронзительно, вертя бурой головой:

— Не допущайте увода своего скота со дворов. Обман это! Нас обратают! Хуже обернется нам эта коммуна! Сельчане! Пущай Кондрат с Люшней и вписываются. Сядут на наш хребет. Им не впервой попрошайничать.

И тогда Кондрат на все собрание спросил:

— Это когда же я, антиресно, сидел у тебя на шее?

— Не сидел, так хочешь.

— Видали, я у него, у аспида, на шее сидел!

— Злыдня несчастная! — завопил вдруг побагровевший, вконец обозлившийся Лукашкин. — Сжечь к х... всех! Разве вы-ы лю-уди-и? Вы?! — Он, брезгливо подергивая плечами, отошел к окну, согнал с подоконника ребятенка, сел.

Золотухин очень внимательно следил за сходом. Непримиримые трещины будоражили деревню. И знакомо это было ему очень... Никогда, сколько он помнил, в Лукашовке спокойно и тихо не жили. Как исстари, из пыльной толщи столетий немой тенью пришел этот тяжелый раздор, так и прижился.

Лукашкина поддержал Порфирий Кожушенков, но осторожно заговорил, словно пошел вьющейся над обрывом тропой:

— Скот уводить за здорово живешь мы покуда не должны. Еще неизвестно. Русский крестьянин к двору привык. Но какой имеется смысл рушить его? Я не одобряю Лукашкина: материтца не следовает, а подумать — в аккурат не мешает. Тут он прав и в корень глядит...

Торопливо встала и, словно боясь, что ее перебьют, начала говорить Марфа Нифедкина:

— К чему оне ведут, Лукашкин, Ведерников и Порфирий? Своих коней во снах видют! Туда и ведут: хвостами за коней дрожат. А как я без коня жить буду дальше? Ты у меня, Мирон, спросил? Ты хучь раз помог мне и другим безлошадным огород вспахать? Я и к тебе, Илья Захарович, весной восемнадцатого года приходила. Помнишь? Чуть на колени не стала. А от тебя — к Ведерникову. Послушал, да не дал. А от его к Бабинцеву повернула, к Андрею. Аж затрясло проклятого! Была бы гибель, ежели бы не помог нам комитет бедноты. Это он заставил их, сытых, вспахать безлошадным.

— Куды мне с плоймой? * — как бы в каком-то раздумье, сразу за Марфой, заговорила Фекла: — Куды мне с ней, с четырьмя? Разве я подыму надел? Оброс вон кустами. — И вытянулась надо всеми, худая, прямоплечая, все увидели ее голову в таком знакомом каждой заплаткой, потерявшем цвет платке, постояла немного и повторила: — Как же мне, лю-уди-и, жить! Ка-ак? — И, навзрыд заплакав, села. У нее было четверо едоков.

Снова теряя терпение, распахнув кожаную куртку, решительно заговорил Григорий:

— Надо всем понять одно: отныне не Лукашовка будет на карте — коммуна! Любой ценой она и будет стоять, пугать кулаков да прочих приверженных, кто ухватывается за собственность. Кому-то не нравится коммуна в Покровском. На всех не угодишь! Я считаю, пора переходить к конкретности, сказать вернее, голосовать за коммуну. Надо также выбирать название, что

---

* Пло́йма — многодетность, бедность.

важно с политической стороны. Какие будут высказывания по сути вашего входа?

«Коммуна создана...» Уже они попрощались с волей? Не лица плыли перед глазами Золотухина: живая, колышущаяся масса, надо было решать ему: ждали его слова, и летели дорогие минуты. Начал приподниматься товарищ Замялов. Он-то скажет, Золотухин догадался, что...

— Будет говорить товарищ Замялов, заведующий отделом агитации укома партии, лучший специалист по коммунам, — объявил Григорий.

— Тут особо говорить не требуется, — Замялов прихлопнул папку с бумагами. — Есть предложение немедленно зачитать общий список вступившей бедноты.

Галина видела, как трудно было Золотухину, как сумрачно оглядывался он, ища подпоры себе.

И, не слыша своего голоса, вся охваченная чувством стремительности и желанием вмешаться, чтобы пресечь зло, она протолкалась к сцене, оглянулась на будто оплывшие лица стариков и баб.

— Каждый за себя скажет! Должен сказать, а так... Максим, говори немедля — от имени народа говори! — Она опять испуганно оглянулась: сзади, дыша в затылок, весь подтянутый и будто подросший и повзрослевший, стоял Митька.

— Мужики! — вдруг крикнул он по-детски пронзительно. — Сельчане! Золотухин — наша надежда... Коммунист он, верьте ему! Так что всегда верьте — вот. — Он умолк и залился краской от непонятного смущения.

— Товарищу уважаемому из укома... мы ему всяческий почет оказываем, да ведь нехорошо чтой-то... неладно утрясается, — проговорил Кондрат, покашливая от стеснения. — В должностях люди заслуженные, сами из народа, из нас, должность мы не хаем, да я говорю... нехорошо чтой-то?

Золотухин спокойно вышел из-за стола, сказал тихо, но услышали все:

— Будем голосовать подъемом руки. Кто подымет, тот и в коммуне, кто не подымет, того не приневолим. Никаким даже образом!

Галина и Митька, придвинувшись, стали рядом с ним с обеих сторон.

IV

Замялов, не изменив своего выражения невозмутимости на лице, подвинулся ближе к краю сцены, желая рассмотреть лица на передних скамьях.

— Откуда знать глубину партийной политики на деревне вчерашнему солдату? В окопах ему учиться некогда было. «Бедноту» с руководящими статьями он не читал. Молодой большевик: без слов понятно. Хотя и комиссаром полка был выдвинут, но ограниченность познаний преодолеть не смог. Крупно ошибается наш уважаемый товарищ! Но что же? Подправит уком, а он осуществляет партийное руководство, ставит вопрос создания коммун, не разрывая его с текущим моментом! Наша общая победа над классовым врагом требует решительного переворота крестьянского уклада. А потому мы говорим: через год-два увидите вы социализм, его плоды. — Замялов помолчал или с желанием обдумать то, что говорить дальше, или с целью выяснения того, как поведут себя крестьяне. Он видел, что они будто стыдились и прятали от него лица.

— Мы все от ошибок не застрахованы. На ошибках учатся, без них и воз дров не нарубишь, и даже щей не наваришь, — пошутил он. — Ты, дед, верно подметил, но если говорить о хорошем в тех коммунах, которые уже функционируют, то там люди в нашем социалистическом братстве будут уже послезавтра. Я считаю, товарищи: давайте придумывать ей название, и есть предложение — «Светлый путь».

— Погодите-ка, это как же? Мы еще слова своего не сказали! — оторопело воскликнул Лукашкин, поднимаясь со скамьи.

— Трех коровок жалко? — подмигнул ему Замялов и сумрачно прищурился.

— А ты их растил когда-нибудь? Коровок? Ты сам, товарищ, за жизнь хоть пуд хлеба посеял? Откуда ты такой учитель?

— Некогда было, гражданин Лукашкин: на царской каторге обходились без хлебопашества. Другой хлеб сеяли мы на той ниве. На царской каторге нам с товарищем Востряковым железным прутом считали ребра... Запишем «Светлый путь».

— Не хочем!

— Катись отседа!..

Замялов переждал шум, черные глаза его сузились и заблестели, но он невозмутимо спросил:

— Другого предложения по названию не будет? Нет?

И все-таки Золотухину еще требовалось ждать: надо было сегодня ему победить, повернуть во что бы то ни стало сход на свою сторону! А время не настало: еще должен был выговорить все народ.

— Ишь какой, заговорил про название!

— Как овец кнутом...

— Носи сам свое название, у сибе в штанах. Ха-ха! Не тебе, дядя, касаться-то народного ума. Дурачки нонче вывелись — прошибся ты маленько.

— Отворяйте двери! Неча их слухать! — кричал Бабинцев.

— Стойте, бабы! Нам Бабинцев тоже не сват.

— Чаво там стоять? Пошли!

— Куда пошли? Надо довести до конца! — крикнула Галина.

Желая сказать что-то веское, значительное, Митька, однако, ничего не смог выговорить и, не спуская глаз с Золотухина, встал на пороге и заслонил выход.

Золотухин одной секундой опередил Замялова, заговорил, опираясь напряженной рукой о стол:

— Товарищи! Понуждать невозможно. Я вчера выписал себе из газеты «Правда» на бумажку разъяснение правительства. Вот что там сказано:

«Те представители Советской власти, которые позволят себе употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное принуждение, должны подвергаться строжайшей ответственности отстранением от работы в деревне...» — Золотухин передохнул, посмотрел на толпу, прочитал еще дальше: — «Лишь те объединения (коммуны) ценны, которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике». Товарищи! Я призываю: сорганизовать свободно и без нажиму! — И, не давая Замялову и Григорию опомниться, спросил громко, подавшись всем корпусом вперед: — Кто за то, чтобы войти в коммуну? Без понуждения? Добровольно? Во имя себя и детей? Кто? — И первым поднял свою единственную руку:

кончиками пальцев достал до потолка, словно его подпер.

Свет двух фонарей, которые только что зажгли, не доставал туда, где торчало к потолку три руки, их сперва даже не заметили. Лица крестьян слились в одну бесформенную массу. И увидели наконец, подвинули взад фонари. С поднятыми руками стояли Марфа Нифедкина, Кондрат Стрекалин и Фекла Косухина.

Золотухин спросил:

— Вы согласны идти в общую жизнь?

— Нам выхода нету, — за троих сказала Марфа.

— И ежели какая беда — за всех отвечать?

— А за нас?

— Как один человек и за вас! Еще будут желающие?

Усинцов спросил:

— А ежели захочу выйти, выпишешь? Обратно?

— Даже без разговоров!

— А ты не врешь?

— Не вру.

Еще вошло пять семейств вместе с Усинцовым: сестры Семигоновы, Антон Левцов, Поршневы и Лопаревы.

Остальные — большинство — воздержались.

Золотухин прошелся по сцене, вправил под ремень выехавший пустой рукав гимнастерки.

— Коммуна зачинает свою жизнь! — сказал торжественно. — Как бы ни было: сытым кланяться не пойдем, а любого примем.

Замялов долго сидел за столом, бессознательно потирая указательным пальцем подбородок. Когда Золотухин, надев шинель, направился к ступеням сцены, быстро подошел к нему, негромко сказал:

— Ты пошел против укома, Золотухин!

Григорий, не сдерживаясь, с бешенством крикнул:

— Ты ответишь! За самоуправное нарушение указаний товарища Вострякова.

На улице, неподалеку от нардома, Золотухина поджидали Марфа, Усинцов, Галина Лопарева и Митька. По отсырелой весенней деревне разносились возбужденные голоса, где-то неумело, но весело выговаривала плясовую балалайка.

— Вот ить, Максим... А? Вышло-то? — дивился Усинцов.

— Ты погоди-ка, погоди, — остановила его Марфа и, чем-то завороженная и взволнованная, замолчала. Они прислушались.

Над ними, над лесами, над деревнями, над Россией детским новорожденным криком звенели журавли.


ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



Русский пахарь-кормилец!.. Я хочу коснуться самых дорогих и, быть может, самых трагичных страниц твоей жизни. И если я солгу, безжалостно суди меня своим мудрым правосудием. Душистый, истинно золотой хлеб, пахнущий всеми цветами земли, добываешь ты. Работая без роздыха, не разгибая спины, тебе казалось всегда, как короток день! Веснами тебя изнуряли затяжные дожди, в длинные, как вечность, осенние вечера — под тяжкий стук молотильных цепов — тянул ты свою хватающую за сердце песню. В круговороте бесконечных работ ты ни разу: ни в будни, ни в праздники, ни в молодости, ни в старости — меньше всего думал о себе, что вот и бос, и худая одежда, и голые к небу торчат стропила, потому что в зиму снимал с них солому скотине на корм, что за душою нет ломаного гроша, что нигде не был дальше своего трудного поля, что ни разу не сносил хороших сапог... Все думы, все труды, и чаянья, и даже сны — о нем, о хлебе. И сколько же ты переворошил, перевеял, пропустил сквозь свои одубенелые, мозоль на мозоли, ладони хлеба! Но когда случались засухи и недороды, жизнь становилась хуже каторги. И, сцепив зубы, ненавидя сам себя, ты — крошечная пылинка в великом океане кормильцев — уходил в дальние туманные края, пускался, помолясь богу, в путь в поисках своей лучшей судьбы. Шумные города, как скатерть-самобранка, манили тебя, но видел ты, что рабочему человеку и там тюрьма. Начинал ты тогда понимать, что-то неосознанное точило тебя изну-

три, неистребимая власть и зов земли гнали тебя обратно. Бывало, не только хаты — ржавого гвоздя не найти на родимом подворье. И, живучий, вновь воскресал ты около своей земли. А руки женщин-крестьянок! Кому рассказать горькие повести о них, умевших и стирать, и копать, и рубить избы наравне с мужиком, и шить, и ткать, — все их руки! Какая баба не выла в пустой ночи, проклиная жизнь, а наутро шла исполнять свою работу спокойно и безропотно? Какую не били под пьяную и трезвую руку? А дети твои?.. Как же сладок сон на заре! Еще земля не скинула саван тьмы, еще дремлют над ней голубые звезды, а дети уже спешат: один гонит коров, другой чертит сухую твердь дороги синим острием плуга — в двенадцать лет уже кормилец! Твоя жизнь, жизнь детей твоих неотделима от земли, и потому так велика и несгибаема сила духа народа, так велика титаническая мощь его свершений. Под самыми сумрачными рубищами постоянно жила в тебе гордость. Все горькое и безобразное уходило в воспоминания, понемногу начинало забываться и тускнеть.

И там, где междоусобица гражданской войны оставила тлен и прах земли, окаменелую пустошь, где нечего ущипнуть даже скотине, завтра налетевший теплый ветер новой жизни овеет могучим и животворящим духом взращенного хлеба.

Еще затемно Золотухин пришел в нардом. Короткий, но крепкий сон лишь освежил его. В лужах остро кололся тонкий трескучий апрельский ледок, из туманных и сумеречных полей, от Зимовной вырубки несло свежий, бодрящий ветер. С другого краю деревни люто и с ровными перерывами, как бы призывая кого-то, лаял кобель. Деревня, настороженная, еще дремала. Кое-где лишь виднелись дымы, а пора бы хозяйкам топить печи.

«Не придут», — подумал он и потом с полчаса в тревоге и одиночестве ходил и курил на поповском подворье с поваленной изгородью. Мутно светало, тихий, шепелявый, закропил дождь, подул сильный ветер, и косыми струями начал бить по земле град. Стало еще холоднее и неприютней.

Войдя в нардом и сев за стол, потянулся было к по-

желтевшей газете, чтобы оторвать бумажку на курево, но начал читать:

«...Находятся люди, жалеющие крестьянина-середняка — считают своим братом. Политические слепцы? Не уверен. Мне думается: платформа вреднейшего оппортунизма. Сегодня жалеют середняка, отдадут ему сельскую власть, которую он использует в хищнических целях для войны с коммунами и беднотой, а завтра(?) эти люди отдадут на слом Советскую власть...

Т. Востряков, секретарь губкома РКП(б)».

Золотухин свернул цигарку и, не успев прикурить, услышал в сенцах шаги: шли Марфа и Фекла Косухина. Плотней запахивая зипун, Марфа поздоровалась; как и вчера на собрании, материнское чувство ее взяло верх надо всеми другими чувствами. Почему-то она очень верила ему, хорошо понимала его и шла за ним. Фекла выглядела куда бойчей Марфы: худая, морщинистая, давно уже переставшая стареть, будто остановившаяся на полдороге, она, казалось, собралась жить вечно, неистощимо и безропотно сносить все, что ни пошлет судьба.

— А че, никого нет? — спросила Фекла.

Золотухин посмотрел на них и улыбнулся.

— Ну, бабы, как будем жить? Сколько в восьми семействах мы имеем коней, коров? — Он знал сколько, но еще раз спросил и сам ответил: — Три лошади и четыре коровенки? Я не ошибаюсь?

— Так, — ответила Марфа.

Лишь к двенадцати часам дня, когда они уже порядком перенервничали, к клубу — нардому подошли остальные, вступившие на собрании в коммуну.

Все выглядели растерянными, притихшими и будто виноватыми. Под мутными глазницами окошек последним прошагал по деревне Усинцов, у порога стряхивая с защитного картуза сырость, сказал:

— Андрей Бабинцев корову свежует!

Золотухин сейчас же ответил:

— Мы это знаем, Федор. Так должно было быть.

— Нарочно, сволочь, посеред двора рубит мясо! А как на других перекинется? Ты об этом подумал?

Фекла проговорила совсем без страха — сообщение это ничуть не тронуло ее:

— Не больно-то охота коров бить. Только и нам от них молочко не перепадет. Чужое молоко нам, видать, не исть.

— У Бабинцева еще три в хлеву стоят, у других по одной корове. Одну не так-то просто зарезать, тут тетка Фекла правильно заметила: не просто, когда она кормилица, — сказал Золотухин. — Товарищи! Сейчас мы должны выработать себе план. Первое — давайте придумывать нашей коммуне название. Вот что предлагаю, товарищи: «Власть труда». Какая идея? Когда у власти труд, то и она сама, власть, может быть самой верной. Нам нужно и сейчас и наперед держаться за слово «труд», а вместях эти два слова подходят. Идею изображают верно. А также оне не допущают кривотолков: пущай наиглавным у нас в коммуне будет труд, а не власть. Есть у кого другое предложение по названию, товарищи?

Все выразили согласие, усомнилась лишь одна Пелагея Семигонова. Пелагея долго разглаживала ладонями складки потерявшей цвет юбки, наконец подняла на всех удивленное лицо и спросила:

— А кто же нами зачнет управлять?

— А тебе что — охота, чтоб управляли? — прищурил один глаз Усинцов, усмехаясь.

— Мы сами, братцы, зачнем управлять с севодняшнева дня, такое нам право дала революция.

Золотухин повернулся к Галине, сказал:

— Предложение — дальше: пущай Галина ведет все наши протоколы собраний и записывает их в конторскую книгу. Все наиглавнейшее. Ты можешь, Галина, такую книгу найтить?

Не успели перемолвиться двумя фразами, как Галина вернулась из поповской кладовой с огромной, в коричневом кожаном переплете тетрадью в косую линейку.

— Крепкая книга! — похвалил Золотухин. — А также на Галину, как на самую грамотную, возложим обязанность добывать где возможно для коммуны книги и в ближайшее время натурально открыть библиотеку. Она хозяйка нардома! Летом вместях со всеми Га-

лина также будет ходить на поле. Возражений нет? Хорошо. Запиши постановление о названии. Дальше — пока никакого совета иль, к примеру, правления нам избирать нету смысла. Будем, пока нас мало, все решать вместях, а если нас станет больше, допустим — вся деревня войдет в коммуну, то как быть? Выход укажет сама жизнь. Тогда, видимо, изберем совет выборных товарищей. Но я считаю: не правление и не президиум, вся старая русская жизнь — одно правление. Но вот ежели совет коммуны, то ясно: выполняет нашу волю, а не правит и не приказывает. Об этом ишо вопрос ставился в прошлом году на российском съезде коммун. Но я говорю, товарищи, это потом, а покуда должен быть избран председатель. Мы немедля должны тут же его избрать, но не для командования, а для организации работы и самой жизни. Не оправдавшего доверие народа общим решением с позором отстранить. Какие поступят предложения?

Кондрат Стрекалин выдвинул Золотухина: и тут же без единого возражения тот был утвержден.

Поблагодарив за доверие и сказав: «Отдам всю жизнь за народ», — Золотухин сказал затем:

— Дальше — немедля обобчествляем коней, коров и свиней. Я думаю: у кого свиноматка с опоросом, то не все одинаково, многосемейным одного-двух поросят оставить в их дворе. Курей не обобчествлять. Но ежели во дворе их много, мы должны подумать о наших детишках и выделить коммуне по две-три курицы, а также и петуха-производителя. Таким путем со временем мы создадим себе птичник в коммуне, я в это горячо верю! Пойдемте смотреть поповский двор, куда нам сводить тягло и скот. Федор, у тебя две телеги? Одна на железном ходу?

— Две, — подтвердил Усинцов.

— Ты свезешь обеи, Федор!

— Свезу, — покорно, но не сразу согласился он.

Левцов спросил для уточнения:

— У меня есть санки с кошевкой. Их взять?

— Антон Васильевич, мы в них будем возить детей в школу, оне нам дуже сгодятся. Что ж, поговорили для первого разу — и хватит. Пошли, товарищи!

Ворота, припертые корягой, еле отворили всей группой. Изнутри шибануло мышиной пылью. В оконца на-

искось слезился скупой свет сумеречного дня. Двор этот, построенный лет двадцать назад, был из сосновых бревен под драночной крышей. Но кормушек, кем-то догадливым выдранных, и лошадиных прясел не виднелось ни одной.

— Мы разместим здесь все: коней, коров, свиней и овец. На совесть плотники сделали!

— Ишо как! — восторгался Усинцов своей же работой: сам он с другими мужиками и строил скотник попу, помнил каждое бревно в стенах.

— Ить не ты ли, Хведор, стругал тут? — спросил Кондрат, тоже дивясь аккуратности.

— Бывало дело.

— Думал ли? Что Виссаривона-то?

— Что ж, поведем? Начнем, товарищи? — спросил Золотухин.

— Может, Максим, ночью, а? — спросила Марфа, с испугом выглядывая за ворота.

— Нет, Марфа! Боишься ты? Кого нам бояться, дома у себя? Кого? Товарищи, дорогие мои, вся сила в нас. Начнем! — И Золотухин крупно зашагал из ворот, благо ноги были длинные — журавлем.

II

Марфа оказалась вещуньей, когда предлагала скот сводить ночью, — при свете солнца лукашовцы ждали их позора. Коммунарам Золотухин негромко сказал:

— Друг от друга не отходить! На случай стычек со стороны одурманенного и несознательного народа в драку не лезть, всячески переводить ихние вспышки на смех. Смехом вдарять и разбивать враждебность. Кондрат, иди зачинай первым. Ты коня и корову приведи разом.

Кондрат спустился в низину мимо выстроившихся вдоль дороги мужиков и баб. Коммунары, разбившись на три кучечки, заняли позиции. Толпа с обеих сторон дороги продолжала все придвигаться: выползли совсем древние старики, и детишек прибавилось. Стоял неровный гул, перекатывающийся от плетня к плетню, и вниз по деревне, от хутора спешили все новые бабы и ковыляли старики.

— Гляньте, Кондрат свою худобу вывел!

— Не то конь, не то смерть ходячая, тьфу!

— Не говори, кум, хвост у ней дудкой, а это первое дело, не околееть, нет.

Кондрат тем временем вел за поводья и кобыленку и корову. Упираясь разбитыми копытами, корова не хотела идти в поводу, мотала головой. Несколько раз она, угнув однорогую голову, пырнула под зад хозяина, и старик, не злобясь, шлепал ее по квадратной, обросшей мягкой нежной рыжей шерсткой лысине. И, шлепая, задерживал на шерстке шершавую ладонь, прощался и с коровой и с лошадью.

Он что-то сказал бабам, а сам гладил корову, прощаясь не только с животиной, но со всей прошлой вековечной жизнью. Он даже не слышал теперь криков и улюлюканья и не видел ничего, кроме узкой ленточки дороги, которая вела его и вела, все круче, в гору, к поповскому двору. Он вспоминал, как она, корова, мать нынешней Казьмирки, трудно телилась. Ту вьюжную ночь Кондрат хорошо, до полной осязаемости, помнил.

...Была пурга, белая муть затопила деревню, хаты потонули в сугробах и тьме, и он вышел, разбитый тревогой, с фонарем проверить, не отелилась ли корова в хлеве. А она, опроставшись, жалобно взмыкивала и изнеможенно лизала что-то липкое, теплое и живое, лежавшее на соломе. Увидев человека, корова глубоко выдохнула из себя утробный пар, жалобно промычала и, уставясь огромными фиолетовыми глазами, проследила, как старик взял на руки, осторожно прижал к себе ее крохотное дитятко с розовыми копытцами и куда-то унес. Казьмирка не знала, что хозяин его унес в хату, в людское тепло, в тот теплый и полутемный катух между печью и дверью, где давно-давно жила она сама...

— Гляньте, корову уже за хвост волокеть!

— А кобылка-то Кондратова. Кха-ха!

Лошаденка у Кондрата была на редкость забитая. Перед самыми воротами она, поводя боками, закачалась, передние ноги у нее подогнулись, кобыла тоненько и жалобно всхлипнула и сунулась в мусор.

На бугре увидели это и захохотали. Кондрат то беспомощно охлестывал ее хворостиной, то дергал за уздечку, пытаясь стронуть с места.

Кобыла неловко лежала, ко всему безучастная. Кондрат под визгливый вой Бабинцевых заговорил с ней тихо:

— Не жрала ты овес? Не трескала ты его? Ей-богу, жрала! Али забыла? Годов так пять назад... А то нет? Жра-а-ла-а, проклятая!

— Бросьте вы его слухать! — взорвалась Марфа. — Он рехнутый своей кобылой, Кондрат. Давайте тащить!

— Отойдите, сейчас встанет! — сказал тонким, перехваченным жалостью голосом Кондрат, внимательно присматриваясь к лошади.

Утробно и часто дыша, беспомощно царапая землю задними ногами, кобыла приподнялась на дрожащие передние, глаза ее посветлели, мелкая стригущая дрожь сотрясла все огромное худое тело — и поднялась! Она посмотрела на людей, обступивших ее, встряхнулась и торопливо, неровно пошла в скотный двор.

— Я ж говорил! — обрадовался Кондрат и еще что-то бормотал в станке, вороша в прясле крохотную охапочку пронзительно зеленого, пахнущего знойным лугом левцовского сена.

И все вдруг притихли и постояли около скотины. Это было их общее и горькое добро: три лошади, четыре коровы, пять свиней и коза.

— От ее молока, говорят, большая польза, — хлопая козу по рогам, сказал Золотухин. — Будем, значит, его распределять маленьким детишкам.

— Верно! — согласилась Марфа.

Один лишь Левцов безучастно стоял около своего буланого, хорошо выкормленного жеребца, гладил ладонью лоснящийся бок, смотрел себе на носки сбитых сапог, молчал. Липучая жалость, черной пиявкой она впивается в сердце и, захоронясь там, будет не один день точить и сушить душу. Больше не разбудит тебя на зорьке ржаньем твой, тобою нажитый, на одного тебя работавший конь! Не принесешь телка февральской ночью в избяной закуток, не будешь ночами слышать, как похрустывает под ним непритертая солома, не повеет от него на тебя почти что детским теплом, не оближет мокрыми, материнским молоком и сеном пахнущими губами твои руки этот телок, и не будешь ты ждать, как святого праздника, нового прибавка в хлеву.

И страшно и невиданно... «Господи, да ведь старая-то наша жизнь кончена!..»

Все молча смотрели, повернувшись, на его гладящие руки и словно слышали его немой крик.

— Товарищи, выйдем по-тихому, — шепотом сказал Золотухин. — Не мешайте ему.

III

Вечером в хату к Золотухину пришел Лукашкин, сильно сдавший за последние дни, и Максим впервые увидел в смоляной черни волос свежепробитую седину. Сев в тень, в угол, он не спеша закурил, пуская колечки дыма, буравящим взглядом пробежал по книгам, лежащим на столе, ворчливо спросил:

— Одолеваешь?

— По троху.

— Я пришел, Максим, узнать, — заговорил он не сразу. — Ты свой, худого никогда за тобою не примечал. Верю тебе, не знаю, откель вера, но верю. Ты скажи: силой будут вгонять али нет? Собрание собранием. Могли пыль пустить. Пятьдесят годов — меня на мякине не объедешь. В клубе спорол горячку. Боюсь бесхлебья! Я по гвоздю собирал двор. Найду, бывало, железку — возьму, к чему, не знаю, а возьму. Ответь: сгонят в коммуну палкой или дадут жить в единоличности? Ты мне ответь!

— Отвечу, Илья Захарович: Советская власть не будет применять силы в отношении таких, как ты, ручаюсь! Ежели, понятно, не станешь на путь саботажа. Старое не помню, твою брехню на собрании я давно забыл — вот тебе мой ответ...

Неожиданно в избу вошли Ведерников и Тимофей Миронов. Когда они уселись, Лукашкин сказал:

— Хотя бы тот, Замялов... Ить он вразрез с тобой. И Востряков вразрез — вот что!

— Власть у нас одна, Илья, Советская. А она за тебя, Лукашкин Илья Захарович!

— За него? — сильно изумился, поводя бородой, Ведерников.

— И за тебя тоже. Ежели, говорю, без дурости.

— Оговорку допущаешь, стал быть?

— А как же, допущаю. Ты, может, обрез вынешь, а Советская власть, ты думал, будет тебя по шерсти гладить? — Золотухин рассмеялся.

Ведерников поднял белесые, с молочной голубизной, глаза к потолку, посидел так мгновение, сказал осторожно:

— То-то и оно, што оговорки...

— Хитрые вы, сельчане! — Золотухин трогал за плечи то одного, то другого, то третьего и каждому по очереди засматривал в глаза. — И хочется, и колется... и мама стращает, и женишок юлой вертится.

— Вам-то, комиссарам, палец в рот тоже не суй: культяпки не оставите. А мы хозяйственные.

— Хозяйственные! — гордо и веско подтвердил Лукашкин, поднимая торчком дымно-синюю блестящую бороду.

— В том и гвоздь. Коммуне без вас не прожить!

При этих словах даже вечно невозмутимый Миронов оживился, поднял от пола нелюдимые глаза.

— Земля не мачеха: на ней надо уметь работать, — заметил, вздохнув, Ведерников.

— Горшки жгут, известно, не боги, — сказал Золотухин.

— Ладно, — Лукашкин подался вперед, уперся руками в лавку. — Ты знаешь, Егорыч, я-то жил... кубел * сала не переводился. А при вашей коллективности? Про это ночами думаю! Ну а словами сыт не будешь. Конторский сыт, у него оплата по другой статье. А хлебопашец как был лапотник, так и остался. А откуда знать — докуда это? А ежели помрешь голым? Ты нас пойми, Егорыч, мы ноне тоже ученые — оглядываемся. Наслухались мы про коммунскую-то жизнь...

— Я сам был в Покровском: мы по их дороге не пойдем! Оплатим, я уже говорил на собрании, по труду, по работе. Присланного нам в помощь конторского, если такой будет, бояться не следует: это может натурально быть и верный партиец, а также без партийности, но преданный народу.

— Комиссар, тебе, чай, осудобят паек-то? — Ведерников потер щеку, нехорошо блеснул глазами.

---

* Кубел — бочка.

— С вами поделю последнюю корку, — тихо отозвался Золотухин.

Вышли из хаты мужики молча. Думали... В высоком-высоком небе, недосягаемо-безгрешная и далекая, разливала свой хрустально-серебряный блеск луна.

IV

Коммуна из восьми семейств начинала жить. Несколько дней жили затравленно, затаенно, в деревне единоличники злорадно насмехались. Откуда-то зловещие, один нелепей другого, ползли слухи. Говорили о боге, который спускался в Зимовную вырубку с двадцатью шестью ангелами, собирал зверей и, обратив их в людей, пустил по деревням читать проповеди. Еще о колдуне Сапатом говорили — ходил по полям со своей головою под мышкой. В овраге как-то нашли голого мертвого человека с осиновым колом, вбитым в живот. Неистощимое воронье орало в складках лощин, в полях дымились по утрам сырые туманы, обильно перепадавшие дожди заливали холодную, ждущую осеменения землю. Непогода обрушивалась на деревню, взбухла под самые берега Угра; по ночам голодные волчьи стаи бродили в голых полях; подбирались к тынам, к хлебам. Ждали тепла, ждали пахоту. Единоличники разбрасывали навоз по наделам, ладили плуги, ковали лошадей.

Не дремали и в коммуне. С трудом в эти же дни наладили кузницу, брошенную еще в семнадцатом году тем же Виссарионом. Весь разодранный, кое-как сшили мех, укрепили горн, притащили шайку, нашли в бурьяне наковальню. К кузнице единогласно приставили Усинцова и Митьку. Митька все еще жил раздвоенной жизнью: родители в единоличности, а он в коммуне. Ходил он слинялый, почему-то, куда бы ни шел и что бы ни делал, оглядывался. Надо было наваривать бороны. В овраге нашли ржавые металлические брусья — с грехом пополам собрали две узеньких бороны. Тем временем Кондрат от темна и до темна мастерил бороны деревянные: и этих вышло три штуки; конь мог тянуть сразу две, а то и три, глядя, какой конь.

Мыкались первые дни с дележом молока. От четырех коров надаивали по пять, а то и по три литра, дели-

ла его Фекла жестяной кружкой, боялась выплеснуть на землю хоть каплю. Иные тут же, прямо на скотнике, свою порцию и выпивали, а женщины, получив молоко на детей, несли его под злобный перешепот по деревне в хаты, несли так бережно, так прижимали кувшины к грудям — не мог без содрогания на это смотреть Золотухин! Первый день он пил со всеми, одним духом осушил свою долю, а на другое утро, подойдя к Фекле и поглядев, как та птичьими дозами то убавляла, то прибавляла молоко, сказал:

— Вы, товарищи, наверно, не знаете: не люблю я молоко! Как возьму в рот, на изжогу тянет. Это у нас, у Золотухиных, порода такая. Взять моего деда Терентия. Он что делал? Нальет самогонки в чашку, посолит ее, накрошит туда хлеба и это паскудное месиво ест ложкой и ишо похваливает. А чтобы притронуться к молоку, и не подумает. Раз ему моя мать-покойница ставит колымажку * топленого молока, а дед посмотрел на нее и сказал: «Дай, — говорит, — ты мне хучь наперсток самогону, я тебе за него всегда молоко отдавать буду, потому что оно порча организму». И вот, товарищи, я вник в дедовы слова. Оно, молоко-то, не взрослым мужикам или бабам. — И приказал: — Тетка Фекла, неси молоко детям. Неси им, чертенятам, и даже не мозоль глаза!

Мужики и бабы постояли с черпачками, с кружками и молча разошлись. Вдобавок к общим невзгодам бросила доиться коза Поршневых. Левцов, матерясь в душе, предложил:

— Надо зарезать, проклятую! Пользы от нее нет, корм жрет зазря. Подходит пахота, нам в аккурат и хватит приправы.

На общем голосовании козу все-таки оставили.

Тихонько свыкались. Котла общего, чтобы бежать, вылупив глаза, пряча в карманах ложки, устраивать не стали: от такой коммунности типа «Зари» и других отмежевались начисто. Семенное зерно, рожь свезли в общий амбар на другой же после собрания день. Не проронив ни единой зернинки, перемерили — сто тридцать один пуд, — засыпали в закром и повесили замок, а сами сели на картошку.

---

* Колымажка — отбитый кувшин.

Холодный, дымом стелющийся моросняк ушел наконец-то за далеко маячившие на западе курганы, сладко повеяло теплом, земля просохла, проклюнулись язычки травинок на сугреве, и навалилась страда.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Второй уже месяц Матвеев жил в Высокове, поселившись в маленькой комнате на первом этаже Дома Советов, куда можно было ходить со двора. Он жил здесь так же одиноко, как и в Ярославле (жена его умерла от тифа в девятнадцатом году, а детей не было). Но там был завод, который надо было налаживать, чтобы выпустить как можно больше плугов, а здесь были земля и люди, которые такими плугами ее пахали. Весь месяц он ездил по уезду, весь месяц он чувствовал, как невидимое, но уже происходящее сражение должно было решить судьбу тысяч людей. Востряков прилагал огромные усилия и всю свою волю, чтобы победить. В каждой деревне имя его знали, имя это произносилось то ли с благоговением, то ли со страхом. И Матвеев не мог определить: чего было больше? Чего было больше, добра или зла, — это необходимо было определить самому Матвееву, как и то, кто Востряков и кому он служил?.. В деревне Чернухе, в тридцати верстах от Высокова, пожилая женщина со слезами умиления и восторга рассказывала ему случай, как Тихон Востряков дважды прикоснулся к ее больной девочке, дважды посмотрел ей в глаза и сказал несколько вещих слов о величии жизни, которая одолеет когда-то болезни. Девочка та выздоровела.

Из десятка уже созданных коммун в уезде ни одна не могла быть духовно принята Матвеевым. Он провел в четырех коммунах отчетные собрания. Ему удалось при значительных усилиях обновить руководство в них. И за это время ему удалось по линии Советов организовать две общественные столовые для самых бедных. Он видел, что люди, которых он хотел накормить, и верили и не верили ему, потому что их вера лежала на крепком фундаменте, каким являлся Востряков. Тот фундамент им был известен, он был свой, а все

невзгоды, связанные с коммунами, как бы не задевали имени этого человека. Он стоял выше: неверно выполняли указания народного вожака — только и всего.

Люди чувствовали, что Матвеев подтачивает его авторитет, как несокрушимую силу, и, стало быть, ему, как новому и неведомому, нельзя было верить до конца. Но столовые он открыл не себе, а им, и это начинало менять их взгляды на пришлого. Недоверие к нему еще шло оттого, что пришлые, которых много понаехало, не были люди рабочие, а являлись конторскими, еще дореволюционных контор, и, духовно отвергая их, сопоставляя их с ним, крестьяне чувствовали в Матвееве своего. Он не был крестьянином, но он был рабочим, хотя и не работал с ними бок о бок.

Вернувшись из последней поездки, усталый и осунувшийся, весь в грязи, он прямо прошел в свой кабинет. Сразу следом за ним секретарша внесла бумаги. Он внимательно читал их просьбы, нужда людей, так остро пронизывающая его в поездке, опять нависла над ним. Опять стоял, мучая и тревожа, один и тот же трагичный вопрос: как жить? Он велел позвать Чугунова, заведующего организационным отделом.

Спустя несколько минут этот тихий сорокапятилетний человек вошел к нему.

— Просьбы, где люди взывают о помощи с подвозкой дров, с перекладкой печек, с ремонтом хат и крыш, надо удовлетворять, товарищ Чугунов!

— Нету мастеров, Василий Семенович, — сказал Чугунов, и это было так, он говорил правду.

— Надо найти! Плотники и печники есть в деревнях. Сейчас разорение, сейчас, Чугунов, или повернем к революционному делу мужика, или оттолкнем его. Найти и оплатить им за работу. Обогреть надо солдаток! Инициативу и смекалку проявлять надо, Чугунов, — напутственно сказал Матвеев.

Неожиданно в дверях появился Востряков. «Правильно, что именно сейчас идешь, правильно», — отметил Матвеев. Сели за стол, друг перед другом, и разделяла их теперь узенькая полоска потертого, местами прожженного папиросами зеленого сукна. Востряков был в парусиновом, расстегнутом плаще, в кожаном картузе с побелевшим от времени верхом, который он снял и положил на край стола, на бумаги. Клетчатым чистым

платком протер большой, с выпуклостями, перечеркнутый глубокими морщинами лоб, сунул платок в нагрудный карман и спросил:

— Теперь, я вижу, у тебя полная картина по коммунам, Василий?

— Плохо, Тихон!

Должно быть, Востряков иного ответа не ожидал. То ли чувство досады, то ли даже какая-то грусть отразились на его большом лице, в его твердых глазах. И, движимый одним желанием — подчинить во что бы то ни стало себе этого человека, Востряков воскликнул с глухой тоской:

— Но разве ж не одной ценой с тобой мы добывали эту жизнь!

Матвеев улыбнулся и, собрав мелкие морщины у глаз, сощурился и как бы сквозь Вострякова посмотрел куда-то вдаль, которая открывалась ему в окно: спуск низких домов к Днепру, кусок горы с заброшенной часовней, за ней серая лента старой Смоленской дороги, в синих туманностях застывшие в немом и мудром молчании холмы.

— Может быть, Тихон, но не по прошлой жизни нас будут нынче судить, — тихо сказал Матвеев.

— Так! — как бы обрадованно воскликнул Востряков и неожиданно рассмеялся. — Уже и судить? Стало быть, покуда мы тут строили жизнь, и ты и я, и тысячи таких, уже, выходит, по нашим делам народились судьи? Сами к тому же неподсудные?

— Зачем тебе понадобился такой скоропалительный социализм?

— Не мне, товарищ Матвеев, не мне одному: миллионам. А ежели ты сам-то не от земли, ежели мужика не знаешь, не мешай, Василий!

— Миллионам? — Матвеев хотел было зачем-то встать, явилось у него такое желание, но он с усилием поборол его, и потому еще плотней он уселся в кресле, принесенном сюда из какого-то имения. — Миллионам мы покуда еще опрос не делали, ты за них очень-то не суди. Обождать надо! Прикрываясь заботой о судьбе миллионов, Троцкий в свое время нанес в Бресте удар революции, — напомнил Матвеев, сбоку, искоса взглянув в лицо Вострякову, и не ошибся: что-то внутренне вздрогнуло у того, окаменели и будто сжались мыш-

цы щек, и рука, пристукивавшая по крышке стола, остановилась.

— Троцкий уже не борец? Не революционер? — тихо, почти шепотом спросил Востряков, пронзительно всматриваясь в лицо Матвеева.

— Борец-то борец... — Матвеев сказал эти слова, а сам думал неотступно одно и то же, все ту же думу: «Кому же ты служишь, Тихон Востряков? Не может такого быть, чтобы сам по себе шел, не может этого быть! Не верю я тому!»

Огня не зажигали, хотя было уже темно: мерцала сквозь тьму сырого весеннего вечера яркая звезда, и по горе вокруг часовни один за другим вспыхивали керосиновые и лучиночные светильники. Зачернелась, померкла и будто погрузилась в сон вся даль Заднепровья.

— Семенные запасы, что в ссыпке при мельнице, я отдал распоряжение немедленно раздать по беднейшим дворам.

— Осторожней командуй, Матвеев, не ты их собирал. Семена припасены для тех коммун, кто не осилит своими фондами.

— У нас для коммун имеются другие фонды. Мы уже отпустили порядочно семян, не имеем мы права забывать о бедняках.

— Ну, брат, трудно тебе здесь будет, ты еще тут не хлебал щей! — Востряков вздохнул, как бы сожалея, что не могут прийти к единогласию, и сумрачно поднялся.

II

Заметно обеспокоенный и встревоженный, Востряков вернулся в свой кабинет. Молча два раза прошелся вдоль свежеоштукатуренной стены и, сев за стол, придвинул газету «Беднота»:

«Идея создания сельских коммун в Высоковском уезде охватила самые широкие массы тружеников-крестьян...»

Разве не так? Лямцов не верил, ныне не верит и Матвеев.

«Кончилась спячка дремучего быта! — писал далее корреспондент. — Не пройдет и года, как психология крестьян полностью перевернется. За один год — целая

крестьянская революция! Феноменально... Правда, некоторые коммуны-колонии погибли, не выдержали соревнования с частником, и нужно отметить, при попустительстве работников, близоруко трактующих события в уезде».

Востряков вспомнил этого корреспондента, интеллигентного пролеткультовца Сухаревского. Уезд, словно на острия ножей, со всех сторон был посажен на стрелки. Они упорно рвались на черноземье, на север уезда, за Днепр, — там еще глухое сопротивление...

Востряков посмотрел на карту, затем вновь склонился над газетой, над рубрикой: «И на мирных фронтах».

«Смешно выглядит на общем фоне борьбы... так называемая коммуна «Власть труда» в деревне Лукашовке. Коммунист Золотухин, организатор этой, с позволения сказать, коммуны, проявляет подозрительный либерализм. В одном он видит просто умного трудягу-хозяина, в другом с грехом пополам признает врага. Эту путаницу он и вносит в жизнь. Плодит недоверие у крестьян к грандиозным планам строительства коммун в волости. Явный анархизм, если не хуже, если не перерожденчество».

Востряков прикрыл ладонью глаза. Устал за последние дни: мотался по уезду. В полночь вернулся из Ягорок, охриплый, еле дотащился до постели — повалился не раздеваясь на кровать. «Зачем же мне это все надо? — вдруг спросил он себя. — Зачем я веду такую борьбу? Я — пречистенский мужик?» — «Надо тебе, — ответил другой голос. — Ты хочешь удовлетворить свое тщеславие». Утром он вспомнил эти злосчастные Ягорки, с ужасом осознав: падеж ягоринского скота не пройдет даром. Коммуна не накосила сена, не запасла корма, всю зиму коров подвязывали веревками к стропилам, — не выдержали и веревки. А единоличник выжил с коровенками. «Ах, подлецы, брехуны!» Он вспомнил горячие клятвы председателя правления коммуны Макарухина: в начале зимы, подлец, клялся!

По стене проплыла косая тень; от порога осторожно и, как всегда, бесшумно, будто подкрадываясь, шел Замялов.

— Макарухина надо заслушать на бюро. На среду. Ищи кандидатуру на его место. — Востряков тяжело скрипнул стулом.

Замялов, стоявший рядом, медлил уходить.

— Что у тебя?

— В «Правде» и «Заре социализма» тоже падеж, Тихон Федосеевич.

Вот и там... Тяжелая была зима. Что ж, переходный период. Он, Востряков, эти новые повороты угадывал. Республика — перед новым испытанием, крестьянство — на крутых переломах. И, предугадывая тяжелую зиму, осенью на партактиве он говорил о хлебе и кормах. Говорил...

— Губком запрашивает цифру падежа в коммунах.

— Пошли верные цифры!

— Хорошо, Тихон Федосеевич. — Замялов бесстрастно наклонил голову. — Только цифры истолкуют повсякому...

— Чего мне бояться? Где Матвеев?

— Уехал чуть свет в «Правду». Будем готовить решение о Золотухине?

— Хорош же ты партийный работник: чуть что, так решение. Быстро решаешь, Замялов!

— Вошь лучше давить в одиночку. Твое правило.

— Ты в Лукашовке про каторгу распространялся. Я не помню, Замялов: когда это мы с тобой были вместе на царевой каторге? Когда?

Замялов смотрел в окно мимо его лица, молчал. Спокойно, невозмутимо, крепко прижимая к боку коричневую кожаную папку.

III

Откуда-то из леса — сладкие песни. То ли соловей запел рано, то ли сердце вздрогнуло от смутного ожидания?..

Наталья Бабинцева не спеша подстегивала лошадь, бездумно, с сосущей тоской оглядывала лес. Минула двадцатая весна, а в душе пусто. И какая-то не девичья злоба охватила обручем. Газету «Беднота» она бережно нащупывала за пазухой — доигрался, однорукий! Хотелось ей отчего-то его позора, чтобы ударился лицом в грязь, на коленях бы приполз к ней, и, насладясь его паденьем, может быть, и согласилась. Кто знает? Наверняка выгонят из партии: ходи тогда около своей хаты. И толкало же что-то к нему... Вчера приезжал в

сваты какой-то мужик из Спас-Подмошья, пожилой, в сапогах, с красной рожей, батин знакомый. Наталья поиздевалась: уехал ни с чем. Чего же она ждет? Телегу ударило об еловый пень, Наталья коленками больно стукнулась о пустой бидон.

Не сегодня-завтра развалится их коммуна, и тогда его позор. Возила в Покровское молоко, сметану. Голод... Ей, молодой, хотелось жить! Через него все, однорукого... Лошадь потянулась к кусту боярышника. Наталья подстегнула ее вожжами, пустила рысью. Вчера со двора увез борону и плуг, приехал в телеге, как к себе домой. А жить-то хочется, жить хочется! И вдруг стало жалко Максима, вдруг увидела: махая пустым рукавом, входит в худую свою хату... Хлестнула лошадь, с горячо вспыхнувшими щеками выехала на поляну. Дыхание ее перехватило от свежести лопающихся почек. Не помня себя от весеннего наваждения и дурмана, она слезла с телеги, огляделась.

Сзади хрустнул валежник, Наталья обернулась: обочиной дороги шла Полина Анохина. «Тоже одна...» Наталья задержала взгляд на ее лице.

— А, Наталья.. — неясно проговорила Полина.

— Здравствуй. Ты куда ходила?

— В Бражино, к тетке.

С полверсты молчали. Дорога, круто выгибаясь, втянулась в черный еловый подлесок, текла под нависшими синими лапами. Рыжим огнем переметнулась с сука на сук белка, прижавшись к стволу, с любопытством оглядывала их сверху. В проредях дымились можжевеловые кусты. Зеленой режущей глаз бахромой меж летошними листьями — падалицей повсюду стлалась дереза *; на солнцепеке — атласная шерстка махонькой, едва вылезшей к свету травки; в тени, тихие и счастливые, виднелись подснежники. «Цветы радуются, а мы?..» Бесцельно перекладывая с руки в руку ременные вожжи, Наталья искоса взглянула на Полину.

— Слыхала?

— Чиво? — встрепенулась Полина: она нюхала выдернутый с корешками пучок подснежников.

— Про Золотухина с его коммуной? — И помахала перед ее лицом газетой. — Бьют его!

---

* Дереза — вьющаяся по земле трава.

— Ты рада? — сильно удивилась Полина.

Наталья умолкла и ни слова не произнесла до дома.

А Полина думала о мужике своем, убитом в далекой северной земле, о жизни думала, о двоих детишках, об огороде, а между всеми думами вспоминала о Золотухине, засмеялась, даже сама не зная отчего...

На развилке дорог Полина простилась, сказав, что ей нужно побывать у родственницы в деревне Шаврово, и ушла. «Тоже одна ты! Не его ли, однорукого, метишь ты себе? А мне-то что от этого? Все-таки, Полина, именно ты прибрать его хочешь, но не отдам я!» — И, бессознательно чувствуя какую-то тревогу, Наталья все пыталась увидеть за кустами платок Полины.

IV

Еще на третий день после собрания в лукашовскую коммуну приехал уполномоченный уездного исполкома Чугунов, привез план земельных угодий. Десятины наиболее плодородной пахотной помещичьей земли, что широким клином отходили от бывшего барышниковского имения в сторону Длинной версты, земельный отдел уездного Совдепа советовал пустить под яровое жито. Чугунов, оглядев собравшихся в нардоме крестьян, вступивших в коммуну, с выражением сочувствия и жалости к ним на лице сказал:

— Вся беда, товарищи, состоит в той плоскости, что у вас нет базы. В усадьбе помещика Барышникова ныне организуется конный завод, часть угодий, как видите, мы спланировали вам, а большая часть отходит под нужды данного завода. В рысистых лошадях сегодня большая нужда у Красной Армии. Пару плугов и штук пять борон в усадьбе можно найти, но самих лошадей вам ждать не придется: рысистых под пахоту надрывать они не дадут, а тягловых у них всего три, что мизерно в связи с объемом их работ. Мы много думали, но бедно кругом, а потому уездный исполнительный комитет тяглом вам помочь бессилен.

...Земля лежала комкастая, рябая от сурчин, в заскорузлых трещинах и непроглядно-нищей наготе. Обветренные бугры, полынные кусты, тяжкие груды глин...

Коммунары пахать выехали с рассветом.

Все разместились на трех телегах, но уже за выгоном, в версте от деревни, бабы попрыгали на землю. Кондратова кобыла шла, еле передвигая ноги. «Сдохнет, ляжет на борозде!» — со страхом думал Золотухин.

Деревенские и хуторные уже на многих наделах пахали. Илья Лукашкин полукружил четвертую борозду. Другая его гнедая лошадь, стреноженная поблизости, паслась на голом еще лугу. На фуре хозяйничала жена; две дочери на уклоне спешно раскидывали навоз.

Митька, впрягши гнедую, уже по паханому стал ходить с боронами. Золотухин, проводив его взглядом, на ухо сказал Галине:

— Митрий-то наш?

— Об нем надо ставить вопрос в укоме комсомола! Он и вписался ради того, чтобы у батьки по разверстке хлеба меньше брали.

— Горячишься, Галина, а куда выгнать? Подумала? К бате в работники? Так тут добра тоже мало!

Они шагали рядом за телегой, и на склоне бугра Золотухин увидел верхоконного.

— Гость какой-то? — сказала Галина, следя, как, торопливо ступая, человек вел в поводу гнедого коня, подходил ближе. Он снял облезлую коричневую кепку, поздоровался и, кивнув Золотухину, сказал:

— Погоди-ка, товарищ.

— Езжайте к займищу и оттеля зачинайте, — наказал Максим, а когда телеги отъехали, спросил: — Вы сами кто будете?

— Давай, товарищ, присядем вот тут на бугорок. Я председатель уездного Совета Матвеев. Был у вас в кузнице. Работка, скажу тебе, дохлая! Кузнец, видно, что надо, а лени хоть отбавляй. И один он, кузнец. Почему один? Не нашел больше человека?

— Нашел, товарищ Матвеев, вон он за кустами пашет на батином наделе.

Матвеев вытащил газету и, помахивая ею, приспустив очки, осмотрел от ног до волос Золотухина и тогда спросил:

— Надеюсь, читал?

— Какая газета? За какое число?

Рассказав коротко содержание, Матвеев выждал паузу, сложил аккуратно «Бедноту» и положил ее собеседнику в карман солдатской гимнастерки:

— Поздравляю с рождением! Хоть и голенькие, а существуете, раз пишут. Но мы с тобой тут не на детской игре! Пахать ты выехал вовремя, земля в самый раз, но я интересуюсь, чем сеять будешь. Семена есть?

— Есть, да так себе. Плохой сорт.

— Думаешь весь клин и засеять?

— Думаю! Вы семян хороших не подкинете? Хучь трошки, товарищ Матвеев?

— Завтра пришли в Высоково подводу, в исполкоме приехавший пусть отыщет меня, а если я буду на совещании, то подождет. Несколько мешков жита и льносемян вы получите. На партучете стоишь где?

— В сельсовете.

— Одинокий?

— Как пень среди поля, товарищ Матвеев.

— Я тебе задаю следующий главный вопрос: выживешь? — Матвеев счистил с каблуков налипшую глину, погладил язычок высунувшейся щавелинки и ответил сам: — Выживешь в том случае, если сумеешь по-ленински показать преимущества коллективного труда. На это, товарищ Золотухин, надо ответить прежде всего себе самому. Себе ответить, чтобы восемь твоих семейств не разбежалось.

— Не может того быть!

— Все может. Тогда нас поделом будут бить по шее. Такие коммуны в уезде, как в Покровском, больны хронически, спасти их может чудо, а в него мы не верим. За два года ни одна такая коммуна крестьянину не заплатила ломаной копейки. Экономики нет, урожаев нет — одна идея. Вникаешь: идея-то самая передовая, а под ней пустота! Но со временем сделаем крестьянскую жизнь стабильной. Мужик нынче уже так не суетится, он осознал новую революционную законность. Обязательно укрепим правильно созданные артели и коммуны, а это востряковщину сильно подорвет. И вот еще что: революция у нас продолжается, и ты на баррикады вышел, шинель пока не снимай, — наверняка пригодится. Война идет к концу. После белогвардейщины остаются еще замаскированные противники. И нам с ними, товарищ Золотухин, куда как тяжелей драться: бывает трудно разобраться в их кознях. Вот вопрос! Вчера мы с теми ребятками еще шли в одной шеренге,

стояли на баррикадах еще в пятом году, а сегодня? Сегодня они хотят пристроить под себя революцию, взять от нее сколько можно, всяческую выгоду, выскочить на волну, а какой ценой это обойдется народу, нашим этим товарищам дела нет. Хотя я и сказал про пятый год, но в пятом-то не все из них выходили грудью, иные трусливо поджимали зад. Товарища Троцкого не было на баррикадах в пятом. Я ему, Троцкому, никогда не прощу Бреста, даже если бы он совершил сверхгероизм, — тысячи убитых наших бойцов Красной Армии, убитых по его вине, — это не пустяк, нет!

— А товарищ Востряков! — воскликнул Золотухин.

— Понимаешь ли, самородок. Но какой-то авантюристический подход к судьбам народа. И это-то страшно, товарищ Золотухин, а также опасно вдвойне: во-первых, не дурак, талантлив и жаждет власти; во-вторых, он мученик тюрем: за спиной у него путь борца, ему верили все эти годы, но нынче уже не то что не верят, народ-то почувствовал, что Тихон хоть и в лаптях, да сорт их совсем другой. Замялов — пешка в игре, но, заметь, товарищ Золотухин, она-то, может быть, та самая, кто крепко поддерживает Тихона на политической волне. Пешки в большой игре бывают опасны, когда неясно к тому же, какими ногами ходит конь. Теперь запомни главное: чтобы наш мужик не спутал Тихона Вострякова, данную личность, с Советской властью, чтобы этого — самого худшего — не вышло, ты тут стой, и ни единого шагу назад! А народ, поднятый партией, он сильно зрячий, он давно уже сделал вывод, кто ему брат, а кто ищет славу себе на его трудах. Ты понял меня?

— Я не собьюсь! — порывисто и тихо сказал Золотухин.

— Я верю. Рвался на собрание, но пробиться не смог, распустило Угру. А нынче вижу — все ты сделал правильно, достойно коммуниста, и можешь считать — не комплимент.

— Товарищ Матвеев, что у тебя с легкими?

— Скверно. Чахотка. Питерские «Кресты», тюрьма была такая, понимаешь ли, как раз не для них оказались. — И когда приступ кашля прошел, он встал, протянул руку, долго держал в своей влажной ладони един-

ственную Золотухина, затем порывисто застегнул куртку. — Поговорили, и хватит. Пора мне, еще в трех деревнях надо побывать, а к вечеру на бюро укома поспеть. Там у меня, видимо, жарко будет, жарко! — Матвеев подошел к лошади, единым махом бросил свое тело в седло, поехал торопливо.

Шагая к стану, Золотухин оглянулся: Матвеев маячил около трех елей на большаке, а затем исчез в дальних кустах.

V

Единоличники и коммунары состязались на пахоте. Почерневший Андрей Бабинцев к заходу солнца запарил коня, выпряг, отвел его на межу. Не скурив закрутку, поставил свежую кобылу, начал опять кружить по наделу, отваливая пласты. Пахал он голый по пояс, тело его влажно блестело, голова наклонена вперед, к ручкам плуга, рот склеен, глаза сухи и желты, как у проснувшейся совы. Изредка остановит лошадь, передохнет, позовет какого-нибудь своего ребятенка-внука:

— Глянь: пашут антихристы, нет? Сбегай на бугор-то!

Мальчишка кидался суматошно, увязая в пашне, вернувшись, говорил:

— Пашу-ут, дедушка.

— Гони! Эй, бабы, вы чаво стали! Гоните бороны, мать вас, лохудров! — кричал он на весь надел, махая прутом.

Наталья бороновала, низко повязанная платком, сбив чеботами до крови ноги, ходила, стараясь ни о чем не думать. Словно оглохшая, отрешенная: ее ничто не трогало в эту весну. Отцу отрубила, когда села отдохнуть под кустом, а он подскочил и замахнулся.

— Не лезь, батька, бороду вырву! — И белозубо засмеялась.

— Вот оне, курвы, эти девки! — бормотал Андрей, шагая за плугом. — Понародила дряннюга баб. Говорил же: траву мятную пей брюхатая. Ан нет, не послухала!

Он тут же послал мальчишку к Дымковым: узнать, весь ли надел пашет. Тот быстро вернулся: оказывается, Дымковы на пахоту вообще еще не выехали.

«К чему бы, а?» — подумал и решил: не бросать ни одного клока земли.

Рядом с ним пахал Михей, его отец, семидесятилетний старик, тощий, с уродливыми черными руками. Вроде перестал стариться, вытянулся в жилы, каменеющие узлами: такого не тронет и сама смерть; жил, потеряв счет времени, охваченный одним безумием: «Не обеднять!» Иногда Андрей, помутившись глазами, садился в борозду, сидел, поджидая, когда отец обернется с другого конца; старик, топыря руки, хрипел ругательства.

Пристыженный, Андрей опрометью кидался к плугу, безропотно шел бороздой, как и отец. Только раз перед обедом не вытерпел, когда коршуном налетел старик и замахнулся хворостиной, — разом вырвал, ухватил за тощие бока родителя; из сивой бороды с укором и дремучей тоской глядел на него родитель, словно сам себе в душу Андрей глядел этими подпаленными бешеными глазами.

— Не суйся! — крикнул в бешенстве. И до вечера пахал, чувствуя, словно сделал что-то грязное и постыдное. В пахоту Бабинцевы втянулись все, от стара до мала. Вместе с бабами бороновали дети, девятилетние близнецы-мальчики. Так же, по-взрослому, цепко ручонками закидывали на поворотах бороны, от потемок до потемок мерили черное кружево пашни.

На отдыхе Андрей похлопывал детишек, говорил, мерцая пепельными глазами:

— Справные у нас мушшины растуть! Молодец, Серега, и ты молодчага, Евлампей. Хлебушка зародит земля, так нас никакая революция не ухватит.

Андрей вновь послал Серегу на дымковский участок, вернулся он с тем же известием: не пашет.

Андрей, не разгибая натруженной спины, бросил вожжи и решительно подошел к отцу.

— Батя! — Голос у Андрея задрожал испугом, он протер кулаком глаза. — Ей-богу, тут какая-то беда!

Михей обернул испитое лицо, пошел, ковыляя, к плугу, крикнул оттуда:

— Был Дымков, да весь вышел! Паши!

— Стой! Раз он не пашеть, тут что-то да есть. Надо иттить к нему, батя!

Старик засипел на лошадь, подстегивая вожжами,

не отозвался. Охваченный беспокойством, Андрей бесцельно походил немного по пахоте и, когда отец объехал круг и поравнялся, снова направился к нему.

— Паши! — цыкнул сквозь желтые обломки зубов Михей.

До сумерек работали не разгибаясь. Дуб на меже ловил рудые закатные пятна, над ним тучей кружило воронье. Коней выпрягли в сплошной тьме. Стреноженных, пустили на попас, хотя еще нечего было глодать, зубом не ухватишь. Домой ночевать не поехали, улеглись на телегах. Детям постелили сена под широкой фурой. Михей одинокой совой сидел около телеги на хомутах, глядел на темные, передвигающиеся вдали тени, на мерцающие костры у коммунских. Поскребываясь, то и дело приподнимал дерюгу Андрей, хриплым шепотом спрашивал:

— Костры горять? Видишь?

— Горять.

— Би-ить надо!

— Дурак. Тьфу!

Наталья не спала. Голубой месяц бежал над тучей, неизъяснимо манил к себе в черную звездную пустошь, где было так успокоенно и тихо.

VI

За день Мироновы вспахали соток десять: рвались подгнившие за зиму постромки. В сумерках в овраге запалили костер, сварили ячменную кашу-шептуху, наспех поужинали на разостланном рядне. Горбун Яков, напялив зипун, ушел пасти лошадей в другой конец оврага.

— Жеребца стреножь, Яков, — приказал Тимофей Гордеевич.

— А то не знаю, — отозвался угрюмо горбун.

Ганна и Марья сразу после ужина ушли спать в летошний шалаш, прихватили с телеги охапку соломы.

Старик и это увидел:

— Эй, бабы, лапнику вон наломайте. Соломка ить добро!

Ганна, по-мужицки, сквозь зубы матерясь, кинула в телегу обратно солому. «Жадюга, сатана колченогая!»

Молодые бабы долго не могли заснуть. Маленькая Марья шептала молитву, крестилась, по привычке, будто дома, мелким крестом осенила шалаш. Густо и смолисто пахли под спинами еловые лапы. На болоте однообразную ночную скуку сеял дергач, на тяге в Зимовной вырубке плакал глухарь. Пахло нежной зеленью.

— Смирная, Маша! — Ганна, кряхтя, перевернулась на бок, чтобы лучше видеть синий, ныряющий в тучах месяц.

— Такая наша доля, — как эхо отозвалась Марья.

— Доля! Молодость сгубим. Залетели мы с тобой. Ты при законном муже чужая, а я? Когда он придет, мой?

— В письме ж сулился.

— Давно уже сулится, а мне-то как? Чернею вон! Мы ить, глянь, стареем. Оне, паразиты, голодом заморют. Нешто это жизнь?

— Ай мы одне? — Марья испуганно встрепенулась.

— Дурочка! Гришка измывается над тобой. Ты что — рабочая лошадь?

Марья ответила не сразу. Послушала шорохи тростника на болоте рядом с оврагом, со вздохом сказала:

— А куды детца? Домой иттить? У батьки семеро, мал мала! Мне детца-то некуды!

Глухариный плач еще явственней донесло от леса.

— Птица и та вон от тоски воет. А мы-то люди! Я жить хочу-у! Ждать надоело. Я, бывалочка, с детства всякую над собой власть не терпела. Бате ухо надорвала, с тех пор и не вдарил. А тебя бьет Григорий, как ты допущаешь?

— Он мужик мой.

— Ты дай разок ему, мурлу, в ноздри, дай, — горячо смеясь, посоветовала Ганна, удобней подмащивая под боком лапник. — Знать будеть! Он ить у тебя кобель.

— С ума ты сошла нынче! — Марья отодвинулась от нее.

— Не я, а ты тронутая. Погоди, ты ему скоро и подстилкой не будешь. Кинет он тебя.

Бабы, не сговариваясь, вылезли из шалаша, поодаль справили нужду и увидели на коммунском поле несколько неярких, сквозь туман краснеющих костров.

— Ночью пашуть, — поеживаясь от сырости, проговорила Ганна. — Тоже ярмо.

— Верно — вроде пашуть.

— А ничаво он, мужик-то, Золотухин, — когда влезли в шалаш, сказала с бабьим голодом Ганна.

— С Натальей ему не скрутить, — отозвалась, как эхо, Марья.

— Не того сорту, правда. Давай спать. С мужиком счас бы... в жмурки, а то больно, под боком-то.

Ганна не видела, как Марья опять мелко-мелко, радостно-испуганно опутала шалаш крестиками.

VII

Самыми последними в эту весну в деревне выехали пахать Дымковы. На другой день общей пахотной горячки Игнат отправил Ивана и снох пахать надел супеси, что протянулся полосой вдоль лобастого кургана.

Другой надел такой же средней по урожайности землицы без коня и плуга ушел посмотреть сам. Он тихо шагал утренним полем, широко дышал. В теплой испарине дрожали оранжевые метелочки выметнувшегося козельца, голубенькие, в росных слезах, листочки подснежников аккуратно обходил, боясь раздавить сапогом. Дымков ждал того дня, когда кончится война, начнет налаживаться крестьянская жизнь. Что будет потом, когда уляжется кровавая перетасовка? Куда денется сын Михаил? Коммуна? Хуторная единоличность?.. Надо было играть в орлянку — угадывать жизнь. «Господи, спаситель, чаво же мне так муторно?» И вдруг решил: бросить к черту этот второй надел! Он, словно посторонний, обошел довольно обширный участок этой своей земли в полдесятины. Вон даже после зимы четко проступают рядки, проделанные боронами, где каждый комок родной! Дымков взглянул на свои руки... Кому сосчитать мозоли и трещины на них, эту растраченную силу? И твердо решил: надел не пахать. Когда вернулся к своим, строго сказал:

— Тот кинем нынче.

Дымков стал к плугу, намотал вожжи на ручку. Иван посмотрел на него, удивился, спросил:

— Землей соришься, тятька?

Отец не ответил. Текла ровно борозда — текли его мысли, привычно и крепко держал плуг. Тридцатый год он им пахал, знает малейшую царапину на лемехе — тульское клеймо. Он припоминал: в тот день, как купил плуг, родился старший сын Афанас, а теперь его нет, пропал безвестно в заварухе братоубийственной войны. Он даже не знал, на чьей стороне погиб — на красной или на белой? А Михаил?

Из головы не выходила недавняя встреча с ним в лесу. Где он теперь? Кто он и чего он хочет — запутанный в тине поплавок? Голодный, холодный, отверженный... Может, уже висит на осиновом суку с выклеванными глазами — такова была беспощадная борьба и жизнь.

Жгли кострищи по низинам, буграм, меж кустарников, и далеко, за большаком, тоже сизели дымы. Пахло родиной, полынной дедовьей горечью. Горючие, прикипали к ресницам слезы. Изредка он сердито вытирал их рукавом домотканой рубахи, испытывая неугасимую, все сильнее охватывающую все его существо радость от близости к земле, — не тлел он всю жизнь, а работал!

VIII

Ночью, когда ее наконец выпрягли, ей снился очень хороший сон: она паслась в теплых высоких и сочных лугах, ела досыта шелковистый клевер, и никто не приходил за ней, словно забыли. Но видения сна вскоре пропали. Кобыла очнулась от забытья, шумно вздохнула всей утробой, нашла мягкими холодными губами сухую, жесткую траву и стала жевать. Ей был знаком вкус старого сена пополам с соломой, и она знала, что потом будет опять слабость на борозде, ее поддержат с боков люди и помогут тащить плуг. Так вышло и прошлым днем. Кобыла помнила лишь шершавые ладони старика, своего хозяина, когда он гладил ее уже тут, под одиноким деревом, но тот мучительный путь от борозды уже забылся. На миг кобыла забыла и свое прошлое, его, может быть, и не было вовсе, и жизнь ее теперь шла в каком-то странном, ни на что не похожем мире. С удивлением оглянувшись по сторонам и вверх, она лишь узнала хорошо ей знакомые радужно-недвижные в ее глазах звезды, густо обсыпавшие над головой небо. Ду-

новение ветра тоже принесло что-то забытое и отрадное. И, почувствовав голод, с ним вместе к кобыле вернулась память о ее же детстве. Она его помнила... И как интересно! Большое, красное, косматое солнце сушило ее рыженькую шерсть, ласкало розовые ноздри и грело крохотные блестящие круглые копытца. Она лежала на сухой соломе в раскрытых воротах хлева. А кобыла, мать ее, лежала сзади и уже о чем-то своем думала, изредка поворачивая голову и взглядывая на нее же, свое же дитятко.

Они уже жили обособленно, каждая своим. Пришел хозяин, взял ее на руки и понес в избу, и там ее поместили в закут за печкой, где стояла тьма и чем-то незнакомым ей пахло. Сперва она, испугавшись тьмы, еще боялась к тому же и ребятишек, которые гладили ее по спине, по шее и по круглым глазам. Но быстро она свыклась, стала брыкаться и бить копытцами в загородку.

Становилось все теплей в избе, все больше голубого, синего, дрожащего света вливалось в окошко и достигало ее закута. Ей делалось непоседливо и тесно, и в эту пору часто, по нескольку раз на день подходил тот старик хозяин, брал в ладони ее копыта, больно щупал ей бабки, шею, глядел в зубы, чистил щеткой шерстку и, довольный, уходил. Она фыркала: от старика пахло остро табаком, хлебом, от его рук -- землей.

Однажды ее вывели, было туманно, тепло, дул ветерок, блестела роса, она ее нюхала и шла за хозяином. Похлопав ее, хозяин ушел. Она огляделась в испуге — на молодом, чистом зеленом лугу, сквозь теплый туман, в кустарниках виднелись спины, хвосты и головы взрослых коней. Но ей было по-прежнему страшно, пока она не увидела свою мать, жадно щиплющую травку совсем поблизости, под деревом. Страх отпустил ее сердце, она понемногу обвыклась и нашла вымя. За рекой, в молодых березах, куковала кукушка, а в болоте поблизости сипели, квакали, верещали лягушки. Отовсюду шел неясный тихий и радостный шум, быстро подрастала отава, в низинах, куда забредал жеребенок, дремали при полуденном солнышке оранжевые колокольца кукушкина льна, пенились ромашки и одуванчики, а где-то в кусте пели дрозды. Небо отодвигалось, росло вверх, и куда-то пропадала туча, с утра стоявшая над деревней. Жеребенок, задрав голову, глядел в небо и не знал, где он и что

с ним, но поблизости пахло матерью, он приходил в себя и опять брыкался, галопом носился по кустам и вновь замирал, пораженный.

Привели новых коней, еще больше прибавилось шуму, еще острей и гуще запахло молоденьким, зацветающим, прогретым осокорем, а лягушки утомились и примолкли. Ночами ее не водили домой. С хозяином вечером приходили дети, приносили ей что-то сладкое, потом на поляну, на кусты ложилась темнота, становилось страшно. Она прижималась к мягкому животу матери, чутко дремала; далеко-далеко, за полем, кричала сова, а в небе, над нею, тоже жили и дремали звезды. К утру становилось зябко, влажно, в деревне пели петухи, лошади встряхивались, вставали, начинали звучать голоса, появлялись люди и уводили взрослых коней работать.

Через три года она уже вспоминала все это, как сон. Из тоненького жеребеночка она выросла в светло-гнедую кобылу, потом ее стали впрягать, и еще минула длинная, очень голодная зима с затяжными метелями, и приходила зеленая весна, но уже непохожая... Что-то в ней, в ее сердце лопнуло, распустилась какая-то почка; однажды хозяин обратал ее, долго вел извилистой тропой, и она увидела на выгоне незнакомую деревню и буланого сильного жеребца, который, похрапывая, шел ей навстречу. Сладкий испуг охватил все существо кобылицы, и неожиданно для себя она радостно, призывно заржала. А после этого была уже другая жизнь, кобыла часто останавливалась, смотрела в землю или в самое себя и все думала о чем-то неразгаданном. Под весну в теплом стойле она легко, свободно — были лишь трудными первые минуты — опросталась, облизала дрожащего жеребеночка. Ворота скрипнули, вошел неслышно хозяин, так же, как и ее когда-то, взял жеребеночка и унес. Она нетерпеливо ждала его увидеть, ржала, вздрагивала всем сильным крупом. А как пустили на первую шелковую травку-отаву, так изумилась — к ней через луговину бежал он. Такой тонкой, мягкой, нежной шерстки, таких крохотных мохнатых бабок и точеных копытец кобыла еще ни у кого не видела. Она долго ласкала свое дитя, а к осени он пропал, она несколько дней тревожилась, не ела, сильно запала боками, и была еще более голодная зима, и эта запалость и худоба ее так и остались. Были новые весны, зимы, уносили от нее жеребят, все повторя-

лось знакомо, но того изумления уже не испытывала. Все холодней ей было в станке зимой, обындевели окошки, ночью выл ветер под стеной, кто-то тоскливо плакал и кого-то звал. В такие длинные ночи кобыле грезились затяжные работы в плуге, в извозе, разбитые дороги и сосущий, высушивающий ее голод. Она хорошо знала свой хомут, гужи, шлейку, крашеную дугу, вальки плуга: во всем этом был ее пот и была ее, кобылья, жизнь. Дни тянулись для нее однообразные, заполненные одной работой. Лишь один раз за последний год она досыта на чьем-то дворе ела овес, ела долго, старательно прожевывая уже немолодыми зубами, удивляясь людской щедрости, а когда повернула голову, то увидела своего хозяина, который стоял рядом и что-то шептал ей непонятное, но бесконечно ласковое. Потом вернулась бескормица, весной она худела так сильно, что выступали ребра, в пахах вытиралась старая шерсть, а новая уже не росла, и в голых местах по жаркой погоде кусали оводы и мухи. Грезы прошлого и тот первый весенний зеленый луг детства редко проступали к ней сквозь время и сквозь работу.

...Кобыла очнулась от забытья и не могла пошевелить ногами. На аршин над пашней чуть-чуть высветило небо, звезды поблекли и рябили в глазах. Откуда-то напахнуло запахом наливающегося молодого овса, кобыла глубоко вздохнула, и кто-то в это время нетерпеливо стал гладить ее пах, она увидела знакомого мужика в красной рубахе, потом мельком хозяина-старика, заходящего, пригнувшись, сбоку. От третьего мужика пахло табаком, она не могла разглядеть его лица, лишь увидела что-то черное в руках... Тяжкий удар в лоб между ушей кинул ее голову на землю, боль пронзила все тело, кобыла жалко проржала, посмотрела на мужика с удивлением. Второй удар выбил из глаз свет, земной мир покачнулся и потух...

IX

Слабо светало. Пахавшие поднимались от телег, вылезали из шалашей; трехчасовой сон лишь притупил садную, валившую с ног усталость. Все стали смотреть на сгрудившихся мужиков под одинокой, чернеющей на фоне побелевшего неба сосной.

— Мы прирезали Кондратову кобылу, — сказал Золотухин, — и вот какая штуковина, бабы... мясо не кинем.

— Иль исть будем? — удивленная, спросила Семигонова Варвара.

— Товарищи! На русско-австрийском фронте в четырнадцатом году я натурально ел конину. И что бы вы думали, товарищи? Лучшего блюда мне не приходилось есть. Баранина и та куда проигрывает, да к тому, ежели вы, бабы, ишо ее душевно сготовите, так и вовсе оближешь пальцы. Мы ее засолим в бочках, поставим в погреб: почти на все лето мясом себя обеспечим.

Варвара ахнула:

— Дак гляньте: оне уже и варят!

Левцов, подергивая нервно щекой — неловко отлежал, — спросил от костра из низины:

— Есть брезгующие?

— Гляньте-ка: Фекла, выдра, там управляетца!

— Пропади она!

— Сроду не ели, нешто мы турки?

Золотухин первый сел на рядно, за ним сам Кондрат, но другие, посмеиваясь, брезгливо стояли вокруг и ждали.

— Даже в ресторанах Питера и Москвы, у самых знающих людей конина — натуральное блюдо! Русский император — царь, а также английская королева ели и почитали конину за лучшее блюдо. Жрут оне конину! Жрут, товарищи, и ишо просют вроде надбавки, — продолжал убеждать Золотухин.

Лушка Поршнева засмеялась, брезгливо села, а за ней неуверенно расселись остальные, и на ногах остался лишь один Левцов, смотревший на все это отсутствующим взглядом, наконец, и он примостился, улыбаясь скупо, сказал:

— Врешь ить!

— Нет, Антон Васильевич, не вру, не думаю врать. Сущая правда и есть, — Золотухин ел, почмокивая, похваливая, и тогда неловко, словно пристыженные, брали люди куски жесткой старой конины, грызли ее, не совсем проваренную. И перед каждым вставали дымчато-фиолетовые глаза кобылы Кондрата, вчерашняя горе-пахота на ней...

Золотухин ел и думал: «На себе пахать!..»

Над головами, посвистывая, пролетела куличиная стайка, дергач угомонился на болоте, за оврагом проржала чья-то лошадь. Усинцов с Левцовым пошли обратывать лошадей, Золотухин, распределив баб с севалками на той полосе, которую вчера пробороновали, направился к плугам.

Усинцов мытарился с лошадью, бился с нею, пытаясь завести к плугу: та стояла, опустив голову, и на ругань хозяина не поводила даже ухом.

— Брось к черту! — не выдержал Кондрат, подтачивавший напильником лезвие плуга. — А то выглянет штука как с моей кобылой.

Золотухин стоял и думал, затем сказал:

— Кондрат прав: в плуге ей нельзя. Давайте поставим в борону.

Марфа повернулась к нему.

— С ума вы посходили! Сколько мы наковыряем одним плугом?

Теперь надо было ему решиться — идти на последнее. Он посмотрел на всех, кто стоял поблизости. Сказал:

— Товарищи! Впряжемся в остальные два плуга сами. Выхода нет. И смен у нас тоже не будет — некому подменять. Мы одни! Мы должны, товарищи, вспахать это поле. Кровь из носа, а должны! Вчера мы подсобляли коням, сегодня потащим сами. Антон Васильевич, на твоем жеребце отрядим Марфу, а ты мужик, сила супротив ихней двойная. Я тебя прошу встать рядом с нами. И думаю — ты не станешь возражать?

— Не стану, — сказал Левцов.

— А как же с боронованием? — крикнула Варвара, прислушиваясь к их разговору издали.

— Бросайте. Сперва подымем залежь, а бороновать-то куда легче.

Бабы сгрудились около плугов. Марфа уже чертила запашником очерствелую землю, выводила жеребца на заход, налегла, лемех вывернул пласт, дохнуло земляным соком, натужно заскрипели вальки.

— Господи, помоги нам!

— Поможет?! — раздались голоса.

Второй плуг вывели сразу же следом за лошадиной упряжкой. Впряглись Усинцов и Кондрат. Золотухин и Левцов вместе с бабами поставили на заход третий.

— Тронулись, что ли?

— Не рвите, бабы, — попросила Варвара, пытаясь подладиться к урывистому шагу.

Продрались в конец поля, под уклон пошло веселей, но новый заход опять круто пополз в гору. Вскоре взмокли рубахи и кофты, заливал глаза пот, передышку делали минуты по три-четыре, молча дышали, утирали лица, закидывали на плечи постромки и шли, а пахота — такая узенькая полосочка! — будто остановилась, боясь шагнуть за черту дымящейся глины. Сперва за плугом стоял Кондрат, затем сменила его Марфа, и опять Кондрат держал дрожащие ручки, проклиная в душе такую пахоту.

— Пашем вроде?

— Да как пашем! — поддержал Марфу Золотухин; ему мешал выехавший пустой рукав, он все хотел его подоткнуть, но боялся выпустить мокрую вожжину, вытащить из-под веревки ладонь, зная, как тогда станет резать она плечо, сдирая до крови кожу.

К восходу солнца сделали восемнадцать кругов.

Полдневали. Едва пожевали хлеб с водой, едва закурили, нагрянула радость: подъехала присланная Матвеевым подвода с семенным житом, на ней же оказалось еще три мешка льнозерна.

— Сымайте, гражданы! — весело объявил приехавший исполкомовский конюх, в солдатской гимнастерке распояской, с тяжелыми квадратными плечами. — Да вы что — на себе, что ль, пашете? — вскричал он, увидев ихнюю упряжку.

— А ты, товарищ, я вижу, жалостливый? Вот выручил бы!

— Я, гражданы, конюх: лицо подответное, дать не могу, потому как исполкому без лошади нельзя обойтись. Каждый день возы. Из леса не вылазят. Не серчайте, если б не горячка, другой бы коленкор. Табачком не сойдемся ли? Неделю не курил, ажно тошнит, не ссыпете?

Кондрат отсыпал ему в картонку полкисета.

— Благодарим за табачок!

— Спасибо за семена. Привет товарищу Матвееву. Передайте ему на словах, что пахота идет хорошо, а как кончим, так ему сообщу.

Кондрат тем временем шарил по мешкам — зерно так и звенело в ладонях, особенно чистое и сортовое было жито. Все повеселели.

Обедали наспех, ели конину. В самый обед на меже увидели Люшню. Он тихонько брел к ним. Одетый в новые, мышиного цвета штаны, в сиреневую, с отложным воротом рубаху, в новой кепке, Люшня был сейчас каким-то чужим, одно лишь лицо, мелкое, узкое книзу, с жидкими усами, оставалось прежним и каждому знакомым до подробностей. Люшня сел на рядно, но ему не дали ложку.

— Как так? — Он удивился, мигая белесыми, просвеченными солнцем ресницами.

— А так, кормись на стороне! — за всех сказала Фекла.

— Урезаете права?

— Видали? За него работають, а ему ишо права! — возмутился Левцов.

Золотухин все-таки поднялся, пошел к телеге и принес ему ложку, сказал:

— Пускай, поглядим. Ешь, Макар, коренным станешь. Вся, брат, надежда на тебя, на наряд твой!

— Ай глаза он вам, что ль, щипет? Наряд?

— Щипет! А откудова? — со злобой крикнул Левцов, отходя к плугу.

X

Русские люди!

Где же конец вашему терпению и безумству? И кто это выстрадал тебя, Русь, как ты родилась на этих холмах, во вьюжных просторах? Роды с тех пор затянулись в муку, вошли и в песни, и в хлеб, и в драки под пьяную лавочку, и в смех, и в дикость необузданную... Когда плакали на Рязани, то слышно было в Сибири, пели смоленские, а подхватывали с другого совсем конца русской земли, аж за морями, радовались ратному делу на Псковщине, так аукалось аж в самых степях. Русь, Русь!..

Братья били брата, а вчерашний враг смертный стелил ему соломку. Набивали братья братьям шишки,

казалось, конец ее смертный, кончилась Русь! А подкрадывалась беда, начинали ползать, отыскивая шапки, помогали один другому встать, брали народную дубину, один к одному и плоть ко плоти вставали дыбом... Тогда сунься к ним, тогда перейди через них, попробуй! А случаем напомнишь им о вражде, о старых обидах и ранах, тогда надейся лишь на свои ноги. Будут до самой смерти своей обращать взор на раскинутую на полсвета Русь недруги, которые мечом и огнем, с невиданной злобой и лютостью к его народу, скинувшему в семнадцатом году ярмо, не раз пытались поработить его и каждый раз получали отпор.

Не дружили дворы в Лукашовке. Исстари, бывало, грызлись люди. Бывало, бьют друг друга братья Бабинцевы, или Лукашкины, или Ведерниковы — в других дворах словно праздник. Пусть себе колотятся! Жалко, что ли? Ни один не подойдет разнять: чужие люди — чужая и жизнь. Бог с ними.

Вспоминает Лушка Поршнева, наступая на задники лаптей Марии Лопаревой, ту давнишнюю вражду... Их дворы всегда стояли рядом: на суходоле, около дороги. Затесалась между ними, на меже огорода, старая яблоня-антоновка. Из-за нее целые битвы каждое лето, когда не знавшее отдыха дерево обнизывалось яблоками. Дрались, если кто-то брал не со своей, с чужой половины. Яблоню в конце концов спилили, поделив на дрова каждый сучок... Впервые, словно поднявшись на гору, откуда вдруг стало далеко видно, Лушка смотрит на широкую спину Марьи и видит такие же, как у нее, потемневшие, потресканные руки, сжимающие вытертую перекладину. Стыдно и страшно вспомнить... как она, Лушка, визжала во все горло, передразнивая толстую слониху — Марью. Лушкины глаза ползут по бабьим согнутым спинам, останавливаются на пестрой, как сорочье яйцо, домотканой кофте Марьиной сестры Гали. А с этой они таскались за волосы.

Усинцов что-то шепчет на ухо Кондрату. Может быть, они забыли то глухое время?.. Как-то лет восемь назад собрался Кондрат спилить старую елку на тес. Ходил в лес, высмотрел вековую, в заскорузлой смоляной одубелости ель и долго опасливо бегал около нее, а как стем-

нело, с двумя сынами спустил дерево на землю. Усинцов был лесником. Он пришел к ним на другое утро и стал рыть. Свежеспиленные тесины, спрятанные под соломой на гумне, нашел.

— Посидишь в остроге-то, жулик! — кричал на всю деревню Федька и, торжественно выпячивая грудь, поехал в волость докладывать. Кондрат догнал его на дороге, вернул; Федор увез к себе Кондратова подсвинка. А на другой вечер Афоньку, старшего Кондратова сына, арестовали, пешим погнали в город, там засадили в острог на год. Доложил все-таки Федор! Кондрат, взяв побольше лыка, сел за сына сам.

— Лаптишек наплету. Афонька нехай работаеть. А Хведьку, стерьву, истин бог — прибью! — пообещал он.

Через год Кондрат вернулся обратно, все тот же суетливый, но безбородый, с ворохом лаптей, напился вечером, хвалил острожную жизнь, рассказывал диковинные истории про разных людей, с которыми повстречался там, потом взял шкворень, босой по снегу выбежал за ворота, чтобы поквитаться с Федькой. Его поймали, привели в хату...

Мигая на садящееся солнце, сейчас Кондрат признался Усинцову:

— Хотел я, Федька, дело прошлое... ить хотел шкворнем тебя... Собакой ты оказался! Подсвинка-то взял? Ты уж прости... лежал бы ноне в землице, кормил бы червей.

Усинцов мигал, что-то припоминая выскальзывающее из его памяти, и, глядя на закат черными глазами, молчал.

— Лежал бы, — повторил Кондрат, но уже спокойно и весело, а Федор чувствовал, прикасаясь, что рука у него теплая, добрая и что такой не бьют. Молча идут в паре, вспоминая подробности давнишнего дела, изумляясь тому, что минуло мордобитие, а живут, как и жили. Отдыхают пахари минут десять. И снова тянут, снова идут. Ужинают на скорую руку они в сумерках. Пожилых и многодетных, таких, как Фекла и Марфа, отпускают домой в деревню, а все остальные опять пашут. Один за другим вспыхивали коммунские костры. Они уже горели девятую ночь.

Илья Лукашкин выпряг обоих коней в густых потемках.

Две снохи, Зинка и Устья, переругиваясь со свекровью, ушли мыться под берег Угры. Отец Ильи, восьмидесятилетний, но еще крепкий старик, указал на одиноко стоящего поодаль от телеги Митьку.

— Тоскует, что ль, малец? Стоит как осиновый кол?

Илья не ответил, занятый оглядыванием сбруи.

— Часа два отдохнешь, Митька, и впрягай жеребца. Чалая нехай походит на воле, — сказал он, пристально кольнув глазами унылую фигуру сына.

Вскоре пал туман, где-то в недосягаемо-высоком и очень темном небе тревожно и радостно кричали летящие из южных земель журавли. Левее кургана, на бывшей барской земле, где вторую ночь пахали коммунские, светились, как и в первую, огни их костров. Илья достал сваренный снохами кулеш, повернул голову на Митькины шаги, пытаясь присмотреться к его лицу.

— Ты че это, лунатиком заделался? Чего торчишь шпынем? Глянь, кулеш простыл, ешь!

— У него, знать, сумятица, — подал голос от телеги дед, — совестливый, а им плохо жить.

А у Митьки, и верно, скребло на сердце: «На себе пашут, а я?»

Отец разбудил его часа через полтора.

— Дрыхнешь? Иди запрягать, днем коням трудно.

Митька торопливо поднялся с холщовой подстилки, медлил.

— Тятя! Я пойду... подсоблю... коммунским... не могу я...

— Митька! Шкуру спущу, назад, черт! — крикнул оторопевший Лукашкин.

Но он бежал не оглядываясь, подгоняемый в спину этим отцовским криком. За грядой молодых, нежно пахнущих, готовых распускаться березок виднелись на фоне сумеречного неба темные фигуры тянувших на себе плуг. Митька явственно услышал как будто пронзивший его насквозь скрип вальков. Никто не сказал ни слова, ему уступили место, и он впрягся, глубоко вздохнул, будто собрался нырнуть в воду, и изо всей силы потянул.

Глядели и дивились единоличники: еще коммунские не протянули ноги! По деревне, по хуторам ползла зло-

вещая и преувеличенная молва о том, что питаются падалью в коммуне.

— Все равно издохнут!

— Вот их как кроют, аж в самой Москве.

— Кроют, да не затыкают глоток.

Иной раз Золотухин не чувствовал ног и ничего не видел: рябая паутина застилала глаза, боль подымалась от коленных суставов выше по телу. Скрипели вальки, хрустело земляное крошево, оставшийся клин дотягивали молча, из последних сил. Бабы нещадно потели, но тянули выносливей мужиков. На заворотах передыхали, ветерок сушил лица и мокрые спины.

Необыкновенно выносливой, чего не ожидал Золотухин, оказалась Галина.

— Ничего, ничего! — говорила она, стыдливо запахивая все расстегивающуюся кофточку. — Чур, не отдыхать тут, еще круг сделаем, ну, еще один!

И Золотухин радовался тому, что эти двое, Галина и Митька, были сейчас для него очень нужными людьми.

— Землица наша!..

— Становь, Лушка, неча задом вертеть. Ой ноги не чують-то. Ой, родненькие! — запричитала Варвара Семигонова.

Губы у Золотухина дрожали, какое-то мгновение он ничего не мог вымолвить, вырывался лишь хриплый стон, но, пересилив волнение, он сказал:

— Дорогие мои люди, я призываю вас перенести и посев докончить. У нас один выход!

Ему ответил Усинцов:

— Кончим, куды ж деваться, — и отпихнул баб от первого валька, стал один, тяжко наваливаясь грудью, поволок...

...Коней из плугов и бороны выпрягли в полночь. В костер кинули валежника. Заметались тучей искры, чадный, полоснул по лицам дым, некоторые начали кашлять. Ночевать решили в поле. Сидели и лежали изнеможенно кругом: на зипунах, мешках, прямо на земле. Золотухин — рядом с Левцовым, с другого бока — Усинцов. Холодным режущим светом истекала Полярная звезда. Чудилось людям, лежащим под небом: где-то за звездами, в невиди, иная жизнь, легкая, вольная, счастливая. Глаза Усинцова резал свет Полярной звезды,

на зрачках наволакивались слезы, но он не мигая глядел на нее.

Затем, кряхтя, сел переобуться. Кондрат закурил и сквозь редкие затяжки шептал что-то успокаивающее.

— Напашем вот — и мы заживем, — сказал Золотухин, с великим удовольствием перебирая по земле босыми ногами.

— Надень сапоги, Максим, студено, — откуда-то из-за телеги подала голос Фекла.

— То-то благодать, босому! — засмеялся Золотухин.

Какая-то баба, вставшая с земли, кинула хворосту в костер. С треском рванулось пламя. Свистя крыльями, пролетели кулики на ближнее болото.

— Бывалоча, дед сказывал, правда, нет ли, есть страны... там полный достаток, — сказал Усинцов, думая все ту же думу.

— Рабочему человеку, Федька, всюду одна стежка, — сказал Кондрат, тоже закуривая.

— Можа, всюду, а можа, и нет.

— Что ж он, Ленин-то, хочет изделать с крестьянством? — Усинцов помешивал сучком в угасающем костре, пристально щурился.

— По-людски жить, — ответил Золотухин не сразу.

— А город нас не разорит? Баловством не замарает?

— Город, Федор, нам ишо поможет. Своей силой. Ты крестьянство не отделяй.

— Я думаю, Максим, — напористо заговорил Усинцов, придавливая палкой угли... — Рано мы стронулись в коммуну. Вон будто и в газетке пишут. Ругают нас. А ежели засуха вдарит? Как нам тогда жить? Газетка, видать, верно подметила. Слыхал я, будто и вправду написали?

— А ты откуда взял? — спросил Левцов настороженно и даже приподнялся.

— Взял... — невнятно сказал Усинцов. — Кому надо, тот возьмет.

«Нельзя говорить! — решил Максим. — Разбегутся люди, тогда — крышка».

Золотухин хорошо видел, как особенно трудно Митьке между отцовской работой и коммунской пахотой. Он молча наблюдал за ним. «А хороший, совестливый, это ведь он через муки ада проходит во всей натуральности: между двух-то огней, нашим и отцовским». Он отозвал Митьку за лозовый, опушенный уже желтыми сережками куст, с минуту всматривался в Митькино пыльное лицо, где уже начинал появляться мужицкий, хотя и нежный еще, как пух, волос, тихо приказал:

— Родителев тоже нельзя забывать, иди к ним!

— Не, им легче, буду тут, — твердо сказал Митька.

Разбитые усталостью и думами, заснули. Сон навалился, прихватил всех, кто где сидел. Угас костер. Сквозь полудрему, где-то за полем, в деревне, петушиный наносило крик. Золотухин быстро поднялся, оглядываясь, не помня себя, где он находится. Справа горбом на фоне зеленеющего на востоке неба темнела телега. Все вспомнил и, разбитый дремотой и слякотной туманной судорожью, доплелся, пошатываясь, до борозды. Воткнут по самое колено плуг в оборванной хребтине векового непаханого поля. Некоторые укрылись мешками, иные — бабы — спали в обнимку. Розовый над чертой горизонта, вдоль коммунской страды клубился туман. От телеги к телеге, похлопывая себя от озноба рукой, обходил спавших коммунаров Золотухин. Жалко было будить — сладок на заре сон! Первого разбудил Кондрата, за ним — Галину, Митьку, Левцова, Марфу. Люди вставали неохотно, переговаривались простуженными, злыми голосами.

— Ангел ишо зорю не трубил, а уже тяни.

— Будя! Пора, бабы! — бодрящий голос Феклы.

Золотухин первый шагнул к белеющей слеге, поднял, обернулся.

— Пошли, товарищи!

Сзади засопели, налегли. Скрипели и прогибались слеги. Тронулся плуг, за ним, на взлобе бугра, другой, замаячила в тумане и конная упряжка.

— Песню, товарищи! Вчерашнюю.

— Зачинай, Лушка!

Позавяла трава, побита, побита, зеленая,
Краса моя отцвела, ох, завяла, ядреная...

Помолодевшие со сна люди со звоном, с силой подхватили:

Ой, завяла, завяла, и нету услады,
И нету покою, и нету отрады...

В вихрь голосов, заглушая эту песню, ворвался голос Варвары Семигоновой:

Ох, не выдавай ты меня, матушка,
Ох, не хочу, не хочу я замуж, батюшка!

И громом от обоих плугов, хоть и идут они на порядочном расстоянии, обваливалась на спящую землю старинная песня. Пот заливал лица, пропитал исподницы, тяжко было дышать. Так кончался еще один день, уходили еще одни сутки. К вечеру пахотный клин наконец-то прикончили.

— Будем ждать хлеб, товарищи! — Золотухин обвел взглядом коммунаров и поле, через которое продрались с такими муками.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

На пятый день после сева Мироновы получили телеграмму от Николая, среднего сына: ехал из госпиталя... Известие это внесло переполох в размеренную текучку жизни семьи. Вечером освежевали овцу. Лукерья с невестками сдобила тесто: поставили на всходы громадную дежу. Ганна, волнуемая близкой встречей с мужем, хоронила в душе тревогу. Отвыкнув за годы от мужа, теперь не знала она: радоваться ли неожиданному известию или плакать? То девичье чувство, которое в ней было, угасло; начинать какую-то иную, пока смутную, жизнь ей не хотелось. А чуяла — с приездом должна она, жизнь, поломаться. Ганну пугали его письма с фронта: «Пахать да сеять — вот вся моя жизнь» И, раздумывая, она неотвратимо испытывала приближение чего-то тяжелого и худшего, чем то, что ей уготовила не очень ласковая судьба под мироновской крышей. Старик поехал на станцию сам. Встал на заре, в потемках запряг жеребца, покосился на висевшие на перегородке кожаные штаны Григория (пьяный вернулся в полночь отку-

да-то) и подумал с болью: «Неладно ить он живет и на кой ляд полез в начальство!»

Больше всего душу старика глодал тот испуг односельчан, с каким провожали глазами кожаную фигуру Гришки. Люди его боялись: он это понял. И даже он, отец, испытывал некое подобие страха, когда вечером, всякий раз перед сном, Григорий зачем-то продувал вороненое дуло нагана.

Жеребец вынес из еловой чащобы на облитую солнцем поляну. Дорога сползла под уклон к мельнице, за ней — крыша железнодорожного полустанка. Тимофей Гордеевич, волнуясь и торопясь, направил жеребца прямо к щербленому перрону. За сосняк, тая хлопушкой, уползало темное облачко паровозного дыма. Так и есть, опоздал! Неспокойными глазами обшарил перрон, и где-то под ребром заныло, оборвался там сердечный тук. Николай сидел на косо задранной скамейке в такой отрешенной позе, что у старика к ресницам прикипели слезы. Он, казалось, даже не слышал скрипа телеги, остановившейся рядом.

— Миколай?.. Ты, что ль, Колька? — тихо спросил старик.

Сын встал — руки длинные, до колен, грязные ладони растопырены, гимнастерка, темнея потными разводами, вместе с ремнем взбилась на живот; он смотрел на отца одним немигающим, невыносимо замутненным глазом.

— Здоровенько, батя! — чуть-чуть улыбнулся губами, но небритое исхудалое лицо оставалось сумрачным.

Сели в телегу. До тележных решеток не притронуться рукой, ракитовые и лозовые кусты, прижженный жарой осокорь на болотистой топи — все сулило одно: сушь. Удобно усевшись за спиной отца, Николай оглядывал почти выпавшие из памяти места. Ему не верилось: семилетняя солдатчина за спиной, а земля детства — она рядом!

— Давно дождя нет? — спросил Николай, снимая гимнастерку и рассеянно оглядываясь.

— Давно. Нонче, видать, сгорить семя без росту.

Телега, бренча железякой под днищем, скатилась уклоном к Угре, река здесь круто брала левей и, задернутая густо разросшимся мелким синим ельником, терялась за большим торговым селом Лыткино. Нагнутая к

самой воде ракита у моста жадно поила зеленый кустистый сук. Поодаль желтел песок, голубая, зеркальная, струилась вода.

— Останови-ка, искупаюсь трошки. — Не ожидая, пока отец остановит, он спрыгнул с телеги и побежал с круто срезанной насыпи вниз.

— Вода ишо холодная! — предупредил Тимофей Гордеевич.

Минут через двадцать, повеселевший после купания, сидя в телеге, Николай сознался отцу:

— Во снах ить снилась Угра наша. Смотри, все такая ж!

Старик стал снимать с себя пиджак.

— Прикройся, не простудись, — сказал он заботливо.

Выехали на бугор. Отсюда открылось правобережье: частые деревни и хутора близко лепились друг к другу, за смутно расплывающимся лесом серебрился, неотвратимо тянул к себе взгляд купол какой-то церкви.

— Алексинская? — почти шепотом от волнения спросил Николай.

— Она. Теперь версты четыре, не больше. Деревню-то приметил?

Старик проследил его взгляд, поправил:

— Левей, вон Дымкова крыша под железом.

— Погоди... Где же наш хутор?

— Отседа не видать. Чуток проедем — выскочит и хутор.

Сзади осталось комкастое, опутанное кустарниками поле озимого жита: так и дохнуло беспризорностью и неуродом. Огромные пустоши сплошь, докуда хватал глаз, пятнали озимь, бледно-зеленые кустики жита почти не виднелись.

— Это чья ж такая ржица? — спросил Николай.

— Коммунская, — нахмурился Тимофей Гордеевич.

Николай заметно оживился, спросил:

— А у нас ее нет?

— В конце зимы сорганизовали.

— Да? Кто ж руководит? Деревенский?

— Золотухин Максим.

— Смотри!.. Он, значит, партейный?

— Коммунист. Молодец: не припугивал. Восемь семейств покеда вписалось. Я, Коля, не взошел.

— Выжидаешь?

Старик ответил не скоро.

— Худо аль нет — покуда буду жить двором.

Николай с живостью одобрил — видно было, что это давно — и окончательно — им решено:

— Свое дороже всего. Сядем на наделы — пускай кто сорвет!

Сказал он таким отчаянно глухим голосом — Тимофею Гордеевичу даже сделалось не по себе. «Не только глаз у него выбит — душой весь вывихнут», — подумал с горечью старик.

Сладковатый привкус молодых, набирающих силу зеленей коснулся дыхания Николая.

— Душа измерзлась, батя! А все ить по ней, по земле своей, тоска взяла! Воли хочу, — сознался и спросил: — Что ж наши?

— Слава богу.

— Ганна как?

— Кто ее знает... — непрямо ответил отец.

— Гуляла?

Старик даже взмахнул руками.

— Чепуху городишь!

— Макарка?

— Здоровущий уже хлопчик!

— Мать-то? Небось постарела?

— Посугорбилась: годочки! Гляди, хутор. Вон наш двор!

Жеребец, почуяв отдых и корм, увидев знакомую стенку плетня, сильной рысью понес раскатанным, забирающим в гору проселком. Навстречу Николаю неудержимо летел опушенный белоцветьем, круто спускающийся к Угре клин родительского яблоневого сада.

II

Все столпились на крыльце. Лукерья судорожно сходила с высоких порожков. Ганна, улыбаясь, часто поправляла праздничный, береженный в сундуке платок в кумачовую крапинку. Глаза ее, подведенные углем, блестели ярче обычного. Визжали и прыгали, толкаясь, детишки. Горбун Яков встретил брата завистливым взглядом; он стоял отдельно ото всех сбоку крыльца,

раздвинув ноги в галошах на босу ногу, маленькое, с кулачок, лицо было холодно и пронзительно мудро. Увидел мельком и в сердце пожалел Николай дробное, с белыми бровями, с выражением приживалки лицо Марьи: «Не сладко ей, знать, с Гришкой жить». Вслед за всхлипывающим Макаркой: «Тятенька, тятенька!» — все бросились к нему, мать мочила слезами рукав гимнастерки, Марья бережно сняла с плеча мешок с харчами, Ганна поддерживала под руку, помогая ему взойти на крыльцо: в правой, простреленной ноге еще чувствовалась боль.

— Да погодите вы, бабы, дайте ему самому сесть! — прикрикнул Тимофей Гордеевич. — Облепили, чисто мухи.

В печи уже кипело и клокотало. Гора золотистых блинов в огромной глиняной посуде с кусками кандюка * стояла на загнетке. Глиняная миска летошних соленых огурцов возвышалась над столом. Дымилась, испуская несказанный аромат, громадная сковорода драчон. Точно осознавая момент, фьюкал и тоненько пел убаюкивающую песенку начищенный золой двухведерный самовар.

— Живой! Изредка ставим, — сказал отец.

Визжали Григорьевы детишки около печи, и Николай вспомнил о нем:

— Должно, на работе?

— Господи, похудел-то, Коля! — заплакала мать, не отвечая.

Николай сел на лавку, немного приходя в себя.

— Другие вовсе голов не принесли. Цыцте, вы! — Суетился, собирая белье в баню, отец. — Пошли, Коля, вениками полупимся. Нонче баня топлена.

— Устал с дороги, не пойду, — Николай, разговаривая, старался не терять из поля своего взгляда лица жены, в уме отмечая заметную и непонятную ему в ней перемену. «Гуляла? — На вопрос себе не ответил, с ним и сел бриться. — Замерз я на войне, пропади она!»

Вскоре пришел Григорий, обнялись посреди дома. Николая неприятно сконфузили чисто промытые белые руки Григория; брезгливо выдернув руку из костистой черной ладони брата, Григорий, в свою очередь, строго и придирчиво рассматривал сильно измененное угрюмое его лицо.

---

* Кандюк — набитый мясом и обжаренный свиной желудок.

— Заезженный, брат, — сказал он.

— Потянул бы лямку семь лет, — отозвался сухо Николай.

— Я тоже спробовал.

— Сравнил свою службу!

Через час в доме было до одури надымлено куревом. Пришли и на лавке сидели: Кондрат Стрекалин, Илья Лукашкин, Мирон Ведерников, и за столом — Максим Золотухин.

Николай шевельнул пустой рукав Золотухина, обнял за плечо.

— Приковылял?

— Прибился вот. — И оглядел застолье.

Пошла выпивка. Разговор рвался, сбиваясь на мелочи. На вопросы деревенских Николай отвечал односложно, нехотя, сидел тихо и неприметно с краю стола.

— Что ж, война надолго кончилась? — спросил Лукашкин, присматриваясь к Николаю.

— Не знаем пока, — Николай налил новую стопку, опрокинул.

— Разруха эта... — вздохнул Мирон.

— Судьбина, искоренили нас войны! — выругался Кондрат, успевавший доставать съестное изо всех чашек.

Лукашкин остановил Кондрата движением руки, досадливо морщась — раскусил моченую клюкву, — спросил:

— Остальных-то фронтовиков скоро ль распустют с миром, по домам?

— Комиссары нам так объясняли: мир миром, а порох должон быть сухим. Отпускают пока продырявленных, как я, а потом и других, может...

— Дай-то бог! — вздохнул Тимофей Гордеевич.

Заплакал ребенок. За перегородкой неясно и томительно шелестели юбки женщин; Николай сидел с опущенной головой.

— Голод в Питере, в Москве. Едят кошек, собак. Я сам видел, как одна семья варила собаку, — рассказывал Николай, отчего-то все больше раздражаясь манерой Григория самоуверенно и значительно усмехаться; и поза, в которой он сидел, тоже ему была незнакома.

— Вся надежда, видать, на крестьянство урожайных губерний, — сказал веско Лукашкин.

— Бросьте вы политику накручивать! — поднялся Николай, пошатываясь, налил всем в стаканы. — Крестьянину, кроме своей земли, дела нет. Земли нам прибавили. Революция двор не должна разрушать. Революция — она ить рабочая...

— Такую чепуху наколесил! Какая путаница! Ты, значит, отделяешь крестьянина от революции, так? А землю кто ему дал? — спросил Григорий.

— Я хочу, чтобы он жил как хочет, — двором!

— Это ты, Коля, городишь косой плетень, — вмешался молчавший до сих пор Золотухин, прикуривая от Григорьевой цигарки. — Не всякому охота пуп надрывать на наделах. А если и хочут жить двором, так тыном не отгораживаться. И революция была всего трудового народа, а не одних рабочих.

— А чего ты обещаешь мужику? В коммунии?

— Не обещаю, а делаю, что могу.

— Ежели сволочь прилипнет, всякие болтуны, да нас зачнут учить, как землю обрабатывать? И хаять нас?

— Не ради таких болтунов революция делалась. Не ихними корыстными интересами нынче живет крестьянство.

— Далеко не надо ходить: вон в Покровском их много, — сказал Мирон, усмехаясь.

— Сегодня оне там, а завтра не будет, тут сомнений нет, — сказал Золотухин.

— Что будет дальше, угадать трудно, но жизнь получше становится, — согласился Тимофей Гордеевич. — Надежда у народа большая.

Григорий, бросив враждебный взгляд на брата, вылез из застолья, облокотился о косяк печи.

— Крестьянство поведут умные люди, — сказал он значительным тоном.

— Дуракам и поп Виссарион светило, — не полез за словом в карман Николай.

В сенцах пискнули половицы, в дверь поскребли, отыскивая скобу, и вошел, принюхиваясь, Люшня.

— А мы-то думали, кого нам не хватает, — съязвил Мирон, из-под лохматых бровей посматривая невесело на «вольного человека».

— Или бедного не пущать? — спросил едко Григорий, наливая Люшне водки.

— Вот кто видит истинную правду! — воскликнул Люшня.

Лукашкин поднялся с лавки и строго сказал:

— Пора и честь знать. Пущай служивый отдыхает.

Когда остались одни домашние, Григорий круто, на скрипнувших каблуках, повернулся к брату, пытаясь подавить в себе раздражение, строго спросил:

— Ты что болтаешь при людях?!

— Аль кальеру твою порчу? Но я тоже не собака! Ганна, стели. — И Григорию упрямо, жестко: — Ты мне не указуй, новообъявленный деятель. Тебе-то я знаю цену!

III

Утром Николай проснулся с твердым сознанием — сам себе хозяин, надо делиться.

Он сразу же решил об этом сказать отцу.

— Маманя, где батька? — спросил он озабоченно, выходя в прихожую.

— А гумно чистить.

Мимо прошла, неся неясную, скрытую полуулыбку, Ганна. «Гуляла!» — решил он бесповоротно и твердо.

Отец в мокрой, с засученными по локти рубахе выметал из темных ворот риги сор; он молча выслушал сына до конца и, к удивлению Николая, сразу же согласился, сказал:

— Делись. Не век же нам сидеть под одной крышей, — задумчиво расправил бороду. — Только двора жалко — запустеет он у нас. Гришка, ты видел, не работник. Когда думаешь строиться? — Отец вытащил бордовый кисет и, медля закуривать, выжидательно замолчал.

— Тянуть нечего. Пока лошади гуляют, до уборки поставлю сруб, а к зиме переедем.

— Где наметил? Можно в хуторе. Землица у нас сходственная. Да и жить будем рядом?

— Нет. Хочу куда подальше. Людские рожи опостылели. В лесу хату поставлю... На вырубках хоть, — досказал он неожиданно.

— Аль прячешься?

— Прячусь! Тишины хочу, покоя. Запрягу жеребца — хочу посмотреть сейчас.

— Бери лысую кобылу. Жеребец прихромал.

Минут через сорок вместе с Ганной глохлой дорогой выехали в Зимовную вырубку. Вековой лес взял их в плен. Дубы, ели, в проредях — бурелом, дикая чащоба. «Дороже в свете ничего нет!» Весь ликуя, Николай оглянулся на жену. Та, сомкнув губы, с тоской смотрела на зеленую, волнующуюся лесную одичалость. Трудно представляла она эту жизнь. Перемолола в себе первый протест, когда запрягали лошадь, — неведомое и ее потянуло на вырубки. А как выехали за деревню и пропал из вида хутор, с облегчением поняла: гонит сюда опостылевшая жизнь в мироновском дворе. Потому и не возразила она. Сквозь зелень орешника показалась крыша сторожки лесника. За жиденьким осинником — круглая поляна, окаймленная березовым колком.

— Тут? — шевельнул губами Николай.

«Ага», — ответила ему взглядом.

Николай, взодрав подошвой дерн с молодой травой, задохнулся от волнения: самая кормилица, чернозем! Вытащив из телеги лопату, стал жадно рыть в разных местах.

— Чистое золото! На кой нам сдалась деревня? — Подошел, обнял за плечи. — Заживем, Ганна! Пошли к леснику толковать насчет застройки.

Агеев, долговязый старик в волчьей дохе, внимательно выслушал; позванивая голубенькой серьгой в ухе, сказал:

— Лесом я помогу. На хату дам хороших еловых бревен. Бумагу о стоимости оформлю. Отца я вашего знаю — дельный мужик. А вы по какому случаю надумали тут строиться?

Николай повернулся боком, не давая возможности Агееву рассматривать выражение своего лица.

— Тихо тут. Ты, товарищ Агеев, покажи, который лес валить? Мы счас и зачнем.

Лес на порубку Агеев указал в полуверсте. Ровные ели высоко вскидывали макушки, тонко гудели, раскачиваемые ветром. Агеев похлопал ладонью по стволу.

— Лучшего матерьяла не сыскать.

— Дорого вольется?

— Не трусьте: лес нынче дешевый.

До вечера они спустили и вывезли к облюбованному участку пять елок. Ганна, забыв об усталости, помогала мужу, но он мягко отстранял жену, сам закидывал по сырой слежине на тележный передок комли бревен, иную, не осилив, опускал.

Уже в обед Ганна сказала сумрачно:

— Ну их к дьяволу! Покличем батю, Марью.

Он, казалось, не слышал ее.

Уже в сумерках Ганна, швырнув пилу, направилась к телеге разбитой, злой походкой; поправляя выбившиеся волосы, стала впрягать лошадь.

— Ты едешь али и ночь будешь?

— Езжай одна. Утром, да поране, пущай наши приедут с тобой. Я заночую у Агеева. Может, и ночью сколько поработаю. Харчей не позабудьте побольше взять. Махры прихвати.

Соснул он в лесничьей сторожке часа два, не больше. Очнулся с теми же радостными мыслями: хозяин! Торопливо одевшись, вышел на крыльцо. Блестели и серебрились звезды над лесом, сладкий шепот листвы веял тихим счастьем, зазывно куковала перед зарей кукушка, трепетно вздыхала под ее однотонные звуки вся многоверстная спящая чаща вырубок. Роса ожгла руки. От сваленных стволов — смоляной хмель. Воля! Как он ее ждал в окопах войны! В руках его звенел топор. Зеленый, с белым обводом месяц плыл по темно-синему, белеющему на востоке полю неба; темнел вековой дуб с краю поляны. И дуб... Детишкам в радость, расти им здоровыми, песни будет им петь. «Господи! Никуда вовек не стронусь. Месяц и тот на воле, вон, смеется», — Николай поласкал глазами дерево. Он вытесал из сучьев колья, долго и внимательно оглядывал широкую поляну, вбил их, далеко выдвинув границы двора за дуб, вплотную к оврагу, а с обратной стороны — до березового колка. Разогнувшись, смерил пространство глазами: «Мало!» Еще прирезал часть колка, засек десятка полтора молодых березок и тогда, довольный и успокоенный, вернулся к куче бревен. На север — глухая стена крытого двора; хлев, амбар, молотильный ток тут же, под стеной; шагов на сто пониже — колодец; на отлете — баня. «Собаку надо — вот что». Крыльцо на юг и туда же окна, сенцы застеклить.

Агеев, встававший три раза за ночь курить, видел, как он, одинокий, орудовал топором под полнощекой луной.

— Сбесился человек! — сказал он жене. — Посмотри: видно, и не ложился.

...Золотухин не ошибся: сыскал лесничью сторожку. На рассвете он верхом подъехал к поляне и, привязывая лошадь, торопливо направился к Николаю.

— Медведь берложный! Волку и тому дороги нет.

— Нашел? Следишь за мной?

— Слежу... Я так думаю, Николай: можешь ты со своей затеей в дураках остаться.

— Не твоя забота. Учитель тут сыскался! Баб агитируй, а до меня не касайся. И Ганну не трожь, а то знаю я таких партейцев... Ты ее, Максим, не трожь, упреждаю! — повысил Николай голос.

— И ты партию не трожь! Ты об ней знаешь, как я в китайской грамоте. Одумайся: иди в коммуну. Ты же фронтовик! Хочешь иметь двор, так стройся в деревне! А тут, за восемь верст? Подумай хорошенько — потом тяжелей получится. Был бы ты старик, так черт с тобой: об тебе б могила поплакала. Впереди жизнь, забеги хуть на год-два вперед. Невжели думаешь: революция в России заварена задаром? Поверни мозги! Не торопись, оглянись хорошенько.

— Уйди! — прохрипел Николай. — Христом богом прошу, уйди! Уйди, Максим, отсюдова! Убью, слышишь? Уйди от греха! Создатели новой жизни. Какой? Кому?

...Через три недели пятистенный сруб был готов; не ожидая окончательной отделки, как только возвели крышу и настлали пол, Николай и Ганна отделились от стариков: свели на вырубки пятнастую корову, лошадь, свезли свинью и кое-что, давно уложенное, из сундуков.

Ганна, находившаяся во время дележа в возбужденном и радостном состоянии, с холодным сердцем покидала ненавистный ей двор. Плакала Лукерья, мелко крестила подводу, шептала суетливо молитву. Старик, насупясь, недвижно стоял посреди двора, смотрел себе под ноги, раздавленный неизъяснимой тревогой. Лишь горбун Яков светло улыбался, радуясь чему-то своему, далекому от тревог и горечей семьи, от безумных, как считал он, сует людской жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Едва взойдет солнце и до самого огненного заката — нестерпимая жара. Не притронуться рукой к железу, к дереву: палит, сушь... На шелковистые бугры бурой пыли на проулке не ступить голой ногой: жжет. В чадном дыхании южных сухих ветров кончился май. Июнь навалился и еще злей. Весной короткие грозовые ливни сразу после сева дали возможность земле выкинуть зеленую, веселящую глаз щетину всходов. Разливом, бурным и радостным, взошла коммунская яровая рожь, вышелковился лен на вековом, никогда не паханном хребте, проклюнулась деляна пшеницы; дружно вытянулись картофельные ряды; дала лист свекла и другое огородное. Наперекор угарной жаре стосковавшаяся по урожаю земля старалась отдать людям весь свой залежалый сок и силу.

Два раза на день Золотухин объезжал или обходил поля, чувствуя надвигавшуюся беду. Начавшаяся жара дала козырь в руки тем дворам, кто, хитро поджидая еще худший налог, чем в прошлый год, бросил незасеянными значительные куски своих наделов. «Сеять на ветер — жара вон погубит», — говорили и Лукашкин, и Ведерников, и Бабинцев. Все было правда, но о засухе не ведали весной, когда сеяли и когда Золотухин вечерами обходил дворы, убеждая не бросать землю. О ней не ведали, о ней говорили сейчас, прикрывая тайные думы: выжить самим, а города, республика — ее пусть кормит кто хочет и как хочет... В окрестных деревнях была та же картина: крепкие дворы бросили половину земли.

— Мужик хитер, — говорил Кондрат, не совсем понимая, зачем Золотухину нужно было об этом терзаться.

Спустя дня три, вечером, вернувшись с полей, посмуглевший от загара Левцов пришел в нардом, в круглую комнатушку, где помещалась коммунская контора, тяжко сел на табуретку и, сумрачно посматривая на Золотухина, который о чем-то беседовал с бабами, упавшим голосом сказал:

— Ни шиша мы с поля не получим! Сохнет стебель,

колос вянет начисто на корню! Пропали мы, товарищи! Зазря губили силу в упряжке. Людям мы ничего не дадим. Сомнительно — смогем ли осилить налог?

Золотухин сказал резко:

— Пока еще не сгорел, а мы уже в натуральной панике! Пока у нас коммуна такая же липовая, не лучше, чем у покровских. Дисциплины ни черта нету! Один является на работу в восемь, а другой — в двенадцать. Так не годится! Отсеялись хорошо, дружно, геройски. Но что потом? Мы не для того организовались, чтобы кидать коммунскую работу. Где Усинцов? Второй день я его не вижу.

— Уехал, зараза, к брату на свадьбу в Пречистое! — сказала Лушка, с наслаждением подкараулив подходящий момент, чтобы ругаться.

— Руководитель строителев и кузнец глушит водку на свадьбе, а у нас почти под открытым небом живут четыре семейства! Я планировал до сенокоса успеть вывезти лес под новый дом. Дерева сложены штабелями, а вывезти нету рук. Натуральное и безоговорочное безобразие! — Перегнулся и стукнул в стену, подождал, пока шагнула через порог Галина Лопарева.

— Бери бумагу, пиши выговор Усинцову. По всей строгости военного переходного времени пиши: «На фронте за это дали бы законную пулю, как дезертиру, а мы объявляем Усинцову Федору Ерофеевичу выговор с урезанием продовольственного пайка до минимума. Остальной заработок за указанное время тоже занизить». Пиши дале: «Председателю коммуны Золотухину, который вовремя не углядел простой мужиков — плотников, тоже занизить месячную продоплату до минимума». Как занизить, пущай все члены решат. Приклей выписку на дверях. Замечания, товарищи, есть?

— Погоди, как же?.. Усинцову и трехразовой пищи не хватает, а ты его садишь на птичью долю, — спросил Левцов. — На военный манер поворачиваешь? Не годится!

— Так на собрании ж решили! Что ты, Антон, пятишься? — не утерпела Марфа.

— А пьянствовать неделю — можно? Мужику? — посмотрела удивленно на него и Фекла.

II

Не было ничего, куда не кинься — голо. С грехом пополам достали полпуда гвоздей.

Золотухин лелеял мечту: вот пройдет три-четыре года — и загудит коровье стадо за бывшим поповским скотником. Не эти коровенки грезились ему, а сотни. Поднимал разговор и об общем коммунском доме. Левцов к строительству большого дома для четырех коммунарских семей отнесся сдержанно. Но и не возразил, и не одобрил, он лишь сказал:

— Надо так надо...

Постоянно испытывал Золотухин его вопросительный, изучающий взгляд на себе. Откровенный разговор Левцов уводил в сторону. Смеялся редко и так, будто ему в рыжий веснушчатый кулак сыпали за смех серебро. Исполнял до точности все, что поручал Золотухин. Он словно нес по чьей-то сторонней воле не свою, а чужую ношу. Золотухин не мог себе точно ответить, почему на днях именно его, Левцова, предложил он в свои заместители? Тихим был Левцов председателем сельсовета в свое время. Его не любили, его и не ненавидели: как траву, которую замечают тогда лишь, когда придет она в надобность.

Золотухин, присматриваясь к Левцову, все меньше узнавал его. Казалось: вот они, люди, которых он читал, словно книги, но выходило так, что он их не знал совсем. Люди были такими же таинственными мирами, как ночные звезды на небе, и в их, казалось, непостижимую глубину надо было ему войти. А загадочней всех для него оставался именно Левцов.

Усинцов — первая трещина в коммуне. Решение на сходе урезать ему до минимума паек тяготило всех. Со смутным страхом ждали его возвращения со свадьбы. Вернулся он в деревню под вечер, а утром, едва Золотухин вошел в ограду около нардома, увидел дожидавшегося на крыльце Федора. Огромный мужик, сейчас он выглядел меньше ростом, притихший был и печальный. Как-то безучастно он докуривал закрутку, а Марфа и Фекла стояли за его спиной и переглядывались. Тут же, на периле, лежал его заработок за прогулянную неделю: черная коврижка хлеба.

— И все? — спросил он тяжело, тихо и грустно.

— А ты хотел пить, а за тебя будет дядя ишачить? — Золотухин взошел на крыльцо.

— И такая воля? Она?

— А ты сам ее, волю, другую видал?

— Я шел к ней! — Усинцов, прижав к груди узловатые ладони, жалко шмыгнул носом и сморщился; Золотухин сжал губы от боли и лютой жалости к нему, помолчав немного, воскликнул:

— Да пойми ж ты!

— Отдайте мою кобылу и корову, проживу без вас. Счас же верните скотину! — Он, страшный в ослеплении, сбежал с крыльца, сжал кулаки.

Золотухину в затылок задышали бабы. Молчать было нельзя, надо было решиться: или вынести смертный приговор целой коммуне, или жертвовать добрым работником и одной семьей?

— Верните ему, — сказал он наконец тихо и зачем-то повторил про себя: «Так-так-так...» — быстро, размахивая рукой, пошел и догнал Усинцова у изгороди.

Его во что бы то ни стало надо было вернуть!

— Федор! Брат! — позвал сухим, перехваченным горлом. — Понять должен!

— Нешто вам верить? Подавитесь, вы!..

На крыльце шептала Варвара Семигонова:

— Пропадет наша коммуна!

Усинцов тут же увел корову и лошадь, на своем дворе спустил с цепи кобеля и в коммуну не вернулся.

III

— Подайте, христа ради, грешному человеку.

— Проваливай, дядька! Сами на мякине.

В другом дворе на худого узкоплечего старика хозяйка замахнулась палкой, но около калитки его догнала:

— Возьми хлебушко, возьми. Не гневайся, отец: бяда нонче.

— В библии говорено, — сказал человек, запихивая в сумку кусок: — «Глас вопиющего в пустыне».

— Верующий, отец?

— С одной стороны, да, а с другой... — и, покосившись на нее, вышел.

А как стемнело, она услышала быстрые, заячьи шаги его на потолке. «Знать, что-то прячет», — подумала удивленная старуха...

Странного нищего видели и в окрестных деревнях. В Сикаревке, где жили особо грязно и дико, он начал объяснять, как можно — и даже без крошки мяса — сварить щи.

— Простая штука: была бы бульбочка да бурачок, да лучок, да водичка, — говорил он ласковым голосом.

Из-под рыжего облезлого козырька кепки щупал мир взглядом ясным и жадным этот невесть откуда взявшийся старик. В иной хате он говорил:

— Грязно живете. Пол надо чаще мыть, стол редко скоблите.

Другим оштукатурил печь, третьим сложил новую, оглядев, весело прищурился и сказал:

— Париться можно.

Вдвоем с хозяином они и выпарились; хозяин хаты, бородатый старик с надорванным ухом, изумился:

— Вот так печь, мать святая! Сколько ж ты возьмешь?

— Заночую и уйду, что мне брать с тебя? — И, помолчав, прибавил загадочно: — Много я, брат, брал...

— Разорился, стало быть?

— Да и не жалею, где свобода, там и счастье. — И, вольный, высокий и сутулый, исчезал.

Ходил он без устали: его видели в пяти-шести деревнях за день. Слухи, один нелепее другого, ходили о старике. Говорили, что он остриженный поп из Питера, другие — тайный германский шпион. На картах не гадал, наотрез отказывался, когда просили его заговорить от падежа скот; и подробно объяснял, откуда пришла в Россию эта вера в силы, которых нет и никогда не бывало.

— Ничего нет, кроме жизни. Человек — царь и владыка. Дайте срок — и он возродится, он построит дворцы. — И, удивляя людей, говорил о том же человеке и такое: — Только погибнут они. Все живое: леса, реки, воздух, птицы, трава, свет — все погубит сам человек!

В селах после этого говорили:

— Рехнутый! Не то беду, сволочь, кликает.

Иные при приближении старика стали запирать калитки.

Потом у него на спине появился мешок. Зайдя в хату, не крестясь и не кланяясь — это-то больше всего возбуждало и возмущало людей, — вынимал небольшие живописные этюды с видами каких-то заморских земель. Бабы, на минуту оторвавшись от безысходных своих дел и забот, разглядывали писанные маслом диковинные картины, ища сходства с иконами, и всплескивали руками:

— Видали, чего нищий показывал: спереди вроде человек, а сзади рыба!

— А то, надысь, господи, не к ночи сказано, груду черепов показывал. Это, грит, сама война — черепа-то людские!

— Ну, теперь жди конца свету, — глухо шептали богомольцы. — Идол явился.

А старик, уютно пристроившись на скамейке, жуя пирог, терпеливо объяснял:

— Люди обезумели, братья губят братьев. Видите, что они натворили? И после этого им еще не страшно! А я говорю всем: «Опомнитесь!» — Старик умолкал, пристально и сочувственно глядя на грязных, в драных до пупков рубашонках детей. — Ради них нужно на кострах гореть!

— Дело житейское: через год-два пахать станут, — отвечал хозяин.

— А как пахать?

— Известно как, обнакновенно.

— Россия, брат, в муках, вши ее заели, вот и больно! Этим чертенятам в глаза не могу смотреть.

— Ты человек божий: суму надел — людям зла не делаешь, — говорили ему.

— Делал, брат! — угрюмо вздыхая, сознавался старик.

Кто-то из лукашовцев заметил: несколько раз старик уходил узкой, вьющейся между кустарников тропкой в сторону Зимовной вырубки...

IV

В густом ельнике тропа оборвалась: налево темнела вывернутая с корнем вековая сосна, справа — тихое царство переплетенных, облитых солнцем орешин; из-за вздыбленных корней сосны сочился дым, пахло при-

жженной хвоей. Раздвинув кусты, Золотухин заметил низенькую дверь в землянку. Кривые ступени свели его вниз. Постучав в дверцу и не ожидая ответа, толкнул ее. Навстречу ему поднялся от сбитого из березовых жердочек стола испуганный старик.

— Высмотрели! — крикнул старик и, побледнев, устало опустился на чурбак.

На столе — искусно вырезанная из дерева солонка, в углу — из дубовой колоды зоркими, всевидящими глазами глядел бородатый старик. В ящике — самодельные ножи и инструмент; чучела птиц висели по стенкам на гвоздях.

— Толстой? — тихо спросил Золотухин, пораженный могучей силой старика, вырезанного из дерева.

Хозяин землянки был все еще бледен и заметно волновался. Сев к Золотухину боком и косясь, начал ковырять ножом. Гибкие, с длинными пальцами музыканта руки старика нервно двигались.

— Вы Барышников? Алексинский помещик? — тихо спросил Золотухин.

В тишине звякнул нож, выроненный стариком; некоторое время он угрюмо сидел, сгорбившись и не шевелясь, уставясь в одну точку. Лицо его осунулось и стало совсем белое, будто вырубленное из мела.

— Зачем вы меня выследили? — подавленно прошептал старик, двигая нависшими седыми бровями. — Вы меня уби-ли. — Руки его заметно тряслись; он согнул еще больше спину и хрипло дышал...

— Окопались-то! Даже гаубица не возьмет. — Золотухин отковырнул смолистую щепку от потолка.

Старик, качая головой, произнес:

— Страшен человек — снаряд в этом веке не страшен.

— А вы меня не помните? Я у вас на поденной ишо два лета работал? В девятьсот двенадцатом и тринадцатом, мальчишкой?

Старик решительно поднялся, упершись головой в потолок, стоял он боком, тонкая, изрытая глубокими морщинами шея напряглась.

— Приют у леса нашел... Уйдите отсюда! — И порывисто начал рыться в ящике под скамейкой: — Вот... охранная бумага, вот, пожалуйста! Дана новыми властями еще в семнадцатом. Мое имение разграбили, но я не жалею: возмездие за праздную жизнь должно было

случиться, — сказал он, подчеркивая последние слова, и чувствовалось, что искренне.

— Я не забирать вас пришел.

Старик спрятал бумаги в ящик; он не верил ему.

— Я нищий, бродяга, я никому не причиняю вреда.

— Вы же образованный человек! Так идите к нам! Али вы не видите, какая жизнь? Учителей нет, ни черта нет, кругом нужда! Кабы мне вашу науку! — вырвалось у Золотухина.

— Я вас, простите, плохо понял, — несколько оживляясь, сказал старик. — Учителей, говорите, нет? Возможно, возможно, но поздно, поздно... Знаете, жизнь — это свеча, горела и потухла. Я ем кусочки черного хлеба и счастлив: царь и бог, я себя отличнейше чувствую! Впрочем, не хотите со мной поужинать? У меня уха, поймал соменка, а? — Старик протянул деревянную, искусно вырезанную ложку. — Тоже свое изделие.

«Где его семья? Ушли за границу? Почему остался он? Что я про него знаю? Что у меня ему уготовано, кроме ненависти?» — думал Золотухин. Ел старик молча и не жадно, аккуратно выскреб кусочки разваренной рыбы, с удовольствием и старательно потер чистой тряпочкой коротко подстриженные белые усы и сказал:

— Кушать нужно уметь. Древние римляне это искусство постигли! А вот наши предки развязывали животы, ели до омерзительности много... Культурные вопросы, молодой человек, ваша революция не разрешила.

— Некогда было. И сделала она все ж таки порядочно, если оглядеться.

— Я принимаю к сведению это заявление, — он бегло улыбнулся. — Оно меня утешает. Но людей дельных, кто хоть и незаметно, а творил народу лучшую жизнь, вы укокошили порядочно! Пока вы этого не понимаете.

Золотухин молчал, сказал затем:

— Все ж таки, папаша, класс в тебе заговорил! Не удержался ты, добрый ты человек, и вот на классовость, на дорогу свою опять потянуло тебя, и об этом мне натурально жаль. Дельные попадали под огонь, мне жаль тех русских умов, что не уберегли мы их, да и дело-то большое было и все ж таки давили гревших руки на людской беде.

— Человек велик и алчен, яко змий, все от него, все блага и страшные трагедии. Религия обуздывала ди-

карские порывы, но она пала. Я старый человек, но слушайте: я не скажу — жил ненужно! Русский помещик средней руки, он хоть и не с ломаным грошом был, но он кое-что сеял на народную ниву. Я не оправдываю себя, но не выкидывайте нас, не врагов революции и народа, совсем! Нельзя дать волю порокам людей. Хотите увидеть подтверждение моих слов? — неожиданно спросил старик.

— Было бы натурально желательно.

— Тогда ступайте за мной! — вдруг закричал он. — Ступайте! Вы, конечно, знаете, служащего уездного комитета Замялова?

— Я его знаю.

— Хорошо!

Старик быстро шел узкой тропой, они миновали овраг и вышли к Алексину; сквозь зелень проглянули купола церкви. Обросшая малинником, бузиной, волчьей ягодой и сиренью, церковь звенела от птичьих голосов. Многие тут терли могильные плиты голыми коленями, много было перешептано молитв под высоким куполом — вымаливали лучшую долю. Вон у того окна, сейчас выломанного, не раз простаивала службу Золотухина мать. К этому окну и подвел Золотухина старик, начал вытаскивать из-под рогожки на свет порванные, изуродованные до безобразности картины: их оказалось двадцать три.

— Я покупал оригиналы у лучших художников Европы. Сюда приезжал Замялов. Вот, например, портрет русского самородка. Товарищ Замялов сказал: «Я сильно сомневаюсь, что эти картины представляют ценность. Пролетариат сам будет создавать культуру». Через несколько дней я пошел в уезд, — заговорил старик, оглядывая разодранные картины. — Я хотел работать, понимаете? Заграница для меня была смертью: я русский, я славлю бога, что это так, я горжусь этим! Меня повели в кабинет к товарищу Замялову. Он сказал: «В помещиках не нуждаемся! Убирайся, чтоб духу твоего не было!»

— Надо, гражданин, работать, — сказал Золотухин, когда Барышников умолк и посмотрел на него вопросительно.

— Во имя чего работать?

— И вот ишо: Замялов данный не власть, а испол-

нитель должности. Ты, папаша, тут не путай. Коммунисты и весь трудовой народ лили кровь не за-ради его живота, Замялова, коммунистам в натуральности не наплевать на наше, на прошлое добро, нет, никоим образом, поверь ты мне! Дворян, которые за народ, революция давить не постановляла.

Старик задумался; он слышал это, видимо, впервые.

— Не всякого дворянина тоже Советская власть придавливает, не всякого вовсе, а глядит в корень: порвал он со своей классовостью аль не порвал, служит народу или вредит. И не всем она верить могла. Иных требовалось и давить, давить до смерти, беспощадно, чтоб никогда не отрыгнули они, во имя наших детей!

Старик был сбит с толку, он не знал, что ответить, и после долгого молчания сказал почти шепотом:

— Да, я начинаю понимать. Оказывается, Замялов другого сорта...

Извините! Поздно. Прощайте, голубчик. Пусть уж лучина догорает. — Он замолчал и потупился, опустив голову на грудь; глаза его были закрыты, а узкие сгорбленные плечи почти неощутимо вздрагивали. Затем он будто встрепенулся и, бледный, со светлым выражением глаз взглянул на Золотухина.

— Вы что же... вы считаете это возможным? — спросил он, едва выговаривая слова. — Я могу учить детей? Разве это возможно после всего, что я пережил?

— Но разве не для того вы родились на свет, чтобы служить людям? — спросил его и Золотухин.

— Всякое служение имеет цель... — начал было Барышников и остановился, чувствуя фальшивую ноту своих слов.

— А нешто нет цели, ежели вы выведете детей из тьмы на свет? Миллионы Ванек, которых еще должна узнать шибко выученная Европа. Ваше сердце не припекает кровь, когда вы видите, как оне прибиты и чего б могли сделать? Оне что — или чужие вам?

— Не говорите так! — вскрикнул Барышников, будто ужаленный слишком обнаженным смыслом его слов. — Они наши общие дети. Но я больной и старый. Однако... я подумаю... Да! Я, может быть... — он остановился и замолчал, — приду к этому. Что же? Я, пожалуй, согласен, — мучительно выговорил он. — Я согласен. Не могу, не могу стоять в стороне! — выкрикнул он.

— За то великое спасибо вам! — подчиняясь безотчетному чувству, Золотухин порывисто стиснул его узкую белую руку, долго не выпуская из своей. — Я вас не спрашиваю, где вы были все это время. Главное — от народа не ушли.

— Где я был все эти страшные для меня годы? Скитался... Я не хочу вспоминать. Но вы знайте — я не вставал против революции! — И старик пошел прочь от церкви, все дальше по кривой дороге, все дальше...

На другое утро Золотухин опять пришел по тропинке к землянке. Двери были распахнуты, из какого-то тряпья на нарах выскочили мыши, горько и сладко пахли усохшие травы, из дырявого бачка капля по капле сочилась прозрачная вода.

Старик исчез, неосторожно испуганный человеком. «Он все ж таки придет к нам учить мужицких детей!» — с твердой уверенностью подумал Золотухин.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Следом за Усинцовым из коммуны никто не вышел, чего каждочасно боялся Золотухин. Не вышли, но и не вписались новые. Деревня притаилась, ждала конца лета: урожай сам все поделит и решит, как нужно. Люди ходили гадать к Сазонихе, и та предсказала:

— Будет мор нынче!

И люди заговорили:

— Что-то да будет. Ежели дохлую конину начали исть, какое там добро!

Не успели оглянуться — подступил сенокос. Травы стояли редкие, во многих местах чадно дымили, подожженные неосторожной рукой бурьяны, и лишь по подлескам, куда не проникала сушь, тучное и духовитое, цвело разнотравье. Как и на посевной, косили всем скопом. Теперь у них был один жеребец Левцова, несмотря на подкорм, худевший с каждым днем. Скошенные валки сгоняли сразу в кучи, тут же копнили. Молодые жили в шалашах, старые ходили в деревню. Сдирая кожу с рук, в хрипе и тяготах поставили кое-как хороший стог сена. Косьбу кончили неожиданно быстро и дружно, а ее сильно боялся Золотухин: уход Усинцова мог повлиять

на других. Мог также сказаться и пайковый дележ: кто работал плохо, тот от коммуны почти не получил ничего. Больше всех коммунаров вышло Фекле Косухиной. Всю истосковавшуюся любовь к привычной работе она отдавала, как родной матери, коммуне. Она, выносливая, исправная, горела в работе. Впервые эта забитая, ходившая всегда в грязных лохмотьях баба на глазах расцвела. Серые, впалые щеки ее, узкая костлявая грудь, всегда готовые к работе жилистые, немного полусогнутые в локтях руки — вся она сама вдруг возродилась с жадностью к жизни. Впервые, очнувшись утром, успокаивала ее радостная мысль: детей кормила вчера, будут сытыми и завтра! Хоть липкий, мякинный кусок, но он лежал ныне на столе. Слезы испепеляли ей душу, когда смотрела она на своих сорванцов: словно растут по часам, а думала — останутся карликами. Кроме общекоммунских работ, Золотухин ввел разнарядку плотникам ремонтировать хаты. После сева перекрыли крыши Косухиной, Стрекалиным и Марфе, на очереди стояли Лопаревы, Семигоновы, Поршневы. Была надежда до первых холодов все-таки поставить задуманную пятистенку. Потянулись и к тому, что несколько месяцев назад казалось смешным и диким: к общему обеденному котлу.

Минутный разлад души переживал Лукашкин. Не было ни одного дня, чтобы, проснувшись, Илья Захарович не припадал к окну: идут или нет коммунские на работу? Шли...

Ведерников как-то ему сказал — они вместе ездили рубить хворост:

— Помнишь, слух пущали... дескать, прикроють их? А вот — живуть! И помирать не думають.

Уже выезжая из леса, Лукашкин неуверенно ответил:

— Поглядим, что им урожай даст. Знаем мы казенный хлеб!

— Да и свой хлеб какой? Тоже колко-то, брат!

— И свой горек, — согласился Лукашкин.

Три коммунские коровы, с которыми было очень трудно в весеннюю бескормицу, выгуливались ныне в лугах. В коммуне, кроме того, пуще глаза берегли единственную свиноматку. Три подсвинка зарезали: двух, не разделывая, отправили в Кардымовскую детколонию, одного оставили себе — детям и слабым старикам.

Добровольно порешили: от каждого коммунского дво-

ра — по пять штук птицы. Птичник под свою неусыпную заботу взяла Семигонова. Выгородили лужок за фермой и курам и свиноматке. Золотухин куда-то отлучился на три дня, вернулся он возбужденный, весь в пыли, с телегой, а на ней три мешка посыпки и громадная плетеная, доверху набитая корзина цыплят.

— Добыл в уезде, — пояснил он, — на развод пока хватит.

Яйцо делили по многодетным. Создали «пролетарскую комиссию» по сбору и перераспределению детской одежды. Фекла Косухина — ее председатель. И Левцов, и Галина Лопарева настаивали перетряхнуть сундуки у богатых. У Бабинцевых, у Дымковых — безвозмездно изъять.

Золотухин настоял — сундуков не трогать, и понял: многие им недовольны, а в первую голову Левцов.

— Ты их жалеешь, — говорил в те дни Левцов Золотухину, намекая на что-то важное, житейское, чего тот не знал, — погоди, не плакать бы нам!

— Не их я жалею, Антон Васильевич: идею загубим. Штаны и рубахи революция не велит отымать у человека.

— А коль кулаки?

— Вот мы и изъяли у кулаков Бабинцевых сеялки да молотилки. А грабить середняков не будем, право нам не дадено!

II

Лукашовцы на трех возах как-то по рани повезли в уездный город в только что открытую потребительскую кооперацию огородное — обнищали страшно, и надеялись обменять овощи на какие-нибудь товары. Ехали Ведерников, Сазанков, Кондрат Стрекалин и человека три правобережных. Сухая земля крошилась под копытами коней. В зыбучем мареве тонули поля и березняки, сквозила впереди желтая глинистая дорога. Мещанская слобода встретила пыльной духотой. На тынах сушились перины, горлачи *, плисовые курты, хромовые сапоги. Заехали на двор к знакомому, некогда богатому человеку — в дубовой колоде напоили коней. Хозяин, приземистый, с глубоко посаженными желтыми глазами, угрюмо глядел на заезжих, избегая разговора с ними.

---

* Горлачи — кувшины.

— Что, ай онемел? — спросил Ведерников, поглядывая на него.

— Торговлю отменили, сволочи! — процедил он сквозь желтые зубы. — На кой черт мне нонешние деньги? Я вот три пуда старых керенок сжег. Мы, брат, к мене привыкли.

Кондрат поправил на лошади съехавшую шлею, с удовлетворением улыбнулся.

— Видать, так, что нынче за три фунта соли корову не купишь. Не обдерешь, брат, народец! Все на место свое становится.

В кооперации они обменяли удачно овощи на льносемена и гречиху. Мирон в корявых ладонях провеивал коричневую литую гречиху, удивленный и растроганный, сказал:

— Да мы ж ее спокон не сеяли!

— Спробуем, авось дело выйдеть,—сказал Сазанков, выворачивая подводу со двора к каменным воротам.

В полдень закусили чем бог послал — хлебом и луком. На выезде из города — по раскаленному булыжнику гремели, поднимая желтую пыль, ломовые телеги с разной казенной поклажей — встретили фабричных. Они были в грубых парусиновых фартуках, с потными бронзово-темными лицами и с черными, с въевшейся в кожу окалиной, тяжелыми руками. Один из них, приземистый, с молочно-голубыми глазами на грубом, скуластом лице, обернулся на переднюю лукашовскую подводу, весело крикнул:

— Табачком не угостите?

Мирон потянул вожжи, с некоторой напряженностью всматриваясь в темные лица фабричных. Высокий, желчного вида, в сизой косоворотке и в высоких, под самые колена, сапогах, стоял поодаль, сверля мужиков острыми блестящими глазами. «Голодуха, должно, прижала — обозлен на хрестьян», — определил по его виду Ведерников. Кисет вынул Стрекалин. Кузнецы вежливо потянулись руками, закрутили папироски.

— Ты чего, Семен? Дармовой табачок, крути! — толкнул приземистый высокого.

Тот продолжал стоять как столб; лицо его по-прежнему хранило жесткое, не располагающее для беседы выражение. Острые, худые ключицы выглядывали из-под ворота косоворотки, так что Кондрат ахнул в душе:

«Нешто не одним мы с тобой хлебом кормлены, братушка!»

— Что ж, хлеб нынче? — спросил общительный приземистый кузнец.

— Какой хлеб! — Ведерников махнул рукой, и лицо его сморщилось, как от зубной боли.

— Выживем, если все вместе будем, — сказал худой, со строгим усатым лицом кузнец.

— Правда, братушка, то правда! — живо отозвался Сазанков, невольно пожимая кузнецу руку.

В это время высокий, все стоявший поодаль кузнец подошел к Кондрату, скупо улыбнулся ему и с самыми добрыми чувствами, хотя и не выказывая их открыто, протянул свою бумажку.

— Дай-ка отпробовать, — сказал он.

— Кури, кури, мила душа, — добродушным голосом сказал Кондрат, щедро ссыпав ему целую горку табаку.

— Много, — сказал кузнец. — Ну, спасибо, браток! — Он хлопнул Кондрата по плечу и вытащил в чистой белой тряпице кусочек сахару. — Возьми своим деткам.

— То-то будет гостинец! — сказал, обрадовавшись, Кондрат.

— Поделиться всегда надо, — вставил веснушчатый молодой фабричный, весело подмигивая мужикам.

— Значит, в деревне жить полегчало? — полюбопытствовал высокий.

— Да вот, вишь ты, лишек продали. А взамен льносемя везем.

— Хорошей вам дороги! — напутствовал их коренастый кузнец, помахивая кепкой.

На выезде они встретили два мужицких воза: тоже везли кое-что сбывать, но видно было, как они боялись, — как бы не отняли.

Над полями струился стеклянно-светлый воздух, далеко, над Гнездовским урочищем, меняя очертания, голубели миражи; на телеграфных столбах, без того сгущая душную истому, однообразно-усыпляюще звенели провода. Колеса гулко стучали по убитой дороге; пыль серым войлоком ложилась на ольховые кусты. Лукашовцы молчали до середины дороги. Когда въехали на мост через Угру, Ведерников, движимый сильным чувством, стянул с головы картуз и хлопнул им по тележной решетке.

— Кузнец-то длинный, а! Видали! Он ить бирюком глядел, а вот же подобрел. Рабочий человек, брат, без мужика, видно, никуды!

— Не в одном, стало, налоге дело, — ответил Стрекалин, — душевность, вишь, обозначилась. Тут куды поважнее!

Они замолчали, обдумывая все это про себя.

Ведерников пошевелился, всматриваясь направо. На изволоке, отовсюду видная, стояла чернеющая, с ободранными луковицами и ненужно глядевшая теперь на землю церковь. Ведерников вспомнил, что когда-то он в ней венчался, и воспоминание того времени коснулось его уже старой души.

— Гляньте-ка... ободрал ее ктой-то?

— Ах, сукины сыны!

— Время не зануздаешь, выходит. Да! — отозвался Кондрат.

— Вишь ты, заглохло вокруг нее, кустарник... Глухо-то как! — сказал он порывисто, привстав в телеге и оглядываясь. — Старая Россия-матушка и впрямь кончилась?

Ему никто ничего не ответил; суховейная полынная горечь исстрадавшейся без живительной влаги земли овеивала их лица.

III

В начале лета в Лукашовскую коммуну привезли пять однолемешных плугов, сеялку и красную, хорошо отремонтированную сенокосилку. Две пароконных фуры в деревню приехали утром. На передней фуре сидел знакомый Золотухину конюх, что привозил семена в посевную. На другой находился круглолицый, одетый в синюю прорванную на плечах рубашку, босой и со свалявшимися соломенными волосами парень. Он, должно быть, осознавал все значение этой поездки и старался достойно исполнять роль взрослого мужика. Золотухин увидел подводы из своей хаты и, на ходу причесывая волосы, торопливо заспешил на нардомовский двор.

...Эти же подводы увидел в окно своего дома и Сергей Бабинцев. Вдруг какое-то бессилие и страх охватили его. Он, что-то пришептывая, сел под образ божьей матери и судорожно дрожавшей рукой окрестил грудь и

стены. Жена глядела на него от печи. Она видела, что у хозяина дрожали руки и плечи и как-то не в лад движениям тела паралично дергалась голова.

«Не рехнулся ли с чего?» — подумала с ужасом баба.

— Господи, создатель, отведи беду от порога нашего и спаси и помилуй подвластный тебе род наш, — шептал Бабинцев, став на колени.

Увидев эти подводы с машинами, он вдруг почувствовал свой страх перед будущим, перед жизнью, и сознание, что все былое теперь рухнуло безвозвратно, овладело им. Никогда раньше не испытывал он этого чувства собственного конца. «Не ржать коню на дворе, не шуметь ярмаркам по святым праздникам, не выпьешь из самовара в трактире чайку, и самого самовара, гляди, с огнем не сыщешь. Вот они, проклятые мирские машины, — ить они-то порешат крестьянство и всякую благость! Ах, голодрань проклятая! Идейности ей, вишь, захотелось!..» Какой-то призрак нависшей беды смотрел в его желтые глаза изо всех углов собственного дома. Он шмыгнул носом, потом затрясся плечами, стукнул лбом в пол и замер, жалкий, злобный и растерянный. Соленые слезы холодной росой брызнули из глаз его; ненависть дыбом поднялась в душе, глаза его застил туман, и сквозь него, как бы сквозь туманный сон, увидел он ликующую толпу этого нищего народа.

«Да ить это они ликуют об моем разорении, вот что! — Будто это он видел не в воображении, а на самом деле, пробормотал Бабинцев. — Они ждут погибели моей!» — «А когда ты их давил, давил до смерти, тогда ты не подумал о братстве, — зашептал, издеваясь, другой Бабинцев. — Проси прощения у людей, изгони алчную сатану и выйди к свету и благодати». — «Врешь, сволочь, они еще мало батрачили у меня, мало, мало, и в том раскаиваюсь я!» — крикнул он этому голосу. Варвара с ужасом смотрела на него.

— Ты что? Что с тобой? — спросила она. Он поворотил голову, блеснув на нее желтыми глазами.

— Погибель идет! — крикнул он, поднимаясь будто одеревенелый. — По сибирской-то, по матушке ведь поведут! Враги оне мне, враги! Общие машины — вот она змея ядовитая! Думал же, сдохнут как собаки, а им-то революционная республика шлет.

— Рано былок ты караул закричал. Еще кому пано-

вать, а кому колядовать — бог рассудит, — сказала жена.

— Мне в злобе страшно стало, Варвара.

— Страшно, сынок, и не поздно людей любить и всякое живое! — прошелестела старуха с печи.

— Ты вредная, не верю я вашим молитвам — глотку грызть надо! Меня сам бог спослал на землю людишек давить, ваше лживое братство уничтожить.

— И горе тебе, — как эхо отозвалась мать, глядя печальными глазами вниз. Даже мать боялась его.

Золотухин подошел к подводе.

— А, знакомый товарищ! — улыбнулся он, увидев и узнав исполкомовского конюха. — Вот за это спасибо, ребята! Нам помощь неоценимая. — Он похлопал рукой по нагретому металлу сеялки. — Общая машина — сила великая и нам еще непонятная. Не понимаем мы еще до конца того будущего, что несет всем нам такая вот простецкая сеялка. Теперь она вдвое другая, чем прежде у какого-то хозяина была.

— Она, товарищ Золотухин, в мастерских сделана, — пояснил исполкомовский конюх.

— Значит, вовсе новейшая. Новый век открываем. За новый порог ступили, — он все гладил то бок сеялки, то решетку сенокосилки, то сверкающую на солнце сталь плугов. Сейчас он был как-то тих и задумчив; он точно взвешивал ту силу, что несли они с собой.

Один за другим на дворе появились Кондрат и Дарья.

— Хороший цвет на машинах, не облез бы только, — произнес Кондрат, тоже ощупывая металл.

— Все, дед, изнашивается, — конюх, как и тогда, на пахоте, подошел к Кондрату со своим пустым кисетом. — По такому делу, хозяин, не отвалишь ли хотя бы полкисета махорки, а? — спросил он, посмеиваясь и выказывая этой улыбкой большую душевную доброту.

— Ты ж зарок дал бросить, — ясными глазами глядя на конюха, сказал парень.

— Пожуй сухариков, голубок, тогда, чай, поймешь, — посоветовал конюх.

— К сеялке на озимое надо, Максим, Федора Усинцова поставить, — заметила Дарья.

— Это верно, — поддержал Кондрат, высыпая табак из своего кисета в конюховский, который оказался очень просторным: он наполнил его только наполовину. — Ишь, кисет-то у тебя ловок. Кисет так кисет — общественный.

— Да уж ежели насыпишь, то покуришь, — подмигивая, сказал конюх.

Золотухин только теперь осознал то громадное богатство, которое вдруг нежданно оказалось у них; однако он сдерживал свои чувства и казался нарочито спокойным.

— Ну, счастливых вам хлебов! — сказал конюх на прощание.

— Передай исполкому наше большое спасибо и скажи, что мы отплатим вдвойне, — прощаясь с ними, наказал Золотухин.

— Передам, как есть передам. Был бы только добрый хлеб, — ответил конюх, разбирая вожжи.

— Будет доброе сердце — будет и хлеб, — отозвался Золотухин.

— Что правда, то правда, — сказала Марфа.

Они завернули лошадей и, гремя колесами, поднимая легкую пыль, выехали в затянутый стеклянным знойным маревом проулок.

— Целое богатство, — проговорила Дарья, тоже как следует еще не опомнившаяся.

— Вишь, и клеймо на сеялке есть, все, брат, клейменое, — сказал Кондрат, ощупывая машины руками так же внимательно, как будто они были его собственные. «И Кондрат другим становится, оглядает будто свои». — И на лице Золотухина появилось выражение или задумчивости, или мечтательности.

IV

Травы уже вышли в рост, пламенно-малиновым огнем загорелся татарник, густыми гнездами забелелась полынь, по межам заголубела сурепка, в сухом и жарком воздухе разлился медовый цветочный дурман, и, боясь упустить время, до наступления жары, Золотухин решил выехать на покос на Длинную версту — на Тишкин луг — раньше обычного срока. Присланная же сенокосилка должна была облегчить дело. Но основной

массив луга, перерезанный оврагом и сильно обросший березняком, можно было косить только вручную. Каждый новый день задержки грозил гибелью теневой травы. Трава, росшая по косогорам, была уже частью выжжена, частью проглядывала жалкими островками между чернеющих плешин земли — там уже нечего было косить. Но травы по березнякам и на опушках на Длинной версте хоть и не такие богатые, но обещали дать сено как для корма коммунского скота, так и для сдачи Красной Армии. Золотухин задержался в сельсовете и приехал на Тишкин луг в то время, когда мужики, разбившись в ряд, уже кончали довольно обширную деляну. Солнце уже давно взошло, но еще не жгло по-дневному, росы нигде не было видно и следа, и заметно было, что мужики торопились до жаркого часа покончить эту деляну, а затем, переждав зной, налечь на верхнюю часть луга. Он спустился с полугоры — направо был березняк, налево — ровное поле, узкой полосой протянутое над оврагом, где краснела косилка Лушки Поршневой. Да, как бы ни казалось это странным на первый взгляд, именно Лушку назначил Золотухин осваивать привезенную косилку. Он не мог бы ответить, почему он остановился на этой разбитной и по общему мнению считавшейся пустой женщине. Все говорили ему, что затея его позорно провалится, что Лушка годна только работать своим сорочьим языком, но он упорно настоял, чтобы все-таки посадить на машину ее.

«Мы торопимся делать об людях выводы, мазать одних слишком красным, а другим слишком черным, а не думаем о том, что хорошее и дурное вместе, ангелов на земле нет, что их придумывают ради корысти и обмана и что даже самый падший и последний человек на многое годится», — упорно твердил Золотухин. Сейчас он не без некоторой боязни подошел к меже, всматриваясь в ровно выкошенное пологое поле, по которому плыла, как красная птица, Лушкина косилка. Она сделала заворот и, увидев Золотухина верхом на вислопузой коммунской лошади, остановила коня Левцова, вопросительно глядя на него. Она находилась в каком-то странном состоянии. Золотухин не мог уловить, что произошло с ней, но он не мог не видеть какое-то особенное выражение ее лица. Еще бессознательно, не

осмыслив как следует того взволнованного состояния, в котором находилась Лушка, он связал ее настроение с теми своими мыслями и чувствами, которые возникли у него, когда он три дня назад увидел общественные машины. Должно быть, Лушка уже не чувствовала себя прежней бабой, делающей привычную, хорошо известную с детских лет крестьянскую работу. Она была, верно, трудовой бабой, но уже в новом качестве — управляла машиной. Она была деловитой и серьезной, и только в глубине ее быстрых глаз искрилась улыбка.

— Ну, как косит? — спросил Золотухин, присматриваясь к ряду прокоса, который она только что проехала и так чисто выкошенного, что нигде не виднелось гнездовин уцелевшей травы.

— Чистая бритва, вот это работка! — сказала в восхищении Лушка.

— Стало быть, освоилась?

Она смотрела на него разгоряченными глазами. «Вот какая ты у нас нынче! — с радостью и с гордостью за нее подумал Золотухин. — Может быть, натурально дороже всех наших трудов возрождение одной этой в прошлом непутевой бабы. Может, тут и есть наиглавнейший наш общий посев в коммуне. До сих пор такой тебя никто не знал!»

Она с придыхом засмеялась; вправляя под выгоревшую косынку потный завиток черных волос, спросила его:

— А ты не верил? Дурная, мол, баба?

— Ты сама в себя не верила.

— Хорошо режет. Только трудновато на заворотах. Конь, вишь, не привык.

— Ничего, обомнется. — Золотухин потрепал по потной гриве жеребца.

— Слышь, Максим... У тебя там, в уезде, часом, нет мужика? — Лушка, посмеиваясь, мерцающими горячими глазами смотрела в его лицо. — Хотя бы заваляющего какого?

— Зря говоришь, натурально зря! — воскликнул Золотухин. — Тебе орла надо — вот кого!

Лушка выгнула свой сильный стан, прищурясь, глядела мимо его головы — в желтую, знойную марь, в которой пропадала дорога.

— Жить хочется! — вдруг сказала она порывисто и

страстно. — Не един же черный кусок хлеба. Вон чтой-то там есть такое, вдали... Есть же там!

— Над куском поднялась ты, Лушка! — И Золотухин подумал: «Машины... оне принесут нам новую жизнь. И сама Лушка, хотя бы и немного, хотя бы едва заметно, тоже уже новый человек из себя. Тут на лицо старое мы хороним, но чего-то все ж таки и жалко мне?.. И настораживает?..»

— Много сработала, Лукерья, молодец! Сегодня тебе надо поспеть уладиться с этой полосой, а завтра выедешь на Сырьинское займище, — сказал ей Золотухин. — Я буду косить с мужиками.

— За меня ты не волнуйся, Максим, я полосу нынче кончу, а завтра поране выеду в Сырьинское, — ответила ему Лушка; она опять потянулась. — А мужики у нас одна сухотка. Ты и вправду не сыскал бы мне дружочка стоящего? А то холодновато одной-то? Только стоящего, а?

«Вчера она такого не просила. А сегодня у ней потребность иная имеется». — И, мягко, ласково улыбнувшись ей, он не ответил, тронул лошадь и, не оглядываясь, направился к косцам на Тишкином лугу. Выехав на поле, по которому цепочкой двигались косцы, он не без удивления заметил среди них Ведерникова и Лукашкина.

«Оне ведь не в коммуне! — подумал он недоуменно. — Крепкие середняки, еще совсем недавно надсмехавшиеся над нами. Значит, тянет их к себе коллективность, и это тоже немалая наша победа».

Передним шел Кондрат Стрекалин, ровно откладывая валок густой, обдающий духовитым зноем травы; его красная, как огонь, рубаха горела среди луга и молодых зеленых берез.

Вслед ему шел старый Поршнев в одной нательной рубахе и в старых, завязанных снизу бечевками домотканых портках. Третьим двигался Кожушенков, выставляя прямо перед собой свою рыжеватую лопатистую бороду; худое, оголенное по пояс тело его с выпирающими лопатками и ключицами блестело от пота. Желтая сатиновая рубаха Дымкова была расстегнута, высокие, им самим сшитые сапоги облеплял мелкий лист подорожника. Тонкая, на новом косовище, коса его ровно и

чисто, как бы под гребенку, откладывала валок за валком. Илья Лукашкин, синея своей нанковой толстовкой, двигался предпоследним. Он изредка останавливался, плевал в ладони и, прищурив один глаз, снова с прежней размеренностью и точностью в движениях откладывал валок за валком. Предпоследним на ряду находился Левцов и замыкающим — маленький и жилистый, тоже голый до пояса, Афанасий Гущин. На открытых местах и на возвышениях в лугах только недавно всплывшего солнца косы работающих блестели синим огнем. И косцы, и луг, и березовый молодой лес, и само небо как бы были захвачены одной страстью работы. Сочные звуки подрезываемой травы дрожали, гасли и вновь нарождались между безмолвно и радостно застывшими березами. Прозрачный пахучий легкий воздух обвеивал свежестью каждый лист и лица людей. Ничего отрадней, дороже и прекраснее не было в свете в эту минуту для Золотухина. Все молодое тело его, так же как и их, просило работы. Коса, захваченная мужиками для него, была воткнута в землю косовищем около телеги.

На тонком жале ее играли лучи. Но прежде чем взяться за косу (он мог, придерживая обрубком руки косовище, тоже работать), Золотухин остановился, пораженный тем открытием, какое он сделал сейчас здесь. Среди косцов происходило что-то особенное, новое и знаменательное. Это было какое-то движение, какого еще не обозначалось вчера. Тогда, на пахоте весной, в народе проявлялось извечное и неистребимое желание — вспахать поле и посеять хлеб. И тогда люди отдали работе все, что могли, претерпев все тяжести пахоты на себе. Но тогда, как он ясно видел, проявлялся какой-то мужицкий, крестьянский инстинкт, там делалось всем миром. Здесь же (что не мог не заметить Золотухин) торжествовало полное и глубокое человеческое согласие и доверие друг к другу. Здесь, в этом радостно отзывающемся березовом лесу, эти грубые мужики по-братски любили друг друга. «Я не знал души народа до конца, а теперь я знаю, сколь щедрая и прекрасная она у них!» — радостным отзвуком отдалось в сознании Золотухина. От его глаза не ускользнуло и то, что по какому-то неуловимому движению среди косцов произошла перестановка.

Кондрат вышел с ряда, уступая первое место Дымкову. Он зашел сзади и стал на клин на пологом спуске с мелкой и легкой травою. Эта безмолвная перестановка в работе произошла как бы сама собою. С этого ряда начиналась густая, уже подпаленная солнцем трава с частыми гнездами бурьяна, и потому на долю шедшего головным косца доставалась самая трудная работа. Дымков, никем не назначенный, добровольно шел на эту трудность. Никто из косцов не выразил на своем лице никакого чувства от такой перестановки, и мужики все так же, согласно отмахивая валки и удлиняя ряд прокоса, двигались дальше к опушке березняка. Золотухин взял косу, заткнул под ремень брусок и, не сказав никому ни слова, пристроился в затылок Гущину. Коса вначале, не желая слушаться, делала произвольные движения, то срезая верхушки травы, то зарываясь в землю носком или пяткой; но шагов через сорок он приладил ловчее здоровую руку на ручке косовища, в то же время сноровисто прижимая конец его культяпкой, и с этого времени коса уже, как и у всех мужиков, будто независимо от него, делала отмах назад и вперед, ровной стенкой подрубая густую траву.

С этого времени он весь отдавался работе и думал только о том, чтобы верно и хорошо класть ряд и валки, совершенно забыв обо всех своих личных переживаниях и делах. Он чувствовал и знал, что при таком проявляемом духе товарищества, какой господствовал среди мужиков на покосе, и другие косцы тоже забывали о себе. «На пахоте тоже Усинцов кричал, что не хочет ломать хребет, а теперь-то и ему, и Кондрату, и Порфирию дороже всего работа». Они прошли несколько рядов; доходя до низины, где в осокоре тихонько звенел родник, мужики один за другим обмакивали в него косы, и, уперев их в носок, точили ловкими и быстрыми движениями, и снова становились на новый ряд, следом за идущим первым. Все это, как и прежде, совершалось без лишних слов и при полном согласии. Золотухин знал, что дух братства всегда, от века, жил в простом народе, но он часто заслонялся мелочами обид и житейской суетностью, но теперь дух этот очистился и проявлялся во всей своей глубине, красоте и силе. Такое великое братство и такой радостный труд

сам Золотухин видел впервые. Все косцы знали, что сработано было много, что вполне хватило бы для своего и малочисленного коммунского скота. Они не состязались друг перед другом, чтобы показать свое превосходство в работе, а, совсем наоборот, как бы срослись в один живой организм.

Ни тени надрыва не чувствовалось в людях; обычная хмурость, проистекавшая от бесконечных забот и неурядиц, исчезла с их лиц. Лицо Кондрата, всегда обветренное, изрезанное морщинами и жесткое, было освещено доброй и доверчивой улыбкой. Узкое, сильное, обросшее бородой лицо Кожушенкова, несмотря на свою строгость, не казалось замкнутым, как обычно. Кончая заход, Дымков весело покрякивал. И все, не сговариваясь, опускали косы в прозрачно-голубой ключ, вытирая лезвия травой и приговаривая: «То-то, брат, ладно, дельно», брались за бруски.

— Еще дней пять, и погорела б трава.

— Добрый выйдет скотинке корм.

— Нешто твоей лихо? — не без шутливости спросил Поршнев Анисим.

— Моей ли, или еще чьей — не в том главное. А главное, что робим на совесть!

«На совесть и не себе», — отметил Золотухин. Дымков из-под руки посмотрел на солнце, определяя время. Оно уже поднялось над старым дубом и жгло, раскаляя воздух тем опустошающим зноем, о котором в народе говорят как о божьем наказании.

— Что ж, Егорович, надо завтракать. В деревню тащиться нет смысла, далеко, мы, чай, тут переждем зной? — обратился он к Золотухину.

— Верно, — сказал Золотухин.

— Вот и шатер царский, дуб старый, — кивнул на него Кожушенков. — Дуб-то, поди, такой старый, что еще татар видел.

— Тащи, ребята, с телеги провизию, — вытирая черной и потной исподницей лицо, сказал подошедший последним Лукашкин.

Они поели припасенного харча и легли отдохнуть в тени дуба. Неумолчный бой кузнечиков будто раскалял и без того жаркий воздух; не чувствовалось ни малей-

шего дуновения. Листья молодых березин неподвижно, как будто на декорации, висели в воздухе. Все было, казалось, угнетено жарой, и только один этот дуб, раскрыв бесконечную свою крону, как бы обнимая корявыми руками пепельное небо, с четко вырезанными зелеными листьями возвышался великаном над охваченной зноем равниной.

Часам к пяти дня жара спала, и все разом поднялись, разобрали косы и стали на ряд. Кондрат стал передним и до самого захода солнца не уступил никому этого места. Как и до обеда, опять косцы проявили упорство, не вызывая никаких признаков неудовольствия, что слишком много работают, и не для себя, а для мира. Золотухин давно потерял счет времени и, несмотря на физическую тяжесть, связанную с тем, что он косил одной рукой, лишь подсобляя себе култышкой, не отстал от мужиков. На заходах на ряд он пристально следил за крепкими мужиками, особенно за Лукашкиным и Ведерниковым, и видел, что люди эти дорожили общим трудом и что это уже была их новая жизнь, которую они могли принять. «А ведь натурально было просто вас мордовать, наговорить всякой всячины, а вы-то вон какие!» — Он хотел высказать им похвалу вслух, но видел, что этого не нужно было делать. Все было так просто, естественно и братски, что самые красивые слова оказались бы ненужными. Они скосили всю низкую часть Тишкина луга и упорно поднимались к верху, где трава стояла реже. Золотухин не мог не порадоваться мужицкой сметливости, тому, что сперва была скошена самая трудная, густая часть луга. Он знал эту черту в народе — сделать трудную работу в первую очередь — и радовался, и гордился их умом, их душой и какой-то трудно выразимой словами удалью. Он знал, что о таких людях, как Илья Лукашкин и Ведерников, в деревне было мнение, что они только «себе гамтят», то есть ничем не подсобят ближнему и не думают об общей народной пользе; теперь же это несправедливое мнение о них рассыпалось в прах. Они сами прокляли бы себя, если бы сейчас, в разгар горячего общего труда, стали искать выгоду или ушли бы с поля домой, где у каждого было много работы. Только тут Золотухин узнал их до конца; раньше он знал о них только то, что было на поверхности, из чего складывалось общее мне-

ние о них, но теперь, работая с ними рука об руку, он узнал нечто неизмеримо огромное и прекрасное, что раскрылось только здесь наиболее сильно. В них произошел перелом, вернее, они раскрыли в себе все то хорошее и мудрое, что подспудно хранилось в них. «И ради одного этого стоило нам строить такую крестьянскую ячейку, как коммуна братства, которая у нас. Наши общие труды и муки натурально не пропали даром!» — думал он взволнованно, однако, чувствуя, что обрубленная рука его совсем онемела и отказывается действовать. И в это время Ведерников оглянулся на него, внимательно посмотрел ему в лицо и, неодобрительно вздохнув, с отставленной в сторону косой подошел к нему, неловко ступая обутыми в лапти ногами на валки.

— Иди покури, Максим Егорыч, а мы тут сами управимся, — мягко и душевно сказал он.

Волна благодарности к этому человеку «с темной душонкой», как говорил о нем Григорий Миронов, поднялась в сердце Золотухина.

— Хорошо. А вы сделайте один загон и кончайте. На сегодня хватит. — Золотухин, тяжко передвигая ногами, отошел с ряда, оглядываясь на поле и березняки. Травы тихо курились легким сквозным паром. Белый туман вставал к вечеру из низин, мягкая вуаль сумерек тихо ложилась на большое выкошенное место. «Этого я не ожидал, это же такая косьба, какую мужик не делал в одиночку, это же натуральный переворот в целой нашей жизни!» — удивленно подумал он. Мужики тем временем поднялись из низины и, освещенные вечерней зарей, четко проступили на фоне тонких белеющих берез. Оставался один малый выем на короткую работу; потные и разгоряченные, дойдя до конца ряда, мужики, как по команде, остановились. Дымков, Лукашкин и Ведерников, потряхивая косами и вынимая из карманов штанов бруски, пошли на выем, который решили кончить в этот день.

— Располагайтесь на ночевку, а мы доделаем одни, — сказал, обернувшись, Дымков.

С веселым говором и смехом все направились к телеге.

Из-за кустов подошла, волоча по земле одежину, Лушка.

— Ну что, пехота, чай, живы? — спросила она, обдавая их запахом машины.

— А, артиллерия! — сказал Кондрат, развязывая свой мешок с харчем и добродушно улыбаясь. — Вишь, дух-то, в ей дух-то не мужицкий вроде? — добавил он, подмигивая.

— Известно, брат, машина, — проговорил Кожушенков, распаливая костер около телеги. — Она у нас, вишь, машинист!

— Да, уж теперь держись, — засмеялся Лукашкин.

— Была, вишь ты, мужичка, а стала пролетарочка, — вставил Ведерников, с удовольствием прикуривая закрутку от уголька.

Лушка, тоже посмеиваясь, села к огню и стала ловко закатывать сучком в жар картошку.

— Теперь, чай, ей надо хозяина искать. Теперь она у нас не баба.

— Ты что ж, Лукерья, а? — спросил, подмигивая, Лукашкин. — Не снюхаемся ли? Ты баба покладистая, а? А то надоела старуха... — Но он не успел договорить, упал на спину, сбитый неожиданным и сильным ударом Лушки. Та навалилась на него и держала его за обе кисти руки с такой силой, что Илья не мог пошевелиться. Он был красный и сопел.

— Гляди, дурак, босой, чай, не ходи, — сказала она, навалясь еще больше на него. — Старый блудник. Будешь знать, греховодник, как честную бабу обижать. — Она, посмеиваясь, отпустила его.

— Что, брат, не сладил? — спросил Ведерников, развязывая сумку с хлебом и с квасом.

— Ишь ты, черт... силища-то... — бормотал несколько сконфуженный Лукашкин. — Бабы-то наши какие!

— Известное дело, не только могут щи варить и подолом тресть, — вставил Дымков, доставая свою мужицкую провизию.

— Я, может, жизни другой хочу! — вдруг с пронзительностью в голосе проговорила Лушка. — Я, может, другую ее почуяла. Да ведь и брехалась-то я от избытка сил, а не от зловредности. Я в детстве еще мечту берегла. Я какого-то, мужики, счастья себе особого

хотела. Любовь тоже особую себе придумывала. Ан не так вышло! Хотела науки пройтить, да в десять годочков определилась детей чужих нянчить. Качаю, бывало, люльку, гляжу на звезды, и нейдет сон ко мне. Душа ж чистая, навоз к ней не прилипает, — она своей мечтой живет. Ах, не знали и не знаете вы меня! — И, должно быть, устыдившись своего мимолетного прорвавшегося горячего чувства, отодвинулась в тень.

«Не знали мы ее, как до конца не знаем великого и прекрасного народа нашего, — думал над ее словами Золотухин. — Тут столько сил и широты души! В братстве, в любви, в нашей коллективности истинная душа этой бабы проступила. Как же этого я хотел и хочу ныне! Нет, недаром мы страдали и страдаем».

— На, слышь-ка, Лукерья, армяк мой, подстели, все теплее будет, — сказал Поршневой Ведерников.

— Спасибо, дядя Мирон, — поблагодарила Лушка. — А ты сам что ж?

— У меня курта толстая, обойдусь, девка, не горюй, — отозвался тот.

— Садитесь-ка, вечерять, вишь, пора, — сказал Кондрат Стрекалин, поглядевши на звезды и определяя время.

Все замолчали и, как работали в лугу, с тою же неторопливостью и основательностью стали вечерять.

V

При свете хорошо разгоревшегося костра они поужинали забеленной молоком картофельной похлебкой, поели тюри с квасом и стали прилаживаться спать. На фуру лег Анисим Кожушенков. Когда уже стелили траву, кто под раскидистым кустом боярышника, кто под самым дубом, кто под телегой, появился Макар Люшня. Старик плотоядно внюхивался в тот еще не развеявшийся запах от съестного, который стоял около фуры, но он, однако, заметил, что слишком перехитрил себя и опоздал к ужину. «Вот незадача, ребятки-то все, видать, слопали, ах ты, дурачина стоеросовая!» — сокрушался он про себя.

— Глядите-ка, работничек пожаловал! — сказал, смеясь, Лукашкин.

Люшня, подстраиваясь к общему настроению, тоже стелил себе под дубом.

— Я в плотники определен, я косить, к слову, не обязан, — огрызаясь, проговорил Макар.

— А чего приперся? — спросил, блестя черными цыганскими глазами, Усинцов, которого всегда кидало в дрожь при виде этого старика.

— А не по твой воле, родной мой. Я по закону живу, свою работку делаю, и не выставляй рыло, понял! Ишь, насобачился, пролетарьят! А не ты нонче курил с моего кисета? Не ты полкисета сграбастал, а? Чо лупаешь глазами?

— Это когда же я у тебя, к примеру, брал? — изумился Усинцов.

— Но-но, не озорничай, Хведька, я те, брат, гляди, я, может, еще человек не опознанный, а завтра... гм... Брал-таки — память отшибло. Ты, брат, того... ты не мухроться. Говорю, брал, — стало, брал.

Поесть-то, а? Маненько, ребятки... того? А? Самую малую долю не осталось, часом, а? — спросил Люшня.

— Возьми хлеба и сала, — сказал Дымков, протягивая ему узелок в цветастой тряпочке.

— То-то ты залучше других, я всегда, Игнат, в миру хвалил тебя, — уписывая хлеб с салом, говорил тем временем Люшня.

— Что ж, тебя где покормят, там и хорошие люди, — засмеялся Стрекалин.

— Видал, — кому-то подмигивая и раскатываясь смешком, заметил в ответ Люшня, — он думаеть, Кондрат, будток счастливее меня. Эхма, бабушка-то она, брат, надвое сказала. — Он доел сало и хлеб, пересыпав в ладонь крошки и тоже отправив их в свой широко раскрытый зубатый рот, попросил затем: — Стало, закурить ли нет у кого, а? Я кисет забыл. А, братья?

— Да нет, брат, ложись уж без курева, — сказал Золотухин.

— Жалко? Ну-ну, братья. — Он лег, завернулся в свою куртку, подогнул ноги и тоненько засвистел, за-

сопел. Засыпая, подумал: «Я-то лучше их знаю, как жить».

Ведерников поглядел на восток, где уже чернела непроницаемая тьма, и, перекрестившись на ярко блестевшие звезды и с сознанием хорошо прожитого дня, устроился под дубом.

— Бог дал день, дал и пищу, так-то, — проговорил он, почесывая грудь под нательной рубахой.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох, — сказал Лукашкин, лежавший с ним рядом и морщившийся от потного зловония, исходившего от онучей Кондрата, развешанных на кусте.

Несмотря на позднее время, на то, что все уже улеглись и сильно устали за тяжелый рабочий день, спать никто не хотел, и должен был произойти какой-то разговор. Усинцов, должно быть, хотел позлить Люшню — он толкнул его в бок своим черным пудовым кулаком и, блестя в темноте белками глаз, сказал ему:

— Слышь, Макар, иди кулеш шамать.

Люшня подогнул еще ближе свои ноги в крепких сапогах (на них обратили внимание мужики, когда он подошел к ним, так как никогда на его ногах не видели таких сапог), так что был похож на уютно устроившуюся собачку, и огрызнулся:

— Иди к черту! Нашелся востряк. Видал я таких-то.

Должно быть, личность этого ленивого и не уважаемого ими человека совершенно не интересовала мужиков. Работа была главной заповедью их жизни, и всякая леность, распущенность, обжорство и пьянство вызывали у них чувство презрительности, и только.

— А ить тут, в версте отсюда, в Темном логу, в овраге, ежели вы помните, бандиты Ивана Дроздова убили. Было это дело в восемнадцатом году, — произнес Ведерников, глядя сквозь живописные сплетающиеся ветви старого дуба на яркую, ярче других на небе, звезду; хрустально-ледяной свет ее, возбуждая его, немного резал ему глаза.

— Было дело, да неизвестно в подробностях, — сказал Кожушенков, закуривая.

— А я с ним, с этим Дроздовым, перед империалистической молол раз хлеб на титковской мельнице, — приподнимаясь на локте, возбуждаемый сильным чувством, которое навеяло это воспоминание о почти уже

исчезнувшем из его памяти Дроздове, проговорил Левцов.

Ведерников присматривался к нему, но свет угасающего костра не давал ему возможности рассмотреть выражение лица Левцова.

— За что ж оне убили-то? — спросил Усинцов.

— За то, что хорошему человеку, председателю волостного Совета, дал возможность бежать и краденое добро выдал.

— Это Щурину он помог, что ли?

— Ну да, Щурину, крепкий был, стойкий, словом, большевик, бандиты его схватили и все выпытывали у него про какие-то казенные, стало быть, деньги. Ну а Щурин — кремень, ни звука, молчал; оне его заперли в бане и стерегли, а Иван подпоил караульщика, бандита, и выпустил. Ворованное добро — его порядочно было — те складывали у одинокой старухи, которая жила в хуторе, — Дроздов тоже выглядел и выдал властям.

— Так там главарем банды, кажись, его брат был родной? — спросил Дымков, постеливший себе по другую сторону дуба.

— Верно, брат Фрол. В том-то и дело, что братья оне родные были. Фрол старшой был. Я их обоих хорошо знал. Еще ребенком он дуже ласковым рос, Фрол, тихим таким, ягненочком. Все на него налюбоваться не могли, на Фрола, говоря по писаному, мечтательный был хлопчик. Куды там какую живность убить — майского жука шлепнуть боялся. Потом, помню, годов тридцати пяти, встрел я его: такой стал, что ни приведи господь, шкуру с ближнего спустить мог. «Обучил меня один, сука, жизнь с изнанки щупать, и я-то знаю, как жить», — сказал Фрол тогда. А перед тем он гдей-то потаскался в наймах, ну и сошелся коротко с золотолюбцем, с каким-то хозяином лавчонки. Тот, понятно, прописал ему линию: гамти золото, невзирая на совесть. Окромя золота, мол, ничего нет.

И такой он, Фрол, стал гад, что батька родной от него отказался. Когда началась революция, ушел в бандитство. Вы знаете, что ребятки-то эти порядочно нашерстили в округе.

— Да уж, сволочи, покрали, — сказал Кожушенков, надтреснуто кашляя.

— Погуляли, да конец, однако, нашли, — продолжал дальше Ведерников. — Всему конец выходит, как ни мудри. Иван сработал чисто: Щурина выпустил и грабленое добро у старухи выдал. Фрол дал клятву убить Ивана. Однако ж два слова надо сказать об самом Иване. Был он, как в народе говорят: ни черту кочерга, ни ведьме костыль — неказист с виду и к тому хромой. Всякое зубоскальство — а на это дело народ хлебом не корми, а почесать язык дай — на его счет за милую душу. Каких только ему кличек не давали! Семен Игнатов, председатель комбеда, не доверял: черный, мол, мужик, оголтелый собственник, зарылся в огороде. Плевал, дескать, на общественность. Братья как-то встретились. Иван ему сказал: «Фрол, вернись честно жить, не сделаешь — я братство превзойду, выдам тебя». — «А я тебя убью!» — тот ему. «Тогда тебя совесть в гроб вгонит». — «Плевать на нее, пикни только!» — И с тем разошлись. Все это мне Иванова сноха рассказала потом. Сам Фрол не стрелял, по его приказу бандиты убили. Ну, понятное дело, доложили ему: что, мол, брат твой Иван уже на том свете теперь. Фрол сказал им: «туда и дорога», и велел дать водки всем, и пил, как в бочку, целую неделю, а как опомнился, так стал сам белый-белый, белей снега, и руки у него трясутся от какого-то страха. «Мне, — говорит, — Иван приснился: «Холодно, — говорит, — брат, мне босому лежать, головорезы-то твои с меня сапоги сняли. Ты бы, брат, обул меня». Поворотился к своим: «Кто снял Ивановы сапоги?» Один дружок посунулся: «Ну я, а что?» — «Ах ты, подлец!» — говорит. И не успел тот моргнуть глазами, как Фрол шлепнул его из маузера — наповал. А сам трясется как собачий хвост, ужас, должно, схватил его: теперь-то не одна братнина душа — и этого тоже на совести! А до них, знать, и еще были души. Вроде он с тех пор помутился рассудком. И стал говорить, что каждую ночь является ему во сне брат Иван и все жалобится, что холодно лежать босому, что зря сняли обувку. Даже молиться стал: «Господи, — говорит, — сыми с сердца камень, покарай ты меня!» Как говорили люди, стал он бояться не пули, — надо сказать по чести, храбрости он был отменной, — страшился самого белого дня. Начал он сохнуть, чернеть и до того дошел, что как бы в живой

труп обратился. Одне живые мощи остались от человека — вся краса высохла. Вот как бывает-то в жизни.

— Какая же дальше-то евоная судьба? Фрола? — спросил Кондрат, неожиданно разволновавшийся услышанной историей.

— Известно, какая. Банду выследили, разбили, а сам Фрол, отстреливаясь, ушел-таки.

— Ловок, шельма, — сказал бесстрастным голосом Левцов.

— От себя он никак не мог далеко уйти, — заметил Поршнев, жуя губами и любуясь на тонкий синий месяц, который вышел только что из-под тучи на чистую звездную равнину неба и теперь вольно куда-то бежал по ней. — Что кому на роду написано, то и будеть.

— Уйтить-то ему далеко можно было. Да, видать, сухотка так заела, что вовсе потерял лик человеческий. Года полтора прятался на хуторах у знакомых мужиков под Волынью, а потом вышел. Сам явился в Чеку и сказал: «Вяжите, — говорит, — меня. Карайте по всей строгости. Мне брат снится в исподнем белье, босой, и все говорит, холодно ему».

— Фрол этот не только грабил — у него идейность была, — заметил почти все время молчавший Левцов с неясным оттенком в голосе.

— Какая там идейность, не знаю, а брата, сволочь, сгубил! — сказал Усинцов.

«Нет, не знаю я тебя до сих пор, Левцов! Хоть и живем рядом мы», — подумал о нем Золотухин.

— Что ж, припечатали небось бандюге? — спросил Кожушенков.

— А по-твоему что, помиловать надо было? — тоже спросил и Ведерников.

— Какой! Да для него душевная мука куда страшнее, поди?

— И не надоест людям гадить, лгать и губить товарища, а потом покаяние просить, — сказал Лукашкин.

— Покаявшихся надо прощать; помраченная душа, известно, может прозреть, — в установившейся тишине заметил Дымков. — Все детками рождаются для счастья.

— Такое твое понятие для народа — вредное, — ответил ему не сразу Левцов.

— Как ты сразу, Илья, от имени-то народа! — удивился Золотухин.

— Как разумею.

Мужики начали поправлять под собой траву и с сознанием, что день прожит хорошо, укладывались спать. Один только Усинцов некоторое время сидел неподвижно под дубом и в свете звезд и месяца, и на фоне светящегося неба казался каким-то могучим и необыкновенным изваянием.

И стало все тихо, успокоенно и умиротворенно в мире; теплая летняя ночь стояла над ними, охраняя их сон. Коммунские лошади, пасшиеся в овраге, тоже успокоились и легли, чтобы уснуть и набраться сил для завтрашнего рабочего дня; медные гривы их казались сказочными. Теперь под древним дубом, под телегой и под кустом боярышника слышалось одно могучее слитное дыхание. Золотухин тоже уснул, но какое-то чувство работало, не переставая, в его душе. Он очнулся от сна и изумленно огляделся. Должно быть, занималось раннее-раннее утро; все травы и листья запотели и были недвижны, но легкий тихий ветерок уже пролетал над спящею землею. Вся земля, сколько ее видел с этого места Золотухин, была как бы облита голубым сиянием. Зари еще не было, но звезды и месяц уже сместились со своих мест, на восточном склоне уже дрожали и смутно перемещались золотящиеся отблески; над оврагом вставал белый предутренний туман; внизу, невидимый, тихо, но звучно говорил что-то свое источник. Золотухин поднялся, вышел из-под тени дуба и стал за лозовым кустом во влажной от росы траве. Он боялся сдвинуться с места, увидев, что Ведерников, стараясь не издать ни единого звука, тихо и осторожно, чтобы не разбудить, переходил от одного мужика к другому и, как отец на детях, поправлял одежину на них. Удостоверясь, что все накрыты, он внимательно поглядел на месяц и на переместившиеся звезды и, поняв, что ложиться уже некогда, отошел поодаль к пню, вбил в него бабку, и тонкий звук молота по стали разнесся по поляне; он отбивал косы мужиков. Это был тот самый Ведерников, тот мужик, который, по мнению Гриш-

ки Миронова, Замялова и кое-кого из деревенских, был «укоренелым собственником».

«Такого Ведерникова я еще вчера не знал, — подумал Золотухин. — Еще вчера могли его ругать как «укоренелого собственника», а сегодня он вот какой! Мужики, понятно, не переродились, оне все те же, только почуяли свою в коллективности силу и стали больше любить друг друга и саму жизнь. — И он вспомнил собрание при организации коммуны и непримиримость этого же Ведерникова. — Стало быть, натурально надо было нам страдать и бедствовать, чтобы мужики сами увидели в себе прекрасных людей! Работка-то наша, видать, хоть и малая и незаметная, а даром не пройдет, и в людях душу она раскрыла! Завтра оне сотворят не такое, еще силы их не разбужены до конца, еще их мудрость и доброта изумят не раз. Саму гордую Европу изумят. Только надо любить их, верить в них и открывать им братство их — и они сделают чудеса. Илья и Мирон Ведерников, может, еще приглядываются к нашей коллективной ячейке, но косили-то как на себя!» — отметил он. Малиновая заря, озаряя темный восточный горизонт, явственно разливалась в небе. В воздухе почувствовалось дуновение. Мужики, как по команде, один за другим, стали подниматься с земли, чтобы начать свой новый трудовой день.

VI

Разными дорогами проходили мимо Вострякова люди. В пятьдесят лет он был осторожен и нетороплив; часто говорил: «Не то хорошо яблоко, которое румяно, — то хорошо, которое нужно к столу».

Во имя чего ест человек хлеб и ходит по земле — вот на что мерил Востряков ныне всех вместе и каждого в отдельности. Он прощал слабости личные, но не прощал лжи в главном деле. Порожденный низами, он всегда гордился этим. Низы эти как бы вдохнули в него силу, которую он теперь проявлял. Но сами те низы в его представлении ныне были точно придатком к слишком громадному, к революции. Она подняла к жизни, к деятельности самого, этого пречистенского мужика, оторвала его от плуга и бросила на гребень волны, и о нем говорили: «Тихон не солжет». И это было так.

Не ложь или корыстолюбие вели его по трудным дорогам гражданской войны, не личные выгоды и награды дразнили его воображение — не это он жаждал получить за труды свои и раны. «Невольному воля» — вот та вечная и, как он считал, единственная истина, которая постоянно жила в нем и вела вперед его. Во имя свободы человека он рисковал и своей жизнью, не жалея ее и не думая о ней. Он ревниво и пристально следил за жизнью, ему казалось, что есть люди, которые уже не думают о революции, что они взяли от нее все, что им нужно было, и им стало тепло и уютно жить, то есть достигли того, чего искали. Востряков пытался понять будущее, ему хотелось знать, что все-таки будет там? Оно было и туманное и далекое... Слишком хорошо он знал, что все тленно, все краски и цветы блекнут; в гармонии полного братства иным людям уже не будет и интереса до этих мелочей человеческих, кто стоял у истоков коммун, до того, что тот-то и тот-то был вспыльчив, груб, желчен, коварен с товарищами или же мягок, добр, кроток и открыт, — истории до этого дела нет. История выше, она трезвый судья. Как нет дела пчеле до того, каким образом сосет сок земли полевой цветок: ей важно найти желаемое, ту прозрачную каплю нектара, вечной свежести, во имя чего она без устали трудится на своем житейском поле и живет, — точно так же, в той же степени нет дела истории до человеческих мелочей. Ей важен результат, но не характер происходящего, думал он.

Позапрошлый год был полон важных событий для него. Он их не мог предвидеть, но он предчувствовал их. Те события составляли логическое завершение в бесконечных сцеплениях обстоятельств, которые — как это бывает всегда — после крупных трудов и заметных достижений как бы ставят деятеля перед новым испытанием. Деятель, находящийся на высоте славы и уже вошедший прочно в этот мир своей жизни, должен уступить место другому, чтобы он шел по проложенному им следу. Меньше года назад секретаря губкома Вострякова неожиданно вызвали в Москву. По тому, как в телеграмме было написано: «Очень важно и срочно», он понял, что его будут, видимо, в чем-то упрекать. «Ну что ж! — сказал он себе и поехал. И, приехав в Москву, увидев эти знаменитые соборы и храмы, голодных людей

на улицах, эти заколоченные лавки бывших мещан, голодные детские глаза, и он понял, что не ошибся. Не ошибся именно в том, что крестьянство сейчас решало очень многое. К секретарю ЦК партии он явился к назначенному сроку. С этим человеком раньше Востряков виделся всего два раза. Ему было лет сорок пять, он был худощав, жилист, но не плох здоровьем, а скорее закален превратностями судьбы, так много выпадавшими на опасном пути революционера. Только морщины у рта и у глаз подчеркивали прошлые невзгоды, а общее выражение его осунувшегося лица, в особенности блеск темных и удлиненных и даже кажущихся наивными глаз говорили о том, что живет он нынешним днем и еще больше — будущим. При появлении Вострякова другой человек, среднего роста, со скуластым, сильно обветренным лицом, лет сорока, сидевший сбоку стола, заметно смутился или же ему стало отчего-то неловко. «Вот ты меня едешь менять, ты!» — сказал себе Востряков, определяя по той таинственной связи этого смущения, которое появилось на обоих лицах, что они оба находились в затруднительном положении.

Они поздоровались и представились.

— Очень рад, вон ты какой! — сказал секретарь ЦК, очевидно этим давая понять Вострякову, что он не ошибся в своем предположении увидеть именно таким его. — В здоровом теле невозможен нездоровый дух.

Востряков спокойно, и молча, и вопросительно переводил взгляд с одного на другого.

— Товарищ Грибцов сейчас поедет вместе с вами и будет рекомендован пленуму на должность секретаря губкома. А ваши мысли по осуществлению аграрной революции, я думаю, лучше всего приложатся в уезде, снизу. И именно в самом бедном, о чем вы вместе решите у себя в губернии. — И, произнеся это, секретарь ЦК с прежним спокойным светом в глазах вышел и пожал почему-то локоть Вострякова.

Востряков почти неуловимым движением плеча отстранил его руку, не принимая этого жеста.

— Здесь не должно быть личной обиды, — добавил секретарь ЦК.

— Я в революции не искал приятельских рюмок!

— Мы знаем и ценим.

— Мы выедем сегодня? — спросил Грибцов, пряча в нагрудный карман листок бумаги.

— Езжайте один, дорога известная. Я задержусь на день в Москве.

Востряков, едва выйдя из приемной, столкнулся с Троцким, тот вздохнул и покачал головой, приговаривая:

— Как не ценят людей, как не ценят! Я все уже знаю...

Они расстались сдержанно.

...Востряков, тихо и мягко ступая, ходил сейчас по кабинету. За окнами дома стояла светлая летняя ночь, и звезды были такими же, что и десять лет назад, когда он их видел сквозь ржавые прутья тюремной камеры.

Изредка он, покряхтывая, останавливался посередине кабинета, внимательно смотрел в окно, и вновь размеренные и тяжелые шаги звучали в полуночном и спящем доме. Он один бодрствовал, не спал, мучился, в сотый раз перебирая мысленно пороки и достоинства тех, кто был рядом с ним, кого он поднял к новой жизни и кто держал на этой волне его самого.

VII

Замялов с выводами не торопился. Еще весной бюро укома обязало его подготовить обоснованные материалы, касающиеся второй лошади и второй коровы в крестьянском дворе. Полтора месяца он мотался по деревням и селам, аккуратно записывал в тетрадку двухлошадные семьи и разные мелочи их быта и жизни. Материал распух до нескольких тетрадей. Месяц назад он написал и напечатал в губернской газете «Рабочий путь» небольшую статью: «Друг или враг?» — все о той же злополучной второй лошади и второй корове. «В условиях нашей губернии вторая лошадь — явный признак кулацкого уклада. Для казацкой или украинской — там середняк, а у нас — кулак форменный».

Замялов знал: Востряков побаивался второй лошади, боялся оставить ее в хозяйском дворе, а также и тронуть тоже боялся. Он все отодвигал на дальние сроки какое бы то ни было решение по этому вопросу.

Он глазами умного и многоопытного человека пристально следил за деревней. За последние недели, с самой посевной, он тоже много и тихо ездил, словно посторонний, но ничего не упускал из виду. Вчера он вернулся из коммуны «Рассвет», удрученный и злой, до ночи ходил по кабинету, пытаясь понять, какая же сила тормозит движение, так хорошо начатое и задуманное в Бражинской волости? А сила эта была: вторая лошадь и корова, и с ними что-то требовалось решать.

Секретарша в приемной Вострякова, как всегда при виде Замялова, вежливо кивнула на обитую дверь секретаря.

— Он вас ждет.

Замялов, один во всем укоме умевший тихо, неслышно ходить, вошел в кабинет, словно не дотрагиваясь до пола подошвами ботинок.

Востряков сейчас же живо повернул к нему лицо от окна и посмотрел, словно заново видя этого человека, казалось до мелочей изученного.

— А ты как считал вторую лошадь, товарищ Замялов? Подушно?

— Дела не меняет: если даже восемь душ в семье, двухлошадника палкой в коммуну не загонишь, — сказал Замялов.

— Товарищ Замялов, опасно ведь?..

— Нам не привыкать по краю ходить.

И Востряков вдруг решился, тень какая-то скользнула по его лицу, и оно отвердело, и твердым голосом он сказал:

— Я теперь еду в Бражинский сельсовет к товарищу Миронову. Заготавливай проект решения бюро. Факты, понимаешь, факты!

— Их, фактов, великое множество, Тихон Федосеевич.

Вострякова ныне что-то тянуло к Григорию. Опереться, что ли, не на кого было? Он не мог себе ответить на это желание свое иметь под рукой бражинского председателя сельсовета. Но ему почему-то хотелось именно оттуда начать, с малой стороны.

Часа через два хорошего хода выскочили к бражинским полям. Сенокосом пахло и медом; горячий ветер проносился над равниной. Сдвинув на лоб выгоревший картуз, Востряков ничего не слышал, не видел, кроме

серо промереженного дорожного наката и чахлой травки. Замелькали плетни, овины, соломенные крыши — они въехали в Бражино.

Застегивая на ходу пуговицу на темной рубахе, выбежал на крыльцо Григорий: серого, в крупных яблоках жеребца кучер остановил на обочине дороги.

Востряков не стал вылезать из рессорной тележки, поздоровавшись, коротко приказал:

— Садись, посмотрим твою деревню.

Пока Григорий сбегал обратно в дом за какой-то бумагой, Востряков огляделся и увидел в глубине двора, около пыльного палисадника, негустого, затененного пожухлыми от жары ветками акаций, несколько крестьян, которые с уважением и выражением почтительности на лицах смотрели на него.

Когда проезжали мимо теснящихся крестьян, он снял защитный выгоревший картуз, помахал им и низко, дважды поклонился толпившимся людям. Бабы провожали молчаливыми взглядами запылившую тележку.

— Почему стоит здесь народ, товарищ Миронов? — спросил Востряков уже за последней бражинской хатой.

Тоном почтительным и полным внимания по отношению к начальству Григорий рассказывал о нужде, о том, что все идут за помощью.

— Одному делиться надо, другому крыть хату, третьему искать гвоздей, мало ли?

Григорию почему-то казалось: эта встреча с секретарем укома в сельсовете, которым он руководит, должна сыграть какую-то новую для него роль.

Востряков спокойно поглядывал на перелесок: бежал светленький молодой березняк, изредка необычно яркозеленые дубы подступали к самой дороге. Было сухо и душно. Небо кутала рудая сушь, чуть-чуть заметное глазу, на севере пенилось лебяжьим пухом белое облако. Востряков расстегнул тесный ворот суконной рубахи, подернутые сонной туманностью глаза его вдруг ожили и засветились.

— Чья рожь?

— Лукашовской коммуны.

— Хлеб гибнет! — вздохнул он и показал рукой на грудь, на сердце. — Вот где болит, Григорий!

Востряков потер щеки, не отрывая тяжелого взгляда от погибающего хлеба, закуривая, спросил:

— Скажи мне: как быть? Со второй лошадью, товарищ Миронов? И коровой?

— Давно пора передать коммунам. Пора нам бросить им в зубы заглядывать!

— Да... да... люди-то, Григорий, наши, а? Делить ведь трудно; служим-то им!

Миронов, пораженный, заметил, что Востряков другим сделался на мгновение.

— Позора боюсь, а еще по-стариковски скажу: людского суда. Я же, Гриша, не безродный! — И та рука его, которая была мягкой и, казалось, безвольной, которой он дотрагивался до плеча Миронова, опять налилась силой. — Ну что ж... назад хода нет, нет и не будет!.. Сколько тебе лет-то?

— Тридцатый.

— В силе, значит?

— Да не жалуюсь.

— Куда бы направить ее, силу? Тесновато тебе в сельсовете...

Григорий, выдерживая такт, молчал.

В Лукашовку они въехали в середине дня. За час оповестили всех двухлошадных, объявили, чтобы немедленно коней и коров вели бы на коммунский двор. И люди, не сговариваясь, повалили к площади на митинг, отовсюду кричали:

— Вторую лошадь отымают!

— Самый главный приехал!

Спустя минут пятнадцать следом за Востряковым на площади появились трое активистов. Пожилой, с усами человек, назначенный старшим, угрюмо хмурясь, не в такт занося руки, направился к секретарю укома. Востряков дал ему список двухлошадников. Еще более хмурясь, отчего грубое, изрезанное морщинами лицо его как бы окаменело, тот просмотрел список и, возвращая его Вострякову, не глядя на него, сказал:

— Мне Егоров, товарищ Востряков, не давал таких указаний. Мне велено наблюдать... за порядком.

Востряков взял его за руку, очевидно желая, чтобы он встряхнулся и опомнился, что такое говорить не следовало.

— Иди в тот двор, во имя уничтожения рабства иди!

Активист отвернулся, скрывая выражение своего лица, и пошел.

Активисты вошли в хлев Ведерникова, отвязали корову рыжей масти, гнедого коня, повели. Старший, продолжая хмуриться и страдать духовно, обернулся к опешившему хозяину.

— Я выполняю приказ, — сказал он тихо и мягко, оправдываясь.

Другой, молоденький, румяный, с цыплячьим пушком, решительно направился к соседнему двору Лукашкина и сейчас же трусцой выбежал обратно из хлева, крикнул с недоумением:

— Товарищ Сергеев, вторую лошадь увели!

Пересиливая дрожь в крупном теле, Катерина нашла силы улыбнуться, спросить:

— А ты, касатик, в хлев-то вторую ставил?

Активисты стали совещаться: брать или не брать последнюю старую клячу? Сергеев, ругаясь сквозь зубы неизвестно на кого, послал на площадь к Вострякову молоденького, тот быстро вернулся — лошадь эту велено было оставить.

Вели уже на площадь лошадей и коров Мироновы, Бабинцевы, Дымковы, пятеро стариков из-за левобережья. У моста мужики с левобережья стали хватать друг друга за рубахи; молоденький, шедший следом за Андреем Бабинцевым, который вел двух пестрых, с отвислым выменем коров, суетливо вытащил черно поблескивающий наган, крикнул заикаясь:

— Вы что же, под расстрел хо-о-чете? А? Про-очь отойди! Коров пожа-а-лели? А головы не жа-алко?

Быстро обернувшись к нему страшным лицом, Сергеев рванул наган из руки, положил себе в карман, сказал жестко:

— Убери, сопляк! Ты что, на фронте? Молчать!

Над площадью разносился взволнованный голос Вострякова:

— Другого выхода для коммунаров, для бедняков нет. Вы видели: люди пахали на себе, люди запрягались в хомут, а вам жалко богатеев, мироедов? Мы создаем волю для всех. Но, товарищи крестьяне, какую волю? Ради кого нынешняя мера? Ради Матрен, Иванов, Сидоров — неимущих в прошлой жизни! — вот ради кого она! Смутьянам не верьте никоим образом. Мы их

давили и давить будем, и пойдем к светлой заре, которую уже видим в нашем уезде. Она, братья, занялась в Бражинской волости, и завтра уже мы станем жить под ее покровом. А у вас коммуна еле дышит, позорит нас каждочасно и каждодневно. Золотухин заставил вас, бедняков, пахать в хомуте заместо лошадей. Вторая его ошибка — пожалел двухлошадников! Он, выходит, такой добряк, ваш председатель, что пожалел кровососов, а вас, бедняков, которые не вылезают из нужды, нет!

Востряков замолчал, он умел вовремя остановиться, чтобы оглянуться, собрать силу и с новой же ударить. Оцепенев, стояли люди, коммунары и единоличники.

Золотухин чувствовал знакомый ему по фронту холодок на спине, твердо решив: «Середняков в обиду не дам, а кулачье Бабинцевых потрясем — тех натурально!»

VIII

На притихшей площади Золотухин сказал:

— Мы коней и коров середняцких не возьмем, окромя кулацких — Бабинцевых братьев. Эти пущай не надеются.

Лушка Поршнева удивленно спросила:

— И опять пахать на себе?

— Даже в том случае.

— Зиму и лето я безвылазно гнил, а вы — схапать? Не дам! — надрывно закричал Ведерников. — Наживал! Себе отказывал, маслица не видел, картох забелишь — и вся еда... Кому свое добро готовил? Ночами в хлев к кобыле бегал — на ней пот мой. Не трожь! Им, побирушкам, не дам, не дам!

— Добра нашего жду-уть! — завопил Сергей Бабинцев.

— Плюю на твоих коров вместях с тобой. Нет милости кулачью! — метал слова Кондрат, поспевая оборачиваться то в одну сторону, к единоличникам, то в другую, к коммунарам. — Наши свои не хуже.

— Хватайте Бабинцевых и Мирона! Вяжите их, — подлил масла в огонь Люшня. — А чаво Максим отказывается? Бери ихний скот! Все возьмем.

— Стойте! — послышался голос Марфы, и она, могучая и тяжелая в своей зеленоватой паневе и со сбитым на затылок платком, повернулась лицом к Вострякову; заговорила со спокойной уверенностью, насмешливо щурясь, в упор рассматривая его. — А что ты тут заявился командовать? Мы второго коня и вторую корову от середняцких не возьмем, Максим верно обрисовал — от скота Бабинцевых отказываться не должны! — Марфа, поправив платок, подобрав под него растрепавшиеся волосы, замолчала и прислонилась к амбарному косяку.

И коммунары, и единоличники, словно пристыженные, стояли некоторое время молча.

В тяжелом молчании опять заговорил Востряков:

— Был такой утопический социализм. Ни богатых, ни бедных. Иллюзия и обман это трудового люда! Самый подлый обман, какой есть на земле. И те же утописты нам опять говорят о вживании двухлошадника в вашу трудовую семью: глядите, мол, он тоже труженик! И они все просят, чтобы мы ждали, когда он приведет свою вторую. А нам надо торопиться, чтобы дать пример мировому классу трудовых крестьян, которые, живя в невежестве, ждут наших скорых побед. Теперь имеется надобность объяснить, какой кулак и какой середняк. Вывод: две коровы и два коня, к тому же другая живность да инвентарь на небольшую семью — это вполне кулачья прослойка. Три или, скажем, четыре человека одной семьи имеют, на худой случай, пятнадцать литров молока в сутки да еще свинину, кур да барахло в сундуках — и находятся люди, которые плачут, когда мы таких зовем кулачьей прослойкой! Во имя всеобщей справедливости и мирового братства, во имя революции и лучшей доли мужиков — вторую корову и вторую лошадь мы реквизируем!

Опять он подчинил и подавил на миг волю людей, опять заметно было, что наступило колебание среди коммунаров и бедняков.

— Плохо, люди, — по-стариковски кряхтя и пригибая от усталости и забот огромную обнаженную белую голову, сказал Востряков, и все увидели у него пересекшую правое ухо и шею припухшую борозду — след каленого железа, вынесенный с каторги. — Разъединенные вы, а жить надо! А без понятия, слепым,

трудно, люди, — слепых бьют, как собак, это верно.

— Али вы без палки? — сказал Андрей Бабинцев, но его оттерли и говорить ему не дали.

Анисим Поршнев, кривой старик, теребя картуз и глядя в землю, заметил:

— Мне в семнацатом году как раз новая наша власть помещицкую корову дала. А теперь от нее первотелка и вы хочете взять? Как же выходит? Одна вы власть ай не одна?

Очевидно, замечание Анисима привело в некоторое замешательство Вострякова, и оно же как бы развязало скованность крестьян, и тогда послышались выкрики:

— Непонятно это — первоотельную брать!

— Надо, мужики, встребовать сюды самого старшего.

— Верно: сообчить немедля в губерню, в самый комитет партии. Там, видно, ничего не знают про это. Нам товарищ председатель Совдепа все это по-другому объяснял — Советская власть против отымания другой коровы!

Золотухин отыскал глазами Митьку, отойдя с ним шагов на десять от толпы, с запалыми щеками, с криво застегнутым воротом гимнастерки, приказал:

— Обратай коня и немедля гони в Покровское, ищи там товарища Матвеева. Передай, что у нас буза. Нету в Покровском — ищи на хуторах, ну! Он где-то здесь.

— Ага, все понял! Все понял, все сделаю, Максим! — сказал Митька, кидаясь со всех ног в проулок.

Востряков вновь заговорил:

— На всякого не угодишь. Мы к нашей заветной справедливости скрозь штыки шли, мы их презрели, и нам они не страшны и впредь, штыки. Черной сатане — единоличеству — мы бросили вызов коммунской жизни. Мы придем к торжеству социализма на базе диктатуры и твердой дисциплины уже через год! Хватит митингов, братья, митинги у нас в России маленько подзатянулись. Пора нам их прикончить! Наша Советская власть как раз за твердость и порядок. Равенство так равенство — вот наша цель! Другой меры нет и другой не ждите.

— Мы вроде у себя дома, а не в гостях, — спокойно, сразу после Вострякова, сказал Золотухин и продолжал: — Тут народ верно говорил. Добавить к тому

мне нечего: оне все взвесили. Все! Ни коровы, ни второй лошади мы брать не собираемся. Мы их возьмем, ежели единоличники добровольно напросются в коммуну, и такой день придет, должен! Без добровольности, товарищи, мы ваш скот брать не станем. Ты, дядька Мирон, и ты, Тимофей Гордеевич, и все остальные середняки-единоличники не сумлевайтесь. Натурально другой вопрос — коровы и лошади братьев Бабинцевых. У того и у другого, у подлинных грабителей — кулаков, по три коня и четыре коровы. От имени беднейшей массы и всей Советской власти, как защитницы неимущих, предлагаю по одной лошади и по две коровы изъять в пользу коммуны «Власть труда».

Дальше. Про тот самый, товарищ Востряков, утопический социализм. Ни Ленин, ни партия РКП(б) тот утопизм и в помыслах не думают вводить.

И, словно какая-то сила, расковавшая людей, сила, значения которой не понимал сейчас Востряков, как зорко ни присматривался, стихийно охватила крестьян. На глазах его произошел переворот — от упорной защиты второй коровы к такому же упорному желанию забрать третью и четвертую Бабинцевых. Люди сперва робко, оглядываясь, стыдясь и боясь чего-то, но все увереннней высовывали над головами руки.

После этого Золотухин добавил:

— Тут совесть наша перед будущим чистая! — И повернулся к Вострякову. — Как бы вы, товарищ секретарь, ни доказывали, а дело куда как не в ту сторону выгинает. У вас на всякого человека свой вывод. Чтобы человек без вашего приказу ни одного шагу не изделал, а как изделает, так вы его диктатом бьете и тут же от имени революции. Не один вы ее делали — вон у нас в деревне в кажном дворе лежит желтая похоронная бумажка за божницей. Человек сгублен за революцию, а бумажка имеется. Вы не хотите доверять нам, нашему народному решению? А я малость Ленина читал. — Он повернулся сперва к коммунарам, потом к единоличникам: — Товарищ Ленин говорит о крестьянах, в особенности о середняке, чтоб никакого насилия, тем более в хозяйственной политике, не было.

— Но этот скот кулацкий! Этот скот мы возьмем, — Востряков аккуратно и глубоко, до бровей, надел на огромную голову полотняный картуз.

Одиннадцать коней и пятнадцать коров выгнали на большак в сторону Покровской коммуны.

Было удушающе жарко. Пыль, поднятую на дороге, несло на деревню плотной бурой тучей.

За Длинной верстой на развилке дорог они увидели другой, двигавшийся им навстречу гурт.

Проселочной дорогой, шибкой рысью, наперерез гурту, двигалось спешно четверо верхоконных. «Кто это? — подумал озабоченно Востряков, цепко всматриваясь, и вскоре угадал: — Матвеев!»

Всадники подъехали к гурту, и тот остановился. Тяжелое чувство охватило Вострякова. Губы его сжались, глаза ушли под надбровные дуги, он увидел, как начал заворачиваться гурт. А навстречу Вострякову с лукашовскими коровами гнал двух пестрых быков Замялов.

Матвеев и двое активистов спокойно, о чем-то вполголоса переговариваясь, ехали шагах в десяти от этих двух быков. Третий активист, сопутствуемый подбежавшими бабами, угонял стадо обратно, к видневшейся за бугром деревне.

— В чем дело? — спросил Востряков то ли у Замялова, то ли у Матвеева.

— Он нарушил указание и решение бюро! — выкрикнул Замялов.

— Бюро, товарищ Востряков, совершило вопиющую ошибку!

— Товарищ Матвеев! — И вдруг Востряков, багровея, повернулся к уездвоенкому, который исполнял временно должность председателя Чека. — Догони немедленно губошлепа-активиста, верни обратно коров.

— Не могу, товарищ Востряков!

— Егоров, ты в своем уме?

— Я против этого решения бюро. Ты извини, Тихон, но ты тут крепко перехватил!

— Егоров! Ты отстранен именем революции! Сизов, прими исполнение обязанностей члена бюро.

— Слухаюсь! — весело и с выражением удовлетворенного самолюбия на лице щелкнул каблуками молоденький.

Матвеев прижал бок своего гнедого коня вплотную к оглобле востряковской тележки, сдавленно сказал:

— Военкома и предчека — ты это прекрасно зна-

ешь — отстранять ты не можешь! Опомнись, Тихон! Я доложу в губком, немедленно доложу!

— Гони! — в ярости закричал Востряков.

Лукашовские коровы и два присоединенных кулацких быка и люди за ними медленно вытянулись на покровскую дорогу.

Пригнув голову и больше обычного сутулясь, Востряков въехал во двор Дома Советов. Сухие, изнывающие акации, оплавленные закатным светом, отбрасывали скудную тень. Востряков тяжело слез с пролетки, сам распряг и завел в стойло жеребца. Конюшенный дух, всегда любимый им, подействовал на него. Он долго, не двигаясь, постоял в растворенных воротах, вдыхая запах молодого клевера, сбруи и лошадиного пота. Он чувствовал бессилие, понимая, что он просто испытывает человеческую слабость усталости и что внутренне, духовно, он уравновешен и спокоен. «Да, хорошо бы сейчас оказаться ребенком», — промелькнуло у него в голове. Он инстинктивно оглянулся, почувствовав взгляд на своей спине. На двор на пыльной гнедой кобылице верхом въехал Матвеев. Он неторопливо спешился, снял седло и, заведя лошадь, подошел к Вострякову. Тихон Федосеевич сидел, закуривая, на еловом бревне около забора.

Матвеев опустился рядом с ним; серое, запавшее лицо его казалось еще серее, под сломленными бровями ярче обычного блестели глаза, на скулах проступал нежный румянец. Грудь его часто-часто поднималась.

«Подумал бы лучше о душе своей, видно так, что недолго тебе осталось бороться», — промелькнуло в голове Вострякова. Но ему стало как-то неловко от своих мыслей и даже... стыдно.

— Ты... избрал путь борьбы со мной, товарищ Матвеев! — проговорил Востряков тихим голосом; они касались друг друга локтями и так посидели в молчании. — Ты стал поперек! Василий, подумай хорошенько...

Матвеев все молчал и всматривался куда-то выше его головы, где в отдалении, плавно извиваясь, пронзительно-сине сверкал Днепр.

— Промеж нас такие трещины, что чей-то из нас

должен треснуть лоб! — сказал еще Востряков, все не поднимая голоса.

В ответ Матвеев вытащил из своего потертого клеенчатого портфеля какие-то бумаги.

— Тебе известно решение о перерегистрации членов партии? — сказал он, хлопая рукой по бумагам.

— А что ты хочешь сказать? — насторожился Востряков.

— Только то, что ты кое-кого прикрываешь, Тихон. К примеру, Замялова. Этот негодяй терроризует крестьян, есть случаи мордобоя, он потерял — я сомневаюсь, что он имел когда-то, — облик большевика. Он примазался к партии, своими действиями наносит вред.

Востряков покачал головой.

— Я так не считаю, товарищ Матвеев.

— Однако тебе чего-то неловко?..

Скулы Вострякова еще больше отвердели; он коротко и неспокойно улыбнулся.

— Не пойму твою мысль, хотя и стараюсь. Поясни.

Матвеев поднялся и отошел шага на три от него; смотрел пронзительно оттуда.

— А ты не услуживаешь кому-то, Тихон?..

Востряков пружинисто поднялся.

— Я, будет тебе известно, в орлянку со своей жизней играл, чтобы до смерти задавить его, рабство, — сказал он зазвеневшим голосом.

— Какая у Замялова душа под лисьим тулупом? Чья она?

Востряков не ответил, жадно смотрел вдаль, на флер мягких сумерек, в которые погружалась приднепровская долина.

— А если ты винт в коварных руках? — уже от забора спросил Матвеев.

— Нет, врешь! Врешь ты!! Никому не продался!.. — багровея, с прихлынувшей кровью к глазам, крикнул Востряков вслед ему.

Тот, не сказав больше ничего, уходил сумеречным проулком.

IX

Тихо светало. Подхваченные пробудившимся, сквозным ветром, как детские вздохи, зашелестели обрызганные росой листья берез, отрадней и пряней, как ему по-

казалось, запахом жита повеяло с поляны. Мягкие золотые сполохи молоденькой зари коснулись лица Лукашкина — он спал на охапке валежника. Все вспомнив, перекрестился на восход, как на икону: «Слава тебе, владыка, — жеребца спас, спас проклятого! Он фыркал и пасся, угнанный вчера со двора, на поляне. «Дожил ты, бра-ат», — сказал он себе, испытывая презрение и ненависть, и прислушался...

Лес баюкал, укачивал грезами, нашептывал ему свои сказки, и такая глушь дикая, заповедная, неведомая стояла кругом! Господь великий, исцелитель, да в какой же еще земле, в каких народах найдутся-то муки подобные!

В каком-то помрачении немного спустя гладил теплую мягкую шерсть на шее жеребца, очистил от репья гриву, сводил напоить к ручью. В траве, в лопухах, прозрачно светясь, дышал источник. Илья лег на живот, разгреб траву, приник к голубой воде и долго, утоляя жажду ли, тоску ли, пил. Вольно шептали листья на молодом, набирающем силу дубе у самого ключа.

Отвалившись, кидал в рот душистую землянику, жевал, а сладости не чувствовал; ждал вестей из деревни. К обеду на угор прибежал Петька, сын.

— Уехали, — сообщил он.

— А скот?

— Погнали с собой. В коммуне наши отказались.

— У нас взяли?

— Корову криворогую. Хотели и кобылу взять, да плохая.

— Беги, Петро, говори всем: продавать, мол, батя жеребца повел. К вечеру я ворочусь.

В сумерках Лукашкин огородом прокрался к себе на двор, завел жеребца в стойло, а войдя в дом, только сел вечерять — увидел входящего в калитку Дымкова. «Зачем он?» — подумал Лукашкин, почему-то испуганно глядя на него. Поздоровавшись, Дымков позвал на двор переговорить. Зашли под навес сарая. Лукашкин вынул кисет, но Дымков вытянул у него из ладони, завязал вновь и положил на бревно, на которое они сели.

— Надо ехать в Москву, к самому Ленину или Калинину, — решил Дымков после долгих раздумий, после мук сердечных.

— Думаешь, нас к ним допустят? — усомнился Лукашкин.

— Надо добиться, Илья!

Сперва отнесшийся как к несбыточной затее, Лукашкин неожиданно для Дымкова и даже для самого себя согласился и, вспомнив солдатчину, походы, Москву зимой в сугробах, через которую их тогда прогнали ночью, в волнении распрямился. Да и конь не вылезал из головы... Чертов конь!

— А прах со всем, едем! — сказал он.

Выехали, едва забрезжила заря. Впрягли Дымкова жеребца, Лукашкин, привязанный к поводу, трусил сзади телеги — напеременку. Оба они предупредили домашних, чтобы те говорили, будто отправились к родне, а о Москве бы не произносили ни слова.

Увозили с собой тревогу и раздвоенность. В обед пустили на попас лошадей в неглубоком овраге, трава стояла тут сочная, коням по брюхо: узором ярких бабьих юбок цвели терновик, махорчато-оранжевый конский щавель, голубенький горюнок. Раскаленный полуденной жарой воздух звенел от шмелиного гуда. Осина, под которой они сели трапезничать, давала скудную тень. От пота потемнели рубахи. Даль, затянутая голубыми зыбкими тенями, с едва проглядываемыми деревеньками, скрытая невидью, так яростно и манила, и пугала их, особенно Лукашкина.

К ночи отмахали шестьдесят верст. Короткую соловьиную ночь проспали в маленькой лесистой деревушке близ Вязьмы. Щей, о которых втайне надеялись, не дали, их, очевидно, не было. Хозяин двора, рябой, стриженный в скобку, по-старообрядчески, мужик, искренне разводил руками.

— Нету, братцы, голод.

Тронулись дальше на рассвете. Потянулись незнакомые холмы, равнины, поля, всюду одну горькую песню шептал им горячий ветер — засуха несла голод, голод...

Дымков устало щурился. Козырек полотняного картуза треснул пополам. Глаза, застланные желтой сонной мутью, чего-то искали. Иногда покряхтывая, шептал:

— Плохо, плохо!

Что плохо и о чем своем он думал весь этот путь, Лукашкин не знал. Задремывал, просыпался — все

та же неподвижная поза Дымкова, сгорбленная спина да подлески, проселочные дороги, выгоревшие поля. Сон от Лукашкина отлетал прочь — во все глаза озирался. Голод... Вот он, за тем лесом, повсюду. Голод... Дорога тянулась безлесным пространством. Местами словно кровоточили бурые полопавшиеся бугры; земля каменела в бездождье. Перед полднем проезжали пыльную, придавленную серыми крышами Вязьму. Деревянные стены, оплавленные низко нависшим солнцем, излучали жар. Шли суетливо куда-то худые люди. Иные жадно глазели на их подводу, сосредоточенно прощупывая ее взглядами, — голод. Оборванные, в тряпье дети — три мальчика и две девочки — рылись под забором; рыжая девочка, раскачиваясь на кривых, рахитичных ногах, суетливо и жадно грызла грязную, сырую картофелину. Дымков надвинул картуз совсем на глаза — страшно было смотреть на такое.

За вокзалом пошли колесить кривые переулки, еле выбрались из города.

Вторую ночь провели в поле, спали в копне сена. Где-то близко блеяла коза, брехала собака. Вызвездило. На холодную, режущую глаза северную звезду неотрывно глядел Дымков. Она, радужно разбиваясь на искры, несла успокоение. Откуда-то из деревни или из ближнего леса запахло остро дымом. Сквозь пелену сумеречья краснел огонь — костер, должно быть. Сладким голосом, очень таинственно, шагах в десяти попискивала малиновка, заливисто и бойко ей отозвался дрозд.

Тихая летняя ночь с хрустально сиявшими звездами все так же обнимала землю.

Не дожидаясь рассвета, Дымков тихо разбудил Лукашкина, пошел впрягать.

Отдохнувшие лошади взяли дружно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Пробуждалась Москва. Овеянный дыханием теплых южных ветров, лежал громадный город. Война сказывалась и тут, в столице, много было калек, одноногих, одноруких.

Белоголовым стражем в сером рассвете вздымался

Иван Великий. Не плыл изначальный колокольный звон. Звонко и радостно пробили часы на Спасской. Им громким карканьем отозвались вороны. Вдоль зубчатой стены и особенно у Боровицких ворот — дышловая тяга, пахло лошадиным потом и сеном; ветер резче подул от Пресни — понесло откуда-то запахом жженого угля. Прошел к Спасским воротам небольшой отряд, гулко зазвучали каблуки ботинок по булыжнику.

Егор Миронов две недели назад был направлен для несения службы в Кремле. Прошлое — бои на разных фронтах, ранение и госпиталь, — все это было позади и ныне вспоминалось уже как сон, от которого он вдруг пробудился в самом сердце России. Москва и в особенности Кремль поразили его воображение. Это был новый и громадный, не вмещающийся в его сознание мир, где жизнь шла по особенному ритму. Он пугался той досягаемости, как казалось ему, до самой высокой революционной власти, какая была за узкими высокими дверями. Величественные колокольни кремлевских соборов, белокаменные дворцы были так прекрасны, что Егор не в состоянии был спокойно смотреть на них. Самое же дорогое для него — деревня, родительский двор и в особенности мать — как бы лежало в каком-то тайнике, до которого он боялся прикасаться. Это было слишком дорогое ему. Но иногда вечерами, когда в высоком воздухе над древними стенами и колокольнями вились вороны, навевая особенное успокоение и смягчая душу, он вспоминал свое широкое гумно, коноплянники, баню, запах теплых хлебов, материнские тихие молитвы, звуки мягко стучащего стана, и тогда помимо воли его наворачивались слезы на глазах. Особенную любовь у него вызывали лошади. Он вспоминал ночное, когда выезжали на Длинную версту, на Тишкин луг, и те свои смутные и какие-то страстные мечтания и не без грусти чувствовал, что весь этот прекрасный мир ушел навсегда. Теперь душа его была полна грозных впечатлений гражданской войны, разорения, бед и какого-то, еще непонятного ему возрождения к новой жизни. Одна Россия погибала у него на глазах, а другая — значение которой он еще не мог охватить своим сознанием — нарождалась.

Егор стоял, откинув штык, смотрел и думал: «Сейчас, гляди, тятька молоть собирается. А матушка уж

печку затопила. Огонь в печи-то так, поди, и полыхает, блики дрожат по углам. Далекий отседа и малый наш родительский двор!» Он повернул голову направо, с жадностью остро блестящими глазами всматриваясь в полусумрак. В окнах синело, стала хорошо различима колокольня Ивана Великого, кресты соборов и дремлющие, ночевавшие над Кремлем облака.

По каменному полу вдали, в боковом коридоре, слышались шаги и едва внятный говор — новый день жадно стучался во все двери этого белого здания.

II

Председатель ВЦИК Калинин проснулся, как и всегда, рано, сделал упражнения, надел сапоги, белую сатиновую выгоревшую косоворотку и, войдя в маленькую кухню, умылся. Он с особенным удовольствием утерся холщовым полотенцем и с привычной аккуратностью, что было у него в крови, расчесал костяным гребешком усы и бородку. И хотя условия жизни его изменились: он поднялся от плуга и токарного станка до поста Председателя ВЦИК, само существо его бытия, привычек осталось прежним. Он был все тот же человек, и только сознание громадности того труда, который он делал, как бы давило на его плечи.

Большой медный самовар, видимо только что закипевший, еще красневший углями на решетках, стоял с краю покрытого простой скатертью стола. Жесткий черный хлебец с двумя тоненькими полосками сала лежал на тарелке.

В боковую дверь вошла крестьянского вида женщина, с круглым, открытым русским лицом — жена Екатерина Ивановна.

— Еда-то скудная, Михаил Иваныч, — сказала она, пряча что-то у себя за спиной и посмеиваясь.

Калинин заметил ее жест, догадываясь, что она принесла что-то, чтобы подкормить его.

— Катя, нехорошо! — покачал он головой, присаживаясь к столу и укоряя жену за излишнюю заботу о нем.

Когда Калинин вошел в свою приемную на Моховой улице, секретарей еще не было из-за раннего времени, и Председатель ВЦИК сам проверил и взял папки с

материалами и огромную кипу писем, адресованных на его имя. Он не мог не знать, что в письмах этих говорилось об одном — о голоде, постигшем страну вследствие страшной засухи в это лето. Как никогда раньше, он чувствовал своим особым крестьянским чутьем надвинувшуюся опасность. Калинин знал положение деревни и предвидел, что голод изменит многие представления о жизни, но испытание, обрушившееся на страну и народ, не должно подорвать огромной работы, начатой в крестьянстве. Войдя в маленький кабинет, где было, как всегда, все на своем месте (он не любил неряшливости), он стал вскрывать и читать одно за другим письма, которые действительно были из деревень. Голод... разорение... Он разбирал корявые буквы мужицких рук, привычных к тяжкой крестьянской работе и едва умевших выводить эти каракули. Он вдруг представил родительскую избу, отцовскую всегдашнюю нужду малоземельного мужика, придавленную мать и весь тот, уже далекий облик их жизни и сознание своей ответственности перед этим работящим и прекрасным народом почувствовал сейчас. «Пишет тебе, Михайла Иванович, простой хрестьянин Волошинской волости Микитовского уезда деревни Липатовка Серафим Фашуков. Мы у тебя не хлеба просим, або знаем, что ты голодный сам и весь пролетарьят, а мы только сообщаем тебе, что потерпим нужду, был бы тольки целый умный мужик. А то, сказать без утайки, трясут его».

Калинин отложил это письмо и, охваченный волнением, проговорил про себя: «Не о нужде жалобится, — был бы цел умный мужик. Нынче все углы сошлись на середняке. Сколько же неискоренимой силы в нашем народе! Трясут... Ах, сукины сыны!»

Дверь отворилась, и вошла секретарь. Калинин, поздоровавшись с ней, протянул ей папку с подписанными документами.

— Передайте в отделы. Эшелон с хлебом из Сибири прибыл?

— Я только что запрашивала станцию, и оттуда сообщили, что эшелон задерживается из-за нехватки вагонов.

— Немедленно отправьте вот эту записку (он быстро написал несколько слов в своем блокноте) наркому путей. По этим письмам с мест о безобразном отношении к среднему крестьянину пусть отделы подготовят

мне докладную записку о принятых мерах и о наказании виновных. Доложить через неделю. У вас что-нибудь есть? — спросил он своим мягким и душевным голосом.

— В приемной Сухаревский из «Бедноты». Вы читали его статью.

— А, «знаток» деревни! Зовите, зовите.

Журналист Сухаревский был толстенький, молодой, лет тридцати человек, с ранней обширной лысиной в виде круглого блина, как бы подгоревшего по краям, — с боков головы у него темнели и топорщились волоски, в очках и с несколько укороченным, мешковатым туловищем и широким тазом. Он часто жестикулировал короткими руками, что выглядело суетливо, но, как он сам находил, должно было придавать его фигуре внушительную осанку, а речи выразительность. Он довольно свободно, даже развязно, вошел в кабинет Председателя ВЦИК, должно быть желая не сдавать своих позиций, если потребуется, и отстаивать со всей энергией и смелостью последнюю статью о смоленской коммуне. Калинин поздоровался с ним, покашливая, внимательно всматривался в молодого человека, жестом руки указал на кожаное кресло около растворенного окна, в которое была видна белая высокая ограда и маленькая, тоже белая, игрушечная церковь. Сам Калинин сидел за не очень большим старым письменным столом, и сзади него находился черный громоздкий кожаный диван.

— Я прочитал вашу статью в «Бедноте». Скажите, сколько времени вы были в коммуне «Власть труда»?

Сухаревский ответил спокойно, очень медленно и говоря всем своим видом, что он не удивлен тем, что сюда его позвали.

— Целый день в деревне и четыре дня в уездном центре Высоково.

Калинин негромко повторил:

— Целый день в деревне! Это, должно быть, нужно иметь особый талант. Чтобы так прозорливо все увидеть? Чтобы понять мужиков? Так... так...

— Да, товарищ Калинин, приходится работать оперативно, — почтительно и слегка наклоняясь, сказал Сухаревский: было заметно, что он заранее и тщательно подготовил себя к разговору.

— Вы полагаете, что вы способны так быстро и, главное, верно оценить жизнь этой маленькой коммуны?

— Считаю, что я осветил диалектически правильно.

— А что такое, простите, диалектика?

— Развитие, — пожал плечами Сухаревский, соображая, куда мог уклониться разговор далее.

— А каким образом соединить это «развитие» с вашим предложением: «Мы не можем ждать медленного вызревания сознательности. Русская деревня косна и тупа — ее надо толкать»? Как соединить это «толкать» косную и тупую русскую деревню с вашей диалектикой? Ну-ка, это любопытно!

Подрагивая острыми коленками, Сухаревский начал заметно волноваться. Его, как недоросля, ставили в угол. И, боясь отдаться чувству страха, он решил не вступать в спор. Он не мог смотреть в светящиеся, дышащие мыслью внимательные глаза Калинина.

— Я исходил из общего положения. Осинский напечатал в «Правде»... статью.

Калинин придвинул к себе газету со статьей Сухаревского, быстро пробежав по ней глазами.

— «Основной путь перестройки крестьян — принудительно-массовая организация». Сказать попрямее, товарищ Сухаревский, — принудиловка? Ловко вы поставили вопрос! И главное, приказным порядком: основной путь — и не ищите никакого другого!

— Я опирался на высказывание товарища Ленина, вернее — уже на закон: «Стремление к установке общественной обработки земли есть в самом крестьянстве», — процитировал он из своего нарядного блокнота.

Калинин быстро взглянул на него.

— Но, насколько я помню, там есть продолжение мысли?

Заметно смутившись, Сухаревский стал поспешно перелистывать странички блокнота, не находя нужного.

— Я напомню: «К этому величайшему из преобразований мы должны подходить с постепенностью...» Так?

Сухаревский нашел эту фразу и, чтобы скрыть выражение досады на лице, низко нагнулся к столу.

— Да, правильно, — произнес он поспешно.

— Тогда эта мысль разбивает все ваши доводы! — строго сказал Калинин и снова проницательно посмотрел на Сухаревского в ожидании его пояснений.

Но тот молчал, очевидно, что-то соображая.

— Общая кампания в уезде? — подсказал Калинин.

— Именно! — воскликнул Сухаревский, приходя в себя и давая тоном, таким искренним, понять, что он оправдывается, а также и не против того, чтобы отказаться от своей статьи.

Калинин понял это; он умышленно сделал паузу, давая возможность журналисту собраться с мыслями. Но Сухаревский — хоть и молодой, да тертый — молчал, считая, что неприятный разговор, видимо, завершен, а дальше он повернется несколько иной гранью.

— Расскажите об уезде, — попросил Калинин, подойдя к письменному столу и наклоняясь, бегло прочитывая какую-то бумагу и закладывая ее в одну из коричневых папок.

— Там широкое движение коммун в одной волости. Вовлекают общим списком... Так сказать, учитывая момент истории. Одну коммуну, например, «Зарю социализма», создали за сорок пять минут... Я лично не очень одобряю крайние меры, но если учитывать момент, переживаемый Россией... — Сухаревского снова охватило желание, хотя и осторожно, отстаивать свою линию. — Крестьянская масса сознательности не имеет. Методы уговаривания каждого, товарищ Калинин, могут затянуться на годы. И кто знает, что мы тогда пожнем?

— Что мы тогда пожнем? — повторил Калинин, покашливая, углубился в себя, с минуту он помолчал, казалось, забыв о Сухаревском. — Они за сорок пять минут повернули лицом к социализму самого малоорганизованного на земле крестьянина? Арифметика в высшей степени простая — с точки зрения Высоковского уезда. И что же, товарищ Сухаревский, мужички? Сильно они приветствуют такую идею?

— Кто как, товарищ Калинин.

— Ведь у вас есть выводы? Вы, как я вижу, философ?

— Были... Мне думалось: уезд сделал колоссальный скачок в будущее.

— Думалось? А теперь?

— Объективно говоря, много хорошего в самом лозунге. Отрыв от собственности... вовлечение в сферу коллективного производства. Но как вы правильно заметили: сроки, может быть, короткие. Однако лозунг, подчеркиваю, революционный.

— А как же их вовлекают?

— На работу выходят с некоторой оглядкой, надо признать.

— Некоторой?

— Ведь вопрос упирается в оплату. Есть, конечно, трения между руководящим персоналом коммун и крестьянами.

— Руководящие получают больше?

— В некотором роде разрыв есть. Но ведь они исходят, видимо, из директив, боятся допускать уравниловку.

— Хотите сказать: директив правительства? — Калинин задумался.

Вошла секретарь и, приблизившись к Калинину, сказала ему что-то очень тихо. Лицо Калинина стало озабоченным. Он тяжело вздохнул и, напряженно глядя перед собой, стремительно вышел. Сухаревский остался один. Он рассеянно скользил взглядом по длинному столу и стенам и старался хладнокровно взвесить то, о чем, как он предполагал, могла идти дальше речь...

«Надо с ним осторожнее разговаривать. Мужланов-то наших доморощенных я не знаю. А товарищ Калинин ведь пахарь. Как бы я в его глазах фразером не оказался. Только бы с работы не выгнали. Паек по нынешней ситуации у меня сносный. В дальнейшем нужно взвешивать материал», — вдруг ему захотелось раскаяться... во всем, даже отказаться от статьи.

Калинин быстрыми шагами вошел в кабинет. Он, сев, строго посмотрел на большие карманные часы и испытующе, из-под очков, взглянул на нервно-напряженного Сухаревского.

— Значит, уравниловку допустить нельзя — это верно. Нельзя и допустить бесконтрольности руководящих лиц — тоже верно. Плохую картинку вы нам обрисовали! Кнутиком, кнутиком тупого мужичка, а? Хомуток на шею — знакомая идейка. А как выходят на работу в той коммуне, которую вы похоронили?

Ждал этого вопроса и боялся его Сухаревский.

— Сказать объективно, товарищ Калинин, там есть энтузиазм... Они даже пахали на себе.

— Так... так... даже пахали! — сказал Калинин без той ложной патетичности, какая звучала в голосе Сухаревского, произнесшего эту фразу.

— Этих крестьян, видно, «конторские» не гонят на работу?

— Там все неясно еще.

— А я думал, что вы половчее, товарищ. Статейка у вас бойкая. Вы так решительно размалевали мужичков из коммуны черным, а выходит — вам еще неясно? — Калинин из-под очков блеснул весело смеющимися глазами.

Сухаревский осторожно заметил:

— Неясно в том смысле, товарищ Калинин, что в конечном итоге получится. Я говорю в практическом смысле.

— Так... так... А какому пророку известно, что мы будем иметь годиков этак через пятьдесят? В конечном итоге? Вы, например, знаете, что мы будем иметь через пятьдесят лет?

— Полную победу революции во всем мире! — воскликнул Сухаревский.

Это восклицание Калинину, должно быть, показалось неискренним; он с иронией и в то же время не без строгости смотрел на бойкого молодого человека.

— Экий вы революционер! Боевой товарищ... Будущее знают одни пророки и бабушки-гадалки. А мы гаданиям не верим, а равно и крикунам. Знаем мы очень твердо: в крестьянине надо разбудить дремавшую силу и разум, поднять его из нищеты к подлинной духовной свободе, пробудить, а не бить его палкой по голове, как сделали это вы в своей статье. Вам что ж, не нравится, что с мужиком коммунист разговаривает по-человечески?

Калинин дал ему возможность подумать.

— Вы хотите еще что-то сообщить о коммуне? — спросил он затем строго, так как корреспондент молчал.

— Нет, у меня все, товарищ Калинин. — Сухаревский поднялся на дрожащих ногах.

— Вы еще умолчали, к слову, о лопнувших колониях-коммунах, организованных «принудительно-массовым» способом.

— Я этого не знал, — сказал неправду Сухаревский, делая наивное выражение лица.

— Ну да, трудненько узнать — вы же в уезде пробыли четыре дня, — сказал Калинин с иронией. — А какая там земля?

— Вообще нормальная.

— Супесь, подзол, глина?

— Всякая... — И подумал про себя: «Влип... надо было справочник посмотреть!»

— Чернозема тоже порядочно.

Калинин беззвучно засмеялся.

— Чернозема? Ай-яй-яй, хорошая новость. Только ведь до сих пор не обнаруживалось его там!

Около порога Сухаревский остановился.

— Простите, после всего... я могу вернуться к своим обязанностям в газету? Меня не уволят?

— Ведь вы, как мне кажется, теперь станете хвалить похороненную коммуну? Кто же вас уволит?

III

В кремлевском кабинете Председателя ВЦИК не оказалось, и заведующему отделом наркомзема Максимовскому было объявлено, что Калинин в приемной на Моховой, куда нужно идти без промедления, чтобы поспеть до посетителей, которых каждый день было великое множество. На улице уже стоял тяжелый, изнуряющий зной; нигде не слышалось дуновения. Максимовский минут через пять вошел в подъезд приемной — в голубое здание, в прошлом в нем размещалась гостиница «Петергоф». В первом этаже, в полузале, отгороженном барьером, уже толпился народ. Мужицкий дух как бы разлит был в воздухе. Кругом стоял тихий говор и виднелись холщовые рубахи, бабьи платки, поддевки и бороды стариков, с особенной уважительностью поглядывающих на двери. Максимовский торопливо шел мимо барьера и, вопросительно подняв брови, смотрел на эту пеструю толпу людей, испытывая при этом знакомое чувство раздраженности.

Какой-то старик, в лаптях, в холщовой рубахе и в солдатских штанах, с опрятной бородой и светло-умным выражением на лице, сидел в самом углу и, разложив на коленях узелок, брал из него немудрую свою провизию — темный кусок хлеба, посыпанный серой солью-бузой *, и лук. Тут же у него под рукой стояла бутылка с квасом.

---

* Буза — грязная крупная соль.

Угрюмого вида человек, в синей блузе и высоких сапогах, с кепкой в руке, стоял около самого барьера и говорил хриплым и негромким басом:

— Наперед всего надо накормить квалифицированных рабочих.

— Говорят, сам-то он проще простого — чего ж бояться? — сказал кто-то.

— Вот те и мужик, а президент, стало быть, хватило мудрости сюды подняться!

— Да неужто и правда из мужиков-то?

— Ну да, сказывали — сам тверской будет.

— Ишь ты, ума-то в пароде сколько! — проговорил кто-то с большим подъемом.

Максимовский поднялся на второй этаж, посторонившись перед вышедшим из кабинета бледным, напуганным Сухаревским, и сделал вид, что он его не помнит, хотя тот усиленно кивал ему. Сухаревского он знал, не раз видел его в Наркомате земледелия. Но, в меру осторожный, он по одному виду Сухаревского понял, что тот оступился и что лучше будет, если его не знать.

О том, что Сухаревский оступился, он понял, едва пробежав глазами его статью. Ожидая беседы, Максимовский старался понять, по какому руслу выльется обсуждение записки, представленной на утверждение Совнаркома еще неделю назад. На это обсуждение могло сильно повлиять мнение Председателя ВЦИК.

Максимовскому казалось, что он не получил от жизни того, чего заслуживал, что он обойден, не сыграл в революции того, что мог бы. Он старался подавить в себе эти мысли и чувства и не мог этого сделать.

Высокий и медлительный в движениях, в пиджаке старомодного покроя и очень опрятный, с выражением учтивости на интеллигентном лице вошел Осинский.

— Товарищ Калинин вас ждет, — сказала секретарь, подчеркивая своим тоном, что здесь дорога каждая минута.

Калинин встретил их, стоя около стола. Здороваясь, Максимовский ощутил силу его сухой и костистой руки.

— Михаил Иванович, мы к вам относительно нашей записки о реквизициях, — напомнил Осинский.

— Читал, читал! — живо отозвался Калинин, усаживаясь на свой стул после того, когда сели они. — Составленную вами совместно записку, я думаю, надо бы

сперва широко обсудить. Я думаю, что тут дело Совнаркома, а вовсе не Секретариата ЦК: нельзя подменять работу правительства. Проводить же в закон торопиться нет нужды, к тому же узаконивать беззаконие Советская власть не намерена.

— Мне не совсем ясна такая формулировка, — проговорил Максимовский. — Инстанции, конечно, не суть. Нас прежде всего интересует ваше мнение по главному, восемнадцатому пункту, — сказал он строго.

Калинин прочитал вслух этот пункт: «не подлежат отобранию предметы крестьянского хозяйства, в частности единственная лошадь, корова...»

— Совершенно очевидно, что вторая лошадь и вторая корова — это угроза кабалы для однолошадника, для неимущего крестьянина, — подчеркнуто сказал Максимовский. — В деревне двухлошадник обязательно заест бедного. Тому много примеров, товарищ Калинин, в любой губернии. Вы такое положение ведь не можете не знать. Например, в Ярославской губернии несколько сот исправных хозяев держали в кабале тысячи...

В это время решительной и твердой походкой вошел нарком продовольствия Цюрупа. Он кивком головы поздоровался со всеми и остановился, внимательно слушая разговор.

— Стало быть, отнять вторую лошадь? Так, понятно. Отнять ее — оттолкнуть, подрезать на корню середняка, как прочного производителя. Разве не так? — Калинин, покашливая, погладил бородку. — Поверьте мне: такой идейке никогда не сбыться. Кстати, разве вы не знаете мнение товарища Ленина на этот счет? Ленин считает, что разрешать отбирать вторую лошадь и вторую корову невозможно.

— Сегодня вторая, товарищ Калинин, а завтра может появиться и третья, — вставил Максимовский. — Вторая тоже не безобидная, она может быть кулачья.

— Вторая лошадь и корова — кулачество? — спросил своим обычным негромким голосом Калинин. — В моей родительской деревне по такой схеме можно зачислить почти половину хозяйств, — сказал он и вздохнул. — Вот это новость: мы огромные усилия употребляем для смычки с середняком, а выходит, середняк как раз наш классовый враг? Хорошенькую вы ему уго-

товили судьбу, ничего не скажешь! Бедные, бедные мужички! Это когда телка станет двухлеткой, когда эту телку хозяйка зиму будет поить и кормить, как малое дитя, в избяном закуте, работать на нее, чтобы потом она стала кормилицей семейства, и тут выходит — полная картина классовой несправедливости?

— Я все-таки опасаюсь, что вторая корова переродит середняка в кулака, — убежденно заметил Максимовский, когда Калинин замолчал.

— Сколько ж, товарищ Максимовский, расходует этот двухлошадник хлеба на едока в год? — вдруг спросил Калинин.

— На нынешний день, по приблизительным данным, — около четырех пудов.

— Ага, понятно. Но день нынешний — чрезвычайный, сказать вернее, голодуха. А в прошлом году, до засухи?

— Цифра колеблется, она зависит от земли и районов, но общую можно вывести — примерно пудов двенадцать.

— Ну-ну, — Калинин хитро сощурился. — А ведь настоящий хозяин расходует по двадцать два пуда на душу. Тут, выходит, не только кулачеством — середнячеством не пахнет, а политика наша — осереднячить мужика. Вы ведь это знаете, Максимовский?

— Осереднячить, но с некоторыми оговорками, — сказал Максимовский.

— Оговорки, оговорки! — проговорил Цюрупа с иронией, с заметным усилием подбирая слова, что всегда бывало с ним, если надо было отвечать на бессмыслицу. — Кто же кормил бы три лютых военных года Красную Армию? Где я, нарком продовольствия, взял бы хлеб? Один конь осиливал на худой конец то, чем жила сама семья крестьянина. А что мы могли взять с него?.. Так... Любопытная «теория», ничего не скажешь!

— Не Троцкий и Крестинский направляли продразверстку, товарищ Цюрупа, не они, а вы! — вставил, уже как-то вовсе невпопад, Максимовский. — И мне лично неизвестны ваши аграрные знания.

— Не нужно переходить на личности, — заметил Осинский, чувствовавший, что Максимовский излишне горячился.

Калинин, оживленный, повернулся всем корпусом

к Максимовскому, всматриваясь в его непроницаемое лицо.

— Зачем же так обострять? Зачем же вы делите: он — не он? Разве мы не одно творим дело?

— Без дискуссий, товарищ Калинин, нет движения, — засмеялся неясно Максимовский.

— На дискуссиях хлеб не взрастишь, — сказал сдержанно Цюрупа.

— Сколько же, извиняюсь, десятин пахотной у двухлошадника? — снова въедливо спросил Калинин у Максимовского.

— По Брянской и Ярославской губерниям, например, по полторы-две.

— Что ж тут богатого, если средний мужик всегда имел не менее трех десятин? Не сходятся, товарищ, у вас тут концы! — Калинин пригнулся, сутуля спину, к столу и прочитал еще один пункт записки: «Не подлежат реквизиции предметы широкого потребления: обувь, посуда, мебель, одежда, бывшие в употреблении; вещи, не бывшие в употреблении, забрать». И по этому вашему пунктику Владимир Ильич высказывал мне свое мнение. Получается, что лишние штаны у обывателя можно отнять?.. Тут что-то выражено неправильно, чересчур общо. Надо как-то иначе сказать.

— А нас не погубит, товарищ Калинин, мягкосердечность? — Максимовский, округлив темные глаза, смотрел на Председателя ВЦИК.

— А разве мы не были достаточно и справедливо жестоки к господам львовым, рябушинским, родзянко, к некоронованным царям капитала, к подлинным грабителям? Так при чем же здесь мягкосердечность, когда речь-то идет о мужике, с трудом нажившем себе за жизнь вторую корову и прибереженные, ненадеванные штаны!

Осинский рассказал историю одного крестьянина Пензенской губернии, который, выбившись из нужды, сколотил зажиточное хозяйство за пять лет — имел целый гурт скота и впился, как клещ, в деревню.

— Не такой он и наивный, мужичок, — сказал Осинский и замолчал.

— Что ж тут кидать грязь на миллионы, — твердо сказал Калинин, — в семье, известно, не без урода. В семье и горбатый родится, да народ-то выше горба

его. С какой точки глядеть, товарищ Осинский, на народ. Нам небезразлично, как сложится в будущем судьба середняка. Как с точки зрения наших внутренних нужд, так и революции грядущей, мировой. В мировой-то той революции, как дитя в матери, могут повториться наш опыт, наша пролитая кровь и наши нынешние раны...

— Еще минутку внимания, товарищ Калинин, — сказал Максимовский, — мы считаем нужным поддержать идею принудительного товарообмена. Мы считаем, что член коллегии наркомпрода Смирнов прав. Кстати, я замечу, что такова и точка зрения Троцкого. Товар за товар, если это нужно республике.

— А ежели этот товар не нужен человеку? — прищурился Калинин.

— А его надо приучить, человека, к необходимости меры.

— Базарная революционность! — отрубил Цюрупа, решительно взмахнув рукой.

— Так... так... стало быть, любым способом народу навязать товарец: бери ты, боже, что нам не гоже. — Калинин коротко засмеялся, поглядывая на Максимовского. — Нет штанов, так надевай юбку, а не нравится — ходи голый! А мы все же будем денежную торговлю налаживать.

В это время Калинин облегченно вздохнул, как бы наконец вспомнив что-то, он живо повернулся к Максимовскому и быстро взглянул на него.

— Теперь я вспомнил вас, товарищ Максимовский. Вам, должно быть, неизвестно, но однажды я сидел в одной студенческой аудитории, в Петровской академии, не так давно, перед семнадцатым годом, и там вы развивали теорию о духовной ущербности народа, заявив, что вся его история в прошлом — сплошное уродство и грязь. И даже не в смысле правителей, царей — вас можно понять, но что поразило меня — в смысле именно народной жизни, и именно крестьянства.

Теперь все находившиеся в кабинете, повернув лица, смотрели на Максимовского. А так как была пауза и тот или собирался с мыслями и обдумывал, что ответить, или дипломатично ожидал, не скажет ли еще что Председатель ВЦИК, то Калинин добавил еще:

— Был у меня хороший товарищ, он в Петровской

учился и пригласил тогда послушать вашу лекцию. Она мне врезалась в память.

— Тогда я много читал, и тем более в Петровской академии, где работал, — сказал Максимовский поспешно и даже заметной скороговоркой, словно желая быстрее перевести на другую тему разговор. — Я, что вполне естественно, ставил вопросы о развитии России, но... безусловно, не в такой плоскости.

— Странные все-таки мысли! — тихо сказал Цюрупа. — Как же тогда такой народ совершил величайшую революцию?!

Осинский с необычной для него взволнованностью встал с кресла и отошел к двери.

— Если это так, то это гадко, гадко! — сказал он искренне.

— Интерпретация, только и всего. Я мог говорить, но не так, не так, — возразил Максимовский.

— Ну, не сердитесь, я не в обиду напомнил, — тоном добродушия сказал Калинин Максимовскому. — Мы не на балу, где принято говорить комплименты девицам. У нас одно дело, и мы отвечаем за него. Ради великого дела большевики подняли русский народ! И другие народы России.

На каждом шагу тысячи и сотни тысяч раз нам показывала жизнь, и в особенности война, разорение трудового двора. Хотеть его гибели? Но чего мы достигнем? Беднейшие слои нас не прокормят и года. Кулак нас не пожалеет, он ждет нашей погибели. На основного производителя, с грехом пополам добывшего вторую лошадь, мы накидываем петлю и хватаем за глотку. — Калинин посмотрел на карманные часы и покачал головой на то, что потрачено так много времени.

— Еще нужно выяснить, я думаю, — учтиво наклоняясь, произнес Максимовский, — еще нужно выяснить более точно и определенно, — сказал он.

Когда Максимовский и Осинский вышли, Цюрупа засмеялся.

— Бойкий товарищ!

— Должны мы все это преодолеть! — с упорством сказал Калинин.

В раскрытые окна несло жару, над зубчатой стеной светло и радостно играла молния, благодатный дождь уже шумел над Арбатом. («Кто же они, эти двое? Кто?

Одна оппозиционная линия, связаны одним узлом. И Троцкий тут в стороне не стоит, он с ними непременно — вне всякого сомнения».) Он встал и прошелся по кабинету, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Вторая корова и лошадь, и... поспешность в создании гигантских коммун... Ну конечно, и почерк один, и содержание одно...

IV

Лукашовские мужики медленно доплелись до Красных ворот. Ночь застала их на Лефортовом валу; полночи колесили переулками, отыскивая Касьяна Лабзеева, своего хуторного, уехавшего в Москву еще в молодости. У него же и оставили лошадей.

Жаркое подымалось над городом утро. От камня сквозь лапти и портки отдавало каленым. Пожух и свернулся в трубки лист на липах и тополях, погорел подсолнух в палисадах. Старые и пыльные дома не манили к себе. Лукашовцы оглядывались — Москва-матушка лежала перед их глазами неприютной: ее, как и всей России, коснулась война. Лукашкин внутренне охал через каждый десяток метров, шагал, боязливо озираясь. Дымков внимательно присматривался к городу. Напластывались воспоминания тридцатилетней давности, когда еще молодым впервые он попал в престольную столицу.

В нем крепла сыновняя боль, тяжесть жары и душевного смятения сливались с тяжестью людских ран и разоренной Москвы. Проглянул Иван Великий: сняли картузы — перекрестились. Собор Василия Блаженного встретил потемневшими луковицами, иссиня-голубые купола словно дымились на солнце. С картузами в руках неуверенно тронулись через площадь. При виде Спасских ворот Лукашкина охватил неосознанный испуг, он готов был повернуть уже назад, но непреодолимая сила толкала вперед, к воротам, и он почти бежал за Дымковым. Красноармеец, услышав фамилию Егора Миронова, которую они назвали, сказал коротко и строго:

— Ждите.

Вернулся он быстро, минут через десять, за ним с любопытством на лице из-за угла вышел Егор.

— Егор! — обрадовался Лукашкин и стал тискать

его руку, удивляясь опрятности, бритому лицу и чищеным сапогам.

— Здорово, мужики! — заулыбался Егор, оборачиваясь к часовому: — Из моей деревни притопали! Встреча так встреча!

— Мы на конях, — сказал Дымков, засматривая в проем ворот Спасской башни: горбом вздымался булыжник, за ним виднелся угол дома, наискось площадь, перерезанная жидкой тенью дерева. Егор переговорил вполголоса с часовым и еще с кем-то по телефону, и земляков его тут же пропустили внутрь Кремля. Отойдя на лужок с выбитой, выжженной, скудной травой, Егор предложил сесть, вынул махорку, и все разом закурили.

— Мои там как? Матка-то здорова? — спросил Егор, видя, что мужики, и тот и другой, как-то мнутся боязливо.

— Ну что у нас? Живем потроху. А твои живуть сносно, Гришка у властях, недавно и Николай вернулся. С коровами вот волынка... — Лукашкин выругался и плюнул. — Забирають!..

— Кто забирает?

— Есть у нас там кто, — ответил непрямо Лукашкин.

Дымков осмотрелся, спросил:

— Где ж главный-то? Правительство где будеть? — Он зорко и жадно пробегал глазами то по церквам, то по зданиям.

— Тут. Вы по какой надобности в Москву? Аль припекло?

— Припекло! — за Дымкова сказал Лукашкин, округляя глаза. — Коней, коров беруть, а тебе это мало? Или на готовом харче жизнь деревенскую забыл? Это ить бывает. — И он рассказал подробно о последних событиях в деревне.

Егор внимательно слушал и, переживая их общую беду, неуверенно сказал:

— Вроде директив не было отымать? То, должно, самостийно делают на местах.

Дымков крепко ухватил его за локоть.

— Хватают без приказу. Стало быть, самочинно! Нам бы добиться к товарищу Калинину, к голове государства, он-то, говорят, из мужиков и понимает нашенску жизню.

Егор докурил папиросу, встал и с жалостью и теплотой во взгляде смотрел на них.

— Верно надумали, пошли — я провожу вас до приемной Михайла Ивановича, тут недалеко. Он им, брат, прижмет хвост, — говорил он по дороге.

Вошли в зал приемной. Дымков и Лукашкин без труда узнавали своего брата — мужиков. У Дымкова тонко и горько задрожала какая-то струна в душе при виде изможденных, одетых бог знает во что людей, особенно крестьян. «Помоги им бог!» — невольно думал он, поднимаясь по лестнице следом за Егором.

Робея и конфузясь, мужики очутились в небольшой комнате, в которой за столом около окна сидела секретарь. Егор коротко сообщил ей о делегации из волости.

— Товарищ Калинин с ними побеседует в приемной, — сказала секретарь.

— О них писали в «Бедноте», я думаю, что товарищ Калинин их тут примет, — сказал Егор.

Секретарь, ничего не сказав больше, исчезла за высокими белыми дверями. Не успели мужики сесть, как двери быстро распахнулись, и послышались из глубины кабинета быстрые, легкие шаги. Переступили порог... Лукашкин зацепился за что-то лаптями, ахнул и, робея, пошел...

V

Едва они вошли и разместились, как по указанию Калинина был внесен строгой и деловитой женщиной вместительный, хорошо вычищенный медный самовар, приятно пахший прогорелыми шишками и слегка окутавшийся паром.

— Вот это хорошо! — сказал Калинин, распрямляя спину, подвигая к ним тарелку с сахаром и ржаными сухарями.

Пили чай вприкуску: держали блюдца на растопыренных пальцах. Кусочки — зубом не поймаешь — сахарцу брали из мелкой тарелочки. Говорили о разном, вроде о пустяках. Лукашкин сидел деревянным истуканом — обмирал от страха. Но такой простой, плотно уместившийся в кресле, сидел человек за столом, что страх маленько отпустил.

— Трудно добрались? Сколько дней ехали? — спросил Калинин.

— Дорога, признаться, дрянновата, — ответил Дымков.

Вначале разговор рвался, не выводя из круга, казалось, незначительных мелочей, что удивляло мужиков, так как, по их представлениям, глава Советской власти не должен был интересоваться этим.

Затем они поняли, что ошиблись, что он осторожно и с тактом подводил разговор к главному, зачем они приехали к нему. После вопроса Калинина: «Вы чем-то недовольны?» — столь простого и столь сейчас сложного для них, они не нашлись сразу что ответить.

— Крестьянство надо беречь, товарищ Калинин! — сказал горячо Дымков. — Гнилые корни, известно, дерево не держат. Я ищу пятьдесят лет правду.

Калинин спросил:

— А кто не хочет правды? Правды хотят все. Но вот верную вы мысль высказали: гнилые корни дерево не держат.

— А секут! — чуть не крикнул Дымков.

Лукашкин лишь вздрагивал: в голове у него была совершенная путаница.

— А разве не все от вас? Не от правительства?

— Вы говорили о правде, товарищ. Хорошее это слово! Бывает, мы все ошибаемся, — факт вполне нормальный: богов на земле нет, мы их уволили, мы хотим жить и хлеб сеять без них. Но как же быть? У вас правда своя? У всякого, выходит, правда? Это верно — насчет корней. Нам заморскую мудрость не занимать, своей хватит. Умен наш крестьянин! Но что ж делать? — И мужики видели, как он задумался и будто на мгновение забыл о них, как сощурились его глаза и стала у висков мелкими линиями морщиниться кожа. Он, обдумывая, поглаживал бородку.

— Наш ответ, товарищ Калинин, вам дороги не укажет, мы люди маленькие, — с усилием и после молчания произнес Дымков.

— Говорите все, как есть; я тоже ищу правду, — сказал Калинин.

— Совсем худо стало мужику у нас в уезде, — сказал Лукашкин.

— Всюду сейчас разруха. Вы как оцениваете себя сами? — спросил Калинин Лукашкина.

— Я по середняцкой иду. Туды, стало быть, вписан. Второго коня брать стали. — Лукашкин, осмелев, поглядел Калинину прямо в глаза.

Дымков, особенно чуткий к перемене в людях, первый заметил сильную встревоженность его и, покашливая, молчал.

Потирая лоб левой рукой, Калинин сказал.

— Это еще не значит, что возьмут, — он посмотрел на Лукашкина, на лицо его посмотрел и на руки. Задумался.

— С вашего, выходит, приказу? — спросил смело Дымков.

— Правительство и Советская власть самым решительным образом против отобрания второй лошади! Это я вам заявляю со всей ответственностью. Правительство республики такого указания не давало и не могло дать. Тут не может быть и речи! Есть горячие головы: им очень хочется поскорее переделать крестьянина.

— Тогда у вас нету власти! — быстро и решительно сказал Дымков, не замечая испуганного взгляда Лукашкина. — Или не можете ею воспользоваться?

Лукашкин толкнул Дымкова в бок, Калинин, заметив это, не подал вида, сказал:

— А власть, товарищи, Советская власть не кнут, а родная мать народу. Так много нужды, так много приходится перемалывать и перестраивать, а люди есть люди: вывихи будут обязательно.

По просьбе Калинина Дымков рассказал о том, как создаются в уезде коммуны.

— Народ посогнали, — продолжал он. — Грамоты нет, ума нет, да зато гонору на воз не уложишь.

Чем больше рассказывал про деревенскую жизнь Дымков, тем больше мрачнел и хмурился Калинин... Перед глазами его возникли эти разбитые сельские дороги, погосты, черные деревни, бедные избы.

— Все так, все так. Однако вперед забегает этот ваш товарищ Востряков. Но в этом ведь трудно разбираться простому мужику! Для мужика — он новая власть, и самое скверное именно в таком понимании ве-

щей, — произнес он и, помолчав немного, спросил: — Сколько вы имеете земли? Сколько пашете под пар?

— Четыре четверти, выходит, я — кулак, — усмехнулся Дымков.

— А как себя оцениваете сами?

— Я могу показать вам руки, товарищ Калинин, поглядите-ка на них. — Он, приподняв сперва левую, потом правую руку, не спеша протянул одубенелые ладони. — Праздников не знал... жил. Сурок в норе — каждый гвоздь волок, три часа спал в сутки. Оттого и больно. — Дымков сделал жест рукой и по привычке полез было за кисетом в карман штанов. — Вы про то небось знаете не хуже меня.

Должно быть, рассказ этот ничего нового не открыл Калинину. Он в эту минуту испытывал тяжесть в своей душе оттого, что все это горькое, жестокое и тяжелое происходило с прекрасным, трудолюбивым, добрым и великим народом, который — как он это остро улавливал сейчас — не ожесточился сердцем, а по-прежнему ровный и спокойный. «На зорьке он подымался с постели и, не взяв в рот маковой росины, ехал в поле — и возвращался тоже на вечерней заре. Ребятенки приносили горбушку черного хлеба, да кваску, в лучшем случае крынку молока. Да и то, может, снятого».

— Понятно, люди на вас не батрачили. Инвентарем тоже сельчан не закабаляли?

— Истинно говорю, Михайла Иваныч, — сказал Дымков, как человеку, который близко все понимает. — Не было того! Всю работу делал своим семейством.

— А ежели давал кому плуг, то ничего не встребовал, — вставил Лукашкин.

— Ко мне шли за помощью и за советом, — тихо сказал Дымков.

Калинин вытащил кисет и, встав, пересел на черный кожаный диван, куда по его предложению подсели и мужики.

— Ну-ка, товарищи, угощайтесь, — гостеприимно предложил он им свой кисет.

Мужики, покряхтывая, сперва боялись притрагиваться к «президентскому» кисету, потом, осмелев, чувствуя на себе ласковый и добрый взгляд Калинина, стали, как и он, скручивать такие же огромные козьи ножки.

— Папироска что-то не по мне, привык, знаете, к табачку. Хороша махорочка, вырви глаз, из моей деревни — сам ее сеял.

Лукашкин щурился, нюхал острый, как горчица, самосадный дым и, добродушно посмеиваясь в душе, думал: «Нет, всероссейского-то старосту ни хрена не обкуришь. Засмаливает дай боже и колечки, вишь, пущает замысловатые. Я так не могу. Как же это он от плуга поднялся сюды?»

— В том и беда: для людей ты хозяин, а для себя каторжанин. Рук, понятно, жалко, сил жалко, жизни жалко, — произнес Калинин, задумавшись и глядя в окно на золотой купол маленькой белой церкви. — Мужики ценили, учились у тебя хозяйствовать, а товарищам, которые считают себя исключительными революционерами, твоя наука пустой нуль! — Калинин стал было опять заворачивать цигарку, но остановился и аккуратно ссыпал из бумажки табак в кисет, тщательно подобрав с колен несколько просыпанных рыжих табачин.

«Бережлив, тоже хозяин, как и мы, только голова куда пошире пашет», — не упустил из виду Дымков.

— Кто не наживает, товарищ Калинин, — сорная трава, дело известное. Легче всего поделить людей, — сказал он в молчании.

Калинин с удивлением взглянул на него, говоря своим взглядом, что вывод поспешный и неверный. Он покачал головой.

— Ты это сказал, товарищ Дымков, не подумав как следует или с насмешкой. Людская ведь душа — потемки, говорят. — Он не без хитрости скользнул острым взглядом по Лукашкину. — Видно, лошадку уберег поездкой?

И, пораженный, Лукашкин даже не ответил, а, раскрыв глаза, не отрываясь, смотрел на этого необыкновенного человека.

«Откуда узнал?»

— Что ж нам? Какая выгорает карта? — спросил Дымков и с надеждой посмотрел на Калинина.

— Не знаю, что вы поняли. Если разобрались...

— Как быть со двором? Товарищ Калинин?

— Я хочу, чтобы он уцелел, ваш двор, но так, как хочу я, не хотите вы — вот и разлад. Впрочем, — он

мягко улыбнулся, — к счастью, его нет, и вы уже хорошо понимаете, что Советская власть создана не грабить крестьян, а вывести их к свету, что вы уже, без всякого сомнения, почувствовали еще при комбедах, что тысячи и тысячи неимущих обрели уверенность в завтрашнем дне. Не разрушая дворы, соединить крестьян, медленно, осторожно, но неуклонно! Да, сейчас это главное: осторожно и без силы. А пока живет революция, в отношении крестьянина-середняка она силу не применит, нет! А «хозяин», как назвали это у вас, — это тот же самый настоящий производитель жизни, главный поставщик хлеба — середняк. Он наш кормилец, и всякие нападки на него мы отобьем напрочь и во имя того, чтобы накормить неимущих, а сказать вернее, вчерашних рабов. Советская власть говорит самым ясным языком: середняк не только даст и уже дает в огромных количествах, причем в большинстве случаев добровольно, сознательно (!) нам свой хлеб. Насколько я смог разобраться, вы оба такие и есть, середняки. Но совсем другой сорт — кулак! Он тоже может рядиться под добренького, он, будучи хитрым и ловким, в минуту опасности даже накормит голодного и сделает это на виду, чтобы все видели, чтобы обмануть доверчивых, а потом опять их подмять под себя. Или мы раздавим кулака, или он доконает неимущих и похоронит Советскую власть — вот, товарищи, наша линия. Но раздавить — не ставить к стенке, если он тихий, не саботажник, — взять у него избыток добра — такова тут цель.

Вторую лошадь и корову вам вернут, виновных накажут. Можете так и передать в деревне. Мы такую коммунию отвергаем, как вредную, и будем жестоко наказывать, кто ее хочет насадить силой, вплоть до того, что прогоним с работы. Кооперативный план у нас широкий — мы создаем совхозы, товарищества, артельность. Тут теперь гвоздь — вести общественную пахоту, словом, хозяйство, чтоб массы крестьян втянуть в большую работу, и мы знаем, что крестьянство-то уже не такое нищее, как было. Должен же наконец мужик наш почуять и увидеть глазами большую долю для себя! А теперь — прошу меня извинить: время! Желаю вам удач. — И он проводил их до дверей.

Мужиков на улице нетерпеливо ожидал Егор. Но разговор у них не клеился. Дымков, взволнованный и замет-

но возбужденный, упрямо молчал. Лукашкин же отвечал невпопад.

— Мои-то, говорю, как? Вы чего помалкиваете? Слова не вытянешь.

— Живут, — коротко сказал Лукашкин.

— Мать здорова?

— Слава богу, Егор. Все здоровы, во дворе у них хорошо. Николай с жонкой ушел на отдел, отстроился в Вырубке. Лесной жизни решил спробовать, да от миру-то не уйти теперича. Здоров и Яков, сноха Марья в прежнем хомуте, а Григорий... — Лукашкин сощурился и заглянул Егору в глубину глаз, — он ить сука у вас, по нем хорошая плеть плачеть! Ты пропиши ему, чтобы кулак-то не показывал народу. Таким, браточек, кобелем обернулся, что не дай-то бог!

— Как же так? Что это с ним стало? — встревожился Егор, уже кое-что знавший о нем по письмам отца.

— Черт его душу знаеть — опробовал власти парень!.. Слыхать, будто неладно и у Николая с Ганной.

— А что?

— В народе говорят: рыба ищеть глубокое, а жонка зрячего. Он-то об одном глазе воротился с войны. Но я говорю о слухах, а там неизвестно. Ты уж извиняй нас, Егор, свербить — домой надо, пока дотянем... Ну, прощевай, служба! — крикнул Лукашкин уже издали, помахивая картузом.

VI

Калинин спустился вниз, в приемный зал, где вдоль барьера, толпясь и напирая, стоял народ, ожидая его. Кругом слышался слитный и глухой говор, перекатывающийся по рядам и тотчас оборвавшийся при его появлении. Множество глаз устремились на этого сутулого узкоплечего человека, с клинообразной бородкой и в сатиновой белой косоворотке. С его появлением в народе произошло движение — задние напирали на передних, чтобы скорее пробиться к барьеру и поспеть высказать все, с чем они пришли сюда. Калинин медленно подвигался вдоль барьера, пристально вглядываясь в лица людей, и, наклонив вперед свой сухой корпус, внимательно слушал и задавал короткие и скупые вопросы. Были жалобы на бедность и нищету. В его глазах все эти

лица не были сплошной серой массой, а запоминались каждый со своим миром и душой. Чем дальше он продвигался вперед, тем гуще теснились люди около барьера.

— Отец родной, помоги, хата сгорела! Молния вдарила серед дня. Шесть душ народу! — Жилистая баба пыталась дотянуться рукой до руки Калинина и боялась одного, что он может не услышать ее.

— Сыны, дочери есть?

— Двое в Красной Армии, девки дома. Старик помер, — ответила баба. — В волостном Совете слухать не стали. Помоги!

— Лесу на хату дадут, — сказал Калинин, — а больше ничего не можем, государству тяжело. — Он прошел дальше, кивнув секретарям: «Выясните, кто сидит в Совете».

Толстый чернявый человек в очках, с желтой, пергаментной лысиной и с холеной бородкой, выделяющийся в толпе своим свежим видом, с почтительно-самодовольным выражением смуглого лица обратился к главе государства, не без иронии оглядывая его жилистую фигуру и сатиновую рубаху-косоворотку со множеством пуговиц.

— Позвольте обратиться по общественному вопросу? — сказал он, картавя.

— Какое дело? — деловито-строго спросил Калинин.

— Я сам из Курской губернии. Комиссия по культуре при Совдепе, которую я имею честь представлять, выдвинула идею, касающуюся частично религиозного вопроса, частично изъятия из школьного обучения классического наследия. Мы, таким образом, предлагаем все бездействующие церкви оштукатурить снаружи и изнутри, приспособив их к нуждам социалистического быта. Далее, мы считаем, что значение русской классической литературы преувеличено и что в сознании народа должны преимущественно внедряться творения нынешних писателей.

— Стало быть, Толстого и Тургенева выбросить? — спросил Калинин; ласковое, почти нежное выражение лица его при разговоре с народом вдруг стало жестким, глаза его вспыхнули огнем.

— Вы это предлагаете? — спросил он еще более сурово, разглядывая этого бойкого человека.

— Мы не говорим — выбросить, но мы говорим, что старая литература, а равно и церкви, как памятники архитектурного искусства, не должны иметь того значения в дальнейшем, какое они имеют теперь. Обновление общества требует от нас решительных мер на культурном фронте. И этот вопрос должен быть узаконен ВЦИК, и чем скорее, тем лучше! — сказал человек, не колеблясь в своем мнении.

— Так... так... Отказаться от своей истории, выходит, — вы это требуете узаконить? — В голосе Калинина звучала несвойственная ему металлическая нота.

— Нам особенно нечем хвастать в той нашей истории!

Громоздкий человек в синей толстовке подвинулся к говорившему.

— А ты сам чей же хлеб жрешь? Ты что ж, пустыню от России хочешь оставить? — спросил он строго.

— Я бы попросил некоторых, лишенных элементарной культуры, не вмешиваться, черт возьми! — взвизгнул, будто ужаленный, человек. — Куй серпы и молоты и не лезь туда, где ничего не смыслишь. Товарищ Калинин, я могу такую постановку вопроса оформить письменно, как документ, — от лица нашей комиссии.

Очевидно, человек этот уже больше не интересовал Калинина, он двинулся дальше и, обернувшись, коротко, непримиримо-жестко сказал:

— Придется заняться вашей комиссией вплотную. — И приказал секретарю: — Выясните, чем они занимаются, и доложите.

И уже другое, приветливое и ласковое выражение озарило его лицо, когда глаза его остановились на маленьком, одетом в рубаху и штаны из рядна мужике. Мужик этот стоял у самого барьера, положив на него свои огромные рабочие руки, и спокойно смотрел на подходившего Председателя ВЦИК. «Этот середняк, — угадал Калинин, — или ставший бедняком».

— У тебя что? — обратился он к нему.

— Товарищ Калинин! — отозвался мужик. — Без Самарской губернии не может ни одно правительство прожить. Все погибнут как есть. Потому как мы отовсюду видны и ежели мужик у нас плох, то он и повсюду плох.

Сзади засмеялись, мужик оглянулся и, не сбитый с толку и невозмутимый, продолжал:

— У меня одна корова и один конь. Корова отелилась, и наш волостной председатель теленка забрал по реквизиции, а нам сказал: «С одной коровой ты — бедняк, друг революции и РКП(б), а с прибавкой, то есть с телкой, ты сразу сигаешь в кулацкий алимент и, стало быть, становишься врагом социализма. Теленка я у тебя отымаю, а ты должон мне сказать спасибо, что я тебя же спасаю от опиума богатения. И ежели ты и впредь станешь обзаводиться телухой али быком-производителем, это все одно, хрен редьки не слаще, або производителя ты забьешь на мясо и будешь его поедать, то я опять реквизую и до тех пор покою тебе не дам». — Мужик замолчал и будто замкнулся в морщинах; на губах его играла тонкая усмешка над такой глупостью волостного председателя.

— Но ведь этот председатель тебя не обозлил? — спросил его Калинин.

— Народ, Михайла Иванович, не мелочится. Что ж злиться-то на дурака?

— Он, деятель, поди, в свое время не одну папиросу выкурил с тобой? Братком тогда был?

— Курили... Двор его рядом с моим. Да, вишь ты, облютел человек. Он без красного лоскута, без революционности и за стол не садится.

Калинин засмеялся и быстрым и крупным почерком написал в блокноте записку, предварительно узнав фамилию крестьянина: «Товарищу Тихонову теленка вернуть, а волостного председателя отстранить от должности». Спустя два часа он, озабоченный, но деятельный, поднялся к себе в кабинет. Секретарь внес тощие бутерброды с засохшим сыром и чай.

— Распорядись, чтобы весь мой гонорар за статьи отправлялся голодающим. Что агитпоезд?

— К тому сроку, как вы решили, будет готов.

Калинин окончил свой скудный обед и поднялся, закручивая папиросу.

— Сейчас я еду в Шатуру, надо посмотреть станцию, оттуда загляну к матери в Верхнюю Троицу. Скрупулезно следить за опросом народа. Крестьянских ходоков кормить за счет ВЦИК. Проследить о прохождении последних дел, связаться с наркомом юстиции. У меня

все. — Он взял свой потертый кожаный портфель, но от порога вернулся, снял сапоги, перекрутил портянки с той тщательностью, как это делают перед дорогой мужики.

Постукивая по камням палкой, в своей линялой кепке и косоворотке, ничем не выделяясь, он смешался с толпой.

VII

Выяснив положение на Шатурской электростанции, Калинин к закату подъезжал к родной деревне. Солнце медленно и величаво погружалось в окрашенную пурпурным огнем даль... Березы вдоль дороги светло горели в закатных лучах. Впереди, в желтеющих извивах, светлела река Медведица. За нею, вылизанная опустошающим палом, с выгоревшими бурыми нивами и чернеющими еловыми подлесками, открывалась хорошо знакомая картина: серые щеповые и соломенные крыши хат, ссутуленные овины, мост на выгоне, солончаковая сушь на околице. Девочка лет восьми, босая и с черными, в цыпках, ногами, в васильковом платьице, гнала с поля гусей. Она напуганно-восторженно из-под съехавшего на глаза желтого платка глядела на проезжающую тележку. Малый лет четырнадцати, уже мужик-работник, пастух, вгонял в деревню стадо коров. Скотина, поднимая густую пыль и наполняя горячим дыханием проулок, расходилась по ближним и дальним дворам. Родной запах этой незабытой жизни коснулся души Калинина. Он рассеянно и радостно улыбался, вдыхая эти родимые запахи земли и деревни. Всякий раз приезжая домой к себе в Верхнюю Троицу, Калинин не мог не испытывать раздвоенного, сложного и одновременно возвышенного чувства. Он любил эту не слишком плодоносящую, бедную землю, эти знакомые ему нивы, мужицкие дворы с укоренелым бытом, эти тихие перелески, которые так и просились на холст, что всякое пренебрежение ко всему этому миру казалось ему кощунством. Всякий раз приезжая сюда, он, не отдалившись от этого мира ни на малую долю, испытывал особое чувство личной ответственности перед этим работящим и обнищавшим народом, который породил его.

Лошадь свернула к просторному, с четырьмя окнами на дорогу материнскому дому. «Здорова ли?» — поду-

мал Калинин о матери и тут увидел ее, маленькую и быструю, в белом платке и старинном сарафане, — Мария Васильевна вышла на крыльцо.

— Ну, слава богу, — сказала мать, неизвестно отчего всхлипнув. — Ты что ж, один нонче?

— Домочадцы прибудут послезавтра, я в Шатуру заезжал, — сказал сын, целуя лоб матери.

— Ну, слава богу, — повторила Марья Васильевна и, стесняясь сына, перекрестилась.

Они вошли в дом. Калинин сейчас же снял сапоги и рубашку и босой прошелся по половицам. Мать, не молвя ни слова, принесла ему глиняную кружку квасу и, подперев рукою щеку, с любовью смотрела, как он жадно пил. Она видела, что он озабочен, молчалив и как бы весь ушел в себя.

— Михайла, поди, трудно тебе быть президентом-то? — спросила она, чутьем угадывая его тяготы. — Ить ты из мужиков, а сидишь-то вон где!

Сын ответил не сразу. Он больше обычного горбил спину, покашливая, — какая-то забота угнетала его сердце и ум.

— Трудно, мать! — сказал он едва слышно, закручивая козью ножку, но не прикуривая, чтобы не раздражать ее дымом.

— Ты тольки, сынок, всю жизню помни об народе!

— Мы, власть, без народа нуль, — ответил он ей. — Собери-ка мне банные вещи — кажется, топлена нынче банька, я пар учуял, как подъехал.

Мать принесла ему свежий березовый веник, холщовое полотенце, льняную рубашку-косоворотку и брус черного хозяйственного мыла. Баня, только что поставленная, стояла на выгоне. Мужики уже хлестались на полке, когда он, раздевшись в примылке, вошел внутрь.

— Михайла, ты, что ль? Лезь сюды! Федор, уступи место президенту! — крикнул чей-то веселый голос. «Саша Моронов, сосед, все тот же», — Калинин, покряхтывая, влез на полок, где будто сгустился жуткий жар, так что казалось, что могли вспыхнуть волосы на голове. Он лег грудью на скользкий пахучий полок и тотчас услышал тонкий свист мокрого березового веника и ощутимые удары по спине и ногам.

— Еще разок! Еще разок! Так-то, эх-ыхх! — слышал он. Калинин, щурясь, пытался уловить выражения лиц

мужиков, но все они расплывались в желтой горячей мгле бесформенными пятнами.

— Тихо ты... Эка, дурак! Чего молотишь? — сказал кто-то шепотом. Тот, кто хлестал, остановился, должно быть, испугавшись.

— Большой человек, вишь... президент, головой думай... — прошептал кто-то опять.

«Эка, шельма, ведь это Скворцов из соседней деревни», — усмехнулся Михаил Иванович, приподнимая голову.

— Что, рука устала? — спросил он.

— Да не... как бы, хм... вобче не перепарить вас, — проговорил, несколько смущенно, мужик — Калинин видел одни его белевшие в черной бороде зубы. «Вас»... всегда на «ты» звал.

— Не так-то это, брат, просто. Рука торовата, а дух посильнее. Спасибо тебе. — Калинин слез вниз и не без удовольствия плеснул медный ковшик на каменку; оттуда ударил столбом пар, что-то зашипело и загудело, будто желая взорваться.

— Еще давай!

— Так ее, нажаривай! — послышались голоса.

Иван Гуртов, огромный, как гора, мужик, слез следом за Калининым и, боясь задеть его, ополоснулся из кадки и вышел в растворенные двери в примылок. За ним вышли остальные мужики — их было человек семь. Несколько человек были незнакомы Калинину: они были соседские — из Путинок. Высокий сухощавый и поджарый старик с особенной почтительностью поглядывал на Калинина. На лице молодого, тоже путинковского, совсем еще мальчика, было выражение изумления — он не мог понять и осознать того, что это президент, который только вчера вершил правительственные дела. Они оделись и закурили. Калинин предложил свой красный кисет, и тот пошел гулять по рукам и вернулся почти опорожненный.

— Махорочку прежнюю куришь, Иванович, — сказал старик Лысанов, внимательно присматриваясь к нему и отмечая про себя: «От нас не отделился — свой».

— На папироски надейся, а махру береги, дед, — ответил он.

— Оно так.

— Михайла, как же оно выйдет-то? Мужик слоится. Мы до землицы дорвались. А счастлив я буду с ей-то?..

— Должны мы вырвать мужика из нужды, должна в нашей великой русской земле укорениться справедливость! — ответил Калинин тихо.

Все в молчании докуривали закрутки и думали.

— Дай-то бог, — сказал старик Моронов. — Что, Михаил Иваныч, утречком покосить не желаешь ли?

— Нет ничего милее, Федор. Куда направимся?

— На Тетьковскую дорогу. Не позабыл, чай?

Вернувшись в материнскую избу, Калинин с домочадцами сел вечерять. Сидели за большим скобленым, чистым дубовым столом, тянулись деревянными ложками в общую глиняную чашу: ели ботвинью. На дощечке был нарезан черный жесткий хлеб, а больше ничего не было из еды, кроме половины горлача молока.

VIII

Было мглисто и туманно, когда Калинин с двумя мужиками, молодым и старым, вышел на едва белеющую Тетьковскую дорогу и, пройдя изволок, вместе с ними подошел к опушке леса. В деревне, сзади, один за другим кричали первые петухи. Ближнее, открывшееся с этого места поле было подернуто плотной пеленою тумана, и ушедшие вперед косцы едва различались в чуть брезжущем свете. Звезды давно уже утратили свой блеск и какие уже сошли, какие еще оставались на небе и молочно белели в полутьме. Все на земле было тихо, успокоенно и счастливо. Один тоненький, как стеклянная горошинка, голосок зорянки звенел в березняке на опушке. Когда они подошли, два старика, один троицкий, другой путинковский, сидели под телегами и отбивали косы молодых, которые не были готовы для дела. Подойдя к остальным мужикам, Калинин заметил, что они как бы стеснялись; теперь между ними, как и раньше, не было отчуждения, но он также не мог не прочитать нового выражения на их лицах. Значило ли оно то, что они удивлялись такой прежней мужицкой простоте президента, или же то, что односельчане как бы испытывали его: «Раньше ты косил, это мы знаем, а вот теперь поглядим. Люди меняются. Ты все же приехал не с поля, а из Кремля».

Луг, на который они стали, тянулся опушкой березового и елового леса и одним концом подходил к мелкому оврагу, а другим упирался в Тетьковскую дорогу. От оврага шла наиболее заматеревшая, с будыльями конского щавеля и татарника, трава, которая была очень трудной для работы. На заход стали само собой образовавшимся порядком. Первым выдвинулся старик Моронов, ловкий на ногу, в холщовой, с черными от пота кругами на лопатках, рубахе и в домотканых портках. В затылок ему пристроился Егор Агишкин, плоскогрудый курчавый мужик лет сорока пяти. Другие как бы по ранее составленному плану, не мешкая и не путаясь, разбились за ними. Калинин чувствовал, что ему надо было стать на трудную траву, где было много татарника и будыльев близ оврага, — и он зашел на это место. Он был крайним косцом, а впереди его пошел путинковский высокий мужик, паривший его в бане. Раза два он оглянулся на него и подумал про себя: «Было бы упущением не воспользоваться таким случаем, вона как — рядом-то сам президент! Надо осторожно — авось напишет, гляди, бумажку...» Послышался слитный и сочный хряск опущенных разом кос и подрубленной жесткой травы. Легкая и старая, так памятная Калинину литовка его с источенным жалом тонко повизгивала сталью, когда он ее заносил. «Коса-то моя, кажется, состарилась, не для этакой травы», — отметил он про себя, давая свободные и крупные отмахи. Он ходко и споро, без всяких усилий, откладывал свой ряд, медленно, но упорно надвигаясь на густую буреющую стену травы, и слышал, как с усилием жало резало репей и татарник. Мышцы рук и всего тела помимо его сознания делали свое дело. Как опытный косец-работник, он знал, что прокос его выходит широким и захватным, и трава рубится под самые коренья, не оставляя ни единой былки, но, однако, его не покидало сомнение, хорошо ли выходит. Передний Федор Моронов дошел до конца ряда и, широко ставя свои разлатые ступни, стал на новый. Другие молча сделали то же самое. Все они, не сговариваясь, поглядели на мастерски вырубленный в тяжелой траве прокос Калинина, и Федор сказал:

— Егор, стань-ка сюды, вишь, Михайле трудно.

Агишкин направился было на этот ряд, но Калинин, потряхивая литовкой, опередил его.

— Сам управлюсь! — сказал он строго-решительно.

Глубоким подсознанием он угадывал то испытание, которое проходил здесь сейчас, и, что если бы он смалодушничал и уступил тяжелую траву Агишкину или кому другому, он, без сомнения, проиграл бы в их мнении о себе. Но одновременно мужики и берегли, и жалели его силу, которая должна была понадобиться для государственных дел. Поэтому Моронов повторил опять:

— Плохая трава, татарник проклятый. А то стал бы повыше?

— Нет, брат, не такая она и страшная, — ответил Михаил Иванович.

Он улыбнулся какому-то, уже далекому, отроческому и дорогому воспоминанию.

Малиновая, еще смутная заря играла над вершинами леса; легкое, едва ощутимое дуновение горячего ветра проносилось над лугами, почти не касаясь их, и сушило скудно павшую в ночь росу на скошенной и стоявшей бурой траве. Путинковский мужик, раскачиваясь длинным туловищем, подошел к Калинину, опять желая услужить ему, — он предложил свою литовку.

— Ваша-то изъедена, — сказал он на «вы», опасаясь допустить панибратство и ругая себя за то, что в бане обратился к нему на «ты», — возьмите-ка мою. Огонь, да вы спробуйте!

Калинин отказался.

— Спасибо, я к своей привык, — ответил он.

«Вишь, не принял, хуже дело», — отметил мужик, откладывая ряд.

Так, ни слова не говоря, они прошли еще пять рядов, не замечая того, что мир уже совсем пробудился и начинала все заметнее сказываться духота. Дойдя до конца ряда, около оврага, где под раскоряченной ольхой голубел прозрачный источник, мужики, и Калинин тоже, обмакивали сталь лезвий в воду, вытирали их травою и, зажав косовище между колен, ловко перехватывая брусок с одной стороны на другую, точили косы. Так продолжалось через определенные промежутки времени. Чем дальше продвигались они по лугу, тем гуще, выше и матерее делалась трава; чаще и чаще попадались замшелые, с жестяной листвою кусты, кочки, и Калинин, зорко и обостренно наблюдая за ними, то резал траву носком, то нажимал на пятку, обходя проволочно-

жесткий дерновник, каплями крови кое-где краснеющие ягоды земляники, гнездышки перепелок и испытывая при этом новое и радостное чувство. Когда же он срезал ягодник, он огорчался этому, и в то же время внутренний голос говорил ему, чтобы он не расхолаживался, а косил бы еще упорнее, потому что от его взора не укрылось то, что теперь между косцами как бы шло состязание. На переходах, не останавливаясь, то один, то другой мужик снимал исподнюю рубаху и, блестя бронзовой спиной, вновь становился на ряд, ритмично отбрасывая косы и покряхтывая им в лад, чтобы выходило сподручнее.

Солнце уже жгло так сильно, что и трава и воздух раскалились и звенели. Старик Моронов остановился, поглядел из-под ладони на солнце, потом на огромную выкошенную луговину, дивясь тому, как много они сработали, и, широко ставя свои вывернутые, обутые в лапти ноги, направился к телегам обедать. В тени раскидистого дуба они развернули узелки с харчем — темный хлеб, соль и квас — и, кто накрошив тюрю, а кто посыпав на ломти соль-бузу, сели обедать. Старик Титов, разув лапти и развесив на куст сушить новые белые онучи, пошевеливая широкими, с уродливо разросшимися пальцами ступнями, сотворил трехкратное знамение на восток.

— Ах, хороша тюрька, — сказал он, предлагая ее Калинину. — Ну-ка, Иваныч, отпробуй.

— У меня, брат, свои харчи. — Он развернул узелок в цветастом материнском платке, где лежал такой же, как и у них, хлеб и кусок отваренной говядины. Он разделил ее между мужиками — Мороновым и Титовым, оставив себе меньшую долю, хотя те отказывались брать, заявив ему: «Тебе боле надо».

Над выкошенным лугом стоял знойный желтый дым испарений и блестели слюдянистые крылья ос. Покончив с обедом и отдохнув самую малость, еще до спада жары, они вновь поднялись и перешли на новое место — косить по березняку. Здесь стояла такая же высокая, но более мягкая, местами даже сочная и хряская трава с белыми звездами ромашек и пестреющая иваном-да-марьей. Как и зачем они вышли на этот чужой луг, который не могли делить между собой, так как здесь всегда косили бабы-солдатки, мужики не могли бы отве-

тить. Они испытывали жажду работы и входили во все больший азарт. Опять двинулись прежним порядком и пошли по звучно откликающемуся им березовому лесу, обходя деревья и подбирая подчистую всю, как есть, траву. Ряды выходили на опушку и с другого конца спадали к реке Медведице, тихо звеневшей и светлевшей на перекатах. Через два-три ряда Титов вынимал из-за пазухи берестяную кружку, черпал прозрачной воды и, передавая ее по кругу, повторял:

— Хороша водица!

Калинин заметил, что вначале кружку передавали ему, делая это из почтительности, но потом такой порядок смешался сам собой, и он был очень рад, что это случилось. Не только не было между им и мужиками стены, но и исчезла подчеркнутая почтительность, которая была столь ощутимой в начале работы. Солнце между тем уже зашло, но было еще светло, и напряжение работы не только не убавилось к концу трудного дня, но усилилось еще больше. Теперь слышался один звук работающих кос, чье-то покряхтывание, изредка брошенное слово, когда становились на новый ряд. Казалось, какая-то глубоко сокрытая сила двигала людьми без тени сознания собственной выгоды от работы (они косили уже не для себя), и на всех лицах косцов было одно выражение напряжения труда и ясности. По лесу уже начали сгущаться тени сумерек, острее и слаще запахло скошенной знойной травой, упоительнее разносился бой кузнечиков; однако запал работы все прибывал, мужики шли все упорнее, забыв о передышках, и только, когда уже легли потемки, Моронов вдруг как бы опомнился и остановился, разгибая спину и оглядываясь.

— Пора кончать, хорошего понемножку, — сказал он.

Домой в деревню они не пошли, намереваясь спозаранку прикончить этот луг, а разожгли маленький костер, помылись в реке и, наскоро повечеряв, начали укладываться спать.

IX

Но, несмотря на усталость, мужики отчего-то не могли заснуть, все разом закурили махорки Титова, лежали и о чем-то думали, глядя на сплошь обсыпанное яркими

звездами небо. Калинин лежал под кустом жимолости рядом с Иваном Гуртовым и не столько видел, сколько догадывался о его трогательной детской улыбке на жестком, обросшем лице. «Что ж стоит наша работа, борьба и жизнь, если этот прекрасный человек не найдет себе своего счастья, — думал он, слыша потрескивание цигарки. — Сколько неискоренимой силы и доброты в нашем славном народе! — повторил он вновь, находя в этом понятии особенный и огромный смысл. — Только вот чего я все не пойму: осознает ли он сам в себе эту могучую силу, чтобы больше ценить себя и беречь друг друга?»

Федор Моронов глядел на разгорающееся оранжевое зарево месяца и, тщательно притушив цигарку, упорно думал... Думал же он о каких-то огромных пшеничных и богатых землях, о братстве и о полном мужицком счастье, о том, что все это три дня назад приснилось ему, когда лежал он на своем старом сеннике на полатях, жгли его тело огнем мелкие блохи, сопел в закуте теленок и сладко почмокивало в зыбке дите.

— Сон я видал, мужики, ей-бо, три дня прошло, а вот не выходит из памяти, — сказал он, и в голосе его задрожала высокая нота.

— Энту бряхву, то исть про сны, мы знаем, — сказал, зевая, Иван Гуртов.

— Нет, брат, погоди! — возразил Федор, расправляя под боком траву. — То, ей-бо, особый сон. Будток, братцы, долго шел, шел я, стало быть, по какой-то белой дороге. Кругом не пуше нонешнего — сушь, мор, голодуха, бесхлебица, серые деревеньки. А я все, брат, иду себе по этой дороге, а она все не кончается, и мне и жрать и пить охота, и взопрел я на духоте, и из силенок выбился. А меж тем никак не могу остановиться, как все одно кто толкает меня в спину, едва не бегу — и сам я какой-то оголтелый, как бы хочу дойти до другой земли, как бы сказать — до земного рая. — Федор передохнул, сделав паузу, а Гуртов поворотил к нему лицо и насмешливо спросил:

— Ну и дошел?

Жизнь давно уже мяла его своими зубьями, и, не ожесточившись, он, однако, считал, что такого рода мечтания — людская блажь, которой обманываются люди.

— Ну и как, увидал его? Рай-то? — спросил он с еще большим скептицизмом и незаметно плюнул куда-то вбок.

— И вот, брат, кончилась эта дорога, все кончилось, и вошел я в долину. Это, как бы сказать, пашеничная земля. Глянул я — царица небесная, колос едва не на пол-аршина, а дале сады со всевозможными хруктами, а за садами город какой-то. Весь он белый, белей снега, и оттеда, брат, этакий малиновый звон разносится. Молодухи в нарядных сарафанах, мужики все обритые, ни на ком не видать бороды, все в кожаной обуви, и все, брат, в хроме, аж блеск стоит. Царица небесная, что б мне глаза лопнули, ежели брешу. Подхватили меня под руку и ввели меня в тот белый город. А он весь из камня, домины все одинаковые, и все кругом камень, какой-то гул, и люди все на улицах, целыми толпами, но видно, что не сами по себе, а подчиненные общим помыслам. Да, однако ж, по первому виду вроде и счастливы! Ввели меня в дом, этакой машиной подняли кверьху. И повели по квартерам, тоже одинаковым, и все они зеркальные, все выделано и налакировано, и такая чистота. А мне стыдно лаптишек, зипуна. Стою, брат, я, пялю глаза. Вышел человек, поглядел на меня: «Скидывай все, — говорит, — с себя и позабудь все прошлое».

Надел я одежу, и так-то, брат, легко стало мне... И правда, упоминать ничего не хочется. И тут бы жить по-новому-то, да вот, очнулся. Царица небесная! Где ж это я был, думаю, не опамятуюсь никак. Что за черт! Ни долины нету, ни белого города, а лежу я в своей старой хате и на полатях.

— В ей-то надежнее, — сказал Гуртов, вновь закуривая. — Не обольщайся, говорят, шелками, были бы крепкие штаны. Как бы в том-то белом городу бездомной собакой не завыл!

— Да ить что-то и брезжит неведомое нам всем напереди?.. — сказал Егор Агишкин, почесывая и поджимая ноги, отчего он казался подростком.

— Что ж, Федор, ты хочешь себе другого коня нажить? — спросил Калинин Моронова.

— Этот-то, вишь, подбился, стар стал. Надо, видать, растить, — ответил тот.

В это время к Калинину подсел путинковский старик. Сын его, молодой малый, как столб остановился

около родителя, должно быть заранее стесняясь того, что хотел сказать отец.

— Михайла Иваныч... — начал старик льстивым тоном, с нотками неискренней почтительности, — как есть вы, стало быть, наш великий деятель и как есть мы до вас не могем дотянуться и всячески вас почитаем, то я б по душевности просил вас устроить... как-то получше сынка мово в Москве?

Стало быть, просьбица похлопотать по-земляцки, по суседству, Михайла Иваныч, — еще льстивее выговорил старик, — и вам, как великому деятелю, гм... это все возможно. Малый мой услужливый, дело поймеіь.

— Что ж, ты не дорожишь уже крестьянской жизнью? — после порядочного молчания спросил Калинин.

— Известное дело — я мужик. Как не дорожить? Да тольки нонче время боевитое — другие вона, в люди выходят. И мой сынок ить не рыжий... Шея-то, промежду прочим, не воловья. Нынче не тот толк в хрестьянстве-то...

«Его обозлили, и потому я не могу быть злым к нему, но и сделать тоже не могу», — подумал Калинин.

— Стыдись говорить такую просьбу, — ответил он с укоризной, покачав головой.

Неловко шаркая ногами, старик отошел. «Нет, брат, неровня... Справедливым, вишь, хочеть быть! А где она есть, коли спросить, справедливость?» — Он будто помраченный глядел на светлую, резавшую глаза Полярную звезду, словно она должна была ему ответить на это.

Постепенно все заглохло. В середине ночи Калинин очнулся, опомнился, где он, и, чувствуя потребность движения и испытывая счастье от красоты ночи, легко поднялся с земли. Земля и трава уже слегка запотели, и и по низине белой мглою подымался душистый туман. Звезды еще не сместились со своих мест, но Млечный Путь склонился ниже к горизонту, и в небе виднелась будто светлая просека — дорога, слегка освещенная заревом месяца. И люди, и птицы, и земля, и трава — все

было погружено в крепкий, ничем не нарушаемый предутренний сон. На лице Федора было то выражение ясности, какое присуще людям, спокойно и уверенно делающим свое главное дело в жизни. Иван Гуртов, русский богатырь, лежал вверх лицом, как бы могуче и надежно подпирая собою эту прародительскую землю. Босые ноги и руки его были далеко раскинуты. Широкая, как маховик, грудь, прикрытая армяком, ровно и сильно дышала. Теперь лицо его было не суровым и не насмешливым — оно выражало радостное, светлое и умилительное чувство, как будто он во сне прозрел какую-то вдруг открывшуюся ему тайну жизни. Егор Агишкин, нахмуренный и с пустым мундштуком в углу обросшего рта, лежал боком на котомке, в холщовой домотканой рубахе и портках. Старик Титов спал у самого комля дуба; в прорехе его клетчатой рубахи виднелся медный крестик и маленькая ладанка, которую он носил уже тридцать лет, веруя в то, что все-таки бог пошлет ему когда-нибудь счастье. Лицо его, как и Федора, было тоже ясным. Путинковский старик, которому Калинин отказал в его просьбе, и молодой малый, его сын, лежали с северной стороны дуба. Лицо старика теперь не было хитрым, оно казалось плоским и серым, под цвет земли; малый, лежавший навзничь, казался мальчишкой, только что начинавшим осознавать жизнь, и это было написано на его круглом миловидном, еще не знавшем бритвы лице; теплые вишневые губы его были полураскрыты и шевелились.

Кругом было ночное успокоительное безмолвие; в далеких пространствах, на восточном склоне неба, уже пробегали тревожные сполохи кроваво-краснеющей зари.

X

Обратный путь казался короче — кони несли домой. Короткий ливневый дождь настиг на третий день — уже за Вязьмой. Дыша прохладой, за маячившие холмы уходила туча. Сладостней пахнуло от лесов, оживших под благодатным ливнем. Лишь поля были те же, чугунночерные и пустые: без хлеба.

Ехали под раскинутой радугой, сиренево-дымчатые, с приголубью столбы, словно смутные ворота в рай,

вели и манили в неведомое. Еда давно вышла — ехали другой день, не взяв в рот маковой росинки. Лукашкин видел: жеребец его — провались он, неладный! — давно уже тянул из последних сил. Он смотрел, как тухнет, подергивается флером радуга, как остывает ее зовущий след, и вот угасла совсем, а рая нет и нет... Вздохнув, закрыл глаза. Голос Калинина продолжал еще звучать в его ушах. Переворотил, переехал будто полозом. Что же он оставил ему? Чем обогрел душу? Разбираться надо было и думать...

К обеду на горах замаячило Высоково. Версты через две синей лентой открылся в лугах привольный Днепр, и сразу овеяло родным простором. Жито дожинали бабы да такую песню тянули вдовью, грустную. «Эх, житуха!» Миновали пыльную, хорошо знакомую окраину мещан: до Лукашовки оставалось шестнадцать верст. Жеребец начал спотыкаться, хрипеть, и Лукашкин с тревогой подумал: «Пропал!»

Колеса гулко стучали по иссохшей, с глубоко пробитыми колеями дороге, бежали пыльные и будто уставшие за долгое лето ракиты, промелькнул и скрылся за полем темный на фоне неба ветряк. На заходе солнца, когда небо сказочно озолотилось и въехали в лес Зимовной вырубки, Дымков пошевелился, первый раз за всю обратную дорогу произнес:

— От его-то глаз не укроешься.

Отъехали с полверсты, и Лукашкин сказал:

— Вот это правда.

И еще за бугром прибавил:

— Дай-то бог ему пожить. Дай-то бог!

Дымков опять упорно замолчал, поглядывая на лес, тающий за поскотиной.

— А такой маленький из себя... — начал Лукашкин, но, отчего-то не договорив, внимательно присмотрелся к жеребцу. Тот круто поводил запалыми боками, спотыкался.

— Все ж недаром съездили, — сказал Дымков, отряхивая картуз от пыли.

— А ежели Востряков с Гришкой возьмут-то свою линию? Тогда как?—В ожидании ответа Лукашкин ненужно перебирал вожжи, рассеянно смотрел на угасающую полосу заката. Хрястнуло дышло, жеребец Лукашкина как бы оступился, упал на передние ноги, разрывая по-

стромки и шлею, забился в судороге. Оскалив зубы, жеребец словно норовил в последний раз ухватить портки хозяина — отомстить за свою конскую каторжную жизнь.

— Сдох! — спокойно и тихо, как посторонний, сказал Лукашкин, точно не хозяин он ему был многие годы.

Несколько раз обошел вокруг.

— Что же это делается?!

Лукашкин вдруг, сморщившись, раздавленный жалостью, страшно всхлипнул. Дымков, все так же не шевелясь, сидел в передке телеги. Обрезав прихваченным ножом постромки, Лукашкин, шаркая ногами, пошел вперед по дороге. Дымков, не обгоняя, тихо правил своим одним конем. На завороте дороги Лукашкин обернулся и, стыдясь недавной своей слабости и слез, с укором себе сказал:

— Вот и спас, тьфу-у!

Дымков все молчал, думая о чем-то. Чертило колесо, железный острый звук взвинчивал и без того обостренные нервы.

— Знал бы где упасть... — пробормотал растерянно Лукашкин и тихо позвал: — Игнат?

— Чаво?

— Как же, говорю, теперчи? Какой я мужик без коня?

— Жизнь-то не убитая, не надрывайся, — мягко сказал Дымков.

— Был хозяин, а нынче, а? Эх, ты, святый боже, смордовал-то.

Дымков не ответил, молчал — из-за бугра показалась родная Лукашовка.

XI

В конце лета стало ясно: белое движение повсюду или окончательно рухнуло, или же дело близилось к тому.

Надежда на мятеж в губернии не сбылась. В отряд в мае пробрался человек, сообщил страшную весть, что всюду захлебнулись атаманские мятежи, Дон утихомирился, крупные банды разбиты. Эта новость вызвала у полковника Барышникова такой приступ ненави-

сти, что у него затряслись руки, когда он услышал об этом.

— Слюнтяи безмозглые! — говорил он, отрубая каждое слово сквозь разжатые губы. — У меня никогда в этом не было сомнения!

Барышников велел собрать отряд на поляне перед землянками. Сухмень жары, как в пекле преисподней, обнимала удушающим палом Зимовную вырубку. Барышников, с исхудалым лицом, в расстегнутом кителе, мрачный и сосредоточенный, вышел из землянки.

— Повсюду, вероятно, дело плохо, — сказал он, избегая испытующе устремленных на него взглядов. — Но борьба не утихла, не кончилась. У нас нет другого выхода, как драться с большевиками. Мы русские, храбрости нам не занимать, мы не пощадим живота. Другой дороги у нас нет!

— Стало быть, мы теперь одни? Ежели всюду провалилось? — спросил рябоватый, плоскогрудый мужик, приставший к отряду зимой.

— С нами русский народ! — воскликнул с пафосом Барышников; должно быть, он не верил в это сам и не столько их, сколько себя, убеждал теперь в этом.

Михаил Дымков подошел вплотную к Барышникову и, скривив лицо, сказал не без ноток сарказма:

— Это вы брешете: не с нами он. И в том наша беда! — Дымков, рванув ворот рубахи, устало прислонился со смеженными глазами к стволу дуба, испытывая одно чувство — усталости и смутной, захватившей его душу тоски.

Разошлись угрюмо и молча.

После полудня Дымков оседлал лошадь, гибко прыгнул в заскрипевшее седло. Барышников внимательно смотрел на него.

— Ты куда?

— Съезжу в свою деревню. Тоска схватила... Матушку нынче во сне видел. — Он махнул рукой, тронув лошадь.

— Подожди... — Барышников на своем гнедом жеребце догнал его в конце мелкого сухого оврага. Дымков тяжело и хмуро обернулся на него.

— Вы-то зачем?

— У тебя, значит, родина, а я безродный пес? —

спросил он, и голос его горько дрогнул; Барышников отвернулся с увлажнившимися глазами.

Заповедная, глухоманная горячая немота стояла кругом. В лощине Дымков спешился и, угадывая по памяти, отыскал в кустарнике источник. Сквозь бурую траву, прозрачная и ясная, как небесная лазурь, голубела родниковая вода.

— Ишь ты, ключ уцелел! — прошептал он и, припав, долго пил с закрытыми глазами; выражение лица его стало мягким и ласковым.

Барышников, тоже с жадностью напившись, взглянул на Дымкова.

— Слушай, Михаил Игнатович, ты ведь меня не хочешь признать своим? Я это чувствую!

Дымков проехал молча с полверсты.

— Нынче нам нечего делить, полковник, хоть мы и разный ели с тобой хлеб, да Россия — она одна! — сухо-сдержанно ответил он ему.

На развилке двух старых заглохших дорог, под кустом калины, виднелась нелепо расползшаяся могилка. Барышников бессознательно спешился, медленно приблизился к ней и трижды судорожно перекрестился.

— Вы... ты что? Что с тобой, Аркадий Николаевич?

— Чья это могила?

— Кто ж его знает?.. Мало ль чья угомонилась душа.

— Мне показалось... Отец где-то пропал. — Он осекся, горбя узкие плечи, тяжело сел и подстегнул коня. — Я чувствую одиночество, Дымков, да и не чужая же мне эта земля!

Кони вынесли их на опушку. На поля ложились сумерки; в версте, сквозь кроны деревьев, блестел церковный крест и виднелась зеленая крыша бывшего господского дома в Алексине; правее, спускаясь с изволока, раскидывалась так знакомая Михаилу родная Лукашовка! Поля и дороги тонули в великой необозримости...

— Осторожнее... Я тебе, полковник, не советую ехать в Алексино, — проговорил Дымков.

— Посмотрю хоть издали. — Тот тронул жеребца налево и вскоре исчез в кустарнике.

С застившей глаза мутной пеленой Михаил спустился с бугра; все ближе подступала к нему родимая крыша, скворечник на клене, знакомый плетень и краснев-

шая на нем перина. На задах огорода он подождал, пока стемнело, и тихо, с бьющимся сердцем въехал на свой двор. В окошках краснел свет, донесся материнский голос... Он, не чувствуя ног, вошел через незапертые сенцы в хату. Игнат сидел на лавке и портняжничал. Он смотрел на сына, как бы не узнавая его. Старуха стелила полати, обернулась на стук двери и вдруг, вся обомлев и задрожав, с громким воплем кинулась к нему.

— Матушка... Ты погоди... Ты погоди... — Михаил был не в силах говорить, голос его рвался. — Как же ты? Здорова?

Старуха парализованно дергала головой и повторяла одно и то же:

— Мишенька, сыночек!.. Мишенька!..

— Что ж, покаянную голову милуют, — проговорил Дымков в напряженном молчании. — Иди утром в волостной Совет!

— Батя! Я не могу, не поверят мне! — ответил он после мучительного раздумья.

Они наскоро повечеряли. Старик молча смотрел на сына. «Душа взвыла, запутался — пропадет», — жгла его горькая мысль.

— Другой дороги у меня нет, — повторил Михаил, чутко прислушиваясь к улице и все боясь смотреть на отца и на мать.

В деревне постепенно все успокоилось и уснуло, и теперь в тишине дома разносились только звуки сверчка. Старуха, стоя на коленях перед лампадой, шептала прерывистые молитвы. Сын знал, что она молилась за него. Михаил, не раздеваясь, только сняв сапоги, лег на перине в горнице, слушая материнскую молитву и испытывая минутное блаженство, стал засыпать под нее. «Ах, как хорошо: я дома!» — еще раз мелькнуло в голове у него. Вдруг быстро, в одном исподнем, вошел отец.

— Спишь, нет? — строго спросил он.

Михаил растроганно улыбался, услышав запах отцовской трубки. «Господи, неужто я дома!»

— Тебе страшно, Михаил! — сказал Игнат, стараясь уловить растекающийся взгляд сына.

— Я России служу, я жизнью за нее играл, как в орлянку! Мне нечего страшиться.

17*

— У тебя руки в крови, сын!

— А моя кровь, ай вода? — крикнул сын натужно. — Я ее на полях сражений проливал!

— Ты кровью запятнанный, — опять тихо повторил отец, — ты страшишься. Помню — был чистым дитем. Тебе мать чистые песенки в колыбели пела.

— А кто их у меня отнял? — страшным и хриплым голосом спросил Михаил. — Во имя кого я бьюсь нынче?

Отец молча покачал головой и вышел. Михаил чувствовал смертельную усталость и стал проваливаться куда-то в пустоту. «Я ей, России, одной служу», — повторил он сам себе, засыпая и чувствуя тяжесть оттого, что лгал.

Весь двор, что было в нем живого, погрузился в сон, и в этой полуночной тишине не спала и бодрствовала одна старуха мать. Она то шептала перед зажженной лампадой свои заученные молитвы, прося бога простить ее сына, то тихо, не издавая ни звука, входила в горницу, становилась, как привидение, у его изголовья, не спуская с него глаз своих. Она не могла обмануться в материнском чутье и хотя и смутно, но догадывалась, что видит его в последний раз. Косая тень от ее неподвижной фигуры висела на стене. Серебристый месяц светил в окно, и она видела размягченное во сне лицо сына и одновременно вспоминала свою тяжелую, крестьянскую жизнь, как носила его. Слезы жгли душу старухи; теперь она плакала по судьбе сына, потому что он был отверженный, как волк, и ужасалась за его будущее. «Господи, сыми с него кару — помилуй мово сына!» — без конца шептали белые губы старухи.

Месяц сдвинулся ниже к лесу, и в саду по вершинам яблонь и вишен проносилась свежая струя живого воздуха; пасшиеся за рекой кони легли в траву и смутными пятнами виднелись сквозь вставший к близкому утру белый туман. Старухе казалось, что бог слышит ее молитву, и потому она еще жарче и самозабвеннее начинала шептать.

Вдруг какой-то толчок заставил пробудиться Михаила. Он инстинктивно, еще не открывая глаз, сунул под подушку руку и, ухватив наган, сел на постели: его бил мелкий озноб, в руке дрожал наган.

— Не подходи, убью! — прошептал он, нашаривая ногами сапоги.

— Сынок! Это я, сынок! Что ты, дитятко? — заплакала мать.

Он положил наган в карман. Потом, как подрубленный столб, качнулся и стал на колени перед матерью.

— Прости меня, матушка! Мои руки в крови. Один убитый приснился... Я его месяц назад в Торжке кончил... Матушка! Страшно мне!..

— Ты, Михайла, погоди-ка, погоди, счас образ святой богородицы принесу... — Она, шаркая ногами, сходила в красный угол, принесла икону. — Молись, сынок, молись!

Сын перекрестился и встал, будто смущенный перед матерью за свою слабость; он, большой, со вздрагивающими руками, стоял перед ней. Крик первого петуха за стеной будто толкнул в спину Михаила. Он быстро обулся, торопливо обнял мать и вышел в прихожую. Старуха, путаясь ногами, принесла заготовленную с вечера сумку с харчем.

— Ох, что ж ты! Отца разбужу!

— Не надо.

— Счас выйду, спровожу. Постой!

— Прощай! — Ему было тяжело видеть материнские слезы.

Михаил быстро оседлал лошадь под навесом сарая, вывел ее за ворота и, коршуном вскочив в седло, не оглядываясь, с места взял машистой рысью. Кобыла, екая селезенкой, прыгнула через канаву, понесла луговой тропой к чернеющей Зимовной вырубке. На востоке, за спиной всадника, по стоявшим караванам облаков зажглась и засквозила бруснично-кровавая заря. Старуха Дымкова, не помня себя, долго бежала следом за своим сыном и, почувствовав слабость в ногах, припала к чьему-то плетню, трясясь сутулой спиной и подавляя рыдание.

Ночь... С дальних гребней востока пришла и опустилась глухая осенняя тьма. Над холмами, над дорогами и хлебными равнинами русской земли зажег зарево месяц. Голубыми бриллиантами обсыпали небо звезды. Ни единого звука, ни единого движения нет нигде по

всей великой, распростершейся на тысячи неизмеримых верст земле. Осиянное призрачными звездами, все живое погрузилось в сон. Нет скрипа телег на ухабистых нескончаемых дорогах; не шелохнется вода в малых и необъятных реках. Нигде нет ни ругани, ни вскрика, ничего злого нет в этом заснувшем мире. Облитая сиянием, древняя славянская земля ровно и могуче дышит. Спит, свесивши с теплой печи тяжелую руку, усталый крестьянин. Грезит голубые сны и улыбается малиновыми губами в своей зыбке недавно родившийся младенец. Стоит тишина у его изголовья. Тихим и ласковым покоем объят мир. Сколько могучих, новых, животворящих сил рождается в такую пору на этой великой земле! Какие новые дороги откроет она всему свету завтра?! Что погибло и что родилось в ночи?.. И отчего захватывает дух, когда глядишь ты на эту землю?.. Все дальние углы земли как бы невольно прислушиваются к ритму дыхания исполина; вся Европа невольно обратила на него свой взор. И незыблемое спокойствие, как отсвет зарева, ложится на нее. Все мелкое кажется еще ничтожнее перед этой распростершейся землей и ее силой, все страсти и прихоти людские тускнеют перед ней. С востока до западных горизонтов, до европейских равнин, от южных гор и до северных морей раскинулась эта исполинская земля. Пусть будет много у нее хлеба, любви и добра, и тогда счастлив будет целый свет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



Востряков никуда не показывался; секретарша в приемной всем говорила—болен. А был он все так же крепок и здоров. Пережидал Тихон Федосеевич сумятицу со злосчастными коровами; укрылся, как в крепости, ушел на время от глаз — побаивался выводов о себе вверху... В подшитых звериных унтах, в просторных штанах и беленой домотканой рубахе днями сидел в своем доме или под горой, у самого Днепра. То что-либо стругал, то ладил потихоньку примус, а как приходили люди в прихожую, слушал: что за человек там? И уходил в свой кабинет, за дубовую дверь гостей не пускали — болен! И даже для своих взрослых дочерей и угреватого сына-подростка он больной, не иначе. Девки болтливы и тупы — на них понадейся. А жена? Хитра и опытна, верная, в беде никогда Вострякова не оставляла, ждала с царской каторги. А беды были, жизнь уже протянулась длинная — пятьдесят минуло... Черно поблескивала телефонная трубка: так вожделенно тянет, неотразимо призывает к себе. Вчера еще Матвеев из коммун не вернулся, будет ли сегодня? Какие привезет вести, что творится там? Коровы эти со второй лошадью... Востряков сильным зверем ходил по кабинету, рассеянно пробегал глазами по книгам — ими заложена вся стена из грубо сколоченных дощатых полок. Одна ему так дорога и памятна, такой тонкой струной звучит и до сих пор — толстый том Лермонтова 1910 года. Она была с ним сперва в «Крестах», в мокрой каменной дыре, где высидел он полтора года, потом в заплеч-

ном мешке ушла вместе с ним в мороз, в лютую каторгу Сибири. Пальцы касаются дорогой страницы, и музыка поднимает и поднимает:

Выхожу один я на дорогу...

Один... Он тогда ушел, отрекся от ямщицкой отцовской воли, от дома его, от выгодной женитьбы, от потайных капиталов (они-то хранились у отца, сын знал), не услыхал и слез материнских — зелененьким в революцию ушел. Один...

Сквозь туман кремнистый путь блестит...

А какой же ему путь был уготовлен — разве не кремнистый путь? В «Крестах» его били, каленым железом жгли...

Вошла жена, Аглая Порфирьевна, высокая, с той дородной сановитостью во взгляде и движениях, какая уже все реже и реже встречается на Руси.

— К тебе Замялов. Пускать?

Востряков присел на диван, держа на отлете старую и дорогую ему книгу, секунду подумал.

— Пусти.

С ним одним, как казалось ему, можно было говорить о сокровенном.

Замялов вошел почти неслышно, остановился у порога, сказал:

— Матвеев вернулся, Тихон Федосеевич.

Востряков повернул голову, всматриваясь в лицо этого верного человека. Замялов глядел на тупые носки рыжих яловых сапог. В красную, набрякшую шею влип воротник суконной черной толстовки. «И рубаху шьет под меня!» — И, впервые осененный этой мыслью, Востряков отвернулся.

— Можешь идти, товарищ Замялов.

Но тот стоял все в той же позе преданного великомученика, готового переносить все удары судьбы, — он один умел так стоять.

— Что такое еще?

— Коров единоличникам не всех вернули. Двенадцать штук околело.

Востряков уже знал: бюро укома поддержало Матвеева. Как это проходило, он не знал, но это было, и он задумался.

— Еще что?

— Миронова зря выдвинули...

— Зачем тебе нужно место заместителя председателя исполкома?

— Как хотите, Тихон Федосеевич, мои грехи малые, вам же хуже...

— Ты на что намекаешь?

— У меня в папке письма мужиков. Полное лицо Миронова!

— Шантажируешь?

— Если бы узнали о проделках Тиунина?

Востряков во все глаза глядел на тишайшего человека, исполнявшего безмолвно любое его поручение.

— Тьфу... — И не знал: или прогнать его, или еще слушать.

— Не в одном Покровском дело... В «Правде» имеются случаи мордобойства. Лично товарищем Липняковым. Я только констатирую. А товарищ Липняков — ваш выдвиженец, это знают все. Почти друг.

— В губком заяви, в контрольную комиссию, не знаешь?

— Нельзя, Тихон Федосеевич, в контрольную.

— Пожалел? А?

— «Огни Октября» и «Заря социализма» ни зернышка за прошлый год не ссыпали по налогу. А сказать прямо — выгородили.

— Ты выгораживал! Ты! Я не знал.

— Знали, Тихон Федосеевич. — Замялов воздел глаза к потолку и почтительно умолк. — Я молчал, когда вы мне приказали... уволить из школы троих учителей.

— Они же буржуи!

— А вы ведь знали: старые кадры правительство велит использовать. На их сознательность ставку делает. В уезде крайне не хватает учителей.

Востряков встал с дивана вплотную рядом с ним — одинаковые ростом, оба в теле, почти ровесники, пригнутый был только немного товарищ Замялов, словно от хитрости своей, от привычки не мозолить глаза пригнулся он.

Замялов покорно нагнул голову, все с той же скользящей улыбкой помолчал несколько секунд, затем сказал тише тихого:

— Нельзя вам меня гнать, без меня вам швах, Тихон Федосеевич. Но я молчу. Один человек я вам верный, во всей России один. Кто, если не я, покрывал? Зачем же мне напоминать, что именно? При вашем уме напоминать никакого смысла нет, вы ведь догадываетесь? А я сам маленький, сошка в механизме. А я ведь всех диктаторов переживу, Тихон Федосеевич, что больших, что малых. — И, мягко, по-кошачьи ступая на вывернутые носки, Замялов вышел: даже новые рассохшиеся половицы не скрипнули.

Востряков знал цену Замялову, бывшему лавочнику. Люди эти, по духу безродные, всегда раздражали Тихона Федосеевича. И ему было неприятно сознавать, что терпел и приближал их к себе из-за тщеславия. «Замяловы созданы быть рабами. Но... ведь и я раб!» — вдруг промелькнуло у него в голове. Мысль эта, ужасная, даже нелепая, поразила его настолько, что он, не двигаясь, будто окаменев, долго стоял, глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами. «Этого не было со мной! — опроверг сейчас же он сам себя. — Не было, и никогда, никогда не опущусь я до лакейства. Я Востряков!!» Однако, едва он подумал так, как пронзительно и отчетливо вспомнил... Февраль 1918 года. Он тогда находился в Петрограде. Перед отъездом нашей делегации на брестские переговоры он встретился с глазу на глаз с Троцким. Они сидели в полуосвещенной комнате (экономили электричество), было уже поздно, город погрузился в сон. «Нет! Не угнетает меня совесть, ежели это сделано ради великой борьбы! — воскликнул тогда Тихон Федосеевич с порывом. — Не нашему народу бояться войны. Будет позорно, ежели станем мы вихляться. Миллионы одетых в шинели мужичков давно уже не страшатся своей крови. Не нам бояться жертв!»

«Да, у меня была связь с ним в Бресте, но разве этот человек не революционер?» — подумал он теперь. «Он тебя использовал как молот», — сказал ему другой, безжалостный и трезвый Востряков, тот, которого он постоянно давил и изгонял из себя. «Нет, я по своему разумению поступал. Мы правы были тогда в Бресте». Он знал, что это была минутная слабость его духа, но сознание своей причастности к тому делу раздражало и заметно тревожило Тихона Федосеевича. Он был, как

сам чувствовал, точно в упряжке, захомутован, но одновременно не видел и не хотел избирать для себя другого пути и со всей решительностью и упрямством шел по нему.

II

Часа через полтора рядом с Востряковым на табачного цвета диване сидел Григорий Миронов. Он был все в той же коже — и в куртке и в штанах, и от него исходил дух лесного здорового зверя. Чем-то он напоминал Вострякову себя молодого: та же воля, недюжинная сила, несговорчивость, непримиримость и прямота борца. «Из таких куются те, кто ведет людей», — не раз говорил он о Миронове.

Востряков взглянул на Григория.

«Этот за мной в огонь и в воду. Плохо, конечно, что не любит рассуждать, но в горячей борьбе не до того».

— Ты что-то невесел, Гриша? — спросил он по-отечески ласково и мягко.

— Неувязки у нас большие. Я маленько за тебя побаиваюсь, Тихон Федосеевич, — сознался Григорий.

Тот покачал головой на такие поспешные его слова. С пониманием улыбнулся.

— Ничего, ничего. Подождем только. Съезда подождем, Григорий. Я сильно надеюсь на него!

Григорий посмотрел прямо ему в остановившиеся зрачки — он не мог уловить его взгляд.

Востряков продолжал дальше:

— Ты, Григорий, не напирай в разговорах на повсеместную коммуну. Губернский съезд пущай будет называться крестьянским; коммуны наши не только не во всей губернии, но даже и не во всем нашем уезде — лишь в Бражинской волости. Мы маловеров и всяких критиканов на съезде разобьем и в конце вынесем резолюцию от имени не крестьянского, а съезда коммун. Такая тут должна быть тактика...

— Ты правильно сделал, что начал с Бражина, — поддержал его Григорий. — Там почва хорошая была. Там мы порядочно поработали.

— Может быть, крутость допустили, а? — спросил Востряков. — Но история не осудит нас. Теперь мы опору уже имеем.

— Ты верно указал нам! — с порывом воскликнул Григорий. — Но не пора ли нам идею перекинуть на весь уезд? Ты больше меня знаешь, но я скажу твердо, Тихон Федосеевич: или мы немедленно сломим ихнее нежелание, или оне завтра же похоронят коммуны. Твои коммуны, товарищ Востряков!

— Народные, — строго поправил его Тихон Федосеевич.

— А ты сам из народа.

— Я только волю народную выразил, Григорий, ты тут не путай, — опять строго поправил он Миронова.

— Ты предан до конца революционности. Ты стоишь во главе огромной идеи!

— Ну, я... не совсем главный в ней, — поморщившись, возразил он.

— Ты тут борешься и страдаешь, ты не искал себе теплого места, как некоторые. Ты главный наш двигатель, Тихон Федосеевич!

— Ты молод, Григорий, — покачал головою Востряков, не одобряя такой его горячности, а про себя подумал: «А почему бы и не я?» Но он тут же упрекнул себя в тщеславии, которое могло запятнать его имя. Он решительно поднялся, тяжелый, собранный и озабоченный.

— Нет, Григорий, активно насаждать коммуны в других волостях пока повременим. Закончим пока в Бражинской. Но идею, идею каждый день и час проводить надо везде! Надо приучить мужика, что только такая ему нужна жизнь...

Григорий поднялся, заскрипев кожей.

— Я тебя понял, Тихон Федосеевич!

— Скажи, Григорий, тебе бывает страшно? — спросил Востряков после небольшого молчания.

— Страшно? — машинально переспросил Григорий, не понимая хода его мысли.

— Когда мужички наши вот так, упорно сопротивляются?

— Я твой вопрос не уразумею что-то?

— Это я к слову, ты не придавай ему значения. Готовь обстоятельный доклад на бюро о созданных товарищем Матвеевым двух товариществах. — Он это слово выговорил с оттенком иронии. — Их прикроем, но... не

сразу, когда уляжется шум. В борьбе, Григорий, нужна дипломатия. Схватка, видишь ли, умов. Мне в такой обстановке трудно. Немножко отступим в случае чего... Григорий, мы трудною дорогой идем!

— Тихон Федосеевич, здесь записаны выдержки из речи Матвеева перед активом. — Григорий протянул несколько убористо исписанных тетрадочных листков. Востряков внимательно просмотрел их: «Укому партии и прежде всего товарищу Вострякову. Устройство коммун молниеносными темпами, когда еще наше крестьянство не оправилось от бед и тяжких последствий гражданской войны, когда оно морально и культурно не созрело, — такая путаница и явное мордование трудового мужика нужны для каких-то узколичных целей. Сомнения быть не может...»

Григорий, сидя на диване, боялся нарушить тяжелую тишину. Наделенный должностью заместителя председателя уездного Совдепа, он еще не привык к ней и постоянно будто оглядывался, и чего-то ждал.

«Узколичных целей...» Нет, Матвеев, не знаешь ты, что цель Вострякова — благо народа. Надо победить и прорваться во что бы то ни стало к заветной цели. Нет, Матвеев, и тут я выиграл тактическую победу, а не ты! Злосчастная вторая лошадь — маленькое мое поражение, но и твой грошовый выигрыш еще раз доказывает, что люди не боги, люди есть люди. Надо оглядеться, взвесить силы — и снова опередить: и тебя, и таких, как Золотухин, пока не поздно». Востряков уже остро, уже не расслабленно смотрел на Григория, не мигая смотрел.

— Ты знаешь, о ком я скажу, Григорий? Он всех нас свел в одну шеренгу и дал нам оружие, оружие то стреляет хорошо, но жизнь, Григорий, есть жизнь, и революция — это вал за валом. Все же так оно и есть. Придет завтрашний день, новые повороты придут, должны. — Он помолчал и задумался. — Отчетно-выборные партсобрания не закончили?

— Пока нет, Тихон Федосеевич.

— Иди. Хворь меня крутит, проклятая. Полежу я.

«Чего это он про страх? — думал, выходя, ошеломленный Григорий. — Да неужели ж он сам боится? Его самого берет страх перед народом? Перед будущим?» Сама эта мысль угнетала и поражала его.

III

Огонь в семилинейной лампе едва промигивал сквозь синие сумерки. Было душно — впервые после лета жарко натоплена печь-голландка. Матвеев сидел в суконной рубахе с расстегнутым воротом, в пыльных сапогах. Хозяин кабинета полулежал на купеческом старомодном диване, отвалившись к спинке, и часто стонал, хватаясь рукой за грудь.

— Врача вызывал?

— Сердце новое не вставишь, Василий.

Жена внесла, словно голенького ребенка, самовар, он пыхтел так ароматно, у Вострякова зашевелились ноздри.

— Пейте на здоровье. — Голос у Аглаи Порфирьевны был тревожный, заметно вздрагивал, вышла, точно ее сдул ветер.

Налили в пузатые фарфоровые чашки с писаными ангелами. Востряков передвинул через стол банку с вишневым вареньем.

— Давно, Василий, трудимся, а не сидели так...

Чай разморил — обоим стало жарко. Тоненькая, белесая, зыбкая струйка пара разделяла их сейчас за столом.

— И кто-то вспомянет, как мы маялись? Отпробуй варенья — отличная штука!.. Жена твоя померла?

— В девятнадцатом мамонтовцы сожгли. — У Матвеева потемнели и сузились за стеклами зрачки. — Не забвение страшно — совесть, Тихон, куда хуже!

Востряков опустил брови и прикрыл глаза. Нехорошо, напряженно помолчали. После Востряков сказал:

— Нам, Василий, на совесть оглядываться нет нужды. Вроде ни я, ни ты интересов народа за золото не продавали. Мы не искали себе выгод.

— Судить нас, Тихон, будут не по вывеске — вовсе другой мерой. Сам народ когда-то скажет, какая нам цена.

Востряков насторожился: что же дальше-то? Но Матвеев умолк, он с большим удовольствием пил чай с вареньем.

— Печемся об одном, а видишь — промеж нас слова! Или обмельчали мы, революционеры? Ты в Петропавловке был ведь?

— Был. Сидели, Тихон, тысячи.

— По такой статье, как наша, куда как меньше, Василий.

Задумчиво помешивая ложечкой в чашке, Востряков глядел выше головы Матвеева, в тускнеющую от сумерек заднепровскую даль, где тихо и спокойно готовились ко сну древние холмы.

— Эту зиму коммуны не выдержат, Тихон.

— Им гибель прочили еще и в ту зиму, а они, как видишь, живы.

Тихон не надеялся, что гость пришел с миром, давно он уже понял его, еще в первые дни. И Лямцов тоже начинал так... Задумался Востряков.

— Единоличник кое-какой хлебец собрал. Коммуны даже не отгрузили семян. Идеей, Тихон, рабочих и красноармейцев не накормишь. Единоличник знает: коммуна Тиунина — это работа под палкой. Поля начали зарастать бурьяном, хлеба нет, достатка нет, но зато идея, идея! Наконец, надо же кормить самого Тиунина.

— Сознательную дисциплину, Василий, несет пролетарьят, а руководящие люди в коммунах — сознательные рабочие, вчера стоявшие у станков. Или ты уже не допущаешь смычку?

— Вчера у станков, Тихон, а сегодня, к сожалению, подверженные вредной идее, которую упорно кто-то проводит за их спиной. И давай как коммунисты говорить начистоту! И твоя спина опирается на чью-то.

— Кадры, Василий, не одним днем делаются. Ошибки? Имеются, факт, но оглядись: с чего мы после переворота начали в деревне? Со старост и попов, а вот за короткий срок создали систему учета в кооперации и административную систему. И хочешь не хочешь — имеем организованное сельское ядро в уезде. Оглядись! А моя спина опирается на народ.

— Липнякова будут, видимо, судить. Я передал на него материалы в прокуратуру. На ближайшем бюро укома я предлагаю поставить вопрос об его исключении из рядов РКП(б) — как вредный элемент.

Востряков встал, в волнении вытер платком лоб, постоял секунды три, уже как бы преображенный.

— Не знал. Если так, беспощадно судить подлеца!

Искал он козла отпущения — и нашел. Лицо Матвеева сейчас сильно удивленное было.

— Судить, если так! — сказал тверже другой раз. — Еще чайку, Василий?

— Спасибо. Четыре чашки выдул. — Поднялся и Матвеев, а около порога прищурился и спросил: — Серьезно хочешь судить?

IV

Востряков посидел в ожидании газет. Остывала его недопитая чашка. Аглая Порфирьевна принесла их несколько штук. Заколебалось от движения воздуха пламя в лампе.

— По краю ходишь, Тихон, — сказала она своим глубоким и мудрым голосом, а он подумал, что вот даже жена и та неясная.

«Лишь те объединения (коммуны) ценны, которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике».

И подумал: «Значит, я был не прав?»

«По их свободному почину!» А как же иначе, был шаг назад, а теперь дадим свободный почин... Могут быть, конечно, оговорки? Могут!

Липняков, Липняков! А что, если за ним остальные — Тиунин, Ягоркин, Ягуренков?

Трудно!.. Впервые, пожалуй, было тягостно до глухой немоты Вострякову ныне. Впервые не знал, что делать, куда вести. «Переход к коммунам невозможен сразу...» Строчки, пугающе маленькие, въелись в газетную полосу, дрожала в руках «Правда». Себя преодолеть — это наипервейшее! Потом гибко дать уезду лозунг: не кидаться в крайности, какой толк кидаться теперь: коммуны ведь живут! Был грех переходного момента.. Надо признать, но идти дальше. А что же там, за текучей зыбкостью горизонта, в той далекой неизвестности? Туманно было ныне у него в голове.

Вновь появилась Аглая Порфирьевна.

— К тебе Липняков и Тиунин.

Он согнулся, долго молчал, не мигая глядя в газетную полосу и не видя ее.

— Болен... Ты же знаешь, Аглая.

И до позднего вечера звонил в коммуны, в сельские Советы, требовал немедленного широкого обсуждения статьи в «Правде».

На другое утро, едва Востряков успел позавтракать, во двор въехала просторная тележка, запряженная парой лошадей. Правил худой, с решительным выражением одухотворенного лица, в полушубке и в буденовке человек. Другой, очень большой, с широким лицом, в шинели и в заячьей шапке, спрыгнул около крыльца; он, видимо, обладал огромной физической силой. Что-то знакомое промелькнуло в этой фигуре, но, как ни старался, Востряков не мог вспомнить его.

Матвеев со своей старой папкой под мышкой, худой и, как всегда, решительный, вошел во двор следом за тележкой. «Они против меня, но быть же вам битыми — вот чего не понимаете вы!» — подумал Востряков и, отложив книгу по обработке земли, строго взглянул на вошедшего первым человека в шинели.

— Уполномоченные губкома партии. Я Телегин, а мой товарищ — Федор Кириллович Громов, — сказал он, протягивая документ.

Востряков взял бумагу и, внимательно прочитав ее, вернул обратно.

— Я вас слушаю, товарищ Телегин. Какая надобность? — Глаза Вострякова тяжело остановились на его лице.

— Вот посмотрите решение губкома, принятое два дня назад.

Востряков углубился в чтение. «Сплошная коммунизация есть вредный уклон в крестьянской политике, наносящий урон идее кооперирования и всему плану аграрной политики партии», — прочитал он.

— И что ж вы собираетесь делать, товарищ Телегин?

— Наряду с коммунами создавать широкую сеть совхозов и товариществ по совместной обработке земли. Решение обязаны выполнять все уезды, в том числе и Высоковский.

— Так... так... Какими же голосами проведено решение? Я ведь, как ты должен знать, товарищ Телегин, член губкома. Меня не оповестили. Чье оно, Грибцова?

Телегин не мигая смотрел прямо в остановившиеся и сумрачно темневшие зрачки Вострякова; с полминуты они как бы заглядывали в душу друг другу,

словно отыскивая там какой-то потаенный смысл и ответ.

— Я лично сам насчет заседания отправлял вам телеграмму. Нужно выяснить факт неполучения. Решение принято большинством голосов. Обосновано же оно на постановлениях съезда сельхозкоммун и на указании товарища Ульянова-Ленина. Ты ведь это, товарищ Востряков, должен знать?!

«Значит, кто-то перехилился, одним или же двумя голосами они пересилили Волкова!» — определил сложившееся положение Востряков.

— Куда, стало быть, направитесь теперь? — что-то решив про себя, спросил он после молчания.

— Сейчас мы едем в Переяславское, — сказал Матвеев, просматривавший какие-то бумаги около окна.

Пригнув голову и сощурившись, Востряков долго смотрел в одну точку на половице.

— Хотите прикрыть Переяславскую коммуну? — спросил он тихо и как бы бесстрастно.

— Там будет товарищество, Тихон Федосеевич.

— Сломать то, что завоевано в борьбе, Матвеев? — Мышцы щек Вострякова дрогнули, и по остановившимся на лице председателя Совдепа глазам его пробежало смутной тенью какое-то неясное выражение. — На что положили мы труды и бессонные ночи, так? — прибавил он, побледнев.

— Сломать то, что навязано народу силой и что идет вразрез всей линии партии, — тут большая разница, — тоже тихо сказал Матвеев.

Громов расправил свои огромные усы, как будто удостоверясь, в порядке ли они находятся; его худое и, казалось, только способное на желчную ироническую насмешку лицо вдруг осветилось ясной улыбкой. Он дотронулся до тяжелой, как камень, лежавшей на столе руки Вострякова и с наивной интонацией в голосе спросил:

— Да зачем она тебе нужна, товарищ Востряков, сплошная коммуна?

Губы Тихона Федосеевича как будто сами собой сложились в хитро-добродушную улыбку.

— Нужна, дорогой товарищ Громов. Самому мужику нужна, хотя бы он эту идею и не осознавал сейчас. По-

тому как отрывает она его от мыслей об куске хлеба и поднимает куда несравненно выше.

— Товарищ Востряков, коммуну «Власть труда» губком партии поддерживает, но тут разница с другими, навязанными силой, — упорно сказал Телегин. — Мы золотухинскую упразднять не собираемся, но скороспелые упраздним, какие бы ни были заслуги у их создателей.

— Ты едешь с нами? — спросил Матвеев Вострякова, пряча бумаги в нагрудный карман.

— Нет, нездоровится, — сказал он коротко и замкнуто.

Через час доброго хода по большаку они были уже на середине пути в Переяславское. Осенний день стоял светлый и холодный; высокое небо до бесконечности простиралось над головами. Молодой дубовый лес, через который они ехали, был обсыпан червонным золотом; тишину нарушали только скрип колес тележки да стук лошадиных копыт. На опушке им встретились крестьянские дети, их было двое. Девочка, одетая в старый зипун и в лаптях, и мальчик, старше ее, лет тринадцати, с топором за поясом и в подоткнутом, должно, отцовском зеленом армяке.

Громов приостановил лошадей; Телегин тучно перегнулся, скрипя рессорными пружинами, и обратился к детям.

— Вы из какой же деревни? — спросил он ласково.

— Мы из Выселок будем, — коротко и строго ответил мальчик.

— В школу ходите?

— Нонче все ходят, — еще строже проговорил тот.

— Трудно, что же, учиться?

— Известно, трудно, да мы все могем.

— А ежели хлеба не будет?

Мальчик прищурился, как взрослый.

— Перезимуем до нового лета. Бедовать — дело нехитрое.

— Славные, славные дети, — сказал, оживляясь, Матвеев, когда дети скрылись в дубовом лесу.

— Да, славные, — подтвердил Громов, пристегивая гнедую кобылу. — Было бы только у них счастье.

— А это уж, Федор, от нас зависит, — ответил не

сразу Телегин. — Потому и совесть наша должна быть чистая.

Больше они ничего не сказали до самого Переяславского. Проселочная дорога спускалась в лощину. Во всем мире было как-то светло — торжественно и будто разливалась тихая печаль. За молодым ельником завиднелись темные крыши хат; послышался брех деревенских собак; запахло дымом людского жилья.

V

Тем временем, когда они въезжали в Переяславское, в нардоме, в светлой пятистенной хате, сидело трое членов руководства коммуны. Егор Ануфриевич Скворцов, председатель, высокий, громоздкий, остриженный под скобку, в расстегнутой кожаной тужурке, расположился под знаменем за столом. Иван Шмаков, старший в кузнице, лет тридцати пяти, в старой шинели и наголо остриженный, отчего круглое лицо его казалось немножко смешным, расхаживал вдоль стены.

— Пущай Востряков не командует, народ сам знает, какие устраивать порядки! — крикнул он, останавливаясь около стола.

— Путного тут и верно ничего нету, — сказал третий человек, совсем еще молодой парень, очень тонкий и жилистый и с глубокими, живо-насмешливыми глазами. — Надо писать в Москву!

Скворцов навалился локтями на стол, со сдерживаемым раздражением произнес:

— Вы что это, а? Да за такие-то речи!..

На дворе показалась тележка с уполномоченными. Минуты через две они вошли в народный дом. Едва Телегин умолк, объяснив цель приезда, как Скворцов крикнул пронзительным голосом:

— Мы обязаны подчиняться указаниям товарища Вострякова!

— Ты охолонь трошки! — осадил его Иван Шмаков.

— Молчи! — тихим и дрожащим голосом бросил Скворцов.

— Немедленно собирайте людей, — распорядился Матвеев, — как председатель уездного исполкома я это приказываю.

— Мы посмотрим еще, народ грудью, понимаешь, стоит за коммуну! — угрожающе проговорил Скворцов, поднимаясь.

Через полчаса на площади уже тесно стояли мужики и бабы, хранившие глубокое молчание.

Из народного дома вынесли залитый чернилами дощатый стол. По рядам в это время пронесся гул неясных голосов.

— Товарищи, просьба внимательно обдумать, что будет здесь говориться, — сказал Матвеев, обратившись в тишине к народу. — Это касается всякого, потому что пойдет речь о будущей вашей жизни. Слово имеет уполномоченный губкома партии Телегин.

Теперь все глаза устремились на огромную фигуру Телегина; большими темными, рабочими руками он упирался в стол и, подавшись вперед широкой грудью, энергично отсекая каждое слово, сказал:

— Коммуна, в которой вы находитесь нынче, вам навязана силой.

Вам в ней, братья, плохо не оттого, что живете артелью, а оттого, что артель для вас непонятная. Тут вся разница. В коммуне должно быть общее братство и такая работа, где бы вы увидели несравненную пользу против прошлой, единоличной своей жизни. Но, однако, такой пользы вы не увидели. Вам организаторы заявили, что в своей коммуне вы увидите через год рай, но вот он прошел, этот год, а вы ничего хорошего не увидели. Ибо рай легко выдумывать, но трудно строить новую, справедливую, счастливую жизнь, во имя которой общими силами мы свершили нашу великую революцию. Несравненно труднее ее такую строить!

В своих последних статьях по аграрной политике товарищ Ленин указывает и разъясняет, что время все определеннее ставит перед крестьянством поиск широких форм кооперирования. Разверстка несколько порождала дух коммунизации; время диктует спокойное, трезвое, умное отношение к крестьянской массе. Ленин в статьях нигде не говорит о принуждении при кооперировании, как раз наоборот, все острие их и направлено на то, чтобы пробудить у крестьян сознательную добровольность! В Российской республике уже довольно много других коллективных аграрных очагов. Это совхоз, как социалистическая организация; это товарищества по

совместной обработке земли и хозяйствованию; это кооперативные объединения — тут широкий фронт преобразования деревни. Коммуна хороша, если в ней растет человек как новая, социалистическая, свободная личность, если каждый мужик в ней постигнет, что отныне он хозяин земли; такие коммуны уже имеются. Они в скором будущем перерастут в высокоразвитые коллективные хозяйства. Всеобщей коммунизации, а вернее сказать — колонизации крестьянства, таким образом, не было, нет и не будет в республике! Такая идея навязывается в Бражинской волости. Она таит огромную, братья, опасность. Именем Советской власти упраздняем вашу коммуну и вместо нее создаем товарищество по совместной обработке земли. Два слова об нем, чтобы вы знали. Главное тут — нет обобществления ни тягла, ни инвентаря и прочего мужицкого обихода. Все, стало быть, остается по личным дворам, как их собственность. Понятно, что кулацкие излишества — другой коленкор, об них другое слово. Товарищество — это первый, важный шаг к социализму, то есть хозяйство, маленько похожее на рабочую артель. Я кончил и прошу вас высказаться по существу.

Над толпой крестьян пронесся какой-то глухой шум. Стоявший впереди высокий, худой, в продранной поддевке и в лаптях мужик с узкой белесой бородой, размахивая руками, что-то говорил маленькому. «Нет, не годится», — едва слышно долетело до Матвеева и уполномоченных.

В это время вперед продвинулся плотный, рябой, одетый почище других мужик с хитрым выражением на лице.

— Такое дело... стало быть, товарищество для нас не подходит, — сказал он, — мы, стало быть, как жили, так и дальше будем. — Он замолчал и оглянулся, очевидно боясь, что его перебьют.

Матвеев и Телегин напряженно и внимательно глядели на крестьян; они чувствовали, что здесь шла внутренняя нелегкая борьба.

Едва старик замолчал, как ободренный Скворцов поднялся за столом и, пристукнув по нему кулаком, решительно заявил:

— Вы видите, товарищ Телегин, что народ вас не поддерживает.

Матвеев сейчас же повернулся к нему, с резким взмахом руки посоветовал:

— Вы бы обождали делать выводы!

— Не подходит, и все тут, — несколько осмелев, повторил старый рябой мужик.

— Да, уж как есть, конешно... — проговорил простоволосый крестьянин в распахнутом армяке, — уж как живем, — прибавил он. — Так, значит, того... и дале будем.

— Наше дело малое, — сказала, потупясь, какая-то баба с кривым глазом.

— Твое малое, так молчи! — сказала другая, заметно моложе и бойчее ее, одетая в плисовую жакетку и косившая из-под бордового платка горячие и черные, как черешни, глаза.

И именно этот голос молодой женщины как будто сорвал скованность и ту апатию и равнодушие, которые угнетающе действовали и на Матвеева, и на приехавших с ним уполномоченных.

Вперед выступил обросший длинной рыжей бородою старик — он упорно и не мигая смотрел прямо в лицо председателю коммуны Скворцову.

— А ты что ж, и прямь пощитал, стало быть, народ уже тебе подвластен? Тебе и товарищу Замялову? Что, кроме тебя и его, нет более Советской власти? Так ошибся ты! Истин бог, ошибся ты в своем же народе, товарищ Скворцов! Вы чего воды в рот набрали? А ты чего, квакуха, раскудахталась? — обернулся он к бабе с кривым глазом. — Или тебе, дурьей башке, сладко жить? Или такую будущность нам ишо при комитетах бедноты настоящие партейцы обрисовали? А ты какого беса вскагакался, как гусь, которого недорезали? — взглянул он на простоволосого мужика. — Ай тебе ум застило? Ай ты уже гордости нынче лишился? Так тебе и на том свете твой же дед Назар — истинный светец разума и силы народа — покою не даст. «Ты что ж, — скажет, — сукин ты сын, обормот ты этакий, Иван, лживым стал? Замялова и Скворцова испужался, а новой жисти не увидал и стал подплясывать Скворцову под его дудку?» Вот как тебе скажет дед Назар! Не иначе так и скажет, потому что знаю я его хорошо, слишком даже знаю, не один мы с ним вместях раскурили кисет. Да вот он тут, перед нами, во всем виде,

и сам товарищ Скворцов! Родом он тоже мужик, крестьянское дело знает, сам из Хвылевской волости. Только ты, товарищ Скворцов, при всей хитрости недоучел: народ-то давно не дремет. От дремоты его оторвали ишо в семнадцатом годе и обратно носом в навоз — уж ты тут, брат, не шали! — никакой силой не заставишь. И ты думал, видать, что закрыл народу рот? Твои все эти замашки, понукания тут же и кончатся, подохнут они — никакого всходу на будущность не будет! Уж ты поверь, брат, и моему нюху. Спасибо вам, товарищи, в товарищество я первым вступаю. Сознательно вступаю и с душою.

Мужик поклонился Матвееву и уполномоченным.

— Кланяться, папаша, не надо бы, вовсе лишнее, — улыбнулся Телегин.

— Нет, не говори — настоящему человеку никогда не зазорно поклониться.

Вперед подвинулся Скворцов — он был бледен, и руки у него, заметно было, вздрагивали; он испытывал неуверенность и в то же время еще не считал дело проигранным.

— Коммуну ликвидировать может только бюро укома, а оно такого постановления не выносило. — Скворцов пытался не выказать своего волнения и бессилия.

Матвеев тоже подвинулся вперед, разъяснил:

— Товарищи и братья! Мы здесь уполномоченные Советской властью, действуем по решению губернского и уездного Совдепа. — Он вытащил из нагрудного кармана бумагу. — Вот выписка из решения о создании у вас товарищества. Бюро укома не вынесло решения, потому что Тихон Вostряков уклоняется от прямой постановки этого вопроса на нем. Мы опираемся на постановления Совнаркома, ВЦИК и на наказ местным Советам, где прямо указывается о широких формах кооперирования крестьянства. Просим безо всякого нажима голосование за товарищество перенести на завтра, чтобы вы смогли все как следует обдумать...

Телегин в упор, не мигая, смотрел на Скворцова. У того дергались углы губ.

— Что, тяжко ответ перед народом держать? — тихо спросил Телегин.

Со всех сторон послышались крики:

— Пиши, пиши, товарищ Матвеев, в товарищество!

— Комуния хороша, да не такая.

— И не весь-то свет, верно, в одной коммуне.

— Не весь, не весь, не весь!

Подсчет голосов на другой день показал, что люди вступили почти единогласно. Все сразу же стали расходиться, как бы подгоняемые мыслью, что собраниями сыт не будешь и надо браться за дело. Скворцов, часто мигая, долго смотрел прямо перед собой на площадь; на лице его было недоумение, как это случается после дурманного сна, от которого он вдруг очнулся.

— Зачем же я потратил столько сил? — едва слышно спросил он.

— Понять, товарищ Скворцов, губительный отрыв от народа еще не поздно, — тоже очень тихо сказал Матвеев.

— Пока не поздно, — заметил все время молчавший и Федор Громов.

— Битым, знаешь, удобно раскаиваться, — жестким голосом сказал Телегин и обратился к народу: — Отныне, товарищи, у вас будет товарищество, и мы предлагаем назвать его «Революция». Хорошее это слово, товарищи! — прибавил он и повторил его вслух еще два раза.

— Уж что правда, то правда: слово славное, — сказала молодуха в плисовом жакете.

— Не в названии вопрос, — сказал один мужик, стоявший несколько обособленно.

— Ищи в слове смысл, всегда ищи, — строго сказал тот старик, который выступал, в армяке нараспашку.

Перед вечером, переговорив с народом о разных хозяйственных нуждах, Матвеев и уполномоченные выехали в Покровскую, самую опорную для Вострякова коммуну, чтобы разобраться, что с ней делать. С севера, сгущаясь, темнели тучи. Тонким фиолетовым дымом по тихим полям ложились ранние сумерки. В нагих придорожных березах посвистывал холодный ветер. На небе зажглись серебряными светильниками звезды, и справа, над темными лесами, зеленым лезвием прорезался месяц. Они молча сидели в тележке. Матвеев часто, хватаясь за грудь, кашлял. Федор Громов задумчиво правил лошадьми; выражение лица его было строго-возвышенно и как бы недоступно всему житейскому.

Телегин курил, выпускал замысловатые колечки дыма, с большой верой произнес:

— Очистит же человечество себя! Ежели этот мир безбрежен, то всевластен не корыстный разум, а добрая людская душа.

— Без такой веры, товарищ Телегин, нам нельзя жить, — убежденно отозвался Матвеев. — Этой веры боятся востряковы.

Лошади понесли шибкой рысью; по крепкой, убитой дороге загудели колеса; разорванный над их головами воздух как будто пел какую-то почти торжественную песню.

VI

Скорый поезд Москва — Минск шел оголенными осенними полями. Были тусклые сумерки. Скинувшие лист леса, как всегда в такую пору поздней осени, неприветливо чернели на косогорах. В литерном вагоне было жарко натоплено. В вагоне находилось трое. За столиком сидел, просматривая какие-то бумаги, полный, с бородкой, в защитном френче, с заметными залысинами невысокий человек; он изредка отрывался от бумаг, поднимал голову и рассеянно смотрел на поля и перелески, особенно угнетавшие его в эту осеннюю пору своим унылым видом и тишиной. На улице накрапывал дождь. Высокий, флегматичного вида человек с белыми, как лебяжий пух, висками, в поношенном кожаном пальто сидел около другого окна. Третий был Максимовский, который ехал в Высоковский уезд, — они оба работали в Наркомате земледелия.

— Я внимательно слежу за Бражинской волостью Высоковского уезда, — сказал Максимовский, обращаясь к человеку во френче. — Там очень интересные дела с коммунами.

— Сейчас это исключительно важно, — значительным тоном ответил тот.

Товарищ Максимовского ехал в Смоленск, человеку во френче нужно было по служебным делам в Минск. У какого-то красного кирпичного здания поезд вдруг резко затормозил и остановился.

— Что-то стряслось, — сказал флегматичный человек, с любопытством выглядывая в окно.

Человек в защитном френче поднялся, расправляя плотное туловище.

— Сейчас узнаем, — сказал он.

В это время в дверь вагона постучали и вошел пожилой железнодорожный служащий.

— В чем дело? — спросил его человек во френче.

— В полукилометре отсюда ремонтируется после аварии мост. Прохождение составов задерживается не менее как на трое суток, — ответил тот.

Человек в кожаном пальто покачал головою.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Но это невозможно! Мне нужно поспеть к утру на конференцию! — сказал он решительно.

— Есть ли какой выход? — спросил плотный человек.

— Вам, товарищ Троцкий, нужно ехать в Пречистое — оттуда по местной ветке утром выедете в Минск. А товарищ, как мне сообщили, следующий в Смоленск, может доехать вместях с товарищем из Наркомзема до Высокова. Оттуда — рукой подать — доберется по узкоколейке.

— Хорошо, так и сделаем, — согласился Троцкий, — организуйте нам лошадей.

— Лошади сейчас будут, — сказал железнодорожный служащий, выходя.

Однако выехать пришлось только часа через два. Троцкий, усаживаясь в тележку, повернулся к Максимовскому.

— Передайте привет товарищу Вострякову. Его усилия по созданию коммун мною одобряются.

Максимовский наклонил голову.

Человек с седыми висками в это время в упор смотрел на очень белые, пухлые, с перстнем на правой руке пальцы Троцкого. Дорогой и прекрасный камень перстня светился и играл в сумраке волчьим зеленым глазом. Словно опомнившись, что допустил непростительную оплошность, Троцкий убрал с коленей руки.

— Ношу иногда, как память о матери, — пояснил он, нахмурясь.

Троцкий выехал на станцию в Пречистое. Сон не приходил, и ехать светлой, лунной ночью было хорошо. Но так было хорошо, пока ехали старой Смоленской дорогой, которая широко вилась мимо холмов и смутно

бежала впереди по равнине. Когда же кучер свернул с тракта на плохую проселочную дорогу, всю в ямах и выбоинах, когда запахло осенней холодной сыростью от болот, когда скрылась луна и надвинулась тьма, а на косогорах показались редкие огни какой-то деревни, Троцкий зябко передернул плечами и спросил:

— Сколько еще до этого Пречистого?

— Версты четыре будет, — ответил кучер.

Подняв воротник пальто, Троцкий отвернулся. И сейчас же увидел, как зелеными дрожащими точками, то пропадая, то появляясь, замелькали огни. «Волки!» — Троцкий сделал инстинктивное движение, сунув в карман руку и сжав рукоятку револьвера.

— Смотри! — сказал он.

Кучер оглянулся.

— Стая. Дорога худая. Надо своротить вон в ту деревню и заночевать, — сказал кучер.

Охранник вытащил из кобуры кольт, повернул лицо к Троцкому.

— Не беспокойтесь.

Тени волков еще раз мелькнули в лощине и пропали в кустах. Впереди затемнелись крыши хат — они въехали в деревню.

На стук в дверь спустя несколько минут отозвался женский голос. Голос спросил: «Кого надо?» — и после ответа с просьбой пробыть до утра их впустили. Баба через очень холодные сени повела их в хату. Троцкий осмотрелся. В хате было относительно светло от луны и тускло мерцавшей лампады в красном углу. Лампада освещала темный лик иконы. Слева, между печью и стеной, на полатях храпел кто-то, должно быть муж. У самого стола, почти посередине хаты, висела люлька, и в ней белело лицо спящего ребенка. Баба, которая их вела, еще не старая, но уже утратившая молодость, очень рослая и крупная, с широким лицом и в накинутой на плечи кофте, которую она стыдливо придерживала на высокой колышущейся груди, стала взбивать сенник на полатях, где спал муж. Троцкий с брезгливостью к нечистоте мужицкого жилья, поглаживая бородку, смотрел на неясную от сумерек фигуру бабы, молча хлопотавшую с постелью.

— Ежели не евши, налью щей — варила три дни назад, — предложила душевно хозяйка.

— Нет, нет, не нужно, — быстро отказался Троцкий. — Мы сыты и посидим здесь на скамье. Теперь недолго.

— Что ж маяться-то? Ну, коли брезгуете, — добавила она, извиняясь за нечистоту и бедность.

— Извините, но я сказал, что нам хорошо и здесь, — строго проговорил Троцкий. — Как у вас жизнь? — спросил он, желая придать своему голосу приветливость.

— Живем, мой золотой, было б так всегда. Наша жизнь известная, — сказала, зевая и крестясь, баба, — день прошел, и хорошо... Уж не обессудьте, чем богаты, тем и рады.

Кучер воротился с улицы, где давал корм лошадям, и тоже уселся за столом на лавке, под иконой и лампадой.

В хате установилась полная тишина, нарушаемая лишь храпевшим мужиком да скрипом сверчка. За стеной проносился ветер, и, слышно было, утробно вздыхала в хлеву скотина, какие-то шорохи неясно расходились по старой, доживающей свой век хате, а звуки сверчка, не замолкавшие ни на минуту, усиливали впечатление остановившегося времени.

Они выехали на станцию на рассвете, еще в сумерках, когда стала вставать для продолжения своей трудовой жизни большая мужицкая семья.

VII

Зафыркали кони, послышался легкий и тихий шум колес. Приготовившийся было спать Востряков, в одном исподнем белье, быстро придвинулся к оконному стеклу, и верно, у плетня стояла пароконная бричка, и кто-то вылезал из нее.

Тихон Федосеевич, застегивая ворот суконной рубахи, хотел было сам выйти в прихожую, но услышал голос жены:

— Проходите, проходите. — Голос ее дрожал испугом, также угадывались нотки почтительности.

Востряков шагнул на середину комнаты, стараясь не замечать вошедшего впереди Замялова, но обратив мельком внимание на торжественное выражение его ли-

ца, которое говорило: «Сейчас все вокруг будет иное, и ты сам, Тихон Востряков, все это почувствуешь». Тот, другой человек, вошедший следом за Замяловым, был крупного сложения, в широкополой, с обвислыми мокрыми краями шляпе, в черном, с поднятым бобровым воротником пальто, наглухо, под самый подбородок, застегнутом, и прежде, чем снять пальто, он внимательно и прямо, из-под полы шляпы пристально посмотрел в глаза Вострякову и тихо, с почти неугадываемой досадой произнес:

— Дождь, плохая осень. — И хотя сказал эти слова, но будто косящие глаза его говорили другое: «Тебе скверно, но это ничего — вот я и приехал».

Он снял пальто и шляпу и, передавая вещи Аглае Порфирьевне, жестом человека, следящего за своей опрятностью, поправил ворот синей рубашки и, неслышно ступая в мягких сапогах, близко подошел к хозяину дома.

— Здравствуй, товарищ Востряков! Максимовский из Наркомзема, — представился он.

Востряков смотрел на него, вспоминая, мог ли он когда видеть этого человека. Он не знал его.

— По каким делам к нам в уезд? — спросил Востряков. — Дрова?

Максимовский засмеялся. Он всматривался в лицо секретаря укома, как бы отыскивая на нем что-то, чего он еще не знал.

— Вы угадали. Но не только одни дрова. А как с вывозом?

— Работа поставлена была хорошо, но помешала распутица. По первопутку вывезем все, что заготовили.

— Надо вывезти. В Москве скверно с топливом. Это целый фронт. — Он, помолчав, спросил затем: — Но что же в коммунах? Кто этот Золотухин? Мы там знаем о вас. Статью читали.

Востряков поморщился, но затем лицо его разгладилось от морщин, он внешне был спокоен, однако Максимовский не мог не почувствовать его внутреннюю шаткость.

— Горячий, видишь ли, парень.

— Из местных?

— Да.

— Ты, значит, ждешь крестьянского губернского

съезда? Ждешь и, конечно, уверен? — пытливо глядя на Вострякова, спросил после молчания Максимовский.

— Жду. И я разобью маловеров! — вдруг почти выкрикнул Востряков.

Аглая Порфирьевна в это время внесла поднос с большими малиновыми чашками душисто пахнущего чая.

— Благодарю вас! — сказал Максимовсккий. — Для русского человека чай — лучший напиток. — Он, жадно отхлебнув три глотка, отодвинул свою чашку и, подойдя к окну, стал пристально всматриваться в темные стекла; не видно было ни зги, стояла влажная, холодная осенняя ночь, и только лишь один огонек светлел и подмигивал где-то в черной далекой тьме.

— Товарищ Востряков, на карту поставлено все: наши бессонные ночи и труды, революционная наша страсть. — Голос Максимовского поднялся, зазвенел. — Жаль, что не так многие понимают дело, как мы. Много критиканов, — вздохнул Максимовский. — К глубокому сожалению, с середняком мы взяли круто, неосторожно взяли, Тихон Федосеевич, глупо и грубо! Нас бьют, нынче нам худо, друг мой! Но кто выиграет — вопрос, товарищ Востряков, это решать таким орлам, как ты! — Голос был мягкий, бархатный, убаюкивал он Вострякова, усыплял.

— Я не знаю, чего вы хотите. Нынче, товарищ Максимовский, не знаю!

— Чего всегда хотел — нашей скорой победы на всех фронтах, милый друг мой, и на крестьянском тоже. Помни: медленное врастание мужика — это гибель революции! Мужичок — лапотошник! — Он иронически сморщил тонкие губы. — Однако живуч!

Голов умных много, — на что-то намекая, продолжал Максимовский, довольный, загадочно усмехнулся. — Отстраняй головотяпов, дураков. Не допускай компрометирования, и чем больше будет идейного подъема в крестьянском вопросе, больше споров в коммунах, тем лучше... Хотя по некоторым соображениям политики об этом не надо говорить вслух.

— Не знаю... мне неясно... нынче.

— Я тебя слушаю.

— Я-то народу не собака, а выходит, что так!

— Стал сентиментален? Добреньким, может быть, ты стал, товарищ Востряков?! Тогда пойди, товарищ Востряков, согни голову перед теми, кто радовался, когда ты сидел за решеткой.

— Ну, черта с два! Ты так не шути, Максимовский!

— Куда уж тут шутить. — Максимовский поднялся.

— Вы теперь куда думаете ехать? — спросил Востряков.

— А где у вас особенно плохо с вывозом?

Востряков чувствовал, что тот не договаривал, что его больше волновали не дрова, а положение в коммунах.

— В Крутовской, в Тихвинке, в Лыткине. В этих, пожалуй, хуже других.

— Тогда я сейчас в Крутовскую, — плотнее заматывая шарф, сказал Максимовский. — Сколько будет до Крутовской?

— Четыре версты.

— Там и заночую.

— Хорошо. Я прикажу дать лошадей. С вами выедет заместитель предсовдепа уезда Миронов. Может быть, заночуете у нас в Высокове?

— Нет, времени мало, мне во многих местах надо побывать. Ты не выходи, там сыро, береги себя, товарищ Востряков.

Ничего не ответив ему, Востряков вышел проводить на двор. Дождь поутих на воле, но сырость мглы висела в ночном воздухе, свистел ветер в оголяющемся саду, и отовсюду слышался и тек неясный шепот осенних листьев; влажно блестела в круге света посреди двора спина вороной лошади. Пахло листом-падалицей, наносило гнилью из ближнего оврага. На дворе стоял уже октябрь. В Высокове виднелся лишь один огонек, мерцавший кротким светильником на той стороне, за Днепром; кругом было тихо, и только изредка, будто спросонья, начинала по-волчьему выть собака — тоже там, на правом берегу. Над бесконечным пространством, над необозримой Россией лежала тревожная холодная тьма.

На дороге у ворот послышалось фырканье лошадей и тупой стук колес; оттуда подошел Миронов, чавкая сапогами по грязи.

— Можно ехать, — сказал он.

Максимовский, подрагивая от северного ветра, про-

тянул руку Вострякову, ладонь у него была потная и мягкая. «Слабоват деятель! Он чего-то боится», — отметил Востряков, пожимая руку и испытывая неприятное чувство от его влажной ладони.

— Успеха в борьбе! — сказал, садясь, Максимовский.

— Счастливой дороги.

Востряков какое-то время постоял посреди двора, а когда заглох перестук колес на выгоне и сделалось тихо, сутулясь, шаркая подошвами, он вошел в прихожую. Аглая Порфирьевна с вопросительным выражением на лице стояла около окна, она живо к нему обернулась.

— Мне чего-то нынче не так... Какая-то душевная сумятица, Аглая, — тихо проговорил Востряков.

Аглая Порфирьевна молчала. Им овладело тяжелое чувство, подобное тому, когда падаешь с горы с закрытыми глазами, не видя и даже не угадывая дна.

— Поздно тебе что-то передумывать, — сказала Аглая Порфирьевна, — поздно, Тихон.

Он внимательно посмотрел на жену. То, что говорила она, и скорее даже не слова, а тон, каким говорят о бывшем человеке, поразил его. Тихон Федосеевич решительно поднялся со стула. Нет, жизнь шла своим неостановимым ходом.

— Не мне, Аглая, чего-то бояться. Не мне!

Революция открыла Тихону Вострякову огромное поле деятельности. Он любил саму борьбу и считал, что для достижения высших революционных целей хороши все средства; ему хотелось облегчить участь народа как можно скорее и по-своему. Ему казалось, что это было его великое служение. Он искренне верил, что у него не было личных целей и корысти. Было одно, полное громадного смысла народное поле страданий, титанического труда и борьбы, и вне этого ничего не могло быть. Такая его вера казалась ему священной. В его понятии он сам и народ было одно и то же. «Мой дед и отец пахали, и я сам тоже. Я знаю цену мозолям трудовых рук», — часто говорил он. Правда, порой в душе у него возникали туманные сомнения, он видел противоборство, проявляющееся в народе по отношению к нему. Но это чувство угнетало его только на короткие минуты: слишком велики были цели, чтобы задумываться. Еще более запутывалась картина жизни тех лет тем, что вожаки

выходили из глубин народа. «Свой своего не продаст», — говорила пословица. И ей верили, но оглядывались. Когда годы ушли, когда все события выстроились в нашем сознании, нас поражает прежде всего спокойная и какая-то медлительная и мудрая поступь русского народа. Идя следом за рабочим людом городов, русское крестьянство не дало себя запутать, не ожесточилось, не взяло в руки топор, не стало все громить направо и налево, как к тому призывали его иные деятели, и тоже братья, и тоже клявшиеся служить каким-то высшим интересам народа, не стало стрелять в коммунистов, в своих же братьев, не предало оно своих дедов и прадедов, не отказалось от своего родства с ними, и в то же самое время оно при всех невзгодах, жертвах, лишениях и горестях, бросив все, чем жило от века, ушло на защиту нового Отечества. Скорее не умом, а чутьем оно обнаружило лишь единственную правду, и это оказалась Советская власть. Еще далеко не самый смысл ее угадывался ими тогда, сокрыта она еще была под горячими словами, бросаемыми комиссарами с самодельных трибун, но ее уже приняли, и с нею садились за голодный стол, с нею надрывались на пахоте, с нею уже рождались и дети. Первый раз за сотни былых лет пришла она, праведная власть, в людскую хату, в черную глухоту российской убогости, к этим рабам горькой земли, и смеялась, и плакала их же слезами.

Земля была у них и раньше. И раньше лежал проклятый надел глины, высасывавший кровь из жил. А и здесь она, народная власть, как страдалица мать, удивила: дала доброй землицы. И плуг дала, и борону, и лошадь обессиленному, и покрыла крышу она, и опять же стояла у изголовья зыбки, и плакала, и радовалась голубым снам ребенка. И пугала, однако, размахом задуманного, а иногда и суровостью. Но ее нельзя уже было ни променять, ни отвергнуть, как никогда нельзя человеку выдумать другую мать.

VIII

Председатель Крутовской коммуны Егоров не был робким человеком; он помотался по фронтам, был тертый и битый в жизни, и он не удивился, когда из гу-

бернского исполнительного комитета позвонил сам Волков, предупредив его о приезде Максимовского. «Должно, по дровам и хлебу?» — подумал он, пытаясь угадать смысл приезда. Егоров оповестил актив коммуны. В полдень в переулок, блестя черными мокрыми спинами, внесла тележку пара гнедых лошадей. Егоров вышел встречать на крыльцо. Он, огромный, двухметрового роста, с неизменной деревянной кобурой на боку, во всей живописности своего вида стоял посреди крыльца, терпеливо ожидая вылезающего из тележки Максимовского.

— Герой, герой! — произнес Максимовский тоном товарищеской ласки, увидев его.

Тон, с которым он обратился и поздоровался, казалось, вполне соответствовал душевному настроению самого Егорова.

— Я рад приветствовать вас, товарищ Максимовский, на земле нашей коммуны, — сказал Егоров.

Но хотя Егоров искренне произнес эти слова, внешний вид приехавшего как бы разочаровал его. Разочарование появилось, должно быть, потому, что наркомземовец не имел сходства с тем представлением, которое сложилось в сознании Егорова о высоких работниках; в облике его он не видел простоты. Ему не нравились ни богатое пальто, ни холеная бородка, ни новые сапоги — все это было не то.

— Я рад вас видеть, товарищ Егоров, и рад вдвойне оттого, что вид у вас весьма представительный, — сказал Максимовский.

— Очень благодарны... — не нашелся сразу, что сказать, Егоров. — Ежели не побрезгуете, предложу, товарищ Максимовский, вам свой хлеб-соль?

— Хорош был бы, если бы побрезговал! — засмеялся Максимовский, подмигнув ему.

Егоров жил в этом же доме. Он пропустил гостя вперед, в просторную прихожую комнату, где, ожидая такого торжественного случая, их встретила жена Егорова.

Когда гость сел за стол, явилось еще четверо людей. Заметив вопросительный взгляд Максимовского, Егоров пояснил:

— Из руководства коммуны, актив ее.

Максимовский был голоден, он ел быстро и с таким видом, как будто, кроме столь будничного желания, как

утоление голода, ничего другого не существовало для него.

— Ваш план мне известен и нравится, — сказал Максимовский, отодвигая пустую тарелку, — это великий путь будущего русского крестьянства. Великий и единственный, другого не было, нет и не будет! — сказал он значительным тоном. — Вы, именно вы, товарищ Егоров, как революционер, преодолели барьеры узколобия, вы, и именно вы, явитесь в истории как практический преобразователь.

При этих словах Егоров заметно приосанился: он весь подтянулся и даже покраснел, что с ним бывало очень редко. Но все-таки Егоров прятал глаза, упорно обдумывая, видимо, что-то важное.

— Ваша коммуна, верно названная «Гигант», является совершенно бесспорной победой революции в деревне и дает толчок к созданию поистине неслыханных сельскохозяйственных объединений. Деятельность вашей коммуны и многих других убеждает, что революционные преобразования в кратчайшие сроки позволят России догнать передовую Европу. — Максимовский замолчал, внимательно посмотрев на тех, кто слушал его. И он понял, что речь его вполне достигла цели: лица их выражали понимание того, о чем говорилось. Но не все: лицо одного мужика выражало недоумение. Маленький ростом, с грубым, обветренным, сплошь иссеченным глубокими морщинами лицом, мужик этот как бы ждал, что он, Максимовский, скажет еще, чтобы можно было поверить. Его надо было убедить, этого белесого, невзрачного по виду мужика, но инстинктивно Максимовский чувствовал, что при всем своем красноречии этого-то он не в силах сделать.

— И в тех коммунах не будет предрассудков, так называемого архаического крестьянского быта, не будет и пут уклада двора, этих молитв под звуки молотильных цепов — мы все это отбрасываем, как негодный хлам прошлой России.

— Вот, вот оно! Вот оно! — крикнул, перегибаясь через стол, Егоров и глухо бухнул кобурой о стул. — Истинно... верно: через ихнюю ничтожность дворов — и к великой цели — мировой революции! Так... Это по мне, принимаем вашу линию! — И, сделав широкий жест обеими руками, Егоров повернулся к Максимовскому и от

имени всех сказал: — На заблуждение умов мы ответим нашей революционной классовостью!

Человек в меховой тужурке, бритый и медлительный, быстро подтвердил:

— В нашей идейности вы можете не сомневаться.

Другой, одноглазый, с тонкими желчными губами, не спеша раскурил трубку и, проследив за тающими кольцами дыма, тоже кивнул согласно головой.

— Дворы разогнать — на этой идее мы и стоим.

Мужик с выпуклыми глазами, который все смотрел вопросительно на Максимовского, не совсем уверенно произнес:

— И ежели которые упрямются, надо применить, стало быть, силу?

Максимовский не мигая смотрел на маленького белесого мужика. Смотрел и тот на него упорно и не опуская глаз.

— Силу! — подтвердил Максимовский и, неожиданно рассмеявшись, наклонился вперед, с интересом рассматривая маленького мужика, взгляд которого не верил ему.

— Да, и силу! — широко раздвигая губы и показывая полный рот крепких зубов, крикнул Егоров. — Хотя бы и к своим братьям!

— И далеко мы уедем? — спросил маленький мужик и тоже подался всем корпусом вперед, тоже пристально рассматривая Максимовского. «Все-таки я подчиню и тебя!» — сказал взгляд Максимовского. «Попробуй», — казалось, говорили глаза этого белесого мужика. Максимовский хотел было подняться, чтобы пересесть ближе к нему, но он встретился с его упрямым, пристальным, из-подо лба взглядом и хорошо понял, что делать этого не нужно.

— Всякая великая революция делается силой, — сказал он, продолжая неотрывно глядеть на маленького мужика. — Насилие есть акт необходимости, упреки и даже заклинания не остановят нас — мы должны идти к цели беспрерывно, каждодневно, не потворствовать маловерам в наше великое революционное дело, все подчиняя делу свободы.

— Для кого? — спросил, прищурясь, маленький мужик.

— Для личности и, понятно, для миллионов мужиков, но с твердой ясностью в том, что их свобода отныне не

будет подчинена интересам закостенелого, невежественного двора, их грязному быту, их темной необузданности, вообще их прошлым интересам. Свободу такую мы не должны дать, чтобы не обескровить нашу революцию, чтобы она не остановилась, а громадными семимильными шагами вышла бы на европейский простор. Международные революционные силы ждут очищения русского мужика от вериг вековой закостенелости, а потому перед коммуной должна быть поставлена задача — безжалостное истребление всякой мужицкой веры, всякого оглядывания назад, всякого сопоставления с тем, что было когда-то, то есть, говоря короче, у их дедов. Вы это должны, товарищи, очень твердо и раз навсегда усвоить, подняться до понимания мировой революции.

— Свобода али кнут? — сказал маленький мужик и рассмеялся.

— Не в твоем и моем это понятии! — сказал Егоров, хмурясь.

— Личность подчинится интересам коммуны, сольется с ней и таким образом приобретет что-то единое, наполненное единым смыслом, единым устремлением, — такова должна быть роль мужика в коммуне. Этому революционному делу вы должны подчинить всю свою работу! — сказал Максимовский, снова испытывая необъяснимое бессилие перед упорным несогласием маленького мужика, который по-прежнему не верил ему.

Все четверо вышли проводить его.

— Как, товарищ Егоров, с вывозкой дров?

— Прикладываем все силы. Плохо с тяглом, нет сбруи, но народ полон интузиазму, вывезем.

— Это очень важно! Бросьте сюда все. Шкурников надо безжалостно наказывать.

Тележка загрохотала по камням булыжника, лошади взяли хорошо и понесли, Егоров, довольно засмеявшись, хлопнул по плечу маленького мужика, с особенной остротой всматривающегося в удалявшуюся тележку.

— Видал, мы в курсе зрения Наркомзема!

— Видать-то я видал, товарищ Егоров... да надо ж понять... Как это: хлам Расеи, значит, к Европе на переучку? Это как же выходит? Выходит, мы навоз посеред степи, что ли?

Егоров нахмурился.

— Соображать должен, дур-рак, в мировой идейности!

— Ты сам пень дубовый, сам думай, покуда не поздно! — крикнул маленький мужик и, решительно шагнув с крыльца, направился в сторону видневшегося на пустыре приземистого здания.

После заезда еще в два места, уже перед вечером другого дня, Максимовский направился в коммуну «Свобода». Он торопил кучера. Лошади крупной рысью вынесли на проселочную дорогу. На этой дороге он испытал тоже хорошо знакомое ему чувство уныния, какое испытывал всегда, оказываясь в захолустье России. То же низкое, обложенное тучами было небо, та же глинистая рыжая земля, те же темные деревни и уже охваченные осенним увяданием леса.

Несмотря на этот унылый вид и тяготы дороги, к которым он не привык, он с бодрым настроением перед вечером въехал в большое, лежавшее на плоской приречной равнине село Никольское.

Он так был поглощен главной целью поездки — поднятием духа в коммунах, что не заметил ни пустого жнивья, ни шедшей в гору, к нему навстречу, бабы с большим мешком на спине, ни двух телег, в которых сидели мужики и по заведенной еще прадедами крестьянской привычке поздоровались с ним; он не заметил в тридцати шагах крестьянских лошадей, которых обратывали молодые ребята; он не заметил крайней хаты с нагими стропилами и, как несоответствие убогости ее, одухотворенных и радостных лиц старика и молодухи, стоявших на крыльце и провожавших его глазами. Он быстро проехал к народному дому. Председатель коммуны Ляхов не был удивлен этому, потому что три дня назад пришло письмо из губцентра, где ставилось в известность о его приезде. Ляхов был рабочий-путеец, приехавший в деревню с одним желанием — помочь ей своими силами.

— Мне о вас много говорили интересного! — значительно сказал Максимовский. — Вашей работе мы придаем очень большое значение. Нас критикуют, но мы ведь тоже критикуем, — добавил он, когда вошли в темную, низкую комнату народного дома.

— Надо, видимо, товарищ, созвать совет коммуны? — спросил он.

— Позовите, — сказал Максимовский, — нужно обсудить хозяйственные вопросы.

Минут через десять в комнату вошло трое: коренастый, сильно оброcший рыжими волосами, начинавшимися почти от самых бровей, мужик, высокая, медлительная в движениях женщина и лет восемнадцати парень с отчаянно-энергичным лицом молодого деятельного человека, которое так не любил Максимовский. И в то же время он, преодолев свою неприязнь, с улыбкой смотрел на него.

— К нам прибыл уполномоченный Наркомзема, — сказал Ляхов, — крупный научный товарищ по вопросам аграрности и быта.

При этом видно было, как Федоскин заметно оживился, а молодой парень пришел в еще большее возбуждение.

— Надо кликнуть народ, — сказал Федоскин и кивнул головой парню, который стремглав бросился к двери.

Народа пришло человек тридцать. Когда люди расселись по скамьям, Ляхов заявил, что уполномоченный Наркомзема сделает важные сообщения.

Максимовский чувствовал, что здесь, в Никольском, требовалось говорить как-то иначе. Теперь он вблизи, а не издали смотрел на собравшихся мужиков и баб, и это обстоятельство его несколько озадачило.

— У вас скоро съезд, и вам нужно уже сейчас подготовиться к нему, — сказал он, все время глядя в глаза то Федоскину, то Ляхову, потому что он чувствовал, что подчинить себе надо было сперва этих двоих. — Я слышал, что какой-то человек, я забыл его фамилию, занимается детским уговариванием крестьян. Он ищет какую-то добренькую мужицкую правду, чтоб не обидеть середняка. Мы отвергаем этот путь.

— Грызться людям? — тихо спросил Федоскин.

— Нет, товарищ: разъединиться коммунарам с единоличником по классовым интересам!..

— Однако, товарищ Максимовский, мы еще не совсем выяснили ваши высказывания насчет громадных коммун? — неожиданно перебил Ляхов.

— Социалистические хозяйства, или, если так выразиться, колонии-коммуны, в смысле своих великих мас-

штабов в кратчайшие сроки вытравят из сознания мужиков тягу к собственности, — сказал Максимовский, продолжая смотреть по очереди то на Ляхова, то на Федоскина.

— Стало быть, только один путь? — спросил Федоскин.

— А вы цепляетесь за прошлое? Хорошая точка зрения! — холодно засмеялся Максимовский.

— Так, так... — сказал Ляхов, — а как же в тех колониях мы начнем строить работу с людьми?

— Какую работу, товарищ Ляхов? Там будет не работа с людьми, а работа людей на базе социалистической законности — это не надо путать.

— Законность-то нужна... — сказал какой-то старик, — а все же непонятно: ежели такие большие поселения, то откуда нам взять веру, что прокормимся без кола-двора?

— Резонно и требует разъяснений, — сказал Федоскин.

— Вас прокормит не кол-двор, за который вы цепляетесь, а единая массовая, всеохватывающая коммунизация!

— Темно что-то, — сказал Федоскин, — туманно!

Ляхов досадовал, что Максимовский, несмотря на всю высоту своего положения, не знал чего-то основного и такого понятного, что ясно было каждому сидящему здесь мужику.

— Нам надо думать не о выгоде отдельных крестьян, — сказал Максимовский, насмешливо глядя на Федоскина и подчеркивая этим свое ироническое отношение к нему, хотя он уже напрягался весь, испытывая раздражение, — не о выгоде крестьян, товарищ, — повторил он жестче, — о выгоде революции в целом, о ее будущей славе и величии — вот чего вы еще не можете понять!

— Куда нам, свиньям, в красный-то ряд, — тоже насмешливо глядя на Максимовского, сказал Федоскин. — Имеется необходимость объяснить? Слыхали мы, что вы в одном месте выступамши сказали: мол, крестьяне все как есть... навоз... за-ради удобрения мировой революции? Это ж как?

— Вы не имеете понятия, как ставился указанный вопрос о крестьянстве. Мои слова извратили.

— А все ж разъясните нам...

— Мы не можем искать духовную опору в крестьянстве, то есть в такой степени, как это трактуют некоторые товарищи. В крестьянстве живучи предрассудки и есть кулачество.

— Так то опора, а то навоз, — невесело засмеялся Федоскин. — Большая разница.

Максимовский вдруг повернулся всей фигурой к Ляхову.

— У коммуниста другого выбора не может быть, — сказал он, — и ты, товарищ Ляхов, должен это знать.

— Так... так... Только такую коммуну мы строить не будем. — Ляхов вздохнул, словно снял с себя тяжелую ношу.

— Дорожки, видать, у нас разные. — Федоскин поднялся, теребя в руках шапку. — Мы что-то не войдем, товарищ Максимовский, в ваши понятия. Не войдем, — повторил он упрямо и как окончательно решенное. — В газетах от имени партии разъяснялось, что коммуна — малая ячейка и социализм, стало быть, в деревне пойдет куда шире, через коперативность, спокойно и без нажиму. Там по-другому все это выглядает.

— У вас есть время все очень хорошо обдумать. На пользу революции и человечеству. — И Максимовский поднялся.

— Нам думать нечего, судьба народа нам не мачеха, чтобы ею можно было играться. — Федоскин неуступчиво стоял на своем.

— Я сожалею, товарищ Ляхов, — вновь повторил Максимовский.—С реквизицией скота вы воздержались, и это, может быть, правильно, хотя у меня лично другая точка зрения. Она такая же и у других товарищей в Наркомземе. Вторая коровка у мужика — это все-таки не так безобидно на фоне угнетенного мирового пролетариата. Необходимо, не щадя сил, ускорить заготовку дров!

На дворе в это время послышался шум колес и фырканье лошадей.

IX

Матвеев, Телегин и Громов, усталые, вошли в народный дом. Максимовский застегивал пальто, взглянул вопросительно на входящих. Матвеев первый шагнул к Максимовскому.

— Председатель Высоковского уездного исполнительного комитета Матвеев, — назвался он. — А это уполномоченные губкома партии, товарищи Телегин и Громов. А вы кто будете?

— Заведующий отделом Наркомзема Максимовский.

Они пожали руки.

— Ну и погодка, дери ее маковку! — улыбнулся своими жесткими морщинами Телегин. — Едва не увязли, будь она неладна.

— Вы, видать, товарищи, промокли? Не поискать ли вам какую обувку? — спросил Федоскин, глядя на их раскислые сапоги.

— Нет, ничего. — Матвеев, кашляя, снял фуражку и вытер тыльной стороной ладони мокрые запавшие щеки. — Вы к нам по какому же делу? — обратился он к Максимовскому.

— В основном заготовка топлива.

— Да, с этим трудно. И еще оттого, что Бражинскую волость по рукам и ногам связали коммунизацией, — Матвеев прошел к столу, вынимая из походной старой сумки какую-то бумагу.

— Мы, товарищ Матвеев, считаем наоборот. Коммуны позволили нам обеспечить вывозку во многих местах ударными темпами, — возразил Егоров.

— Там позволили, где эти коммуны неслабосильные, устроенные добровольно.

— Слово опасное, товарищ Матвеев, — вступил в разговор Максимовский. — Опасная она, добровольность.

— Ничего, товарищ, трудовым массам она понравилась в семнадцатом году, — ответил Телегин. — И вот что, товарищ Федоскин: пусть актив не расходится, побеседуем по житейским делам.

— Дрова? — спросил Максимовский.

— Посмотрим. Губком партии считает, что есть такая надобность в беседе.

Перешли в холодную залу нардома, все скученно расселись на скамейках. Рядом с Ляховым села круглая, в плисовом жакете и с простенькими серьгами в ушах, с миловидным лицом и яркими, светящимися проницательным умом глазами молодуха. Видно было, что

она смела характером и бойка на язык. Мужики и бабы, теснясь, с достоинством ожидали начала.

— Что ж, товарищи, прошу высказать все, так как губернский комитет партии получил письмо. Письмо это смелое, трезвое — о делах в вашей коммуне... Дела неважные, если сказать мягко, — добавил Матвеев, зачитав письмо.

— И вовсе хреновские, — подтвердил Федоскин.

— Пущай будет товарищество, пущай будет толковая работа с запашкой земель, — очень пронзительным голосом сказала молодуха в плисовой жакетке.

— Коммуна тоже может быть, да не такая, — вставил Федоскин.

— Мы смотрим на коммуны именно в таком плане, как они строятся у вас, — поспешил заметить Максимовский.

— В таком плане номерок не пройдет, дорогой товарищ, — возразил Телегин с тем спокойствием, какое бывает у людей очень сильных характером. — Нет, не пройдет! Товарищи активисты! Здесь имеет смысл разъяснение. И вот по какому пункту. Скоро состоится съезд коммун и артелей губернии, но еще перед съездом надо твердо знать, что мы, коммунисты, такую востряковскую коммуну отвергаем, как идейно вредную, идущую вразрез линии партии. Мы стоим за широкое кооперирование, мы все к коммунам не подводим, но их нельзя сбросить со счетов, но только такую, как, например, лукашовскую — Золотухина. Поэтому мы просим вас избрать уполномоченных и послать их в Лукашовку с целью перехвата опыта дальнейшего вашего строительства. Вы можете жить и в единоличестве, но приглядываться к коллективности надо.

Когда Телегин замолчал, все невольно обернулись к Федоскину. Маленький мужик этот почему-то, как магнит, притягивал всех к себе. Смотрел на него и Максимовский; он всегда поражался силе в таких невзрачных людях, в корявых мужиках, которые, в его представлении, могли делать лишь черную работу руками.

— Про Лукашовскую коммуну и товарища Золотухина я слыхал. Съездить куда как не помешает, — сказал Федоскин.

— Правильно, — подтвердил Матвеев.

— Уездный комитет и лично товарищ Востряков на действия Золотухина смотрят по-другому, как на извратителя, — напористо возразил Миронов, стараясь не глядеть на Матвеева. — Уком на такой курс поворачивать не думает.

— Посмотрим, посмотрим! — живо отозвался Телегин. — И нельзя так смело говорить обо всем укоме.

Максимовский напряженно смотрел прямо перед собой. Он не мог не видеть, что сплошная коммунизация, которая еще вчера ему казалась близка к завершению, сейчас отдалялась все дальше и дальше.

— Я думаю, что всякие дискуссии в этом деле принесут только вред, — сказал он, отчеканивая каждое слово.

— Такое мы слыхали, — поднимаясь, жестко сказал Телегин. — Такое нам не в новость.

— Товарищи, в Лукашовку выезжайте сейчас же, — сказал Матвеев после приступа кашля. — Вы, товарищ Максимовский, куда теперь?

— В Симановский сельсовет. Там у вас особенно плохо с вывозом дров.

Отъехав с версту, Максимовский повернулся к Миронову.

— Готовьте как следует съезд. На него прибудет товарищ Осинский, — сказал он, кутая лицо от жесткого ветра в меховой воротник. — От съезда будет очень многое зависеть.

— На это бросим все силы! — отозвался тот.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Все лето и начало осени для Митьки тянулись в раздвоенной жизни: между двором отца и коммуной. Дед сказал тогда вещие слова, назвав его совестливым, и он угадал. После посевной он редко встречался с дедом и еще реже с отцом, не прощая ему битье за пахоту на коммунском поле. Он все дальше, хотя и медленно, но отходил от родительского двора и значительную часть времени работал в коммуне наравне со всеми. Отец был раб земли, но Митька не хотел идти по его следу, а как жить, он этого еще не знал; все чаще

и как бы явственней снились ему сны. То сны эти были о дальних краях, где он, Митька, шел во главе войска, то он, раненый, лежал на поле и его при замерших полках уносили куда-то, то стоял он на трибуне перед тысячами народа и говорил о революции, то бежал под пулями со знаменем и видел море других знамен и бесконечное скопление лиц, бегущих за ним.

А лето и осень были досадно удушливы, в блеске солнца, в палящих суховеях, с очень темными, душными, беззвездными ночами, когда негде было найти места, где спать: дом томил привычными запахами сухой пыли, холста, скотского пойла, а в сене, в сарае, огнем жгли мелкие блохи, и было страшно лежать одному, слушать шорохи полыни за воротами, мышей по углам. В полночь в квадрате полурастворенных ворот таинственно и величаво каждый раз всплывала круглая, в оранжево-дымчатом ореоле луна, ясно освещавшая бело-синие холмы дремавших облаков, и оттуда сквозила такая глубокая, бездонная пропасть, что захватывало дыхание от восторга, от чувства смутного и дикого счастья и желания дотянуться и побежать босому по этим изгибам, нырнуть в ту неведомую пустоту... И, желая отойти мыслями от отцовского двора, от коммуны и вообще как бы подняться в небо, Митька отчего-то вздрагивал, пугался какой-то сладкой, тонкой, до того неведомой силы чувства во всем теле, значение которой он не понимал. Не зная и не понимая, что с ним, он поворачивал голову, искал черное пятно крыши Мильчиных. Вот что томило его — эта дырявая хата, эта Настя-богомолка, за которой он, пробираясь бурьянами от кузни, где работал уже второй месяц, наблюдал, выслеживая там до темноты, ожидая, когда она появится в своем широком сарафане на пороге... Митька, тупея от телесной истомы, уходил в задний угол двора, садился на скамейку посреди крапивы, малинника, бузины, где пахло детской порой, и вновь охватывали его странные те сны, и слышал он шорох тех знамен... Тогда он уходил в нардом и помогал Галине рисовать объявления, буквы на картоне и все норовил красным цветом. Кондрат как-то заметил, словно подслушал его больные думы:

— Ай в генералы метишь, малый?

Митька хотел засмеяться в ответ с той презрительностью, которая начинала в нем вырабатываться ко всякого рода недоверию к его уму и силе, но нахмурился, отставил как-то по-стариковски ногу, тряхнул длинными полынными волосами, сказал туманно:

— Рано смеешься, дядька Кондрат.

Отец как-то завел с ним разговор во дворе, под навесом сарая. Митька в последнее время замечал, что отец духовно переменился к нему и будто терзался от какого-то неразрешимого дела. И сейчас, поглядывая на сына, Илья стал выпытывать у него о мелочах коммунской жизни, так что Митька инстинктом почувствовал метания отца и насторожился. Он исподлобья смотрел на него.

— Ты от них, понятно, не уходи, Митряй, все на виду...

— Это, батя, куды ты гнешь? — спросил Митька, хмурясь на слова отца.

— На виду, говорю, будь, — строже и многозначительней сказал Лукашкин. — Да дураком не представляйся, на них воду возють, на дураках.

— Я должность себе не выгадываю, как комсомолец-то... Я это не того... — Митька, краснея, отвернулся от отца. — Ты это брось!

— Тьфу ты! — И, ничего не сказав больше, Лукашкин ушел в дом.

Митька после того терялся в догадках: «Чегой-то он, ай сам об коммуне думает?»

Как-то вечером еще в конце лета он и Галина возвращались на телеге с Выселковских хуторов: возили туда по указанию Золотухина брошюры и книги в сельскую школу. Собиралась гроза. С запада низко ползла угольно-черная туча, заметно светлевшая вверху и казавшаяся клубящимся жидким варом около земли. Левее тучи, над колосящимися ржами, все чеканилась и играла молния. И все сказочнее раскрывалась на мгновение, золотисто озарялась от вспышки молнии даль за июльскими ржами, за вившейся белой от пыли дорогой, над туманностями нескончаемых лесов, и все шире, громче, то бубняще раскатываясь, то оглушающе ухая, хозяйничал гром в небе.

Галина испуганно и радостно косилась на молнии, на волнующуюся, прибитую ветром и бегущую на них

уже наполовину сжатую рожь, на изгибе дороги спросила:

— Ты чего молчишь?

Митька лежал сзади в телеге и, насунув на облупленный нос кепку, искусно сплевывая сквозь зубы, значительно молчал от самых хуторов.

— Не твоего то понятия, — сказал он, сощурясь.

— Ты, значит, женщину ставишь в приниженность? — заметно обидевшись его словами и приготавливаясь к отпору, спросила Галина.

— Отстань, тю!

— Я тебя счас кнутом! Ты ответь, Митька!

— Не вам наперед, а мужикам. — Митька пошевелился, хотел плюнуть, но сбоку, у самой дороги, радостными усами стояли колосья, и передумал.

— Старая в тебе болезнь — вот что скажу!

В это время из ржи совершенно неожиданно будто выпрыгнул худой маленький старик с холщовой сумкой на боку, босой, и сейчас же за ним следом вышел другой старик, высокий, узкий в плечах и тоже худой до того, что серая куртка болталась на нем, и Митька узнал в нем барина Барышникова. Шедший впереди старик со сморщенным мелким лицом, часто и мелко крестясь и шепча молитву, глубоко взглянул в лица сидевших на телеге и крикнул необычно звонко:

— Куда лезете в хлеб, не видите, что ль?

Выправив лошадь на колею, Галина испуганно оглянулась на стариков, которые уходили все дальше по тропе через жито.

— Помещик алексинский, — сказал Митька, провожая их фигуры глазами.

— Бродяжничают?

— Тоже жизня.

— Как глянул старик, даже страх взял.

Лошадь пошла рысью, загудели колеса по прибитой дороге. На развилке дорог Митька слез и, поддергивая портки, потянул тюк с книжками, взвалил на спину, сказал:

— Езжай в деревню. Золотухин говорил, что конь нужон солому возить. Я отсюда пешком, Сикаревка вон за бугром.

— Осилишь ли?

— Тю, девка. Комиссар! Ажно смех! Нешто вам,

бабам, комиссарить-то? — Он, скривив губы, подбросил повыше тюк и, косолапо ступая черными, со следами старых цыпок босыми ногами, быстро зашагал по дороге, мимо худого, как будто вытоптанного скотом, овса. Подул резче ветер, и заколыхалась волнами рожь.

Через мгновение и выросший для людской благодати хлеб, и гремящую телегу с Галиной, и Митьку с тюком настиг необыкновенно бурный, шквалом пронесшийся теплый ливень...

Они с Федором Усинцовым наладили кузницу, наконец-то отковали свои, хоть и грубые, но тем и дорогие, что свои, первые шесть серпов. И при этом Митька проявил такую сноровку и изобретательность, что даже Федор, осторожный на похвалу и как бы изумленный тем, что до сих пор совсем другими глазами смотрел на этого парня, сказал:

— Смотри-ка! А ты где ж выучился? Ковка-то какая!

Митька повернулся к нему лицом от горна, блестя горячими глазами, тоже спросил:

— А откудова Кольцов песни сочинять выучился? То-то, что не знаете вы меня!

И незаметно как-то из серого мальчишки, из мелюзги становился он трудовым мужиком, вырастал он в нового человека.

II

На полу крестами — лунная дрема. Зыбко, мутно... Голова Максима расплывается — мигает огонь лампы. Которую ночь так, просыпаясь, смотрит Наталья на него, мужа. Муж... К слову она не привыкла: коробит ее. Добрым людям спать надо, а он торчит за столом. А как крикнет первый петух, надевает сапоги, шинель. До каких это пор? И сам голый, и сама она голая. А эти гнилые стены? Хотела кое-что вынуть из береженого родительского сундука — там много сложено за годы, — отец кинулся чуть не с палкой. Хоть бы мать вступилась — немая простояла. Ненавидят его родители. А она?.. Какая еще тут любовь: тоска пихнула. Опостылели родительские приказы, выросла, самой воли захотелось, и пришла воля. В коммуну

ихнюю ходить, наживать мозоли — воля. И живут непонятно, нерасписанно, невенчанно — жена ему или просто забеглая?

Дня три назад отец непрямо, намеками, как бы через силу, сказал, что надо ей быть обходительней с Золотухиным, что от их мира будет увереннец и спокойней ему жить, на что она ответила:

— Жди того спокойствия!

Широко потянулся, снял гимнастерку, штаны, аккуратно повесил на гвоздик, дунул в лампешку, во мгле лег: хрустнула старая кровать под его нескладным телом.

Наталья спросила шепотом:

— Поговорим, слышишь? Максим? — Она начала тормошить его.

— Чего тебе? — Золотухин в полусне чмокал, как ребенок, губами, зарывался глубже в подушку.

— Наши мужики в Москву ездили. Болтают, что их в Кремль пустили. Говорили они что? Как все пойдет дальше?

— А ты спроси сама.

— Так они мне и скажут.

Золотухин снова зарылся было в подушку, но она вырвала ее из-под его головы.

— Ты, видно, за батину судьбу пекешься, Наталья? — спросил он.

— Обязана печься. Это для тебя он враг, а мне отец. Наша с тобой судьба... она тоже не очень ясная...

— В каком смысле?

— В таком... Кто знает... — что-то не договорила Наталья.

— Ты на что намекаешь?

Она молчала, не ответила. Им обоим было нехорошо. Золотухин взял подушку и лег, подумав с грустью: «Жизнь-то у нас не налаживается что-то... И отчего это люди, такие умные, не могут договариваться промеж собой? Как бы оне зажили, коли б не было так!» И, закрыв глаза, сказал:

— Поздно. Часа через три встану. В лес поедем.

— Начальник, есть кому и без тебя.

— В коммуне нет начальников. Ни нынче, ни в будущем. — И задышал в подушку.

Она вцепилась ему в плечо — глаза ее блестели кошачьими огоньками.

— Получаешь наравне со всеми, а тоже председатель!

— Как все, так и я.

— Ты мне скажи: дом себе строить будем?

И вновь не ответил.

— Максим? — прижалась, начала хватать его зло за бока.

За окошком уныло посвистывал ветер. Кто-то грустно плакал в трубе, манил сладкими голосами, что-то сулил. Месяц нарядной голубой дугой летел прямо на Наталью. Счастье.... А была гимназия, были надежды, думала о другой дороге. Дурочка — проучившись год, таким шариком выкатилась в шестнадцатом из высоковской гимназии. А все батька, двор берег, разора боялся. А он — вот разор ее, однорукое счастье! Уткнувшись в стену, отчужденная, заплакала...

Очнулась она от света — солнечный луч грел ей щеку, глаза. Максима не было. Сапоги, сбитые до ручки, стояли возле порога: ушел в лаптях. Выглянула в окошко. На проулке — гомон, мычание коров. Хозяйки, обротав, вели по хлевам и коней и коров. «Знать, вернули тех, что забрали летом», — подумала Наталья, внезапно обрадовавшись: теперь-то она приведет отцову Красулю, все полегче будет.

III

Наталья смотрела на уездный город Высоково: только что приехала на коммунской подводе. Плисовая жакетка и длинное платье туго обтягивали стан, зашнурованные высокие ботинки по той моде ладно поскрипывали на полных ногах. Выпрыгнула из телеги, стряхнула с юбки зеленую сенную труху. В скобяной лавке надо было получить пуд гвоздей, вязку подков да штук десять топоров и пил. Отдал ей муж остатные артельские деньги. В палисадах никли подсолнухи, всюду за заборами маковым цветом горела рябина. В этом году неслыханно буйные отсорила осень краски. Около лавки подводы, за навозными кучами и штабелем бревен излизанный ветрами и дождями пологий спуск к Днепру. Синей девственной бездумностью несло от

воды, и такое сладкое накатило к сердцу, что Наталья тихонько вытерла слезинку. Она давнишнее, гимназию, вспомнила...

Река, как скатерть-самобранка, манила соблазнами: уплыть бы за далекие берега! Откуда-то из-за угла вывернулся с подводой брат Иван: приземистый, стриженный в скобку, в волосищах, в лаптях. Иван придержал лошадь. В телеге — бороны, прикрытые рогожей. Проехал мимо, не заметив ее, и она не окликнула.

Погрузив товар на телегу, Наталья пошла посмотреть город. На перекрестке бывшей Купеческой и Самсоновской улиц догнал человек и крепко схватил ее за круглый локоть. Оглянулась — перед ней стоял высокий худощавый мужчина, одетый в какую-то блузу серого цвета и со странно и неестественно блестящими глазами. Он, улыбаясь, смотрел на Наталью. Какой-то сатанинский блеск его глаз поразил ее.

— Откуда вы явились? — спросил он, рассматривая ее.

— Оттуда, — сердито отозвалась Наталья, но уходить отчего-то медлила.

— Я вас знаю сто лет! Пойдемте, — сказал он решительно, и она действительно, ни о чем не спрашивая, пошла за ним. Минут через десять он привел ее к низенькой хате под обрывом. Два окошка смотрели прямо в прозрачно струящуюся воду. В хате, как в мышеловке, наплевано, на столе — блюдце с натыканными окурками, краски, кисть с обглоданной ручкой, портреты каких-то бравых людей с выпяченной грудью, много портретов Маркса и Ленина — все они смотрели, как с икон, в лицо Натальи.

— Герои революции. Их идеал — сила! Все разрушить в пепел... На нем создать царство справедливости. Мои картины смотрел выдающийся революционер товарищ Востряков. И понимаете, одобрил, разбей меня гром! Вам нравится? — Он уже держал ее за обе руки. Это, видимо, придало ему уверенности.

— Чудеса-то! — только и сказала, словно без памяти, Наталья.

— Приходит время героев. Понимаете? Революция дала излом: единая стихия — народ — уступает место тому, кто ведет и движет. — И вдруг поймал ее близкие горячие губы.

Наталья вывернулась из горячих его лап, не помня себя, выскочила на улицу и, красная, с бурно вздымающейся грудью, торопливо пошла к подводе около скобяной лавки.

Здесь уже везде налаживалась жизнь. Уже шли деловито и озабоченно и, главное, очень уверенно куда-то люди, уже не косились они, как она помнила по прошлому времени до революции, на дом городового под железом — ныне на нем весело краснела дощечка какого-то учреждения.

Товар ей час назад отпускал сухой желтый старик, а теперь, когда Наталья подошла к подводе, на крыльце стоял черноволосый румяный мужчина в сапогах, в опрятной суконной рубахе, без бороды, с подкрученными усами. Он издали улыбнулся.

— Здравствуйте, — сказал он. — У меня получали?

— У вас, у старика.

— Вы из коммуны? — Он внимательно, с головы до ног, разглядывал ее.

— Да.

— Моя фамилия будет Шешкин. Я сам из мещан, не слыхали?

— Не слыхали, — сказала, помолчав, Наталья.

— Вы из какой деревни-то?

— Из Лукашовки.

— Муж местный или, к примеру, комиссар?

— Комиссар.

— Сама жизнью довольная? — Человек этот явно к ней присматривался, словно цыган к лошади.

— Как уж есть, — вздохнула она и села в телегу, вывернула ее на булыжник.

— Подождите трошки! Хотите пряников?

— Я сладкое не люблю, — откровенно и смутно улыбнулась она, оглянувшись.

За городом, в осенних полях, меркли солнечные блики, чистый ветер холодил кожу лица. Наталья оглянулась на маячивший вдалеке на холмах уездный город, потом задумалась и словно смотрела в самое себя: что же ей такое нужно было и чего она искала в жизни?

В Зимовной вырубке, на четвертой версте, когда Наталья спустилась в лощину, на дорогу вышел человек в поношенном офицерском кителе, но без погон. Жесткое, небритое лицо его, направленные на женщину глаза вы-

ражали чувство радостных воспоминаний. Он, видимо, что-то вспоминал в эту минуту, связанное со встретившейся ему женщиной. Наталья с трудом узнала Михаила Дымкова и, холодея от страха, остановила лошадь.

Михаил медленно подошел к телеге.

Память с еще большей ясностью вернула ему как бы тихий и отрадный полусон хуторской давнишней жизни, которая казалась сейчас утерянной навек. Отсвет того нежного и счастливого воспоминания, как робкий луч заходящего солнца, еще озарял его усталое постаревшее лицо; когда он поднял на нее отуманенные, будто смотревшие сквозь дым глаза, Наталья поняла, о чем он думал.

— Здравствуй, Наташа, — сказал он, протягивая ей сильную руку.

Она, не отвечая, растерянно смотрела на него.

— Не рада встрече? — улыбнулся Михаил.

— Нет, отчего же... — сказала она.

— Я, Наталья, тебе заветное слово берег, — сказал он, все не выпуская ее руки и грустно глядя ей в глаза.

И, совершенно успокоившись, она тоже улыбнулась ему.

— Вот не догадывалась я.

Он с шутливой непосредственностью погрозил ей пальцем.

— Хитришь, хитришь, должна была ты догадаться!..

В конце первой мировой войны Михаил Дымков был произведен в младший офицерский чин. Он, выходец из низовых мужиков, был отмечен за храбрость, которая сослужила пользу отечеству, и потому чьим-то высоким повелением в торжественной обстановке, перед строем всего полка, был переведен из общей солдатской массы на высшую по отношению к ней ступень офицерского корпуса. Вскоре после производства в офицеры, через три недели, он получил отпуск и в новой, еще непривычной ему форме приехал в свою деревню. Молоденькая шестнадцатилетняя девчонка, какой была тогда Наталья Бабинцева, поразила его; Наталья, встретившись теперь с ним, хорошо помнила, что он пытался за ней ухаживать, но сделала вид, что не помнит этого. Сейчас он ясно видел, что в том положении, в котором он находился, ей не нужно было то воспоминание. Они помолчали немного. Поглядывая на нее то ли все теми

же грустными, тоскующими глазами, то ли взглядом просто усталого человека, Михаил вытащил из полевой кожаной сумки сверток бумаг и, протянув ей, сказал:

— Надо их расклеить на видных местах в деревне и передать в Бражино остальные, спросишь там Змитракова Федора, отдашь ему.

Наталья машинально развернула бумаги; это были антисоветские листовки.

— Я этого, Михаил, не возьму, — сказала она решительно и разобрала вожжи, намереваясь ехать дальше. — Я в вашу игру не встряну, напрасно ты надеялся.

— Твоего отца, сколько я знаю, они не шибко любят. Подумай о том, Наталья! Они и мои и твои враги.

— Любят или же нет, а листовки я не возьму! — еще решительней повторила она.

— Я не могу неволить, как хочешь. Но хорошенько подумай, с кем ты живешь, он враг отца! — И, сказав это, исчез в ближних кустах.

Наталья, пугливо оглядываясь, погнала крупной рысью по дороге лошадь.

IV

Хлеб сгорел в то лето. В коммуне уцелел один участок жита да соток шестьдесят пшеницы.

Большой массив паханной на себе залежи погиб начисто: кое-где к осени остались одни лишь реденькие рыжие островки. Хлеб у единоличников тоже пропал. В самый разгар жары, когда крошилась под ногой земля, организованный Золотухиным полив худо-плохо, а результаты кое-какие дал: жита было намолочено сто сорок пудов, пшеницы — девять. После расчета по налогу республике в поповском закроме осталось семьдесят пудов ржи и четыре — пшеницы. Было решено на общем сходе — половину хлеба оставить на семена, остальной делить посемейно месячными двухфунтовыми пайками. Вспоминали о поливе, когда люди падали с ног, когда вставали с первым петушиным криком и, похватав ведра, бежали к Угре. Сколоченный плотниками дощатый желоб облегчил их работу на поливе. И выбор места поближе к воде тоже сказался: жито подходило под самый берег. Единоличники, оставшись без хлеба, запасали грибы, сушили картошку, толкли в

ступах лен, готовясь к тяжелой зиме. Не дремали и коммунские. Едва кончили со вспашкой озимого жита, едва посеяли его на том же, вдоль Угры, поле, все женщины и старики уходили в лес. Обильные осенние дожди и затянувшееся тепло дали урожай поздних грибов. Коммунары засолили три бочки. Фекла приговаривала житейскую присказку:

— Да это ж русский третий хлеб, гриб! После картошки и третий.

Все, что волокли, сушилось и солилось в поповском подвале. Вечерами заходили мужики, качали головами, глядя на проворные руки баб. Пахло от мужиков смолой, хвоей, самосадом.

К осени, к Октябрьскому празднику, срубили дом. Кое-как доконали его и опять же сумели — покрыли тесом, соломой бы можно, подешевле, да не было ее, а сенца, заготовленного трем коровам и одному коню на зиму, пропасть требовалось, берегли солому на корм. Было постановлено: в новый дом вселить Феклу Косухину с детьми, Марфу и еще Кондрата Стрекалина, но оставалась свободной одна квартира с сенцами, печкой и кладовкой. У всех были свои хаты, жили дворами. Хоть и подгнившие были эти дворы, но никто из коммунских переходить в свободную квартиру не захотел. Больше всех радовавшийся Кондрат, когда подошло вплотную к переходу, вдруг при всех решительно запротестовал:

— Отдавайте кому хошь, а я отказываюсь.

Золотухин посмотрел на него, подумал и спросил:

— А что за причина, Кондрат?

— Мужику по фатерам таскаться — последнее дело! Фатера — она есть фатера. Уж ты, Максим, не принуждай. Я не пойду со двора. Хата моя, верно, хреновская, но в ней и батька жил, и дед жил, и на мой век хватит уполне. Подопру, ишо сколько постоит... Старуха тоже против. Ить двор-то держит! Нет, не невольте, я его, двор, бросить не могу, — отрубил Кондрат окончательно.

Тогда Лушка Поршнева предложила отдать эту, Кондратову, квартиру Люшне, но Макар тоже неожиданно воспротивился:

— Спасибочки, товарищи. Моя хатенка мне не надоела. Уж вы кому-то другому отдайте.

— Дед Макар! — сказала Лушка, подходя к нему ближе. — Ай не ты мне жаловался: лягушки прыгают из-под печья? Какого ж рожна ты теперь плетешь? Твоя хата скоро завалится.

— Сроду не видал лягушек под печкой. Брешешь, баба, — уперся Люшня.

Варвара Семигонова сильно удивилась, слушая эту перебранку.

— От даровой отказываются. Давайте нам, хучь у нас ишо хата справная. Мы не откажемся.

Золотухин не понимал разговора: он всматривался в такие знакомые лица и будто другие видел. Не понимал он: после стольких мытарств и трудов, вбитых в эту первую коммунскую постройку, и вдруг заотказывались?..

Он спросил Люшню:

— Не хочешь, дед?

— Даже и не надейтесь! — отрезал тот.

— А чего же ты тогда в рогожу слезу капаешь? Что ж ты всякому встречному на жизнь натурально жалобишься? — вскипел Золотухин.

— А то... Хватера-то чужая... — И хитрая ежиная мордочка его поморщилась — от улыбки или еще от чего-то.

— Ты ждешь, может, чего?

— Все ждем... И опять же под богом ходим.

Лушка дернула его за новые штаны, зло спросила:

— А ты где, антиресно, их взял?

Люшня вдруг натужно крикнул:

— Не твово ума дело тута!

Все засмеялись. Левцов, не воспринимая шуток, озабоченно затоптывая цигарку, сказал:

— Не будем уклоняться: надо решать, как нам быть. Давайте кончим разговор с домом. Нудятся мужики. Макара мы знаем, а вот ты, Кондрат, и вовсе выкидаешь колено. Хата твоя в зимнюю вьюгу может запросто рухнуть. Никакие подпорки ее не удержут, не видишь, что ль, какая у тебя хата?

— А ты, Антон, мою хату не строил, — отмахнулся Кондрат. — Крыша на ней не дырявая. Я заявляю, Максим, мне обчая фатера покуда не нужна, я воздерживаюсь.

— Ладно, — усмехнулся Золотухин, ткнул кулаком

в бок Кондрата, еще шире усмехнулся — совсем непонятно; прошелся по новым сенцам, понюхал стружку — душисто, смолисто пахла она, швырнул ее под ноги и сказал: — Будем некоммунским давать. Одну квартеру — Анисиму Филиппенкову с семейством, вы знаете, какая у них хата! Вчера был — подпорам не на чем держаться, а другую — Кожушенкову.

Левцов посмотрел на него. Спросил холодно и сухо:

— Что-то я не пойму — чужим давать?

Золотухин положил ему на плечо руку. Вновь усмехнулся, затем отошел к крыльцу, издали посмотрел уже спокойно, внимательно, сказал:

— Сегодня — чужие, а завтра — своей своих. Возражениев нет?

— Дать им! — за всех сказала Фекла. — Какие же мы чужие-то, Антон? Али державы другой? Чудно ты говоришь!

— Не чудно, а верно, — сказал Левцов.

— Пущай живут, — сказала и Марфа. — Пущай сейчас же Галина к ним побегет и объявит.

Галина, как всегда, с готовностью смотрела то на баб, то на Золотухина.

Золотухин повернулся к ней.

— Верно, беги. — Помолчал, посунул фуражку и произнес с уверенностью: — Потому что придут оне к нам и соединимся же мы, я верю!

V

Илья Лукашкин привел к Угре поить кобылу. Вот теперь он уже понял твердо — себя перехитрил, разорился! Вчера кинул сорок соток озимого клина — не допахал, еле живую выпряг лошадь, пригнал домой и первый раз в жизни выдавил слезы из глаз. С отчаянием, со страхом Илья смотрел, как, поводя боками, единственная теперь кобыленка подбиралась по илистой топи к воде. Бока ее, обтянутые кожей, судорожно подводило, страшно выпирали ребра. А войдя в воду, стояла, безучастная, с опущенной головой, с мягких, дряблых губ падали светлые капли.

— Пей, чего ж ты, а? — чуть не плача, Лукашин

дергал ее за повод; он даже не чувствовал холода, в воду зашел прямо в лаптях.

На другом берегу, в лозняке, попискивала птичка: «Пить хочу, пить хочу». Лукашкину же хотелось повторять: «Хочу жить, хочу жить!» Как ему хотелось жить двором, нерушимо и становo, а жизни не выходило!

Кто и когда оборвал извечный ход?

На сердцевине течения, где пенисто крутило струи, ворохнула хвостом щука и, раскрыв хищно пасть, неглубоко прошла под просвеченной толщей воды. Берег блестел мокрой глиной. Маленький островок с единственной кривой ольхой на нем, выступающий недалеко от этого берега, золотился мшистым папоротником, зеленая светлеющая ряска дышала покоем.

— Господи, что ж так трудно мне! — прошептал он, вкладывая в эти слова всю силу мятущейся души. Он вывел кобылу из воды, бросил поводья. Та тихо и безучастно, понурив голову, стояла рядом.

Тут он увидел прямую тень на воде и услыхал жадные, чмокающие звуки, повернул голову — шагах в полусотне поил лошадей Дымков. Две отобранные лошади, а ныне обратно возвращенные, поил.

— Давай перекурим, Илья, — предложил свой кисет Дымков. — Ты что, хвораешь?

— Хвораю! Глянь на животину, вот она, хворь, — кивнул Лукашкин на лошадь.

— Я тоже, Илья, думаю...

— Тебе-то какая охота?

— Илья! Жди не жди, а добра мы не высидим. Может, и хуже выйдет...

— Хуже?

— Ездили не зря мы.

— Клин не осилил, — глухо заговорил Лукашкин, хотел жаловаться, но вдруг осекся, глянул в воду, в ее прозрачность, и сказал: — Игнат, я прибиваюсь к ним. Я, брат, отпелся! На этой нешто напашешь? Чуешь ты?

Дымков гладил пах жеребца, смотрел на рябившую воду.

— С богом, Илья! — сказал с живостью.

— Ты... советуешь?

— Один выход, ты-то умный. Иди!

— Я... я, брат... — И, не договорив, Лукашкин решительно повернулся и пошел к кобыле.

Когда ему коммунарами были поставлены условия: свести весь скот, инвентарь, тягло, Лукашкин решительно запротивился:

— Вторую, последнюю, корову не отдам! Что хотите, а не отдам. Оставьте ее на моем дворе, а кобылу и другую корову приведу.

Марфа заговорила первая:

— Поблажку, Илья, ищешь! Чтобы самому сытым быть. Хитрость твою я давно знаю. Веди обеих коров! Сведешь — примем, а не хочешь, так не гневайся.

— Это у его, у Ильи, все сытость, — заметил Люшня, причмокивая языком и к чему-то принюхиваясь.

— А ты ее не хотел бы иметь, дед Макар? — спросил Золотухин. — Сытость?

— Нет, гражданы, я ее не имею и не дуже тянусь. Теперь я скажу про Илью, вот как я скажу об нем и об егоных действиях. Он и в Москву ездил, чтоб переждать, уберечь жеребца. А вышло вовсе обратно: жеребец околел, а выйти ему из затрудненья никак нельзя. Как выйти? Поехал пахать на кобыле, а та хуже козы. Поглядите на нее! Один страм, гражданы, неприкрытый. Жеребца он нам не привел, а эту одру недоделанную в коммуну сплавляеть! Так же корова. Корову хочет прижилить, но ладно. Опять же, гражданы, вопрос нешутейный — какую корову? А корову-то безрогую и безмолочную, которая двадцать возов сожреть сена, а ни нас, ни геройскую Республику Советов не накормить. Эта корова литра молока не даеть. Хитрый Илья! Он нас, Лукашкин Илья, береть на мушку. Мое предложение вовсе против, то исть не брать ихнее семейство, не брать в коммуну.

— Не брать? — спросил Золотухин.

— Категорически не брать, и пущай не надеется!

Тут Золотухин почесал затылок, щелчком отсунул со лба картуз и спросил Лукашкина:

— Слыхал я, Илья, ты рассказывал, будто сам товарищ Калинин интересовался нашим Люшней? Слух только или правда? Как было-то?

Лукашкин маленько подумал, откашлялся, сказал:

— Сущая правда.

— Ой, а не врешь? — воскликнула Галина.

— И даже ни капли не вру.

Бабы и мужики не верили, как и в то не верили, что

видели они самого Калинина, что с ним говорили, — думали: отсиделись с Дымковым в овраге, а слух пустили для затравки. Но непохоже было все-таки на двух этих мужиков, чтобы по оврагам они прятались...

— Стали мы за одним столом с ним чай пить, бегло ему зарисовали нашу деревню. А он — ей-богу, не брешу — этак прищурил глаз и спрашивает: «А какой у вас мужик, — говорит, — щи лаптем хлебал, а им же обратно прикусывал? У вас ведь такой есть?» — «Есть, — говорим, — то же Макар Люшня». — «А как же, — говорит, — дожился до такой стороны?» — «А так, — говорим, — Михайла Иваныч, что сам Люшня таким уродился. Не князь или, к примеру, купец — нищий. Дед у него был, так тот и вовсе не лаптем хлебал, у того и лаптей за душой не было, и порток не было, мешком стыдное место обвязывал». — «А Макар, — спрашивает, — не разбогател теперь, странным образом как?» — «Да, — говорим, — ходит барином...» А ишо подумал, прижмурил глаз — он всегда жмурит — и сказал вот как: «Сегодня, — говорит, — он в новых штанах ходит, Люшня ваш, а завтра как бы лавчонкой не обзавелся или, к примеру, баней! Кого-то он все ж обчистил».

— Обокрал? — изумилась Пелагея Семигонова. — За-ради бани?

— «И будет он, — говорит, — парить людей да шкуру драть со своего, с ближнего, из кажного березового веника мошну наращивать».

— Погоди-ка? — перебил Кондрат. — Это ты шуткуешь?

Золотухин ответил Кондрату:

— Не мешай!

— «Опять же, — говорит Калинин, — буржуев мы вытряхнули, откуда в таком случае этот банщик возьмется-то? Откудова ему, — говорит, — взяться, ежели мы собственность к ногтю свели? А вот, — говорит, — откудова: из вашей стихеи, из вас же найдутся, у кого новые штаны, добытые бог знает как».

— Ишь ты, куды подкрутил! — воскликнул Кондрат в восторге.

— Заливай, заливай! — хихикнул Люшня, как бы переводя этим разговор на веселый тон.

— «И вот, братцы, — говорит Михайла Иванович, —

вы этого мужичонку, Люшню, вовсе не узнаете. Тогда он вам таким братцем покажется, что не хуже жандарма. Он ить добрый, пока гребет табачок из чужого кисета, а как только заведется свой, на понюшку не даст и своего же брата обдерет как липку. Только — говорит, — ходу-то ему нет, ни в коем даже разе».

— Пустозвон чертов! — не выдержал Люшня и, встав с камня и отряхнув новые штаны, быстро, своей обычной подпрыгивающей походкой пошел проулком.

Около поповского амбара мужики некоторое время сидели молча. В кустах лозы на огородном прясле посвистывал знобящий ветер; черными рваными караванами на юг шли тучи.

Лукашкин посмотрел вопросительно на всех, а Золотухин с хитрым выражением на лице подошел к нему и спросил:

— А ты врал, Илья? Про разговор с товарищем Калининым?

Тот ответил не сразу и вскользь:

— Может, врал, а может, ни капельки. Понимать надо...

Золотухин засмеялся, потом строго его спросил, уже переводя разговор на серьезное:

— Ты сам-то проникся? И корову вторую сведешь?

Лукашкин сидел бледный. Какой-то другой голос нашептывал ему — терзал его тяжелыми и вескими словами: «Ты минутной слабости своей поддался, что так быстро решил. Самого себя разом переехать хочешь. Ты тягла единоличного испугался, а другой, новой-то, жизни не постиг еще. Еще душа твоя обеими ногами на дворе, — оглядись!»

Все внимательно смотрели на него. У Лукашкина выступила на лбу испарина и мелко-мелко вздрагивала левая бровь.

— Сгоряча я... рановато мне пока. Душа, братцы... душа покуда не дозволяеть... — выговорил он, поднимаясь со скамьи. — Пока посижу в единоличности.

— Да ты что с нами играешь?! — крикнула Лопарева Галина, уставясь в него злыми глазами.

— Как совесть и душа велят, так и поступай, Илья, — сказал в напряженной тишине Золотухин. — Но помни — мы готовы принять тебя...

VI

Черны и беспросветны осенние ночи, а так же покрыта мраком людская душа. Познайте тайны человека — тогда вы познаете мир. Ибо в тайнах его и свет, и печаль, и тоска, и добро, и зло, всего этого много и безгранично. Одно из самых трагичных заблуждений человеческих состоит в забвении маленького, растворенного в пестрой массе человека.

О Митьке Лукашкине в деревне было распространено мнение: тише воды, ниже травы. Рос он кротким и тихим мальчишкой. Часто Митька заглядывался на дорогу: манила его таинственная даль... уводила куда-то жаркие мысли. Будто снились невиданные дотоль земли, огромные города, призывающие знамена... И он сам не последыш, не где-то в хвосте — на виду, обагренный знаменем, впереди, устремляющий за собой других. И сладко, и возбуждающе, и дух захватывает от счастья. Ах, кабы все это случилось, окунуться бы в ту даль! Мысли эти теснили Митькину маленькую душу, сердце жарко гнало кровь, аж перехватывало дыхание. «Я из себя не сильно заметный, но никто не знает, на что я еще гожусь. Может, я и сам себя до конца не знаю? Но что ж это нынче-то случилось со мной? К добру иль к горю Настя-богомолка?.. Да ведь я ее сгубил! Как же я свяжу себя с ней? Сопляк пока... Трусость меня берет. Мне ее жалко. А сам я? А мечтанья мои? Даль-то — она грезилась мне. Да чую ж я пеленки... Нет, нет, не может того быть! Родитель мне шкуру напрочь спустит. Страшно мне чего-то... невдобно и стыдно. Я за нее боюсь, за Настю, — сломал я ее, кроткую. Подлый я — нет мне прощения. Ее ить батя до смерти забьет. Не то она жизни лишит себя. Нет, не может, не может того быть! Ах, хоть бы помог кто! Не хотел и не хочу ей худого причинить. Да трушу я, своего счастья хочу. Всяк хочет своего. Как же, а?..»

Он испуганно глядел в сумрачный потолок, как бы ища ответа. В отцовском доме стыла глухая ночная тишина, только милая песенка неугомонного сверчка нарушала ее. Сквозь омуты туч изредка светлел месяц, бросая на пустынные поля серебряный след. С грустным посвистом проносился куда-то — в те новые, манящие земли — осенний ветер. Еще дедова шуба пахла счаст-

ливыми грезами детства, надо было крепко под родительским благословенным кровом уснуть, как когда-то, чтоб увидеть милые-милые, светлые отроческие сны. И куда они делись? Отчего их нет уже нынче? Зачем так?..

Тайны Митьки Лукашкина никто не знал, дома тоже не ведали, куда он ходит вечерами. Парень был смирный, никто в деревне о нем плохого не говорил. В коммуну один, без родителей, вписался, работал на совесть, легкого в жизни не искал. Но случилась душевная беда, и так как был он совестливый, то неразрешимой показалась ему и сама жизнь... Вечерами, когда темнело, незаметно уходил он под берег Угры, вернувшись, сняв ботинки, на цыпочках крался к постели. Лукашкин, приглядевшись к сыну, как-то спросил жену:

— Чтой-то Митька наш?

— Ты об чем?

— Поздно, стервец, приходит. Откудова бы?

— Молодой.

— По деревне слух есть? Гуляет с кем? — допытывался Илья.

— Я не слыхала.

— То-то, учуем последними. Гляди!

VII

Едва Мильчины отстояли молитву, с улицы вбежала младшая, Настюха.

— Нам новую фатеру коммунские дали! — выпалила она.

— Болтай, блудня! — прикрикнул Глеб, отец, тощий, узколицый, с бельмом на правом глазу.

А в коммуне перерешение дела и верно было — насчет одной, оказавшейся свободной квартиры: Порфирий Кожушенков отказался, увидев в этом жесте скрытый аркан, из которого потом не выпутаешься. Вступать в коммуну он пока не собирался. Золотухин настоял на Мильчиных, коммунары скрепя сердце согласились на его доводы, хотя и считали семью богомольцев не теми людьми, кому надо оказывать помощь. Но Золотухин оказался на редкость упрямым, и постановление такое вынесли.

Заикаясь от волнения и трепета, Настюха рассказывала дома:

— Коммуна постановление изделала. Я, тятя, ей-богу, не лгу. — На глазах ее выступили слезы.

У богомольцев Мильчиных было четверо взрослых девок да самих двое. Таисия, мать, всполошилась:

— За што милость-то?

Не успели опомниться, на дорожке увидели Золотухина, за ним Левцова. Глеб перекрестил стены и сел, вытянув шею, — лицо светлое.

Коммунары вошли степенно, как к себе домой, — оба сразу сели на скамью, поморщились: откуда-то из-под печи несло сыростью и гнилью: старая, жуткая и черная была эта хата! Золотухин сказал суть дела: если согласны вступить в коммуну, то могут хоть сегодня занимать часть новой хаты, что выросла на бугре за поповским скотником.

У Глеба враз вспотели ладони, некоторое время он сидел в позе подстреленной птицы, коротенький миг еще висящей в воздухе. Потом он, вытерев о штанину ладонь, мирно проговорил:

— Милосердие господнее — наша крыша.

Старик выжидал что-то... Белые, слегка навыкате глаза его были непроницаемы; он сидел и, напряженно покашливая, обдумывал предложение.

— Проживем, — сказал он наконец.

— Мы не нуждаемся, — пролепетала и Таисия, не спускавшая с мужа глаз.

— Тут жить нельзя. Зиму хата натурально не выстоит. У вас же четыре работящих девки, — говорил Золотухин, дотрагиваясь до плеча то одной, то другой. — Силища! Мы, Глеб Порфирьевич, хочем устроить праведную жизнь.

Старик засмеялся, пепельные глаза его стали печальней и глядели, как из рамы, борода стекала на острые колени, приплюснутые к голове уши шевелились. Он долго, не меняя позы, чему-то таинственно смеялся. Глаза его ушли под надбровья, белки в глазницах мутнели пятнами: старик словно ослеп; узкие тонкие руки ненужно обвисли с коленей, висели, почти дотрагиваясь кончиками пальцев до пола.

— Уходите! — прохрипел он. — Идите с богом, лю-

ди. — Глеб встал с лавки, подошел к двери, отворил. — Ослобоните! Не тревожьте нас, ради Христа!

С тем и вышли. На улице Золотухин спросил:

— Видал: меньшая-то Настюха? Какая-то она?..

— Не след бы нам к ним лезть, Максим Егорыч.

— Нам тут всюду след. Нам тут все не стороннее. Кажен камень.

VIII

Сестры разбрелись по двору — работать. В моленном углу остались старики. Глеб дырявил глазом икону богоматери Иверской, думал. Таисия перебирала шерсть, сидела под иконами на лавке как побитая. Хозяин огляделся: надо огороднюю стену подпирать — не упала бы. Все высмотрели, у себя в хате покою нет. Ох, господи!

— И то правда: зря, хозяин, мы так-то...

«Ну что она знает со своими курьими мозгами?»

Старик не ответил. И самого распалило — не всякий раз дают даровую хату! Но подальше от соблазнов дьявола, подальше...

— За Настюхой чаво примечаешь, мать?

«Не любит младшую-то». — Таисия вся встрепенулась, готовясь к защите.

— В коммуну бегаеть? А?

— С чего ты взял?

— Боюсь я...

Таисия ткнулась рядом; били поклоны, шептали молитвы. Он встал первый, глядел, перекосив бороду.

— Порченая ты: одне девки, Таисия! Не дал бог мальца. Надоть было, как брюхатая ходила, настойку на богородицыной траве пить — могло б помочь.

Настя тем временем перебирала картошку в погребе с Веркой, средней сестрой; через небольшие промежутки выбегала наружу: смотрела в сторону Угры, слушала.

Застекленная осенней лазурью река тихо, молча катила воду на север. Вера, заголив исподницу и обнажив ноги, высыпала в ларь картошку. На днях Настюха видела, как сестра ночью грызла подушку, задушенно стонала. Ее туда же вилась стежка... Но обжитый круг завершился: со старым покончено! Она без разбора

швыряла картошку: ныне вся была непохожая на себя. Негромкий свист, едва слышный ей одной, донесло от берега.

— Ты одна... Туточки я сбегаю... — И понеслась, царапая о дедовник и лозняк коленки, пригнувшись, чтобы не видели в окна родители.

Митька сидел на берегу, пугливо вздрагивая от каждого шороха. Жил какой-то чуждой для себя жизнью, пряча эту связь от людских глаз. Тропинку протолок от заброшенного гумна под это крутоярье. Позавчера целовал ее в ольховом кусту, будто опьянел. Но Митька настораживался: что же все-таки случилось? К чему-то приведет? Великие революционеры гибли от легкомысленных связей, от разной житейской путаницы, вспомнил он лекцию, неделю назад услышанную в уездном нардоме.

И чувствовал, понимал, к своему стыду, что не хватает смелости пойти открыто к ней, да и к людям тоже, неокрепший, незрелый еще был.

А старик съест, загубит ее жизнь, цвет чистый, лазоревый! Нужно было быть Митьке благородным, но, как только начинал думать о том, что узнают люди, как будет ее бить отец, темнело все кругом.

Треснул сучок, встрепенулся — по тропинке шла она. Какая-то сила сама собой подняла его с земли. Настюха приближалась к нему.

— Догадался тятька? — быстро спросил он, хватая ее за теплые покорные руки.

— Не знаю.

Они помолчали. Из-за кургана вылетели припозднившиеся журавли. Настюха ласкала взглядом добрых птиц, кликающих тревогу и грусть. Самой бы так... подняться да полететь бог знает куда, на край земли, век бы лететь отсюда, от постылого житья...

— Ить не знаешь? С пузом-то я, глянь-ка!

— Ну... всурьез ты?

— А то нет! — Она сжалась, длинные ее волосы опали на колени, волной заслонили лицо. Митька смотрел на них, а волос не видел — пронзила жалость к ней.

Отмахнув назад волосы, спросила с придыхом:

— Родить как? Тятька ить убьеть!

— Беги седня же к старухе, к Сазонихе... Она, На-

стя, враз... опростает тебя. — И произнес беспомощно: — Что ж я могу? Что ж я сделаю?

— Боюся!

— Слыхал — быстро она... хм... Да не трави ты себя! Я, может, отныне сам стравленный... Покуда не будем встречаться-то. Вот... — И, пришмыгивая пятками, полез кверху, но остановился, беспомощно сказал: — Я упредил, а то вы, бабы... дурные вы, а в нас революция. Да и мне за женитьбу батька голову оторветь! Завтра иди к Золотухину: проси о принятии в коммуну. Да к Сазонихе мотри не забудь! Выхода-то нету! — И Митька пошел, суетливо семеня ногами, весь пронзенный болью за нее и не зная, что делать.

А Настюха стояла и стояла еще долго на ветру одна.

IX

Деревню черные обложили тучи. С одного крыла, над левым берегом, светлыми прутьями вызванивал град, с другого, что припала к Зимовной вырубке, широкой туманной полосой струился холодный дождь. Незлобиво пророкотал запозднившийся гром, угас, истаял вдалеке. По крыше Мильчиных забарабанили первые капли. Глеб перекрестился, выгнал за двери ластившуюся к ногам черную кошку, не торопясь снял с гвоздя вожжи, шагнул на середину хаты. Чада сунулись на колени — перед иконами. «И энти туды же...» Старик покосился на них, в нитку сомкнул губы. Настюха валялась у ног, зареванная, изредка умоляюще вскрикивала:

— Прости, тятенька! Виновата я, виновата я!..

Таисия черной коршунихой глядела из закута: не знала, кого защищать, кого винить. Настюху она любила сызмальства за тихую кротость и доброту. Но вышел такой грех, тяжкое посрамление, какого еще не ведали, — жалость тут во вред.

— Аграфена, завесь окошки, — распорядился хозяин, распутывая вожжи; бурые брови старика приподнялись — прямо над хатой сухо палила припозднившаяся молния, гудел гром, косо секли струи дождя. «Грех искупить!» Старшая, Аграфена, плосколицая и строгая, как живая икона, завесила все три окошка.

Одним движением хозяин заголил юбку из рядна,

ткнул младшую на четвереньки, по-собачьи, как дровяную плаху, ступней прижал животом к полу, через ровные промежутки размахивая, стал сечь. Тягуче взвизгнули вожжи: «Ах-ых-ах-ых!»

— Забей до смерти, проклятый!

Старик выронил вожжи, обессилел, присел на лавку.

Настюха попыталась вскочить, но удар отца ее заново опрокинул, и, падая, чувствовала, как раз и другой раз мягко и властно перевернулся в животе тот, из-за кого она теперь страдала. С удвоенной силой старик подымал и с присвистом кидал руку наотмашь с тонко вжикающей вожжиной. Изодранная исподница на ней окровенилась, спина вспухла от лиловых метин. Сделалось невмоготу, дышать стало нечем, из искусанных ее губ вырвалось судорожно:

— Тя-ятя-я!

Воя от жалости, Таисия бестолково силилась поймать вожжину, но старик пихнул ее — полетела под лавку. Девки, ошалев, ревели разными голосами на полатях.

— Тя-те-енька-а! Зве-ерь! — Она пыталась руками загородить изорванную спину.

— Нна-а, шалава! Знать будешь, как путаться. Потаскуха, дрянь, прости господи. От веры отошла, греховница, блудня!

— Тя-тя-я!

Старик кинул под ноги вожжи, отошел в угол, глянул оттуда змеем, что-то жалкое промелькнуло в его жидких, желтых мигающих глазах. Хотел положить перст — руку повело набок.

— Ироды! Шалавы гулящие! Будешь знать. Я те рожу-у, профостка! Чтоб вы седня издохли. Бога на вас нет, кабы услыхал-то! — И сам, непонятно отчего, всхлипнул и сморщился. Представилось ему — сатана в людском образе. Грех-то, грех-то по свету ходит, господи!

Сестры и мать видели, как встала на четвереньки с пола Настюха и, волоча ноги, поползла до кадки с водой, жадно выпила деревянный ковшик. Странно, непонятно, как-то светло оглядев сестер, мать, отца, низенькую голую хату, держась за стену, поднялась — коленки у нее суетно дрожали, — полезла на печь. Легла. С головой укрылась шубой.

— Аграхвен, слышь, ить пропадать нам! — сказала Настюха испуганно.

— Ты молитву-то читай — бог услышить.

— Где ж он, бог?! Где?..

— Молись богу, молись, молись!

Ночь... Осенняя тьма, ни зги — глаз выколи. Пролетели последние журавли в дальние земли, за теплые моря, не плакали они больше над крышей. А тебе один удел: бейся головой об пол да вот ночью майся, тоска да боль...

Спустя час Настюха осторожно вышла из хаты, огородами спустилась к Угре. Порывистый, холодный, обжигающий насквозь ветер налетел на нее, подтолкнул в спину, погнал к самой воде. В черных разорванных тучах, желтая и обескровленная, виднелась луна. Где-то в хуторе с глухим подвывом брехала собака. «Господи! Господи! Ежели ты есть, помоги мне, господи, и дай мне силы!» — прошептала она, почувствовав, как ледяная вода обожгла ей ноги.

Когда огляделась, тот, живой и нетерпеливый, должно быть ножками, ощутимо стукнул ей в низ живота. Сладкий восторг умиротворения, какой испытывает всякая мать, властно охватил ее! Она словно опомнилась, изумление и детская улыбка счастья замерли на ее лице. Кто-то большой, невидимый и сильный, туго буцая по воде ногами, шел к ней, она так хотела и ждала этого человека, который бы помог ей и спас ее. Она прислушалась... Ветер все больше усиливался, шипел и свистел на разные голоса. Омут, так хорошо знакомый ей, дышал и жил в своей неразгаданности совсем близко от нее. Девушка вдруг тихо вскрикнула, страх выгнал ее из воды. Ветер обжал между ног домотканую юбку и тихо гладил ее тугой живот. Ей почему-то припомнился очень теплый летний дождь на дедовом гумне, запах свежей, только что скошенной травы и как она сама, маленькая девочка с голым пупком, бегала тогда по лужам.

Настюха зажмурилась и вновь, уже с большим спокойствием, зашла в воду. Сразу ожег холод ноги и подобрался выше, к животу, к груди, но она пересилила себя. Она постояла недвижно и зачем-то оглянулась.

На высокой круче, словно сорвавшись, вместе с ветром летела на нее чья-то хата в деревне. И огонек, желтый и крохотный, светлел и манил ее. Потом она пошла и пошла, все глубже, подняв над головой руки, с избытком наполнила грудь воздухом и ветром, крепко зажмурилась, оттолкнулась от дна, пытаясь вспомнить что-то радостное, дорогое и прекрасное в своей маленькой жизни, и нырнула. Волна жадно сомкнулась над ее головой, и будто где-то весело-весело запели люди, и кроткая душа ее порывисто отозвалась им...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Легший сразу после покрова снег стаял, по ярам и глухолесью бугрился слоистый туман, прихваченные первым заморозком леса безжалостно оголились, пугали наготой. Готовилось к зиме зверье: запаслись кормом белки и волчьи выводки, тащили в норы пищу барсуки, оседали поближе к жилью зайцы.

Отделившиеся Мироновы, Николай и Ганна, на лесном участке, несмотря на засуху, собрали урожай: намолотили семнадцать пудов жита, пудов двенадцать овса, чувала четыре сняли гречихи, насыпали яму картошки, навалили хворостяную загородку свеклы на корм скоту. После горячки летних хлопот Николая понесло в отъезд на заработки: уехал по уездам собирать тряпку. В кованом железном сундуке у него была всякая всячина: пряники, серьги, дешевые кольца, гребенцы, щетки. Возвращался он домой недели через две, осунувшийся, постаревший. Шершавыми ладонями ласкал Макарку, ходил босой по теплым новым половицам, радуясь и сознавая, что ничего иного не просит душа. На фронте он так часто думал о доме, об этой вековечной тишине, захороненной в еловых стенах, и Ганне он говорил:

— Пускай людишки суетятся: наше дело стороннее.

Больше всего на свете его радовал сын. Диковатый рос, в развилке бровей, в синих глядящих исподлобья глазах вылитого узнавал себя. Инстинктом угадывая отцовскую кровь, Ганна тревожилась за сына:

— Даже не играет ни во что. Одно на уме — рабо-

та. И не учится. Деревенских вон возють учить, а наш? В хозяйское ярмо?

Николай шевелил плоскими ступнями, испытывая блаженство: хорошо так, босому, посидеть дома осенним вечером под тягучий вой ветра за стенами!

— Видали мы грамотеев! Вся порча жизни от них. Работать чертям надо, а оне? В головах всякая блажь. И Григорь наш дурак — власти захотел! Власть хороша, да мачеха, а земля — она-то мать!

— Детям не нашей темнотой жить!

Николай криво, одной щекой усмехался.

— Погоди, попортят детей. С земли ишо побегут искать райскую жизнь. Погоди, земля будет лежать непаханая. И сиротская.

— Ее пахать умному-то легче.

В закуте вздохнул теленок: их опахнуло луговым медом от его горячего дыхания. Николай радостно потянулся, посветлел и покрасивел лицом; неловко ступая, подошел к закуту и долго гладил рыже-красную шерстку, звездочку на тупом лбу. Теленок, закрыв глаза, доверчиво тыкался влажным носом в людские ладони, лизал их горячим бархатным языком, мелкая, стригущая дрожь шла по спине и теплым его кудрявым пахам и там, замирая, переходила в новую, отдающую трепетом волну.

— Как ты не поймешь: отседова все! Все как есть! — Он взволнованно засмеялся, гладя теленка.

— Я людей полгода не видала!

— А зачем они тебе, люди?

— Где люди, там и жизнь.

— Паскудство одно! Ты глянь: сколько кругом нас благодати? Перезимуем, придет весна... Лес зацвететь! Гармонь куплю. К лесничему ходить будем. Самовар ставить будем под елкой. — Он, возбуждаясь, с суровой мужской ласковостью гладил жесткие вихры сынишки, глядевшего из-подо лба на родителей. — Родились-то все за-ради воли. В неволе и зверь дохнет. Коммуния, Ганна, не для мужика! В Покровском ты не видела? А я видел, как гнали на работу. А за то чашку похлебки на день! Радуйся на такую коммуну. В Покровском, скажем, дали перекрут. Золотухин хочет по-людски, да ты пойми: вряд ли ему дадут того, как хочет. Погоди, ему ишо подрежуть крылья. Им драки не мино-

вать. Мужиков втравють. Драка-то у них нынче за власть. А власть завсегда плечами мужик подпирал. Ну и пускай их, нам в лесу затишно. — Николай ласкал затеплившимся одиноким глазом уснувшего сына, умолк и сидел, уперев в колени ладони.

Ганна тоже молчала, грустно и рассеянно глядела поверх головы мужа в окно на яркую россыпь звезд.

Чуть свет Николая опять понесло в извоз с тряпками. Днем Макарка с жадностью рассматривал яркую картинку: где-то нашел оборванный журнал. Увидев мать, тут же спрятал, смутился, словно она поймала его на недозволенном.

— Глянь-кось, мам! Картинки! — И сдержанно, скупо, как все у Мироновых, рассмеялся.

— Учиться тебе надо, Макарка! Я, сынок, по себе знаю. И батька вон наш...

— И я, мам, как батя. Скоро пахать буду. Из лесу никуды не пойду. Тута лучше, чем в хуторе.

Слов этих Ганна боялась больше всего на свете.

— К деду не тянет?

— Не хочу.

— К ребятам? Антипка небось скучает без тебя?

— Нужны оне!

В полдень приходила Галина Лопарева, принесла она новость: утопилась Мильчина Настюха.

— Отчего она это сделала? Что в деревне говорять?

— Всякое. Может, сама?..

— А ежели кто утопил?

— Кому она мешала? — сильно удивилась Галина.

— Кто ж знает — кому?

Сидели в прихожей, разговор у них отчего-то не вязался.

— Книгу-то осилила? — спросила Галина.

— Половину только. Глянь, какие в ней буквы-то махонькие! Глазом не поймаешь.

— Читай. Нам тьму из себя вышибать надо. Боже, какие мы темные! Я тебе еще принесла рассказы Чехова Антона. Ты хоть слыхала об нем?

— Впервой слышу.

Помолчали. Ганна внутренне ждала главного разговора, заранее приготовилась к отпору: и едва Галина начала про коммуну, Ганна резко поднялась на ноги, решительно отрубила:

— Я там ничего не забыла!

— Золотухин просил хорошенько подумать.

— За восемь верст я буду к вам ходить на работу?

— Рви теперь, пока не поздно, а нет — озвереешь. Не ты первая, не ты последняя. Много состарилось! Не знаю, как ты, а я жить хочу по-коммунски. Света повидать. Что я видела? Хлев, да батькины тумаки, да четыре зимы в приходскую бегала.

— Ты птичка вольная. Я-то при семейке!

— Стронься! Сама!

— Стронешься! — Ганна угрюмо усмехнулась, покачала головой. — Как там свекор со своими? Марья как?

— Пропавшая, вот как. Григорий глаз не кажет и туда не берет.

— Ну, видать, кралю нашел. Свое мужик не упустит. А жаль Марью! Жаль. Сжились мы с ней.

Ганна проводила Галину до дуба на развилке, долго одиноко стояла на холодном ветру без платка, смотрела на сквозной, оголенный лес, пытаясь разобраться в себе: за что же она цепляется так упорно и безнадежно в этой жизни?

II

Коммуна жила, хотя гибель ей пророчили еще при создании. Но она жила, так же как живет и не умирает пчелиный улей, куда за долгую зиму положили слишком мало подкормки. Со стороны кажется, что нет в том улье жизни, что вымер и высох он, но только лишь со стороны, — есть там своя тихая, но неумирающая жизнь... Коммуна сеяла, пахала, молотила, заботилась о людях, любила и тревожилась, как мать о своих детях.

Еще в разгар лета ей нарекали гибель, а теперь стояла близкая зима, а гибель ее не настигла. «Поглядим, что-то будут они шамать на своем кругу? Разве что сожрут и сам котел!» Теперь прикусили языки: каждый день по три раза семьями, со стариками и с детьми, тянулись коммунары в столовую нардома. Никто из них пока не упал, не иссяк духом, не пересох от забот так, как медленно тлели и обугливались при единоличестве. Дивились: откуда она, живучесть? Своим чередом шла

работа. В кузнице помаленьку наваривали плуги, ремонтировали бороны, точили топоры и пилы, клепали литовки. Завели шорную мастерскую, и в ней же вместе с хомутами ладили обувь коммунским: вытаскивали изо всех углов драные ботинки, сапоги, валенки, из невозможного — дырка на дырке — делали обувь к распутице. Из старых хомутов сшили два десятка пар детских ботинок: их тут же роздали разутым и раздетым. Кондрат Стрекалин откуда-то приволок кожаный верх барской коляски, крашенный в лазурную голубизну: ко всеобщей радости и изумлению, детишкам Косухиной Феклы сшили семь пар добротных сапог большего размера, чем нужно (туда влезало по две ножонки), и Кондрат, совмещая должность конюха, шорника и сапожника, пояснял:

— Ноги у них, у чертенят, растут мигом. Надо заглядывать и наперед.

Казалось, всю слежалую, десятилетия и века томившуюся подспудно сердечную свою ласку коммунары отдавали ныне своим детям. В детях они хотели видеть то, чего не послала им жизнь самим. Детям желали испробовать другую долю. И шли к ней. Школу в Лукашовке к зиме так и не открыли: не удалось, как ни напрягались. С запозданием, с середины октября, стали их каждодневно возить в Богодилово, отряживая на это подводу и человека. Были предложения возить коммунских детей, а единоличников не брать, на чем горячо и настойчиво стоял Левцов. Его мнение о коммуне оформилось окончательно: Золотухин хочет построить всеобщий рай. Его знобило оттого, что рай этот был таким туманным и далеким, а жить хотелось сейчас, сегодня же. Возить на учебу стали детей и единоличников, и коммунских.

Все внимание Золотухин сосредоточивал на людях. Его тревожили молодые единоличники. Угнетал разлад в семьях, словно он сам был злым опричником и горьким роком. Он пугался при мысли о разрыве Мироновых, Ганны и Николая, но чего хотел, так это воли жене Григория, Марье! Видел он в ней свою мать: такой же немой, не ради себя, а ради огромной отцовской семьи, сгорбатила она свою жизнь. И слишком загадочно погибла Настюха Мильчина... Ни один человек в деревне, кроме самих Мильчиных, не знал о связи Митьки с На-

стюхой. Как-то старухи начали было строить догадки, но их же, старух, в деревне и высмеяли: вовсе нельзя было заподозрить того паренька, вчера еще разорявшего птичьи гнезда и лазившего в чужие сады, в таком грехе.

Митька сам редко ходил на сходы, большую часть времени проводил в кузнице. Работал он теперь безотказно. Мильчины про Митьку словом не обмолвились, когда выловили в Угре Настюху и похоронили ее. Еще тише жить стали, и будто не топтала она тут траву, не ходила и не смеялась.

Искали дорогу коммуне. Книги Золотухину объясняли общую картину, не указывали одного: как же строить эту новую жизнь? Уком по-прежнему требовал сводок о сдаче налогов, а в последнее время — о состоянии и количестве единоличных садов. Его поражало: откуда у людей столько терпения и выдумки? На все запросы он верное составил мнение. И вдруг он почувствовал метания Вострякова. Каждая бумага ныне заканчивалась: «Просим уведомить уком...» Теперь он просил, а еще недавно под бумажкой стояло: «Уком требует». Первая трещина или новый маневр?

Как-то в один из тех дней на крыльцо взошла Сурмакова, новый предсельсовета и она же партийный секретарь волостной ячейки. Вошла, поздоровалась и тут же потребовала, чтобы коммуна «Власть труда» выделила комиссию для переписки и обобществления яблонь и других фруктовых деревьев единоличников.

— Обобществлять яблони и сливы? — не понял ее Золотухин.

— Ты удивлен, товарищ Золотухин?

— Сказать так: сильно и натурально!

— А чего же неясно? Рождение социализма. Подрыв собственничества — и в пользу революции!

— Так ведь он, мужик, сроду пользовался своей яблоней. Фартовая ты бабенка, Сурмакова!

— А я тебе не бабенка. Ты вот возьми исходящую, распишись в уведомлении — и давай на практике исполнение. А теперь я спешу, ты у меня не один такой. — И портфель застегнула, пошла к порогу.

Золотухин нацарапал на бумажке:

«Товарищ Матвеев, обобществление яблонь проводить не буду. Жду твоего распоряжения. Золотухин».

В тот же день послал в Высоково нарочного — Галину, и к вечеру она вернулась, привезла ответ:

«Запрашиваю губком. Форменное головотяпство! Ни в коем случае не допускай описи фруктовых деревьев. Всяких по этому поводу агентов, если заявятся, гони в шею. Привет! Матвеев».

Переговорив с Галиной о подробностях разговора с Матвеевым, Золотухин прошелся по деревне, присматриваясь к огородам: у кого за тыном торчало штук пять яблонь, у кого с десяток выглядывало молодых вишенок да слив или по паре грушовок еще — не любили что-то сады в Лукашовке. И тут же он подумал, глядя на галдящих коммунских детишек, они теперь, привыкшие кормиться у общего котла, и держались всегда стайкой, играли вместе. «Старики-то наши хромоногие были! Что хорошо, так оне не видели. Сад коммунский завести. Вот саженцев бы добыть! Нонче время упущено, зима на пятки наступает, а весной в доску расшибусь, а саженцев добуду, и засадим. Смородины ишо черной им-то, чертеняткам голопузым, полезная дуже ягода». Вновь он остановился около детишек и беду их понял, осознал до дрожи, и чуть не вскрикнул. Подранные они, поцарапанные, с битыми носами стояли, ребятишки: у иного рубашонка была до пупа распущена, у того сопля красная, Федька Ганны Косухиной зажимал дрючком распоротое пузо — реветь не ревел, а скулил как-то.

Из-за пуни трусливо выглядывали головенки единоличных ребятишек — их там больше было. Видать, только бой у них кончился: на дороге колотушка деревянная валялась с надломанной ручкой. Около пуни, пристыживая единоличных, ругалась Фекла:

— Хронт затеяли, пострелы! Кыш отседова, спробуйте учинить ишо, я вам жопы насеку! — Старуха, выкрикивая, подошла к Золотухину, кивнула на пуню: — Видал воинов, Максим? Я аж в скотнике услыхала драку. Такой рев подняли. У мово вон пузо в крови. Ах, вы! Ну, я вас! — И старуха было опять направилась к пуне, но ее остановил Золотухин:

— Погоди, тетка Фекла, оне не виноваты. Нас бить надо. А ловко-то лупились?

— Поугробились бы. — И встрепенулась: — Глянька, Матвеев к нам?

Из-за поворота показалась знакомая исполкомовская тележка.

Матвеев еще больше осунулся, желтей стало лицо, заметней выступил нездоровый румянец на щеках. Но прежними, нерастраченными оставались его энергия и воля, и тот же был полный непреклонности взгляд маленьких проницательных глаз. Выслушав Золотухина, он велел садиться в его тележку, и минут через тридцать быстрого хода они уже подъезжали к Бражину, где находился сельсовет. Стоял легкий, светлый день уже поздней осени, сквозили нагие леса, шире и выше было огромное небо — казалось, что природа устала за долгий зной лета, и теперь, добрая и ласковая, как мать, укладывается на покой. И в природе, и в самом воздухе, и в блеске низкого солнца было разлито что-то новое, чего еще не видели и не знали люди.

— Зачем ты взял к себе Миронова? — спросил Золотухин, отыскивая взглядом сельсоветскую избу.

— Положим, не я взял, но около меня он менее опасен, чем тут.

— Товарищ Матвеев, трудно тебе?

— Это неважно. Куда хуже здоровье. А верных большевиков уже в уезде порядочно. Не горячись...

— Мы ить ведем тяжелую войну!

— Главное — ненужную народу и вредную! Она опустошает народ каждодневно. Когда бы только распри касались двоих или троих людей. — Матвеев сгорбился и закашлялся. — А то ведь Россия вон лежит, она сушит меня невыносимо! — воскликнул он с такой прорвавшейся болью, что Золотухин тоже весь вздрогнул от охватившего его волнения.

— Да, Россия, — вздохнул он. — Она в садах еще не цвела. И когда ей видеть-то сады? — спросил Матвеев с тем же ожесточением и болью.

Шины дробили серебристый ледок, лошадь, фыркая, огибала совсем нагую и холодную осиновую рощу; подняли воротники — из оврага несло сыростью.

Сурмакова проверяла какие-то бумаги, когда они вошли в сельсовет. Матвеев долго изучал поданный ею циркуляр губисполкома об описи единоличных садов, сказал и ей и Золотухину:

— В циркуляре говорится лишь об описи! Странно, товарищ Сурмакова, ваше самоуправство! Данной мне

народом властью приказываю отменить головотяпский приказ — обобществлять сады... Я не договорил, прошу не перебивать! Сейчас же садитесь и объезжайте те деревни, куда вы успели наведаться, и чтобы сегодня до двенадцати часов ночи это безобразие было остановлено!

Сурмакова бесстрастно стояла не шевелясь, смотрела упорно Матвееву в глаза. Долго смотрела. Сказала, едва разжав губы:

— Не выполню. Я звонила Замялову и Миронову, они одобрили.

Стучали купеческие ходики в углу, голубой амур сидел на них, с детской улыбкой своей глядел на людей.

— Ну?!

— Покуда подчинюсь. — Она нагнула голову, стараясь скрыть выражение своего лица. — Покуда, товарищ Матвеев!

Они молча расстались в полуверсте от Лукашовки. Тяжко кашляя, Матвеев махнул рукой, пустил лошадь рысью. Золотухин шагал к деревне, и вдруг не испытанное им никогда раньше чувство силы и какой-то необъятности охватило его. У крайней хаты Кожушенковых ему встретилась Фекла.

— Ходишь! — закричала она так, как кричат глухим. — Тебя люди ждуть. Чанцовские к нам прибиваются!

Никак не ожидал он этого ныне и торопливо направился к нардому.

На крыльце стояли четверо баб и старик, высокий, в лаптях, в армяке, подпоясанном веревкой. Увидев Золотухина, одна из баб начала было выть, но другие на нее шикнули, она умолкла: вперед выступил высокий старик в армяке и, напрягая худое, морщинистое лицо, сказал:

— Мы к вам, лукашовцы, принимайте. Сами мы чанцовские будем. Просим принять к вам в коммуну, а с колонией нам не по дороге.

— Кем посланы? — спросил Золотухин.

— Сход послал. И ежели вдобно, то севодня же наказывал собраться у нас в деревне для разговору, — сказал старик не спеша и с каким-то степенным достоинством вытер ладонью припорошенную мелкой дождевой пылью бороду, распрямил спину. И в той степенно-

сти, с какой старик говорил, и в том, как он распрямился и как просто и свободно держался, было видно, что это он привел сюда этих баб. — Сход наказал без вашего согласья не возвращаться! — повторил старик и почти уперся головой в крышу крыльца.

— Когда, говоришь, соберется сход? — спросил Золотухин.

— Наказали к вечеру.

Они с надеждой смотрели на него.

— Мы поедем, — сказал после минутного молчания Золотухин. — Но вовсе не для того, чтобы присоединять вас к своей коммуне. Мы с товарищем Матвеевым как-то толковали о вас. Вернее будет устроить товарищество... «Не тобой, товарищ Востряков, разбужены люди, не к тебе оне, как к личности, тянутся, а куда шире глядят оне нынче, революция-то им открыла глаза. И правда-то у них святая, не ради животов своих оне тут теперь стараются — ради будущности детей своих, ради нового лица самой жизни». Он внимательно посмотрел на них, дольше всех задержал свой взгляд на лице старика. Каким-то мудрым и несгибаемым человеком он представился ему. Он точно сам уже был, не замечая того, тем новым человеком, всей душой своей тянулся к новой жизни и к счастью народному.

В это время в исполкомовской бричке въехал на двор нардома плотный, коренастый, одетый в вытертую шинель человек. Это был работник уездного исполкома Чугунов. Он ловко и быстро соскочил, остановив лошадь, со скрипнувшего рессорами возка и подошел к крыльцу, присматриваясь к стоявшим чанцовским мужикам. Должно быть, он узнал старика, приведшего делегацию, и улыбнулся ему, как знакомому.

— Вот, товарищ Чугунов, посланы миром проситься к нам в коммуну, — сказал Золотухин, обращаясь к приехавшему.

— А, чанцовцы, — улыбаясь и кивая старику, сказал Чугунов. — Рад видеть.

— Рад или не рад, а в коммуне своей, стало быть, мы больше находиться не желаем, — сказал старик строгим тоном. — Мы просимся к ним.

— Я думаю, товарищ Чугунов, что нам надо поехать к ним и на месте выяснить, — сказал Золотухин, — и я думаю, что не обязательно идти им в коммуну.

— Верно, — поддержал его Чугунов, — вы, товарищи, езжайте домой, а мы следом за вами. Мы только в Пронино на минутку заскочим, а оттуда прямо к вам, благо почти что по дороге. Ты, товарищ Золотухин, отряди своих активистов к ним.

— Так мы, стало, ждем, — сказал строго старик, — народ сберется сразу, оповестим. Мы ждем, — повторил он.

III

Ехали оголяющимися предзимними, точно остекленевшими подлесками. Кое-где ветер выщипывал последние листья с кленов и осины; дубняк еще зеленел, но, где было пореже, сквозил ржавой, червленой листвой. Сбоку дороги раскидывались черные пятна гарей. Голубой и прозрачный стоял над лесами воздух. Землю обнимала первобытная тишина. Пахло опалым листом, из лощин — словно запаренными отрубями.

Жеребец, всхрапывая, внюхиваясь в легкий и чистый воздух, рысью миновал последнюю версту, вынес рессорную бричку к обвалившейся обомшелой мельнице. Колеса затарахтели по неровному настилу моста, глубоко внизу круглое и будто уснувшее зеленело озеро. По берегам его зыбились золотистые осенние камыши. Через короткое время они въехали сквозной улицей на площадь в Чанцове. Бричка их шла к толпе крутым ходом, дробя подстывшую за ночь в колеях грязь; хрустел ледок под колесами. Толпа крестьян все пополнялась со всех сторон. Бричка, качаясь, поплыла в толпе к высокому деревянному дому под дранкой, сбоку площади, остановилась у коновязи.

Золотухин и Чугунов взошли на крыльцо. Люди, ожидая, смотрели на них. Стало очень тихо на площади, и только на старых липах возились вороны. «Вот она, наша общая боль, вот те, во имя кого мы все должны не покладая рук работать!» И высокое чувство охватило Золотухина.

Толпа, запружая двор, обтекала изгрызенное бревно коновязи, все плотней подбираясь к сенцам и окнам. Не успели лукашовцы слезть, как в растворенных дверях появились Григорий Миронов и Замялов. За ними — четверо конторских, один из них, большой, мешковатый,

кому-то иронически улыбался, глубоко натянутый на брови картуз с лакированным козырьком кидал тень на верхнюю часть лица, и люди видели его мягкие, бабьи, незлые губы и раздвоенный, слегка разделенный ложбинкой подбородок.

Увидев его, толпа слитно зашумела. Человек этот — председатель коммуны Ажогин — покачал головой и не очень громко, но так, чтобы слышно было всем, сказал:

— Совсем пустое.

Толпа ответила удвоенным гулом, пододвинулась к крыльцу.

Тогда председатель удивился:

— Смотрите, к нам гости!

— Незваные, — сказал Замялов, но какая-то баба пронзительно крикнула:

— Званые, званые! Мы за ними нынче людей посылали!

Вперед выдвинулся Миронов Григорий, все в той же своей коже, энергично заговорил:

— Революционная республика не хочет анархизму и разных самостийных выводов. Народу затуманили мозги темные личности вроде деда Краснова. Толкают его против законной власти, против социализму. Вы пятый день не выходите на работу. Спрашиваю: в чем корень? Устав коммун всякую бузотерню запрещает и обязует каждого члена на регулярный выход на работу. Социализм в нашем уезде геройски побеждает, а что выходит у вас? Самую первую коммуну, давшую почин всему движению не только в уезде, а в целой губернии, хочут развалить. Как бы кому, товарищи, не пришлось пожалеть! Ежели вы захотели анархизму, который насаживает Золотухин в своей уродской коммуне, то бежите туда, но не агитируйте! Без твердой власти республика погибнет неминуемо, пролитая братьями-трудящимися кровь будет дешевле даже воды.

— Ты такой добрый, — заговорила одна из женщин, приходившая вместе с другими в Лукашовку, среднего роста, смуглая, простоволосая, с миндальными темными глазами. — А чиво же ты, добрый, не проявил антерес: почему не желаем мы быть в коммуне? Что же ты помалкиваешь? Что тебе на то ответить-то?

— Не зауживай, гражданка, вопрос до одной своей личности.

— У нас тут все личности, которые робють, — сказал старик Краснов, приведший лукашовцев. — Нетрудоспособных лишили начисто пайка, какого ни на есть.

В толпе враз закричало несколько голосов:

— Насадили невразумеющих дел!

— Наших избрать в руководство, а не пришлых.

— Ажогина долой!

— Вон прихлебателев!

— Погодите!.. Погодите!

— Парфенкову хорошо: поставлен к хлебу.

Поднял руку Замялов. Гул немного поутих, и все глядели на растопыренную замяловскую ладонь, повисшую в воздухе. Он сказал:

— Не кричите, граждане. Криком коммуну не спихнешь. Тут есть, кто спихнуть хочет? — Глаза его зашарили, искали кого-то, и снова спросил: — Кто хочет гибели коммуны? Высказывайтесь, не бойтесь. Нет охотников? Мы для каких целей создали ее? Для широкого движения социализма. А тут имеется враг социализма в деревне. Ты, дед? Но ты молчишь! Социализм не выпеченный каравай на дереве, — вздохнул, отер лицо платком и вздохнул: — Каравай потом делить будем. А нынче надо его еще испечь.

— На дереве?! — В толпе засмеялись.

— Главное — терпение. Мы от имени уездной Советской власти еще раз просим всех разойтись по своим работам. Всякие жалобы подавайте в письменном виде. Тщательно разберитесь в своем недовольстве и пишите либо в уком, либо в уездисполком. От эры митингов революция ушла! Она нынче от них ушла безвозвратно. Пришла эра, стало быть, революционного порядка и твердой дисциплины. Пора понять перелом момента. Порыв масс мы приветствуем, если он подойдет вплотную к социализму. Вы попутали мелкие неполадки со всем движением. Ослепленность взяла верх над рассудком, явный факт!

Все повернули головы в сторону старика, возглавившего делегацию в Лукашовку: они с вопросительными лицами обращались к нему за советом. Старик спокойно из-под нависших бровей поглядывал то на своих баб и мужиков, то на лукашовцев, должно быть решая про себя что-то важное.

Видно было, что старик этот пользовался всеобщим уважением.

— Нам, беднякам, в единоличии уже жить нельзя, — сказал старик. — Советская власть тут нам указала спасенье. И ежели б мы не захотели год назад, ежели б не было тогда людской мысли и веры в нашу власть, ежели б не получили мы помощь от нее, мы бы не стронулись в коммуну. Мирской суд давно этот сурьезный вопрос решил, решил безоглядно. Нынче, стал быть, слово не о поддержке нами Советской власти, об ней слово нами сказанное уже давно — она наша! Надо будет, коли к тому дело укажет, сам возьму винтовку и встану за нее. Пока не поздно, надо поворотить коллективность к любви и согласию, но не к раздору. В раздоре — тьма, а в согласии — свет. Затем мы и обратились к товарищу Золотухину, а также об том уведомили председателя Совета уезда товарища Матвеева Василия Семеновича. Мы с глубоким уважением все относимся к нему, и он нам высказал мысль, что раз люди решили, то им не надо мешать, и высказался за присоединение к лукашовцам. Мы здеся также заявляем, что к лицу власти относимся, как к своим людям, с которыми у нас нет расхождений. Грибцов, товарищ Матвеев, Чугунов, редактор газеты Ельников, военный наш уездный комиссар — эти люди в народе свои, но не попутайте с ними Замялова и Гришку! Боже упаси!

— Замялов и Миронов, оне и верно не Советская власть! — сразу после старика крикнула молодая баба, державшая за руку испуганно жавшуюся к ее ногам девочку лет шести-семи.

Из-за плеча Миронова выдвинулся председатель коммуны «Заря социализма», помигал белесыми ресницами и сказал:

— Требую разойтись сознательно и спокойно. Нужно работать!

И увидели плечистого невысокого мужика, который с решительным лицом продвигался к крыльцу.

— Товарищи, братья! — заговорил он, взмахивая шапкой. — Теперь как — назад? Хвост прижали! Со мной разговаривал товарищ Матвеев, он мне заявил — коммуну насильственную будут рушить. Я голосую и призываю вас связать свою судьбу с коммуной

лукашовцев. — И первый поднял обе криво выставленные руки.

Золотухин громко сказал:

— Только зачем же к нам? Нет, товарищи, не один свет в коммуне, и совсем не обязательно, чтобы вы ели из общего котла и одной ложкой. Коммун пока очень мало, и государственный план аграрности, он во сто раз шире. У вас мы не будем организовывать бригаду, не пихнем вас к себе, хотя вы и проситесь, а есть предложение — создать в вашей деревне товарищество крестьян по совместной обработке земли. В нем вы пройдете хорошую школу коллективности, само братство прочувствоваете натурально в работе сообща, приглядитесь, как умело хозяйствовать, как получить с общей нивы добрый хлеб, а там, дальше, будет видно — там укажет сама жизнь...

Когда Золотухин кончил, вперед выступил Чугунов и сказал:

— Коммуна товарища Золотухина — хорошая, правильная, но это не значит, что ее теперь надо устроить и у вас. У Советской власти слишком даже широкие планы.

Коммуны не являются главными, их на первое место не выпячивают. Тут и товарищества для общей обработки угодий, и небольшие артели, и советские хозяйства, совхозы, которые являются государственным сектором, и колхозы — все это уже наличествует и вводится в республике. Партия не призывает крестьян всем до единого идти в коммуну. Сейчас, когда мужик еще обеими ногами стоит в единоличном хозяйстве, когда он мыслями не постиг новизны перемен, коммуны могут создаваться только там, где крестьяне осознали такой шаг. И хотят помочь слабым деревням окрест. Вам сейчас надо поднять захряснувшую за войну землю, а товарищество тут для вас большое дело, оно сильно поможет вам...

После речей Золотухина и Чугунова стало очень тихо. Слышно было, как потрескивал неподалеку, за двором, в поле, маленький костер да покашливали иные мужики.

— А в ем, стало быть, в товариществе, как: плуги и бороны чьи ж будуть? — спросил мужик в черной шубе на сборках.

— Весь инвентарь, который был незаконно изъят

у хозяев из личного пользования, будет возвращен обратно. Инвентарь, реквизированный у кулаков, поступит в полное распоряжение товарищества, как его собственность и богатство. В артель вступить могут только желающие. Она есть добровольная низшая, первая ячейка, где будет торжествовать идея братской поддержки друг друга. Никакой глупости гуртовой жизни не будет допущено: единоличные интересы в каждом дворе останутся, никакого обособления не будет, но общая работа в артели постепенно привьет крестьянам понятие, что счастье каждого зависит от счастья всех, что ежели слабый не одолеет надела, ему помогут, что в поле в одиночку ты не пахарь и не сеятель, а жалкий нищий. Я, товарищи, без научности вам говорю, грамотенка у меня не университетская, но идеи аграрности, выдвинутые РКП и товарищем Лениным, знаю и верю им безраздельно и твердо, — сказал Золотухин.

— А то мы хотели к вам попроситься и народ, вишь, послали, — сказал конопатый мужик, стоявший ближе других к приехавшим.

— Вот это верно, нам такое товарищество по душе, — сказала миловидная баба в плисовой куртке и в широком красном сарафане.

— Вишь, дурман, стало быть, у него, у товарища Вострякова? — спросил высокий худой мужик с рыжей бородою и в старом, некогда зеленом армяке, подпоясанном оборкой.

Золотухин подвинулся к нему. Он смотрел на его огромные, натруженные руки и мысленно прикидывал, сколько тяжкой работы испытали они, всей силой своей горячей души жалея и любя его, как своего брата; его глазам сделалось жарко.

— Правду ты сказал, папаша: страшный дурман.

— Известное дело, когда без народа, — поддержал старик, ходивший с делегацией в Лукашовскую коммуну.

— Мы согласны идти в товарищество. Слово-то какое — душу греет! — И голос его задрожал.

Ажогин рванул ворот толстовки и, багровея круглыми щеками, крикнул:

— Покуда я не получу указания от товарища Вострякова, до тех пор не дам закрыть коммуну. Коммуна есть и будет! Именем товарища Вострякова я заявляю:

никакой артели мы в Чанцове не допустим! Хомутов, ты превышаешь свою власть!

— Тихо, не надорвись, ишь, родненький, красней бурака стал, — оборвал Никита Кузьмич.

Вдруг в народе произошло какое-то неясное движение: будто кто-то позади спин пробирался сюда, к крыльцу. Толпа, стоявшая тесно, дрогнув, начала подаваться.

— Расступись, вишь, сам приехал.

В проходе, валко покачиваясь, показалась грузная, тяжелая фигура Вострякова. Он направлялся в село Спас-Подмошье и, узнав по дороге про сход в Чанцове, сделал крюк и завернул сюда. Губы Тихона Федосеевича были поджаты, немигающие, страшные глаза его были устремлены прямо на Золотухина.

В полной тишине, скрипя рассохшимися половицами, Востряков поднялся на крыльцо. Потемневшими глазами он оглядывал серые фигуры мужиков и баб, их строгие, суровые, с одинаковым выражением упорства лица и неожиданно спросил себя самого: «Зачем тебе все это надо, Тихон? Тысячи бессонных, тревожных ночей, какие пережиты в прошлом, — зачем они были?» Но другой, цепкий, упрямый и возбуждающий его голос подбодрил, рассеивая сомнение: «Надо это тебе! В том и счастье твое!»

— В Чанцове была, есть и будет коммуна! — хриплым и заметно дрожавшим голосом выговорил он в полной тишине. — Чугунов и Золотухин не уполномочены решать такие дела. Уком не дал вам таких полномочий!

— Нам их дала Советская власть, товарищ Востряков, — сказал Золотухин, заметно бледнея. — Мы здесь уполномочены уездным Совдепом. Об том вам скажет Матвеев. Решение уездного исполнительного комитета о роспуске Чанцовской коммуны поддерживает губком, — напомнил Золотухин.

Они стояли друг перед другом; единственная рука Золотухина вздрагивала, но успокоилась и отвердела. Востряков оборотился к председателю коммуны Ажогину.

— Прикажи народу разойтись. — И вдруг сам повернулся к чанцовским, крикнул с какой-то неясной, может быть, даже раскаивающейся нотой в голосе: —

А не ради вас я гнил в казематах? Муки терпел? Отвечайте!

Гаврила Краснов, не веря ни одному его слову, пронзительно, просто и спокойно смотрел ему прямо в глаза.

— Тогда ты, может, и за народ сидел, да, вишь, иным стал. А может, и тогда у тебя другие думы были про запас, — ответил он.

— А ты сам тихий был, отец; что, свобода в голову ударила?

— Ударила, верно.

— А зачем она тебе? Уверен ты, что в пользу? — Востряков на мгновение потерял контроль над собой.

— Вот ты больно хитрый, а выговорился, смотри, до конца! — с каким-то торжеством произнес старик Краснов. — Не так уж оно и дорого тебе, мое счастье, выходит: вовсе копеечное, товарищ Востряков!

«Возьми себя в руки, не с твоим умом так себя вести», — одернул самого себя Востряков. Он улыбнулся, стоял уже спокойный, собранный, с высоты крыльца смотрел на плывшие перед ним лица крестьян. В тишине слышно было, как возились у коновязи, чирикали и хлопотали воробьи.

Понимал он: никак нельзя было не отстоять коммуну эту, самую первоначальную и важную. В душе его будто подорвалась сила, и когда он заговорил, то послышались даже... просительные нотки:

— Зачем же так скоро нам решать? Отложим, товарищи, дня на два. Разберемся не в спешке.

Золотухин разгадал его хитрость — оттяжка времени нужна была Вострякову; он неподвижно стоял перед ним, не веря ни одному его слову; еще резче обтянулись скулы.

— Нет, не отложим! Товарищи, прошу подъемом руки сказать свое согласие о создании товарищества по совместной обработке земли, — сказал Золотухин, видя, что считать бессмысленно. — Оно, товарищество, создано натурально. Уездный исполком нам поручил избрать председателя. Какие на данный счет будут предложения?

— Ежели, как прежде в коммуне, никого не привезли с собой, то общее мнение... стало быть, всем миром мы выдвигаем Гаврилу Краснова, — сказал маленький,

с веселыми и будто кому-то все подмигивающими глазами мужик.

— Имеются ли другие какие предложения, товарищи? — спросил Золотухин.

— Тут думать нечего, Гаврила Иваныч — самый толковый хозяин.

— Выдвигаем по уму, а не по шапке.

— Умный и хозяйственный, голова. В комбеде сидел, он человек надежный и справедливый.

— Мы его знаем, всегда слабым помогал!

— Вашим решением Гаврила Иванович Краснов избран председателем товарищества по совместной обработке земли, — сказал Золотухин, закрывая сход.

IV

Застоявшегося жеребца обратно домой гнали во весь мах. Круто замораживало к вечеру, в кустах свистел ветер, за дорогой розово тлел закат, бледные и грустные блики дрожали и гасли, и где-то за лесом, фиолетово-чернильная, густилась уже тьма. На плохом измочаленном мосту Кондрат придержал коня, спросил:

— Думаешь, люди с нами? И нужны оне нам, люди, ежели у нас у самих ничего нет?

Золотухин сопел трубкой, трещали и гасли искры, ответил он не сразу:

— Думаю, Кондрат, что с нами и крепко нужные!

— Ты так в этом уверен? — спросила озябшая Марфа, посматривая в небо.

— Вполне уверен, хоть радоваться еще будто бы и рано.

— А я побаивалась, — созналась Марфа, кутаясь в платок и не спуская глаз с крупной и холодно поблескивающей звезды. — Перетрусила, когда Гришка говорил. Так вот мы идем наперерез. Да что ж, трусить-то тоже доля неважная, да главное — перед кем? Гришка — мелкий козырь в чьих-то ежовых руках, не опасен он пока, но, однако, волю ему давать нельзя, он все законы под себя подстелет.

— До конца и повсюду с людями! Ты, Марфа, знай, знай нынче и наперед знай! А когда отступим, увильнем, подожмем хвост, то будет поздно, и могут натурально обратать. Говорят: «Выжить бы до лета». Не выжить, не

протянуть, а, наоборот, пересилить! Пересилить правдой и доказать, что другой ее нет, нет и не будет!

— Пересилить — это ты прав, Максим, и не нам бояться, не нам. Ай силы в нас мало? Ай чужая нам революция? Ну черта лысого! Топтать святое дело не дадим, разобьем нос! — засмеялась Марфа и так широко потянулась, что Кондрат с заметным удивлением покосился на нее, словно впервые открывая в ней эту волю и уверенность.

— Надо будет, позовут — винтовку возьму, зубами паразитов, которые супротив революции и народа, грызть буду, на гвоздях стоять буду, да только затем, чтоб не унизиться, чтобы перед злыднями на колени не стать, — тихо и с силой добавила Марфа, а помолчав, сказала еще: — Мужик раз пробовал эту силу мою спытать... да понял — понапрасну! А нынче и подавно — вышедшую речку, известно, силой обратно в берега не впихнешь. Так и народ: он революцией поднятый, я это на своих бабах дуже хорошо вижу.

Тут они заметили на повороте одноконку. Упираясь квадратным сапогом в клещи хомута, Востряков затягивал супонь и, увидев лукашовцев, кивнул им головой, поздоровался и сказал:

— А ты, товарищ Золотухин, пересядь ко мне: довезу до деревни, и потолкуем. Есть такая необходимость.

Пропустили телегу, вывернули на уродливые колеи дороги, посидели немного молча, пока не померк за грядой кустов красный Марфин платок, Востряков тогда сказал:

— На какую же ты, товарищ Золотухин, нацелился линию, когда пошел так далеко, что поплелся в хвосте саботажников? И без зазрения совести агитнул за развал коммуны в Чанцове. Я хотел бы это знать перед вашим съездом.

— Моя линия, товарищ Востряков, — воля людей.

— Воля! Слово не новое, за него многие укрывались. Но всех последствий ты, видать, не постиг, не дошел ты до них своим молодым умом, товарищ Золотухин!

— Поживем — увидим.

— А последствия могут сказаться такие: своими вредными действиями ты наносишь урон социализму. Ты уже без обиняков уронил коммуну в грязь, разложил изнутри обывательским уговариванием единоличников,

вожжанием с фактической кулацкой прослойкой. Вот куда вылезла твоя работка! Очевидно одно: ты игнорировал указание укома. Я хотел бы выяснить позицию до конца, ты изложи, а то мы с тобой вроде играем в прятки!

— А тогда я ставлю сам вопрос. Товарищ секретарь укома, ответь сперва сам. Прямо ответь: люди могут аль не могут искать верную жизнь, или оне ее имеют право искать, или у них ты с Замяловым уже отнял это право? Хотя я тебе, товарищ Востряков, по горячке приписал победу, поторопился. Сколько пытаешься, а взять все ж таки никак не можешь, слабость ты свою чувствуешь — и тут весь фокус.

— Берешь несколько провокационно, но я терпелив в отношении молодых заблуждающихся товарищей. Отвечаю: могут, но как могут? В рамках сложившихся условий и действий партии, — сказал он четко, действительно не допуская мысли, что от имени партии мог говорить кто-то, кроме него, — тогда они могут и должны мочь. А таким путем не могут, действия эти мы приравниваем к саботажу, по-другому ценить невозможно. Опять, как и раньше, ты упираешь в стихию, отрицаешь наш закон и порядок, вот куда ведет твое нежелание понять обстановку в крестьянстве! Мне ничего не стоит поставить об тебе вопрос на бюро, и я знаю, что на нем был бы ты разбит, начисто разбит. Я не делаю этого. Все решит съезд коммун и артелей губернии, он найдет и правых и виноватых.

— Не можешь поставить на бюро, товарищ Востряков, не так выглядаешь ты! Его ты сам побаиваешься, бюро — ты там не один, и не твое оно, в точности так же, как и сама партия большевиков. Уже миллионы за ней идут. А за тобой покуда, товарищ Востряков, самое верное — десятка два народу в уезде, но видимость ты делаешь, что один в идее. Тут все разногласия у тебя в жизни и революции. Сам себе присвоил безошибочность, как закон, потому как ни у кого другого такого права быть не должно — и тут ты не припугнул меня натурально ни на один волос! И это ж не ново мне, это я и от буржуев слыхал, и от эсеров, вчера клявшихся в верности революции, а сегодня стреляющих из-за угла в преданных большевикам рабочих. И от других шибко идейных ребяток слыхал, которые в восемнадцатом году

в Бресте народ и целую нашу революцию чуть было не предали без зазрения совести...

Гнедая укомовская лошадь несла тихой рысью, плетеная кошева похрустывала. Лунная полоса высвечивала дорогу, терялась за ближним увалом. Кошева скатилась в овраг: сразу охватила промозглая сырость, холодней стало и неприютней. Вдали, где черно дыбились макушки низкорослых елей, сверкнули какие-то огоньки. Востряков поднял воротник полушубка, укутался с головой, хрипло откашлялся.

— Знобит, — он пристегнул вожжой лошадь, погодя еще сказал: — Подойдем к росту партийных и комсомольских рядов твоей коммуны. Роста никакого нет. Уком запрашивал кандидатуру Левцова, ты ее отвел, отводишь и нынче. Не доверяешь?

— Доверяю, но не сильно чтобы.

— Мотивы?

— Мотивов пока не выскажу: рановато.

— Понятно, — Востряков быстро рассмеялся. — Не знаешь, а человека держишь под замком. Так кто из нас, ты или я, не верит в рост личности?

Конь пофыркивал. Золотухин молчал; скрипела кошева, и екала селезенка у коня, когда он прыгал через рытвины на дороге.

— Мы согласовываем в укоме, кого принять, а кого отвести. А если ты не уверен в личности Левцова, тогда он пусть просит у кого другого рекомендацию. Мы обсудим и примем.

— Всякую кандидатуру, нацеленную в партию в нашей коммуне, мы будем обсуждать на ячейке, это гласит устав, и об этом будут знать также беспартейные. Тайком от народа такое святое дело не делается.

— Сказать проще так: общая масса будет учить ячейку партии? И ее же орган — уком? Если советоваться будешь с беспартийными?

— Не отделяй их от народа.

— Хочешь ячейку растворить в несознательной массе? И может, всю партию?

— Ячейка чтобы у массы училась и чтобы ее вела, а не растворялась бы в ней, не лови на слове! Не растворялась бы, но учила, а не командовала, товарищ Востряков! Так ставит вопрос Ленин!

— Оратор! — Востряков рассмеялся и поправил шапку. — А ежели взвесить — уклон, вольный иль невольный. Это ты, товарищ дорогой Золотухин, туда нацелен! Ты покуда хиляешься, покуда не обтерт, не бит, можешь заболеть окончательно и бесповоротно. Можешь. Я вижу и боюсь за тебя конкретно, как за личность боюсь, а также за других. Единение ряда можешь спутать. Опасность такая есть: ты саботируешь фактически все основные формы, какие создают вокруг тебя коммуны. Факт налицо: сегодняшний сбор в Чанцове!

— Народ позвал, товарищ Востряков, народ!

— Народ бывает разный!

— А ты думал, правда одна у тебя в голове, а больше кругом ее нет?

— А не дошел ли ты до такой мысли — уком упразднить? Как совсем ненужный? Как мешающий и негодный, как в данном моменте, так и потом? Давай, знаешь, прямо! Неясность нам ни теперь, ни в будущем добра не даст, а вред будет. Давай прояснять наши путаные карты, товарищ Золотухин, пора все выявить перед съездом и дать политические выводы каждому нашему поступку. Пора!

— Ты уже давно подо все подвел свою мыслю и ею же кроешь нас, как учитель али, так сказать, как вождь, и понял неглупым умом, что окончательно запутался, что выхода нету у тебя! — Золотухин пожал плечом и почувствовал, что на плечо ему опустилась рука Вострякова, он ее подержал и, сняв, тяжело вздохнул.

Голос Вострякова раздался над ухом тихий, даже печальный и, может быть, даже и грустный немного:

— Раздор средь нас, раздор. Жалею откровенно! Дорогой товарищ Золотухин! На каторге я не боялся, смерти в лицо глядел без вздоха, без сожаления, ты пойми! А нынче стихийности боюсь. — Востряков примолк, внимательно оглядывая жиденькую россыпь лучиночных огоньков по Лукашовке и что-то припоминая.

— Не стихийности боишься ты — народа. — Золотухин соскочил с кошевы, пошел и оглянулся. — У нас не заночуешь, товарищ Востряков? Поздно тебе ехать.

Востряков не ответил. Кошева мягко укатывала в холодную тьму.

V

Обида подкралась к Наталье. Какой же муж: у отца отрезал лучший кусок земли! Даже половину отцовской пахоты не пожалел — ту самую, по которой Наталья бороны недавно гоняла на пару. Она легла на спину, провела ладонями по налитым грудям. Вдруг села, задрав рубаху, щупала их и мяла: не понесла ли? Господи, испугалась-то как, сердце отдалось даже в висках. «Куда уехал Максим-то? — подумала Наталья, вздувая огонь в лампе. — Где носит однорукого?» Ей сладко захотелось лежать в постели вдвоем, в этой черной тьме, когда скулит в трубе осенний ветер, а ветка клена царапает раму, — утеху эту она любила до обморока. Придушенно рассмеялась, похлопывая живот; вот сама не знала, что так может... с мужиком обходиться. А ему, такому-то, много ли надо? С вечера ляжет, утром вскочит, еще в окошке темно, штаны натянет — и нет уже молодой бабы для него, понесется как полоумный шастать по деревне. Но больней всего — батина эта земля! Кормленная от рождения хорошим хлебом, не прирастала к золотухинской халупе Наталья. Каждый день она стежкой ходила к родителям, ела там, засовывая за пазуху то кусок сала, то пирога кусок — и для себя и для него. Построили, называется, семейку, голодранцы! Недовольство незаметно перерастало в ненависть. «Проклятые, помешались на идеях!» — думала она, разумея всех, кто жил так, как Золотухин. Ей было грустно и жаль чего-то; жалела ли она ушедшие чистые, лучшие свои годы, когда некого было любить и она, сгорая от каких-то желаний, видела только сермяжные поддевки и мужицкие бороды? Обвиняла ли она себя за малодушие, безволье, что не сумела никуда уехать? Ненавидела ли она этого безрукого человека, его хату, его привычки, его жизнь? Она не могла себе ответить. Она знала только, что так жить дальше не могла. В голове ее вертелись какие-то обрывки туманных снов, каких-то мечтаний, какие-то стихи, полузабытые теперь, и жалость к себе, к своей погубленной молодости охватывала ее. «Ты виноват, ты виноват!» — в который раз твердила она, обращаясь мыслями к Золотухину. На другое же утро она проснулась совершенно успокоенная. Все было решено... Порвать с мужицкой жизнью, с деревней, со

всем, что так долго, с колыбели, окружало ее и что было теперь почти ненавистно ей. «Пропадать — так с музыкой... К черту! Но, боже, чего же мне, чего же мне все жаль?..» Еще что-то удерживало ее от разрыва с Золотухиным, как бы какая-то последняя надежда. Что же это было?.. И теперь она поняла свое состояние: она уже не себе старалась, не свою выгоду искала, а отцовскую.

Нашла гребенец, расчесывала длинные волосы, хватала их пышными прядями, глядела в зеркальце сквозь них — лицо оплыло туманом. Зачем-то взяла выгоревшую, выстиранную мужнину гимнастерку, нюхала складки: по́том пахла, молодым мужиком... Приоткрыв губы, сухо рассмеялась. Хотела кольцо ему надеть обручальное — высмеял, сошлись без родительского благословения: ночью, дурочка, к нему прибежала, в кровать влезла, а мужик-то обрубок холодный, замотанный, одни ноги да скулы. А молодость уносится, как ветер, в невозвратную даль.

Вошел, возбужденно усмехаясь огоньку, Максим; сев на лавку, нога об ногу снял сапоги, портянки сунул в голенище, быстро обнял ее, она только темные зрачки успела расширить.

— Пошамать чего-нибудь дашь? Не ужинали седня. В Чанцово ездили.

Наталья поставила на стол тарелку с мелко накрошенным салом (родительским), а вот хлеб коммунский положила — черней земли, глины кусок.

«Теперь сердитый, а ляжем — тогда квелый сделается, насяду на батину землю!» — решила Наталья.

Легли. Сомкнулись потемки. Светлым ручейком текла в окошко зеленоватая лунная тесьма и как раз сеялась серебром в глаза Натальи, в хищно открытые ее красные губы.

Сказала погодя:

— Верни землю отцу. Добром прошу! Муж ты мне или нет?

— Не время про землю, Наташа! Дюже неподходящее время, — сказал он, затем мягко и нежно погладил теплые волосы на затылке — луна куда-то покатилась прочь, и сердце сладко заныло, оборвалось в судорожи. Луна шире и ярче смеялась в окошке. Наталья сидела

на кровати, слышала, как он посапывает, раскинувшись. Опять ухватила за плечо, прошептала:

— Отдай бате землю!

Золотухин тоже сел, нашарил на лавке трубку, кисет, начал закуривать, сказал так убежденно — у нее поджались сами собой ноги:

— Ни в коем случае!

Она ахнула:

— А завтра дом отымешь?

— Встанет поперек дороги — и дом! — сказал твердо, непримиримо. — Три хомута ишо возьмем: с барского двора уволок.

— А ты видел?

— Люди видали.

Она страшно крикнула:

— Ненавижу!

Золотухин кинул на пол угасшую трубку, длинный, как жердь, встал и головой уперся в потолок.

— Наташа! — позвал оттуда, с высоты.

В темноте суетливо, обрывая крючки, Наталья натягивала, застегивала платье. Золотухин запалил лампу — огонек заметался от ее резких движений.

— Муж! Партийная крыса! — засмеялась и что-то покидала в узелок, удерживая слезы, отошла к порогу, уже отдаленная, слегка пригнула голову: — А нужен ты мне такой? Босяк! — И выскочила под сильный, все усиливающийся к ночи ветер.

«Вот как! — сказал себе Золотухин и еще подумал: — Холодно, снег вот-вот ляжет».

Нащупав печь, прижался щекой — кирпичи едва были теплые. Повторил вновь: «Вот, товарищ Золотухин, какая у тебя жизня-то...» Уже раскаянье, что ли, наружу просится? Не может этого быть, не должно! А по теплу натосковался: как та кошка глупая, липнет он нынче к нему. Все ж таки ему не мешало разобраться: в себе самом и в том еще, как дальше жить. С чанцовцами худо или хорошо, а путь был единственный. Все ж надо разобраться и в том, что есть в коммуне. А ото всего общего заново о Наталье подумать... Скотник есть: в нем два коня, четыре коровы, да шестеро теляток, да четыре свиньи, а зимой так или иначе и приплод должен быть. Что еще есть в коммуне? Люди. Маловато их. Были все те же, а другие не шли, другие ждали и смотрели. Вот

еще богомолка, несчастье это — чей же это был позор? Неладно выходило и с Ганной, Николая Миронова женой. Он знал, что неладно, мог быть разрыв, а там было ихнее дите, и мужик был, который тоже своим дышал, любил и надеялся на что-то свое, еще не сбывшееся, но которое должно обязательно было сбыться так или иначе. Эта-то рана чужая, надежда на счастье их и держала Золотухина в напряжении все время, она-то и связывала его по рукам и ногам. А не лучше ли снять с себя весь этот груз, внять товарищу Вострякову? Единое царство братства, непременно оно будет, а через что и как оно придет, быстро или же медленно, то кому про это толк и дело в будущем?

VI

Он застегнул шинель, надел фуражку, вышел на темную улицу и как бы неосознанно шагал к новой хате, куда недавно вселились четыре семьи. У них, у вселившихся, разные неполадки были: то курица чужую мякину разрыла, то кошка соседская в окно влезла и цвет в черепке на пол уронила. Они и жаловались друг на друга Золотухину. А что можно было ответить им, когда он сам этот общий, коммунский, дом придумал и строил наравне со всеми, таскал бревна и надеялся на их лучшую общую жизнь? Огонек плавал лишь в крайнем окошке. За дверью слышались невнятные голоса. Через стекла он увидел: за столом сидели голова к голове бабы. «Очень хорошо сидят!» — подумал с удовлетворением и еще подумал о том, какая красивая и милая эта Галина, но кому тут можно было оценить ее красоту? Неплохо было бы найти ей жениха стоящего, кого бы найти? Бабы оторвались от занятий и посмотрели на него. Кивнув им головой продолжать, он тихо сел с другого края стола, в тень. В комнате крепко пахло смолой, стружкой, здоровьем и молодостью. На стене, на лоскуте картона, висели огромные, писанные краской буквы. Вот и сейчас в эти буквы лозовым прутом указывала Галина, а Лушка Поршнева должна была отвечать. И, отвечая невпопад, она все больше хмурилась. Она вдруг поднялась с лавки и, смущенно краснея, чего никогда не замечали за ней раньше, произнесла:

— А ну ее к черту! Старую кобылу, знать, скакать не

обучишь, так и меня. Я сколько разов повторяла эту проклятую букву «ы», а это вовсе не она, это другая буква «ж», и теперь я думаю — пустая затея. Не одолею я свою темноту, а лаяться хорошо обучилась, а вот как взять сурьезный вопрос ученья, то тут я хворьменная дура. Нет, Максим, миленочек ты мой! Ослободи ты мою душу от чертовщины, я лучше буду полоть траву неграмотная, а мужика видного мне в тридцать с лишним годочков уже не сосватать, нет! А ежели найдется он, то он меня и темную за милую душу возьметь и, конечно, внутренне не прогадаеть. Я клад для любого и даже для видного клад. Это я по виду затюрханная и серая баба, а весь вопрос не в учености, а в хитрости. Та как раз баба счастлива, кто хитрей, а не кто ученей; верно говорять — баба можеть ужом оборачиваться и где надо жалить. Я вот ишо думаю, Максим, — она помолчала и улыбнулась неожиданно детски-наивно, — встретились бы мы с тобой на узкой тропиночке да в потемках гдей-то коло стога... тогда ты даже и не спросишь про грамоту...

Федор Усинцов, которого сразу не заметил Золотухин, сидевший в тени около стены, блеснул оттуда своими круглыми глазами.

— Огонь с перцем! Женишься на такой — уйдешь без сапог посреди ночи.

— Нужон ты мне, цыган, гля! Как же, раскрывай губы. Не об таком я добре думаю. А худых, вовсе тощих я люблю, вроде нашего Золотухина.

— Сатана в юбке! — выругался Федор не то шутливо, не то серьезно. — Это действительно, как говорил мой дед: «Бойся того, кого ты не знаешь!» — так оно и выходит. Ишь, хватила красотка писаная! Нешто кому ужиться с тобой? И я говорю: посередь ночи и без сапог в аккурат.

— Жди ту ночь, — низким и уже явно равнодушным голосом сказала Лушка и, чтобы никто не заметил, тихо вздохнула.

— Успех уже есть, Галина правильно говорит. Задача дальше такая — закрепить азбуку окончательно! Окончательно закрепить и превзойти! К арифметике ты не приступила, Галина?

— Вот с Семигоновыми девчатами уже решаем зада-

23*

чи. Особо крупный успех у Варвары. Я даже не ожидала, Максим!

Плоскогрудая, с серым лицом, но очень яркими молодыми глазами, Варвара скупо и стеснительно улыбнулась на эти слова Галины:

— Не перехвали. У нас в роду не было грамотного, и захотелось мне дуже узнать, как оно — читать и писать? И ежели б всем темным людям подняться до учености!

Золотухин спросил:

— Трудно?

— Тяжело. Память-то не та, не девичья. Вот энту буковку «э» выговорить не могу, а так ничего, — смутилась Варвара.

Галина рассмеялась.

— С буквой этой, верно, много хлопот, но тоже осилила!

— Мы много чего не ждали и не ждем. Закрепляй повсюду знанья. Надо подумать: всех ли, которые молодые, мы охватили ученьем? Вот, к примеру, ты оставила в стороне молодых единоличных баб, и ты подумай. Дуже толковая Нюша Филиппенкова, такая шустрая девчонка! Я с ней вчера говорил, сильно радовался — дельная очень. А что у нее впереди, неграмотной? Тянуть лямку умели в России мильены, а культурно жить — натуральные экземпляры и имущие. Ты себе поставь задачу: красивую жизнь внедрить. Везде и повсюду, так и помни, спать ложись и подымайся опять с данной мыслей! — Говорил и поглядывал в окошко: его хата на бугре не манила приветным огоньком. А выше по берегу окна Бабинцевых роняли острый и яркий свет. Сейчас, наверно, Наталья зарылась в родительскую перину, лежит и читает, она это любит, в перине и тишине хрустеть страничкой, а оторвавшись от нее, куда-то в невидь смотреть, то ли в потолок, то ли в самое себя. Холодно было ему без этого огня. Посидев в молчании, повторил:

— Обязательно единоличников охвати. Дальше. Юбки и кофты, штаны мужикам надо шить. Тоже и единоличникам, из ихнего холста шить, покрасить, покроить и пошить! Самое первое — беднейшим. Коммунским мы уже кое-что справили, а единоличники и голы и босы. Пример им — натуральный пример добра — мы им дать

должны! Никакой, девки, силы в свете нету другой — самая сила пример добра! Галина, понимаешь ли?

— И да и нет, вот я как понимаю, Максим!

— Объясни раздвойственность.

— А вот послушай. Опять единоличникам! Опять добром платить за их зло и приверженность к своему двору.

— Это ты брось! — неожиданно резко и без тени шутливости быстро сказала Лушка. — Это ты, девка, больно прыткая, чтобы так от людей отмахиваться. Кому нечем платить и ходить не в чем, кто беден, ты теми не брезгуй! Мы тут все, коли не считать Бабинцевых да четыре-пять семейств середняцких, одного поля ягоды.

Золотухин сказал неодобрительно:

— От мысли этой отрекись! Пока она не созревшая как следует и вредная! Ты книг начиталась, а сердце свое слухать не хочешь. Ты его и наперед слухай чаще. Иногда голову не слухай так, как сердце и что оно велит. В тебе, как и в других, которые ослепшие, тот же дух: единоличники! Сама хочешь людей поделить. А делить трудовых крестьян нельзя, мирить надо, коли оне не сволочь и не вампиры. Привлеки к закрою одежи также других баб. За зиму надо одежу пошить задарма. Завтра поставлю вопрос на сходе, уверен, сход обяжет шить одежду единоличному народу. — Золотухин задумался. Долго молчал, зачем-то потрогал и разгладил пустой рукав, тщательно расправил жесткую, уже потерявшую всякий цвет шинельную суконку. Скулы его заострились, и брови легли совсем на глаза.

Федор Усинцов незаметно сидел в углу и с выражением недоумения на лице перебирал своими жесткими, черными пальцами картонки с буквами. Он взглянул на Галину, глаза его заблестели так нестерпимо ярко, что она не выдержала и отвернулась.

— Все в вере в народ. Вся, значит, сила, — сказал веско Усинцов. — Будешь яво любить, спытаешь счастье сама, так-то. Люби и верь!

Золотухин добавил:

— Верно, Федор. Дети за отцов не ответчики, им жить, а как жить и куда ногами ходить, нам это вовсе не все равно. Потому возлагаю обязанность: даже детей Бабинцева надо учить.

— Детей делить нельзя, это верно, — поддержала и

Варвара, — детям дальше жить, а чего ж им желать худого?

— Дети, говорят, соль земли, — сказал Усинцов, глядя на Галину потеплевшими, ласковыми глазами.

— Я попытаюсь привлечь.

— Попытайся. — И снова в сторону бугра глянул: своя хата сейчас не виднелась; натянул фуражку, под пальцами сухо треснул и сломался пополам козырек.

«Не хочет домой ночевать идти. Нелегко, знать, ему!» — подумала Варвара.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Марья жила на птичьих правах у Мироновых, почти полгода уже не видя мужа: в деревню не приезжал. Тоску и сумятицу вылизывала грубо и безжалостно работа. Голос Григория на давних сенокосах живо и дорого звенел в ее ушах уже, казалось, невозвратным звоном.

Мимо телеги бежали кусты, сизое небо, с левого боку вспененное хлопьями облаков, было пугающе высоко. Ехали по житейским заботам в Высоково. Правил Тимофей Гордеевич. Марья сидела сзади, затаенно ждала города, встречи с Григорием. Старик, насупясь, потряхивал вожжами, помалкивал. Буланая кобыла легко несла телегу по захрястнувшей дороге. Показалась задернутая маревом мещанская слобода. Марья, хватаясь за холодную решетку телеги, со страхом глядела на город: оторвал у нее Григория и разбил ей жизнь, проклятый, костром начисто выжег!

Марью сосватали с левого берега, из деревни Еловка. Семнадцатый годок ей шел, как неожиданно на отцовский бедный двор на сытой паре с писаной дугой, с колокольцами въехали Мироновы. Марья обмерла, захлопнутой птахой сомлело враз сердце, к лицу кинулась кровь. Так и осталась стоять у люльки. Отец суетливо и с радостью уже распахивал дверь.

Григорий в валенках, в кирпичного цвета полушубке ввалился здоровым зверем. Скинул шапку, от волос пахнуло ометной соломенной свежестью. Не каждой девке дано заполучить такого... Шесть лет схлынуло водой: шли дети, умерло трое.

Телега тряслась по каменной дороге, из слободы въехали в самый город. Сперва решили кое-что обменять. Тимофей Гордеевич враз обежал немноголюдную толкучку. Приценился к овце, но драли дорого...

— Там, должно, и Гришка! — Старик указал рукой на гору, где рядом с церковью виднелся красный Дом Советов уезда.

Марья плохо понимала все, как въехали в гору, развернулись у коновязи, — сидела маленькая, подавленная. Она растерялась под взглядом окошек.

Старик не спеша привязал лошадь к исцарапанному бревну, пошел к крыльцу, ей приказал:

— Побудь. Схожу к нему сам.

Вернулся он скоро, сделавшись еще меньше ростом и суетливей. Сразу направился к телеге. Марья ждала, что скажет старик. У него заметно вздрагивали руки, он невпопад хватал то вожжи, то поправлял шлею.

— Что же Гриша? — спросила она, как выехали за низкую, обглоданную козами ограду.

— Подлюга он, Марья! — старик матерно выругался. — Дале порога в кабинет не пустил.

— Батя... — Марья, выпрыгнув из телеги, стояла на обочине, багрово засоренной недавно опавшим листом дуба.

— Садись! Мы ему, стервецу, теперь все не в надобность, — старик сморкнул носом, согнулся. — Или к нему на поклон пойдешь?

— Пойду. Я вернусь, а ты езжай! — решительно сказала Марья.

— Ну как хошь. Я к знакомому заеду, к Суздальцеву, третий дом от края в слободе. Тебя подожду там. Сын сучий! — Старик, грязно ругаясь, погнал лошадь, крепко ее настегивая кнутом.

Некоторое время Марья толкалась около Дома Советов, боялась войти. Притрушивала пороша. Зябла, посинела на ветру. Наконец она решилась. Гулкий коридор терялся по правую руку, там, падавший в окно, высеивался скупой солнечный свет, освещая лестницу на второй этаж. Поднялась. Ноги у нее ослабли, хотелось пить. На высоких дверях было что-то написано, и чутьем, неграмотная, она догадалась: там, за ними, Гришка... Прошло трое мужиков в эти двери, когда их отворили, и Марья увидела чисто одетую женщину: несла от дру-

гой двери стопу бумаг. Из глубины зазвучал резкий Григорьев голос.

Какая-то сила погнала ее отсюда прочь, путаясь валенками на нарядной дорожке, единым духом сбежала по лестнице вниз. Что делать? Шла бесцельно по улице, на перекрестке остановилась, подумала: «Пропащая моя жизнь! К бате не вернуся, и одна мне дорога, в петлю». Стало так горько, что подкосились ноги; привалясь спиной к грязным доскам забора, отошла, огляделась в тоске и бесприютной бабьей немочи. «Гадали ж мне на картах: буду несчастная, вот оно и есть!»

Уже вечерело. Синий холодный воздух струился и дрог за Днепром. Она пошла искать дом, где жил Григорий; одноэтажный особняк стоял около Дома Советов. Молодая женщина, встретившаяся ей во дворе, у которой Марья спросила про Григория, сказала:

— Он приходит поздно.

Спускаясь с крыльца, вдруг увидела самого Григория: он быстро шел к дому.

— Здравствуй, Маша, — сказал, оглядывая круглое, с белесыми бровками лицо жены, так и затрепетавшее от комкавших душу чувств.

— Я вот к тебе, Гриша. Мы с батей в город приехали, — проговорила она, как бы оправдываясь в чем-то.

— А старик где?

— В слободе дожидается.

Вошли в комнату, уставленную стульями и старинными крепкими шкафами.

Григорий снял кожаную куртку, коротко взглянул на Марью: «К себе взять ее? Нет. Нехай у стариков живет».

Молчали. Григорий рылся в папках. Марью дурманил крепкий, как уксус, запах его махорки и пота.

— Жена я тебе, Гришка, аль как теперь? — спросила она звенящим голосом, встала со стула.

— Иль ты не сыта, не одета?

— Не в том... Я пришла спросить: на каких я нонче правах?

— Постой, — сказал он мягко, по-доброму и сел на папки. — Схлынет малость, так сюда возьму.

— Ить я не напрашиваюсь, Григорий! Мне у стариков стыдно жить: аль чужая, аль своя? Ты это пойми!

— Батька все в единоличности?

— Да.

— Черт приверженный! Он мне вредит. Скажи, чтобы не упирался. Нонче все пути в коммуну. Какими на меня глазами будут смотреть?

— Батя велел сказать: деньжонок нам не дашь ли, Григорий?

Григорий вынул бумажки. Марья, взяв их как ворованные, пошла к порогу, но задержалась.

— Плохо об тебе говорят, Гриша!

— На кажный рот узел не накинешь. Болтунов много. Ты моих дум не знаешь, Марья. Не по твоей оне голове, не по батиной. А не заночуешь ли? Поужинаем вместях?

— Нет, там батя ждет, я пойду. Ну, храни тебя бог, Гриша! Ты не забывай, я завсегда жду и об тебе думаю. Я тебе верная, знай! Ты это знай! — повторила она надрывно около порога.

Тимофей Гордеевич ожидал сноху на дороге, сутуло курил в телеге. От него попахивало самогоном. Спросил, когда она села:

— Видала его?

Марья рассказала старику о встрече, отдала Григорьевы деньги. Он оглядел их на свет, немного повеселел. Долго правил молча, на спуске в лощину сказал:

— Поживем — увидим там... Но-о, зануда!

Она смотрела рассеянно по сторонам, глотала вместе со слезами летящий ей в лицо сухой пресный снег.

— Батя, я надумала иттить к своим, — сказала она вдруг высоким, зазвеневшим, но сорвавшимся голосом.

Старик крякнул и, обернувшись, сказал родственно:

— Пошто в голову вбила! Он ишо нам всем в ноги поклонится. Высоко возлетел — не сел бы низко. Ты нам своя, что бы ни выходило, и наперед знай — своя! — Он стегнул коней, и те рванулись, понесли. Находили сумерки, низом гуще мело снег.

II

На нардоме и на дверях коммунской ссыпки висела губернская газета «Рабочий путь». А там писалось:

«Лукашовцы пошли в открытую борьбу, куда худшую, чем до сих пор: раньше они строили фокусы в своей деревне, ломали твердый порядок и дисциплину со-

циализма, добытую в революции самим же трудящимся народом, раньше они творили эзоповскую коммуну у одних себя, а на днях их разлагающая агитация перекинулась на коммуну «Заря социализма». Что вышло? На территории чанцовских земель образовали бригаду: она же вошла в лукашовскую горе-коммуну. Теперь эти лодыри и саботажники «Зари» ходят работать в чужую коммуну. В жизнь коммуны «Заря социализма» внесен анархизм. Коммуна под ударом! Позор свихнувшимся партийцам вроде Золотухина!

Добытую в крови победу крестьянства над дьяволом единоличия лукашовцы кинули в грязь безжалостно и растоптали. И это перед нашим съездом коммун губернии! Мы знаем теперь, где истинные революционеры, а где злостные загибщики. Мы знаем истинную цену народничеству!

Зав. отделом Высоковского укома Замялов».

Выпускались предсъездовские губернские афишки. Серую ноздреватую бумагу тоже приклеили тестом на дверях нардома:

«Крестьяне! Через какие уроки вы прошли? Если сказать образно, то через все муки Дантова ада, и того хуже: грязь, голод, холод, бездолье. Вот что видел пахарь-крестьянин! В хате — тряпье да тараканы, в хлеве — тощая коровенка и лошадь. Извечно жили без перемен. Революция скинула дремоту нищего прозябанья. Широкое движение коммун в Бражинской волости есть свидетельство тому. Созданные там коммуны пережили все трудности гражданской войны. В наши стройные ряды затесались критикующие. Они создали жалкое подобие коллективности. Дисциплину и порядок они подменили на уговаривание. Они даже лозунг революции: «Ограбь кулака, не обидь середняка и помоги бедняку» — перевернули с ног на голову. У них, оказывается, имеется иной подход к крестьянству.

Их действия можно квалифицировать как враждебные революции. Вперед, вперед!»

Еще одну бумагу силилась обглодать старая однорогая коза Поршневых. Задирая голову в клочьях белогрязной шерсти, она ухватывала лоскут свежеклееной листовки, тянула его книзу, пытаясь вобрать весь в бурые и мягкие губы.

Бумага, приклеенная к столбу около дороги, гласила:

«Коммунары! Единоличники! Мы обращаемся к вам с призывом к сплоченности. Старые ворошить болячки нет смысла. Все поступающие жалобы при создании коммун в прошлом в соответствующих губернских и уездных органах рассматриваются. Мелкие ошибки, которые были тогда допущены, не устрашают подлинных революционеров двигаться вперед. Движение коммун начато верно и революционно. Мелкие факты недочетов гаснут перед величием содеянного. Долой кулаков и критиканов! Дружно и сомкнутым рядом придем к съезду!

Губернский штаб по подготовке и проведению аграрного съезда».

К зиме с великим трудом поставили в коммуне еще одну пятистенку, уже нежилую, для всяких мелких нужд: устроили шорную, портняжную, сапожную, в другом крыле — библиотечку. В ней на еловых оструганных досках вместилось около трехсот книжек и десятка полтора журналов, и была там откуда-то занесенная «Нива». Для нардома и для мастерских удавалось через кооперацию добывать керосин. По вечерам окошки были ярко освещены. У многих на сердце повеселело: снесешь в мастерскую штаны или юбку — дырка на дырке, дикий срам, а обратно забираешь починенную и выглаженную. Специальным своим решением коммуна обязала всех женщин пожилого возраста, кто уже не мог быть охвачен учебой по общей грамоте, не мог работать на стройке и скотнике, ходить в свободные вечера в портняжную, а мужиков — в шорную и сапожную. Спустя два дня на дверях нардома, поверх газеты «Рабочий путь», приклеили толстую оберточную бумагу, и она гласила:

«Коммуна обязывает:

1. Пожилым женщинам, независимо от всяких бытовых условий, постепенно овладеть кройкой и шитьем одежи, равно как белья, так и всякой верхней. Цель — оторвать женщину от забитости и зависимости от всякой ее семейной роковой судьбы.

2. Мужчинам овладеть шорным, сапожным, кузнечным и плотницким ремеслом. Ленивых доучивать до полного овладения. Общее руководство обучения осуще-

ствляет сама коммуна. Да здравствует взаимная выручка, братство и счастье всех! Коммуна «Власть труда».

Через день — новое решение:

«Коммуна постановляет: как одумавшегося и понявшего вредность пьянства во время работы и всяких личных корыстных прихотей, принять обратно товарища Федора Ерофеевича Усинцова и поставить его на прежнюю должность — старшим кузнецом. Также назрело время заявить всем в отдельности и кажному: бойтесь кличек, позорящих человека! Кличка, пригваживающая к пороку, не дает возможности поднять его из грязи. Слава труженику земли! Коммуна «Власть труда».

А рано утром была наклеена с ней рядом другая:

«Коммунары! Данным решением коммуна доводит до всеобщего сведения: всякого, кто отлынивает от работы, коммуна будет его кормить вполнормы. Так было и так будет!»

Химическим карандашом криво кто-то приписал: «А воды дадите?»

Начисто переписывать лист не стали — он и висел такой.

III

С ранней осени Фекла Косухина часто хворала: было общее недомогание. На землисто-мучном лице ее прижилась тревога и боль за детишек, пятерых. До первых холодов она еще горела работой — чистила навоз в скотнике, пилила дрова для нардома. Надорванный организм ее крепился, вопреки хилости и нездоровью она словно цвела в работе. Как-то Золотухин заметил ее недомогание, запретил заниматься тяжелой работой, перевел на легкую — драть лыко и плести со стариками лапти для коммуны. Тогда коммуна постановление вынесла:

«Категорически сейчас и впредь решено: великую труженицу-беднячку, потерявшую здоровье на ниве каторжного крестьянского труда, Феклу Поликарповну Косухину от тяжелых работ отстранить. Считать ее кровной матерью коммуны, ее детей — нашими детьми. Брать с Феклы Поликарповны пример. Честь ей и слава. Для поддержки организма товарищу Косухиной Фекле Поликарповне отпускать каждодневно лишнюю поллит-

ру молока, а в месяц фунт сахару и другого всякого гостинцу».

Две недели Фекла постановлению сопротивлялась. Сказала Золотухину:

— Ты, Максим, меня не принуждай. Ить я работу-то всякую сколько делала? Не вспомню даже, когда и начала работать-то? Век вроде целый работаю, а вот чтобы жалко мне было, то я тебе скажу — не жалко совсем. Жизнь была в ней, а в лодырстве нешто жизнь? Это мой мужик, бывало, покойничек, тоже меня заругивал за хлопоты...

Чуть свет надевала старый зипун, чеботы, поправляла головенки спящих ребятишек и тихо, не скрипнув половицей, выбегала на улицу в серый сумрак. И до выхода успевала истопить печь, сварить детям картошку, испечь еще хлебец из скудного житного пайка.

— Даст бог, проживем, — говорила она в коммуне; неистощимо смеялась, никогда не унывая, не хныкая.

Золотухин ей лично прочитал решение коммуны, и Фекла наконец-то сдалась и смирилась — пошла плести со стариками лапти. Их подобралось четверо, стариков. Собирались в хате Кондрата. Старики работали вперекур: то и дело по рукам бегал кисет, а Фекла почти не разгибала спины. Осушит ковшик воды, перекрестит рот, и заново мелькает в ее жилистых, сморщенных руках кочедык. Она ввела норму: за день сработать пару лаптей. Анисим Поршнев, крючком согнутый старик, с лысиной и с висячим длинным носом, разводил руками, возмущался:

— То-то латоха. Заездит!

— Лежебоки, каляница вас возьми! Даром бы вам хлеб жрать да все курить, — сердилась Фекла.

Мирон Лопарев, куцый безбородый старик, смеялся, показывая пустые розовые десны:

— Нашлась, понимаешь ты, унтер!

Потом она слегла вовсе. Свело судорогой левую ногу, онемели руки. Она дивилась: куда же и когда ушла сила? Чуя близкое сиротство детей, втихомолку плакала. Феклу почти каждый день наведывали коммунары — приходили сидеть вечерами, помогали детям топить печь. Наползало мутное, туманное забытье... Очнувшись, прислушивалась: в избе покойником таилась тишина. Иногда ей вспоминался в такие минуты Иван, муж, его

тяжелые кулаки, страшное пьяное лицо, особенно один случай зимой, когда, избитая им до полусмерти, на коленках уползла в хлев и лежала целый день вместе с коровой на теплом навозе. К вечеру вошел Иван, опомнился, отрезвел, повел в хату — такая шла у баб жизнь. Мужика убили на другой год гражданской войны. Фекла, обезумев от горя, нюхала его рубахи — пахли его табаком, тяжелой и уродливой ее судьбой.

Она сама крыла крышу, тесала, рыла лопатой весь огород — лошади не было. Ухитрилась сберечь детей в самые худые годы.

И раньше еще ухитрялась Фекла. В то время когда Иван загуливал, а у нее уже было двое на руках: младшая, шести лет, Варюха и старшая, Нюша, — одиннадцати. А трое, хлопец и две девки, как раз пали на годы, когда вздохнулось полегче. Иван воротился из найма, где-то зашиб денег. Мягко держал жену за руки, был он побритый, без усов, без бороды, и что-то говорил ей ласковое про новую хату.

...Тайно от детей она теперь готовилась к своему концу. Уже знала: она где-то близко, за курганом, смерть. С испода сундука достала белую и береженую, матерью тканную холстинку — в корзину положила, как уходила из родительской в чужую хату и в новую жизнь. Есть такое в крестьянской душе: приберечь про черный день. И вдруг ей жаль сделалось холстинки: им же на платьица, на кофтенки, вон и пошивочная открыта бесплатная! Обратно положила ее в сундук, на старое место, и сразу полегче ей стало. Дети смотрели на мать, — уже и слез не было, чтобы плакать. Нюша часто становилась на колени перед полатями, перед матерью, то подтыкая сползавшую шубу, то подтягивая к стене сенник.

— Вот погоди, дай отдышусь, я ишо встану, — бодрилась Фекла.

Коммуна каждый день посылала в хату человека — следить и помогать. В субботу выпало дежурить Варваре Семигоновой. Придя с утра, она истопила с Нюшей печь, помыла с ней пол, выскребла стол и подоконники. Подошла к полатям; Фекла лежала лицом вверх — что-то рассматривала на потолке, так внимательно, точно силилась сосчитать каждую трещинку. В низко осевшие окошки сочились лучи солнца, малиновым огнем на подоконнике горели герани. В хате пахло сухой пылью, мы-

шами и нищетой. Варвара нагнулась к Фекле — на запалом, с вытянутым носом лице тепло тлели глаза, едва заметное дыхание колыхало седые спутанные ее волосы.

— Что ты упрямишься, в больницу везть надо!

Фекла судорожно схватила ее за руку, вцепилась холодными, но все еще цепкими пальцами, приподнялась на локте, губы ее что-то пришептывали. Варвара нагнулась ниже к ней; Фекла откачнулась, легла, сказала внятно:

— Детей не оставьте.

— Господь с тобой! Своими будуть, выбрось из головы.

— Детей... детей! Ради Христа, сведи детей... к себе. — И села, хватая ее опять за руки: — Не бросайте их! — Она с усилием поднялась, держась обеими руками за стену, поманила жавшихся в углу детишек. — Нюша, деточка, веди всех к Варваре. Подойдите. — И, как стали подходить, судорожно обняла.

Варвара сгребла кричащих детей, поволокла их за порог.

Фекла на короткое время, пока не вернулась Варвара, осталась одна в хате... Теплая цветущая рожь тотчас набежала на нее, и в туманном этом видении, из этой ржи, сквозь блеск солнца, она увидела выходящую свою Нюшу, уже совсем взрослую и ладную бабу, с молодым мужиком в красной рубахе и в сапогах; отчетливо был слышен над зелеными межами, над хлебом их тихий, веселый смех. Он плыл к ней, к матери, и ей так захотелось подбежать к ним, счастливым, по этой прохладной тропинке, пробитой сквозь душистый хлеб, но камень все безжалостнее, все упорнее давил на грудь, и видение все меркло и угасало, угасало...

Воробьи чирикали за опутанным паутиной оконцем, текла хмельная горечь от сизого куста полыни на шестке. Фекла сжалась, подвела к животу худые острые колени, задохнула воздуху, дрожь пронизала ее тело, и стала выпрямляться: кончалась, отошла...

В нардоме в тот же день вывесили решение:

«Из наших рядов смерть вырвала великую труженицу — крестьянку Феклу Поликарповну Косухину, мать пятерых будущих орлов и мать всей нашей коммуны. Вечная ей слава! Склоним низко головы и дадим ей слово на могиле: общими силами построить жизнь, свобод-

ную и счастливую, каждому нашему труженику. Коммуна решает:

1. Клубу-нардому присвоить имя Феклы Косухиной.

2. Воспитание, обучение, а также содержание ее детей возложить на коммуну. Расставлять детишек по дворам нельзя, пущай живут вместе, как и жили, дружно растут и становятся на ноги под своей родимой крышей и на страх врагам.

3. Обязать Лукерью Поршневу помогать детям, топить печь, заготавливать дрова, чинить одежу и нести по их двору всякую другую работу. В зимнюю пору при детях быть все рабочее время. Летом поступит другое решение. Да здравствует братство людей!»

IV

Последние птицы покидали места гнездовий и, застигнутые ранними холодами, спешно уходили на юг. К началу ноября тревожный журавлиный крик уже затих и в небе и на болотах. Но тревога осталась в людях. В середине ноября стала давать о себе знать ходившая в лесах Зимовной вырубки банда. Участились случаи нападения на коммуны, убийства и просто грабежи на глухих и малолюдных высоковских дорогах. Дымков с ужасом, инстинктивно охватывающим его, в особенности ночами, в бессонницу, думал о том, что ко всему этому братоубийственному делу причастен сын Михаил.

Еще при первых случаях нападения на сельсоветы и коммуны Золотухин почувствовал опасность и поставил вопрос об охране самой большой коммунской ценности — скотного двора. Митька Лукашкин получил два ружья и наган. В группу охраны он зачислил Павла Кожушенкова, парня моложе себя двумя годами, и Галину Лопареву, как комсомолку. Двенадцатого ноября они первый раз вышли на пост. Через трое суток, пятнадцатого числа, они в середине ночи услышали винтовочную стрельбу левее большака, и спустя короткое время в той стороне, в деревне Богодилово, обозначилось большое зарево пожара. Митька решил занять позиции с обеих сторон скотного двора. Вторая половина ночи прошла в большой тревоге и ожидании нападения, но все кончилось тихо, стрельба в той стороне не повто-

рилась, а зарево еще более усилилось к утру. Днем стали известны подробности: банда напала на богодиловский семенной склад, сожгла его и застрелила сторожа. Золотухин предложил усилить группу еще дополнительно двумя стариками, но Митька отказался от этого, так как не было оружия, и они по-прежнему несли охрану втроем.

Днем Золотухин неустанно учил их стрельбе. Восемнадцатого ноября в половине двенадцатого ночи они вышли, как обычно, на пост. Ночь была безлунная, темная, ветреная и холодная. Из балки, что лежала позади двора, уже несло недалеким холодом зимы. Деревня, погруженная в темноту, не просматривалась. Им казалось, что близко были враги, которые подстерегали их. Павел был маленький подросток со скуластым испуганным и открытым лицом, в отцовском, очень длинном ему пиджаке, обутый в старые сапоги и в шапке. Он обеими руками держал ружье и напряженно и боязливо всматривался во тьму, кругом ничего не было видно. Галина, закутанная в шаль, с наганом в руке и с отчаянной готовностью к схватке, блестя глазами и чему-то своему смутно улыбаясь, сидела с ним рядом; Митька, приладив на бруствере двуствольное ружье с таким расчетом, чтобы видеть кругом, с деловитой и хозяйственной озабоченностью ощупывал патроны в холщовой сумке. Затем он осмотрел, проведя пальцем по лезвию, финку и, убедясь, что все как нужно и хорошо, лег на бок, глядя на темное небо; на юго-востоке между тучек робко и туманно блестела одинокая звезда. В этом таинственном небе, полном своей, независимой от людей жизни, слышались странные и как бы волшебные звуки, и Митьке казалось, что звуки эти вполне соответствовали тому настрою души и мечтаний, какие рождались и беспрерывно изменялись в нем самом. Они лежали в неглубокой яме, шагах в тридцати от скотного двора, чтобы лучше было видно кругом со всех сторон. Яма была прикрыта сверху соломой на невысоких кольях и вполне могла спасти от дождя или снега.

— Кабы покурить троху? — сказал Павел и, повернув голову, пытался рассмотреть выражение лица Митьки.

— Нельзя, — тихо и тоном приказа отозвался Митька.

— Еще что! — сердито сказала и Галина.

Они опять полежали молча. Слышно было, как сперва фыркнула, а потом сдержанно проржала лошадь в скотном дворе, а потом, словно в ответ на эти звуки, послышались тонкий посвист ветра и шорохи кустов полыни около ямы.

— А там, за нашей губерней, там какая ж земля? — спросил Павел с очевидным желанием скрыть свою темноту и малограмотность.

— И там Россия, — сказал значительным тоном Митька.

— Большая она?

— Год иди, а края не увидишь — вот какая.

— Ишь ты! — взволнованно и удивленно сказал Павел и пошевелился.

— Может, и мы свет поглядим, — мечтательно сказала Галина.

— Запишись в Красную Армию, — не меняя позы и продолжая смотреть в небо, язвительно проговорил Митька.

— А я слыхала, что и девчата воевали, и не хуже, — не обижаясь на его слова, сказала она.

— Погодите-ка, — проговорил Павел, прислушиваясь.

Все трое вытянули шеи и стали слушать, но до их слуха доходил все тот же однообразно-унылый осенний шорох сухой полыни.

— Мне показалось, — виновато произнес Павел.

— Счас не сунутся, оне поздней, под утро. — Митька снял кепку и почесал голову. — Ежели что, стрелять вблизи и без сутолоки.

— Про то мы знаем, — сказал Павел. — Мне вот дед шкуру скоро сдерет за дежурства-то.

— А ты скажи, что надо, — поучила его Галина.

— Скажи... — Павел поежился. — Он те скажеть ремнем ниже спины.

И снова лежали молча, напрягая и слух и зрение.

— Митька, а ты покель ожениться не мечтаешь? — спросил неожиданно Павел.

Митька заметно вздрогнул, точно его больно ударили, — разговор этот был теперь страшен ему...

— Иди ты к черту, не лезь! — с грубостью старшего прошептал он.

Павел, не понимая значения его резкого ответа, как еще ничего не понимая вообще, кроме своих желаний, признался:

— А я б... Кабы только сыскал-то... Я б оженился, ребяты.

— Это смешно и дурость, — сказала Галина и засмеялась, отчего Митька резко повернулся к ней и сжал ей локоть.

— Тихо!

Теперь им не показалось: две смутные тени скользнули и пропали шагах в ста от скотного двора. Митька весь превратился в слух. Он крепче упер в плечо приклад, неотрывно смотрел в ту сторону... Тени уже появились почти у самой стены. Заметив нетерпеливое движение Павла, который уже вел, прицеливаясь, ствол ружья, Митька прошептал сквозь едва разжатые зубы:

— Коли что... прикрывайте. — И, как кошка, подкрадывающаяся к добыче, скользнул из ямы и мгновенно слился с землей, пропал.

Павел и Галина, охваченные страхом, держали наизготовку один ружье, другая наган, не спуская глаз с двоих у ворот. У ворот послышался тихий звук железа по железу, и один нагнулся, а другой чиркнул спичку. И в тот же миг, опередив огонь, не дав ему прикоснуться к воротам, Митька прицелился и нажал спуск. Он видел, как один быстро упал, а другой, присев, выстрелил из нагана наугад. Пуля пронеслась у Митьки над самым ухом. И, выстрелив еще раз, он обернулся и бессмысленно, как это всегда бывает в минуту опасности, крикнул:

— Окружай их!

Держа перед собой ружье и всматриваясь в пространство около ворот, Митька поднялся и медленно приблизился к ним.

Галина и Павел неуверенно подходили сзади. Двое исчезли, а у самых ворот из жестяной опрокинутой банки, булькая, вытекал керосин. Осторожно прижимаясь к стене, они друг за другом стали красться около скотного двора. Невдалеке они увидели темную, приближающуюся фигуру, и Митька сейчас же взвел курки, пронзительно крикнул:

— Подымай руки! Стреляю!

— Что за буза, ребята? — спросил Золотухин из темноты.

Он подошел к ним. Галина от страха все застегивала и расстегивала пиджак, а Павел, приседая, оглядывался.

— Двое гадов ушли... керосин там. — Митька махнул рукой на ворота.

Золотухин оглядел банку у ворот, повернулся лицом в сторону Зимовной вырубки.

— Идите спать, я покараулю один.

— Не, мы вместе, — сказал Митька и непонятно почему сдержанно рассмеялся.

И все четверо, согласно шагая, пошли к яме.

V

На погосте тихо было — ветер высоко шел, шумел в старых обомшелых соснах, а внизу, на могилах и вдоль выломанных деревянных оград, где пригревало скупое ноябрьское солнце, еще зеленела поздняя трава горюнок и тихо было и холодно... Калина уронила последние ягоды — капельками крови закатились в высохшую бурую траву и светились оттуда изумленно и невинно. Свежая лежала у ног могилка. Овеянный ветрами холм погоста змеился обнаженными трещинами в желтом сыпучем песке. У многих могил и вовсе крестов не стояло — ушли люди в землю без памяти. Убогое, заброшенное кладбище, где еще и сейчас в осеннюю пору васильковым цветом между гнездовий лугового дерновника нежно зеленела, напоминая лето, свинячья цибулька. Уродливо глядела со склона холма заброшенная часовня — теперь над ней кружили вороны.

Митька, сидя прямо на земле, чтобы не было видно из деревни, скурил три цигарки, а тоски из сердца так и не выжег. Словно не Настюху придавил песок в яме — его самого! Покой он потерял с тех пор, как узнал о ее смерти, и, терзаемый этим запоздалым раскаяньем, пытался отойти мыслями от ее смерти, чтобы забыться. Ветры шумели в мире, таким же высоким и безучастным во всю свою ширь расстилалось небо, курганы холодно сверкали под не растаявшим с ночи инеем, и вороны кричали так же, как в прошлую осень, — а ее уже не было нигде!

Митька заплакал, вспомнив тот последний разговор около Угры. Он теперь боялся деревни, хат, людей. Утром с постели вскакивал с одной угнетающей мыслью — убил!.. Обойдя растрескавшийся холмик, на котором не было даже креста, сбросил голыш и, чего-то испугавшись, побежал между могил, царапая ноги и руки о кусты шиповника, густо росшего на склоне холма.

В кузнице он немного успокоился. Вернувшийся вновь в коммуну Усинцов ладил на дворе испорченную веялку, и Митька был рад, что не с кем разговаривать. В горне еле тлели угли. Заложив поленья, качал мех — тот утробно задышал. Влез огромный Усинцов, в сумраке низкой кузницы у него жарко блестели зрачки, взял какое-то железо, спросил:

— Проволоку нигде не видал?

— Моток под рогожей.

— Курить хочешь?

— Ну его к собакам! — мутно сказал Митька.

— Да, брат, а все бабы... — сказал Усинцов, вытаскивая и разглядывая на свету моток. — Подойдет вроде бы?

Весь внутренне дрожа, Митька повернулся к нему, испуганно спросил:

— Ты об каких бабах-то?

— А таких... — кряхтя, поднял Усинцов моток и вышел.

Холодея, Митька подумал: «Знает!» Кровь кинулась в лицо, зачем-то взял молоток, без дела постучал по наковальне, кинул его и вышел к Усинцову во двор. Тот лежал на земле, клещами подкручивал в веялке какую-то гайку. Митька потоптался, походил вокруг и, когда поймал черный цыганский глаз Усинцова, спросил:

— Чиво же про баб-то?

— Обыкновенно, — усмехнулся в бороду Усинцов.

— Касается кого?

— Всех.

Митька подумал, хотел вернуться в кузницу, но идти тошно было, грязно как-то в себе самом. Он вновь спросил:

— А при чем тут, говорю, бабы-ы?

Усинцов вылез из-под веялки и, помолчав, горячо заговорил:

— Я из коммуны уходил из-за кого, думаешь? Из-за

бабы?! Как получил паек, так не продохнуть, — Усинцов блестел смоляными, антрацитовыми зрачками и такой же маслено-черной, без единого седого волоса головой, продолжал: — Бегает, орет, а я во всех смыслах под власть подпадаю, трогать я ее раз за жизнь тронул, в начале войны, а с тех пор я к этому сословию руку не приложил. За тот паек неделю точила меня. И раньше, бывало, по молодости, опять же свою власть брала, а ты стоишь да моргаешь, и это, заметь, при моей-то силе! Сила-то, она, парень, не на них, их, паскудов брюхатых, би-ить нам нельзя. Хотя, конечно, и мы-то, мужики, тоже не мед. Тоже ить пьем и паскудимся. Только так скажу тебе, Митька: ты от них, от баб, спокойствия не жди, вовек не жди! Будешь в хомуте да ишо ее же и хвалить будешь. — Усинцов прижмурил черный глаз и теперь уже надолго замолчал, потому что у него вдруг пропало настроение об этом говорить.

«Не знает», — подумал облегченно Митька и, с наигранной веселостью хлопнув Усинцова по плечу, сказал:

— А я покуда не думаю жениться-то. — И направился в кузню.

Но Усинцов не отставал от него, тоже пошел следом, опять заговорил:

— Думай не думай, а свяжешься как пить дать и петь будешь под ее дудку, а то под пьяную руку ударишь, да, не приведи бог, нанесешь ишо увечье, так заест совесть, загрызет, брат, до смерти хоть живьем в петлю лезь. Ну, понятно, не кажного совесть поедом ест, зверья много среди людей, но я, брат, говорю об тебе, об твоей совести: парень ты душою чистый, и вот... значит, оно и того — суд себе чтобы над совестью не учинить.

— Слушай, Федор!.. — Голос Митьки пресекся, и он как бы задохнулся.

Однако Усинцов или уже думал о чем-то другом, или не услышал мольбы в его голосе — он, зевнув, пошел наружу.

Вскоре в кузницу заглянул Золотухин.

Митька все ждал с напряжением какого-то разговора, а Золотухин, увлеченный работой, накачал мех, раздул докрасна жаровню, вынул из нее кусок железа, положил на ясный лоб наковальни и стал бить, плющить шипучее, брызгающее искрой железо; Митька держал

щипцами, а он бил молотом одной рукой, лишь взмахивая обрубком другой.

Бросив болванку в шайку, Митька сквозь пар увидел напряженные, упрямо немигающие глаза Золотухина; он ближе наклонился, до боли ухватил его локоть, засмеялся странно — дергалась одна щека и подскакивала сломленная углом бровь.

— Ну? — спросил, отпустив Митькин локоть, посмотрел строго, но не зло и скорее даже с грустью.

Митька, краснея, забормотал:

— Железа нет. По задворкам лазию...

Золотухин хотел намять табаку в трубку, уже вынул кисет, но подбросил и, опять опустив его в карман, спросил:

— А как она? Жизнь?

«Вот!» — ахнул Митька, но вида не подал, ответил весело:

— Хорошо.

Ему надо было решиться сказать... Несколько дней назад это решение возникло, откладывать дальше уже не мог, сверляще жгло изнутри, и сейчас он, заглатывая концы слов, сказал:

— Последний день в кузнице... Завтра уйду из деревни...

Золотухин быстро отошел к порогу, потрогал рукой воткнутую в паз косу, сурово обернулся. Молчал.

— В город... В армию, на любую работу, ломать камень... проситься буду. — Митька съежился, не видя, на что сел. — Ты пойми, пойми: разве хотел я ее смерти? Нешто ж я какой злодей? — Он сжал его руку, задыхался. — Коли будет каторга, на нее согласный! На все согласный, перед всеми хочу ответ держать. Да сыми муку только, не гляди ты на меня так-то, не гляди!

Пригнув голову, Золотухин стоял в раскрытых дверях. Губы его подергивались, один прищуренный глаз необыкновенно светился, но не было в его взгляде зла, чего больше всего боялся сейчас Митька. Не зло было в нем, а думал он в этот миг о людском зле.

— Мне жалко бросать вас всех, коммуну... Не от работы я уйтить хочу... а не могу; голосом ночами она меня кличет — укоряет живая, что сгубил. Пойми! Не хотел я, не хотел я! — Митька захлебнулся от невыговоренных слов, от боли, от раскаяния.

— Тяжел он, значит, людской голос. Значит, не на язвах свет держится — на добре! Значит, есть в нас еще то добро, живет оно в нас, к отмщению взывает! И ежели ты сгубленную пожалел — как же тебе тут жить?! Тут ты и сам в могилу ту зайдешь, сам ляжешь в нее — за-ради снятия греха с души. А народу и в целостности государству и всему человечеству не нужна твоя эта жертва — не к тому взывает народ! Теперь ты понял, как оно тяжело, зло то, какая цена ему и как было бы натурально прекрасно, ежели бы раскаянье к людям приходило раньше, хотя бы днем. Но и зло то в тебе надо было поднять с души другим людям, их не оказалось, а сам ты струсил, не смог, не одолел тогда ты, днем раньше, при ей, живой, — и вот ее нет... Ты много помог нам, ты хорошо поработал, ты все ж таки славный малый по натуре, но ты, Митька, уходи. Ради детей своих будущих уходи, но помни: ты не отвергнутый, но и не прощеный, нет, ни в коем даже случае! Ни одна загубленная жертва, ни одна убитая жизнь, рожденная жить не по нашей воле, не должна даром пройти!

— Этого и боюсь, — прошептал Митька.

— Бойся и уходи: там тебе будет куда легче.

— От тени ее, чай, не укроешься!

— Тень та потихоньку исчезнет, как осознаешь, что жизнь не убита, что нужен ты нынче на земле. Я хочу верить в то, что не станешь же ты подлым, ежели когда-то против отца пошел, против тьмы пошел, верю я!

— Я... я... Максим... да я... — Слезы осознанной в себе силы и крепости как бы ощутил в это мгновение Митька. — Я все сделаю, Максим! Все сделаю! За народ встану, я...

— Ну вот, ну вот. — Золотухин сурово и скупо пожал его руку, быстро толкнул в плечо, круто повернулся, по-военному, на каблуках, и, не оглянувшись, деловой походкой вышел из кузницы.

Митька, вытянув шею, ждал, ждал, что он вернется, но тут же почувствовал, что все уже было сказано.

Хруст по гравию умолк, и теперь лишь слышался со двора тоненький и радостный звон железа в руках Усинцова. Плохо видя, Митька суетливо вышел, забыв на гвозде кепку, и огородами прокрался под берег Угры, к знакомому омуту. На середине, в черной воде, спиралью сверлился глубинный ключ. Пригоршню холод-

ной, как лед, воды швырнуло Митьке в лицо, и, весь дрожа, он попятился спиной, ему показалось: в белом, с длинными зелеными распущенными волосами девушка медленно приподнялась из трясучей черной воды... И ноги изо всей силы понесли его прочь.

Вечером он ничего не сказал родителям, а утром встал вместе с матерью все с тем же просветлением в душе. Катерина щепала лучину, охая от тупой боли в суставах водяночных толстых ног и в спине, — ломило к перемене погоды. Вспыхнули лучинки, осветили ярко рыхлое, с выбившимися из-под платка волосами материно лицо. Отец еще спал на печи, сестры с детьми тоже спали за перегородкой на полатях. Митьке было невыносимо тяжело уходить из родительского двора, особенно сообщить матери.

Оглядываясь на печь, он сказал ей, что уходит проситься в Красную Армию: ему ведь уже восемнадцатый... Услышав эти слова и не понимая их смысла, не спуская глаз с лица сына, мать опустилась на лавку, руки у нее упали на колени.

— Сдурел! Ишо не призывають, — только и сказала она. Бледный и напряженный, он боялся смотреть в лицо матери: а вдруг догадалась, из-за чего уходит он?..

Тихо охнув, поняла: он уйдет и, бог знает, воротится ли когда обратно, потому что где-то еще шла война, а с нее мало кто приходил, и свет был слишком велик для матери, где сын мог потеряться бесследно.

— Митенька, сынок!..

Он суетливо кинул в сумочку половину буханки хлеба, подошел, потерся неловко рукой о ее плечо и шагнул к порогу.

— Погоди, батьку побужу. Господи!.. Илья, Илья! — закричала она на весь дом.

— Чаво там? — Лукашкин, нутряно кашляя, слез с печи, зевнул.

— Митька на войну собралси!

— Взаправду? — Лукашкин, не понимая, взглянул на стоявшего около порога Митьку. — А что так приперло?

— Я вам напишу. — И он почти выбежал из дому. В конце своего выгона оглянулся на двор: на крыльце стояла мать, ветер рвал с ее головы блеклый желтый

платок, мать подняла и протянула вперед руку — чтобы лучше видеть или же призывая его вернуться?

Он все ускорял шаги. Большак еще дремал, в лозняке подсвистывал совсем зимний ветер, мельтешили белые мухи, и, холодный, отпугивающий, все звучал в Митькиных ушах звон. Три старые одинокие, озябшие елки около большака мерно и тревожно шумели. Около них Митька еще раз оглянулся на деревню. Светало. Вслед ему смотрел родительский дом с необыкновенно уменьшенной в размерах фигуркой матери, все еще стоящей на крыльце, с колодезем, с плетнем, с дымом над крышей, — и острая боль, мятущаяся тревога и раскаяние с новой и властной силой охватили его! И он пропал в этих просыпающихся полях...

VI

Выпавший на вершок снег подтаял, но не сошел, улегся покорно и мягко. Посветлело и потишело в оголенных лесах. По первопутку путано прошел первый заяц, росписью легли следы мышей. Присыпанная мягким снегом дорога едва проглядывала — шла глухоманью. Сани потряхивало на корневищах, наплывала дремота. Николай щурился на хрустально сверкающий под солнцем снег, на пышные, опушенные инеем березы, загляделся на вековой ясень: вот силища и нетленность жизни! Испытывая прилив радости, Николай закурил, ласкал взглядом молодые дубы. Он любил эти деревья за их неброскую красу, за их силу: в этом дереве, казалось, был он сам, его дед, и прадед, и вся русская непонятная жизнь с хорошим и дурным... Что ж, у коммуны свой круг, у него свой: ему надо пахать свою землю, сеять и любить! Наконец-то сбылось: и воля есть, и новый двор, и теперь вот пара коней. Гнедую кобылицу Миронов Николай добыл в эту последнюю поездку. Отливал свежей медью ее хвост, бабки сбиты, отвердели в мозолях — рабочая лошадь. Еще на полдороге все мысли заполнила тоска по Ганне. Он отчего-то ныне беспокоился и часто ловил себя на смутной и неосознанной тревоге. Откуда она бралась, не знал; под тихий напев полозьев вздремнул, очнулся — показалось, что Ганна гладит его волосы теплой огрубевшей ладонью. Шагал широко за санями. Нет-нет и загребал голубого

снегу в ладонь, ел, нюхал, тихо смеялся. Вскоре показалась своя поляна. Ворота были бесхозяйственно раскрыты, посреди двора — телега без передка, притрушенное голубым снегом колесо.

Завел под навес лошадь, смахнул порошу с крючьев, повесил на них сбрую, живо и радостно оглянулся на скрип шагов — с крыльца проворно сходил Макарка, сын. И как он сходил! Даже губы пересохли: вылитый он, отец! Взгляд из-под бровей, кепчонка, как у отца, насунута на самые брови. Николаю сделалось то ли радостно, то ли горько под его недетским взглядом.

— Кинь сена коню. Мамка что делает?

Макарка угрюмо и не мигая смотрел на отца.

— В деревню пошла.

— К нашим?

— Не знаю.

— Давно?

— В обед ишо. Лошадей поить?

— Погоди, нехай остынуть. Видишь, какого купил коня!

Обеспокоенный, вошел в хату. Посидел около стола не раздеваясь. Его продолжало мучить какое-то тревожное предчувствие. Поднял голову — сынишка, не спуская глаз, смотрел на него от порога.

— Развяжи воз. Пожрать-то она варила?

Обедали вдвоем. Николай прилег отдохнуть, едва задремал, разбудило конское ржанье. «Тоскует, черт. Небось обвыкнешься!» — подумал о купленной лошади. Ходил босой по половицам. Они пахли ржаным хлебом, Ганной, семьей. «Видать, вчера мыла». Так хорошо дома после ветра, метелей и дорожных скитаний!

Ганна вернулась в сумерках. Он сказал ей, что купил лошадь, она бегло отозвалась: «Зачем?» — и месила тесто, далекая, замкнутая. Ломая в корявых ладонях лучинку, он испытующе шарил потемневшими глазами по ее лицу.

— К нашим ходила? Ты что такая?

— Нечего мне ходить! — отрезала она неласково и гордо.

— Книжки носишь? Так... — И две тоненькие, в дешевых обложках брошюры разорвал в клочья. — Идейность заместо хлеба, в брехуны вписалась.

Утром встал с петушиным криком, минуту лежал, воскрешая вчерашнюю стычку с женой, хорошо помня ее злые слова. Вышел в прихожую. Ганна топила печь, не пошевелилась даже, лишь из-под надвинутого платка посмотрела внимательно ему в зрачки.

— Дрова в цене. Пойду запрягать. Как поедите, ищите меня на Голой деляне, подсобите трошки. — Надел темный, почти сгнивший на плечах пиджак; она молчала. — Счас люди на дровах наживаются!

На дворе было бело, радостно и чисто. Пахло в хлеву свежим навозом, дыханием скотины и духовитой пряностью, сеном. Он запряг лошадь, выехал. Щеки покалывал легкий морозец. Ближний еловый подрост, сизый осиновый валежник, опутанные куделями молодого снега березняки розово светились от тихо всходящей над лесом зари. В версте от дома он разнуздал лошадь, расклещил хомут, кинул ей сена и принялся стаскивать в одно место упавшие деревья.

Ганна с сыном принесла ему чугунок с теплой кашей на сале. Он ел жадно, смотрел на жену и на сына, подбадривал, поторапливал их с обрубкой сучьев. Ганна поверх полушубка обвязалась веревкой, снег зло визжал под ее лаптями, она непонятным и долгим взглядом посмотрела на него и начала обрубать сучья. Все последние дни она жила в тумане, потеряв интерес ко всему, и ничто не трогало ее. Лишь иногда, на рассвете, когда выходила кормить скотину, вдруг ясно улыбалась дорогим картинкам прежней, детской, далекой уже жизни. Только в такие тихие минуты, когда все пробуждалось и отходило от сна, молодое тело ее и душа, давно захлопнутая наглухо, вдруг жадно тянулись к жизни. Несколько раз у нее из рук вырывался топор.

Николай, утопая в снегу, из последних сил тащил бревно, крикнул:

— Подмогните!

Когда нагрузили третий воз, она снова снизу, тяжело и жутко посмотрела на него, сказала с надрывом:

— А пропади ты! — И, схватив сынишку, выбежала на дорогу.

А ночью говорила ему, глядя на туманившийся Млечный Путь:

— Прости, Коля: опостылело житье. И не люблю я тебя. Замуж не любя шла. Сгубила я у вас свои годоч-

ки, в навозе сгноила. Ты-то служил, а я старухой стала! Ты уж, бога ради, прости: тошно мне. Я-то бойкая девка была, да вишь — хрипатая стала.

Он не понял, сел, шарил глазами по смутно белеющему на подушке ее лицу.

— Книжки? Коммуния гадова?

— Не кричи, нехай Макарка спить.

— Дура!

— Ну, то я знаю. Только шабаш... — И смеялась чему-то, не видел он, не слышал, а чувствовал, смеялась.

Утром, как встал, вдруг почему-то понял: один он в пятистенке! Спотыкаясь, суетливо одевался. Выскочил в прихожую — сундук был открыт, впопыхах собирала она немудрое свое бельишко, рубахи взяла холщовые, ситца кусок, что к свадьбе еще куплен был; годы в свекровьем сундуке пролежали.

Без шапки, без пиджака обежал двор — ни ее, ни сына. Вывел из хлева лошадь — во весь мах погнал к деревне. В молодом дубняке увидел и жену и сына. Две тени — одна совсем маленькая, другая подлиньше — скользили по нетронутой синей снеговой пороше.

— Ганна! Ради Христа! — крикнул задыхаясь.

Прижимая к себе сына, она устало посмотрела на него, и горькая складка шевельнула ее сухие увядающие губы, но не вымолвила ни слова. Пошла.

— Ради кого понастроили? Ганна! Баба ты и есть баба, — Николай шел сзади и бормотал: — Какого черта? Кто тебя ждеть? Люди воды не дадуть, не то что хлеба. Опомнись! Что ж ты, а? Макарка, сынок, а ты? И ты батьку бросил? Сынок!

Один раз Макарка затравленно оглянулся на отца, суетливо семеня ногами, спешил за матерью.

Николай отстал и стоял теперь один посреди голой холодной снежной дороги. Закричал страшно:

— Что ж вы? Гады! Сволочи! Для кого ж я жи-ил?

Эхо, подхватив людской крик, отозвалось равнодушно на другом краю леса.

Жалость заставила ее обернуться, она боялась теперь лишь одного — этой непрошеной бабьей слабости.

— Прости, Николай! — ответила и поклонилась низко, к земле, по-крестьянски.

Пошла торопливей, все убыстряя шаг, волоча за собой Макарку, почти побежала и скрылась за поворотом,

за дубами. Долго стоял он на дороге, почерневший, страшный. Всхлипывал.

Ганна поселилась у одинокой, живущей на околице старухи Матвеевны.

На другое утро она, малограмотная, под диктовку Галины написала заявление о принятии ее в коммуну. К свекру не пошла и всячески избегала встреч с Мироновыми.

VII

Золотухин только что вернулся со скотного двора (ныне отелилась лукашкинская корова) и, довольный тем, что оказалась телка, увидел в окно подъехавшего к крыльцу нардома Матвеева. Накинув на плечи шинель, он вышел на крыльцо встретить его. На дворе дул пронизывающий до костей ветер, стеной несло замять по безлюдному проулку и большаку.

— Как у тебя со временем, Максим Егорович? — спросил Матвеев, ласково глядя ему в лицо и отряхивая снег с воротника.

— Вернулся со скотного. У нас корова отелилась. Хотел в веялке поковыряться, что-то не пустим никак.

— Займешься в другой раз. А теперь у нас есть поважнее работка. Ты народ Хатуни знаешь?

— До войны знал пару ребят. А что?

— Хатунь сильно интересует товарища Вострякова. Имей в виду, что до деревни этой он еще не коснулся, но точный план устройства коммуны имеет. Уже и человека подобрал в руководство. Но наткнулся на одного мужика, Лукина. Мужик хозяйственный, вроде вашего Дымкова, ну, Тихон давно бы его прижал, да сам Лукин имеет силу на мир — люди слушают его, и он влияет на них.

Золотухин улыбнулся, показывая свои крепкие зубы.

— Я маленько припоминаю. Мне еще отец про Лукина говорил. Ну да, вспомнил, натурально про него — правдолюбец и руки талантливые.

— Замялов давно к нему лезет, но Тихон хитрый, трогать не велит, боится, ему, видишь, коммуна-колония дороже.

— Так что ж, ждать Замялова, пока он там коммуну станет вбивать? А с другой стороны, ежели крестьяне

там не похилились в сознании к такому шагу — к артельности вообще, — трогать их покуда не надо. А то мы слишком решаем за мужиков, как им жить. Мужик сам умен.

— Вот это дело, Максим! И наша с тобой задача — хорошенько разведать о положении в деревне. Узнать дух мужиков. И любой ценой сорвать там востряковскую затею! Это главное.

— Сорвем, ты за это, товарищ Матвеев, не беспокойся. Я верю в народ наш и в его разум и крепко верю в Советскую власть. А ее, как ты знаешь, наш мужик с востряковщиной покуда не спутал.

— А в Чанцове у вас очень даже здорово получилось. Ты оденься потеплее, мы сейчас с тобой выедем туда.

Золотухин застегнул железные пуговицы шинели, стоял перед ним высокий и худой, как столб.

— Мне, товарищ Матвеев, шинель — главная одежа. Сказать откровенно, так у меня больше ничего нет. Погоди, я только записку напишу насчет завтрашней работы. Мы ведь себе кроликов развели, штука прибыльная, посильно детскому приюту помогаем иной раз.

Метель улеглась, когда выехали на большак, но пронзительный, стылый ветер, казалось, наполнял собой весь этот закинутый в бесконечных пространствах мир. У въезда в Хатунь штук сорок дворов сбегало с бугра к реке. Матвеев, поеживаясь от холода, сказал:

— Главное, дорогу к его душе найти, понимаешь ты, Максим? К Лукину этому — вот что мучает меня! Мне, понимаешь ли, жутко обрисовали: злобный кулак, враг — лексикон, ведь он, между прочим, большой у таких, как Замялов, в нем бывает порядочно слов, чтобы человека придавить и оклеветать до его гроба.

Еще крепкий, но порядочно уже поглядевший на свет пятистенный дом Лукина с фруктовым садом и надворной постройкой стоял четвертым от околицы, несколько выпятившись на изволок; аккуратный плетень окаймлял его. Дух прочной обжитости лежал на всем. Дорожка от новых ворот была расчищена и вела к крыльцу. Под навесом стояли на ошинованном ходу фура и сани с задранными оглоблями. Бочка и два багра, на случай пожара, находились сбоку крытого крыльца. И Матвееву и Золотухину всегда нравились такие дворы. Острый

глаз Матвеева не мог не заметить висящую у порога черную, на сборках, выношенную, с обитыми полами шубу хозяина и весь захватанный, уже бог знает какого цвета армяк, висевший по другую сторону двери. «В таком армячишке мой батька в извозы ездил осенью. Порядочно на него пролилось дождей, помню я слишком хорошо такой армячишко!» — подумал Золотухин.

Навстречу вошедшим от беленой русской печи повернулась широкая в плечах, в подоткнутом сарафане и в темной кофте баба, должно быть жена хозяина. Она тотчас перевела вопросительный взгляд на красный угол. В этом углу малиновым глазом светилась лампадка и чернел лик иконы. За еловым чистым, без скатерти, столом, на лавке ближе к окну, сидел с хомутом на коленях невысокий ростом, но широкой кости, с аккуратно подстриженной в кружок головой, с небольшой бородой и обкуренными усами мужик. Это был Евстигней Лукин. На вид ему можно было дать лет пятьдесят или даже больше того. Крупное лицо его изнутри освещалось мягкой и доброй улыбкой, что всегда свидетельствует о душевной щедрости. Глубокие спокойные, немножко насмешливые глаза его, устремленные на вошедших, не выразили ни тени какого-то смятения или же суетливости. Должно быть, этот Лукин был отчаянный и удалой в давней своей молодости. Огромные, со следами старых, окостенелых мозолей и наращенных новых руки его, которыми он проворно подшивал распоровшийся хомут, на первый взгляд выглядели уродливыми; Матвеев и Золотухин, не спуская глаз, смотрели на них. Несмотря на мозоли и ссадины и на то, что руки его были грубыми, темными и корявыми, они, как будто притянутые магнитом, не могли отвести от них своих взглядов. Если бы они даже не видели лица Лукина, то его руки сказали бы им очень многое о нем. Он был одет в синюю, на косой воротник, сатиновую рубаху и в прочные, из толстого лыка лапти. Взгляд Лукина, брошенный на вошедших, был светел и как-то пронзительно ясен. Только немного где-то на дне его теплилась тихая и кроткая печаль. Но сейчас же глаза его сделались колючими и жесткими, и Лукин как бы весь замкнулся в морщинах.

Вошедшие поздоровались и остановились посреди прихожей, вежливо ожидая приглашения пройти и сесть.

Но Лукин молча кивнул им головой, не прекращая работы. По другую сторону стола, боком к двери, сидел маленький, с красным, как бы одубенелым на ветрах и морозе лицом, в расстегнутом полушубке и подшитых валенках мужик, который такими же спорыми движениями, как и Лукин, сучил дратву. Молодая женщина с миловидным, приятным густобровым лицом, видно невестка Лукиных, за растворенными крашеными дверями, за перегородкой, укачивала дитя, пурскающего розовыми губками и норовящего поймать своими ручонками руку матери. Там же виднелся наведенный стан.

— Садитесь, — сказала им хозяйка.

— Стало быть, сбирать манатки в коммуну? — вдруг, побледнев, отрывистым голосом спросил Лукин, когда Матвеев сказал ему, кто они такие.

— Вы ее боитесь? — спросил Матвеев.

— Боюсь, — откровенно признался Лукин, продолжая выжидательно смотреть на них; глаза его блеснули оживлением, — а твое лицо мне знакомое. Я твоего батьку знал. Был хороший мужик, — кивнул он Золотухину, как бы подчеркивая, что батька-то был хороший, но такой ли его сын, хотя он и слышал о нем много доброго. Но Лукин, однако, не хотел выказать к нему расположения, изучая его.

— У товарища Золотухина тоже вот коммуна, а народ там не боится, — сказал Матвеев.

— Над Золотухиным есть Востряков и Замялов, — бросил Лукин и, вздохнув, отложил в сторону хомут.

— А над указанными личностями, товарищ Лукин, есть партия и Советская власть, которым отнюдь не все равно, какая выйдет судьба у Евстигнея Лукина!

— Евстигнею уж эту судьбу Замялов намедни объяснил, — сказал насмешливо маленький мужик, тоже бросив сучить дратву.

— Мы не собираемся без вашего согласия устраивать коммуну. Положение бедноты в вашей деревне крайне тяжелое. Разрушение личного уклада двора все углубляется, а завтрашний день нам надо встретить сильными и накормить государство. Мы приехали выяснить положение крестьян вашей деревни, нам, Евстигней Иванович, нужно знать: смогут ли беднейшие дворы вести хозяйство дальше? Осилят ли они пахоту весной? Не придавят ли их те, кто посильней?

Лукин ответил не сразу. Лицо его было бесстрастным; вначале, как они вошли, он точно знал наперед, что они ему скажут. Но, увидев прямо перед собой этих двоих людей, их открытые лица, их озабоченность и услышав очень простые и веские слова, он почувствовал, что эти двое совершенно не напоминали Замялова.

— Дворов семь, верно, у нас, добитых до ручки, — ответил он, прикуривая закрутку и выпуская дым из одной ноздри, — да мы весной всем миром поможем. Придавить мы их, однако, не дадим. Да что ж нас спрашивать? — Он, прищурясь, взглянул в глаза одному и другому.

— А вы, можа, браточки, артель нарядились устраивать? — спросил, смутно улыбаясь, сидевший рядом с Лукиным маленький мужик.

Золотухин посмотрел в его умные и хитрые, посмеивающиеся глаза и тоже спросил:

— А ты что, браток, обрадовался?

— Да кто же его знает... Замялов, к слову, нас учил, как требуется хлеб сеять. Держал ли он тольки когда сам плуг в руках-то?

— Думаю, что не держал, — ответил Матвеев и подумал про себя: «Как это просто на первый взгляд — командовать народом, и как обманываются люди, когда думают, что так и есть!»

— Значит, ты боишься, товарищ, артельности? — спросил он маленького мужика, который при этих словах переглянулся с Лукиным.

— Надо обвыкнуться... Кто же его знает? Народ востряковских колоний боится, — проговорил маленький мужик не сразу.

— Народ боится обманных слов, — вставил Лукин, светлея своей доброй и умной улыбкой.

— Но слова, Евстигней Иванович, бывает, что не рознятся с делом, — вставил Золотухин.

— Это было бы хорошо, — дольше обычного помолчав, произнес Лукин. — Только такое дело надо миром решить! — сказал он твердо.

— С народом, и только так, — живо отозвался Золотухин.

— Миколай, пойди и покличь людей сюды, — сказал тихо и немного задумчиво Лукин.

VIII

Человек пятнадцать мужиков и баб (хатуньский актив), теснясь, собралось в прихожей. Расселись по скамьям и табуретам. Сам хозяин, значительно подмигивая, что-то замышлял; глаза его весело посмеивались. Он в такт своим движениям покачивал головой, как бы выражая удовлетворение от того хитрого плана, который рассчитывал осуществить. По его почти неуловимому жесту хозяйка вместе со снохой принесла огромный медный двухведерный самовар. Он дымился горячим белесым паром. Самовар установили на середину двух составленных столов. В красный угол хозяин сел сам. С собой рядом он усадил Матвеева и Золотухина. На другом конце стола уместился худой, жердеобразный мужик. Большая, как гора, баба будто олицетворяла собой несокрушимость женской половины человеческого рода. У бабы этой был сильный густой бас, который, перекатываясь, заглушал все другие звуки. Она то и дело довольно бесцеремонно толкала Золотухина в бок или же ударяла с весьма ощутимой силой по спине, приговаривая при этом: «Раз сел за стол, терпи, светик мой лазоревый!» — «Вот так баба! — думал тем временем Золотухин. — Такой попадись — ведь натурально придавит!» Маленький мужик, Николай, ходивший за народом, видимо зная нрав огромной бабы, не сел на услужливо предложенное хозяйкой место рядом с ней, а устроился на почтительном расстоянии от нее, рядом с жердеобразным мужиком. Миловидная молодуха, пылая румянцем на щеках, села напротив Золотухина, изредка поглядывая на него. Какое-то неуловимое движение почувствовалось среди сидевших, а затем напряженное ожидание установилось за столом. Что-то должно было теперь произойти, в высшей степени значительное. Все взоры в это время обратились на хозяйку, вносившую большое деревянное блюдо с медом. Следом за ней ее невестка внесла глиняную чашку блинов. Ни у Матвеева, ни у Золотухина не оставалось сомнения, что у хозяев, должно быть, была потрачена вся мука на эти блины и выскребен остаток меда, чтобы — вот пришла такая боевая минута! — блеснуть широким и безудержным русским хлебосольством. «Да ведь тут заваривается крупное дело! Кто кого чаю перепьет и переест блинов, та-

кую штуку старики устраивали, — подумал Матвеев, не без опасения поглядывая на вместительные глиняные кружки, над которыми уже парил ароматный малиновый дух. — И тут, пожалуй, не надо будет говорить лишних слов про организацию товарищества; если мы с Максимом не скопытимся, то тут произойдет лучшая агитация за него. Умен и могуч наш народ!» Одна кружка была поменьше других, ее придвинул к себе Золотухин, но баба-гора (ее звали Христиной) заметила его хитрость и, добродушно улыбаясь, поставила кружку перед девчонкой-подростком, меньшой дочкой Лукина. А такую же, как у всех, кружку передвинула ему. «Ежели мы с товарищем Матвеевым оплошаем, то будет худо. Тогда — чем черт не шутит — лопнет наше товарищество. Чаек-то тут особый, но, однако, от души!»

— Чем богаты, тем и рады, — поглядывая веселыми, смеющимися глазами то на Золотухина, то на Матвеева, сказал Лукин; он держался обеими руками за чашку. — Пить и есть, стало быть, на совесть и без мухлюжа. Ну-ка!

— Это как есть, — сказал маленький мужик Николай, который, по некоторым приметам, как определил Золотухин, числился в деревне отменным едоком и мастаком пить чай.

Николай складывал, как бумагу, блин вчетверо, старательно обмакивал в мед и один за одним, как бы играючи, запихивал их в свой широкий ощеренный рот. Уже после десятого блина на лбу и висках Золотухина выступила испарина, и он почувствовал, что больше не может.

— Не отставай, не отставай, сердешный! — крикнула ему Христина, стукнув его по спине.

— Гляди, голуба, сама не окосороться, — несколько рассердившись, пробормотал он.

«Да нет, брат, не на того ты напал, Лукин, мы с товарищем Матвеевым выйдем в полном достоинстве. Хрен там, позора-то не будет перед народом!» Должно быть, люди собрались бывалые и отменные едуны. Положение еще осложнялось тем, что ели блины с медом, а не со сметаной, а это было значительно тяжелее.

— Эка пошел гладко, родной!

— Не блинцы — картина.

— Прямо так и лезет тебе в рот.

— Ну-ка, сватья, ставь-ка новое блюдо. Это-то мы, глянь, того... умяли.

— Давай, давай, я чичас поставлю! — поглядывая на Золотухина раскосыми глазами, сказала хозяйка. «Пятое! И так завтра, дура, голодная будешь сидеть! Зубы на полку», — но Золотухин все-таки с полным самообладанием начал брать и из этой чашки. Его сильно смущала миловидная, с высокой грудью молодуха, сидевшая против него. Она тоже, как и все, легко и весело ела белые и тоненькие, в кленовый лист, блинцы и одновременно успевала переброситься словами то с тем, то с другим мужиком. Когда не только вторая, но и третья чашка была опорожнена, Матвеев не без некоторого опасения заметил, что Николай подмигнул хозяйке: ставь и четвертую чашку. Всю эту пропасть блинов хозяйка успела испечь за то время, пока Матвеев и Золотухин ждали народ в дом Лукина. Четвертая, должно быть, значилась последней, потому что она была уложена чуть ли не до потолка и венчалась вверху широким, со свисающими краями, блином. Глаза Золотухина давно осоловели. Николай, прицелясь глазами на чашку, приготовился снять первым широкий блин. Матвеев обливался пóтом, но, расстегнув ворот суконной рубахи, однако, показывал на своем лице вид благодушного человека.

— Остатки, говорят, сладки.

— Давненько не едали так.

— Ешь, брат, на дармовину.

Вдруг сделалось тихо. Был ухвачен последний блин, и хозяйка, мягко и неслышно ступая, унесла в сенцы опорожненную чашку. Тогда все так же деловито начали наливать чай по глиняным кружкам. «Одну атаку отбили, а другая начинается. Что касается чая, то тут я одержу победу — в этом деле я мастак, и чай я люблю». — И с заметно повеселевшим видом Золотухин выпил первую кружку. Что же касается Матвеева, то и тот был не меньшим мастаком по чаю. Заметно было, что он тоже повеселел.

«Товарищ-то Матвеев вовсе не то, что Замялов. Этот нам свой, и тут я не прошибаюсь. Да что-то он худ больно, не было бы ему хвори от моих блинов», — неожиданно подумал Лукин; теперь все то недоверие, с которым он встретил их, у него полностью прошло. Те-

перь он тянулся к этим людям. «Ходют около нас замяловы и востряковы, да дорога им, видать, перекрыта. В ту коммуну ихнюю нас хрен загонишь. Да я и сам последнюю муку потратил. Вот какой я хозяин, одначе... Ишь ты, и сахарок последний, и медок весь вынул. Вот она в нас, натура-то, а?.. Ах ты, господи, я и сам в себе такого не знал!»

— Иван, не мухлюй, ты, бес, не пьешь! — крикнула басом Христина.

Коренастый мужик вылез из-за стола и, тяжело отдуваясь, сел на полати около печи; видно было, что он совершенно изнемогал.

— Не могу боле, иди к черту, — отмахнулся он.

Следом, один за другим, вылезло еще пятеро, под которыми сильно заскрипели половицы.

Христина подошла к Золотухину, который в это время разживался табачком у лысого старика. Старик с большим удовольствием угощал его, отсыпая ему из своего кисета в его кожаный портсигар.

— Жив, сердешный? — посмеиваясь, спросила Христина Золотухина.

— А ты как думала — отбросим копыты? — засмеялся Золотухин.

— Ишь, однорук, а жилист!

Матвеев подошел к хозяину.

— Ну, спасибо тебе, Лукин, за угощение. Так угостил, что до смерти помнить буду! — сказал Матвеев, чувствуя, что в нем, в этом коренастом мужике, нет ничего того, о чем говорил Замялов. Он говорил, что Лукин — злобный грабитель-кулак, хотя на вопрос Матвеева не мог ответить, в чем заключается его грабительство, если он не держал батраков и не занимался ростовщичеством. — Отменные блины! А муки у самого осталось?

— Осталось, не горюй, — веселым тоном сказал Лукин.

Матвеев видел по его глазам, что он говорит неправду.

— Спасибо тебе за мудрость, за то, что Замялова не спутал с Советской властью! — порывисто проговорил Матвеев.

— Ладно! Чего там... гм... ладно. Эка, хм. А я-то вас, к примеру, впустить не хотел.

IX

Все чувствовали, что должен был произойти какой-то важный разговор. Как только закурили самокрутки, мужики, не сговариваясь, сели за стол.

— Да, брат, потемки людская душа... — проговорил лысый старик.

Евстигней Лукин как будто вспомнил что-то особенно важное и заговорил ровным, но сильным голосом:

— Да всяк люди живут, всяк своим хлебцем кормются. Эхма! Был бы красив, да порток нет. У иных-то портки эти чужие, заморские, а гонору на возу не увезешь. А народ у нас штаны за границами не покупал — своими обходился. Давили-то в прошлом народ, да жив, вишь ты, курилка! Жив и крепок, и жив-то опять же не злобой, а умом. Я вот про одного мужичка расскажу, про Нефедкина, он сам, товарищ Золотухин, из Мясников, ты должен знать эту деревню, верст двадцать от нас будет. Как раз по старому большаку.

— Знаю, — отозвался Золотухин.

— Нефедкин-то этот, как говорится, был вовсе завалящий мужичонка, босяк. Одно слово, тольки и проглядывал в нем, что один лик человеческий. Когда-то жил двором, по-людски, милостыню не просил, но одного сына в лесу задавило, другой не воротился с войны, третий уехал в какие-то дальние края. Жонку он похоронил и остался перстом, один. Ну и сник, попивать стал, двор травой зарос, развалился, захудал. Как же жить? Взялся было он хозяйство поправить, да куды! Кругом насмешки, и начал он пропадать, таскаться по каким-то наймам; а руки меж тем были у него мастеровые, стоящие, хорошо из глины лепил и всякое мог из камня вырубить.

Мясниково входило во владение немца Шульца, немец был обруселый, хитрый и злой, и к тому всеми своими фибрами, сволочь, презирал русских людей, особливо мужиков. Этому фону Шульцу сказали, что есть один зачухленный мужичонка, босяк, голодрань, но руки талантливые, и его надо взять в имение для дела. Ну а у Шульца был шульцонок, фатер-мутер ихний, бледнолицый сынок, которого сам Шульц-фон хотел любой ценой сделать мастером по камню. Я видал его работку — дохлая, и цена ей грош. Нефедкин согласился и сказал,

что никакого ему жалованья не требуется, только пусть немец поит и кормит его, и еще выговорил, чтобы никто не совал бы в его дела носу и не учил, как жить; а в противном случае, ежели его захочут унизить, он спалит их дом вместе с ними, то исть с самими Шульцами и шульцинятами, и уйдет. Шульцонок делал из камня фигуру, а ей он должон был сдать экзамен куда-то, но вышла та дрянь, срам. Тогда Шульц вызвал Нефедкина и велел ему для такого дела отдать его лучшую фигуру, а ему отведут хоромы и будут ухаживать, как за князем. Иван Нефедкин согласился, но опять предупредил, чтоб только его не унизили. Фигуру Нефедкина увезли показывать. Шульцонок все сдал чин чином, всех прямо поразил, хотя раньше поражать не мог. А Ивана ввели жить и верно наверх, в господскую часть. Ну а как-то раз какой-то ихний шульцонок-мутер заставил Нефедкина почистить егоные сапоги. Иван побледнел, глянул на того, пошел к себе, взял топор, побил все свои работы, снял ихнюю одежу и ушел в свет, бродить. В тот же вечер он плясал в кабаке как ни в чем не бывало, знать, воля, она дороже ему была! Такой-то наш народ, брат. — И Лукин, выговорившись, замолчал, слушая, как плачет за окном ветер.

— Хотел фон раба найти, ан не вышло! — одобряя такой поступок Нефедкина, проговорил маленький Николай.

— Уж знамо, — сказала Христина, — нищий, да не раб.

— Гордость, стало быть, ума, — произнес нескладно длинный мужик.

— Золото, истинное золото народ! — как бы в каком-то порыве произнес лысый старик.

Все замолчали, с тактом выжидая, не скажут ли что приехавшие. И Матвеев, не поднимаясь, сказал:

— Вот что, товарищи! Мы привезли для вашей деревни сорок штук серпов и однолемешный плуг. Знаю, что маленькая помощь, но сейчас трудно!

— Это большая подмога для малосильных дворов! Спасибо, — поблагодарил Лукин с большой теплотой в голосе.

«Как это просто — решить и приказать устроить артель! — подумал он опять, глядя внимательно на их добрые и открытые лица. — И они, может быть, даже

и не возразят. Но войдут-то не по согласию, а без согласия не было и никогда не будет человеческого счастья. Все счастье людей — в любви друг к другу. Не время, нет, еще не время!»

Лысый старик улыбнулся ему.

— Вы в блинном деле не опозорились. Стало, вы народ наш и понятный.

— Не торопись, папаша, с выводом, — засмеялся Золотухин, — а умять чужие блины — тут все ж таки геройства мало.

— Да оно как сказать. Хлеб-соль народную не всяк понимает, — проговорила Христина.

— Что правда, то правда, — кивнул головой Лукин. — Иным она, эта хлеб-соль наша, разум помутила. Мужичком-то покомандовать — дело им нехлопотное.

— Однако едоки вы, ребятки, дай боже, — скупо улыбнулся Николай, кивнул на Матвеева и Золотухина.

— Скажу откровенно, думал — каюк, — сознался Матвеев, сдерживая начавшийся приступ кашля.

Наступило молчание.

После этого все стали расходиться. Вместе со всеми вышли на двор Золотухин и Матвеев.

На улице не было видно белого света; кругом сквозь вьюгу ничего не проглядывало, слышался один пронзительный, угнетающий душу свист, как будто сейчас какая-то безумная и дьявольская сила одна царствовала на земле или же плясала на метле ведьма.

— Вы бы заночевали, — посоветовал Лукин, когда он запряг их исполкомовского жеребца и помог мужикам выгрузить инвентарь.

— Нет, ничего, — ответил, садясь, Матвеев.

— Конь может потерять дорогу, — посоветовал и лысый старик, не без удовольствия нюхая хорошо пахнущие, еще с не выветрившейся окалиной серпы.

— Проскочим, отец. — Золотухин разобрал вожжи, трогая со двора жеребца. Он сразу, испуганно всхрапывая, взял рысью, вылетел во вьюжный переулок. Подводу тут же поглотила мгла.

— Отчаянные, вишь, люди, — сказал лысый старик, неодобрительно потряхивая головою на то, что они не заночевали.

— Да уж сытого места на земле не ищут, — сказал кто-то.

— А то погреть бы счас которого-то из них... однорукого... — донесся из пурги голос миловидной молодухи, муж которой не воротился с мировой войны, и ей было не очень весело идти в свою хату, где сидели ее дети и родители-старики.

— То-то кобылица необъезженная! — сказал чей-то насмешливый мужской голос. — А то я заверну, а?

— Я те заверну, кобелина ты этакий.

— Ах ты, голуба, ах ты...

Лукин с заметно озабоченным видом вошел в теплую прихожую и остановился в раздумье посередине.

— Ты что, Евстигней? — спросила жена, стелившая сенник на печи и высовывая голову из-за трубы.

— Пропасть могут, вот чего, — сердито произнес Лукин.

— Жалостливый! Ты гляди — уготовють нам жизненку.

«Баба-то у меня вовсе глупая, — подумал Лукин, как бы впервые озаренный такой мыслью, — с дурой век сжил. И чего это получается промеж людей так — одни раскаянья к старости?»

— Слазь с печи, зажги фонарь, да мой самодельный, небось не погаснет.

— Да куды ж ты полезешь, глумной? Ты что, очумел? На воле страсть одна! — Она слезла с печи и, прислушавшись к гулу ветра под окнами, испуганно перекрестилась. Лампада часто мигала фиолетовым огнем от задувавшего от дверей ветра. Она зажгла фонарь и подала ему. Лукин снял с крюка в сенцах тяжелый тулуп, перекинул его через плечо, вывел из хлева чалого жеребца, выехал за ворота и пропал в крутящейся мгле.

X

Кумачовая крапина огня, завидневшаяся сквозь вьюгу, обнадежила сбившихся с дороги Матвеева и Золотухина. Лошадь по брюхо в сугробе косила глазами и, выбившись из сил, не знала, куда ей идти. Вьюга то плакала тонкими детскими голосами, то завывала глухо, протяжно и сумрачно, как воют в студеные зимние ночи в своем скитальческом одиночестве волки.

— Должно быть, тут где-то под боком деревня? — сказал Матвеев, присматриваясь к плывущему огню.

Золотухин нюхал ветер — он не пах жильем, к тому же он определил, что это кто-то ехал на них по дороге с огнем.

— Нет, Василий Семенович, деревни тут не может быть, а это, как и мы грешные, страдает какой-то человек.

Едва выехав за околицу, Лукин уже не сомневался, что в такую пургу дело путников на дороге никуда не годится. «Эге, да это они и сидят, родные мои товарищи!» — угадал Лукин, завидев впереди во мгле что-то черневшееся. «Да ведь и свернули люди самую малость с дороги. Каких-нибудь пяток саженей, не боле. Вот какие мы всемогущие люди!» — похвалил себя Лукин за ту черту к философствованию, какую иногда замечал в себе. Покрякивая и подбадривая своего жеребца, он подъехал к ним.

— Кажись, еще один страдалец за компанию, — сказал Золотухин, присматриваясь к подъехавшему.

— Что, сердешные, тут и блины не помогают? — улыбаясь, спросил Лукин и, слезши с коня, стянул за собой и свой огромный, забитый снегом тулуп.

— Ты куда нарядился, товарищ Лукин? — спросил его Матвеев.

Лукин, не отвечая, пристегнул постромки к их исполкомовским саням и, закричав что есть духу на лошадей, сумел вывернуть их из сугроба, и саженей через семь-восемь лошади ступили на твердь дороги. Матвеев и Золотухин, запыхавшись, вышли на дорогу следом за санями.

— Ну вот и хорошо, вот и славно! — сказал с облегчением Матвеев, теперь определив, что Лукин ехал их выручать.

Фонарь Лукина, несмотря на бешеные порывы ветра и крутящийся снег, все так же неугасимо светился, раскачиваясь у него на шее.

— А огонек-то мы твой, Евстигней Иванович, далеко заприметили, — улыбаясь и выгребая из саней снег, сказал Золотухин.

Лукин, опять не отвечая, стал помогать ему.

— Ну-ка, товарищ Матвеев, садись сюды, — сказал он, расстелив свой необъятный тулуп, и, когда Матвеев

покорно опустился, укрыл ему спину. — А ты, парень, садись рядком, я тебе, брат, живо другой полою прикрою.

— А сам ты как же? — спросил Матвеев.

Тот вновь ничего не сказал ему.

— Ну теперчи скоро, это вы на Низком броде захрясли, — сказал Лукин, оглядевшись, — до Лукашовки рукой подать, версты две будеть. Доброй дороги!

— Ну, будь здоров, Евстигней Иванович, спасибо! — прокричал Матвеев, когда их лошадь, почувствовав под ногами твердую дорогу, ходко тронулась вперед.

— Ты, смотри, сам не сбейся! — посоветовал Золотухин.

Но не проехали они и ста шагов, как Лукин со своим раскачиваемым фонарем догнал их. Они не понимали, чего он хотел.

— Ты что, не за табачком вернулся? — спросил Матвеев, оглянувшись на него.

Тот, не отвечая, остановил их лошадь и пристегнул своего жеребца в упряжку к кореннику, сам сел в сани и, загораживая их от бьющего в лица злобного ветра своей широкой спиной, взял вожжи.

— Вот это ты зря, мы как-нибудь доберемся сами, — отсоветовал ему Матвеев ехать дальше.

— Сами вы заехали в сугроб, — отозвался не сразу Лукин. — То-то, что вы на войнах дорожную науку не проходили.

— Да ведь тебе самому тяжело будет возвращаться, — возразил Матвеев.

— Кому, брат, чижало, а кому обыкновенно. — Он вдруг остановил лошадей и, почесывая в затылке, стал присматриваться направо, где саженях в полустах что-то неопределенное темнело. Лукин это принял за Хованскую дубовую засеку, через которую, как он хорошо знал, дорога прямым ходом вела в Лукашовку. Но едва лошади, подчиняясь его требованию, повернули в эту сторону и сделали не более как шагов двадцать, Лукин с изумлением почувствовал, что ошибся. «Эге, — сказал он себе, — я-то принял кусты за засеку. Точно, так и есть кусты». Снег уже доходил лошадям по брюхо, и его жеребец храпел и суматошно дергал постромки, как бы норовя чем-то отомстить хозяину за его явную оплошность. «Ишь ты, черт, прости, господи, да ведь это

нас водит нечистая сила», — подумал Лукин, вконец озадаченный. Он остолбенело огляделся. Фонарь его сорвался с петли и, стукнувшись о решетку розвальней, разбился и потух. И сразу сделалось и глуше и страшнее в этом безбрежном поле, над которым бесилась одна вьюга. «Какая же Хованская засека! Никакая это вовсе не засека, а то, темное-то, старые гумнища, где позалетось Касьяна убили», — и, подумав так, он с решительностью дал коням кнута; те вытянули спины и сильно рванули увязшие сани, огибая темнеющее место, которое оказалось простыми кустами, жидко торчавшими из сугробов. «Ишь ты, каналья, как я обмишулился». И у него составилось твердое представление, что надо брать непременно левее, где, по его подсчетам, должна была быть другая дорога, тоже ведущая в Лукашовку, — Уфимовская. Но сколь невыразимо было его изумление, когда через непродолжительное время Лукин увидел, что они опять подъехали к этим проклятым кустам! «Ишь ты, мать честная, вокруг собственного носа кручусь — езжу-то я по кругу. Нет, что там ни говори, а без нечистой силы не обошлось». Лошади, дыша с захрапом, остановились. Теперь из сугроба виднелись одни их спины и головы с обледенелыми ушами. Сани и людей, как остановились, тоже стало заносить снегом. «Это я крепко опростоволосился перед товарищами, люди они что надо, и мне, сказать откровенно, даже стыдно», — размышлял тем временем Лукин, желая отыскать во мгле какой-то знакомый предмет, но в свирепо завывавшей вьюге не видно было ни зги, и даже нельзя было понять, где земля и где небо.

— Это я, товарищ Лукин, в своей жизни испытал. Один разок я такую ночь видел, — сказал Матвеев и закашлялся.

«Да он, видать, чахоточный, как же я пустил его из хаты! — сокрушался сильно Лукин. — И по моей бессовестности может погибнуть такой золотой человек! Ах ты, дурень я дурень!» Однако, не теряя присутствия духа, Лукин подошел к саням, разгреб снег и сел спиной к Матвееву, опять заслоняя его от бившего шквалом ветра.

— Евстигней Иваныч, ты сядь натурально поближе, мы как-то приспособимся втроем укрыться, — сказал Золотухин, плотнее укутывая плечи Матвеева.

— Ничего, ничего. Полночи-то, гляди, прошло, — ответил тот. — А ты сам, товарищ Матвеев, из каких краев-то?

— Из Сибири.

— А, Сибирь! Эка, поди, велика, матушка?

— Так велика, Евстигней Иваныч, что и краю нигде нет, как в этой вот ночи.

Им было холодно сидеть, и говорили они потому, чтобы подбодрить себя.

— Зря, я думаю, напужали народ Сибирью. А ежели подумать, то, видно, и там жить можно. Богатый и расчудный, говорят, край.

— Да, велика, велика и нескончаема земля наша! — сказал каким-то новым голосом Золотухин, может быть, даже немножко мечтательным. — Сколько в ней есть чего! И славы, и богатства, и нищеты, и как всем добрым людям она открытая!

— Оно так, — согласился Лукин. — Да всяк ли поймет доброту нашу?

— Доброе семя, Евстигней Иваныч, даром не гибнет, — вставил Матвеев.

«Евстигней Иваныч! Евстигней Иваныч! — несколько раз мысленно повторил Лукин. — Замялов-то цедил сквозь зубы: «гражданин»!»

— Что ж, и там хлеб сеют, он повсюду нужен, хлеб, — сказал Лукин, подтыкая под себя полы своей шубы; борода и усы его обледенели, но телу его было тепло, лишь мерзли руки: впопыхах он потерял свои овчинные рукавицы. — Только бы брат брата не задавил — вот что! — проговорил он значительным тоном. — Всякий оболганный, он-то на людской совести. Так-то, родные мои, в народе говорят.

— Ты разве не обозлился на жизнь за Замялова? — спросил его Матвеев после некоторого молчания.

— Что ж злиться-то? Народу злиться никак нельзя — ему понимать надо. Народ золотом не одарит, а умом наделит и кусок хлеба даст. Злоба, чай, в малом, а в громадном ее нет...

— Как... как ты сказал? — воскликнул Матвеев, пораженный глубиной его мысли.

Тот не ответил, или не расслышав вопроса, или не желая пояснять.

Лукин привалился к Матвееву, и минут через десять

тот почувствовал, как по груди и всему телу разлилось тепло. Золотухин укутал его ноги. Они лежали долго ли, мало ли молча. Вдруг что-то произошло в мире; ветер не свистел больше в кустах, и не сыпался снег в сани. Тихое и будто стыдливое розовое сияние коснулось волнистых сугробов. Лукин поднялся на ноги, помогая встать Матвееву. Лошади, полузасыпанные снегом, дремали. Над головами у них стлался пар дыхания. И люди и лошади после тяжелой ночи испытывали одинаковое состояние того, что они живы и все в этом мире на прежнем месте. Заря тонко и робко розовой акварелью проступала над вершинами леса. Сугробы уходили куда-то так далеко, что все было безбрежно. Лукин пригляделся влево и по каким-то приметам, известным одному ему, определил, что они находились в каких-нибудь ста саженях от дороги. «Не иначе, нами нынче потешалась нечистая сила, — уж точно, тут не обошлось без черта, — твердо решил он. — И надо ж мне так-то опростоволоситься! Ах, дурачина, было товарищей не поморозил, и кони еле живы». Он пошел осмотреть то место, которое, по его предположению, должно было быть дорогой, и действительно там была она.

— Вона, дорожка-то! Ну и дела, просто и сказать стыдно. Мы, стало, погибали около нее, будь она неладна и пускай заедят ее тараканы, — сказал он.

Такое обстоятельство привело в совершенное смущение, особенно Золотухина, подумавшего: «Под самым носом у дороги сидели, это натурально позор для меня!» И сказал:

— А-яй-яй, оскандалились мы с тобой, Евстигней Иванович!

— Слышь, ты перцовой найди Василию Семеновичу, надо уберечь его от простуды, — посоветовал Лукин.

— Нет, я хорошо себя чувствую, — сказал Матвеев, пожимая его руку. — Спасибо тебе за все, за сердце и за ум твой великое спасибо!

— Пустяк, сущий пустяк, — вдруг смутился совершенно по-детски Лукин. — Все мы, стало, народ, все мы одним хлебцем кормимся, и мамка-то у нас одна — новая Россия. Дай бог ей счастья, дай всякого благополучия. Не ради ж живота единого живем. Не ради того траву топчем, есть, есть нам что любить!

— Ну, пошел, родной мой, ишь, шельма, ишь дро-

жишь, даже страм один, ай не кормил я тебя овсом? — Он вывел на дорогу сильно дрожавшего жеребца, ловко, одним махом, сел и быстро, не обернувшись, погнал его в обратную сторону по заметенной дороге.

Золотухин и Матвеев едва не до самой деревни молчали. Заря, играя малиновым, волшебным светом, захватила половину неба. На губах Золотухина скользила нежная, растроганная улыбка.

— Максим Егорович! — Матвеев цепко сжал руку Золотухина. — Да ведь он за нас, за коммунистов, не только тепло свое отдал, он бы жизнь отдал не задумываясь!

— Славный человек! Славный народ наш! — ответил Золотухин, и в голосе его пробились нотки гордости.

— И таких богатырей хотят подмять востряковы и замяловы!

— Только, Василий Семенович, выходит так, что руки у них коротковаты. — И, довольный, Золотухин мягко улыбнулся. — А как манит-то даль какая-то... за синими курганами! Какая она, жизнь, потом будет?

Золотухин заметил, что Матвеев дрожал, стараясь изо всех сил не выказать своей слабости, что ему, однако, не удавалось.

— Немедленно ко мне, теперь я тебя, Василий Семенович, народными средствами лечить буду. — И стегнул лошадь, которая и без того уже шла размашистой рысью.

XI

С тех пор, когда старый Барышников осознал необходимость другой, справедливой жизни для народа, свое личное несчастье перестало больше мучить и терзать его. Ему было только больно вспоминать свой семейный уклад, свою семью, которой уже не было. Теперь он, как никогда, был спокоен и верно знал, зачем он еще жил на свете и, главное, зачем он родился жить. Если раньше он знал, что Россия имеет столько-то народа и расположена на таких-то территориях, то теперь он знал, как никогда раньше, ее душу; он знал теперь Россию не как сторонний наблюдатель, пользовавшийся ее благами, а как сын ее. Всеми своими силами души он желал ей добра, процветания и счастья. Если раньше какой-то Иван или Прохор показывал высокие порывы души, то он тогда

считал, что все это есть в народе, но в нем есть также и грязь, пьянство и дремучая тьма, от которой ему нужно было избавиться. В нынешний день сам народ, те Иваны и Прохоры совсем в другом свете представились ему. Народ был поразительно живуч, здоров и крепок душою и физически и не показывал и тени своей забитости; он веровал в свою силу и в лучшее, справедливое свое будущее, во имя которого он столько перестрадал и столькими пожертвовал. Барышников этой холодной, ледяной зимой поразился не многотерпению народа, не его всем известной широте, а тому, что тяжкие, разрушительные силы в прошлом не подорвали его. Верования в бога заменились верой в себя и в лучшую жизнь, которую народ в поте лица начинал строить. Только будущее было неясно Барышникову — оно где-то скрывалось за туманом времени, и как он ни напрягался, он не мог бы представить себе его. «Я стар, я человек прошлого века, — думал он, — я не узнаю будущего, но народ не только познает, но и сам построит его». Он поражался той громадной духовной мощи, какая, несмотря на все нескончаемые тяготы, не иссякала в народе.

В одну холодную январскую ночь Барышников заночевал в доме Дымкова, к которому зашел с вечера: слышал о нем по старой, дореволюционной жизни. Барышников почти не заснул в ту ночь. Он лежал на широкой русской печи, чувствовал ее тепло и, глядя открытыми глазами прямо перед собой в темный угол, думал. Свистевший за стеной холодный ветер не вызывал угнетающего чувства. Он понял, что надо было любить этот огромный и тревожный мир, который нес с собой будущее.

Он тревожился о судьбе картин и ценных художественных вещей, исчезнувших из его дома, и ругал себя, что не сумел их уберечь. Около окна, перед мигавшей светильней, сидел хозяин, Дымков, подшивая сапоги. Барышников обул свои старые, подшитые кожей валенки и, накинув на плечи ватную фуфайку, слез с печи и подсел к нему. Огонь в светильне заколебался, таинственными отблесками затрепетав по темным стенам. В запушенных наледью окнах светились забелевшие к рассвету звезды, и видно было, что в воздухе начинало сереть. Петухов еще, однако, не было слышно.

— Что ж по рани-то? Ай не спится? — спросил Дым-

ков, взглянув на него своими темными пристальными глазами.

— Что-то не хочется. Который теперь час?

Дымков поглядел в окно на звезды, на сместившуюся к западу туманную Большую Медведицу и сказал:

— Да уж, видать, к шести.

— Однако, рано. Но ничего. Я, Дымков, сон видел. Странный сон: ликующие толпы народа в безбрежной долине. Может быть, это вещий сон? Только появятся ли там, в той долине, Пушкины и Толстые? Вот что тревожит меня!

Дымков сучил дратву, казалось, весь поглощенный своим занятием. На улице в углах покрякивал и потрескивал мороз, и слышно было, как изредка то пронзительно, то тонкими кошачьими голосами высвистывал ветер в трубе, так что дрожала заслонка.

— Сон не явь, — ответил он, — был бы крепок и силен народ, так и Пушкины явятся. Все в народе — и все от него. А народ нынче в умных руках.

Барышников задумчиво смотрел на него.

— Ты веришь в народ? — спросил он его после небольшого молчания.

— Без такой веры нельзя жить.

— Это ты верно говоришь — нельзя жить. Нельзя жить, — повторил Барышников. — Я сам всегда верил в великое предназначение нашего народа. Но меня пугает рознь в наших людях...

Дымков покачал головою.

— Это не рознь, а ежели и рознь, то невеликая. Это житейские мелочи, так-то. А коснись огромного дела, свой сухарь товарищу отдаст и сам, не раздумавши, умрет за него, — проговорил Дымков с большой убежденностью и гордостью в голосе. — Вы, чай, не уходить ли собрались? — спросил он, глядя, как Барышников надевает свой старый пиджак.

— Да, я теперь должен идти, спасибо тебе за кров и за ласку. Мне нужно в Хатунь попасть, там создана новая сельская школа, и ко мне обратились с просьбой, чтобы я учительствовал в ней. Таким образом, видишь ли... я начинаю новое поприще в своей жизни. — Он замолчал, как бы споткнувшись на слове.

Дымков чувствовал, что ему было трудно на это решиться.

— Что ж, вас это радует? — спросил Дымков после некоторого молчания.

— Надо идти! Надо идти! — проговорил Барышников быстро, будто боясь передумать. — Некому детей учить. Заглохлая нива!

— Дух воспротивился ай хлеб решил заработать? — опять испытующе спросил Дымков.

— Я образованный человек, не имею права... Я должен туда идти! — воскликнул он, порывисто вставая; он был бледен, и легкая дрожь сотрясала его тело. — Да, мне пришлось пережить страшное время. Ведь я делал попытку уехать из России поздней осенью семнадцатого года. Мы ехали в каком-то поезде. Было сперто от узлов, от чемоданов, от людей, охваченных безумством бегства, ненависти и горячей любви к России. А на улице шел и шел дождь, шел уже целую неделю подряд, все было грязно, мокро, голодно и страшно. Помню одно раннее утро, еще почти ночь, когда я вдруг пробудился от какого-то толчка. Я сидел в углу забитого народом вагона, смотрел в окно, и мутное, безглазое, бесконечное туманное пространство — какие-то бежали леса, серые соломенные деревеньки, какие-то мельницы, дороги, поля... Вдруг какая-то дьявольская сила подняла меня на ноги, я приник к окну, не владея собой, с закипевшими слезами в горле, — ведь это уже бесповоротно и окончательно уносилась, мелькала в туманной утренней мгле та отчая земля, великая и славная Россия! Какое русское сердце не встрепенется, не заплачет, не изойдет судорожной и возвышенной дрожью, не захмелеет от удали, от тоски и жгучего смятенья, когда где-то в далеком и невидимом краю, где-то на нескончаемой нашей дороге прозвенит колокольчик, разбудив в тебе самые светлые мечтанья, очистив тебя от всякой земной юдоли и низости, и потом... потом он замрет в пустоте, а ты останешься один на дороге!.. И что же она будет значить для всякого русского, та цивилизованная, презрительная к нам, гордая и чопорная Европа?! Какой каменной тоской заплачет в ней сердце наше, и кому же понять и охватить всю нашу великую скорбь и утрату, весь наш мятущийся дух на чужбине?! Кому же там и придет в голову, что ежели ты сыт и чисто одет, то и дух твой тоже, значит, сыт и одет, что ежели ты обрел над головой крышу, то ты уже и разрешил все твои смятенья, и что все осталь-

26*

ное — хмельной и ненужный сон? Вспомнились чьи-то пророческие, вещие слова: две бездны, две бездны в один и тот же момент в нас — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно; мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим! Две бездны: одна — это наши пороки, наш грех, наши рубища, раздражающие прилизанную Европу, и другая — наша никогда не погружающаяся до конца в лоно порочности душа, всегда жаждущая свободы духа и искренне смеющаяся только в своей земле. Пусть горькой, полынной и глинистой, пусть, но в своей, в своей! Была какая-то остановка, я выскочил из вагона, забыв свой узелок, были какие-то соломенные крыши, откуда-то тянул горький дым... Отечества. И я пошел под низким, сумрачным небом, среди полей и слышал, как плакали надо мной журавли и как сладостно отзывалось им мое изнывшееся сердце!

— Где были потом? — спросил осторожно Дымков, когда Барышников замолчал, точно устыдившись за то, что расчувствовался.

— Подался было на Дон к Краснову, но понял, что с этим атаманом мне не по дороге. Потом скитался... суму, видишь, надел. Многое перевидел и многое, Дымков, осознал! Слушай, Игнат Гаврилович, ты передай Золотухину, что из моего дома исчезли картины, драгоценности. Я берег их, хотел музей основать, были там и чудо-серьги, шкатулки, бриллиантовое ожерелье. Их кто-то выкрал...

— Ну, так прощай, брат, — сказал он тоже дрогнувшим голосом.

Дымков не без тревоги смотрел ему в лицо.

— Зачем же прощаться-то? Будет день — будет и встреча.

— Ну, прощай. — По лицу Барышникова пробежала, как тень, какая-то светлая печаль, и Дымков почему-то почувствовал, что они больше никогда не увидятся, и вышел на двор проводить его. Чуть брезжило, на восточном склоне смутно, едва различимо, всходила заря. В деревне начинали кричать второй раз петухи. Снег с сухим треском заскрипел под ногами; сад был сказочно покрыт белью изморози. Над скованной и околдованной землею стоял лютый мороз.

— Вы бы обождали восхода, вишь, жмет, — сказал Дымков у калитки.

— Нет, ничего, так прощай, брат! — ответил ему тот все тем же дрожащим голосом и пошел, не оглядываясь, вдоль проулка; скрип постепенно затих под его ногами. Было тихо-тихо и очень стыло в пробуждающемся мире.

Дорога тянулась длинная, бесконечная, все лесом; виднелись то старые, как и он сам, давно живущие на свете дубы, осины, березы и белые, обсыпанные снегом ели, то занесенные поляны. «Какая огромная земля и как я счастлив, что живу на ней», — подумал он. Нестерпимо острая боль вдруг отдалась у него в груди. Задыхаясь, Барышников свернул с дороги, сел, прижавшись спиной к огромному стволу двухсотлетнего дуба. Вековечное дерево, царствуя над другими, теперь тихо, величаво и незыблемо, как охранитель, стояло над ним. И он чувствовал, что защищен деревом даже... может быть, даже от самой смерти. Сознание своего конца, вдруг ясно озарившее, теперь уже не тяготило его, и сама смерть, как неизбежность, была понятна ему. «Я счастлив оттого, что я узнал народ. Я понял новую жизнь...» Он закрыл глаза. «Да, я видел, как просто, как прекрасно умирал мужик на молотьбе. Он сказал: «Отойди, я помирать буду». И разве я сейчас не могу сказать себе: «Я ушел от зла и пришел к добру». Снег отчего-то стал горячим и красным, и слышался вверху какой-то волшебный благовест. «И что значила моя жизнь и что переменится с моей смертью?» Ему никто не ответил на это; равнодушный, холодный, сыпучий снег заметал его...

XII

Как-то Мирон Ведерников сразу после первых снегопадов собрался в Зимовную вырубку: срубить хороший дубок на полоз. Стояло светлое, мягкое и отрадное утро. Розовый в бликах зари лежал снег на плетнях, на крышах овинов и хат, и розово, празднично, пустынно и опрятно было за выгоном, в поле; сквозь волнисто опушенные деревья сказочно холодело чистое белесое небо, молочными детскими глазами тихо и радостно сияли утренние звезды. А в чащобе, в глуши Зимовной вырубки таилось такое очарование, такая тишина вековечная дремала в березах, в осинниках, в еловой густоте, что

не в силах был удержаться, чтобы не перекрестить свой грешный лоб... «Земля — родительница, матушка, святая ты перед людьми!»

Выглядев дубок у самой дороги, Мирон уже прицелился к комлю, привычно занося топор, как остановился, пораженный. Сразу же за деревом, из бело-розового сугроба, жутко разведенные в стороны, торчали ноги человека в старых и прохудившихся валенках. Мирон с детства боялся покойников, а в том, что в сугробе сидел мертвый, сомнений быть не могло. Забыв топор и не по-стариковски задирая ноги, бежал он с полверсты назад в деревню. Постучал в крайнюю хату — Федора Усинцова, все с тем же страхом в лице рассказал о виденном. Федор, ни слова не говоря, взял лопату и лом, и они вышли. Уже в лесу он спросил с удивлением:

— Кто бы мог?

— Чья-то душа сподобилась.

Из сугроба Федор вытащил замерзшего покойника, на нем был ветхий, с прозеленью пиджак, вмерзший в морщинистую шею серый шарф, на одной узкой руке надета до половины перчатка. Комом обледенели его борода, усы, и неподвижными, ледяными открытыми глазами глядел он равнодушно на живых.

— Глянь-ка, это же Барышников, помещик бывший наш, — прошептал Мирон, испуганно отодвигаясь дальше от покойника.

Федор сосредоточенно разглядывал его лицо, что-то вспоминал из прошлого и молча курил цигарку.

— Схороним тут. — Он указал рукой на сосну чуть в стороне от дороги.

Верхний слой земли взломали ломом, потом земля пошла мягкая, податливая, и через час яма была готова. Спустили на ремнях, почернелое лицо Федор прикрыл чистой тряпицей, что нашел в кармане его пиджака. И в эту же тряпицу был завернут ржаной сухарь... Потом курили рядом со свежей могилой, а за спинами, в холодном зимнем лесу, одичало-равнодушно, с протяжным хрипом все кричала и кричала ворона.

— Ишь, сволочь, беду кличеть. — Мирон с испугом оглядывался в ту сторону, что-то непонятное про себя шептал.

— Беда вон сама нашла, — отозвался не сразу Федор.

— Как же он, а?

— А так, покуда зóрю ангел не трубил, потуда, говорят, один в лес не ходи.

— Скажи-ка ты. Ить это он покаяние в конце жизни искал.

— Тут ему хорошо лежать, Мирон, сухой песок, — практично заметил Федор, не отвечая на его замечание. — Долго целый будет.

— Вот она, братец ты мой, жизнь!.. Живи, хлопочи, вздергивайся от того ай от этого... А кончится-то все вот этак: три аршина, да и не всякому-то ишо и крест. Иные уходят туда отверженно, без памяти.

— Господи, кабы б жалели друг друга русские-то люди! Кабы не было-то в нас раздора!

— Кабы да росли грибы. Пойдем! — решительно встал с валежины Федор, и больше до деревни они не сказали ни слова.

XIII

Все же нужно было ему внимательно осмотреться по сторонам: что же сделано? Некогда было до сих пор тратить Золотухину время на раздумья о жизни, и подсказал это не кто иной, как осторожный Левцов:

— Сводки мы дали и нынче дали последнюю. А уком ведь разберется: какая она, сводка? В каких планах мы превзошли единоличность? Куда выправили? Того-то как раз и не знает наш товарищ председатель. Что можем зачесть? Хотя бы вот — разбиваем семьи: Миронова, бросив мужа, осиротила сына и живет бобылкой. Новые люди к нам не вписываются, топчемся на месте, а нас прижмут на съезде! И за ту бумагу из укома, которую мы заполнили и сведения по ней дали, по главной статье — по проценту вовлечения. Нуль процента! Власть спросит с нас: в линию мы идем или против? Я востряковскую линию не дуже поддерживаю... А что будет завтра? Народный позор? Так кому? Должны мы это учитывать или же нет?

Марфа обернулась к Левцову, посмотрела на него долго и внимательно. Кондрат Стрекалин тоже посмотрел. И может быть, дольше других. Взгляды Лушки Поршневой и Галины Лопаревой уставились в его темный затылок. Золотухин смотрел в пол и думал. Боялся

он опустошенности Миронова Николая, это Левцов правильно напомнил. Он мысленно представил себе его, и других людей представил, и чанцовского старика, с которым вел спор в его хате, и остальных баб и стариков из той бригады, которые чего-то ждут от коммуны, и единоличников, — он всех их увидел сейчас. Все они тоже ждали чего-то... Что ж ему так больно, совсем не легче, чем тогда, в ростепель, когда хоронил свою мать?

Вечером в нардоме его хватал за пиджак Миронов Тимофей, бородой тыкался в лицо, кричал: «Ответишь!» Дите отца лишилось, а жена мужа, а муж жены, а впереди жизнь... Своим пустым рукавом место в ихней судьбе не заткнешь и голой идеей не заменишь мальчонке отцовства, никак. Но не он же ее выгнал из мужниного дома на лесном кордоне, не хотел же он этого!

«Уже перед кем-то оправдываешься? Слабинка в тебе, товарищ, натуральная она и есть!» — сказал он себе.

— Какого ты страху нагоняешь, Антон?! — Марфа перевела взгляд с чахлых оранжевых цветков на подоконнике в треснувшем черепке на лысину Левцова. Лысина покрылась капельками пота и блестела. — И разве бумажную работу мы делаем? Разве за-ради процента мы пахали на себе, так много переговорили, перегрызлись, переплакали? Нет, Антон, не понимаешь, которые посмотрють на нас как на избавителей от беды, от Бабинцевых-шакалов избавителей. А чего забоялся? Что не бумажками востряковскими людей хочем кормить, а чистым и вольным хлебом? Ты, может быть, того убоялся? Так хлеб этот кровью народа уже добыт — уже он один такой нынче нужен ему, а не обманный хлеб!

— Против общего течения идем, — сказал Левцов и, помолчав, добавил: — А зачем? — Посмотрел на всех, еще спросил: — Зачем? Чтобы над нами же посмеялись?

— Обвинения, дядька Антон! — выпалила Галя со всей молодой горячностью. — Ты непонятый — вот я тебе еще скажу! Не об идейности ты думаешь, не первый раз мы слышим эти твои слова — пора о тебе самом вывод сделать! В ногу ты сам с нами или тебе уже тесно в ряду — пора этому открыться, товарищ Левцов!

Лицо Кондрата собралось в жгуты морщин, он был самый старый здесь, и длинная жизнь ему подсказывала, что в раздоре того чистого хлеба не добудешь, нет.

— Подожди, Галина. Не видал я, Антон, чтобы над

нами смеялись. Это ты зря словцо бросил, не в смехе вопрос, а верно тут говорила Марфа: он в хлебе! И ты, Галина, с обвинениями не выскакивай: нам надо не обвинять — мы тут люди все рабочие, помещиков тут среди нас нет, а вместе идти. Ежели Востряков похилился куда-то не туды, стало быть, нам надо держаться политики всей партии, опирающейся на народ, на его только, но и до драки дело не доводить, а размежеваться в аккурат.

— Вострякова обязательно разобьет крестьянский съезд, — сказал с уверенностью Федор Усинцов. — Тут сомнения не может быть.

— Я думаю еще вот про что, — тем же спокойным голосом сказал Левцов. — Об этом «пока», об этой нашей с вами будущности. Душа у нас нараспашку: всякому голому мы не прочь отвалить кусок. От себя оторвать, от детей своих же, своих голодными оставить, а чужих накормить. Я вижу: можеть быть такому времю, и я боюсь! Страна у нас большая, богатства пропасть, а все ж думать надо.

— Ты против братства, Левцов! Вот против чего ты! Отстраниться от него ты хочешь! Живот свой тебе, видно, дороже мировой революции! Свой! — непримиримо воскликнула Галя.

— Братство не валенок: его на ногу не наденешь... Словом надо пользоваться уметь. Нынче уметь, а то от Расеи оставим рожки да ножки, — не уступал Левцов.

— Не торопись, девка, — сказал Кондрат тихо, — опять поспешаешь.

Марфа с улыбкой материнской ласки посмотрела на Галину, потом перевела острый, испытующий взгляд на Левцова, как бы что-то про себя открыла в нем, чего она не знала раньше.

— Еще хозяйскую голову Левцова надо поискать, — сказала она и рассмеялась. — Ты верные, Антон, слова сказал — насчет нахлебников, но тут же у тебя и за словами каверза: ты в братстве людям отказываешь!

— И сорить людями нельзя, — опять сказал Кондрат, крякнул и умолк.

Посидели в тишине. Левцов тяжело поднялся с табуретки, отошел к окну и там свернул самокрутку, высек кремнем огонь, запалил ватный жгут. Усмехнулся желтыми полусъеденными зубами в пегой бороде.

— Вот какое у нас молодое поколенье! — сказал он, разводя руками. — Геройское! А из кого, спросить? Из нас самих рожденное, из народу — и нас же судить. Вот как!

Сидели в хате Левцова на табуретках кто где. Люлька скрипела за перегородкой, и бабий голос там шептал, чтобы ребенок заснул бы и успокоился, еще кросна постукивали, из беленой печи Левцова вкусно пахло жареным. Все принюхивались, словно наполнялись сытостью и довольством. «Мужик не совсем разгаданный: то ли он наш весь, то ли своей какой-то идее подверженный, но умный. А в печи, поди, чугунок жаркого?» — подумал Золотухин и сказал:

— Товарищи, оглянем то, что мы иделали. Дела большого нет, это верно, бумаг уездных заполнять пока нечем. Во всем натуральный нуль. Но есть, которое в бумагу не проставишь: мы-то живы, коллективность-то наша жива! Люди по-новому жизнь стали видеть, другой угол появился — разве так уж мало, чего добились мы? Те люди, которых мы приняли, — геройские коммунары. Надо их поднять...

— Дымкова, что ль, поднять? — перебил Левцов.

— В политике партии нашей, товарищи, как раз упор делается на нашу коллективность: мелкий производитель распылен, и в таком положении нам хорошей жизни не видать. Тут ясно как день. Партия борется, чтобы вырвать из нужды крестьянство. Новых людей, вчера еще сомневающихся, к себе притянем.

Федор Усинцов с вопросительным выражением на лице повернулся к Золотухину.

— А Бабинцевы вновь не наживутся? Не придавят они скорей нас?

— Нет, товарищи, никак не позволим этого, не быть им нынче вверху. Вся ставка этой политики — помочь окрепнуть бедноте, и я это заявляю вам, как под присягой!

— А то я этих сволочей, своих браточков, боюсь! — сознался Усинцов, и глаза его в это время выразили не испуг, а заметную тревогу.

В сенцах послышались шаги, дверь отворилась, и поспешно вошел Матвеев. Давно не видел Золотухин этого сурового и верного человека. В клубе морозного пара он снял собачью шапку, шумно пофыркал, содрал сосульки

с аккуратных темных усов и, близоруко щурясь без очков, сказал:

— Я на минутку к вам, ехал мимо и вот зашел.

На лицах коммунаров отразилось выражение радости и гостеприимства: пришел к ним самый близкий и очень желанный человек. Он с превеликой радостью грел свое худое тело около пышущей жаром печи, обнимал руками горячий красный кирпич и, блаженно полузакрыв глаза, что-то обдумывал про себя. Не скрылись от глаз коммунаров его озабоченный, перечеркнутый морщинами лоб да седина на висках.

— Я к вам, собственно, проститься, товарищи. За тем и крюку дал, соврал-таки, что по пути. — Матвеев посмотрел на карманные часы, подвел стрелки, положил обратно в карман пиджака.

Марфа вдруг засуетилась, зачем-то встала, без причины застегнула и расстегнула серый дерюжный пиджак, и когда проговорила, то голос ее словно охрип:

— Не осилил? Не смог! Или струсил? Все вы хороши — бабами помыкать, а как до дела, так в кусты! Приехал проститься... Это как же нам понимать — отстранили от должности? Как Лямцова? Они отстранили? А вы? Одно название — мужики... — Она села за стол и стукнула по нему кулаком. — А как нам жить? Кто тебя перевел с должности, ты знаешь? Востряков тебя перевел, потому что поперек дороги ему! Разве ты не понял? Или, товарищ Матвеев, тебе выше дають должность, больше почестей? Ты нам, за-ради бога, скажи! А то мы тебя, вот такого, на веру взяли, я за тобой в огонь пошла бы, к черту на рога пошла, потому как сильного увидела мужика!

— Боюсь, Марфа, что такой геройской женщине, как ты, мужем я уже не гожусь. Мои легкие ни к черту, крепко дала о себе знать чахотка, вторую неделю харкаю кровью, врачи велят немедленно ложиться в больницу. Кладут меня в Смоленске, а это значит, что я рядом с вами, и должность — хотя бы оттуда директивами, пока бьется сердце, — я буду все же исполнять. Пока за меня остается Миронов, но в рамках моих указаний. А поэтому прошу всех вас: на съезде сумейте поднять людей, до съезда я, видимо, сюда не вернусь, если вообще выживу, не будем играть в прятки, сумейте поднять и сплотить людей. Я твердо верю, что Востря-

ков со всеми своими сторонниками бесповоротно обречен. Но цепляться за власть над мужиком он будет до последней возможности. Я верю в трудовой народ — сколько на ваши плечи ни ложилось трудностей, а живы и не сломлены, черт возьми!

Товарищ Золотухин, материалы газет ты прорабатываешь?

— Да. Я уже дважды разъяснял главные выводы как среди коммунских, а также среди единоличников деревни. Кроме того, я сам и Галина Лопарева побывали в окрестных шести деревнях.

Матвеев заметно оживился, сказал:

— Это очень хорошо, что побывали в окрестных деревнях, и втройне, товарищи, хорошо, что слова партии дошли до сердец! Это как раз то главнейшее, чего как огня боятся наши враги, новой России враги. Этого они никак не ждали.

— Послезавтра с Галиной едем в четыре деревни с разъяснительной целью, тут ты будь натурально спокоен, все будет сделано как следует, доведем до точки!

Золотухин вышел проводить его. Мороз усиливался, высоко стояло и стыло холодное зимнее звездное и очень светлое небо. Накинув на голову башлык и кутая шею клетчатым стареньким шарфом, Матвеев долго кашлял, а когда приступ прошел, покрыл ноги дерюжной полостью и, присматриваясь к хлопушкам дымов над крышами, убежденно сказал:

— Не знаю, не уверен, в конечном счете победишь ты или нет в данной сложившейся обстановке, но мне ясно одно, товарищ Золотухин: ты верно начал! Держись, не дави на людей, береги их честь, трудового мужика береги, но зорко смотри и всегда помни — спуску кулакам не давай, классовое чутье в карман не прячь, помни! Впереди у нас неизведанное, и многое надо будет искать. Об этом ты уже не завтра, уже сегодня думай и ухо востри. — Он помолчал, разобрал вожжи и все не решался трогать лошадь. — Один ты посреди баб и мужиков, и ты их в партию и в комсомол не тяни, лучше честный беспартийный, чем корыстный лжереволюционер. Гляди в упор на народ, боже упаси командовать. Выгоду общую, народную — в угол зрения!..

Они скупо, почти сурово расстались.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

— Ну, старуха, и при коммуне дожились! Дожились, мать их в душу, сволочей всех — крохи обираем! — Макар Люшня кинул на лавку узелок: все, что заработал за целое лето, — полпуда льносемян.

— Картох не дали? — испугалась старуха.

— Все тут. — Округляя голые, без ресниц, глаза, старик утер лицо исподом рубахи, утиный нос его покривился. — Заробили собе революцию!

— И бурячков ни?

— Ни хрена, не видишь! — озлился вдруг Люшня. — Работала б, карга, аль я один осилю? Оне вон прыткие! По возу картох с коммунского поля домой повезли.

Аникея хворала: на мучнистом, всегда сморщенном лице ее, во всей фигуре мумии что-то дрожало, словно ее непрестанно знобило. Хотела упрекнуть его в ленивости, в ничтожности жизни, но промолчала, как всегда, и кротко подумала: «Авось не помрем... не впервой-то нам, ить мы какой харч-то ели?» И она хотела вспомнить, ела ли она когда-нибудь хороший хлеб, ситный, и не могла, — так давно она жила уже на свете, что все спуталось в голове и было все голо, босо и пусто, как в осенней степи.

«Тверезый, а всегда с заработка пил», — подумала она сегодня.

Люшня проговорил сквозь зубы:

— Золотухин тоже хороша птица! Рыпнулся я в нее, в коммунию. Нонче жалею, старуха. Я им не конь, хрен им собачий! Я в найме, у хозяев энтих, проживу лучше.

Детей у них не было. Редко кто из деревенских заглядывал к ним — жили как в норе, по-сурчиному. Аникея не знала, зачем старик лазит каждый день на чердак, а вернувшись оттуда, ходил он тихий, с маслеными глазами.

Однажды спустился оттуда в добротном, с черными перламутровыми пуговицами, совсем барском, с каракулевым воротником пальто.

Аникея так и ахнула. Ей же многозначительно сказал:

— Помалкивай!..

Но на улицу в нем не вышел, а тут же упрятал: туда же, на чердак. Слезши, хитро подшмыгивая утиным носом, проговорил:

— Без ума и птица живеть...

На глазах у всех он вдруг неожиданно сник и совсем вылинял, позеленел. Никому ничего не сказал, что с ним. Ходил заговариваясь, и решили: Макар тронулся умом. Теперь он не лазил на чердак, дверцей скрипел ветер, выдувая оттуда сухую пыль, и словно меньше стала казаться ему хата, пригнулась и съежилась на непогоде. Почернев лицом, ходил он привидением, тихо, но никто не знал, как он рвал ночами в своей хате на голове волосы, бегал из угла в угол, выл, плевал куда попало, больше норовил в вишнево-рудой лик божьей матери. Аникея, пугаясь, только и шептала: «Свят, свят...» Днем она лазила на чердак, — тюк, который она видела недавно, пропал. «Украли», — осенило старуху, и не знала: радоваться, плакать ли, но чувство торжества над греховным падением старика овладело ею. Макар упрятал добротные, в мелкую клетку брюки, а надел свои старые и потерявшие всякий цвет штаны. С этих пор он запретил старухе перестилать на полатях постель. Но когда Макар куда-то отлучился, старуха, не вытерпев, заглянула под сенник. Какая-то неведомая ей сила заставила ее проворно общупать все тряпки в изголовье, сам сенник, пахнущий клопами, пылью, забвеньем. Ей был знаком этот запах с самых тех пор, как она стала себя осознавать и помнить еще в родительской хате. В сеннике было что-то зашито: тяжелый маленький узелок. На дрожащих коленях, пугаясь шорохов, Аникея обминала руками каменно-плотный узелок. «Господи, ить это золото!» Ей захотелось хоть подержать, но у нее онемели руки. На дворе зачмокали быстрые шаги, старуха со страхом прислушалась — топали Макаровы лапти, и она отбежала в другой угол.

II

Унесенное им барышниковское золотишко кто-то высмотрел. В одну из темных ночей, когда старик грезил какой-то нелепый сон.

Три тени качнулись от стены, скрипнули половицы. Люшня зарылся в сенник, полез за тяжелым молотком

под подушку, который всегда держал наготове, но его тут же схватили за запястья, прижали — господи, не передохнуть! — чем-то вонючим и кислым заткнули рот. Ему показалось: он повис в воздухе вверх ногами и уже не живой, убитый... Давясь, задыхаясь, слышал, как в их руках трещал сенник, как из него потянули — как бы выкручивали изнутри самого Макара кишки — заветный узелок. Сразу опомнился, выдрал тряпку изо рта, кого-то стукнул, дико заорал... Пощупал лицо, голову — цела. Подумал: «Живой!», передохнул, поддернул исподники, вгляделся: в избе черной кошкой таилась тьма. Окрестил полати, опомнился совсем. Тихо... Судорожно в кромешной тьме цапал тощий сенник, выбрасывал комья слежалого, старого, вонючего сена, — узелок не нашли!

— Господи, владыка!.. — сердце неистово колотилось, отдавалось в пятки, в висках.

На другое утро он обулся в новые лапти, поел тюри, помолился усердно богу, положил в сумку кусок хлеба и неожиданно сказал Аникее:

— Ну, прощевай, баба, тут добра не ждать.

Аникея не шевельнула руками, замерла около печи с ухватом, как пришибленная.

— Коммуния — дохлая кошка. Изуверился — во как! Уйду в город.

— С какого припеку тебе город, чума?

Старик выпятил грудь, отставил с достоинством ногу, подрыгал ею и чему-то своему осклабился.

— Не твово ума. Обо мне прослышуть...

Аникея сидела ошеломленная. Жалость к себе, к своей непутевой, пустой жизни давила старухе на сердце, и она сказала после небольшого молчания:

— Ты с ума, видать, тронулся?

А Люшня с усмешкой, без сожаления, поглядел на полати и, все больше веселея, проговорил:

— Всяк живет, да не всяк возрадуется. То-то! Близок локоть, да не укусишь. — Пнул лаптем ластившуюся кошку, уже отрешившись от избы, от деревни, сказал: — Семя собачье, люди! — Старик, схватив шапку, не пошел, а почти побежал в нардом, надеясь, что его станут упрашивать остаться в коммуне.

В нардоме сидели Максим, Левцов, Лукашкин и Стрекалин. У порога были сложены пилы, топоры, армя-

ки: коммунары собирались на рубку дров. Люшня, остановившись посреди комнаты, громко выкрикнул:

— Отпущайте из коммуны!

— Далеко надумал? — спросил Кондрат так, точно ждал от него этого.

— Где-то пристроюсь...

— Иди, — сказал Золотухин, он даже не поднял головы: точил напильником топор. — Мы никого не держим. Не за границу?

— Максим Егорыч, коли чиво... моей старухе помогите.

— Жалостливый, смотри! — поднял голову Золотухин. — Что же ты ни с того ни с сего убечь решился? Прямо сказать, дезертировать? Ведь мы без тебя не проживем!

Люшня хотел улыбнуться, а вышло так, будто он сморщился от пчелиного укуса, и думал: «Знають оне аль не знають?»

Лукашкин, подмигивая нахально, спросил:

— А он, может, с капитальцем?

Люшня, ни на кого не глядя, пошел к порогу и оттуда сказал:

— Будете дохнуть — подсоблю.

А по дороге к своей хате бормотал себе под нос:

— Я вам всем покажу-у! Покажу! Пока-ажу! Мать вашу...

Он вошел в хату, взял узелок, помолился иконе, сел на лавку и, значительно посмотрев на Аникею, сказал:

— Наведаюсь аль дам знать.

Старуха, сгорбясь, молча и потерянно сидела на лавке рядом с ним.

— Опомнись, Макар!

— Как же!

— Да кому ты нужон, лихо?

Он затрясся в смешке — заблеял козлом. Лицо Аникеи стянулось в сплошные морщинистые узлы, было темно и страшно своим выражением.

— Не уходи, дурак, — вдруг с материнской жа-

лостью и грустью попросила старуха, подшмыгивая носом, одергивая коротенькую кацавейку.

— Сказано... не весь свет, что в едином окне. — Он вышел не оглядываясь и вскоре услышал пронзивший его, несшийся в спину сплошной вой Аникеи.

— Ишь, едрена ма-ать, — бормотал он. — Воеть! Аль ценила ты меня? Хе-хе-хе... Я, брат, к другой жизни прибьюся. Дай срок... Всем пока-ажу-у!

Ему сделалось нехорошо, неловко; он уже почти бежал, подпрыгивая, видя одну закрутевшую в первом заморозке, прикрытую снегом, с глубоко пробитыми колеями дорогу.

Опомнился под самым Высоковом — сквозь вьющуюся паутину сумерек виднелись косо сбегающие с горы улицы, лазурно голубели купола церкви на холме и синим разливом, отпугивающе-холодно сверкал подо льдом Днепр.

III

Бывший купец Шешкин неожиданно нагрянул к Андрею Бабинцеву свататься. Приехал на чалом жеребце с бубенцами, в расписных санях, с двумя близкими товарищами в волчьих шубах. В плетеных корзинах внесли гостинцы — тульские медовые пряники с тиснеными зверями, самодельную брагу в пузатых бутылях, ворох сушеной рыбы. Шешкин, познакомившись с семьей, перешел круто к делу — сватовство сватовством, а откладывать со свадьбой смысла не было: предложил сейчас же ехать к нему в Высоково и там играть ее. Бабинцев, пошептавшись на другой половине с Варварой, вышел к гостям и начал мяться, принюхиваясь к неожиданно объявившемуся жениху.

— Кто ж его знаеть? Девка-то наша спелая, да ишо не хотели так скоро... — тянул он, — да и вас мы не ахти как знаем.

Один из дружков Шешкина, кудрявый, с зелеными навыкате глазами, доверительно хлопнул хозяина по спине, значительно подмигнул на важно развалившегося за столом жениха:

— Брось, папаша! Не видишь, за кого выдаешь? Нынче у него лавка, а завтра город в кулак зажмет.

Силу нашего Шешкина, папаша, знают! Хозяин, в прямом смысле тебе говорю. Ты ведь не голодранец — мужик с головой. К тому же не девка она...

— Кто ж его... Нонече время чажелое.

Из другой половины, шурша новой глаженой юбкой, выплыла Наталья: под глазами неспокойные синеватые круги, грудь туго стянута кофтой, рот неясно усмехался, кивком головы поздоровавшись с приехавшими, неожиданно заявила родителям:

— Я выйду за него! Готовьте поезжанье.

— Ну, коли так-то... Да ить, он вопрос сурьезный-то...

Обмирая от сладостного волнения, почувствовав нужного человека, старик повел жену к обитому железом сундуку, шепнул на ухо:

— Лучше не сыскать! Дадим чаво поплоше.

— А что за человек? — не отойдя от испуга, спросила Варвара.

— Сразу видать — купец! Кони-то, глянь-ка! Чистая картина!

— Не знаем мы его-то, отец!

— Не гузни, старая. Вынимай холст, ситцу кусок, и хватит. Не Золотухин-вшивец — видать, привалило счастье! — Бабинцев, закрыв сундук на замок, понес ворох отобранного приданого в прихожую.

Сноха Марья с испугом поглядывала на гостей, спешно подшивала зеленое береженое платье Натальи — она в нем захотела ехать в Высоково.

Наталья была отчего-то холодная, как лед, и хоть улыбалась гостям, но чувство страха не покидало ее. Это чувство ее связывалось с Золотухиным.

Вошел к молодым бабам Сергей, Марьин мужик, рыжий в отца:

— Батя сказал, чтоб торопились. Покель выедем, — сказал он.

— Знаем, пущай не суется! — обрезала его Наталья.

Она боялась себе сознаться: делает эту свадьбу назло Золотухину, однорукой сухотке. О том же неясном, что ждало ее впереди, она не думала сейчас.

В прихожей горнице суетилась, угощая гостей, Варвара:

— Кушайте, сваточки, пирог вот с брусникой.

— Благодарю, мамаша! — гулким басом гудел уже захмелевший Шешкин.

— Кондючка испробуйте...

— Хороша закусочка! — хвалил один из дружков, черноволосый, с длинным носом, почти не мигавший узкими, в щелях, припухшими глазами. Он жадно и много ел все, что ни ставили на стол.

— Деревенское приволье. Харчимся сносно, — говорил Бабинцев.

— В больших городах, так там вустриц едят — лягушек таких, — студнем заглатывают, — рассказывал Шешкин, затягиваясь душистой папиросой. — Разорвешь раковину, а там дрожит серое — и хоп, одну за одной. Европейская жизнь!

Бабинцев изумлялся до того, что лицо его вытягивалось, расширялись зрачки.

— Вот те на! Лягушек?

— Европа, тесть, Европа!

— А ваше ж семейство какое будеть? — поинтересовался Бабинцев у Шешкина.

— Отец и мать в Волочке мельницу заново хлопочут.

— Что ж, и вернут?

— А куда власть денется? Выхода у нее нет — пойдет на попятную. Теперь наше время. Скоро им крышка! Окрепнем, пустим корни — мы-то не князья, не сволочь эта светская в белых перчатках, мы-то живучие! Вопьемся — уничтожь тогда нас! Достань! — Осторожно засмеялся, удовлетворенно, с похотливой жадностью разглядывая вышедшую из другой половины нарядную и статную Наталью. Глаза ее необыкновенно горели: они смотрели куда-то все сквозь, мимо и не видели никого.

— Дай-то бог скинуть ихнее ярмо! — подхватил Бабинцев.

— Рублем прижмем, не винтовкой.

— Винтовку кидать не следует, — сказал строго черноволосый.

— Не следует, — подтвердил зеленоглазый, расхаживая по прихожей.

Шешкин встал, взял крепко Наталью за руку.

Та непонятно и низко взглянула на него, губы у нее открылись — хищно белели мелкие зубы.

— Едем, что ли?

Варвара засуетилась.

— Еловой лапой коней-то нарядите.

Из сенец выглянул Сергей.

— Я уж сделал. Дядя со своими подъезжает.

По сенцам затопали — ввалились с мороза дядья со снохами, двоюродные брательники, тоже с бабами, — они стояли за порогом.

Вышла одетая Варвара: на ней была крытая черным плисом шуба на сборках, на голове и на плечах — радужная, вышитая красными петухами тяжелая шаль с длинными кистями.

— Марья, Верка, сымайте иконы. Наперед божью матерь, — распорядилась она.

Бабы встали у стены с иконами.

— Хлеб ишо, каравай-то на полотенце, — суетилась Варвара, лучась широким плоским лицом.

Наталья вдруг засмеялась через силу, взяла Шешкина под руку и пошла, поплыла к порогу.

Все остальные нарядной притихшей толпой повалили за ними в двери, стали рассаживаться в четырех санях.

Бубенцы вздрогнули, запели, зарыдали под дугами, сани гужом, одни за другими, пыля сверкающим снегом, выскочили за ворота.

IV

Коммуне спустили план напилить сто двадцать кубометров дров, да еще обязались сами тридцать дополнительно, и надо было также их вывезти. Золотухин хорошо знал цену каждой чурке — топливо было вторым хлебом. Еще с вечера он оповестил коммунаров. Засушливое лето все-таки сказывалось: коммуна тянула из последних сил. А впереди была зима со всей жутью длинных ледяных ночей, и он знал хорошо, что труд-

ности неизмеримые еще были впереди. Еще была прорва мелких и больших забот, а ни денег, ни каких-либо накоплений коммуна не имела. Крохотная выручка намечалась за лен, расстеленный по первому снегу: его еще требовалось мять и трепать, чтобы отправить сырцом на кардымовскую кустарную фабрику. Золотухин боялся одного — не разбежались бы люди! Пилили и рубили валежник, валили деревья и с корня. В трех местах разожгли костры. Бабы, те запасливые были — из карманов доставали картофелины, закатывали их подальше в угли.

Золотухину рубить одной рукой несподручно, но пилить куда было легче, и он то пилил с кем-нибудь, то колол, меняясь по очереди. Хмуро, без разговоров работали люди. Мороз, жавший с утра, к полудню отпустил, над бором потянул ветер, и все-таки не грела плохая одежонка, то и дело бегали люди греться к кострам. Больше всего Золотухин тревожился за Лукашкина. Нет-нет он ловил на себе его вопросительный и холодный взгляд. Ходил тот косолапо, мягко и бесшумно ступая на вывернутые ступни. Всегда брал бревно с комля — макушка потоньше доставалась напарнику. Как-то Золотухин нес с ним бревно с дальней деляны к дороге. Уложив очередной кряж, Лукашкин вытащил малиновый, захватанный руками кисет, покряхтывая, напряженно спросил:

— Кому эти дрова, Максим?

— В котлы паровозов.

— А зачем оне мне, котлы?

— Котлы нужны революции.

— А мне революция нужная?

— Нужная, Илья! Рабочий помогает тебе строить новую жизнь.

— Я вот про что думаю: сумеют ли мужики вместях ужиться?

— Выгоду ждешь? — резко спросил Золотухин.

— Жду! — сознался откровенно Лукашкин. — Перед прошлой жизней. Не будет выгоды, ты меня не неволь, Максим, я уйду. Не вернусь и против встану. Выгоду — не в одном куске хлеба, чтобы душа тоже свободна была...

— Хорошо ты сказал: не в куске, не в нем одном, это ты от куска поднялся, а других давит он, кусок этот. Ослепший мужик наш, он раб куска!

Лукашкин потягивал цигарку, призадумался. И опять повторил:

— Будут душу топтать — ты прости: уйду из коммунии. Упреждаю тебя наперед.

— Все ж ты веришь в силу? В общую нашу?

Лукашкин промолчал, не ответил.

Они разошлись: Лукашкин менять Кондрата, Золотухин проведать работающих в конце рубки. Он шел, плохо чувствуя ноги, сегодня его подташнивало, было горько, солоно во рту, и пальцы ног зябли все время. Теперь он пожалел, что не послушался совета Марфы: не обулся в лапти, сапоги нажгло холодом, а лапти в мороз — лучшая обувь, это еще отец говорил. Навстречу ему, разворашивая снег, шла Ганна Миронова. «Какая у нее теперь-то жизнь?» — подумал он. Бабенка эта была ему совсем чужая, до войны раз только видел на ее же свадьбе, привезена она была из какой-то деревни, с левобережья, с песков.

— Идет у вас, Ганна?

— Воза два напилили.

— Это крепко, молодцы! Сынишке одежу в мастерской взяла?

— Взяла. — Грудь ее поднималась, она жарко дышала, подвинулась к нему близко. — Ты меня не знаешь, ухажер. — Дернула пуговицу на его шинели — та отвалилась, и Ганна засмеялась. — Аль не холодно без бабы? Посогреть? Ну? В хату не придешь? Вечером? — Она выжидательно смотрела ему в глаза. — Ежели совладать можешь, однорукий? — Она отошла, повернула к нему лицо с неясным выражением. Словно опаленный ее дыханием, Золотухин мгновение смотрел на ее вишневые губы, произнес:

— А что ж, согласен, да чуру не проси! — И уже метнул другой, озабоченный взгляд на шумно столпившихся мужиков и баб у дальнего костра. — Чего это они там сбились?

— Не знаю. Вроде недовольные. Что-то затевают.

«Ага, не заваривается ли каша?» По колено утопая

в снегу, он живо зашагал к ним, и чем ближе подвигался к костру, тем определеннее начинала вырисовываться картина: никто уже не работал, топоры и пилы валялись где попало, на пустом перевернутом двухведерном чугуне, в котором варили на обед кашу, сидел Лукашкин и что-то быстро говорил столпившимся около него мужикам. Сестры Семигоновы, Лушка Поршнева и еще трое или четверо баб, уютно пристроившись у жарко горевшего костра, несмотря на мороз, сушили онучи, жались к огню и молча смотрели, как бороздил своими длинными ногами снег Золотухин, все ближе подходя к ним.

— Что за базар? — крикнул он, остановившись возле куривших мужиков. — За полдня таким кагалом напилили всего два куба дров! Это натуральный позор!

— Не покрикивай, мы тебе не каторжане! — неожиданно взорвался всегда спокойный Кондрат и, не докурив папиросу, швырнул ее в снег. — Ты когда позвал нас на себе пахать, и на самих себя, и на товарищев рабочих, мы без принуждения влезли в хомут. Мы пахали! Не твоя вина, что хлеба у нас нет, мы тебя не виним. Но пилить дрова нам нету смысла, тут ты не приневоливай, не хочем надрываться!

Не успел Золотухин обдумать значение сказанного, его опередила Лушка Поршнева: пригнувшись, словно собираясь прыгнуть, она подходила к мужикам от костра, даже не замотала портянку, и та волочилась по снегу.

— Что глазами водишь? Сказать-то нечего! Агитатор мудовый! Головы нам задурил, а ишо прикидывается добреньким. Бабы, мужики, Кондрат верно говорил тут — день и ночь работаем, а что имеем? Не затыкай честной бабе рот, не затыкай, зараза, я и без тебя битая! Нас все били, мужик меня бил, чтоб ему там, на войне, курве, ни дна ни покрышки, староста, сволочь, бил кнутом, а теперь гляньте, новый хозяин объявился. Он обдурил нас!

— Тетка Лушка, дай сказать слово, — попросил Золотухин и успел-таки, секундой раньше успел опередить Лушку, сказал: — Дрова — заводам и фабрикам, замерзающим в квартерах товарищам, нашим братьям

рабочим. Опять же Красной Армии, которая оборонила революцию. Все эти люди работали на пользу революции и трудового народа, и ты тут брось, Кондрат, насчет того народа, которого ты не видел, я ить чувствую, ты про него не договорил — то русский революционный народ твой брат, твой друг и товарищ!

— Так ежели б на пользу! — тихо сказала Марфа. — Тут надо обдумать, ты мужиков послухай, оне не об одном своем животе ведут речь.

Золотухин, повернувшись к ней, спросил ее глазами: «И ты?» Она ответила, прямо глядя на него: «И я со всеми».

Галина выступила вперед, не спуская глаз с лица Лушки: она задохнулась от волнения и не могла сразу заговорить.

— Вы что тут устраиваете? Эти дрова — или Максиму они? Себе он их собрался возить? Вы... вы... да вы просто за выгодой гонитесь — вот чего вам нужно! А как рабочие мерзнут, электростанции нечем топить? Дети мерзнут! Это вам что, чужие они? Не братья они уже вам?

— Толковать много не требуетца, — сказала, как бы заканчивая перепалку, не принимая слов Галины, Варвара Семигонова. — Айда домой, к лешему! Пропади все, я еще баба здоровая, какого-то мужичонку полюблю, так сохраниться надо. — И первая, не оглядываясь, зашагала с поляны.

«Раз, два, три, четыре», — зачем-то считал Золотухин и с ужасом увидел: за нею, за Варварой, тронулись все, и теперь он стоял один на поляне, а поодаль от него, около сосны, стояла еще бледная, онемевшая Галина. Он побежал было за ними по сугробу, но споткнулся, упал, вскочив с яростью, им вдогонку на весь прохваченный стужей лес крикнул:

— Черт с вами! Пропади вы все!

Он отдышался, огляделся... Лес показался ему неестественно светлым, неживым, будто обсыпанным нафталином; в нем самом, в теле его все стыло, обмерзало, особенно ноги — их он совсем уже не чувствовал. Ему даже казалось, что он не стоит, а висит в воздухе над этим рассыпчатым, сухим и голубоватым снегом. Галина неуверенно приблизилась к нему. Он оскалился — губы

у него посинели, чирей на обострившейся скуле, вскочивший от простуды три дня назад, отсвечивал фиолетовой шишкой. Красные от каждодневного недосыпания глаза его медленно чернели, суживались, от постоянного недоедания щеки запали сильней, он кинул сквозь зубы:

— В бога мать, сволочи! Зачем же мне? Зачем?.. Для кого жизни не жалею?

Нарядные красивые кони вдруг вылетели из-за поворота лебедями. Веселые крики и смех оборвали лесную тишину. Золотухин сошел с дороги. Он увидел ликующие лица Андрея Бабинцева, его жены и других, но девушку, чуть ли не на всем скаку спрыгнувшую с передних саней, он сразу не узнал. Она, упав в сугроб, поднялась — сквозь снег, забивший ей лицо, Золотухин увидел эти глаза с пролитой в них васильковой синью: перед ним стояла Наталья. Она, видимо, хотела сказать что-то важное, но не находила слов какое-то мгновение.

— Прощай, Максим! — сказала она сдавленно и потупилась.

— Попутного ветра.

— Прости... Виновата... — сказала она с мольбой.

С ели тряхнуло голубого снегу, запорошило ей платок, волосы, лицо — ему плохо было видно: или усмехалась она теперь, или сдерживала слезы?

— Беги, тебя ждут, — сказал он тихо.

Наталья повернулась, мелко семеня ногами, пошла, в санях пьяно заорали. Она прыгнула не к жениху, а на последние, и кони резво взяли с места, понесли. Колокольцы глохли в лесу, становились все тише. Деревья отбрасывали на снег длинные темные тени, в чащу заметно наплывали ранние зимние сумерки. Поднимался к вечеру лютый тридцатиградусный мороз.

Голодные, промерзшие, в темноте вернулись они в деревню. Особенно мило и отрадно повеяло на них от редко разбросанных огней. Утром, чуть рассвело, он уже стучал Лопаревым в окошко. За обмерзшими стеклами показалось лицо Галины.

— Пошли! — коротко произнес он.

— Пропали мы. Разбегутся все, Максим!

— Не скули! — отозвался он.

Стыло дыхание, потрескивали углы хат. До сумеречного леса то бежали, то переходили на шаг. Пилили молча в полутьме, но разработались — согрелись.

— Смотри-ка! — вскрикнула она спустя немного и села изнеможенно в сугроб.

По дороге один за одним, предводительствуемые Марфой, шли коммунары. Самой последней вприпрыжку бежала Лушка Поршнева, что-то доедала на ходу. Бороды у мужиков заиндевели, и белым пухом оторочены были бабьи платки. Золотухин, будто и не видел их, взмахивал одной рукой топором, отсекая сучья; они тоже разобрали топоры и пилы и, не сказав ни слова, принялись за работу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I



Проснувшись, Григорий все вспомнил, что произошло вчера, и, довольный, сдержанно рассмеялся. Жесткий волосяной тюфяк не пахнул Марьиными волосами — так-то, бобылем, лучше. Ничто не отвлекало его сегодня от главного.

Бабы — они дурман, теплый уют с самоваром, а всему остальному — гибель. Поеживаясь от холода, сделал зарядку. Проникая сквозь двойные рамы, с улицы несся крик вторых петухов. «Изничтожить чертей», — отметил. И еще подумал: «Заборы в слободе сломать. Не уездный центр — скотный двор».

На лавке, раскинутые веером, его кожаные штаны, на гвозде куртка, хромовые, недавно справленные сапоги под лавкой, ремень с наганом и пачка махорки на подоконнике. Закурив, два раза затянулся и взглянул на блещущую лаком телефонную коробку — вчера же поставили на квартире. Все разом. Он не спеша, не одеваясь, позвонил в Покровские мастерские — никто не ответил.

«Спят еще. У них уже нормированный день. Заготовить циркуляр о руководящих работниках, обязать, чтобы раньше приходили на службу».

Оделся. Жали сапоги — прямо с колодки, необношенные, пахли кожей, хромом, скрипели, — он поморщился: «Буржуйские замашки! Бересты под рант заложил, подлец!»

До самого горла застегнул пуговицы и, суровый, подтянутый, пошел посмотреть исполкомовского коня. Конюшня стояла через дорогу — просторный, с низкой крышей двор. Было безветренно и морозно, по сахарным

сугробам, облитым смутной зарей, скользили синие тени прямо поднимающихся над крышами дымов.

Под сапогами стеклянно кололся, хрустел снег, студеный воздух молодил и бодрил его. Около ворот двора — золотая соломенная труха, просыпанные овсинки, в круглом копытном следу валялся крохотный серый взъерошенный комочек: замерз воробей. Григорий вспомнил, как когда-то бил птиц из рогатки, усмехнулся одними губами — пророчество деревенских болтунов не сбылось.

Теперь прикусят языки всякие маловерные! Главное было — удержаться на высоте, чтобы не изъел твою душу быт, чтобы люлька скрипучая да юбка бабья не застили бы мир.

Застойный воздух конюшенного тепла, замешанный на лошадином дыхании и сене, не вскружил ему голову, как, бывало, раньше в отцовском дворе, нет. С холодной расчетливостью он нащупал в полусумраке сбитую до крови бабку тонконогой светло-гнедой кобылицы алексинского завода, родной дочери знаменитого Петушка, какую привел с собой из Бражина год назад. Бабку затянуло сухой коркой, но под ней чувствовалась влажная гноящаяся мякоть — пригнув голову, мелко подрагивая светлой шерстью, лошадь проржала.

— Заживает, дуреха, — ласково сказал Григорий и потрепал лошадь по влажно-упругим губам. Заложив лошади охапку сена, посмотрел, как она ест, вышел из конюшни и направился в исполком. Он любил эти утренние безлюдные, тихие часы пробуждения нового дня. Ныне ему нужно было освоить новый кабинет, осмотреться в нем до того, пока не начнутся телефонные звонки, пока не придут люди, — пусть увидят, что он хозяин, а не гость.

Тихо на лестнице, застланной красной помещичьей дорожкой — как раз протянули ее на днях на втором этаже, между уездным комитетом партии и уездным исполнительным комитетом. Жесткий ворс глушил шаги. Куда как лучше и мягче ступать ноге по дорожке, а то в кабинетах гром стоял от сапог в коридоре: работать мешал.

Вот и кабинет... Высокие зеленые двери, четыре окна в стене, стол, над ним карта Российской республики, другая карта, губернии, в простенке между окон.

Уездная — рабочая была карта: на ней разверстку метили, вывоз хлеба и фуража планировали, торфоразработки внедряли, читальни и библиотеки галочками заносили сюда. Подержанный, но еще хороший, обитый бордовым сукном диван, восемнадцать жестких стульев по обеим стенам.

Григорий сразу представил, как усядутся люди впереди, вдоль другого стола, образующего вместе букву «Т», и как будут ему видны не только их лица, но и кусок улицы Пролетарской, курган, спуск к Днепру, а дальше — заливные луга с курганами по старой Смоленской дороге.

В верхнем ящике стола — забытая хозяином тетрадь с оборванной обложкой. На первой странице — строчка красным карандашом: «Липягин из Королевки. Безграмотный. На место Ягуренкова». Но товарищ Матвеев и на кандидатуре Липягина тоже споткнулся — как же можно заменить им товарища Ягуренкова, идейностью своей превзошедшего даже руководителей самого уезда? Дальше, что ни страница, то интересней записи в тетрадке, а когда Григорий их все прочитал, то подумал, что нельзя ее выбрасывать: пусть она все же полежит в столе, бывают случаи — сгодится, а если и нет, то места ей немного требуется.

Вдруг пронзительно зазвонил телефон. Это звучало как полновесный зов жизни, как песня в утренней тишине большого и пустого, еще не охваченного работой дома. Григорий взял трубку, тихо, но энергично сказал:

— Я слушаю!

На том конце провода помолчали, потом крикнули трижды:

— Матвеев, Матвеев? Товарищ Матвеев?

— Говорите, в чем дело? Я исполняющий обязанности председателя уездного исполкома Миронов.

Трубка молчала, Григорий подул в нее, переждал паузу, и тогда неуверенный голос спросил:

— А Матвеев?

— Он ложится в госпиталь. О чем разговор, товарищ?

Там молчали.

— Как твоя будет фамилия?

— Не обо мне речь. Нас четырнадцать семейств из «Зари»... Откололись в единоличность.

Григорий уперся локтями в стол, спросил:

— Ты в их числе?

— И я.

— Струсил?

— Мы люди простые, крестьяне. Говорят, выселют нас... в Сибирь. Вы скажите, правда, нет?

— Что ты городишь!

Трубка пискнула и заглохла. Григорий положил ее на рычаг, прислушался: за дверью, в приемной, тихонько шелестели шаги, пришла секретарша. «Долго они все спят», — подумал, набрасывая записку правлению коммуны «Заря»: «Отколовшихся крестьян единоличниками не считать, внедрить им в сознание о вредности ихних действий для всей нашей и мировой революции. Время анархизма кончилось. И нынче и в будущем. Уездный исполнительный комитет. Г. Миронов».

Вошла высокого роста секретарша с папкой.

— Доброе утро, Григорий Тимофеевич. Вы так рано? — сказала она.

— Здравствуйте.

— Здесь личное дело Савинова. Вы просили...

— Ладно. Отпечатайте данную бумагу и пошлите во все коммуны уезда. Нехай дадут исполкому ответ о состоявшемся обсуждении в массах. Не позднее четверга. Явились на службу все?

— Я не знаю, товарищ Миронов. У нас не было до сих пор практики проверять каждого работника в отделах.

— Не было, так завести! Чтобы в восемь часов каждый бы находился на своем посту. Каждый бы и сидел! Исполнительный комитет — руководящее учреждение.

— В приемной люди.

— Откуда и какие?

— Крестьяне из разных деревень.

— Опять же это неверно ввел товарищ Матвеев: не всех же принимать! Узнай, — сказал он на «ты», забыв о вежливости, — кому что нужно, рассортируй людей по отделам. Которым отдел малосилен помочь, докладай мне, и я дам лично резолюцию, без обиняков и проволочек к действию. Ихние, народа, жалобы разбирать быстро и, повторяю опять, организованно! Кто не захочет проявлять интерес к жалобам народа, уволим из аппарата и наперед без права в нем работать. Еще что?

— Как быть с указанием товарища Матвеева: в коммуне «Огни Октября», в деревне Сильцы, по его настоянию выселили из дома бригадира, а туда поместили две многодетных семьи. Поступила жалоба бригадира. Вот посмотрите.

Григорий смотреть не стал, подумав, сказал коротко:

— Бригадиру дом вернуть. Трудовую собственность революция оберегает. Бюро в девять? Где товарищ Востряков?

— Товарищ Востряков у Матвеева. Велено и вам идти к нему.

— Я помню это. У меня все, — сказал он, поднимаясь.

II

Тихо стучали часы в углу; в окна бил голубой свет занявшегося дня, светлела лазурь неба, и на эту светлую, манящую полосу жадно и радостно смотрел со своих подушек Матвеев. На нее же смотрел и Востряков и думал: «Всем нам мало на этом свете жить, но не всем отпущено оставить свой след». Ему показалось — Матвеев смотрит на него, и он повернул свое тяжелое, запавшее, с обострившимся носом лицо. «Чему он, умирающий, рад? И кто из нас торжествует — он или я?» Но взгляд Матвеева, направленный на Вострякова, говорил: «Я рад потому, что жизнь не убита, что главное я тут сделал и ты уже почти разбит, тебе вынесен окончательный приговор!» — «Нет, врешь, не вынесен, врешь, я не за личную выгоду борюсь». — «За нее, но ты боишься сознаться».

Они молча читали взгляды друг друга — один сильный, здоровый, другой уже сгоревший и почти умирающий.

— Мы тебя все ждем обратно. И ты должен вернуться, Василий! — сказал Востряков тихо, вопросительно глядя в лицо Матвеева, стараясь понять по его выражению, верит тот или же нет.

Какая-то досада или же тень насмешки слегка тронула синие и тонкие губы Матвеева. Он молча покачал головой, давая этим понять, что ни одному слову не верит.

— Ждем, — подтвердил Востряков.

— Это не имеет значения, — прерывисто и хрипло проговорил Матвеев. — Вернусь я или же другой. Все станет на свое место.

— Ты еще веришь, Василий? — напряженным шепотом спросил Востряков.

— Верю, Тихон... — Матвеев закашлялся, из горла у него хлынула кровь, лоб покрылся испариной; он судорожно приподнимался с подушек, и заглянувший в дверь доктор, шагая на носках, испуганно замахал обеими руками на Вострякова. Тот поспешно встал.

— Я пойду, тебе вредно.

— Еще ничего не кончено, Тихон, — с силой и решимостью, задыхаясь, проговорил Матвеев.

«Ты кончен», — сказал взгляд Вострякова. Он, горбя плечи, тяжело вышел и в прихожей столкнулся со входившим Мироновым.

— Кончен, — сказал он сумрачно вслух, как о продолжении тех мучений в кабинете. — Ты зайди, Григорий, зайди.

Миронов, скользя рассеянным взглядом вокруг себя, шагнул в дверь и приблизился к дивану, на котором лежал Матвеев.

— Нагнись, — приказал Матвеев. — Вот так. Еще ниже, ниже. Так... Слышишь, не смей отменять ни одного моего распоряжения. Помоги коммуне «Власть труда»: она настоящая. Если задавите Золотухина, не будет вам прощения! — Он сжал его руку.

— Я ж только исполняющий, — прищурясь, сказал Григорий.

— Помни, что я тебе сказал. — Он погрозил пальцем. — Не то стыдно будет промеж людей жить. Теперь уходи, — прошептал Матвеев.

Миронов стоял посреди комнаты, то ли хотел спросить что-то, то ли сообщить или ждал, что он еще скажет.

Следом за Мироновым быстрой и легкой походкой вошел Чугунов. Глаза Матвеева вдруг заискрились светом.

— Здравствуй, Федор, — сказал он, задерживая его руку, всматриваясь в лицо и с удовлетворением отмечая, что он не смотрел на него как на конченого. — Как я тебе рад! Радуюсь, что много нас уже нынче, Федя!

— Тебе вредно говорить, ты лежи, все уладится, — сказал Чугунов.

Матвеев закрыл глаза в знак одобрения этих слов и, открыв их, сказал четко:

— Принимай должность заместителя Миронова. Он исполняющий мои обязанности. Ты заслуживаешь этого!.. Приказ о назначении заготовил, он у секретаря...

Доктор, Чугунов и кучер вынесли Матвеева, уложили в сани.

III

Черно было в пятистенном доме Дымкова. За окнами стояла морозная, в жгучей россыпи звезд ночь — зелеными глазами глядели они из бездонной высоты.

Тяжко было Дымкову в этот полуночный зимний час. Как ни вжимал голову в подушку, сон отлетал прочь: призрачный, но леденящий страх за завтрашний день заставлял ворочаться с боку на бок. Он вспомнил свои годы, стараясь найти хоть малую долю праздности и легкости, с которой бы проснулся поутру, и не находил. Один дышловой конский труд около земли! Слезы подступили к глазам.

Покинул родительское гнездо Михаил, а вернулся бродяжничать в лесу, отверженный. В офицерский калачный ряд вышел из мужичьего гнезда. Страх за его судьбу не давал покоя Дымкову. Иван — худая трава, и ленив, и глуп. Александра, средняя дочь, сумела родить сына от ветра, нагулянного. А не он ли в узде держал их всех, чертей! Все за крепость двора боялся, а где она, крепость? Кому крепить ее? Об Агриппине, жене, не хотел думать: занялась богомольством и ничего не видит, не знает, кроме кросен. Как он любил во вьюжные вечера посидеть в темном углу на лавке и послушать этот тихий, напоминающий шорох дождя звук челнока! Только мечты — одно, а жизнь — совсем другое: некому было лен сеять, разваливалась жизнь. «Выродки!» — думал он без ненависти о семье. Единственный человек, кого он любил, кто безотказен был в работе и по-старозаветному предан ему, — сноха Марья, да много ли одна баба потянет в хозяйстве?

Рассвета едва дождался, чуть подсинило окна, встал, впотьмах надел черный с опушкой полушубок, валенки,

нахлобучил шапку и вышел во двор. Мороз сизым разливом коченел в полях. Двери в хлеву — в изморозной бели. Вынутый шкворень гулко лязгнул, ударясь о железную землю. В такой рассветный час Дымков любил заходить к скотине и лучше, чем с людьми, разговаривать с ней. Сметал пахучего клеверного сена лошадям. Тонконогая чалая кобылица, почуяв хозяина, весело проржала. Жеребец всем громадным крупом встряхнулся — хлев заходил ходуном.

— Прощай, парень! — Холодными ладонями хозяин гладил теплое его подбрюшье, пах, ноздри, отошел, не слыша своих ног, в другой конец хлева, к коровам. Они лежали рядом, две, пережевывая жвачку, дремали. Однорогая сонно обернулась, обдала теплым дыханием. За стеной, словно опомнившись, пронзительно крикнул старый петух, тотчас суетно забили крыльями молодые, отозвались жидкими, дрожливыми, испуганно-радостными голосами.

«Хорошо-то как, боже, ровно царство небесное, ежели бы не тягло, не хомут!» Дымков отошел, сел на лежащую в углу охапку сена. «Хороша сказка, да дурная явь — разве ж не раб я?! Ежели была бы мочь!»

Из забытья вывел его тихий овечий клекот. Он, устало шагая, заглянул в другую связь хлева. Восемь штук овец теснились вдоль стены. За овцами — свиньи. Племенная матка плашмя лежала на соломе, ожидая свой великий миг. «Скоро опоросится», — отметил Дымков, глядя на ее растопыренные набухшие сосцы.

Он испытывал радостное состояние покоя и почему-то одиночества. В нем, как угли в самоваре, все уже перегорело, хотелось скорей одного — освободиться от той тяжести, какую он долго нес на своих плечах крепкого и умного хозяина. Он понимал, что надо сделать сейчас то, что было задумано. Словно сама Россия в трудный тот час стояла над ним и терпеливо ждала, когда он разрешит трагичный вопрос жизни и освободится от духовных страданий. Поездка в Москву приводила его теперь к концу дороги, по которой Дымков шел вслепую. И он решился.

Затворив хлев, он в расстегнутом полушубке, несмотря на сильный мороз, направился прямо к хате Золотухина. Шел он медленно, надвинув на глаза шапку, невпопад ступая в заметенные рытвины. У ограды постоял;

жалость к себе, ко всему прошлому, к дому, к скоту, к прошлой нерушимой жизни опять с удвоенной силой вернулась к нему.

У него вспотели спина и шея. Он растерялся: «Кем я буду, хозяин? Господи, помоги мне!»

На дороге ему встретился Ведерников. Он внимательно взглянул в глаза Дымкову и, казалось, прочитал мысли, которые терзали его. Каким-то чутьем Мирон Ведерников догадался, куда тот сейчас шел.

— Ты куда это по рани, Игнат? — спросил он, не спуская глаз с его лица.

— Не знаю... Нет, погоди, я все обдумал, Мирон! — вдруг почти вскрикнул Дымков зазвеневшим голосом. — Семейка моя развратилась, мне Марью жалко, нам вдвоем с ней былую жизнь не удержать!

У Мирона задрожали концы губ, голос его сорвался.

— Ты что ж, ай в коммуну напрашиваться идешь? — спросил тихо.

— Я знаю одно: старая жизнь кончилась. Не нынче, так завтра. Единоличеству придет конец.

— Что ж ты, а? Господь с тобой! Боязно-то, а? Ты ж опорой мужицкой был!

— Но ежели вы ценили мой ум, то оцените его и теперь. Рано ли, поздно ли... со старым русский мужик прикончил. Я об этом ночами думал. Сердце, брат, удерживает, а ум велит. — И он решительно зашагал вдоль изгороди, вошел в хату Золотухина, у порога низко склонил голову, сказал тихо: — Созывай сход.

Он сел на лавку и даже не слышал ответа Золотухина, лишь с горечью подумал: «Пропади все!»

IV

Коммунары собрались не в нардоме, а в чистой и уютной горнице Левцова: тот хворал простудой, лежал на перине кверху лицом, обложенный по бокам сырыми отрубями. Они расселись около дубовой, с ясными шарами кровати. Пора была еще ранняя, но в лес они ныне не собирались: решили в воскресенье обстираться и отдохнуть.

Галина чинила карандаш и, поднимая глаза на Золотухина, взволнованно думала: «Никто не знает, что он

еще сделает завтра, потому что он решает вперед нас всех». Сидели, курили и до начала о том, о сем разговаривали. В хате было светло и душно. Печь только истопили, пахло щами. Под лаптями вскоре вытаяли лужицы. Холодное зимнее солнце косо и нежарко било в окна, на широких и чистых, будто натертых воском половицах вспыхивали лучи, отражаясь бликами на граненых шишках стенных часов.

Скрипела вербовая жердь за перегородкой, люлька на ней качалась, словно тысячи подвод ехали по нескончаемой дороге, по неоглядной России.

— Люлька-то небось ореховая? Это орешина скрипит, я ее где хошь узнаю, — сказал Кондрат. Ему неловко было после шума в лесу, он и сидел тихонько отдельно, около самого порога.

— Вербовая, — сказал Левцов.

— Вербы — оне тоже гибкие, — сказал Усинцов. — Дуги гнуть можно.

— Дуга хороша из березы, — заметила Марфа.

— А я, к примеру, из осин стругал, — сказал Лукашкин, удивляясь их постороннему и ненужному разговору.

— Это ты загнул: осина треснеть, трухлявка, — засмеялся Кондрат, прищуриваясь и как бы открывая в людях, которых он хорошо знал, новую черту хитрости.

— Прошу, товарищи, высказать свое мнение по поводу принятия в коммуну Дымкова Игната Гавриловича, написавшего заявление с этой просьбой. — И Золотухин кивнул Галине: — Читай!

— «Вступаю в коммуну «Власть труда» уполне сознательно и без агитации со стороны. При всем скоте, а также со всем как есть семейством. В просьбе желательно не получить отказа. Дымков». — Галина, разгладив и без того чистый, без единой морщинки лист тетрадочной бумаги в косую клетку, стала смотреть на Дымкова.

— Какие будут мнения? — спросил Золотухин.

И, спросив это, он догадался по выражениям на лицах: трудный предстоял разговор. Разные дела решали быстро и большей частью, к его великой радости, единогласно. Не считая зимней смуты в лесу, коммуна продолжала жить дружно, чего не понимали многие единоличники в деревне.

В наступившей тишине Левцов сказал:

— Не допускать его!

— Будем говорить доводами, — предложил Золотухин. — Товарищ Левцов, почему не допускать?

Дочь принесла Левцову пол-литровую жестяную кружку житного квасу. И, выпив сразу, он, кряхтя, в блаженстве откинулся на белые, расписанные петухами подушки. «Кто же из вас лучше: ты или он?» — вот что давно решал Золотухин.

— Спину пробивает наскрозь, такая ломота. — И Левцов начал доказывать: увертывался Дымков от разверстки, в своих руках держал сход бедняков деревни. — Не можем мы его принять, совесть не позволяет. Мы примем, так дети наши припомнют.

— Не крути, что-то мы не помним его увертыванья, — отрезала Марфа. Но Левцов словно не слышал ее.

— Скажи, Кондрат, скажи, Марфа, что получится от такой коммуны? Мы ее обуржуазим и принизим ее идейность. Мы сами! — продолжал он. — Никогда сытого к бедному не приравняешь. А ежели и приравняешь, то сытый над бедным обязательно встанет и командовать будет.

Все, как один, повернулись к Дымкову. Видели, что темные заскорузлые ладони его шевелятся, ползают беспомощно по коленям, точно что-то ищут. В упор они разглядывали этого великого хозяйского ума мужика, к которому шли за советами из окрестных сел и деревень крестьяне; такое его решение для них было неожиданным. «Зачем ему это надо?» — спрашивал каждый себя, потому что каждый из сидящих еще не знал, куда выведет та тропа, на которую они стали.

— Зачем ты идешь в коммуну, Игнат? Зачем? Скажи народу, скажи! — спросил Кондрат Стрекалин и весь подался вперед сухой грудью.

Горестная усмешка тронула губы Дымкова. Будто он какую-то тайну сейчас открыл, с этими словами Кондрата. И еще на миг изумился: так судьба повернулась — его судит когда-то нищий Кондрат Стрекалин!

— А ты сам?

— Жизнь пихнула.

Едва заметно усмехнувшись, спросил вновь:

— А ты мою жизнь знаешь? Вошел ты в нее?

— Кто ее не знает? Тебя все знают.

Дымков придвинулся к стене, борода его чернела оттуда и словно дымилась; глаза загадочно мерцали.

— Весь скот, а также инвентарь отдашь? — спросила Марфа с удивлением.

— Весь, — сказал он не мигая и быстро, очевидно уже как окончательно решенное.

— Не верю я! — вдруг воскликнула пораженная Лушка.

Галина подумала о Дымкове: «Как граф Толстой», — и повернулась к Лушке:

— Без веры в людей жить нельзя, страшная будет та жизнь!

Дымков тихо сказал:

— Прокляни неверие! Оно, Лукерья, дорого обходится людям. Дорого. В неверии хлеба не взрастишь, а ненависть посеешь.

Золотухин подумал: «Когда б не поделенная была жизнь: на сытых и на голодных, когда б с зарождения не образовались они так — вот жили бы люди! Да такое бывает если что во сне».

Затем, когда уже решили, с радостью сказал:

— Мы принимаем тебя, Игнат Гаврилович! Доверяем тебе, как труженику, — кулаком ты не был.

И это их торжество над ним, над его духом Дымков уловил. Он тяжело встал и трижды в пояс, поклонился, у порога, взявшись за скобу, обернулся и снова отвесил поклон, вышел.

«Вот, — сказал он себе, — был я хозяином, а стал коммунаром». Прислушался: на тыне Миронова за пустырем чекотала сорока. Он увидел на его подворье маленькую серую фигуру самого хозяина. «Слепец! Не сейчас, так завтра... Так хоть без позору!»

Неподалеку от своего огорода он придержал шаги, присмотрелся: семья его, вооружившись кольями, тесно стояла около хлева, выжидала... У Ивана кол мелко дрожал — держал в обеих руках. Дымков, увязая в сугробе, выломал из плетня дубину, надвинулся. Жена тряслась щеками — за ней пятились задами на крыльцо остальные.

— Вы чего перепужались? Чего встали, дурачье?..

После ухода Дымкова коммунары взволнованно обсуждали его решение. Затем перешли к насущным делам: как помочь нетрудоспособным, можно ли сокра-

тить паек общественного питания, как праздновать Новый год.

«Сотнями лет крестьянин-труженик объедался и грабился помещиками и разной сворой возомнивших себя хозяевами его. Старый, больной, он доживал свой век, умирал с голоду в своей черной хате. Не у каждого были дети, и не все дети кормили кормильца. Учредить поэтому и впредь оказывать помощь малосильным из средств коммуны. Конкретный размер ее выработать специально избранной комиссии. Комиссию избрать тайным голосованием».

— А как будем помогать? — спросил Кондрат, когда Галина аккуратно дописала последнюю строчку постановления.

Золотухин ответил:

— Товарищи, наши возможности покажут. Не станем гадать и натурально тратить время на говорильню. Словами детей не накормишь и штаны не сошьешь.

Перешли к общественному питанию: урезали до смешного — на душу по полфунта хлеба! На тех участках работы, где трудно, постановили — фунт. Полпуда картошки на общий котел — суточная норма, молоко с двенадцати литров урезали до семи.

Золотухин хмуро подумал: «Быстро мы узакониваем! Постановляем, а как живем?» — снова Золотухин оглядел просторный дом Левцова. Хозяин проследил за его взглядом и тогда догадался, о чем он думал... А Золотухин как раз остановился прищуренным глазом на том месте в простенке, вблизи икон в красном углу, где светлело пятно и даже мох зелененький проглядывал. Он, подтянувшись на носках, выдернул щепоть, понюхал, ссыпая зеленые волокна в трубочку, прикурил и, жадно затянувшись, выпустил горький дым.

— Даже в моей развалюхе под маткиной иконой тоже еще уцелел зеленый мох. Видишь, и у тебя?

«А картинка-то была тут... — вспомнил живо Золотухин, — рыженькая бородка, лента голубая... Икона, только с другого как раз конца».

— Не выгорел, вишь, мох-то? — сказал Кондрат, задирая голову и присматриваясь к пятну.

Левцов, отвернувшись, промолчал. Толстая шея его покраснела. Золотухин молчал тоже. И тогда Левцов услышал спасительный бас Кондрата:

— Послезавтра Новый год!

Все время молчавший Федор Усинцов при последнем вопросе мигом оживился, предложил:

— Отметить сообща, стол заготовить. Приволокнем самогону, пирогов напекем.

Золотухин видел, как Левцов вел глазами по стене, цепко отыскивая в фиолетовых сумерках, заполнявших прихожую, то злополучное светлое пятно, которое могло лечь на него самого другим совсем цветом... Золотухин между тем говорил:

— Товарищи! Очень важный будет в нашей жизни день — Новый год. Важнейший идейно! Встретим коллективно, весело, и дальше — подарки! Кто делал нищему мужику подарок? Какая власть? Примеров не знаем. Кому какой — по наглядности, чтобы человека обогрел. Подарки не одним коммунарам: всем, кроме братов Бабинцевых. А ежели они вдруг другими людьми станут... алчность проклянут, но только я не дуже верю в такую переделку, не верю, а все ж жизнь куда сложней, и всякое бывает...

Галине поручили нарядить елку в нардоме. Хуже получалось с подарками: брать их было неоткуда, но надеялись, что уездный Совет что-нибудь даст.

— Остается одно: наши мастерские, — сказал Кондрат.

Марфа его поддержала:

— И то правда: у нас есть кое-что пошитое! И можем поспеть еще заготовить, мы на это наляжем и сделаем.

Золотухин почему-то повернулся к Поршневой Лушке, у нее спросил:

— Есть?

— Найдем! — ответила Лушка.

У Галины заблестели глаза, но она опустила их, и тогда увидели все, что если бы нарядить ее, то могла она затмить многих писаных красавиц.

— Кроме пошивочной, выхода нет. На подарки раздадим все до последней вещи, — сказал Золотухин. — Наших дорогих женщин наделить подарками, а также детишек! В первую голову — сиротам Феклы! Нехай растут и становятся сильными и натурально смелыми людьми. И дальше — надо, товарищи, хоть с-под земли, а достать игрушек на елку! Для такой цели, думаю, надо

нам отрядить в город Галину: пущай она через культурный отдел Совдепа чего-нибудь добудет. Возражений нету?..

Когда Левцов остался один, он задумался о себе, о своем прошлом и будущем; в прошлом он был не понят, будущее никак не хотел связывать с такими, как Фекла или Кондрат. А на деревне помнили его слова: «Наполеон-то сам из простых кровей, бедный офицер, а вон куды сел!» Давались диву: к чему это он, об Наполеоне-то?

V

О Левцове говорили, что он забеглый. Но так называли приехавших, а Левцов хоть и не родился в Лукашовке, однако большую часть жизни прожил здесь: пристал к здешней в мужья. Родом он был покровский мужик. Покровские мужики — эта деревня находилась в пятидесяти верстах от Лукашовки, — приезжая в Торжок на ярмарку, рассказывали о нем диковинные вещи: то он на посиделках читал псалтырь, то читал свое же сочинение о вреде свободы для мужиков.

И, зная какую-то тайну, поблескивая глазами, говорил: «Блуднями станете».

Надел его и двор — с краю деревни. Он не въедался в пахоту, как другие, и на сходах развивал мысли о том, что одному «пахать, а другому свет искать». Это было туманно, но те, кто похитрей, поумнее, догадывались — и не хочет и боится он мужицкого равенства.

— Такого посади на трон, зануздает покрепше царя Миколки, — озлобленно мигая выпуклыми белками глаз и блестя углисто-черной бородой, говорил Федор Усинцов, не столько понимая смысл речений Левцова, сколько внутренне испытывая враждебность и неприязнь к нему как к мужику.

— Ему трон не в надобность, — сказал Дымков, но продолжить мысль отказался, сославшись, что «когда-то объясню», но так ни разу и не вернулся больше к этому разговору, видимо из желания не судить другого, что было его заповедью.

И нельзя сказать, чтобы держался заносчиво этот как бы остановившийся телесно стареть мужик. Но иногда брошенный им вскользь взгляд, полный затаенного презрения ловил на себе то тот, то другой лукашовский

житель. Единственный человек, которого он не то что боялся и не то что уважал, а как бы ставил наравне с собой, был Дымков. Он гораздо реже, чем с другими, встречался с ним. Как чувствует сильный зверь равную силу другого зверя, как тот зверь кружно обходит его, так же на отдалении, никогда не приближаясь, держался Левцов от Дымкова.

Когда создавались сельсоветы, Левцов, как самый грамотный (он кончил четыре класса церковноприходской) и небогатый, на сходе был избран председателем и вступил в должность. В бражинской хате, где разместился сельсовет, Левцов сидел за голым дубовым и залитым чернилами столом, за тем самым, за которым несколько лет назад сидел волостной старшина Рыбин и кричал бунтовщику Левцову, что свой удел всякому написан от роду. Как ни стыдно было сознаться самому себе Левцову теперь, но то были и его мысли. Он тоже так считал — всякий удел от роду. Он долго сидел в тот вечер за тем столом, ничуть не поражаясь, что его посадили: он словно знал, что это будет, рано или же поздно, и сбылось. «Сытый над бедным обязательно встанет», — говорил Антон Левцов. И недоговаривал, утаивая другой совсем смысл. Сытый встанет, потому что может, а слабый не в силах, и это, стало быть, удел его. Из запутанных тайников души выводил он свой закон. Он, может быть, даже должен был бы спасти и саму революцию, и все вместе взятое, как стадо овец, мятущееся человечество. Когда просили «соломки крыть хату», Левцов останавливал неподвижные глаза на этом человеке, говоря взглядом: «Ты всю жизнь будешь просить, таков удел, а тот-то и тот-то никогда не падет и не унизится — каждому свой удел». Он не отказывал, он давал и соломку, и лошадь подвезти дров, и находил печника переложить завалившуюся печку какой-нибудь солдатке. Но если у него с Дымковым было полное отчуждение, то с Макаром Люшней складывались странные и, со стороны людям казалось, даже и близкие отношения. Во всяком случае, до одного разговора. Разговор тот был как-то перед вечером, в начале лета восемнадцатого года, когда в открытые окошки несло уже сладкий хмель зеленых весенних лугов.

Макар зашел, чтобы попросить лошадь. Левцов под-

нял голову, внимательно взглянул на него, отчего Макар будто застеснялся за то, что ходит по земле.

И тогда Левцов облегченно вздохнул, убедившись в его бессилии, и сказал со скрытой усмешкой:

— Не дам, еще придешь.

Передергиваясь от злобы, Люшня молча, словно окаменел язык, вышел. В тот же вечер говорил на деревне:

— Волк прокаженный! Людей поделил, сволочь, и радуется. Гнать его с председателев!

— Ай не увидал ты себя в нем? — со смехом спросил Кондрат.

...После ухода коммунских Левцов долго и неподвижно сидел на лавке около окна, точно поджидая кого-то. Он не удивился, увидев напряженно возникшее в дверях лицо Золотухина. Он знал, что тот вернется.

Остановившись посреди прихожей, Максим взглянул коротко и пристально ему в глаза.

— Все ж таки прав я был, что отвел тебя от РКП(б). Разглядел я тебя! Перехитрил ты себя сам, Антон, и не по твоей дороге люди пойдут, как бы ни въедался ты хитрым умом!

— По моей, — сказал сумрачно, но спокойно Левцов. — Вы в идеях изговоритесь, излаетесь, а останется моя. Она одна останется, ибо всякому свое.

— Зачем же ты в коммуну пошел?

— Она куда лучше.

— Она все ж таки к братству придет, Левцов!

— Поглядим. Я, может, и рад был бы, чтоб пересилил ты мое понятие. Потому как я сам себе раб, крути не крути: у правды раб.

— Не запутывай, Антон, жизнь — ее для людей пора распутать!

— И не делайте вы ее сказкой, жизнь. Сказки-то хороши во снах, а куда хуже просыпаться.

Золотухин вышел, а Левцов встревожился: неспокойно ныне было ему.

VI

Сонной тишиной был охвачен лес на Длинной версте. Вдалеке, над черно накатывающим еловым бором, таяло белое лебяжье облако. Белка шарахнулась с соснового сука — Ивану Дымкову забило глаза снегом.

В испуге дернул шеей, отскочил к голому усохшему стволу осины. Страх прохватывал до дрожи в коленках, оглядываясь на дремлющую дорогу, условно свистнул три раза. Стал нетерпеливо ждать, посматривая в кусты. Не скоро в березняке показалась фигура громадного человека в волчьей шубе, на лыжах, он пригляделся и мгновенно скрылся, словно истаял. Спустя немного показался другой, уже без лыж, в коротком полушубке, в высоких валенках и в шапке, низко надвинутой на брови, — он сильным зверем подбирался к обеспамятевшему от страха Ивану. Но бежать было незачем — шел Михаил, брат, жадно шаривший взглядом по Ивановым карманам. В березняке неясно сквозь жидкую поросль замаячили двое — тот громадный, в дохе, и еще с кем-то, по пояс ему ростом, в ремнях по шинели.

Ивана поразила худоба Михаила. За прошедшие две недели, когда он видел его последний раз, он еще более осунулся, и на удлиненном, обросшем светлым волосом лице торчал заострившийся нос. Михаил хрипло закашлялся, а как приступ прошел, грубо спросил:

— Какие новости?

Вытащив из-за пазухи еду, Иван рассказал о том, что отец сводит в коммуну со двора скот. Михаил спокойно и молча слушал, лицо его, казалось, было бесстрастно; положив у ног узел, сел на заснеженную валежину. Иван стоял, вытаптывая мягкий снег, досказал:

— Заявление в коммуну подал!

Брат молчал, сам вытащил из штанов Ивана его кисет, высыпал весь самосад к себе в кожаный портсигар; свернув козью ножку толщиной в палец, сделал несколько глубоких затяжек, тогда сказал:

— Ты ему скажи: пусть не прыгает! Скажи, чтобы не рыпался! Не его это дорога. Я понимаю, что ему тяжко на наделе управляться, но зачем же ему коммуна? Я, братчик, облютел нонче дуже. — Он улыбнулся краешками черных губ. — Хотя до конца душа моя не убита. Порою страшно мне, Иван!

— Ты объявился бы власти, Михаил? — осторожно сказал Иван, раздавленный жалостью к брату.

— Поздно. Крови много было, невинной крови, поздно! — Он встал, легко толкнул Ивана в плечо. — Ну, беги, а старику скажи: пусть заберет эту бумагу! Знать дай и не забывай, Ваня: мы братья. Мы одни,

одни, одни братья на этой грешной земле. — Он пошел вглубь, а Иван побежал к дороге, оглянулся: Михаил широко заносил ноги, шел упрямо к березняку, где маячили две фигуры. Из чащи несло обжигающую стужу.

VII

Под самый Новый год домой в хутор на паре исполкомовских вороных явился Григорий Миронов. Первым въезжающего на двор Григория увидел маленький Федя:

— Маманя, глядите: татка едеть!

Тимофей Гордеевич сшивал хомут, неловко поднялся, накинул на плечи полушубок, вышел ставить лошадей. Старик принюхался — от сына водкой не пахло. Григорий, распахнув дорогой романовский полушубок, постукивая сапогами (старик отметил: «Голенища лакированные!»), шел энергично навстречу отцу.

— Здравствуй, отец!.. Про-о-мерз. Овес вон, целый мешок.

— Ступай, ступай! — ворчливо-ласково проговорил старик, посмотрев на высокую и сильную фигуру сына, на новый полушубок и на эти нездешние, дорогие, зеркально блестящие сапоги, в которых отражались снег и лапти старика. «В силе!» — подумал он, ведя по двору бурно всхрапывающих лошадей, поставил в стойло, направился к крыльцу.

Григорий крикнул из отворенных дверей сенец:

— Возьми мешок с гостинцами.

В дом разом пришла взвинченная радость. Суетилась Лукерья, спешно накрывая на стол. Марья развязывала мешок: кольцо колбасы, фунта четыре конфет в золотистой обертке, толстую штуку ситца в веселых, оранжево-ярких цветах.

От счастья она была ни живая ни мертвая. Улыбаясь мужу, ласкала взглядом его сильную, так знакомую фигуру, неотвязно думала: жена ли ему ныне? У старика ласково светились глаза, пока Марья опорожняла мешок: при виде прибыли он всегда добрел. Один человек в доме далек был ото всего — увечный Яков. Выставив горб, смотрел с печи то ли на них, то ли выше голов в окно, выше их суетности, сердечных обмираний и восторгов.

— Тебе, Яков, держи. — Григорий протянул ему отделанный серебром ремень. — Подарили мне.

Яков глядел на брата темными глазными ямами. Григорию стало жутко, он отвернулся.

— Спасибо, брат.

«А ить с Гришкой неладно будет», — отчего-то подумал Яков, продолжая не шевелясь сидеть на печи.

Ужинали сытно и много. Старик все время чувствовал, как исходит от Григория чуждый ему городской дух. Григорий выспрашивал о хозяйстве двора, о коммуне. Когда Тимофей Гордеевич сообщил, что приняли днями Дымкова, Григорий положил на стол деревянную ложку.

— Не ожидал! Интересная новость! А Бабинцевых братьев не принял?

— Те, чай, не попросются, — отозвался, качая головой, отец.

Старик присмотрелся: в шапке темных волос Григория, особенно у висков, сквозила седина, и все время не разглаживалась на лбу морщина, чужеродно, меняя очертания лица, острыми стрелками торчали недавно отросшие усы; озабоченными оставались и его глаза. Марья принесла шумно поющий медный самовар. Григорий, вывернув руку, похлопал жену по узким, но сильным плечам — та будто онемела, села рядом, налила мужу глиняную чашку:

— Пей, Гриша.

— Вишневым листом, что ли, заваренный? — спросил Григорий, нюхая ароматный пар.

— Вишневым, — сказала Лукерья. — Ты ить любил!

За окном хрустели на морозе углы дома. Григорий закурил из отцова кисета, спросил:

— Николай?

— Один на кордоне, — старик жалко повел рукой и нахмурился. — Один!

— Значит, Ганна ушла в коммуну?

— Ушла, — глухо ответил отец, согнувшись глядя на угол печи. — Стало быть, припекло. Души ее, выходит, Николай не знал.

— Не туда ногами ходит, — сказал Григорий о нем.

Лукерья уронила от волнения чашку, руки старухи дрожали, а Григорий отметил впервые за долгое время: «Старая мать стала. Любил же я когда-то свой двор!»

— А я знал, не получится у Николая счастья, — сказал за трубой Яков и засмеялся.

— Ты умолкни, урод! — ударил кулаком по столу отец. Но не страшно было, не как раньше, годы и заботы подраздергали и старика, петушился он уже по-старчески суетливо.

— Что ж, Николай в коммуну не хочет? — спросил Григорий.

Тимофей Гордеевич насупился.

— От людей хоронится. Волком стал.

Григорий плеснул самогон в стакан.

— Вы все хороши, — помолчал и жену, от счастья замиравшую, опять погладил — при всех, не стыдясь: натосковался. — И ты, батя, сидишь на бугре, а жизнь — она клинья вышибает. Не понимаешь?

— Ты не ори, тут тебе не сполком. Ты у родителев в доме. Взял волю! — поднял голос и отец.

— Единоличностью хвораешь, ты это запомни!

Старик поднял на него словно омытые поголубевшие глаза, жалко покачивая головой, встал и тут же сел обратно, раздавив локтем блюдце. В глубине глаз дрожали слезы — их один Яков увидел, даже с печи, а они близко не увидели. «Григорию обиду отцову не понять, — отметил он. И еще о себе подумал: — Все-то я вижу, а мне не верят...»

— Мне на наделе не усидеть, Гришка, — не скоро и приглушенно заговорил отец. — Вы нешто мужики? Хоть ты, хоть Николай? Егор далече, того и не жди — военный. Земля — вон, а пахать кому? Бабам? И то, Маша как живеть? Ты как ее теперь поставил? А?

— Иль я от жонки отказываюсь? — Григорий гладил Марьину руку; та смутно и томно улыбнулась ему сквозь махорочный дым, как сквозь теплый туман. Сидела, боясь шевелиться.

Легли рано. Яков, лежавший на печке, ночью слышал тихий, будто полузадушенный, смех Марьи за перегородкой, ее урывистый горячий шепот; он думал: «Беда будет у Гришки... Мое-то сердце знает. Люди махонькие, что они видют?»

Проснулся Григорий от громкого и отрывистого петушиного крика; еще из-под горы доносилось: дзинь-бум — били по рельсу в коммуне. «А разве не я сам ушел испытать себе другую судьбу? Нешто жалею?»

Вошла Марья с мучными, далеко в стороны отставленными руками, брови у нее заломились на лоб, под глазами синеватые лежали тени, сказала низким голосом:

— Ты встал? Батя к Николаю собирается. Поедешь? — И, не дав ответить ему, вся потянулась, как березка, расправляя на заре веточки, к теплому солнцу. — Езжай, Гриша! Рубаху я погладила.

«Куриное ее счастье», — подумал Григорий, но в прихожую он вышел в приподнятом настроении, оживленный. В доме стоял густой запах еловой хвои — кругом было разлито здоровье, покой и что-то давнее, далекое, хорошо известное и забытое, почти забытое им. «Батя хочет удержать старую жизнь, чудак!»

Отец стоял посреди прихожей.

— Смотаем к Николаю? Мать во сне его видала.

— Ладно, — согласился Григорий и думал, со вчерашнего вечера думал он: «Дымкова... вгоняют в социализм!»

По деревне проехали в один миг, только возок закидывало на раскатах. Около скотного двора толпились бабы и виднелся высокий худой Кондрат Стрекалин. Все они обернулись и, как уловил Григорий, с каким-то ожиданием смотрели на пролетающий мимо возок. «Свернуть к ним? А что это даст? Разговор наверняка не выйдет — разные у нас понятия». И Григорий плотней надвинул на глаза меховую шапку. Уже ничто не связывало его с этими тихими, совсем немыми полями, с берегом Угры, с глиной на наделах, с черными хатами на буграх. «Какая ж она убогая и малая!» — подумал он о деревне.

VIII

Отец и сын небыстро ехали лесной дорогой. Они как бы внутренне примирились, и словно не было сейчас между ними прежних натянутых отношений. По крайней мере, так хотелось думать Григорию, и, вполне довольный встречей в родительском доме, он был в приподнятом настроении, чего нельзя было сказать об отце. Но их разный внутренний настрой, казалось, не отражался на них, когда они обращались друг к другу. Тимофей Гордеевич проследил след зайца, который обрывался около дороги, прищурился на сына, спросил:

— Чего же ты хочешь, Григорий? — И чтобы не

осталось у сына неприязни к этому разговору, он дрогнувшим голосом почти воскликнул: — Господом богом прошу: не лезь ты на рожон!

Григорий не ответил; он знал хорошо отца, его приверженность земле, он был в деда, и ничего не видел вокруг, кроме двора, и всеми силами мужицкой души хотел, чтобы он уцелел, выстоял бы в этом неспокойном мире.

— Ить скоро драка у вас будет? — спросил отец.

— Будет, — подтвердил Григорий.

— Весна близко, а сеять кому? — Старик хотел говорить что-то значительное, касающееся земли и дальше, но Григорий повернул к нему лицо, спросил с иронией:

— А ты разве не сгорбился на своей земле?

— Она наша мать-кормилица! — с гордостью воскликнул Тимофей Гордеевич.

Выехали на поляну, и показался Николаев двор.

— Жить только некому, — вздохнул горько отец, глядя на новый дом.

Въезжавших вороных Николай встретил на крыльце. Угрюмо и недоверчиво приглядываясь к ним, пошел отворять ворота хлева.

— Здорово! Коней выпрягать?

— Мы ненадолго. — Тимофей Гордеевич мысленно продолжал еще спорить с Григорием, был внутренне распаленный.

В доме была жарко натоплена печь, окна запотели. Перед их приездом Николай вынул из печи хлеб; из-под грязного, в красных петухах полотенца тянуло сладким паром, на столе валялась ободранная с исподу хлебов труха кленового листа; с краю лежал пук бурых, горько пахнущих табачных кореньев.

Григорий разлил самогон по нечистым стаканам, в уме отметил отчужденность брата: «Травленый!» А мог бы в партию вступить, самое время...

— Холостяк наш! — сказал отец и горько засмеялся.

Николай сердито и насупясь смотрел на них обоих.

— Ты меня не жалей, я в том не нуждаюсь.

Григорий холодно смотрел на брата.

— А в каком положении я? Чтобы вами укоряли! И тобой и батей.

Отец желтыми, но крепкими — к пятидесяти пяти

годам ни одного не уронил — зубами разгрыз луковицу и сказал подмигивая:

— Нами, вишь, гребует!

Николай привстал с лавки, но сел обратно и спросил:

— К каким мне людям идти? Где оне, те лю-ю-ди-и? Кальеру тебе, что ли, порчу?

— Дурак ты, — тихо и незлобиво отозвался Григорий.

Он с жалостью смотрел в одинокий голубенький глаз брата, переводил взгляд на страшные, закоренелые в работе бугры ладоней, на растоптанные сапоги... «Батин путь — сгниет в хомуте». Николай низко нагнулся: от гимнастерки, потерявшей цвет, ударило солью пота, горькой полынью.

— Выпить нынче не всякий-то раз. Ну-ка, батя, давай за Гришку — он у нас генерал!

Грудью навалился на стол, забил мелко-мелко кулаком по краю, глаз его увлажнился, но ни одной слезинки не выкатилось, он, поборов секундную слабость, умолк, тихо попросил:

— Батя, затяни-ка служивскую? Душа щипет... жизнь, черт!

Старику петь не хотелось — так и крикнул бы на весь оцепенелый лес, изливая наболевшее: за них боялся, за двор свой: пахать было некому!

— Постой, — сморщился вдруг и беспомощно провел руками по столу он. — Ганна-то как? Али волком сидеть будешь? В лесу?

— Покуда не помираю!

— Я спрашиваю: с Ганной как? — Тимофей Гордеевич повысил голос, продолжая ненужно двигать туда-сюда по столу руками.

Николай распрямился, встал, стоя глядел, сверлил отцову голову из-под самого потолка.

— Отломанную ветку не слепишь. Знаешь! Другую бабу найду. Все Золотухин, сволочь!

— Он тут ни при чем! Видал? — Тимофей Гордеевич живо повернулся к Григорию. — Другую искать хочет? Кривой!

— Ныче и на кривых спрос, не лайся. А я ишо быдто-к не последний. — Голос Николая прошился обидой.

Когда вышли выводить лошадей, Григорий, уже вле-

зая в возок, снова предложил Николаю проситься в коммуну и заговорил о скорых и больших переменах в деревне... Николай с тем же упрямством и твердостью отказался, поражая Григория своей приверженностью к старине. Ему было непонятно это. И, не понимая ни его души, ни вообще его жизни, решил больше не говорить об этом.

Около дуба, поправляя кнутовищем шлею и оглядываясь с тоской на новый двор Николая, Тимофей Гордеевич кивнул на громадное вековое дерево, сказал:

— Тоже один, вишь, а стоить....

— До поры до времени, — любуясь могучей силой дуба, отозвался Григорий.

Вернувшись домой в хутор, еще распили они бутылку самогона, и Григорий лег спать. Проспав часа три, он стал собираться в город и велел отцу запрягать. Мать и в особенности Марья упрашивали его заночевать, но он отказался наотрез. Он хотел уехать сразу, не желая видеться с Золотухиным и говорить с ним или с кем-нибудь из совета коммуны. Но какая-то сила удерживала, и понял: ждал, когда они придут к нему сами, как к руководителю уездной власти, хотя бы для того, чтобы поздравить его с выдвижением. Старик исподволь чувствовал Григорьево смятение и, переживая, с тактом ждал, медлил запрягать лошадей.

— Пойду... в деревню, — сказал наконец сухо Григорий и направился прямо к хате Золотухина. «Чего он ждет? На какую силу надеется?» И, думая так, Григорий, подходя к хате, опять испытал чувство неуверенности и, может быть, даже удивления перед этим человеком.

Дверь в хате была такая низенькая, что Григорий едва в нее влез. Как он вошел, так оттуда, посторонившись, вышли Марфа и Кондрат; в дверях они сдержанно поздоровались с ним. Сам Максим утюгом, доверху набитым красными углями, гладил сатиновую рубаху. Солдатские штаны выглаженные висели на гвозде, а сам он был в каких-то коротких, еще ребячьих, сбереженных матерью, — худые волосатые ноги были голые до колен.

— Здравствуй, Максим, — Григорий, шагнув от порога, остановился посреди хаты.

— Здорово, Григорий! Смотри-ка, ты и с усами? —

удивился, ставя на загнетку утюг, Золотухин. — И я скажу, что идут оне тебе, бравый ты при них.

— Брось! Нам об другом надо вести речь, — нахмурился Григорий. — Ты яму себе вырыл?!

— Не зарекайся насчет ямы, знаешь!

— Твое дело решенное и проигранное.

— Вовсе и как раз зря. Давно ты так наперед решаешь?

— С самой революции!

— Все ж, Гришка, не загадывай. Покурить у тебя нету? Мы тут без махорки.

Григорий кинул кисет на стол, отвернулся к окошку, постоял, молча о чем-то подумал.

— Ну вот, — сказал и повернулся, подошел быстро и положил руку на плечо Золотухину. — Последний ведь разговор. А разговора не выходит. И по-братски жалею я, — добавил он, — свой ты!

Максим сбросил его руку, мимолетно вспомнил подсолнухи... Любили они лазать по хуторским садам: ползешь затаив дыхание вдоль забора по крапиве, меж грядок кувыркаешься, тянешься к подсолнуху, сейчас же налапаешь руками горячую золотую голову, пригнешь, чиркнешь ножиком да скорей за пазуху, и только пятки мелькали.

— Жалею, — повторил Григорий. — А вдарят, Золотухин! Хотел я добра, тебе его хотел, товарищ Золотухин! Как коммунисту и опять же сельчанину хотел, но отверг ты мое добро!

— А усы тебе идут! Оне и к лицу, и даже в самый раз к твоей хромовой одеже. Долго растил-то? Я вот однажды пробовал, да не вышло.

— Шутишь?! — крикнул уже со злобой из сенец Григорий. Мелькая полами романовского полушубка, скрипя хромовыми сапогами, он торопливо вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Переметенная стежка обрывалась шагах в пяти от крыльца. Окошки были тряпками заткнуты, стропила во многих местах оголились от снесенной ветрами соломы, черно и сиротски смотрели в ватное вечереющее

небо. Кривым перстом под этим холодным небом темнела труба: сколько же пронеслось вдовьих, тоскою наполненных ночей? Он знал хорошо: детные вдовы отчего-то боятся ночей. Ему вспомнилась, пока он шел по стежке, Наталья Бабинцева, жена, — смешно это было и сказать: жена!

Таким уже бесконечно далеким казалось ему то, совсем еще недавнее время, что даже представлялось порой это ненужным сном.

«Тогда ты натурально хотел счастья, и оно было бы, но ты его не захотел, тебе мало того показалось, а разве можно без счастья жить? Вот как, товарищ председатель коммуны, товарищ дорогой! Вот как! Голая-то идейность тоже человека обстругивает».

Когда он ступил на забитое снегом и почти невидимое крыльцо, он увидел, что дверь была не на петлях, а приставлялась, что считалось еще исстари разорением двора. Дверь эта тоже вдовья была! Еще он увидел около стены кол: им она, баба, подпирала дверь, когда ходила куда-то в деревню. Другая дверь, из холодных сенец в хату, была опутана морозной белью и неровно, клочьями, чтоб уберечь тепло, обита тряпками. «Крайний разор, — подумал горько Золотухин, — и всюду он и во всем». Отворив дверь, он сразу же за собой с гулом плотно закрыл — баба сердито глядела на него: лезет зачем-то, леший, холод в хату несет! Дети ее, худой, бледный, с огромными глазами мальчик лет семи и девочка годом или двумя старше его, смуглая и длинноногая, вся, как в кружеве, в веснушках, сразу показали ему своими глазами: «А мы татку ждем!» Мальчик хотя и вскользь, но жадно сразу же скользнул глазами по его карманам, и Золотухин из правого кармана вынул тряпицу, извлек оттуда четыре угловатых кусочка сахара, сказал:

— Отдай им, чертенятам. — Он положил бабе сахар в ладонь.

Та смотрела, не понимая, то на него, то на кусочки белого сахара, встала с лавки на крепкие, молодые, сильные ноги, не зная, что делать.

— Зачем? — спросила она шепотом.

— Зачем, зачем! Эх ты, Полина...

Мать отдала сахар детям.

Посередине хаты стояла железная бочка с вырублен-

ной дырой для жаровни, а труба коленом выходила в окно и упиралась в самый сугроб, по нему расплывалось мутное пятно сажи. Золотухин вынул из шинели еще маленький сверток, протянул его женщине и сказал:

— Новогодний подарок!

Там было платьице, штанишки детям, а ей кофта из синего, кем-то уже ношенного, но еще нехудого шелка.

— Нет, нет, зачем? — почти вскрикнула она с испугом. Это так поразило Золотухина, что он испытал прилив слез к глазам, но он решительно нахмурился, не желая, чтобы женщина рассмотрела их.

— Глупая ты, бери!

— Задарма?

Приняв в руки вещи, она рассматривала их на свет, удивляясь: как узнал, что ей так это все нужно! Она засмеялась тем особенным смехом счастливой женщины, значения которого никогда не понимал Золотухин, и сейчас он смутился. Ему показалось, что даже ее руки в трещинках, в мозолях, даже обноски-валенки и сама черная хата выглядели сейчас веселей. «Холодно же тебе жилось! Холодно!» Посидели в молчании, слушали шепот детей на печи. Пахло ими, детьми, и еще ею, матерью. Тогда он удивился:

— Смотри-ка, какие у тебя карапузы уже!

— Дело нехитрое, Максим.

Полина покачала головой, задумалась и, думая о чем-то своем, сказала:

— Безбатьковщина.

— Шустрые растут! — похвалил Золотухин и прислушался: граммофон, только вчера добытый, ревел уже на всю деревню, ныне в коммуне веселье было. — Собирайся, пойдем! В нору ты забилась, а так нельзя, нельзя!

— Куды иттить?

— На елку, в нардом!

Она, стыдливо краснея и обдергивая на коленях старое платье, отодвинулась в угол.

— В отрепках я не пойду.

— А мы цари?

— Зовешь ты всех?

Он тоже покраснел почему-то и долго молчал, чувствуя себя неловко. А после сказал:

— Тебе все, бабе, знать хочется. — И, вновь сде-

лав паузу, добавил тихо: — Тебя в отдельности зову. Нынче у нас праздник!

— А сердца у тебя, у самого-то, хватить на всех?

Но Золотухин на это не ответил. Он о другом думал уже и спросил:

— Петра-то твоего я не помню? Ты в мою отлучку замуж выходила? Это когда я в царской службе был? Он сам же из какой деревни? — И пригляделся к фотографической карточке в простенке, с нее смотрел скуластый толстогубый парень с кудрявыми волосами.

— Из Плоскова.

— Где его пуля нашла?

— В Сибири. Мне оттудова бумагу прислали.

— Колчак, значит! Бери детишек, сейчас же веди в нардом! Пущай елку нарядную посмотрят, и гостинцев им там ишо дадут. Нам всем греться надо друг около друга! Для того и заваруху затеяли, поняла? — Он приблизился к ней, отчего ей в голову кинулась кровь, и стало страшно, будто остановилась перед пропастью; блестевшими глазами она внимательно смотрела ему в зрачки, губы ее шевелились, а тело обмякло, опускалось куда-то в пустоту: еле держали ноги.

— Отпусти, ради Христа, не мучай... — сказала хрипло и невнятно.

— Иди туда! — И он встряхнул ее. Баба точно проснулась, ноги у нее окрепли, и она отчего-то всхлипнула. — Пропадешь, дура! Ах, дура! — И теплей, мягче, но с той же угловатостью повторил: — Иди, иди! В коммуну иди!

— Я сейчас, — прошептала она, наклоняя голову.

— Другой разговор! — похвалил он и вышел, шагнул на мороз, совсем не чувствуя обжигающего холода.

II

Золотухин шагал мимо старой риги. В морозной тишине явственно слышались сочные выхлесты теребимого льна за полуотворенными воротами, изнутри едва заметной золотой полоской, духмяно пахнущая, била сухая темная пыль. Золотухин постоял у ворот: «Кто-то запозднился?» Шагнул и тотчас увидел, как, не спуская с него глаз, из глубины шла к нему Ганна словно тан-

цующей походкой. Губы, глаза ее не то смеялись, не то таили какие-то желания... Подошла близко, коснулась его шинели высокой грудью, сказала почти одними губами:

— Ну?

— Ты зачем тут? Люди празднуют, бросай, Ганна!

— Докончу и приду. А я тут тебя ждала. Тут так чудно пахнеть... Ну, мужик? Ну?.. — Глаза ее горели, сверкали из-под потных и курчавившихся завитков волос.

— Ай трусишь? — Она задышала в лицо ему.

Он, оторопев, смотрел на нее.

— Ты это оставь... Черт тебя знает! Баба ты какая... — бормотал Золотухин, боясь смотреть в ее раскрасневшееся лицо, в эти тянущие к себе глаза, и вдруг обнял.

Она засмеялась по-голубиному, но оттолкнула резко.

— Мне мужицких оглодков не в надобность! Блохи сенные... Нешто мужики!

Тогда он тоже в тон ей сказал:

— Мужик все ж таки не кролик! В моем хотя бы понятии. От одной да к другой бегать, оно вовсе не геройство. Кастрировать надо! Я тебе тоже не в надобность — обрубок. Минутка такая ни тебя, ни меня не устроит... А баба ты что надо, гордая баба — хошь королю. Я бы посогрелся, самой же тошно будет... глазами глядеть. Иди в клуб, Ганна!

Она не ответила ему, низко нагнувшись, что-то суетливо искала на току и не видела, как Золотухин тихо-тихо вышел.

Жизнь Ганны круто переменилась с тех пор, как ушла она от мужа с кордона. Нельзя было сказать, что она стала веселее и что в нынешней ее жизни было счастливо. Но все в деревне заметили, что после ухода с кордона в Ганне появилась сдержанность и упорство. Жила она по-прежнему с краю деревни у дальней родственницы — глухой, как стена, старухи Матвеихи. Казалось, она ушла от всяких житейских соблазнов, бросила дерзить старым людям, не насмешничала, больше следила за своей опрятностью и на всякие разговоры, как она думает жить одна, отвечала уверенно и твердо:

— Мне не нужон мужик. Я такого счастья испытала и больше не хочу.

И она говорила это искренне. Ганна уверяла теперь себя, что все ее прошлое навсегда отрезано — да так это и было на самом деле — и что дальше нужно жить совсем по-другому: коли не испытает большой любви, никакой связи с мужиками не иметь, и пусть будет так до смерти. Внешняя привлекательность ее еще не увяла совсем, она по-прежнему была хороша собой, только тонкие морщинки легли около губ и глаз. Иногда она думала о Золотухине, мечтала о несбыточном. Но минута эта проходила, и трезвый рассудок говорил ей: «Не надо обманываться, тебе не суждено быть вместе с этим человеком. Да и есть ли в тебе самой любовь к нему?» Трезвый этот голос заставлял ее осуждать себя. «Ни он, никакой другой не нужон мне. Одна проживу и сына выращу», — говорила себе Ганна. Старая Матвеиха присматривалась к ней и одобряла такую ее жизнь, но вздыхала, когда глаза ее останавливались на мальчишке.

Через день Ганну встретил около речки старик Миронов — вел поить коня.

— К Николаю, чай, не думаешь воротиться? — спросил он осторожно ее.

— Никогда, — сказала она решительно и добавила: — Но зла я на него не держу.

— Оно-то так, да дите у вас, — заметил Миронов.

— Выращу.

На том они и разошлись и больше никогда не заводили разговора.

Оставшись одна в риге после ухода Золотухина, Ганна обругала себя за минутную бабью слабость и дала себе зарок больше никогда подобного не допускать. «Я живу для сына и для общей работы — вот и все», — сказала она себе спокойно, твердо.

Он же шагал к поповскому скотному двору. Во дворах то тут, то там слышались оживленные голоса. «Люди-то разбужены. И весь вопрос — привлечь их к артельной жизни», — все чаще и чаще теперь так думал Золотухин. Мысль не праздная была, а рабочая, тяжелая мысль! Тем более впереди борьба была, он чувствовал, как близилась и надвигалась валом она. «Силу мою спытывал Григорий». И еще подумал шагов через

десять: «А Ганна? Не я ли всему виной? Может, на меня хорошая баба понадеялась, мужа законного бросила, а зачем я ей?»

Дымков один был в скотном дворе. Он работал конюхом в коммуне, приходил раньше доярок и покидал скотный двор чуть ли не в полночь. Два его чалых коня стояли тут же в станках, а за ветхой дощатой переборкой, на прибитой соломе, на старой черной шубе он иногда дремал и даже, случалось, спал тут и ночью.

Столько поработал за жизнь — нажил этих двух коней и старую шубу! К столбу он прибил железный ведерный бачок, приспособил его под рукомойник, поставил под него лохань. Еще висело холщовое полотенце. В углу он устроил сбруйную: хомуты, шлеи, уздечки, дуги, седла — все, что валялось в разных местах и как попало, он развесил по крюкам, а над каждым из них написал углем лошадиные клички. На своем дворе у него был этот же порядок. Никому не позволял его ломать. Дымков прислушался — гомон, доносившийся от нардома, не вызывал у него радостного чувства. И тут впервые он подумал: праздника ни в хлебный, ни в плохой год он не видел. Во все праздники был либо около скота, либо в поле. Громко чирикали воробьи под стеной, наплывали тихие сумерки. Он был один, любил эту тишину, когда никто не мешает, когда ты сам почти слышишь, как поют твои работающие руки. Скреб железной лопатой проход, иногда вытирая потное лицо чистой тряпицей, курил и снова скреб, пока лопата не уперлась в рыжие носки солдатских сапог Золотухина. Подумал: «Колесной бы мазью смазал». Дымков разогнулся, поставил лопату, вытер о полу руки и молча направился на другую половину скотника, где стояли коровы.

— Видишь? — Он ловко, подойдя к корове сбоку, щупал ранки, трещины. — От грязи. Надо промывать теплой водой. Хорошо вяжет крушина. Прикажи дояркам, пущай обмывают или смазывают салом. Пригляди, хозяин, чтобы соски смазывали, не хлеб, — сказал Дымков. Лицо его стушевалось пятном, в сумраке низкого скотника чисто белела стекавшая на грудь борода.

— Удержимся, хозяин?

— А сам ты, Игнат Гаврилович, как считаешь? Ты?

Дымков сел рядом, сразу не ответил.

— Не знаю, — сказал он. — Дураков много!

— А ты скажи: во всех оне народах, дураки-то?

Дымков блестел зубами: из деревенских он один их чистил какой-то травой, всегда они у него были белые, туго сбитые, крепкие.

— Во всех. Такого добра хватает. Рубит сук, на котором сидит, а потом знаешь как бывает — удивляется? Оглянется — и кулаком в грудь. И все-таки я скажу тебе: мудрости народу не надо занимать, есть она у него. Мудрость-то эту мужик из земли вытягивал. А куды деть ее, ты знаешь?

— А ты? Пришел в коммуну, а сам не веришь нам.

У Дымкова ответ был заготовлен, сказал быстро:

— Боюсь! Захиреть можем в своей маломощности.

— Республика подсобляет и нам, коммунарам, и товариществам различным.

— А вон сколько распалось их. Человечность надобна... А то больно скоры на слова лихие. Взять того же Григория или еще кого.

— Скажи мне, Игнат Гаврилович, что потянуло тебя к нам, в коммуну?

Дымков зажег фонарь, желтый огонек дрожал и скользил по новой бревенчатой стене, в пугливом кругу света неясно виднелась великолепная голова лошади, и какой-то умиротворяющий, добрый покой разлился в сумраке, в тепле, и думать хотелось о добре и веселости.

— Видал я его, товарища Калинина, — сказал Дымков. — Истинному сеятелю-крестьянину помочь хочет. Понимает: Россия без такого истинного, стало быть, обойтись не может. Как после пожару, запустеет нива. А рази мало в России кинутой земли? Пустой? Я-то понял: земли он этой пустой страшится. Ему я поверил, что от сердца желает он хорошей жизни крестьянину.

— Это, товарищ Дымков, правильно. Но он хозяйский двор понимает не как наживание излишнего богатства нынешнего хозяина, а заботится соединить крестьянство в новой, досель еще неведомой коллективности — на пользу народу.

Далее, кулак не кличка, не всякому на лоб ярлык этот клеит наша Советская власть. Трудящему мужику не клеит. Совсем не всякому хозяину с двумя-тремя ко-

нями. А тому, кто наживается на слезах вдов и малолетних, на бедности односельчан. Это ты и сам знаешь...

Дымков молчал.

Золотухин удалился, тоже не молвя ни слова.

III

Освещенная тремя лампами и двумя фонарями «летучая мышь» елка тихо стояла и горела посреди нардома. Пахло свежей хвоей и дубленой овчиной шуб. Шли старики, бабы и детишки. К семи часам вечера нардом был набит до отказа. Ребятишки оседлали печку, подоконники, углы. Старики тесно сидели по лавкам. Вдруг все осознали — можно жить в мире, без злобы, без мелких житейских распрей. Тихонько плакала и сморкалась в рукав поношенной курты старая Хавронья Филиппенкова. Ныне она сытно поела в обед — тут же в нардоме за общим столом: ели жаркое, сметану, тушеную картошку, жареные потроха.

Когда Золотухин вошел в клуб, там продолжалась раздача подарков коммунарам и единоличникам. Марфа, возвышаясь посреди зала перед нарядной елкой, вызывала по имени и отчеству, говорила громко:

— Коммуна «Власть труда» дарит тебе одну пару галош.

Женщина подходила к ней брать, но выдавала не Марфа, а Галина, словно подросшая в своем темно-вишневом, глухо застегнутом платье.

Старику Порфирию Кожушенкову досталась трубка. Диковинная, с длинным мундштуком, нездешняя и бог ее знает как занесенная в уезд, с серебряной резьбой, — вместе с другими подарками Галина сумела добыть ее в Высокове.

— Ты спробуй, можа, и курить-то нельзя, — сказал Кондрат, смотревший на трубку как на баловство.

Порфирий непонимающе вертел трубку, оценивая ее достоинство, и спросил:

— Сколь за нее дадуть? — Бережно положил трубку в карман, внутрь холщовой рубахи, застегнул пуговицу и снова спросил: — Сколь могуть?

— Ить он курить... не будет, жадоба, — смеялся Лукашкин, примеряя на себя рубаху темно-синего сатина.

Бабы, старики и девки, оживленные и ожидавшие

своей очереди, заглядывая через головы, топтались у порога нардома.

Здесь свой товар выставляли швеи. С таким трудом налаженные мастерские как-никак, а коммуну обшивали. Правда, одежда получалась неважная, шили кустарно: была всего одна ножная машина. Раздали подарки чанцовской бригаде: они все еще старались быть в стороне. Сказывалась старинная междоусобица: Лукашовка и Чанцово враждовали испокон, случалось, по пьяному делу дрались. Парни уходили с вечеринок ободранные, девки боялись на улицу показываться.

Неожиданно под окнами нардома заскрипели сани и послышался хриплый, простуженный и грубый голос какого-то человека. Кондрат первым увидел в окно подводу.

— Никак в гости кого-то бог несеть? — сказал он.

Все обернулись к входной двери. Из сеней шагнул весь белый с головы до ног, в женской шубе на сборках, в подшитых валенках, подпоясанный веревкой незнакомый мужик. Войдя, он опустил посреди комнаты большую хворостяную корзину и, ни слова не говоря, не здороваясь, стал развязывать холстину, которой она была укутана. Лукашовцы придвинулись к нему и окружили его. Тогда увидели — вынимал он из корзины этой гребенцы, валенки, ботинки, куски мануфактуры, новенькие, шитые из ситца кофты, платочки и, к великому их удивлению, с самого испода гармонь. Это, видно, был и вправду добрый человек. И выходит, не были они сиротами, что думали о них где-то там люди в этот тихий морозный вечер.

— Нам? — спросила Лушка Поршнева, засматривая в таинственный короб и не веря своим глазам. — Нам?! — крикнула она вдруг судорожно, мотая головой и всхлипывая.

Человек распрямился, обвел глазами этих людей, ради которых чуть не замерз на дороге, зачем-то поправил на голове шапку и, как в диком лесу или как глухим людям, закричал:

— Ай не веришь в помощь? Ай сама ты по себе живешь? Пришло вечером из губцентра. И вот имеется распоряжение самого товарища Грибцова раздать вам.

Несмотря на уговоры остаться ночевать, он наотрез отказался, решив ехать сейчас же обратно, выпил ста-

кан самогону, свернул папироску, радостно оглядел людей и тихо вышел вон, под стужу и ветер.

А люди, как бы оцепенев, стояли над корзиной. Золотухин, в стороне посасывая из кулака трубку, смотрел на людей. «Родимые мои! Что вы видали за жизнь! Как же я всех до единого бедных, невздольных обогреть хочу!» Еще пронзительнее о матери подумал: утром сегодня чуть свет ходил на кладбище, долго стоял над заваленной снегом могилой. Снегири сидели на рябине, пели ей счастье и вечный покой. Ее он вспомнил сейчас, показалось — входит она, тихая, сухонькая, в нарядный этот зал и, сама нарядная, к сверкающим огням елки. Никогда никто не удивлялся, если она, по дождю ли, по сугробам ли, по какой-то своей нуждишке, бежала проулком, все несла что-то: в сумочке, зажатой локтем, или в мешке на спине. Почему-то он стал следить за Варварой Семигоновой. Он один видел, как, получив ситцевое платье с большими коричневыми пуговицами, с отороченным воротником, она удалилась за печь, там уткнулась в сверток лицом и долго вздрагивала плечами. К Золотухину подошел тяжелой походкой Левцов, с минуту он молча всматривался в осунувшееся лицо председателя и, кивнув на другую половину нардома, сказал:

— Стол готов, Максим.

— Пошли, посмотрим.

В дверях он тронул Золотухина за рукав, спросил озабоченно:

— Запасы вытряхнули, а не зря мы расщедрились?

Столы были накрыты чистыми льняными скатертями, на них стояли глиняные чашки, тарелки, чугунки с варенной в мундирах картошкой, кувшины с топленым молоком, горы хлеба на фанере и пенистая брага в бутылях.

— Совсем не зря, — сказал Золотухин. — Скамеек хватит?

— Должно хватить. Единоличников тоже будем сажать?

— Ни в коем случае! Еда у них дома есть. Вот что, Антон Васильевич: Дымкова надо ставить на заведование конного двора и коровника. А Кондратово дело — лучше кузница. Усинцову необходима подмога, одному ему не управиться теперь.

Левцов какое-то время смотрел на бьющийся о стекло фонаря язычок пламени, затем поднял на Золотухина полные удивления глаза и спросил:

— Какой лозунг дадим окрестным деревням? Продвигайте к руководству сильных? Ставьте их к власти в коммунах, а сами — опять в навоз? По старинке?

— Дымков — лучший крестьянин-землепашец, стопроцентный умный середняк, ты это хорошо знаешь, товарищ Левцов!

— А с политической линии?

— А что ты имеешь?

— Общее мировое положение, а в наклад наша Расея? Она в лаптях, а Дымков всю жизнь сапоги носил. Неровню приравниваешь!

— Силен ты, товарищ Левцов, в лозунге мировой революции! А понимаешь кособоко, хоть и силен. Ты тогда кликни на эту должность Люшню — он мигом добьет все до ручки. Я заявляю: натуральное заблуждение, не только твое, но и многих! Либо сумеем указать новый путь Дымкову, который никогда не эксплуатировал, а работал, либо оттолкнем его. Нету линии третьей, а линии две — оне в полной наглядности. Знаешь, что Дымков никогда не кровопийничал, а братства с ним допустить не хочешь. Дальше — он же добровольно пришел к нам, без нажиму! Разве не понимаешь?

— Поучать любил.

— Темноту из мужичьих голов силился выбить. Хозяйствовать учил. Мужики сами к нему тянулись. Крестьянству путь обрисовал научно товарищ Ленин. И оно само, крестьянство, его себе обрисовало. Крестьянин это понял давно и еще в семнадцатом пошел за большевиками. Дымков понял — единоличеству не сегодня, так завтра придет конец. К истинным кулакам — Бабинцевым — у нас другой подход, сам знаешь. Дальше: Дымков допустил саботаж во время организации коммуны? Не допустил, а мог бы. И как мог! Стоило ему настроить против нас мужиков тогда на сходе — и крышка нашей добровольной коммуне! А перед сходом? У него был сбор стариков, я знаю это точно, а что, Дымков допустил саботаж? Не допустил! Своим умом он дошел — прошлого не удержишь и не воротишь. Смолчал и уклонился, а нам дал натуральный и огромный выигрыш! Уже на первом собрании мы сумели за-

влечь — учти, добровольно! — почти треть дворов. Победа она и была явная, хотя горячим головам это и показалось смешным. Мужик не рваная онуча: поносил и выбросил. Сорить людьми нельзя. — Помолчал, подумал, обошел вокруг столов, прикинул: «Вот уж наедятся люди!» Отворил дверь, поманил к себе Марфу, а когда она подошла, спросил: — На всех хватит?

Марфа была в ярком цветном сарафане, гладко зачесанные волосы ее мягко обрамляли разрумяненное помолодевшее лицо; бойко притопывая старыми полусапожками, несколько торжественно ответила:

— Не беспокойся, никого не обидим.

— Зови! Зови, Марфа, людей!

Левцов закуривал возле окна, руки дрожали, бумажка прорывалась, табак золотой пылью сеялся на пол...

IV

Принесли из другой половины дополнительные две лампы и стали усаживаться. Золотухин с грустью посматривал на дверь: «А Полина-то не пришла!» Первыми уселись старики — на одну скамью справа. Лукашкин, с расчесанной бородой, в черных осоюзенных валенках, в холщовой, вышитой зелеными цветиками рубахе, подмигнул:

— Давненько не гуляли!

Прямя спину с навешенными «Георгиями» — они были добыты солдатской кровью на войне, и показывать он их не стеснялся, — Кондрат что-то шептал на ухо Федору Усинцову, но тот не слушал его, оглядывался по сторонам, и на лице его, изрытом морщинами, выражалось то чувство радости, которое было и на всех лицах.

Федор чему-то своему засмеялся, приглаживая жесткие волосы то одной, то другой ладонью, крякал: желтая шелковая его рубаха, казалось, тоже смеялась. Анисим Филиппенков пришел уже под хмелем; старческим голосом он пытался вытянуть очень давнюю, уже забытую, но дорогую всем песню:

Как гуляла я, как гуляла я,
Молодая я, ох, непутевая...

Его и еще бедняка Карпа Сазанкова Золотухин

позвал на застолье — двух этих бедных мужиков из единоличников.

Бабы и девки теснились по другую сторону столов. Марфа и Семигонова Варвара внесли самовары — их приняли из рук в руки. Золотухин подумал снова о матери: «Сидела бы ты здесь». Жаркая, непрошеная влага прихлынула к глазам.

Кондрат уже принялся разливать брагу по кружкам и стаканам. И в это время, неуверенно ступая, вошел с улицы Дымков, негромко сказал:

— Бог помочь.

Ему отозвалось несколько голосов:

— Садись побочь!

— Садись, Игна́т!

Он сел с краю стола, и люди притихли, посматривая на его широкую спину, обтянутую полушубком, на руки в мелких веснушках, на бороду, бело стекавшую на грудь. Им не верилось, что он теперь ровня и сам, без понуждений, возложил на себя эту ношу.

Кондрат налил стакан, протянул ему первому. Доля добра его была большая в коммуне. Дымков взял, перекрестился, принюхался и одним движением руки молодцевато опрокинул стакан, раскрыв рот, подышал в изумлении и засмеялся.

— Пошла, сволочь!

Не притрагиваясь к разложенной на столе еде, он неторопливо отошел к порогу, вдруг согнулся пополам, тряхнул волосами, не разгибаясь, сказал:

— Спасибо, братцы! — Он тихо вышел в расстегнутом полушубке, держа в руке шапку.

За столом установилась на какое-то время тишина.

Сочно и звучно хрустели на зубах огурцы, мелькали большие, узкие, широкие, узловатые и розовенькие, детские и совсем дрожащие, из которых выпита уже вся сила, руки людей, посаженных за один коммунский стол. Подносили на стол Галина, Варвара Семигонова и Марфа. Общий котел стоял в пристройке нардома, где висели на крючьях сковороды и чугуны, а в жаровне краснелся уголь. Кондрат посмотрел на Золотухина и сказал:

— Ты уж, бога ради, забудь — в лесу-то мы мутили тогда, побить могли.

— Хотели, — подтвердил Усинцов, кивая черной головой.

Но Сазанков, перебив их, заговорил умышленно и неожиданно о другом, о немцах:

— Кажень гвоздь у них в деле. Во дворе, на хверьме чисто, у порога метелка, свиньи не роють под самым носом. Не по-нашему живуть, хотя опять же и об водке не забываюты А мы!

— Что толковать, — произнес Кондрат, — германьцы умеють жить. Оне умеють. У них баб нет, а все барыни. Жи-и-вуть! Да только, видать, у германьцев-то сила: войной кормются.

Усинцов, закуривая, заметил:

— Слабак он супротив нас, германец, кишка тонкая!

— Сила-то и у нас, — продолжал Кондрат. — Это верно, да гложемся! Оттого и Расею татары взяли.

— А как сядем вот так, так и немцу штаны с гузна сымем, — улыбнулся рябым лицом старик Филиппенков. — Чай, вон кресты носишь, — кивнул он на Кондратову грудь. — «Георгиев» простому солдату за здорово живешь не давали!

— Не давали, — согласился Кондрат, — да кабы не глодались, чтобы мы у себя, в Расее, изделали!

— А кто знает нашу силу? Кто ее мерил? — спросила насмешливо с другого конца стола Марфа, зорко следившая, чтобы у всех лежала еда и налито было в стакане.

В какой-то истоме Лушка Поршнева повторила:

— Кто мерил бабью нашу силушку? Кто и когда нас считал-то за людей?

Женщины на мгновение примолкли, а Марфа, резко вздрогнув, поднялась, раскинула руки, ноги заколотили немыслимую дробь. Она вся расцвела, выросла, под общий смех и хлопки в ладони: «Барыня ты моя, барыня-сударыня» — сплясала и вдруг остановилась. Поправив платок, ловко, по-мужицки выпила и села.

Золотухин встал.

— Товарищи, выпьем за наших деревенских баб! Самых натуральных героинь во всех смыслах. Что оне умеют? Все! Пахать, сеять, косить, молотить, родить детей на борозде без докторов, причем сами же, без посторонней помощи, приносят их в подоле домой. Товарищи, нашей бабе ура-а!

«Ура!» — гулко прокатилось по нардому, ушло и заглохло где-то в зимнем поле.

Золотухин продолжал речь:

— Наступает Новый год. Какой он будет, мы не знаем. Гражданская война, считай, кончилась. Она кончилась, а мужики не пришли. Бабы наши ишо глядят и долго глядеть будут на большак, будут ждать! Не одна из них, мать-солдатка, будет ночьми рыдать. Так тесней же наш народный ряд! Поддержку и помощь слабому, доброе слово заблудшему. Товарищи, братья! Какие мы есть и сколько нас есть вместях, с теми мы зачнем жить. Сами зачнем, обопремся на самих себя, а памятник народу — наш труд, наш пот и кровь, общая и живая! Слава труду! Товарищи, посидим маленько молча и подумаем. Каждый об себе. А бабам — им есть об чем, им есть, вдовам... — Золотухин не договорил: не мог, сдавило горло.

Тихо-тихо стало в нардоме, лишь слышался за стенами, за окнами тоскливый зимний высвист ветра, и почему-то почудилось, что далеко, бог знает где, среди снегов, среди голых полей, плачет новорожденный. А это скрипел под ногами снег. Человек, сгибаясь под ветром, обшаривая в полутьме руками, медленно приблизился к крыльцу нардома. Человека поддерживала девочка лет двенадцати. Они прошли сквозь сени и, тесно прижимаясь друг к другу, шагнули в полуосвещенную половину, где стояла и счастливо светилась наряженная елка. Миновав елку, вошли в другую половину, где было и светлей и теплей.

Пронзительный крик Марфы оборвал голоса, обрезал веселье. Она, кинувшись навстречу вошедшим, зацепилась ногами за что-то, упала, ушиблась, но боль словно и не коснулась ее, быстро поднялась, подбежала к ним.

— Андрей! Андрей! — Она схватила мужа за руки, со страхом глядя остановившимися глазами в его лицо.

И все увидели, что он слепой. Толстый красный рубец стянул кожу лица, обезобразив его. Он, услышав голос жены, тяжело вздохнул и тихо спросил:

— Марфа? Ты?! Это ты? Это ты? — повторял Андрей, потирая рукой шрамы, словно он хотел проснуться — открыть глаза.

— Боже мой! Мы ж похоронили тебя! — Она, по-

трясенная, опустилась на пол, но бабы ее подняли, усадили рядом с мужем на лавку. Она зарыдала жутко, тягуче, может быть, как только умеют одни русские женщины, во всем свете одни они. Не стесняясь, охваченные одной бедой, начали голосить женщины. Все встали вокруг стола, тесней сгрудились.

Андрей робко попросил:

— Товарищи, нету ли выпить? Промерз я!

— Да боже ж мой! — налил стакан Федор Усинцов.

— То-то я почуял, теплом у вас пахнет. — Андрей взял стакан, покивал всем и выпил.

Золотухин подошел, пожал его худую, легко дрожащую руку, сказал:

— Это я, Золотухин. Здравствуй, Андрей!

Андрей сморщился и пошарил руками, отыскивая своих.

— Как же жить? — спросил он, расстегивая крючки шинели. — Слепому — как?..

V

Люди из нардома не расходились, а Максим ушел. Направился к Полине. И странно, заявился как к себе домой: снял шинель, повесил ее на гвоздь, шапку воткнул в рукав, стянул сапоги. Покрякал, широченными ступнями прошлепал по желтым, хорошо промытым половицам — сосновое их тепло вошло ему в тело. Дернул плечами, засмеялся. Полина увидела: взялся за сатиновую рубаху — хочет снимать. Она поднялась — дрожали колени. И с жаждой защитить себя, свое малое и тихое гнездо прошептала:

— Не смей! Я шуметь буду!

В исподней чистой рубахе он сел на полати. Молча посидел, спросил:

— Почему не пришла? Чего забоялась? — Ожидал ответа, а его не было, и тогда прибавил: — Вовсе зря, Полина!

Она качала люльку — забыла, что в ней ребенка нет, что пустая она. Тихо скрипела, убаюкивая, рябиновая жердочка. Тень туда и сюда бегала по стене, захватывала сажень пола и на нем шевелилась, вспархивала, точно птица махала крыльями. За трубой под шубой,

набитой счастливыми снами, дышали ее дети. Во всей полуночной избе что-то потрескивало, покрякивало, и отовсюду неявственно слышался обволакивающий, умиротворенно тихий покой.

Из-под тучи выплыла полная, окруженная синим дымящимся кругом луна, в хате посветлело и стал виден лик иконы, должно быть божьей матери, с той же скорбной жалостью к незримым детям земли, что была написана на лице и сидящей под иконой бабы.

— Марфин Андрей вернулся, — сказал Золотухин, прислушиваясь к скрипу люльки.

— Андрей? Один? Он же убитый.

— Один, слепой.

Полина украдкой перекрестилась, губы ее вздрагивали.

— Война, — сказала она, зябко кутаясь.

— Надеялся я: придут мужики! Большую надежду имел. А ты чего люльку-то качаешь, баба? Пустую?

— Ай запрещаешь? — спросила она лукаво, искоса поглядев на него.

Он же сказал просто:

— Нет! — дернул снова шеей, засмеялся. — Бабью волю в кулак не беру. А то в бабе человека не видят и ею же живут, ею же греются, бабой, под подолом иные хоронятся в случае какой заварухи. Встречал таких. А баба — она греет, а чего просит взамен? Единые крохи! Натурально об себе забывает, а об детишках и мужике помнит всегда и всюду. Стели, поздно, а то засветает!

— Как... стелить? — спросила с дрожью в голосе.

— Обыкновенно.

— Ты че это? — сердито крикнула Полина, переборов в себе нахлынувшую нежность и испытывая свою силу. — К себе в хату иди!

Сказал тихо, грустно и даже просяще:

— Не гони, холодно в моей хате. Замерз!

Встал, подошел к ней — сердце ее опустилось, не слышала, как он положил на плечо горячую, сильную руку, у нее не хватило сил сбросить. Но он сам снял с плеча и сказал:

— За то и люблю русскую бабу. За гордость. Хотя тоже бывает: сразу-то растопырится. Хотя и та же — все ж таки баба!..

VI

Скотный двор был вычищен и прибран. Он разогнул натруженную спину и, опершись на навильник, постоял так некоторое время, ни о чем не думая и испытывая странное и тревожное чувство. «Что-то со мной должно быть нынче, — промелькнуло в его голове. — Я не обманываюсь».

Захватив горсть голубого снега, Дымков жадно ел его. Он с болью думал о своей семье, об ее черствой закоренелости, об этих близких ему людях, накопивших с годами противное ему качество жадности. В коммуну работать они не шли, безропотно, как всегда, согласилась одна Марья, которую Дымков ценил за человечность. Особенно причинял ему чувство горечи сын Иван, угреватый, с мелким голым и незначительным лицом, с желтыми навыкате глазами неумного человека. Иван с утра уехал в лес за дровами, работать в коммуне он отказался наотрез.

Дымков не пошел домой и вновь загорелся работой. Заложив коровам сена, разжег топку. Мелкая картошка им была заготовлена еще с вечера. Вскоре картошка сварилась. Он потолок ее, развел водой, запарил жидкой мякиной — корм свиноматкам. Обе лежали плашмя в дремотном и покойном тепле. У полосатой лукашкинской свиньи брюхо вздымалось горой. Дымков очистил его от летошнего репья, долго сидел на кормушке, опытным глазом прикидывая, скоро ли опростается: «На крещенье будем ждать. Добрая матка у Ильи: штук двенадцать отвалит». Он хотел было выйти покурить — в хлеву никогда не курил, но ноги сами собой повели к лошади Федора Усинцова, на другую половину. Она, жеребая, одна в эти дни господствовала в станке и терпеливо готовилась к великой минуте в своей жизни. Почуяв знакомые шаги, повернула голову, тихо проржала и сразу покорно расправила все мышцы: кроме этих теплых широких ладоней, ничьи руки не могли так бережно и мягко ее гладить.

— Дурочка, — ласково сказал Дымков, вновь поражаясь в себе тому безраздельно потрясающему душу восторгу, какой охватывал его всегда при виде лошадей. — Ну, ну! Ешь, ешь!

Какая-то неосознанная тревога тяготила в этот день

Дымкова. Он сам не понимал того рождающегося в себе чувства доверчивости и трогательной заботливости ко всему, к чему он прикасался. Управившись около скота, он снял бурый брезентовый фартук с двумя карманами (он всегда, работая, надевал его и на своем дворе) и вышел за ворота покурить. Морозная светлая ночь стояла над его головою. Он смотрел на белое тихое безмолвие снегов, на тускло блестевшую и теряющуюся за березняками в ночной мгле Угру и отчего-то вздохнул. Такой радостный, пугливо-дрожащий звездный свет, такая изумляющая его нескончаемая даль открывались ему в родимом небе! Он пожевал снегу, чтобы не пахло табачной горечью и не раздражало бы жеребящуюся лошадь, он вернулся к ее станку. Чутко поводя ушами, кобыла теперь уже лежала на полу, откинутая в изнеможении и бессилии голова ее мелко подрагивала, и во всем теле лошади что-то беспрерывно трепетало. Он пощупал ее подбрюшье, погладил теплую шерсть. «Запотела, скоро...» Расправив ей бессильные ноги, отошел к завалинке, прислонился и стал ждать. Лошадь часто и тяжело, с храпом, задышала, приподнялась и стала на колени на судорожно подрагивающих ногах, зад ее сперва приподнялся, как-то весь расширился и оплыл краснотой; лошадь со стоном задышала и опустилась. «Сейчас», — машинально отметил Дымков, стараясь не попадать на глаза лошади: они это не любят. Дымящееся живое жалкое существо уже лежало на сухой и чистой подстилке между раздвинутых ног кобылы. Дымков осторожно приподнял теплого и дрожащего жеребеночка и отнес в пустой станок, на пшеничную солому.

Дымков вынул из сумки припасенное еще с вечера полотенце, аккуратно обтер жеребеночка, удовлетворенно отметил: «Главное-то — кобыла!» Жеребенок доверчиво тыкался мокрой мордочкой ему в ладони и тихо и радостно грелся. Повесив на жердь полотенце, он принес от топки, где у него стоял на горячих углях бидон, кружку снятого молока и стал поить его.

За спиной послышались шаги, Дымков обернулся — по проходу, знакомо приседая на пятки и махая руками, шел сын Иван.

— Чего тебе? — сурово остановил его отец.

— Мишку седни в лесу видел. Злой как собака! —

У Ивана прыгала вверх-вниз коричневая бородавка на носу, голос его дрожал.

— Не говори про него! — встал и грозно крикнул Дымков.

— Я упредил... Грозился он. — И, по-заячьи оглядываясь, Иван суетливо вышел.

«Вот... что же это такое? Ведь он мне сын, зачем-то ему дадена жизнь?» — тяжело подумал он, обращаясь мыслями к Михаилу. И он чувствовал, что не в состоянии разрешить этот тяжелый вопрос. Радость, навеянную рождением жеребенка, сняло как рукой. «Господи, к чему же они придут? Сыны?» Он лег в углу на ржаную солому, но сон, однако, не шел к нему. Тишина тревожно разливалась кругом. Какие-то чистые, радостные звуки, как колокола, отдавались в его сознании. Были ли это отзвуки несбывшихся мечтаний, была ли это светлая печаль по чему-то, он не знал и не понимал. Тут он явственно услышал шаги нескольких человек у ворот, и сердце отчего-то отозвалось несильным сосущим и тупым нытьем. «Кто бы мог быть?» — подумал Дымков, вздрогнув и присматриваясь озабоченно к проходу. К нему навстречу шло пятеро: трое в шинелях и двое в полушубках. Дымков не столько узнал, сколько догадался: в красном полушубке Михаил! Он, не осознавая зачем, выдернул из навоза вилы, шагнул на середину прохода.

Михаил, оглянувшись, негромко крикнул:

— Это я, отец!

Дымков присмотрелся — у ворот виднелось еще двое с вынутыми наганами. И значение смерти стало вполне явным для него.

— Что вы здесь забыли? — спросил Дымков, стараясь не встречаться со взглядом Михаила. И выражение лица, и голос его наполнились отвращением, он крепче сжал ручку вил. И тогда увидел, как один, высокий, в шинели, достал из кармана коробок спичек и, подбросив его на ладони, усмехнулся.

— Уходи, батя! Тебе здесь нечего защищать. Уходи! — бледнея, произнес Михаил.

— Немедля покиньте скотный двор! Кто вас сюда звал? — крикнул Дымков.

— Потише! — угрожающе сказал тот, что играл ко-

робком. Быстро нагнувшись, он чиркнул и кинул спичку в охапку соломы — ее сразу же захватило огнем.

Дымков двумя прыжками достиг горящей соломы, его крепко схватили за руку, но он все же успел повалиться на огонь, подмял, ухватившись обеими руками за столб станка.

— Жгите, сволочи, и меня! — выкрикнул он, по-прежнему не глядя на сына и с грустью задавая все тот же неразрешимый вопрос: «Зачем тебе дадена жизнь?»

— Батя! Прошу добром! — Михаил пытался разнять руки отца.

— Жгите, сволочи! Жгите, жгите!

— Берите его, ребята, — сказал угрюмый человек в шинели. Навалясь втроем, они пытались разнять руки старика, но крепок и силен еще был Дымков — рук не разорвали.

Тогда тот же, в шинели, спокойно и тихо приказал:

— Стреляй!

— Заклинаю богом, беги отсюда! — Михаил суетливо пытался один оторвать старика, но тот будто припаялся к столбу.

— Стреляй в родного отца! — прохрипел он.

Михаил опустил руки и, обессиленный, отошел к стене. Тогда тот, что был в шинели, быстро подошел к старику, но Дымков, изловчившись, ударил его ногой в живот.

Корчась от боли, человек в шинели вскинул наган, лютым голосом крикнул:

— Смерти хочешь?

Дымков плюнул и угодил ему в глаза. Тот матерно выругался и выстрелил из черного кольта — пуля пробила Дымкову голову и вонзилась в шею жеребенку, и он забился кленовым листом. И в осязающем еще все живое сознании Дымкова, как последняя вспышка искры, мелькнула мысль: «Ежели сын убивает отца, ежели проливает он кровь отцовскую, какой же жестокий мир!»

Михаил согнулся, руками хватал то тяжелую, еще теплую отцовскую руку, то тряс его голову.

— Прости меня, отец! Прости меня!.. — шептал он судорожно и, повернувшись, первый пошел к выходу; в воротах он покачнулся, беззвучно шевеля губами.

— Бог простит, — ответил один из них, припирая колом двери.

Торопливо миновав выгон, за оврагом они оглянулись на хвост жаркого огня, вырвавшийся из скотного двора. А тот человек, который говорил о боге, видимо пораженный жестокостью собственных рук, еще добавил:

— Кому же наша кровь нужная? Зачем все это?

Ему никто не ответил; над землей стыла глухая предутренняя тишина.

Максиму снилась зеленая, вся облитая светом долина... Какие-то голубые ворота, как радуга, стояли над землею. Все было в цветении, тенисто и зелено, и где-то в недалеком молодом березовом лесу без устали куковала кукушка. Тысячи нарядных веселых людей пели и танцевали в рощах. Нигде не слышалось ни ругани, ни злых слов, и люди, охваченные братской любовью, были счастливы от сознания услужения друг другу. Здесь не было ни калек, ни больных, ни ослабевших, а все были молоды и веселы. Красные, огненные кони, развевая медные гривы, и молоденькие жеребятки паслись в просторных светлых лугах. В высоком ясном, голубеющем небе пели необыкновенные птицы. Душистый, медоносный ветерок проносился из края в край по долине...

...Тяжелый стук в раму оборвал эти видения. Еще находясь в том светлом мире, Золотухин, открыв глаза, в первое мгновение не мог определить, где он находится и что с ним. «Где это я был? Что ж это за земля такая?! — подумал он, всматриваясь в сумрак Полининой хаты; в окошках сквозил отсвет какого-то зарева, красные сполохи шевелились по темным, угрюмым бревенчатым стенам хаты. — Да, то был необыкновенный и чудный сон! Такой жизни еще не бывало промеж людей!»

В раму стали колотить еще упорнее, она дергалась, готовая сорваться, и зазвенело разбившееся стекло. Полина в белой рубахе, как привидение, стояла посреди хаты.

— Пожар! Горим! — крикнули хриплым голосом снаружи.

Невпопад натянув сапоги, без шапки, Золотухин метнулся в сенцы. Над деревней таилась морозная могильная тишина, и только слышно было, как гудело раздуваемое ветром пожарище; под самое небо взметывались, перегоняя друг друга, огненные струи. Тени мужиков и баб отбрасывались на сугроб.

— Живо сани с бочкой на колодец! — крикнул Золотухин, вытаскивая из-под застрехи Полининой хаты багор.

Но все было кончено: в тот миг, когда они, налив водой бочку, подвозили на себе сани и до скотного двора оставалась сотня шагов, вдруг с гулом рухнула крыша, в огненной воронке корежились остатки бревен и балок. Все, оцепенев, стояли без движения. У Золотухина тряслись губы, лицо было страшным и черным.

— Где Дымков? — спросил он тихо.

— Кажись, тама... каюк, — кто-то, как эхо, отозвался ему.

Из баб кто-то заплакал навзрыд, затем все громче, надрывней заголосили остальные, тесно сгрудившись около пожарища.

Золотухин горьким, но твердым взглядом обвел дорогих ему людей и тихо, но с силой произнес:

— Жизнь не убита! Не убита жизнь!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Пречистое — большое, по-степному просторное село: с двумя церквами, каменной и деревянной, с домами под щепой, с дощатыми заборами, с мельницей-ветрянкой, с чайной. При Петре в излучине Днепра осел Михаил Востряков: поставил двор, обнес высоким крепким забором, на цепь посадил двух злых кобелей. Откуда-то с низовьев Днепра после пожара переселился на этот почему-то манивший его кусок земли. Год от году село расстраивалось по покатым буграм среди жидких березняков. Люди старой веры и прочных укладов перехватывали любое начинание Вострякова: следом за ним заводили пчел, строили погреба, бани и овины. Сын Вострякова, Тимофей, выстроил в полуверсте, у валунистых порогов, водяную мельницу, обнес ее каменной оградой

и над воротами выбил славянской вязью: «Сие земля вечная».

Братья Князьковы чуть поодаль возвели ветряную мельницу. Ее спалило молнией, а спустя годы на том же месте не кто иные, как трое братьев Востряковых, поставили новую и такой крепости на дубовых смоленых сваях, что она уцелела и доныне стоит, напоминая о минувших днях...

Востряковы обжились основательно — поставили высокий, с резным крыльцом, с длинными просторными сенями, с пятью большими окнами в ряд дом и разную, тоже прочную, хозяйственную постройку. На выгоне разбили сад, какого в здешних местах не видывали.

Дед Тихона Вострякова, Сазоний, солдатом в 1825 году вместе со взбунтовавшимся полком выступил в защиту народа и крепостного крестьянства. Сазонию влили тогда шомполов, но он был жилист и крепок — выжил. Вернувшись из солдатчины в Пречистое, первым делом он в селе рассказал о бунте в Петербурге. Царя ругал без испуга. С тех пор в роду Востряковых вскипела эта ненависть к тирании, а равно и ко всем, кто служил ей. Когда дед умер на пятидесятом году, его солдатскую шинель решили беречь. Но жизнь не вывеска, надо было держать хозяйство в узде, а оно-то расшатывалось. Тогда Федосей Востряков, средний сын, думал об отце: «Дался ему тот бунт!» То ли стыдиться стал той отцовской шинели Федосей, то ли больше о земле думал, чем о бунтах, но он ее показывать перестал. В семье говорил: «Не икона». Пояснял и о царе: «Он грешен, царь, а бог один. Все под богом». Тогда и в Тихоне проросло зерно ненависти к тирании, и впервые задумался он... Встал перед ним, неграмотным мужиком, тот зимний, морозный, удаленный толщею лет день на Сенатской площади. Часто он вынимал из сундука изъеденную молью, с позеленевшими пуговицами шинель, нюхал ее, перебирал складки. Шинель пахла порохом, кровью, бунтарством еще. Пожалуй, последний-то запах был милее, запомнился навсегда.

Тихон всегда радовался, как поклонялись шинели в доме родителей. Но он один понимал всю неистребимую силу ее! Недаром и мать-покойница, и сам отец в нем дедово семя видели. На царской каторге память о шинели деда давала ему силы, не позволяла падать духом.

II

Маленький и уже состарившийся дом сестры Домны стоял позади ветряной мельницы. Востряков во дворе вышел из кошевы, велел кучеру ехать распрягать на коммунскую конюшню. На узеньком крыльце встретила сестра — высокая темноволосая женщина с насмешливым взглядом ярких карих глаз, с тяжелой, на грудь переброшенной косой. Они редко виделись за последнее время. Огромная занятость разными делами не давала ему возможности наезжать сюда. Сестра постарела, морщины изрезали некогда красивое, слегка тронутое смугловатостью лицо. Особенно складные, мягкие и добрые — материнские — были у сестры руки. Совсем непохожие на его небольшие, в бело-золотом пухе, с коротколалыми ладонями. У нее же пальцы длинные, гибкие — руки потомственной крестьянки. Домну Востряков всегда любил, и в особенности далекая детская пора вызывала у него отрадное и умилительное чувство. Прежде всего он любил ее за сходство с матерью, Пелагеей. И еще за что-то необъяснимое словами — за родство не по крови, какое он находил в ней. Последний раз они виделись два года назад.

Какой-то миг они постояли молча на пороге. Низким, тоже материным, певучим голосом Домна обрадованно сказала:

— Здравствуй, Тихон. Давно ждем!

— Здравствуй, сестра, — сказал Востряков, вкладывая в это слово как можно больше нежности и воспоминаний прошлого.

Муж Домны, тихий, маленький, незаметный человек с желто-овсяными волосами, сразу понял, что им, брату и сестре, надо побыть с глазу на глаз. Он ушел в хлев к скотине. Востряков разделся и разулся.

— С мужиком-то выпьешь? — спросила Домна, пододвинув к брату графинчик. — Зазяб?

— Налей самую малость. Выпьем с тобой, редко мы видимся, Домна!

— Поседел, Тихон!

— Трудно, — сознался он.

— Съезд надумали проводить у нас?

— Решил губком.

— Не без умысла решил? Есть твоя сила?

Сестра его понимала, и за то он ее любил и ценил. Это был народный ум, а Востряков не ценил умов книжных.

— Не знаю, Домна.

— Должон знать, на что идешь!

Отозвался он не сразу. Долго думал, успел за это время выкурить целую папиросу, к чему-то присматриваясь в окне, сказал:

— Мало того знать, мало!

Родителей он сейчас вспомнил, почему-то не выходил из памяти отец — воочию пригрезился каждой морщиной, весь заскорузлый. Отца ему сейчас недоставало и, может быть, той лишь долей крохотной, совсем малой долей, матери тоже. Жалости у нее занимать не хотел, в других мерах он ныне жил, чтобы ею же, материнской рыдальческой жалостью, наполниться.

— Как она помирала, мать? — спросил он скорбно и тихо.

— Легко. Целый день я была возле нее, потом она прилегла, а я вышла на двор, воротилась, гляжу — скончалась. — Домна смахнула с ресниц влагу, часто замигала.

— А двор наш?

— Зачах, — спокойно сказала Домна. — Слеза не просится?

Он сознался и кивнул.

— Просится и слеза, но еще, сестра, за своим двором я вижу другие. Их тысячи несметные, дворов, и всякие. Которые хозяйские еще вижу. Они мне, сестричка милая, даже во снах показываются!

Домна посмотрела на него странно — чуть искоса, словно бы на постороннего, на чужого, издали.

— За их всех болеешь ты?

— Еще как!

— Нешто ты не отверг жалость? Я-то знаю.

— Окончательно отверг. Правильно.

— Ты ее и ребенком не дуже любил, жалость.

— И тогда тоже. Даже ненавидел. Кто крестьянина пожалел, тот ему как раз и цепи рабства готовит.

— А я боюсь, — созналась Домна.

— Чего?

— Сама не знаю. Что съезд в Пречистом у нас. Съезда боюсь!

— Мною губкому и предложено место данное.

— Тогда ошибка твоя, Тихон!

— Мы на них, Домна, учимся, на ошибках. Я в борьбе на ошибках рос.

— Ты уверен в своей победе, Тихон?

— Уверен! Но как ты ее понимаешь, победу? Ежели так вот, в прямом подходе, мы уже налицо имеем нашу победу. Ежели глядеть дальше... Посмотрим, посмотрим. Весы нынче поставлены.

— Переважут твои?

— Весы мы сами сработали, давно уже, не нынче, еще три года назад. Единоличнику на раздумье мы досыта отпускали времени. По тому понятию, что наше время революционное. Да хватит об этом, сестра. Детишки-то растут?

— Не по дням, а по часам...

— Люди... обо мне как?

«Что он, трусит?» — недоумевала Домна.

Он быстро взглянул ей в глаза, угадывая ее мысли, и снова спросил:

— Как понимают? Страшная, а бывает, и вовсе безумная сила взбаламученный народ!..

Домна не успела ответить: по сеням кто-то шел сильный, уверенный, и на пороге появился Миронов Григорий. Лицо Вострякова просияло: он любил его.

— Делегации все прибывают, Тихон Федосеевич! Только что явились рославльцы, на подходе издешковцы. Ельнинский уезд прибудет вот-вот. Я отдал распоряжение насчет фуража, а также питания дополнительно, послал две подводы на станцию: губисполком прислал в Пречистое несколько мешков книг и хлеб, — доложил Григорий.

— Так, так... Очень хорошо, Гриша.

Ему захотелось к людям. Едва они вышли на крыльцо, как услышали множество голосов по всему Пречистому, отовсюду скрип саней доносился. А он вспоминал: ночи под Ростовом, уральские ночи, красноармейские костры. Спросил обеспокоенно:

— Делегации по хатам разместили? Все будут накормлены?

— Утрясем всех, Тихон Федосеевич. Я проконтролирую...

В переулке стоял скрип саней, приглушенный гомон

сотен возбужденных голосов: и верно, словно ехала сюда вся Россия.

— Покровских не видали?

— А черт их знает! Ищи.

— Эй ты, проезжай! Сматывайся отсюдова!

Востряков и Григорий обходили подводы. Люди были разные: в лаптишках, в шубейках, и бабы, и старики, и совсем молодые девушки. Иных Востряков узнавал — за руку здоровался. Засматривал каждому в глаза, завтра главный наступал день. Сам он был одет ныне в шинель. Григорий удивился, лишь сейчас увидев его в ней. Было очень холодно, но Востряков, казалось, не ощущал мороза и не зяб в шинели. Высокому худому мужику он помог выпрячь лошадь, снял шлею, хомут, а потом спросил:

— Откуда, товарищ?

— Мы мясниковские.

— Где ночевка, знаешь?

— Нам указали...

Часа полтора в сопровождении Миронова он ходил из дома в дом, уточнял количество делегаций, заботился о пище, натоплены ли печи, можно ли просушить онучи и обувь, и, озабоченный, усталый, но оживленный, направился в народный дом.

III

Он любил эту глухую, ничем не нарушаемую тишину перед делом. Зал затопил полусумрак, задние ряды скамеек совсем не виднелись. На стенах висели портреты: Маркса, Энгельса, Ленина, Робеспьера и еще Толстого Льва — Востряков этому ничуть не удивился. Вольную волю хотел мужику великий русский писатель, а кому же еще к ней стремиться, как не ему, Вострякову? Он сел на крайнюю скамью, опустил голову и задумался. Еще будучи в губкоме, перед совещанием или пленумом он приходил один в зал заседаний, и так же перед сражением он обходил полки: он не любил играть вслепую.

Стояла сумеречная прохлада: две кафельные печи, три дня подряд топленные, вдосталь тепла еще не дали. Вошли свои тесной кучкой — Григорий, Замялов, руководители коммун. Встревоженные, они шли к нему.

Замялов прямо от порога крикнул:

— Едут целыми деревнями. С самоварами!

Он посмотрел на каждого тем взглядом отцовского мудрого спокойствия, который так нужен и действует на растерявшихся людей в решительную минуту. Он некоторое время молчал, словно к чему-то прислушиваясь.

— А что нам пугаться? Народа? Своего?

— Всякая путаница может быть! — воскликнул Григорий.

Востряков застегнул шинель, стал недосягаем — от его выпуклого, буграми нависшего лба исходило отрезвляющее спокойствие.

— Ни нынче, ни впредь народа нам пугаться не следует, товарищи. А надо — так кровь за него отдадим, каплю по капле.

Замялов понял, что Востряков говорит не то, о чем думал, что слова эти не имели здесь никакого смысла.

— Товарища Осинского еще нет?

— Только что сообщили: товарищи Осинский и Грибцов из губкома прибудут утром, — сообщил Григорий и добавил: — Дом для них я нашел...

Востряков поднялся на ноги задолго до рассвета, надел шинель и вышел наружу. Мороз все усиливался, на просторе сияла прозрачная луна. В переулках и дальше, на гумне и выгоне, по морозу разносились невнятные голоса, скрип саней и лошадиный топот.

— Сестра! — позвал он бодро и громко, когда вернулся. Снял толстовку, нательную рубаху. — Принеси водицы из колодезя, теплая эта в ведре. Полотенце холщовое дай. Матерью вышитое.

Хитрой и настороженной лисицей подкрадывалось морозное утро...

IV

К девяти часам утра начало заполняться огромное помещение бывшего земства. Члены делегаций, приехавшие в ночь, отогревались возле горячих печей.

Мужики были в новых лаптях и в стираных онучах, в поддевках, в шубах, пиджаках, заячьих, бараньих, телячьих шапках. Бабы — те жались больше по углам. Их, баб, было куда меньше.

В глубине сцены висел портрет Маркса, а над столом президиума — призывающий лозунг «Да здравствует коллективный путь!».

Лукашовцы припозднились на съезд. Их было двенадцать человек. Сильно промерзли за двадцативерстную дорогу. Когда они вошли в зал, то кто-то в черном, очень высокий, в сапогах, с усами, объявлял состав президиума. Золотухин услышал свое имя: его назвали шестым. Он не знал: идти ему на сцену или же сесть тут, на угловой скамейке, со своими делегатами. Тем временем двери продолжали всасывать новых людей, которые, обтекая ряды, уплотняли незанятые скамьи. Человек с усами предложил президиуму занять места. Зал вздрогнул, на задних скамьях приподнялись и затихли, чтобы получше видеть: начали входить одновременно с обеих сторон члены президиума. Какая-то баба, сидевшая ряда на четыре впереди лукашовцев, что-то пришепетывая, крестилась.

Марфа, которая зачем-то все поправляла на плечах полушалок, подталкивала Золотухина.

— Иди, Максим! Туда иди. Иди!.. А за народ не бойся — он сумеет правду понять. Он сумеет!

А он подумал — ему и тут хорошо.

Сзади задышали жарко в затылки, но тут получилась разрядка: по проходу двигался духовой оркестр. Чистым золотом сверкали медные трубы, будто по залу плыло несколько солнц. Самую большую трубу нес рыжий, совсем еще парнишка, а с другой трубою, поменьше ее размером, продвигался и держал, как винтовку, бывший солдат в шинели и с пустым рукавом, заложенным под ремень. Золотухин подумал о трубаче: «Осколком снаряда, наверно, оторвало».

Проследил, как он шагает, отметил снова: «Правую оторвало, а с левой не освоился. Не так давно, значит».

Оркестр продвинулся к самой сцене с правой стороны, расположился в затылок.

Зал сразу притих, почему-то машинально встал, по углам со своих сумок и котомок вскочили бабы; стоял теперь и президиум; гуще запахло потом, дегтем, чем-то кислым, еще невесть откуда нежно напахнуло малыми детишками. Все, кто стоял сзади, спереди, с боков и сверху, в ярусе, этот запах ощутили. Откуда он был? Стали оглядываться, искать — откуда?

Увидели: семь или восемь баб, окруженные детьми, иные с грудными на руках, устроились прямо на полу, за кафельной, зеленого цвета печью. Только эти бабы не встали — не могли они встать. Либо оттого, что ослабли за нелегкую эту зиму или за длинную дорогу из своих дальних деревень. Они сидели, обложенные тощенькими котомочками с харчем, у одной, черноволосой и миловидной, державшей грудного ребенка, тут же в подоле стоял небольшой чугунок, который она, краснея от стыда, под взглядами людей прикрыла тряпкой. «У этой бабы мужика нет, убитый мужик», — решил Золотухин, приподнимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть. Между тем человек в картузе поднял над собой обе руки, вытянулся и вырос прямо на глазах.

Оркестр слаженно, дружно, вдруг выдохнул рвущиеся чистые звуки из медных глоток. Сотни людей, тесно стоявших во всем огромном зале, и те, кто не знал слов, но подчиняясь общей воле и силе, заглушили оркестр своим мощным хором:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Когда же смолкли голоса и тихо-тихо стало в бывшем земстве, вдруг ликующе кто-то крикнул:

— Красноармейцы едуть! Красноармейцы едуть!

Все задвигалось, загудело и шарахнулось в двери.

V

К полудню потеплело, под солнцем засверкали волнистые сугробы в полях. Все подъезжали новые делегации. На одних санях ветер трепал кусок красной материи в аршин размером. Дуги были расписные, из старых извозов сбереженные. Мимо этих праздничных дуг, выпряженных саней и кошев, мимо заборов лавиной текла толпа к вокзалу, одиноко желтевшему на околице Пречистого. Солнце горело в медных трубах оркестра — он двигался впереди и уже входил под натянутый от дерева к дереву через проулок лозунг «Слава революции!».

А поезд уже подходил; отдаленный и немного грустный, в голубеющем поднебесье нарастал паровозный гу-

док. Толпы людей придвинулись к путям вплотную, мальчишки лезли на забор и на деревья. Распуская белые усы, обдавая людей горячим вздохом своего неустающего тела, стал паровоз. Из первых двух вагонов прыгали красноармейцы, удивляясь тому, что их встречают. Они не знали, что начальник эшелона еще в Вязьме передал о них в Пречистое по телеграфу. Какая-то баба, быстро семеня ногами, изо всех сил побежала к переднему вагону. Выбившись из-под платка, трепались на зимнем ветру седыми прядями ее волосы. Весь народ видел: к бабе, вскидывая руки, отталкиваясь рукавицами о снег, катился на самодельной колясочке укороченный, без обеих ног, человек. Не унывал он, и люди изумились — смеялся! Народ загудел, закричал «ура!». И других инвалидов увидели: кто без руки, а кто на костылях. Кто выходил здесь, а кто ехал за судьбой еще куда-то дальше. Духовой оркестр заиграл марш.

— Ура бойцам!

— Ура товарищам! Матери-России ура!

— Да здравствует мировой социализм! — закричали вразнобой.

— С войной покончили, да жив империализм! Жив проклятый!

Словно натосковавшись за долгую непогоду, солнце без устали отдавало людям и земле свое тепло, этой девственной, манящей белизне.

Радовалось, что вот наконец-то люди собрались воедино, поборолн вражду.

На площади, позади возов, были и низовские, и с верховьев Днепра, рославльские, сычёвские, краснинские, грибановские, с курганского левобережья мужики.

— В газетах писали, что Востряков будто хочет обчего рая!

— Он те покажет рай!

— Крик, товарищи, криком, а что Востряков понимает хозяйственность, тут возражениев нет...

Востряков в какой-то задумчивости ходил между группами людей, между возами, но думал он не об этих людях, а как повернется съезд.

Невдалеке прошлепал разномастной обувью духовой оркестр в сторону нардома. Золотухин посреди площади встретил Вострякова. С минуту они стояли молча, как бы видя друг друга впервые, и тогда Максим спросил:

— А что народу покоя своей борьбой не даем, тебя не заботит, товарищ Востряков? Будущая судьба народа? Мужицкая судьба?

— Там мы решим, товарищ Золотухин! — произнес Востряков, опустив лицо. — А пока промеж собой давай выясним наши разногласия. Какие есть. К какому гибельному ты концу ведешь. Для дела и для себя. Сегодня такой день, когда черед настал спрашивать. Тут, без людей, давай договоримся, пока ты не битый. Не расшатывай, что не тобою создано, еще время есть подумать. Есть!

— Все решит съезд и народ! — отозвался Золотухин, с жадностью посмотрел в высокое небо: ясное и торжественное, оно безгранично сверкало над ними.

VI

Делегаты съезда обедали в тесной и холодной, как погреб, столовой; хлебали щи, ели пшенную кашу из общих чашек. Голод громадной, разоренной страны незримым покойником стоял в этих стенах.

Короткие гасли за столами разговоры. Кое-где слышался редкий смех. Лукашовцы обедали за одним столом, самым крайним к двери. Ели молча.

В половине четвертого дня съезд начал работу. С коротким докладом-воззванием обратился к делегатам председатель губернского исполкома Волков. В тот момент, когда он начал говорить, с краю за стол президиума сел высокий, с седой бородкой, весь хорошо отутюженный, в галстуке, державший высоко голову представитель Москвы. Он, кивнув членам президиума, легонько махнул Волкову продолжать.

Секретарь губкома Грибцов, в прошлом кузнец, солдат, комиссар полков и дивизий, с бритой головой, крепким широким лицом, сидел с другого конца стола. Между тем Волков высоким голосом говорил:

— Товарищи делегаты! Товарищи крестьяне! Члены социалистических коммун! Братья и сестры! Наш съезд — первая хорошая ласточка. Мы констатируем: съезд собрался в знаменательное время. Я бы сказал, товарищи, — великого движения масс к прогрессу и

всечеловеческому счастью. Российскую буржуазию мы прикончили! Под красными победоносными знаменами Советская республика завершает гражданскую войну. Мы выстояли. Что это значит? Какой отсюда вывод по самому факту нашей победы? Вывод, товарищи делегаты, один: карта империализма, алчущего нашей гибели, получилась битая. Во всей огромности нынче задача — революция в деревне. Мы приступили к строительству коммун-гигантов. Удалось пока лишь в одной волости. Другие формы кооперирования — советские хозяйства, товарищества, артели — не имеют решающего значения для победы пролетарского коллективизма. Коммуны — наивысшая форма социализма. У нас есть расхождения в оценке форм аграрной политики. Рекомендации создания товариществ по совместной обработке земли — половинчатая мера. Мы полагаем, она принесет урон, а не пользу. Поэтому мы стоим за немедленный переход крестьянства сразу к высшей форме — коммуне, где должен навсегда исчезнуть и раствориться крестьянский двор со всей безобразностью его патриархальной жизни. Бражинская волость вышла вперед, показала ударность и высокую идейную выучку. (В зале жидко захлопали и смолкли.) Бесспорно, мы имеем достижения этой волости, но также и свои промахи, о чем заявляем здесь. Какие ошибки? Допустили значительную поблажку крепкому хозяину. Тысячи пудов хлеба он сгноил и перевел на самогон, опять же ради своей наживы, а коммуне не дал! Частично поблажка коснулась Сычевского и Грибановского уездов. В них еще стихия единоличества. Ударные темпы высоковцев дают нам уверенность для скачка вперед. Стороной стоит в уезде коммуна «Власть труда». Съезд выскажется о ней. Здесь о лукашовцах знают лучше меня. Лукашовцы сохраняют двор, но весь вопрос — для кого? Для середняка, который со временем станет кулаком, для его наживы, а не в пользу социализма! Товарищи из Высоковского уезда нам нарисуют полную картину. Политическая задача состоит в том, что коммуны сразу же, завтра же, перерастают в громадные, никогда не виданные человечеством хозяйства — хозяйства нового типа: и они будут основаны на фундаменте твердой дисциплины и в смысле соблюдения ее в рамках единого закона. Эти хозяйства за два-три года перевернут всю психику собствен-

ника и дадут нам невиданную и скорую победу на аграрном фронте. Несмотря на неурожайный прошлый год, коммуны выжили, хотя я и должен сказать, что выжили они с трудом. Однако нас не страшат трудности, мы крупно двигаемся вперед. Я изложил исторические задачи в общих чертах. Но прежде чем перейдем к выступлениям, я настаиваю оставить на съезде одних делегатов, представляющих коммуны, а остальных выпроводить из зала.

— Товарищи, кто не делегирован, просьба покинуть зал! — возвысил голос председатель, потрогал усы, точно хотел узнать, на месте ли они, а удостоверясь, добавил, продолжая их разглаживать: — У нас не базар, а государственный съезд.

Поднялся невообразимый шум, крики, даже вскочили на ноги бабы с детишками за печкой. Председатель тряс колокольчик, но нежный, тоненький, ямщицкий звон его не смог утихомирить разноголосый гул. Тогда председатель стал терпеливо ждать, пока немного угомонится зал. Какой-то человек в кожухе выкрикнул:

— Имеется вопросец к крутовским, к товарищу Егорову!

Председатель перегнулся через стол, едва не опрокинув графин, сказал:

— Не мешай съезду работать. Было ясно заявлено: неделегированные обязаны выйти. Ты не делегат, и выйди беспрекословно!

— Пущай ответит Егоров!

Огромный Егоров спокойно и зычно сказал:

— Нехай задает.

— На какую платхворму ведеть твоя коммуна-гигант?

— На платформу всеобщей идейности, — ответил Егоров.

Председатель губисполкома Волков, который уже разбирал бумаги, сидя за столом, усмехнулся, посматривая на Осинского: тот был строгим, сосредоточенным, что-то писал на листе бумаги.

— Объясни съезду эту свою идейность! — требовал в кожухе.

— Придет время, милок, — спокойно сказал Егоров, а председатель стал снова звонить в колокольчик, но тут один за одним, похожие на желтых цыплят, худень-

кие, взволнованные, с красными, кровью горящими бантами на груди, начали вбегать на сцену девочки и мальчики; они быстро разбились на две группы с обеих сторон стола президиума, потолкались локтями, подравниваясь. Высокий бледный мальчик с одухотворенным блеском в глазах провозгласил:

— Дети школы-детдома приветствуют славный съезд сельских коммун! Да здравствует коммуна!

Закричали «ура!», делегаты встали, под вал рукоплесканий ребята спустились со сцены по лесенке в зал, и все вдруг почувствовали, испытали на своих лицах горячий ветер, как бы всколыхнувший их.

Председатель вновь попросил посторонних очистить зал. Встал секретарь губкома партии Грибцов — предложил оставить, а первое слово дать делегатам. После голосования так и решили.

VII

Председатель объявил, что слово имеет семлевский делегат Егоров. Семлевцы и издешковцы, сидевшие в одном месте, на передней скамье, дружно захлопали. Едва он подобрался к трибуне и еще не взошел на нее, из зала спросили о гигантусе: какой основной ее смысл?

Егоров обеими руками пригладил волосы, сказал басом:

— Смысл коллективной идейности — в самом возрении на гигантусы. Мы еще в девятнадцатом году заявляли, что коммуна, как верно выразился в газете товарищ Осинский, не может жить, как крот, не выходя на простор мировой политики. Я отвечаю: мы упорно пытались создать гигантус, объединили гурт деревень и хуторов, свели воедино угодья. Гигантус, товарищи, — социализм в наличности! Однако в самый разгар создания мы натолкнулись на стихийность темных крестьян, которым одурманили головы отступники от социализма, такие, как Золотухин.

— Сколько ж вы желали объединить деревень? И как с делом добровольности?

— Товарищи, мы жаждали воедино слить шешнадцать деревень и штук двадцать мелких хуторов. Добровольность — это пережиток анархии, отсталости.

Пожилой человек, встав со скамьи, спросил:

— А как вы оказываете внимание нуждам двора?

— Главная цель коммуны — всеобщее единение на платформе Советской власти и в рамках гигантуса. До всякого барахла, до огородности гигантусу дела нет. Нет и не может быть! Ее задачи — переустройство старого быта, прогресс во имя коллективности и идеи...

— В девятнадцатом годе на всероссийском съезде коммун такой идейности Лениным не ставилось, тут в аккурат неувязка и товарищей Вострякова, и прочих Егоровых. Тут у вас вовсе другая изнанка получается, — перебил Егорова кто-то с места. — Товарищ Ленин решительно супротив такой коммуны!

Егоров с некоторой растерянностью стал объяснять:

— Идея — она одна: изничтожение собственности. Помните: сперва резали наделы членам коммуны? То исть, сказать прямо, оставляли прежние. А что вышло? Заблуждение идеи и позор мелкобуржуазности! Одною ногой в своем хлеве, другою — на коммунском поле. А замыкание коммуны в одной деревне — это подрыв революционности. Когда еще товарищ Тихон Федосеевич Востряков был секретарем губкома, он нам задачу гигантусов верно направил. Теперь у нас имеются с товарищем Востряковым некоторые расхождения. Подчеркиваю: некоторые, в основном мы вместях против любой буржуазности...

Маленький, похожий на подростка мужик спросил:

— А моя нужда? Приду я к тебе с ней за сорок верст? Скажем, чтобы привезти воз дров?

— Ты путаешь разность понятий. Ты хочешь, чтобы коммуна твой бы мелкий быт удовлетворяла, вот чиво ты хочешь! Но коммуна за весь народ, который трудится, ей все одинаковы. Она должна кормить рабочий класс, как гегемон, а также прослойку интеллигенции. Дипломатов, которые хочут мира ему же, русскому крестьянству, и разный прочий народ...

— А как вы кормите людей, котлом?!

— Товарищи! Мы кормим по труду. Общий котел нами категорически отвергнут. Он заблужденье идеи! Лодыря мы не кормим. А какой выход? Пущай трудится! Пущай дает ударность и сознание! — разъяснял Егоров. — Економика нами строится в соцнакоплениях; мы создаем фонды. Даем государству поставки, то исть братьям голодающим, пролетарьяту. Отсюда отталки-

ваясь, я зачитаю декларацию, которую мы выработали на своем правлении: «Коммуна-гигантус «Крутовская» обращается к съезду со следующим воззванием. Товарищи члены коммун губерний! Узкоцеховая жизнь коммуны нами отвергнута. Мы собираем хлеб всему народу, и даже заграничному, ежели того попросят. Мы против роста мещанского благополучия двора членов коммуны. Поэтому мы сломали заборы вокруг хат, перепахали усадьбы, обобществили домашнюю птицу, а также посуду и прочее имущество. На месте хлевов мы построим светлое здание — процветающую коммуну. Вперед!»

Кончив читать, Егоров сел в президиум.

Съезд притих на некоторое время.

Тем временем, получив слово, на трибуну взошел Тиунин, председатель «Зари». Золотухин видел: глаза круглые, но неспокойные, бегали они. Чего-то боялся он.

По рядам прокатывался легкий шум, Тиунин заговорил:

— Верные слова товарища Егорова! Мы своей коммуной всецело поддерживаем. Это не могут понять слепцы вроде Золотухина, председателя «Власти труда». Товарищи, не в том суть: держал или же не держал работника. Капиталист ест рисовые котлетки, а это не значит, что он не эксплуататор, не холуй реакции и не ее же маховик!..

Но дальше ему говорить не дали — затопали ногами, прошло движение в президиуме, и Тиунин, не кончив, сел на место.

Слово дали худому, в армяке, в лаптях, с легкой светлой бородой мужику, о котором председательствующий сказал:

— Товарищ Шубин.

— Кому позор, а кому слава, это ты, Тиунин, обождал бы предуказывать. Шкуру делют на убитом звере, а кто из нас выживет, ты или мы с Золотухиным, кому позор — еще никому не известно. Товарищи, тут кое-кто торопится хоронить «Власть труда», торопится, и опять же зря, так пущай знают: по губернии уже шесть таких коммун, а завтра будет куда больше разносторонних кооперативных хозяйств, совхозов и артелей, и тут уже никому не остановить нас, не сбить, черта с два!

У нас был товарищ Грибцов, он разъяснил линию правительства, которая не упирается в одну коммунию, а куда шире глядит, он нам многое открыл. Мы поняли, какая у кого свобода жить для общего, егонова, то исть народного, блага. — И под шквал рукоплесканий Шубин сошел в зал.

Председатель объявил следующего оратора от Краснинского уезда, но произошло неожиданное: встал за столом президиума секретарь губкома Грибцов и, попросив короткое слово, сказал:

— Есть предложение: сейчас всем съездом, не мешкая отправиться крыть крышу единоличной одной семье. Солому они сняли на корм, а крыша голая, вон она, товарищи, на бугорке. — И показал рукой в окно.

Все повернули головы и увидели — верно, совсем раздетая стояла на ветру хата, еще ворона над ней летала, и труба как-то голым наростом глядела в тучи. Какой-то человек заявил, что семья эта особо упорствующая против вступления в коммуну. Но Грибцов, казалось, не слышал: когда с оркестром встречали эшелон, он прошел по селу, хату эту приметил и побывал в ней.

— Пошли, товарищи, нам всем полком на два-три часа работы. Солома имеется на коммунском дворе. Пошли! — и Грибцов посмотрел на Осинского.

Весь съезд сейчас смотрел на него. Он пощипывал бородку, прищурясь, какое-то мгновение молчал. Потом молча встал в президиуме первым.

«Крыша-то тобою хитро придумана, товарищ Грибцов, хитро и с умыслом!» — Востряков, прищурившись, смотрел на Грибцова.

Через час с лишним дружной работы крыша была покрыта. И в этой хате, в холодной летней половине, Грибцова обступили секретари укомов, председатели Совдепов, артелей, директора совхозов — человек тридцать. Теперь, сидя, Грибцов охотно отвечал на вопросы. Шубин спросил:

— Правда ли, что Востряков тайно собирал людей?

— Да, вчера вечером Осинский, а не Востряков провел тайное совещание своих людей, а попросту — идущих за левыми крикунами. Я вам должен с тревогой сообщить, что любители крутых мер заметно оживились.

Там были и «самостийные», вроде Егорова. Востряков не был. Это значит — хитрит старик, выжидает, куда повернет момент, хотя с крикунами связан по рукам и ногам. Наша задача — не криком, товарищи, а фактами доказать, что они сознательно нарушали принцип добровольности. Ими руководило стремление всем и во всем командовать...

Раз эти люди пошли на тайные сборища, значит, пришел черед нам проявить последовательность и волю. Коммуны — начальная стадия, как первичная ячейка. Коммуна должна помочь бедняку, чтобы он выжил в этот тяжелый час. Первичная и не единственная. Ленин против ее аграрной гегемонии, она никогда не должна превратиться в колонию, за которую ратуют Троцкий и его единомышленники, озабоченные лишь тем, чтобы такой вот коллективностью сформировать безмолвную и безликую крестьянскую массу. Всегда помните слова Ленина, что коммуна есть лишь переходная ступень, одна из форм коллективного труда...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Весь второй и третий день на съезде выступали делегаты. В начале заседания четвертого дня на трибуну ждали Осинского. Все на него смотрели. Но он от выступления пока уклонялся: еще не видел и не знал, как ни напрягался, куда все-таки повернется съезд. Игра словно шла вслепую, и была еще эта неожиданная крыша...

На трибуну вошел председатель коммуны «Огни Октября» Ягоркин. Но после первого же слова «товарищи» начался шум в зале.

Председателем был Григорий Миронов, он потребовал тишины.

— Прекратить разговоры! Не мешайте оратору!

Ягоркин, осмелев, заговорил:

— Если бы не беспринципное упорство Золотухина, сегодня нами был бы решен окончательный вопрос: полная коллективность в коммунах. Своей вредной политикой затягивания он буквально сорвал политическую кампанию. Только дальнозоркость товарища Вострямко-

ва сумела предотвратить многие действия оракулов анархизма. Делегация нашей коммуны предлагает: идти любой ценой одной дорогой, ко всеобщей коллективной жизни. Хозяев мы также отвергаем...

Как горох из мешка посыпались реплики. Один упирал на бесхозяйственность со скотом, другой — на обезличку земли и самих хлебопашцев.

— У вас вон скот едва не дохнет в Бражине.

Григорий взялся за колокольчик, но звонить не стал, крикнул в зал громко:

— Без оскорблений личности!

— Сказать правду — не значит оскорбить, — жестко поправил Грибцов, но тотчас же поднялся Востряков. Он искал глазами мужика, прервавшего Ягоркина; когда нашел его, коротко спросил:

— Утверждаешь?

— Как на духу! — живо сказал тот.

— Создадим комиссию, выясним!

Но мужик уже лез к сцене, рыжеватый, низенький, немолодой.

Григорий категорично потребовал: не прерывать оратора.

Однако Ягоркин удалился сам, сказав, что он кончил.

Мужик на сцене огляделся, посматривал то на президиум, то в зал.

Обеими руками взялся за трибуну.

— Не в одних коровах дело. Товарищ Ягоркин, а также наши конторские ходили с мыслями насчет, стало быть... Оне хотели коров одними бобами кормить. (В зале засмеялись.) А чем кончилось? Остались без сена, люди — без хлеба, бобы выгорели... Оне и должны были выгореть: семена во время сева даже не бороновали, зерно склевали птицы. Сады у нас какие? Штук пять яблонь да три-четыре сливы. А родили — и фрукт был. Яблоки у нас на наделах, около тына. Товарищу Ягоркину оне дуже мозолили глаза, он велел их обобчествить. Не к чему было и курей наших обобчествлять, как и сады. — Под гром аплодисментов он сбежал по лесенке, около нижней ступени рдяно краснел край дорожки, мужик за него зацепился лаптями, упал, а когда поднялся, то увидел — зал хлопал ему стоя, почти весь зал, кроме скамьи издешковцев и семлевцев.

Унимая противную дрожь в руках, Григорий наклонился к Вострякову. Какой-то миг он всматривался в его посеревшее, рыхлое, ставшее бабьим лицо, в поджатые, будто зашитые губы. Увидел его и руки, крепко сцепленные на животе, оттопыренные нагрудные карманы на толстовке, всегда хранящие на любой случай разные бумажки.

— Говори! Сейчас же говори, Тихон! Без промедления!

Востряков ниже пригнулся к столу, плечи его обмякли, грубые складки кожи прикрыли глаза, едва пошевелил губами:

— Рано.

И Григорий понял, отступил, распрямился. Понял Вострякова и объявил:

— Слово имеет заместитель наркома земледелия товарищ Осинский. — Сотни глаз жадно следили за тем, как Осинский свободно и спокойно взошел на трибуну.

— Коммуна — самая первая и узкая ячейка, товарищи! Но мимо нее не пройти, и чем скорее мы ее организуем, тем скорее придем к более высокоразвитой форме. Так или иначе, как бы мы ни упирались, сколько бы мы ни сидели на наделах, а жизнь есть жизнь, единоличию должен прийти конец. Во имя самой России, ее спасения. Личная ваша, домашняя жизнь поневоле подпадает под чужую опеку. Коммуна, коллектив — вот кто станет повседневно управлять личной жизнью. Снова категоричным образом, со всей решимостью я повторяю: основной путь перестройки — принудительно-массовая организация! Она и единственная. Товарищу, выступавшему передо мной, хотелось бы иметь сады. Мы их будем иметь, но коммунские. Товарищу не хочется записывать в коммуну свою курицу. Но надо знать: у нас в России сегодня даже курица, как ни смешно, и та линия фронта. Товарищу мужичку хочется кушать свою единоличную курицу. А рабочему? Мужичок знает свое: он хитрый, он проживет, кое-что у него про черный день припрятано. «Вы сделали революцию, вы ее и кормите» — вот он как говорит рабочему. А мы ее всемирную сделали, всечеловеческую, во имя счастья и процветания всех, кто трудится!

Тогда из зала перебили, нашелся смельчак:

— Вы ее сделали? Только вы?

Еще спросили, пока он очки протирал:

— А где наши мужики? Мужья баб? Где оне?

— Товарищи! Революцию творил рабочий и крестьянин, вы неверно меня поняли. Я выступаю в порядке прений. С некоторыми разъяснениями нашей текущей политики в деревне. Было время, еще год назад, Совнарком специально рассматривал дело строительства и организации коммун. Я не полностью согласен о постепенном переходе единоличного хозяйства на коллективное. — Он помолчал, присматриваясь к присмиревшему залу, и нарочно подольше продлил паузу. В тишине налил себе воды, выпил полстакана, изящным, чуждым всему этому лапотошному залу жестом поправил ворот белой рубашки, холодно и строго сверкнув очками, добавил: — Выводы необходимо сделать сегодня. Их вы сделаете сами.

Жидко захлопали, словно опомнились, когда он уже сел на свое место.

В напряженной тишине Миронов объявил выступление Вострякова. Объявил, не спрашивая, знал: он теперь и выйдет. Задние ряды начали приподниматься, иные люди даже тянулись на цыпочки, чтобы его увидеть, и видели, как по-стариковски он, перекачиваясь, пробирался меж тесных стульев к трибуне. Сутулый, он подошел совсем неслышно. Тогда и ахнули: на ногах его были лапти! Черные оборки, почему-то черные на белых холщовых онучах, в глаза бросились.

Весь съезд затаенно смотрел на его ноги. И главное, свой был, здешний, пречистенский мужик. Не тот, что с бородкой приехал. У самой трибуны он уронил бумажку. Пока ее нашарил, пока взошел, зал уже эти лапти рассмотрел до единого человека. «А ведь нарочно обронил», — подумал Золотухин.

— Братья! Сестры! Крестьяне! Мир и счастье вашим хатам. Почтим же память убитых крестьянских сынов, головы сложивших за нас с вами, за жизнь, за революцию!

И не ошибся: в едином порыве встал зал. Люди плакали, многие в разных концах зала даже рыдали. А Востряков не хотел слез — хотел раболепия, а не было его, было горе, независимое от хитрости и ума его,

Раньше было: народный трибун, борец, обремененный тысячами их же, людских, забот, однако не светились, как прежде, теперь их глаза.

— А нам жить... надо, детей растить, хлеб сеять, пахать. Я здесь, братья и сестры, пахал, вон за ветряком. Знаете, дело-то привычное. Бывало, батька на зорьке тянет тебя за штанину: «Тихон, земля перестаивает». А как жили, умом? Нет и вовек нет, товарищи! — Голос немного повысился, но волю ему Востряков не дал, не любил он крика на собраниях. — Мозолями жили, рождались дети, безграмотными старились или в могилу сходили. Зачем? Зачем живем на белом свете? Зачем кровью залили землю? Били Колчака, Юденича, Деникина и других тиранов? Я спрашиваю: во имя какой справедливости? Какой хотим жизни: общего благоденствия или гнить в ярме у своего надела, у своей тьмы, своего рабства хотим? Хотим сознательно? Единомыслящие, добровольно? Настало время ответить! Есть люди, они толкуют: давайте ждать, пока сам захочет, дескать, мужик. А кто знает, когда он захочет? Кому тут известно? Кто постиг русского человека? Могут пройти тяжелые годы, состарится поколение, а мы все об одном и будем говорить! Все о том же — давайте ждать, время объединяться не подоспело. На проповедь ожидания, товарищи, мы как бы то ни было при всех наших недочетах заявляем: единение крестьян! Не через год, не через пять лет, а сегодня! Время — оно пришло. Оно в нас, в наших лозунгах, в нашей крови, в побитых, в покалеченных, в безруких и безногих, каких мы съездом встречали. Оно пришло! — И тихо уже проговорил, низко поклонился съезду, совсем по-простому сказал: — Здоровье слабовато. Староват я. Мне бы и на покой, ежели бы пустили. Ежели бы о вас не изведся сердцем! О вас! Ночами думаю. — Сошел с трибуны, но в трех шагах от стола президиума приостановился, посмотрел в зал, ему в глаза опять борода, хвостом торчащая, встретилась, он и когда начинал речь, тоже ее изредка продолжал видеть. — Вот не единые вы, люди! — Борода не шевелилась, глаза не мигали, ему не верили, ни единому слову. — Смешно было бы: на хозяине новое крестьянство строить. Вчерашний он, хозяин, хоть и не грабил, а в наших грядущих боях не будет он нам другом, не можем мы довериться до конца ему...

Едва в президиуме начали подниматься, давая ему дорогу, с левого крыла яруса задали вопрос:

— При голосовании по земельному делу в Учредительном с эсерами, папаша, не нюхался?

— Нет. Я тогда в армии был после каторги. Я тогда, дорогой товарищ, к ним зорко присматривался...

Из президиума рослый длинноносый мужик, разинув зубастый рот, крикнул:

— Герой товарищ Востряков к эсерам не причастен!

— Не ори, дядя, не за тем туды тебя посадили! А будешь орать... Мотри! Сам скажи, папаша! Оне нам тоже не свояки!

— Кто за народ страдал, тому не страшны клички, не ищи виноватых! — уклонился от ответа Востряков.

Сейчас же после выступления Вострякова был объявлен перерыв.

II

В тесном коридоре Грибцов мягко взял за локоть Золотухина, тихо сказал:

— Погуляй, покури. И что бы я просил, когда возьмешь слово, — аргументы! С ними и выходи.

Удивительна человеческая жизнь! Только сейчас спорили, кричали до хрипоты, низвергали идеи и свои же выдвигали, а тут вновь стали братьями. У буфетов с бутербродами из ржавой селедки, в кленовый листик толщиной полосками сала толпилась очередь. В углах, в проходах и повсюду в свободных местах обильно сорили на пол подсолнечную шелуху, Золотухин мельком глянул на своих: Кондрата, Левцова, Семигонову Варвару. Он с болью, с тоской подумал о них: «В чем только жизнь держится!» На пустыре, около выпряженных саней, Золотухин увидел деревенских.

Марфа издали сообщила:

— Наши нагрянули! Почти вся деревня. Единоличники тоже есть.

Он присмотрелся: верно, на возах смирно сидели Ганна Миронова, Филиппенков Анисим, Порфирий Кожушенков и человек двадцать баб с левобережной стороны. Рассеянно оглядываясь, кого-то отыскивая, он увидел Полину: та, заслоненная людьми, приподнимаясь, смотрела на него. Взволнованная и обеспокоенная Мар-

фа заглянула ему в глаза, и Золотухин понял, о чем она думала: Марфа боялась за него. Этот мимолетный страх прочитал он в ее взгляде и не ошибся. Она сказала порывисто:

— Наше дело надо отстоять, Максим!

Приехавшие лукашовцы пошли в нардом, а он повернулся к Полине, по-прежнему безмолвно сидевшей на возу.

— Ты? — словно не узнавая ее, сказал Золотухин. — Ты! А как же ты-то? Ты что ж, и людей собирала? — отчего-то догадался он. — Я знаю хорошо, твоя работка!

— Собирала. Тут всех касается. — Она ему близко улыбнулась подрумяненными щеками, заиндевевшие брови ее и ресницы были мохнатыми. Он дотронулся до левой ее брови пальцем, а Полина спросила:

— Живой покуда?

— Жарко, Полина! — Он замолчал, и она поняла, что там было очень трудно. Полина вдруг резко оттолкнула его руку и загадочно засмеялась.

— Я подожду тебя! — прошептала она, блестя глазами.

— Людей сколько! Едут! За судьбой! А как ее дать, судьбу... Пошли, Поля!

III

На четвертом, заключительном дне работы съезда зал был заполнен до отказа, вновь прибывшие люди сидели, свесив вниз ноги, на барьере яруса, толпились в открытых дверях и тесно, плечом к плечу, стояли в фойе. К середине дня разгулялась вьюга, в неплотных оконных рамах сеялась снежная пыль, судорожно дрожала при порывах ветра крыша. Председательствовал лохматый мужик в расстегнутом полушубке, в красной, видневшейся из-под него рубахе и в новых поскрипывающих лаптях. Его и раньше видели в президиуме, сивобородого, с котомкой на коленях. Теперь эта его холщовая котомка, завязанная цветастой тесьмой, лежала на полу между столом президиума и трибуной. У председателя было широкое, исхлестанное стужей лицо, большие, неловкие за этим столом, корявые его руки разглаживали лист бумаги, в котором значились ораторы, он изредка на него взглядывал, шевелил губами,

читая по слогам, потом эту бумажку закрыл ладонью и объявил:

— Выступает заместитель Высоковского уездного Совдепа товарищ Чугунов.

— Я выступлю коротко и по одному пункту: как это ухитрились ораторы — товарищ Востряков, товарищ Осинский и другие, которых они ведут за собой, — обойти вопрос новой политики? Создается впечатление, что не было решений партии и правительства, что деревня идет по той дороге, которую ей указала якобы не партия, а группа в ней, и если бы не было бы на свете товарищей Осинского, Вострякова, Волкова, то наше крестьянство неминуемо погибло — вот как на нынешнем этапе заострили они вопрос! Разве крестьянин уже не испытал на себе, что дала ему Советская власть, разве выжили бы мы без этого великого поворота? Революция отобрала у ожиревших богатство, и тут-то не заметили, как говорится, соринку в глазу. Подумай, Тихон Востряков, подумай и опомнись, а то ведь упавшим трудно подниматься! Упавшие в трясину, бывает, и остаются там, даже в том случае, если любили они когда-то народ и сами же вышли из его низов, сами же носили лапти, а потом выставляли их напоказ, как духовное родство с миллионами, как некую медаль во имя лжи и обмана доверчивых. И вот, оказавшись в трясине, они не получают подпору от своих сомнительных братьев-крикунов, кто их подталкивал, использовал в антинародных делах их недюжинные силы, натравливал их на народ, — ты уже сейчас тем людям не нужен, Тихон, и не нужен потому, что уже разбит. — И на этом под гул аплодисментов Чугунов сошел с трибуны.

— Слово дадено представителю Сычевского уезда товарищу Федоскину.

Этот Федоскин оказался настолько малым ростом, что на трибуну не полез, боясь, что не будет виден с нее, а заговорил, стоя на верхней ступеньке лесенки:

— Мушшины и женщины, а также весь народ! Чаво, ежели спросить, мы хочем? Земли? Какую мы все просили? Земля нам дадена, она пожалуйста, хошь сколько хошь. Мы ее крепко просили в семнадцатом годе, она нам была нужная, потому что самые богатые земли имел помещик, а не мы. Мы воскресли — землю

революция нам дала! К своей глине я прирезал черной землицы и стал жить. Мушшины, а также женщины! Сколь понятно, что земля родит хлеб, то столь же и понятно другое: мужику надо помочь ее обрабатывать. А кто нам помог?

В тысяча девятьсот восемнадцатом году нам помогла Советская власть, она нам крепко помогла!

Большевик Поликарпов, сам московский рабочий, рази не он спас от сумы, не он собрал комитет бедноты? Кто в том комитете сидел? Я сидел, мушшины, Филипп Гаврилов, самый бедняк в Расее, Егор Ползунков, Мишка Трошин из Сырца, Игнат Тузин из Мигуновки — вот кто сидел, вот на кого обпёрлась новая наша власть. Она накормила, да как? Не за счет свово брата, мужика, как нонешний деятель Тихон Востряков! Не чужим хлебом кормила она — хлебом-то тех, кому он легко достался, вот каким! Тогда какого черта тут некоторые замахиваются на новую власть! Рази Тихон Востряков, сам мужик, не стал нам поперек дороги? Рази он нонче доподлинная новая власть?

Кто-то из зала крикнул одобрительно:

— Верно! Верно!

— Нам Волков заявил: землю вы получили, только вы ее не прикарманивайте, потому что она, земля-то, народная, евоная собственность, и идите в коммуну, а там и пашите ее по гроб на себя и на весь мир, то исть в ево пользу. Мушшины! Делегаты, а также просто сидящие, это все равно. Этот деятель спутал себя с Советской властью, какую мужик поддержал ишо в девятьсот семнадцатом годе и всю гражданскую войну кормил нашу Красную Армию, чтобы она вышла бы к победе над белой гвардией.

Мушшины, а также весь народ! А также бабы, делегаты и все прочие! Как мы, крестьяне, должны понимать об земле? Так же она должна быть нам, как перина, на которой мы спим? Нет, не так! Мы ее не родили, мы должны быть на ней хозяевами, да не собственниками. Помещик — тот собственник до мозга костей, тому своя выгода, а у нас рабочие руки. Мне землю в карман себе али за пазуху не класть. И теперь вопрос не в земле, а во власти над ней. Вот иные говорят: крестьянину верить шибко нельзя, не верь ему, а в хо-

мут запряги, и пущай бежит себе по дороге, не мотает хвостом и не оглядается по сторонам. Чем он меньше будеть оглядаться назад и на самого себе, тем он вовсе про себе забудеть навроде лошадки. Ко мне приезжал знакомый из коммунии «Заря», навернул миску моих единоличных щец — вот какова там жись!

Председатель колокольчик в руки не брал — он бездейственный лежал с краю стола. На речь Федоскина зал ответил дружным рукоплесканием, возгласами одобрения, и, не ожидая, когда они смолкнут, неожиданно взял слово Востряков. Председатель зачем-то посмотрел на колокольчик, помедлил и спросил у делегатов:

— Вторично слово дадим?

Но Тихон, не дожидаясь решения, привыкший диктовать власть сам, тяжело поднялся за столом и воскликнул:

— Так зачем же я не спал ночи?! Зачем мне нужна коммуна, или выгода какая мне от нее?! — Помолчал, глаза в кровавых прожилках, отяжеленные заботой, кого-то искали в зале, нащупывали, но найти не могли. — Я же всю жизнь отдал ради торжества добра. А коммуна — это благо, добро для вас. Ради этой идеи шел я через годы и сквозь лишения!..

Тишина была такая, что слышалось, как чьи-то легкие, или застуженные сильно где-нибудь на фронте, в мерзлой траншее, или на работе получившие чахотку, с шумом всасывали в себя воздух и клокотали.

Председатель объявил громко звучным голосом:

— Будет выступать председатель коммуны «Власть труда» товарищ Золотухин.

Улыбаясь краешками губ, ему кивнул Грибцов, подмигнул сидевший во втором ряду президиума какой-то мужик. Отчего-то Золотухин затоптался перед трибуной — первый раз в жизни он на такую высокую, сбитую из толстых, красно крашенных досок должен был лезть!

Еще в приходской школе, в те три зимы, Золотухин боялся выходить к доске перед девочками и хлопцами, сильно робел, когда вызывали. А ныне нужно было преодолеть ему всякую боязнь, потому что он понял: война тут была, и хоть как-то вслепую, а все-таки дрались, а правых и виноватых пока еще вроде не было.

IV

— Товарищи! Крестьяне! Трудящиеся люди! — сказал он громко. — Самое позорное для всех нас и для каждого может быть: высоко подняться, а вокруг, как ослепшему, ничего не видать. Главное — не видать людей, а если и видеть их, то опять же так, чтобы проглядывать в них свой натуральный интерес. Потом этим интересом, сколь подойдет к тому надобность, всю жизнь и мерить. А как его измерить, интерес, общий он или же, к примеру, одного товарища? Мерка-то: у кого как и куда нацелен глаз и помысел. А ежели мы примем ложь за правду, интерес одной личности или малой кучки их за чистую жажду и тяготение самой массы, то нынче это будет всего лишь поправимая ошибка, а завтра как раз непоправимая беда для Республики Советов и всей мировой революции. Она такая будет! Товарищи! Братья! Кто не грабил трудового мужика? Грабил помещик, банкир, министр, сам царь грабил, мильены клал в иностранные банки, потому как боялся своего же народа. Такую грабиловку выдвигали всякие эсеры и временные — те же легавые шавки капитала и буржуазности. В гражданской войне русский мужик, вчера еще пахавший свою землю, не жалел крови и своей жизни, шел на смерть за-ради уничтожения этих «спасителей» народа. И вот нынче наши бабы с детишками осиротели в своих хатах без мужиков, голые, голодные, оне все еще выглядают на дорогу, ждут и ждать будут целые годы, потому что иначе им невозможно. Так за кого же и опять за что положили на полях гражданской войны свои головы мужики? Оне их положили не за то, чтобы наш Андрюха Бабинцев со своим братцем опять бы наживался, держал в узде дворы, чтобы к нему на поклон пошла сегодня наша рабочая, мужицкая революция, этому не быть! Кулаку будет показан кулак, я заявляю как большевик, но кулаку, а не середняку! Тут все-таки разность воззрений, товарищ Волков! А ежели кто тут против новой власти, против отмены рабства мужицкого, ежели тут кто похилился мыслей насчет правоты власти — власти, а не кучки присвоивших ее себе! — тогда говори открыто! Тогда мы разойдемся в понятии, тогда ты слепец и ничего не видишь дальше своего носа. У нас есть власть, добытая нами,

обмытая кровью сотни тысяч тех, кто, может, столетие назад звенел цепями по сибирской дороге, кто гнил за нее в казематах. Некоторым понадобилась коммунизация в деревне не для того, чтобы одеть, накормить и вывести на широкую дорогу мужика, а совсем для другого. Ежели не доходы себе оне на этом деле ищут, так славу и власть натурально! Факты — оне налицо: в коммуне «Заря» председатель Тиунин собственноручно, как фельдфебель царской службы, избил трех мужиков и одну бабу за невыход на работу. Но кто дозволил это Тиунину? Тиунину таких прав революция не давала и никогда не даст! Ягоркин в «Огнях Октября» публично высек крестьянина товарища Маховкина за то, что тот спрятал в катух курицу и трех кроликов, а раньше он выступал против его же, Ягоркина, на линии несогласованности с таковым социализмом. В коммуне «Новый путь» правление конфисковало у многих крестьян даже надранное лыко на лапти и восемнадцать пар самих лаптей. Правление это объяснило так, что лоза, дескать, народная, растет на государственной земле. И они тоже вроде народные — люди, служившие в конторах старого режима, а теперь поставленные заправлять Востряковым, — «учителя» крестьянина и его же «спасители». Но социализм не пугало, а спасение мужика. Социализм — это освобождение мужика от всяческих пут, это уважение и почет трудовым рукам! Да здравствует коллективный труд! — Золотухин сошел с трибуны, встал рядом со своим местом и замер, словно он все еще был в солдатском строю и строй этот сейчас же должен был ринуться в бой, чтобы наголову разбить, опрокинуть и окончательно смять врага.

Наступила тишина, и в это время Востряков думал неотступно о Грибцове, о нем одном: напряженными светящимися глазами всматривался он в сумрак зала, где сотни людей кому-то сейчас должны были вынести приговор, а кого-то поднять на еще невиданную волну к новой жизни...

И понял, осознал он: «Товарищ Грибцов, ведь ты одерживаешь верх, последним словом всегда больно бьют!» Выражение неуверенности и тревоги было и на лице Осинского, нервно белыми пальцами он пощипывал бородку.

— Слово дается секретарю губкома партии товари-

щу Гавриле Ерофеевичу Грибцову, — объявил председатель.

Грибцов взошел на трибуну, крепко взялся за нее руками, сказал затем:

— Когда кровавый Колчак тиранил сибирское крестьянство, а лозунг — на чью сторону встать — встал во весь рост перед каждым мужиком и он изверился в царском адмирале, тогда ни Троцкий, ни Осинский, ни Тихон Востряков не отказывали крестьянству в праве на колебания, в праве выбирать правильный путь. Тогда они не кричали, что мужику нельзя верить. Тогда они не проповедовали, что русское крестьянство реакционно, не способно быть союзником рабочему классу в строительстве новой жизни. Теперь они нашего кормильца, брата пролетария, которого он кормил и обогревал в лихое время, — мужика-середняка вдруг обвинили во всех грехах. Но им не нужен мужик, о нем они не думают. Им, этим деятелям, не хочется, чтобы русский многострадальный народ, проливший столько крови за революцию, получил бы от нее благо и счастье. Им нужны политические кампании, трескучие слова. И выступающие здесь простые мужики эту их страсть ухватили верно, и оттого я радуюсь и горжусь тем, как под воздействием великой революции политически вырос простой народ, как он поднялся духовно!

В течение прошлого, голодного года Востряков из Высоковского уезда к нам в губернские организации не прислал ни одного заявления с просьбой помочь доведенному до отчаяния мужику-бедняку. Не ожидая просьбы, мы сами послали уезду полторы тысячи пудов семенного хлеба и сто девятнадцать пудов мяса, а также одежду. Мы знали и знаем: того, кто сеет, кто растит зерно будущего, кто на алтарь этого прекрасного будущего отдал все, что мог, — мы не дадим его в обиду! И в том будущем, еще не нарожденном, еще невидимом сквозь туман, еще могут появиться новые сверхреволюционеры, еще более хитрые, то есть хорошо выученные, а потому опасные и коварные, — вы их различите среди общих забот нашей жизни, сумейте различить! Вы все народ — сила невиданная доселе, но будьте бдительны, не теряйте зоркости, не убавьте шаг, когда станет трудно! Вы видите, как Тихон Востряков, порожденный неимущими низами, становится почти таким же опасным,

как и наш классовый враг. Но не помогут Тихону Вострякову ни лапти, в которые он нынче вырядился, чтобы сбить с толку крестьян, — вот какой я, свой в доску! — ни хитрые словоречения о каком-то скороспелом братстве: под этими словами — обман. Победи Тихон Востряков сегодня в своей коммунизации, завтра он неизбежно окажется деспотом, еще при своей жизни потребует себе монумент...

Теперь вопрос о коммунах, как он поставлен партией, товарищем Лениным.

Я здесь должен, товарищи, внести важное разъяснение. В настоящее время ни партия, ни правительство не ставят задачи немедленного перехода единоличного уклада на путь широкой коллективизации. Мы будем с осторожностью и постепенно подходить к этому сложному и трудному делу. Оно потребует многие годы.

Товарищества, коммуны и артели созданы и будут создаваться только там, где беднейшим слоям грозит разорение, и там, где мужик поймет, что жить в единоличестве ему уже нет смысла. Существует путаница и вот какая: есть, мол, один и есть другой тип коммуны. Этого, однако, в действительности нет. Есть коммуны, основанные на идее Ленина, и есть колонии-поселения по Троцкому, насильно насаждаемые в Бражинской волости Тихоном Востряковым. Коммуна рождена революцией; она лишь первоначальное звено наряду с другими формами аграрных преобразований; коммуна ничего общего не имеет с колониями. Само слово «коммуна» несет на себе отсвет зарева революций, освобождающих человечество. Таким образом, путать колонии и коммуны нельзя — их суть прямо противоположна. Товарищества, артели и коммуны основаны на добровольности крестьян, колонии — на принуждении и подавлении самого духа революции. Артели, товарищества, коммуны — это звенья одной цепи, которые помогут нам в дальнейшем организовать крестьян, но не в поселения-колонии, задуманные Троцким, а в социалистические, высокие по своему духовному и материальному укладу хозяйства, где крестьянин наконец обретет подлинно счастливую жизнь. Коммуна уже сейчас, как вы видите, не только не единственная, но далеко не главная сила в деревне: мы имеем в значительной степени больше со-

ветских хозяйств, артелей, первых коллективных товариществ. В силу разрухи, бедности деревни, а также в силу того, что коммуны прививают первые навыки коллективной жизни, мы не можем пройти и мимо них, и свое хорошее дело они делают и принесут пользу в будущем. Их у нас еще очень мало. Колонии-поселения — их у нас в Бражинской волости всего десять — не только не распространились на всю губернию, но даже на весь Высоковский уезд, несмотря на бешеную энергию таких людей, как Тихон Востряков! Значит, мертвеца не воскресить, как бы его ни красить.

Впереди — борьба, и я верю: что бы там ни было, а истинная правда одолеет, возьмет она верх, и придем же мы к ней неодолимо!

— Ура! Ура! Ура-а! — сотни людей в едином порыве поднялись на ноги.

Кричал, сильно разевая рот, и председатель, а потом, опомнившись, возбужденным и вдохновенным голосом объявил:

— Зачитываем резолюции. Первую огласит Миронов.

Востряков даже не слышал, как начал читать Григорий высоковскую резолюцию. Вдруг слепой, безглазой толпой поплыли лица в зале, и, испытывая щемящее чувство, с тоской подумал: «Проиграл!»

— Товарищи! — сказал Григорий. — Бражинская волость от имени всего крестьянского беспартийного съезда губернии вносит свою резолюцию. Я ее зачитываю полностью: «В исторический момент, который переживают Россия и все трудовое крестьянство этой громадной страны, нельзя допустить того, чтобы в деревне крестьянин каждый день плодил бы в своей среде обособленных друг от друга хозяев. Социализм в крестьянстве может победить через первичную стадию коллективности, то есть через колонию-коммуну, чтобы затем перерасти в кооперативные хозяйства. Ясно одно: нет нужды ждать десятилетия, коммуны мы повсеместно создадим в текущем году. Осудить и распустить коммуну «Власть труда» как смехотворную, а затем влить ее в коммуну-колонию «Заря социализма». М. Е. Золотухина от руководящей роли отстранить».

Григорий кончил читать и сел, а к трибуне из президиума подошел человек в шинели, с марлевой повязкой на голове, и председательствующий объявил:

— Товарищ Михайлов зачтет другую резолюцию для общего голосования.

Михайлов начал зачитывать:

— «Резолюция трудового крестьянства Сычевского уезда. Товарищи делегаты и весь съезд! Мы брехунам не верили и не верим, хошь партийным и хошь непартийным, а верили революции, а также партии и товарищу Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину, как подлинному освободителю трудящегося народа. Им мы верим, за ними пошли в семнадцатом, а также пойдем и дальше, покуда живы и можем работать для общего блага всей республики. Революция и партия не велит нам огулом, абы как, лезть за один год в колонии — тут иная идейность! Мы исходим из понятия, что трудовое крестьянство должно созреть, оглядеться и подняться своей же мыслью, а также действенностью до уровня жизни в коллективности. Увидать пример в ней лучшей доли для себя. Сколько на это уйдет времени — не главнейшее, а важно одно: чтобы дети наши не росли в злобе, не как собаки. Востряковской идее нет ходу! Это верно: коммуна есть порождение революции и мысли товарища Ленина, а колония, что в Бражине, — это совсем другое, это ярмо! Мы от имени народа и нашего крестьянского губернского съезда делаем следующее воззвание: «Предоставить крестьянам, которых силой вогнали в коммуны-колонии, в гигантусы, право самим решать — жить единолично или же создавать фронт социалистической кооперативности, как-то: ТОЗы, то есть подлинные братские товарищества, артели по наипростейшей общей обработке земли, первые очаги коллективных хозяйств, то есть колхозы, а также совхозы. Но так как в единоличестве беднейшие массы распылены, нищенствуют, то мы громко заявляем, что спасение крестьянства коренится в этом плане социалистических артелей, товариществ, совхозов, коммун, но не в колониях-гигантусах, о победе которых товарищи из Высоковского уезда хотят протащить здесь, на нашем губернском съезде, свою резолюцию. Эта ихняя идея губительная для народа и для революции в целом...

На нынешнем этапе, однако, нет нужды подталкивать единоличную стихию крестьян к общей коллективности, про то верно сказал товарищ Грибцов. Мужик должен еще прийти мыслью до понимания того, что нужно

строить другую жизнь. Такой общей платформы и дурмана колоний нигде нет в республике, и нынешние потуги в Бражинской волости — капля в море. Но она все же вредная, капля эта, и мы призываем ее осудить. Да здравствует Советская республика!

Гром рукоплесканий заглушил последние слова сычевского делегата.

Председатель объявил:

— За резолюции голосуем по порядку, как их оглашали. Кто за первую, бражинскую, — подымайте руки.

Три или четыре руки показались в глубине зала, потом десять в центре, и дружно, шестнадцать рук вскинули на передней скамье издешковцы и семлевцы. Востряков держал руку низко, и она подрагивала: из зала это было очень хорошо видно.

— Счас опущайте. Начнем голосовать вторую резолюцию, Сычевского уезда, — объявил председатель и первый поднял, растопырив ладонь, свою руку. Востряков пригнулся, как бы изготовившись к прыжку, и замер.

Руки начали пиками вырастать отовсюду: у подоконников и печей, у дверей и в ярусе, и все новые показывались из-за армячных и полушубочных спин. Золотухин зачем-то начал их считать: «десять... сорок...», и, сбившись, смотрел на колышущийся лес рук. В гуле, в каком-то сокрушительном обвале встал на ноги зал. Подчиняясь общей воле и силе, поднялись с передней скамьи издешковцы и семлевцы. Они даже не опомнились, как встали. Стоял на ногах, аплодируя, весь президиум. Востряков один сидел за столом и, пригнув огромную лысоватую голову, все во что-то всматривался, как бы в какие-то ускользающие от него, туманные видения...

В зале, на второй скамье, сидел сжавшийся в комок и, казалось, ко всему безучастный Замялов. Его рассматривали в упор отовсюду, и кто-то с удивлением сказал:

— Товарищ Замялов... что-то притих, нынче не прыткий.

Востряков медленно-медленно поднялся, распахнув шинель, но тут сотни глоток торжественно выдохнули:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Сзади надавили басами, пение подняли еще слаженней и выше:

Весь мир голодных и рабов!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

После убийства отца в душе Михаила Дымкова произошел духовный переворот. Он видел, что все двадцать восемь человек, оказавшиеся в Зимовной вырубке, не защитники поруганного, как они говорили, Отечества, России, а самые обыкновенные бандиты, опускавшиеся все ниже и ниже. Эти люди, недавно, как казалось Михаилу, преданные идее освобождения от большевизма, меньше всего думали об этом. За ними тянулся длинный кровавый след, было много убийств своих русских братьев, и никто из них не спросил себя: «За что?» До сих пор было два пути: или идти с повинной к этой власти, которая не смогла бы простить ему, даже при самой высокой гуманности, его кровавых дел, или по-прежнему, не думая о будущем, продолжать по наклонной дороге катиться все дальше вниз. Третье было в жизни — смерть. Смерть, как разрешение неразрешенного, все чаще и без прежнего страха перед ее таинственной властью стала приходить к нему в мыслях. Он чувствовал, что уже не боится ее.

Однажды Михаил спросил Барышникова:

— Что же ждет Россию?

— Гибель, — ответил тот не задумываясь, он сощурил белесые глаза, узкое, тонкое лицо его побледнело. — Все, что мой отец, помещик, собирал из года в год: картины, скульптуры, произведения искусства из серебра, из бронзы знаменитых мастеров, громадную библиотеку редких книг, — в один прекрасный день пришел и уничтожил вот этот «товарищ» из укома, «друг» угнетенных, Замялов.

Михаил смотрел непонимающе.

— Разве большевики хотят культурное прошлое России предать огню? И потом, как мне кажется, этот Замялов обыкновенный сукин сын. Я видал и других большевиков.

— Я их ненавижу — они мои враги, но этот Замялов, ты прав, мне кажется, он примазался к большевикам, чтобы осуществить какие-то свои коварные планы.

— Зачем же он жег? — спросил Зуев.

— Затем, что он не знает и не хочет знать жизни народа.

— Про него говоришь верно, но ты сам тоже не такой уж безобидный, — возразил Дымков. — Мой дед когда-то у твоего деда работал на барщине, я про то, брат, не позабыл.

— Так мсти мне лично, как классовому врагу, но не губи русскую культуру!

— А этими произведениями, стало быть, опять пользоваться вашему семейству?

— Семейство мое, как ты знаешь, гниет в земле, а искусство должно было остаться России во имя ее славы и величия.

Штабс-капитан Зуев сказал злым голосом:

— Он прав, Мишка, но, как бы там ни было, пропади все пропадом, пить надо, пить и пить! По снятой голове не плачут, глупо это, глупо, господа!

Но и Зуев, единственный, с кем можно было говорить спокойно, опускался все ниже и ниже. Он все больше пил и, возвращаясь с «дела», пьяными, бессмысленными глазами смотрел мимо лица Михаила. Как-то, протрезвев, сказал Михаилу:

— Сволочи они, Дымков! Пропили мы, брат, Россию, в карты проиграли!

— Ты это брось к черту! — с неожиданной яростью крикнул Михаил, словно дождавшись той минуты, когда можно было высказать все. — Не нашего это ума — Россия. Она громадная, великая, непобедимая! Она, брат, еще покажет себя всему миру!

— Русь, Русь... птица-тройка... Мне жизни жалко, Дымков, сил жалко, я, брат, российский дворянин, но я свою совесть, честь, храбрость не пропил, не пропил, будь в этом уверен! Аркаша тут верно подметил. Э, да что там! — Он махнул рукой, резко повернулся и пошел к лошадям. Утром хватились — исчез Зуев.

А в морозных, светлых днях, в завороженной тишине леса, в сугробах снегов была детская чистота, она томила душу Михаила чувством утерянной радости, и все манила его воображение безбрежная даль неба, и все казалось, что там, между легких зимних облаков, в золотистой мантии сидит бог, полный готовности исцелить и спасти.

«Господи, помоги мне смыть кровь с себя, наполни

душу мою добром и покарай меня... Освободи, господи!» Но он чувствовал, что молитва его не доходит до бога, что небо безучастно к его страданиям и все так же недосягаемо высоко, и так же светел и холоден зимний лес, и не будет ему нигде ни сочувствия, ни отрады.

...Он поднялся на исходе ветреной холодной ночи и, тихо ступая по полу землянки, стараясь не разбудить спавших, вышел на волю. Тотчас небо, усыпанное белеющими к рассвету звездами и полное того же величия и равнодушия к его боли, повисло над ним. Нигде не слышалось ни единого звука, оцепеневший лес был погружен в сон и тоже никак не отозвался на его боль. Михаил отыскал позади землянки свои лыжи и, быстро скользя между деревьев, вышел на ровную березовую просеку. Столько очарования было в белеющих деревьях, в нагих, уходящих к самым звездам вершинах, в смутной чаще всего леса, что его опять охватило чувство утраты всего, чем он был жив.

К середине дня, проделав пятнадцать верст по лесной глухомани, где жил в землянках отряд Барышникова, он очутился вблизи Лукашовки. Как обрезанная, вдруг просека оборвалась, а дальше начинался низкорослый подрост, открывший еще шире пространство неба и земли. Внутренний страж, все время руководивший им, вдруг сказал ему: «Здесь!» За этим кустарником, за ближним полем, была своя деревня, родительский дом, подойти к которому было нельзя. Зачем-то сняв и бросив в снег полушубок, он подбежал к одиноко растущему старому клену и, как в детстве, гибко и ловко ухватившись за первые сучья, полез выше. Простор неба, той неограниченной свободы, тяготение к которой он всегда бессознательно испытывал, широко открылся ему.

В светлой зимней дымке, в расходящихся сумерках он увидел темные пятна дворов деревни. Так близко, за сумеречным полем, была мать с неистощимой любовью своего сердца, был единственный кров во всей России, который бы приютил и согрел его, но пути туда ему не было. Даль земли, еще час назад сокрытая за непреодолимым кругом, все расширялась до бесконечности, и все озарялась ласковым, мягким, материнским светом зари. «Господи! Покарай меня, освободи, господи, от муки, смой с рук моих людскую кровь... Мать, прости

меня!» И со всей страстью разгоряченного сердца, с каким-то безграничным самозабвением и радостью, освобождаясь от мук, он выстрелил в широко открытый левый глаз.

II

Кожаные штаны и куртка висели на гвозде перегородки.

Еще добротный и с глянцем был хром: немного потерлись от сидения штаны, а куртка еще совсем новой выглядела. Забвение... Григорий не мог смотреть на них! Остро испытывая неудобство положения, в котором жил, Григорий все больше тяготился чувством неизвестности. Словно чужой, прибеглый, глядел он в подслеповатые окошки на деревню и, чувствуя ее враждебность к себе, в каком-то туманном полузабытьи иногда шептал:

— Выгорела бы до одной халупы! Голь перекатная!

Днем он не показывался ни в хуторе, ни в деревне от стыда. Перечитывал старые книги или уходил в сарай и что-либо мастерил там, не получая от этой работы никакого удовлетворения. Вечерами, когда находила тоска, надев полушубок и валенки, пробирался в лес, долго бродил там по лунной зимней дороге, а то в сумерках приходил на гумно с запахом осенних соломенных ометов, мышей, проросшего хлеба. Гумно ему напоминало сырой склеп со своей громадной сушилкой и с крохотным, всегда слезно запотевшим оконцем. Он со страхом всматривался в темные углы. Несколько раз Григорий ходил охотиться с отцовской одностволкой в Зимовную вырубку. Лесная одичалая глушь, вековая нетронутая тишина успокаивали, он забывался от сумрачной яви, прокладывал в сугробах лыжню, иногда садился на заснеженный пень, курил и, стараясь ни о чем не думать, не вспоминать, перебирал в памяти лишь пустячные и малозначимые моменты своей жизни.

Снег уже взбухал в логах, рыхло темнел на открытых местах, но девственно, с голубым отливом лежал под черными кудрями старых елок, куда не проникал ни свет, ни ветер и где стояла особенная первобытная тишина. Нет, не мог он тут похоронить себя, забиться не мог в кротовью нору! Восстанавливая в памяти свои

ошибки, мыслями останавливался он на одном лице — Замялов! Вот в кого бы он всадил пулю, даже не задумавшись! Каждый день он ждал свежих газет, жадно набрасывался, когда их где-то добывал горбун. Имя Вострякова исчезло, в укоме сидел какой-то Виноградов, а на его, Миронова, месте Чугунов.

О съезде муторно было вспоминать. Сцепив зубы, тяжело ступая, Григорий ходил по тесной комнате, прислушиваясь к шаркающим шагам матери в прихожей и тихому, напоминающему смирный осенний дождь голосу Марьи. «Брюхатая она, вот что! Совсем некстати», — поморщился Григорий, рассеянно обрывая оранжевые лепестки герани. Вот она, тина смурой первобытной обывательщины! Увидел: из сенец на крыльцо, туже запахивая на животе линялый пиджак, тихо, стыдливо вышла Марья. Зябко семеня ногами, быстро и суетливо проскользнула под окнами на задворье. Размяклые, войлоком обшитые ее лапти хлюпали в мокром, подтаявшем снегу. «Ноги, гляди, замочила?.. Плохо я с ней живу. Сгубил хорошую бабу! Ненужная она мне, пустой цвет, и вовсе не ко времени». И все же за последнее время он резко переменился к ней: разговаривал, не поднимая голоса, нежно ласкал ее ночью, днем говорил милые и простенькие, не имеющие никакого смысла слова и постоянно, точно сквозь нее глядя, смотрел светлыми глазами в окно, где было так же пусто. И смотрел и думал... С отцом Григорий почти не имел отношений: при встрече, в доме ли, на подворье ли, скажут два-три слова, и разойдутся, непримиримо разделенные незримо воздвигнутым барьером. Григорий слышал, как старик бормотал:

— Нешто хозя-ева-а? Злыдни! Нешто властью кормятся?! Добился почету!.. Святого нет, землю осиротили. Родителев для сынов нет, сами вы работать не хочете, а земля — она просить рук и сердца! Нищие мы, трясем голым гузном, а белому свету хвастаем. Боже мой! А ить разорится двор!

Григорий смотрел ему в лохматый злой рот, цедил с холодным спокойствием сквозь зубы:

— Всю эту твою мудрость собаке под хвост!

— Дурак! — Тимофей Гордеевич, вспыхнув, поднял побелевшие обиженные глаза, вышел в сени, хлопнув дверью изо всей силы.

Разговора они больше не заводили: не переносили духовно друг друга, каждый остался на своей черте. Но больше всех по-прежнему раздражал Григория увечный Яков: мерцал желтыми глазами из сумрака запечья, где он сам себе отгородил место, как бы тем отъединившись от семьи, тряс там острым горбом, прилежно берег в сундуке свои вещи, вечерами, ложась спать, долго и истово молился и затихал. Однажды, когда Григорий утром умывался над кадкой у порога, Яков дотронулся до его плеча узкой и всегда отчего-то потной ладонью и, усмехаясь одними глазами, голосом мудрого старца сказал:

— Солью тебе, брат.

Отшатнувшись, Григорий даже забыл о полотенце, утираясь исподницей, ушел к себе; смотрел на подтаивающий снег во дворе и думал, что в горбатых, косых, немых и других увечных людях много от колдунов — вон и у Якова глаз буравит, смотреть невыносимо в эти желтые, яркие, словно натертые фосфором, глаза. Дня через два Яков вновь стал присматриваться к Григорию. Сидя к нему спиной, Григорий точил на ремне бритву и, испытывая неудобство от взгляда на своем затылке, оглянулся: так и есть — в упор смотрел Яков!

Григорий выронил прицепленный на гвоздь поясной ремень и, переборов озлобление, тихо спросил:

— Что уставился?

— Не отчаивайся, брат, тебе с нами не жить...

В голове Григория мелькнула какая-то надежда, оглядываясь, боясь, что услышит Марья или отец и что Яков догадается об этой его надежде, шепотом спросил:

— Колдуешь?

— Нет, бог не дал. Я, брат, все знаю. Худо тебе! А то опять на ноги встанешь? — спросил он, странно и христиански кротко улыбаясь.

— Приснилось?

— Не приснилось и никем не говорено, а знаю.

Григорий, вскочив, хотел схватить его за шиворот, но сердце не позволило — брат.

— Я таких-то мудрецов... — И понял, осознал: не поборол увечного, истонченного, лисьего его ума не пересилил.

И было поразительно — в то утро, совсем еще ранней весной, гулко потрясая хутор и деревню, раздался

гром, далеко в туманном мареве стояла сиреневая, нежная туча, напоминающая колесницу.

Лукерья крестила окна, стены, суматошно бегала по дому за черной кошкой, выгоняя ее за порог.

— Брысь, брысь, нечистая сила... Ох, прости, господи! Чтоб и духу не было!..

Яков тряс горбом на печи от смеха и какого-то таинственного восторга.

— Позови пособить Гришку — он по кошкам мастер.

III

Марья заложила на засов осевшие обомшелые двери гумна, быстро и испуганно три раза перекрестилась на тучу — гром, удаляясь, утих, и тогда она неловко села на пахучую ржаную солому. Вяжущая, резкая и нестерпимо усиливающаяся боль в тазу повалила ее навзничь. Она немного не дыша полежала. Под мышками и на груди выступил пот, было мокро и жарко. Расстегнув ворот рубахи — под руки все время попадал маленький нательный крестик, — Марья прихваченной чистой тряпицей утерла вспотевшие места и, зажав ее в кулаке (могла еще пригодиться), стала ждать... Ослабив вздутый живот и ловчее устроив на соломе ноги, взглянула в оконце. прямой нарядной полосой сеялся в нем свет, серебрились снопы льна в сушилке, кусочек неба голубел и на нем, отчетливо отпечатанная, ветка росшей у гуменной стены рябины. На этой ветке, подергивая вертлявым хвостиком, прыгала синичка. «Птушечка близко — значит, хорошо», — подумала Марья и услышала свое сердце: оно бурно и гулко било в самые ребра.

Натыкаясь руками на прибитую, как камень, холодную землю, она подтянулась по соломе поближе к стене. Вывернув не очень удобно руки, она крепко ухватилась за деревянный брус. Боль с утроенной силой охватила весь низ. Кусая губы, судорожно дергая коленями, она пыталась прилечь к стене, но голова была непослушной, все куда-то катилась. Сушью опалило губы, начала хрипеть, раскрыв широко рот, хватала воздух.

— Господи, помоги мне!

Она еще не помнила таких тяжких родов. «А то кон-

чусь?!» — вдруг вскинулась она, глаза ее расширились, запавший рот потемнел, оттуда рвался сиплый сплошной вой. Потом пришло короткое забытье, боль отпустила, только сильно колотилось сердце. Она опомнилась, села, стыдливо задернула подол юбки. У ног едва слышно пищали два красных мокрых комочка. Быстро нагнувшись, нашла зубами, что нужно, перегрызла пуповину. Обтерев новорожденных тряпицей, она положила их к себе в подол и, держась за стену, неуверенно, на дрожащих ногах поднялась с соломы. Гумно перекачивалось туда и сюда, сверкало волшебным светом оконце. Будто отряхиваясь от налипших остьев, она, пошатываясь, вышла наружу, неплотно притворив ворота гумна. На воле все струилось и сверкало в волшебном радужном свете, необыкновенно подсахаренные и обсыпанные дорогими камнями сияли сугробы, хаты деревни и хутора отчего-то казались светлей и выше, а перины белых-белых облаков над ними неслись неоглядно по чисто вымытому небу. Таким огромным, живым и родным ей был этот привычный мир, все было радостно, чисто и умиротворенно на земле.

Еле осилив сенцы, чужими ногами ступила через порог, хватаясь рукой за стену, добрела до лавки. Лукерья сразу поняла, запричитала:

— Что ж ты, девонька? Что ж ты, а? Ить нешто мы чужие, а? Али в гумне?

— Я, матка, двойню... мальца и девчонку, — усталым голосом сказала Марья.

Тимофей Гордеевич от изумления и восторга глупо мигал, топтался около двери, паралично дергая шеей, на голове тряслась шапка, сказал:

— Ну, Маша, ну!.. За мушшину-то... Все барахло из сундука выну! Возьми все! Мать, ты видала? Марья-то? Дык... да боже ж ты мой! Григорий, ты глянь-ка?

Григорий не спеша вышел из-за перегородки, напряженно всматриваясь в орущих на коленях у жены красных двойнят, в ушах застревал тоненький писк новорожденных. Потрогал и брезгливо отдернул руку от младенцев. Уже подмытая, Марья лежала в изнеможении на полатях, Григорий чему-то тихо смеялся, и она успела подумать: «Век бы такой был!»

И весь вечер, единственный за всю прошлую жизнь во дворе Мироновых, она испытывала внимание и иск-

реннюю душевную заботу о себе. На все это семейное согласие, как всегда, горбун смотрел иронически своими желтыми, недвижными, навыкате глазами.

IV

Тимофей Гордеевич, отправившись на другое утро раньше всех во двор заложить корму скотине, тут же вернулся с крыльца и, притопывая ногами, с горечью крикнул:

— Ну, дожились: страмят нас!

Успевший обуться Григорий, ничего не спрашивая, быстро вышел и с крыльца увидел: на воротах аршинная, неловко выведенная дегтем, чернела нарисованная рожа.

Вернувшись в сени, где сухо пахло хомутами и тоже почему-то дегтем, он приказал Якову:

— Возьми топор, выскобли.

Но старик вернул Якова из сенец, отправился выскребать сам, а Григорий, шагая по прихожей, неясно думал о ничтожестве Вострякова, о его слабохарактерности, а воспоминание о Замялове поднимало такую злобу, что не хватало сил сдерживаться, и он бормотал:

— Трусливая, вонючая сволочь! Еще я с тобой встречусь!

Выходя на крыльцо, Григорий тянулся взглядом к бугру, где недавно чернело пожарище скотного двора, — там уже белел свежим тесом новый скотный двор, недалеко от него обнажились проталины.

В один из таких наиболее тягостных для Григория дней, уже под вечер, когда низкое солнце бросало на дорогу алый и пугливый свет, к не достроенному еще скотному двору подъехали две подводы с тремя привязанными конями и двумя коровами, и на передней подводе он узнал исполкомовского конюха. А на другое утро ходивший на деревню Яков с каким-то непонятным значением в словах принес весть: в коммуну вступило пять новых семей с правой стороны.

— Одно выживаеть, другое гибнеть. Такова-то жизнь, — вздохнул он вроде бы с сочувствием.

«Небось смеется?» — думал с завистью Григорий о Золотухине, и еще больше терзало его бессилие, отор-

ванность от жизни, от дела. Не было газет — горбун отказался ходить за ними в коммунский нардом, а Григорию очень хотелось знать о Вострякове, о делах в мире. Лукерья со страхом ждала письма от младшего сына Егора: давно уже не было от него ни слуху ни духу. Еще в начале зимы он сообщил родителям, что его направляют на восток, на усмирение крупной банды, оттуда прислал короткое письмо, а затем замолчал, и в мироновском доме теперь вставали и ложились с одним: с ожиданием вести. Через неделю бражинская почтальонша принесла серый грубый конверт; Егорово письмо читал горбун:

— «Не писал я оттого, что пришлось лежать в лазарете: меня поранило в ногу, а теперь выписали и уже завтра направляют в Петроград на командные курсы. Сообщите об своей жизни и напишите также об Гришке, как там евоная жизнь и где он теперь будет. Во сне иной раз вижу наш хутор, Угру, и сердце болит. Да, чуть было не забыл: в бою я был вместях с Митькой Лукашкиным, мы бежали в одной линии, он отличился геройски, один захватил ихнюю пушку, но на исходе атаки ранило в плечо, слыхал, что его представляют к ордену, да был бы жив. Если Лукашкиным не сообщили об нем, об его геройстве и об ранении, то перекажите вы и обнадежьте егоных стариков. Я с ним служил мало, но успел заметить, что гложет его какая-то болячка души, как будто бы перед кем-то винится. А пока кончаю, зовут к командиру. Ваш Егор».

Лукерья заплакала, а Тимофей Гордеевич приказал Якову:

— Отправляйся к Илье Захарычу и все скажи: и про геройство, и про ранение.

— Письмо брать? — спросил Яков.

Старик кивнул головой.

— Возьми.

Надевая пиджак, мерцая глазами, Яков загадочно заметил:

— Слезы — оне даром не пропадают!.. Сохнет он...

— Это какие слезы? Об ком ты?

— Мало ли... — И ушел.

Тимофей Гордеевич решил было следом идти к Лукашкину сам, но в окно увидел Николая, въезжающего на санях в хутор. «Сирота!» — подумал с жалостью и

болью старик. Заведя на двор лошадь, Николай с вопросительным выражением на лице вошел в прихожую, сразу спросил:

— Что Гришка, батя?

Старик подавленно махнул рукой.

— Выгнали ево!

— Народ кругом лает почем зря. Я это ж знал!

— Не подливай хучь ты масла. Все вы хороши, черти! — рассердился Тимофей Гордеевич.

Николай нервно и суетно ходил у стены, то пытался закурить, то сминал папиросу. Сели всей семьей, как прежде, обедать. Пили брагу. Лукерья, утирая незаметно глаза, ставила на стол посуду с едой. Николай все испытывал желание заговорить с Григорием, но, встречаясь с мутными глазами брата, отводил свои, не решался.

— Ганна-то как же? — спросил Тимофей Гордеевич сына. — Сходиться не думаеть?

Николай пригнулся к столу, в нервном тике дергалась левая бровь, не ответил.

— Да помиритесь вы! — сказала Лукерья.

Николай деревянно засмеялся.

— Ей, вишь, свободы, дуре, хотца. Люди так устроены — все грызуть друг друга! Или вон, к примеру, Григория взять.

— Ты ко мне не касайся! — Григорий встал и пересел на лавку к окну, вновь присматриваясь к шевелившимся около сруба коммунским.

— Ганна отказала наотрез, что ли? — Старик смотрел Николаю в глаза.

— А ты ее не знаешь, батя? — Николай потянулся за пиджаком. — Скучновато, конечно, одному. Вот балалайку добыл, играть буду. — Он подмигнул Григорию: — Брось думать о власти, приезжай в лес: болезнь зарубцует.

— Жизнь, Миколай, клинья из-под тебя и там выбьет, — сказал отец.

— Небось! — Поднялся, надевая шапку, Николай.

На околице, около старой брошенной пуни, играли ребятишки. В одном сорванце Николай с трудом узнал сына, подозвал к себе. Прищурив глаза и ступая носками внутрь (как все ходили у Мироновых), Макарка неуверенно приблизился.

И, поражаясь сходству сына с собой, Николай взволнованно спросил:

— Со мной не хочешь? Поедешь со мной, сынок?

— Живи, — сказал угрюмо и односложно мальчик, глядя на отца исподлобья.

— Мать научила?

— Сам не хочу. — Постоял, подумал, взглядывая на отца боком, пошел.

— Сынок! Сын! — крикнул жалко Николай и понял: даже сыном отвергнут.

Ему стало страшно — впереди была тоска и безнадежность...

После пятинедельного сидения в отцовском доме в одно туманное, мягкое, безглазое утро под крик вторых петухов Григорий встал с какой-то безмятежной легкостью на душе. «Должна быть весть!» — подумал он. Марья принесла ему смазанные дегтем сапоги, застенчиво и светло улыбнулась, ставя их около кровати.

— Отец где?

Марья, вдруг чуя дурную весть, прислонилась к дверному косяку, расширив глаза, смотрела на всходившую на крыльцо бражинскую почтальоншу.

— Глянь, к нам? — прошептала едва слышно.

Не надевая сапог, Григорий босой торопливо вышел в прихожую и, прежде чем почтальонша, молоденькая девушка, прикрыла дверь, перехваченным голосом спросил:

— Мне?

— Ага, телеграмма, — сказала почтальонша, протягивая листок и не желая разбираться в чужих переживаниях.

На нем стояло: «Срочно выезжайте губисполком на беседу». Его звали опять, но зачем звали? Он читал скупую строчку и не знал, радоваться, нет ли.

Неизвестно к кому обращаясь, Григорий спросил:

— Какую беседу? Зачем?

Домашние уговаривали выехать утром, но он запротивился, торопил сейчас же, не откладывая. Отец махнул рукой, не стал спорить, ушел запрягать. Марья, неровно бледнея, суматошно и невпопад укладывала белье, понимая, что ничего не сможет ему ни сказать, ни навязать себя. Заново рвалась призрачная, тонкая и голубая нитка ее бабьего счастья.

— Сейчас, Гриша, вот толечко сала ишо положу, — бормотала она, силясь изо всех сил угодить мужу.

— Не клади много, не на войну еду, — сказал оживший, но встревоженный Григорий: «на беседу» не нравилось ему.

— Бери! В люди едешь, — встряла Лукерья, хлюпая уже распухшим от слез носом.

— Во власть, — давился от смеха Яков.

Вошел отец.

— Готово.

Григорий за печью оделся в свои кожаные вещи, застегиваясь, вышел, высокий, весь хромовый, чужой.

Мать и Марья вышли на двор провожать. Мело сухой снежок, над Длинной верстой несло и несло рваные низкие тучи, темнели в поле кусты. Заплакала Лукерья. Тимофей Гордеевич с досадой оглянулся на нее, сердито разобрал вожжи, сел. Марья припала к холодной коже Григория, бессмысленно повторяла одно и то же:

— Езжай, Гриша! Езжай! Езжай!

Наскоро простившись с ними, Григорий прыгнул к отцу в сани, не оглянулся, не увидел зачем-то бегущую к воротам Марью.

С версту отец и сын ехали молча. Хлопьями падал снег. Что-то неясно чмокало, вздрагивало и обрадованно вздыхало вокруг в земле, все смутно просыпалось и встряхивалось от долгой зимы. Григорий, увидев догоняющие их сани, сказал:

— Попрошу — подвезет, а то тебе тащиться потом назад.

Тимофей Гордеевич, волнуясь, остановил сбоку большака кобылу, вылез из саней и неожиданно увидел на голом склоне придорожной канавы крепко вцепившийся корнями в тощую глину мелкий кустик бессмертника. Он так отчетливо, с подробностями вспомнил свой уход в службу сорок лет назад, когда шагал тут тихим осенним полем и тогда видел желто-золотые цветки этой живучей травы.

— Счастливой дороги, Григорий, — сказал старик сухо и сдержанно. — Ты молод, сила есть, да смотри, смотри... Вон трава корнями в землю въелась, а ты? Гляди, сын! Цветок-то махонький этот бессмертник, а выжил! Всяк живущий земным соком питается.

Попутчик ехал на станцию, он без слова согласился

подвезти. Чувствуя, что порывает со всем своим: с едва проглядывающей сквозь туман родной деревней, с маячившей вдали Зимовной вырубкой, с домом в хуторе, и взволнованный, помолодевший и готовый к новым свершениям судьбы, Григорий прыгнул в сани.

— Господи, помоги ему очистить душу свою, убереги его, господи, от подлого соблазна! — прошептал Тимофей Гордеевич.

Старик долго стоял, не трогаясь, один на дороге и среди неохватной широты земли казался потерянным и маленьким.

Неделю Мироновы затаенно ждали его возврата, выглядывали на пустынный, пропадающий на Длинной версте большак, но Григорий не вернулся.

V

Тихон Востряков после крестьянского съезда находился в состоянии раздвоенности и духовной смуты. То дело, во имя которого он не покладая рук работал и мог при необходимости даже отдать и жизнь, не осуществилось. Он сник и как-то сразу опустился; глаза еще глубже ушли внутрь и как бы смотрели в собственную душу. Он был замкнут, тих и сосредоточен. Аглая Порфирьевна понимала все его нравственные терзания. Одна она знала всю силу и слабости этого сурового человека. Со своим тактом и тонким чутьем она делала все, чтобы не усиливать в душе его тот разлад, который угнетал его. От ее глаз не могло укрыться, что он ищет точку опоры, твердую дорогу, чтобы идти дальше; так жить он не мог. После уединенных размышлений и духовных страданий в одно ясное утро он вдруг испытал радостное, почти благоговейное чувство, такое же, какое приходило к нему давно-давно, еще в раннюю пору молодости. «Идти назад — в народ. Да, это теперь главное!» — сказал он себе, стараясь заглушить сомнения. Теперь, в мыслях, он больше не был ни борцом, ни учителем, а простым мужиком, работником, крестьянским сыном. «Буду пахать. Но точит какая-то страсть душу... Что это? Нет во мне тщеславия! — точно оправдывался он перед кем-то. — Страсти в себе подавлял.

И буду смирен и испытаю опять мужицкую жизнь. Буду пахать и жить как мужик. Лгу себе? Нет, все, брат, я осознал. Я приду к народу, и народ придет ко мне». От всех назначений, какие предложили ему, он отказался. Он твердо заявил в губкоме, что больше не хочет заниматься ни политической, ни хозяйственной руководящей деятельностью. В этом отказе тогда, в первые дни после съезда, было больше позы, ущемленного самолюбия, чем истины. Но теперь... теперь Тихон Федосеевич не только знал, что ему делать, но ему показалось бы ужасающим любое иное решение. С сияющим лицом он вышел из своего кабинета на кухню к жене.

— Аглая!.. — сказал он, и голос его немного вздрогнул. — Мне нечего больше думать, Аглая! — повторил он совсем торжественно. — Я завтра же поеду в один хутор, отсюда верст шестьдесят. Там есть знакомый мужик, я его помню по гражданской войне; я еду, Аглая, на черную мужицкую работу. Это прекрасно! Ты пока побудешь здесь. — Он кончил говорить и остановился, пораженный взглядом жены — взгляд ее выражал насмешку. А ирония всегда обостренно действовала на душу Вострякова.

— Зачем? — спросила она.

— Так нужно, Аглая. Надо так. С прошлым покончено! Я это тебе говорю, а ты ведь знаешь меня. Я решился. Я ушел от мужика и воротился к нему.

— Но ведь это блажь, Тихон! — сказала она, машинально пожимая плечами. — Ты хочешь отказаться от себя? Разве ты можешь?

— Да, и могу и хочу! Не от себя — Тихону Вострякову нечего стыдиться. Нынче я хочу жить как простые мужики. Слиться с народом. Я тишины хочу, успокоения. Может быть, великого успокоения, Аглая. И пускай не помнят ран и трудов моих. Я от распрей к любви пришел — и счастлив тем! Мужичок-то этот, Фрол Игнатов, очень рассудительный. Когда я был комиссаром дивизии, сталкивался с ним. Спор был у нас. Нынче, Аглая, я хочу его признания. Никогда ничьего не искал и не хотел, а его ищу! Чтобы он признал меня, брата бы во мне увидел. Тогда он не видел и не верил мне. Я еду к нему, не в силах не ехать. Понимаешь ты?

— Блажь, блажь и блажь, Тихон! Ты обманываешь себя, — проговорила твердым голосом Аглая Порфирь-

евна. — Ты уже отпробовал славы. Другой плод ты вкусил.

Он ничего не ответил жене. «Первый раз в жизни не поняла меня. А ежели права?»

На другое утро, еще до рассвета, Тихон Востряков выехал на станцию. Перепадал тихий, мягкий снежок; где-то в смутном пространстве пели петухи, откуда-то доносило запах ржаной соломы и льна-сырца.

В вагоне, в котором он ехал около часа, было тесно от людей, от их зипунов, мешков и сумок; возбуждающе и радостно действовали на него разговоры о понятном ему деле — о земле и хлебе, о том, каким будет нынешнее лето.

— Бог дал день, даст и хлеб, надо только любить, — сказал кривой мужик, сидевший рядом с Востряковым. Он был очень маленький, заскорузлый, но в глазах его блестел радостный свет. И этот свет, и слова о любви, смысл которых был слишком огромен, поразили Вострякова.

— Кого любить? — спросил он мужика, присматриваясь к нему.

— Все, все доброе люби. И во всем, во всем ищи, брат, любовь, — ответил кривой.

— И давить надо, — как-то машинально вырвалось у Тихона Федосеевича. Мужик крякнул и, не отвечая, с добросердечностью развязал чистую тряпицу и пододвинул к Вострякову, угощая его нехитрой своей снедью: там лежал черный хлеб, лук, соль и желтый соленый огурец. — Угощайся, мил человек, чай, веселей дорожка. В сытом теле и свояк брат, и гусь соловей. Опробуй-ка. Ты что ж, чай, далече-то едешь? В Москву, поди?

— Нет, я скоро выйду. — Востряков взял ломоть хлеба, обмакнул его в крупную серую бузу — соль, взял половину огурца и стал есть с таким аппетитом, какого он давно не испытывал.

— Огурчик-то некрасив, да свой, не задолженный, хлебушек черен, да честный. А мирской хлебушек вдвойне приятен, недаром говорят в народе. — Кривой подмигнул ему, как хорошо знакомому человеку, с той естественностью и простотой, как это делают очень добрые люди.

В душе Вострякова этот кривой мужик оставил ощу-

щение сердечности, широты и щедрости, и он со смутной улыбкой на лице вышел из вагона на маленьком, глухом полустанке. Он только не мог принять его слов о любви и согласии.

В обед он уже подходил к хутору, где жил Фрол Игнатов. Прозрачный предвесенний свет стоял над тихими заснеженными полями, над проселочной дорогой; красногрудые снегири — милые быстрые птахи, перелетавшие по лозовым кустам, — напомнили Вострякову его далекое детство. От этих воспоминаний на мгновение увлажнились глаза. Это чувство размягченности, эти светлые слезы детских воспоминаний, похожие скорее на сновидения, вдруг напомнили ему, что он, как и все люди, живой человек, тоже способный плакать.

Хутор встретил его неторопливой крестьянской жизнью. Молодухи доили коров и выносили из хлевов молоко в ведрах, мужики, собравшись, что-то горячо обсуждали. «Какое-нибудь товарищество, тут не коммуна, а ежели и коммуна, то не моя. Не осилил я идею свою. На каторге цепи рвал царские, а тут, в народе, не осилил, не смог! — подумал Востряков. Он точно задохнулся, но сейчас же успокоил себя: — Теперь начинаю новую жизнь. Да, новую и простую, счастлив человек, засевающий своими руками поле!»

Игнатов жил не в хуторе, а в версте, на лесном кордоне. Баба в жакетке и в малиновом сарафане указала ему слабо наезженную дорогу в сторону леса, начинавшегося сразу от хуторских дворов. Крытая дранкой лесничая изба проглянула сквозь нагие березы. Худой приземистый мужик в полушубке и бараньей шапке за двором, с южной стороны, осматривал пчелиные ульи. «Фрол Игнатов... он!» — узнал Востряков, направляясь прямо к нему по тропинке.

Мужик заметил приближающегося человека и разогнулся. Изрезанное глубокими морщинами лицо его светилось приветливой улыбкой. Маленькие спокойные глаза смотрели прямо в лицо Вострякову. И тот вспомнил, что они так же смотрели три года назад, в ту осеннюю, холодную ночь в цепи полка, когда он говорил с ним перед сражением. Тот разговор и тот взгляд тогда поколебали в душе Вострякова хорошо уложившийся душевный склад. Он запомнил этого человека и никогда не забывал его, первого простого, неграмотного мужика,

который не поверил, что ему дорога судьба народа. Так и не убедив его, они тогда расстались непримиримые.

Как ни казалась странной эта встреча здесь, на заброшенном лесном кордоне, она не поразила и не удивила Игнатова; наоборот даже, он как бы знал, что все это неминуемо должно быть и что он ждал того. Не торжество победителя над побежденным, не удовлетворенное самолюбие было на лице Игнатова, — он жалел Вострякова: понял, что тот ищет опоры.

А Востряков никогда не допускал по отношению к себе жалости.

— Я пришел к тебе, Фрол, — сказал Востряков странно зазвеневшим голосом. — Я начинаю новую жизнь. К тебе пришел оттого, что ты один тогда не поверил мне. А ты знаешь, что я люблю сильных людей.

— Такого я за тобой не знал, — с едва заметной насмешливостью сказал Игнатов. — Ты, чай, любил покорных.

— Фрол! — почти вскричал Востряков, но тот доброй и умной улыбкой остановил его.

— Пойдем в избу, что ж тут на холоде, — сказал он.

Игнатов жил вдвоем с женой — сыновья их погибли на фронте. Дни Фрол проводил на кордоне, вечером они ужинали, ели блины, пили чай из старого медного самовара и коротко говорили о погоде, о ценах на сено, о холодной зиме. Востряков ходил в подпоясанной рубахе, в бурках, помогал по хозяйству, стараясь расположить этих людей к себе.

Жена Игнатова, быстрая усмешливая баба, как-то поутру, за едой, спросила его:

— Ай землицы попахать удумал, отец мой?

— Да мне это вовсе не в новину, — ответил он.

— Пахал, стало быть?

— Пахал, сызмальства знаком.

Игнатов, прищурясь, глядел в стену и не вымолвил ни слова.

На четвертый день, вечером, когда вдоль плетня ложились короткие синие тени и в хорошо натопленной сторожке было умиротворяюще тихо и тоненько пел за печью сверчок, Игнатов вдруг близко и холодно взглянул ему в глаза и спросил:

— Так чего ж ты хочешь, товарищ Востряков?

— Фрол, страшно то, что ты не видишь во мне брата!

Тот потупился, разглаживая узловатой рукой льняную скатерть на столе.

— Зачем оно нужно тебе, мое братство?

— Я им жил, братством, всю жизнь!

— В красивое слово играешь, товарищ Востряков, — не сразу ответил Игнатов.

— Не веришь, стало быть?

— Хотел бы, да, знаешь, обманутым плохо просыпаться.

— Но ведь в гражданскую я людей на смерть за свободу вел. Ты это знаешь, а и тогда не верил! Когда раненый лежал я, и опять не верил.

Тот подтвердил:

— Даже и тогда усомнился.

— Я знамя пролетарское целовал — ты это помнишь, Фрол, — коленопреклоненный целовал перед тысячами.

Немигающие глаза Фрола были устремлены на толстые руки Вострякова.

— Ты не революцию тогда, коленопреклоненный, любил, и не народ — ты себя любил, ты себя перед тысячами показывал, ты счастлив был тогда. Ты тщеславие в себе любил, ублажался им. Тысячи в бой пошли на смерть, многие в сражениях погибли, они в ту минуту не об животе думали, они самих себя позабыли, своих детей и матерей. На пулеметы белых просто, без выспренности пошли — и расшибли противника, и жизни не пожалели.

— Так и я в цепи шел!

— В цепи, Тихон, верно. Ты перед цепью зачал геройски, ежели бы... Да я тебе не в трусости упрек делаю — ты храбрый человек. Да храбростью-то ты с умыслом большим пользовался. Тебе шинель пулей пробило, так ты ту дырку всегда после показывал. Она, поди, шинелька и нынче сохранилась? Святое дело для народа на корысти не делают. Всю жизнь играл в орлянку, товарищ Востряков, — ты хитрый, и сюда не без коварности приехал. Вот, мол, куда подался битый

товарищ Востряков, в народ! Охота тебе крупное будущее выкупить, ради него нынче стараешься. Потому без выкупа голый ты. Еще чайку со сливками не хочешь, товарищ Востряков?

Востряков не двигаясь, как каменный, сидел за столом.

— Подлец же ты все-таки, брат, — наконец тихо сказал Востряков.

Игнатов спокойно смотрел на него.

— Да уж прости, брат, по-простецки, — добросердечно ответил Игнатов.

— Даже про шинель вспомнил! — воскликнул Востряков, поднимаясь.

— Надо бы позабыть, да вот... как-то к слову пришлось! Что ж, ежели ты ищешь успокоенности, оставайся. Нешто я тебя гоню, Тихон?

Тот быстро обернул к нему свое тяжелое лицо, и они молча посмотрели друг другу в глаза. «Нет, не останусь!» — сказали глаза Вострякова. И Игнатов понял, что наваждение благости сошло с него, — он это ясно определил сейчас.

«Ты мне, Фрол, преподал урок, и я... должен уехать», — сказал себе Востряков.

Он поднялся с первыми петухами и, не простившись с хозяевами, пешком ушел на станцию. Утренняя красная звезда Марс призрачно мерцала. Через три часа он уже сидел в вагоне; он ехал в Москву. Он опять стал самим собой, только какое-то сверло точило его внутри и чего-то сильно страшился в будущем...

...Тщеславие — мать всех пороков людей. Прозрение будущего и взгляд на него у людей тщеславных всегда измеряется только мерою личного участия: «Там, где я, там и весь свет», — считают они. И не могут представить себе, что было бы без них. Во времена народных бедствий, когда раны обнажаются, люди, зараженные тщеславием, говорят: «Если бы нас послушали, то ничего этого не было бы». Они всегда очень героически жертвуют. Они и пахари, и сеятели, и преобразователи человечества — на меньшее они не согласны. «Как! Это не мы-то жертвуем во имя народа?!.» Человеческая лю-

бовь, как источник жизни, у них вызывает иронию. Совесть никогда не мучает их: у них свое понятие совести. Желание властвовать над братом своим человека тщеславного не покидает и перед смертью. Только тогда мелькает мысль об искушении, и в разверзшейся бездне он испытывает смятение от бессилия и страх перед забвением...

VI

Наталья Бабинцева уверяла себя, что ей хорошо живется, что она достигла того счастья, какого когда-то искала, и больше ничего не нужно. Но чем дальше шла ее жизнь в доме Шешкина, тем определеннее она чувствовала всю постылость и тупость такой жизни. Муж становился все противней. Теперь она видела не удалого молодца, каким он ей показался во время сватовства, а мясника в засаленной жилетке, любящего сытно пообедать. В душе Натальи будто что-то сломалось, и она стала еще более скрытной и молчаливой. Чего она хотела теперь, не знала сама. О Золотухине не хотела думать, но чувствовала, что он где-то остался в тайнике ее души, этот устремленный куда-то человек не ушел из ее жизни. Внешне Наталья сильно изменилась. Она заметно похудела, и в некогда живых глазах ее уже не зажигалось прежнего огня. Детей у нее не было, и, страстно желая иметь сына, однако, удерживалась и принимала меры, чтобы этого не случилось. Она избегала встречаться со своими деревенскими, когда те бывали в городе, прошлую свою жизнь будто отрезала ножом и не вспоминала о ней. Она только вспоминала свое детство, находя в нем светлую отраду и успокоение. Мечтания, как дым, бесследно рассеялись, и она спрашивала себя: чего же она хотела в этой жизни и чего ей жаль теперь?.. И чем больше она об этом думала, тем запутаннее представлялось все. Да, она стремилась к богатой жизни, но теперь ей было ясно, что одного этого еще мало.

На исходе масленицы она решила съездить домой в Лукашовку. Григорий запряг в возок буланого жеребца и, скрипя смазанными сапогами (она сердито подумала про себя: «проклятый лавочник»), вошел в просторную прихожую их большого каменного дома.

— Мне ехать с тобой? — спросил он, стараясь поймать Натальин взгляд.

— Я поеду одна, — сухо отрезала Наталья.

Свекровь Степанида Аникеевна, дородная, рыхлая, с толстыми колодами-ногами, оглянулась на нее от голландской печи. Она имела властный, деспотический характер, отношения свекрови и снохи были напряженными. Степанида Аникеевна ясно видела, что Наталья не приживается в их доме, и во всем винила ее: «Чужая нам... бросит Гришку», однако внешне старалась не высказывать ей своего отношения.

Подавив раздражение, она спросила:

— Долго пробудешь у своих?

— Два-три дня, — ответила Наталья.

— Ты скажи отцу, пускай почаще заезжает к нам по-родственному.

Наталья ничего не ответила свекрови и вышла садиться.

Григорий выправил лошадь за ворота. Наталья села в возок и бесстрастно глядела мимо лица мужа; глаза ее были печальны, темны и неподвижны.

— А то бы вместе, Наташа? — Он, отдуваясь, смотрел на жену.

— Уйди, проклятый! — вдруг пронзительно-высоким голосом крикнула она, хлестнув кнутом жеребца.

Возок скрипнул полозьями и покатил, окутанный снежной белью. Через полтора часа быстрой езды за ракитами возникли чернеющие лукашовские дворы. Угра, делая изгиб, тонула в снежной синеве.

Деревня показалась Наталье уродливой и незнакомой. «Там благословенный край, туда я рвалась, и вот она жизнь: женка лабазника!» — опалило Наталью. Родительский двор был обметен сугробами, задрав оглобли, стояли знакомые ей сани, еще более показавшийся ей жалким брат колол около сарая дрова. Постаревшая, огрузневшая мать встретила ее около порога. Увидев осунувшееся лицо дочери, мать внутренне поразилась той перемене, какая произошла с ней, но она, опытная в жизни, решила не выказать ей своего удивления. Они заплакали слезами печали и тихо сели на лавку.

— Как же вы живете, маманя? — спросила Наталья погодя.

— Жизнь наша, светик-Наташа, известная. День прошел, и слава богу, — вздохнула старая Бабинцева.

— Батя где?

— Молоть повез.

— Худо ему?

Лицо матери враз очерствело, стало мутным от злости.

— Подкапываются сволочи! — Она судорожно окрестила грудь. — Прости, господи, не введи во злобу. Добришко-то, сама знаешь, у нас кое-какое есть. Ужо потрясли малость. Да мы, — она оглянулась на двери, — припрятали. Вишь, Наталья, мы-то в кулаках числимся!

— Да не бедные, маманя, это знают все.

— Дай-то бог, как бы хорошо обошлось.

— А батя — тихий? Нет?

— А что поделаешь? Сила солому ломит.

— Ты только предупреди его, чтобы не свалял дурака. Чтобы обреза во дворе не оказалось. А то за это припекут — не обрадуется. И поделом.

Старуха замахала толстыми руками и опять оглянулась на двери.

— Что ты, что ты!

Они замолчали.

— А ты что ж невесела, доченька? — осторожно попытала мать.

— Да не веселит жизнь, маманя.

— Пошто? Ай пить стал?

— Нет. Только мне от того радости мало.

— Свекровь мутит? Ты, Наташа, от матери не таись.

— Мы с ней не ругаемся, хотя и большой дружбы у нас нет.

— А что ж тогда? — пыталась дознаться мать. — Аль хвораешь чем?

— Душою, мать, хвораю. Душа высохла! — вдруг вскрикнула Наталья.

Старуха захлипала, но Наталья сейчас же оправилась и улыбнулась углами очерствелых губ.

— Ты обо мне не горюй. Давай-ка лучше вечерять.

— Давай, давай посумерничаем-то, — засуетилась старая Бабинцева, хотя при ее толстоте стоило это большого труда.

Мать собрала на стол, но Наталья не притронулась к еде; на щеках ее играл сухой румянец, глаза блестели так, что мать боялась смотреть в них. Когда ложились спать и потушили лампу, Наталья спросила:

— Как же живет Максим, маманя?

При этом имени старуха вздрогнула и поджала губы.

— Проклятый! — прохрипела она. — Коня надысь свел. Он, он нас разорит!

Она постепенно успокоилась.

— Его верх взял. Ему большую жизнь прочут. А ты-то что? — Старуха высунулась из-за трубы, ожидая ответа, но Наталья не отозвалась. «Мечется, стало, несчастная. Не то с одноруким опять связаться хочет?!» — подумала она, холодея.

Утром Наталья заявила, что пойдет к Золотухину и раскается, но, едва вышла за ворота, как вернулась обратно. Она ничего не пояснила родителям и стала собираться домой, в город.

— Вот и молодец, светик, вот и молодец! — бормотала обрадованная мать.

— Оно-то как знать, — поморщившись, возразил Бабинцев, — был бы зятем, глядишь, и не тронул.

— Не такой он, батя, человек! — Оглянулась на отца Наталья.

«Как-нибудь проживу, я сыта, одета — вот и все. Но, боже мой, разве об этом я когда-то мечтала?! Отчего ж так все произошло со мной?» — думала она в поле, отворачиваясь от обжигавшего всю ее душу ветра. Холодная снежная равнина ни единым звуком не отозвалась ей.

VII

На крутую, облитую гололедом гору в Высокове поднималась Аникея, отыскивая своего беспутного старика Люшню. Она выбилась из последних сил, еле передвигала замерзшие ноги. Ей казалось, что она вот-вот кончится на холодной улице, не найдет старика, и тут увидела около приземистой лавки Макара. Теперь Люшня был в ней хозяин — сумел приобрести.

Сам он выглядел серым, потертым и невеселым и все испуганно оглядывался по сторонам, как бы ожидая какой-то беды для себя, видимо не веселило его тут житье.

Старуха молча и растерянно, все не согреваясь, сидела на скамье и наконец спросила:

— Ты хозяин теперчи?

— Хозяин! — крикнул пискливо, с воплем. — Думал — дом справлю, а хрен липовый, крохи обираю!

— А я хворала зиму-то.

Старуха думала, низко согнувшись, словно всматриваясь во что-то прошлое, впервые открыв в муже новую черту — жестокость, и сказала, что пришла «просто проведать», отчего Люшня заметно обрадовался.

Аникея вскоре поднялась уходить, он проводил ее на дорогу, неожиданно прослезился, наказывая ждать его:

— Я не забыл про тебя. Не реви, дура, сказано — не брошу! Погоди, я им покажу-у-у?! — И страшен вдруг стал он какой-то смутной силой. Старуха, испугавшись, почти побежала по дороге и вскоре пропала на ней, маленькая, усохшая, как побирушка.

...Аникея все убыстряла шаги — ее томило нехорошее предчувствие, что она не дойдет, умрет на дороге. Она то забывалась, словно в дремоте, то отчетливо видела глубоко пробитые колеи в снегу, кусты, поле, ветряную мельницу за березами. Ей чудилось, что где-то кричат грачи и пахнет вешней, терпкой сыростью, очень радостно, душисто молоденькими, опушившимися вербами. Кружилась голова, зябли ноги и руки, и сквозь сырой предвесенний туман до нее доносились протяжные звуки колокольцев. «Да ить то Макар едет-то?» — подумала старуха, оглядываясь, живо и хорошо вспомнила свою свадьбу: Макар, хмельной, веселый, в новых портках и онучах, в новом полушубке входит в родительскую хату, потом пьет воду, ласково глядит на нее... Ах, как было то давно, да кабы все воротить!.. Силы покинули старуху, она с усилием дотащилась до лозового куста, легла скорчившись и закрыла глаза. Ветер шевелил ее седые волосы, заскорузлую полу рваной шубейки; она, обмирая и куда-то падая в полусне, чему-то улыбалась лицом мумии, затем, очнувшись, открыла глаза — внимательно поглядела на сизое и все уходящее ввысь холодное

вечное небо, на темные кусты, на немое поле... и вдруг порывисто поползла на коленях, обдирая ноги о колкий гололед; потом, шатаясь под ветром, вся сотрясаясь тощим, изношенным телом, встала на ноги, встряхнулась и ровно и ходко пошла по ухабистой дороге — удивительно живучи русские люди!

* * *

В холодном, почти нетопленном уездном нардоме, в полусумрачной комнате сидел на скамейках высоковский актив. Тут были из старой гвардии, уже некоторые с припорошенными висками, уже не такие быстрые, не суетливые, трезвые кадровые работники, они как бы снисходительно смотрели на молодежь: «Что ж, вам легче — вы идете по пробитому следу». И новые, вчера безвестные, выдвинутые съездом, но уже познавшие вкус борьбы и считающие эту борьбу единственной дорогой в жизни, — и эти сидели рядом. Совсем юные, от комсомола, вовсе мальчики и девочки, ничего не скрывая на своих лицах, еще не усвоившие манеру спокойно держаться, тоже были здесь одним целым с седыми, с опытными, с усталыми людьми и ждали. В их чистых глазах, на их прекрасных, готовых к порыву и самопожертвованию лицах пылал озаряющий огонь революции, и по вытянутым шеям, по этим худым напряженным рукам, мнущим кепки и шапки, лишь можно было понять, как внутренне горели они.

Как раз рядом с Золотухиным сидел парень, двумя-тремя годами старше этих ребят, но уже испытавший войну, уже затаскавший до серой вытертой суконки свою шинель. Он сидел, очень маленький ростом, подогнув под лавку ноги в худых ботинках и выгоревших обмотках, и, не спуская по-детски округленных горячих глаз с лица Грибцова, изредка, точно в такт его словам, шептал, не в силах потушить в себе подымающийся огонь: «Ну, черта с два, пущай не надеются ни скрытые, ни открытые враги!» Он, как и Золотухин, ныне мыкался с коммуной «Вперед», расположенной в девяти верстах от Лукашовки, создавал ее; Максиму было известно, что в ту коммуну вошло всего четыре семейства. «Скот-то, видать, товарищ этот обобчествил — пару коней и три-

четыре коровы. Ну а козы у него, у товарища, нету, нету ее у него», — почему-то подумал Золотухин.

Грибцов стоял около стола и говорил:

— В губернском госпитале три дня назад от чахотки умер стойкий большевик с седьмого года, председатель Высоковского Совдепа товарищ Матвеев, — прошу встать!

По лицу Грибцова пробежала скорбная тень, но глаза не утратили спокойной силы, они стали еще глубже, еще острее, зорче и внимательней смотрели из-под сдвинутых бровей.

— Революция в невиданных до сего масштабах раскрепостила титанические и величественные духовные силы народа. Она подняла из низов, из народной гущи ту изумительную талантливость, которая поразила весь европейский мир. Что нам дает история? Какой урок нам преподносит она, если мы, люди нового века, внимательно и пристально вглядимся в мир крестьянской жизни?

Грибцов замолчал на мгновение, давая возможность людям осмыслить значение сказанного; едва заметная, добрая и умная улыбка тронула его губы.

— Дело на нынешнем этапе обстоит так: быть правде или же подменить ее красивой ложью, узаконить ее, быть или не быть мужицкому счастью, видеть ему плоды новой жизни или никогда не подняться на ноги? Вот о чем мы не можем забывать, и тут нас не столкнешь!

— Черта с два! — крикнул, широко разевая рот, парень в шинели.

«Хорошая глотка у него, звонкая. Похожа на мою»,— отметил про себя Золотухин.

— Пущай не надеются! — высоким, налитой силой голосом крикнул лохматый мужик, и Золотухин вспомнил: тот самый, что вел последнее заседание на съезде. Только он нынче не в шубе был, а в пиджаке, и из-под него виднелась красная рубаха.

— В наших сражениях грядущих не должно притупляться наше классовое чутье. Кулака, товарищи, как равно и всякие уклоны, из виду нам терять никак нельзя. Никак! Он, кулак, отовсюду следит за нами, он жаждет нашей слабости, чтобы вернуть себе награбленное. Но никогда не бейте сплеча, не выка-

шивайте всех одной косой, оглядывайтесь! Мы уже потихоньку начали, как я сказал, расчищать завалы, мы выходим на верный путь кооперирования крестьянства. По следу товарища Золотухина уже пошло в губернии семь коммун, в остальных еще происходит тяжелый процесс ломки, но сомнений не должно быть ни на одну минуту ни у кого из вас — мы исправим допущенные перегибы и ошибки! Кроме того, в губернии уже много артелей, ТОЗов и совхозов, укрепляющих коллективную сознательность крестьян.

Кулак лишен политической силы, но экономически он крепок. Но мы не допустим ограбления народа кулаком. Середняк — наш товарищ и брат, но если он сегодня середняк, а завтра кулак, тогда уж тут какое братство! Это равно относится и к беднейшему, который всегда ходил в лаптишках, в зипуне, а потом потихоньку и нечисто нажил богатство и, умея обманывать словами, прикинется даже сверхреволюционным и красным.

Отсюда вывод, товарищи: с трудовым крестьянством — к громадному изобилию обобществленных и невиданных до сих пор кооперативных хозяйств!..

Мы не можем себе сейчас представить всего размаха будущего, когда сядет мужик на трактор. Партия, товарищи, нацелила нашу революцию на новый путь, путь коллективного, кооперированного труда — и здесь скажем твердо, — единственный путь, который уже дает свои хорошие результаты, начал разрешаться аграрный тупик, пользу этой политики уже почувствовал в своей жизни мужик, он понимает, что это его единственный выход. Мы можем нынче сказать, что этот путь дает возможность нам выжить, справиться с нуждой, спокойно оглядеться, как нам быть дальше, как строить народное — именно народное, — опирающееся на народ, на его волю, ум и совесть, руководимое партией, государство, и вы все, я в том убежден, это хорошо понимаете.

Грибцов замолчал, одернул рубаху, точно она вдруг тесная стала.

И тут в тишине кто-то глухо спросил:

— А где ж теперь Тихон Востряков?

Грибцов оглянулся на спрашивающего, коротко ответил:

— Он уехал в Москву. Товарищи, на этом я кончаю, вам далеко добираться, а завтра у всех у нас по горло работы.

Тесной шумной толпой они выходили из уездного народного дома под зимнюю стужу. Высоко над ними необъятным звездным шатром покоилось небо. Громко переговариваясь, они разобрали у коновязи лошадей, и в разные концы Высокова заскрипели полозья. Над старой Смоленской дорогой, над куполом церкви всходил, набегал из туч веселый голубой месяц.

...Когда лукашовцы отъезжали от уездного нардома, высокая, в черной нарядной шубке и низко повязанная платком женщина окликнула их. Золотухин остановил лошадь и слез, пристально всматриваясь в женщину. Это была Наталья Бабинцева. Она неуверенно приблизилась к нему и, должно быть, хотела сказать что-то важное и значительное для обоих. «Ты любил меня, я знаю — ты видишь, что я хочу быть опять твоей», — говорили глаза Натальи.

В одно мгновение пронеслось в его памяти прошлое, что было связано с этой женщиной. «Нет! — беззвучно сказал он, твердо и прямо глядя ей в глаза. — Не может того быть!» И Наталья прочитала его взгляд; незаметно оскорбленно вздохнув, она сказала искренне, со смутной полуулыбкой:

— Я рада за тебя, Максим!

— Спасибо, Наталья, спасибо. — Золотухин сел в сани и не оглянулся, а Наталья долго стояла на том же месте, пока за поворотом не затих скрип саней. Их дороги расходились навсегда.

Уже на выезде из города Золотухин заметил человека, сидевшего у освещенного окна. Мясистое лицо его было удивительно знакомо Максиму, но он никак не мог вспомнить, кто это. Одежда, наверное, меняла этого человека.

Внезапно Марфа ткнула пальцем.

— Смотри, Максим, это же тот, который у нас собрание проводил, из укома. Из партии-то его выперли.

— За-амя-ялов! — воскликнул пораженный Золотухин. — Черт подери, он! Как быстро перекрасился! Из одной веры и в другую?..

Замялов, закончив дела, вошел в горницу и, отомкнув дубовый, окованный жестью сундук, достал с исподу большую черную сафьяновую шкатулку. Нетерпеливо раскрыл ее. Все было цело, лежало на месте. Всеми цветами переливались ожерелья, серьги, броши с бриллиантами. Ноги Замялова сами собой подогнулись, он сел, не видя, на что-то и, не отдавая себе отчета, запустил дрожащие пальцы внутрь шкатулки. «Целы, целы — вот они!» — бормотал он в какой-то упоительной страсти. Это было огромное, миллионное состояние, и это, казалось, он только сейчас понял. «Вот тут, голубчики вы мои, всесилие разума и совести!» — воскликнул он торжественно, укладывая шкатулку обратно в сундук и запирая замок. В комнату быстрыми шагами неожиданно вошла жена — Марья Тимофеевна.

— Дрова мужик привез? — спросил он, поглядывая напряженно на нее.

— Ты что прячешь в шкатулке? — отчего-то шепотом спросила Марья Тимофеевна.

— Нечего мне прятать. Это тебе, Марья, приснилось...

— А брильянты алексинского помещика? Они тоже приснились?

Он с умильным выражением на лице (которое Марья Тимофеевна больше всего ненавидела) спросил:

— О каких, значит, брильянтах изволишь говорить, мать моя?

— О тех, которые ты украл, подлый! Ты самый последний шкурник и негодяй! — закричала Марья Тимофеевна, пытаясь пройти к сундуку, но Замялов схватил ее за руки, процедил сквозь зубы:

— Тихо, тихо... Ты меня не зли, мать моя, а то я страшен бываю. — И глаза его люто сверкнули.

Она, большая и сильная, толкнула его в грудь, решительно потребовала:

— Дай ключи! Дай сюда, подлый, ключи от сундука!

Он, побелев, повторил:

— Я страшен бываю, Марья. Ты, мать моя, плохо знаешь меня. Ах ты, праведница несчастная! Задницу прикрыть нечем, а туда же, понимаешь, в героини.

— Теперь-то я узнала подлую твою душонку.

Скрыться задумал? Да я тебя под землей найду, оттуда вытащу! Я теперь таких, как ты, всю жизнь буду беспощадно давить! — Она резко повернулась и с той спокойной, даже величественной осанкой, какая бывает у очень сильных людей, вышла на улицу и решительными шагами направилась к маленькому белому дому, где располагалась ЧК.

Замялов дрожащими руками открыл сундук, выхватил шкатулку и, накинув на себя тулупчик, что есть духу выбежал на холодный, насквозь продуваемый ледяным ветром двор. «Господи, помоги мне!.. — обратился он как-то машинально к богу. — Уцелеть, спастись».

* * *

Вскоре сани лукашовцев въехали на курган; знакомая до мельчайших подробностей, дорогая их сердцу земля расстилалась кругом. Золотухин охватил взглядом явственно возникшую свою деревеньку, увидел детишек, стариков и баб, выросших под этим обложенным тучами, ненастным небом, на этой древней и правильной земле. Какой будет у нее хлеб и какое добро, будет ли она такой же убогой и нищей или несказанно обильной, счастливой и богатой, — решало будущее.

1968—1974 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Корнюшин Л. Г.

К67 Бессмертник. Роман. Предисл. М. Алексеева. М., «Молодая гвардия», 1976.

544 с. с ил.

В романе рассказывается о героической борьбе коммунаров 20-х годов за новую жизнь. Они первыми вступали в ожесточенные схватки с классовым врагом, первыми прокладывали пути в неизведанное. Их дела и свершения стали путеводными для многих поколений советских людей.

Р2

К $\frac{70302-169}{078(02)-76}$ 241—75

Леонид Георгиевич Корнюшин

БЕССМЕРТНИК

Редактор *В. Аксенов*

Художник *С. Соколов*

Художественный редактор *Н. Печникова*

Технический редактор *Р. Грачева*

Корректор *Т. Пескова*

Сдано в набор 12/IX 1975 г. Подписано к печати 8/VI 1976 г. А07321. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 17. (усл. 28,56). Уч.-изд л. 28,8. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 08 к. Т. П. 1975 г., № 241. Заказ 1508.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Наш адрес: 103030, Москва, К-30, Сущевская ул., 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

1 р. 08 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ